Аполлон Григорьев

ВОСПОМИНАНИЯ

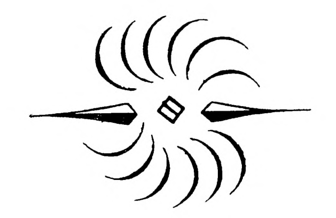
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Аполлон Григорьев

ВОСПОМИНАНИЯ



Издание
подготовил
Б. Ф. ЕГОРОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД
1980

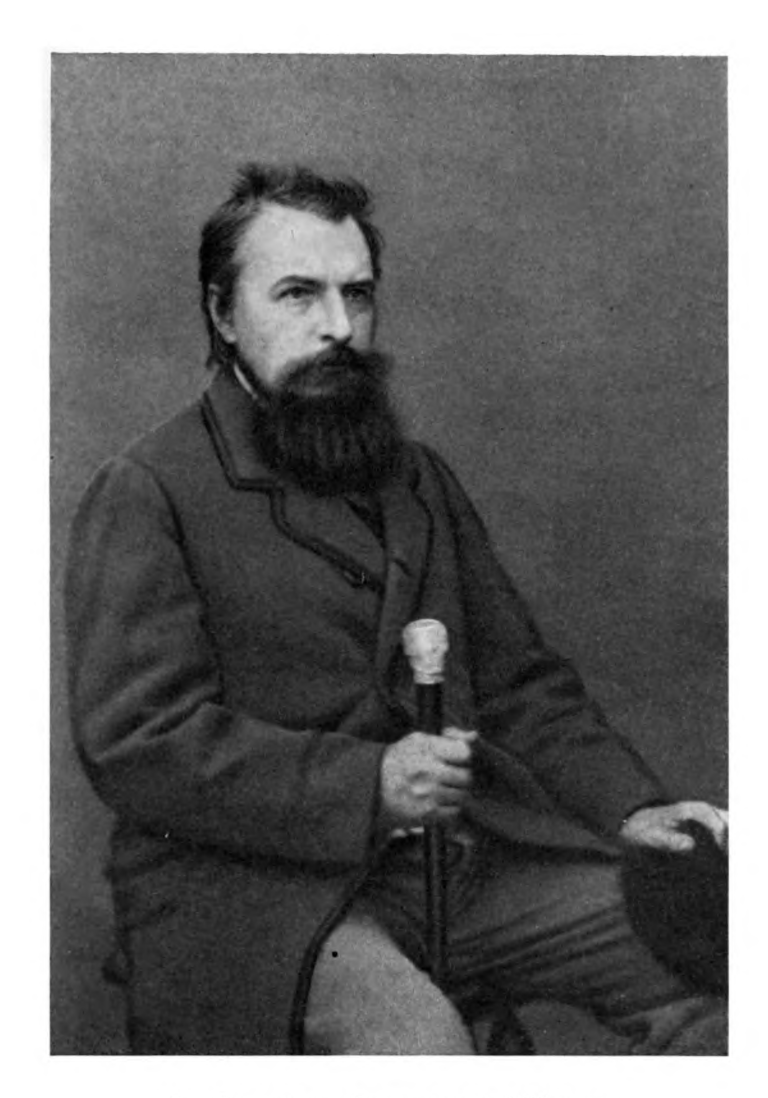
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), *Д. С. Лихачев* (председатель), *А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин* (ученый секретарь), *Д. А. Ольдерогге, Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов* (заместитель председателя), *М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов, С. О. Шмидт*

Ответственный редактор

С. А. РЕЙСЕР

Г $\frac{70301\text{-}519}{042(02)\text{-}80}$ Без объявления. 4702010100.
© Издательство «Наука», 1980 г.



Ап. Григорьев. Фото начала 1860-х гг.



МОИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ СКИТАЛЬЧЕСТВА

Посвящается М. М. Достоевскому

Вы вызвали меня, добрый друг,[1] на то, чтобы я написал мои «литературные воспоминания». Хоть и опасно вообще слушаться приятелей, потому что приятели нередко увлекаются, но на этот раз я изменяю правилам казенного благоразумия. Я же, впрочем, и вообще-то, правду сказать, мало его слушался в жизни.

Мне сорок лет, и из этих сорока по крайней мере тридцать живу я под влиянием литературы. Говорю «по крайней мере», потому что жить, т. е. мечтать и думать, начал я очень рано; а с тех пор, как только я начал мечтать и думать, я мечтал и думал под теми или другими впечатлениями литературными.

Меня, как вы знаете, нередко упрекали, и пожалуй основательно, за употребление различных странных терминов,[2] вносимых мной в литературную критику. Между прочим, например, за слово «веяние», которое нередко употребляю я вместо обычного слова «влияние». С терминами этими связывали нечто мистическое, хотя было бы справедливее объяснять их пантеистически.[3]

Столько эпох литературных пронеслось и надо мною и передо мною, пронеслось даже во мне самом, оставляя известные пласты или, лучше, следы на моей душе, что каждая из них глядит на меня из-за дали прошедшего отдельным органическим целым, имеет для меня свой особенный цвет и свой особенный запах.

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,* [4]

взываю я к ним порою, и слышу и чую их веяние...

Вот она, эпоха сереньких, тоненьких книжек «Телеграфа» и «Телескопа», с жадностью читаемых, дотла дочитываемых молодежью тридцатых годов, окружавшей мое детство, — эпоха, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья,[5] — эпоха бессозна-

* Вы снова здесь, изменчивые тени *(нем.; пер. Б. Пастернака)*.

тельных и безразличных восторгов, в которую наравне с этими вечными песнями восхищались добрые люди и «Аммалат-беком».[6] Эпоха, над которой нависла тяжелой тучей другая, ей предшествовавшая,[7] в которой отзывается какими-то зловеще-мрачными веяниями тогдашнее время в трагической участи Полежаева. Несмотря на бессознательность и безразличность восторгов, на какое-то беззаветное упоение поэзиею, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настройству... А тут является колоссальный роман Гюго[8] и кружит молодые головы; а тут Надеждин в своем «Телескопе» то и дело поддает романтического жара переводами молодых лихорадочных повестей Дюма, Сю, Жанена...

Яснеет... Раздается могущественный голос, вместе и узаконивающий и пришпоривающий стремления и неясные гадания эпохи, — голос великого борца, Виссариона Белинского. В «Литературных мечтаниях», как во всяком гениальном произведении, схватывается в одно целое все прошедшее и вместе закидываются сети в будущее.

Веет другой эпохой.

Детство мое личное давно уже кончилось. Отрочества у меня не было, да не было, собственно, и юности. Юность, настоящая юность, началась для меня очень поздно, а это было что-то среднее между отрочеством и юностью. Голова работает как паровая машина, скачет во всю прыть к оврагам и безднам, а сердце живет только мечтательною, книжною, напускною жизнью. Точно не я это живу, а разные образы литературы во мне живут. На входном пороге этой эпохи написано: «Московский университет после преобразования 1836 года»[9] — университет Редкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, университет таинственного гегелизма,[10] с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой, — университет Грановского...

A change came over the spirit of my Dream...*[11]

Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная *петербуржская* литература...[12] В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние,[13] — но с другой стороны я узнал, с его запахом довольно тухлым и цветом довольно грязным, мир панаевской «Тли»,[14] мир «Песцов», «Межаков»[15] и других темных личностей, мир «Александрии»[16] в полном цвете ее развития с водевилями г. Григорьева I и еще скитавшегося Некрасова-Перепельского,[17] с *особенным креслом* для одного богатого купчика и вместе с высокой артисткой,[18] заставлявшей порою забывать этот странно-пошлый мир.

---

* Внезапно изменилось сновиденье *(англ.; пер. М. Зенкевича)*.

И затем — опять Москва. Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящая молодость, с жаждою настоящей жизни, с тяжкими уроками и опытами. Новые встречи, новые люди, люди, в которых нет ничего или очень мало книжного, люди, которые «продерживают» [19] в самих себе и в других все напускное, все подогретое, и носят в душе беспритязательно, наивно до бессознательности веру в народ и народность. Все «народное», даже местное, что окружало мое воспитание, все, что я на время успел почти заглушить в себе, отдавшись могущественным веяниям науки и литературы, — поднимается в душе с нежданною силою и растет, растет до фанатической исключительной меры, до нетерпимости, до пропаганды... Пять лет новой жизненной школы.[20]

И опять перелом.

Западная жизнь воочию развертывается передо мною чудесами своего великого прошедшего и вновь дразнит, поднимает, увлекает. Но не сломилась в этом живом столкновении вера в свое, в народное. Смягчала она только фанатизм веры.

Таков процесс умственный и нравственный.

Не знаю, станет ли у меня достаточно таланта, чтобы очертить эти различные эпохи, дать почувствовать их, с их запахом и цветом. Если для этого достаточно будет одной искренности, — искренность будет полная, разумеется по отношению к умственной и моральной жизни.

Одно я знаю: я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый исторический интерес.

1862 г. сентября 12.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МОСКВА И НАЧАЛО ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ ЛИТЕРАТУРЫ. МОЕ МЛАДЕНЧЕСТВО, ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

I

ПЕРВЫЕ ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Если вы бывали и живали в Москве, да не знаете таких ее частей, как, например, Замоскворечье и Таганка, — вы не знаете самых характеристических ее особенностей. Как в старом Риме Трастевере,[1] может быть, не без основания хвалится тем, что в нем сохранились старые римские типы, так Замоскворечье и Таганка могут похвалиться этим же преимущественно перед другими частями громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою. От ядра всех русских старобытных городов, от кремля, или кремника, пошел сначала белый, торговый город;[2] потом разросся земляной город,[3] и пошли раскидываться за реку разные слободы. В них уходила из-под влияния административного уровня и в них сосредоточивалась упрямо старая жизнь. Лишенная возможности развиваться самостоятельно, она поневоле закисала в застое. Общий закон нашей истории — уход земской жизни из-под внешней нормы в уединенную и упорную замкнутость расколов, повторился и в Москве, то есть в развитии ее быта.

Бывали ли вы в Замоскворечье?.. Его не раз изображали сатирически; кто не изображал его так? — Право, только ленивый!.. Но до сих пор никто, даже Островский, не коснулся его поэтических сторон. А эти стороны есть — ну, хоть на первый раз — внешние, наружные. Во-первых, уж то хорошо, что чем дальше идете вы вглубь, тем более Замоскворечье тонет перед вами в зеленых садах; во-вторых, в нем улицы и переулки расходились так свободно, что явным образом они росли, а не делались... Вы, пожалуй, в них заблудитесь, но хорошо заблудитесь...

Пойдемте, например, со мною от большого каменного моста[4] прямо, все прямо, как вороны летают. Миновали мы так называемое Болото... да! главное представьте, что мы идем с вами поздним вечером. Миновали

мы Болото с казенным зданием винного двора,[5] тут еще нет ничего особенного. Оно, пожалуй, и есть, да надобно взять в сторону на Берсеневку[6] или на Солодовку,[7] но мы не туда пойдем. Мы дошли до маленького каменного моста,[8] единственного моста старой постройки, уцелевшего как-то до сих пор от усердия наших реформаторов-строителей и напоминающего мосты итальянских городов, хоть бы, например, Пизы. Перед нами три жилы Замоскворечья,[9] то есть, собственно, главных-то две: Большая Полянка да Якиманка, третья же между ними какой-то межеумок. Эти две жилы выведут нас к так называемым воротам: одна, правая жила — к Калужским, другая, левая — к Серпуховским.[10] Но не в воротах сила, тем более что ворот, некогда действительно составлявших крайнюю грань городского жилья, давно уж нет, и город-растение разросся еще шире, за пределы этих ворот.

Я мог бы пойти с вами по правой жиле, и притом пойти по ней в ее праздничную, торжественную минуту, в ясное утро 19 августа,[11] когда чуть что не от самого Кремля движутся огромные массы народа за крестным ходом к Донскому монастырю, и все тротуары полны празднично разрядившимся народонаселением правого Замоскворечья, и воздух дрожит от звона колоколов старых церквей, и все как-то чему-то радуется, чем-то живет, — живет смесью, пожалуй, самых мелочных интересов с интересом крупным ли, нет ли — не знаю, но общим, хоть и смутно, но общественным на минуту. И право, — я ведь неисправимый, закоренелый москвич, — хорошая это минута. Общее что-то проносится над всей разнохарактерной толпой, общее захватывает и вас, человека цивилизации, если вы только не поставите себе упорно задачи не поддаваться впечатлению, если вы будете упорно вооружаться против формы.

Но мы не пойдем с вами по этой жиле, а пойдем по левой, при первом входе в которую вас встречает большой дом итальянской и хорошей итальянской архитектуры.[12] Долго идем мы по этой жиле, и ничто особенное не поражает вас. Дома как дома, большею частью каменные и хорошие, только явно назначенные для замкнутой семейной жизни, оберегаемой и заборами с гвоздями, и по ночам сторожевыми псами на цепи; от внезапного яростного лая которого-нибудь из них, вскочившего в припадке ревности и усердия на самый забор, вздрогнут ваши нервы. Между каменных домов проскачут как-нибудь и деревянные, маленькие, низенькие, но какие-то запущенные, как-то неприветливо глядящие, как-то сознающие, что они тут не на месте на этой хорошей, широкой и большой улице.

Дальше. Остановитесь на минуту перед низенькой, темно-красной с луковицами-главами церковью Григория Неокесарийского.[13] Ведь, право, она не лишена оригинальной физиономии, ведь при ее созидании *что-то* явным образом бродило в голове архитектора, только это *что-то* в Италии выполнил бы он в больших размерах и мрамором, а здесь он, бедный, выполнял в маленьком виде да кирпичиком; и все-таки вышло *что-то*, тогда как ничего, ровно ничего не выходит из большей части послепетровских церковных построек. Я, впрочем, ошибся, сказавши, что в колос-

сальных размерах выполнил бы свое что-то архитектор в Италии. В Пизе я видел церковь Santa Maria della Spina, маленькую-премаленькую, но такую узорчатую и вместе так строго стильную, что она даже кажется грандиозною.

Вот мы дошли с вами до Полянского рынка,[14] а между тем уже сильно стемнело. Кой-где по домам, не только что по трактирам, зажглись огни.

Не будем останавливаться перед церковью Успенья в Казачьем.[15] Она хоть и была когда-то старая, ибо прозвище ее намекает на стоянье казаков, но ее уже давно так поновило усердие богатых прихожан, что она, как старый собор в Твери, получила общий, казенный характер. Свернемте налево. Перед нами потянулись уютные, красивые дома с длинными-предлинными заборами, дома большею частью одноэтажные, с мезонинами. В окнах свет, видны повсюду столики с шипящими самоварами; внутри глядит все так семейно и приветливо, что если вы человек не семейный или заезжий, вас начинает разбирать некоторое чувство зависти. Вас манит и дразнит Аркадия, создаваемая вашим воображением, хоть, может быть, и не существующая на деле.

Идя с вами все влево, я завел вас в самую оригинальную часть Замоскворечья, в сторону Ордынской и Татарской слободы[16] и наконец на Болвановку,[17] прозванную так потому, что тут, по местным преданиям, князья наши встречали ханских баскаков и кланялись татарским болванам.

Вот тут-то, на Болвановке, началось мое несколько-сознательное детство, то есть детство, которого впечатления имели и сохранили какой-либо смысл. Родился я не тут, родился я на Тверской; помню себя с трех или даже с двух лет, но то было младенчество. Воскормило меня, возлелеяло Замоскворечье.

Не без намерения напираю я на этот местный факт моей личной жизни. Быть может, силе первоначальных впечатлений обязан я развязкою умственного и нравственного процесса, совершившегося со мною, поворотом к горячему благоговению перед земскою, народною жизнью.

Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху.

Мне это, коли хотите, даже и легче, потому что давно уже получил я проклятую привычку более рассуждать, чем описывать.

И вот прежде всего я не могу не остановиться на одной личной черте моего раннего развития, которая, как мне кажется, очень характеристична по отношению к целому нашему поколению. Во мне необыкновенно рано началась рефлексия — лет до пяти, именно с того времени, как волею судеб мое семейство переехало в уединенный и странный уголок мира, называемый Замоскворечьем. Помню так живо, как будто бы это было теперь, что в пять лет у меня была уже Аркадия, по которой

я тосковал, потерянная Аркадия, перед которой как-то печально и серó — именно серó казалось мне настоящее. Этой Аркадией была для меня жизнь у Тверских ворот, в доме Козина.[18] Почему эта жизнь представлялась мне залитою каким-то светом, почему даже и в лета молодости я с сердечным трепетом проходил всегда мимо этого дома Козина у Тверских ворот, давно уже переменившего имя своего хозяина, и почему нередко под предлогом искания квартиры захаживал на этот двор, стараясь припомнить уголки, где игрывал я в младенчестве; почему, говорю я, преследовала меня эта Аркадия, — дело весьма сложное. С одной стороны, тут есть общая примета моей эпохи, с другой, коли хотите, — дело физиологическое, родовое, семейное.

У всей семьи нашей была своя потерянная Аркадия, Аркадия богатой жизни при покойном деде до французского нашествия, истребившего два больших его дома на Дмитровке;[19] и в особенности одна из моих теток,[20] натура в высшей степени мечтательная и экзальтированная, была полна этим «золотым веком». Разница в том только, что для нее Аркадия была на Дмитровке, для меня — на Тверской, и разница, кроме того, в эпохах.

Я родился в 1822 году. Трех лет я хорошо помню себя и свои бессознательные впечатления. Общественная катастрофа, разразившаяся в это время, катастрофа, с некоторыми из жертв которой мой отец был знаком по университетскому благородному пансиону,[21] страшно болезненно подействовала на мое детское чувство.

Детей большие считают как-то необычайно глупыми и вовсе не подозревают, что ведь что же нибудь да отразится в их душе и воображении из того, что они слышат или видят. Я, например, хоть и сквозь сон как будто, но очень-таки помню, как везли тело покойного императора Александра и какой странный страх господствовал тогда в воздухе. . .[22]

Да, никто и ничто не уверит меня в том, чтобы идеи не были чем-то органическим, носящимся и веющим в воздухе, солидарным, преемственным. . .

То, что веяло тогда над всем, то, что встретило меня при самом входе моем в мир, мне никогда, конечно, не высказать так, как высказал это высоко даровитый и пламенный Мюссе в «Confessions d'un enfant du siècle».* Напомню вам это удивительное место,[23] которым я заключу очерк преддверия моих впечатлений:

«Во времена войн империи, в то время, как мужья и братья были в Германии, тревожные матери произвели на свет поколение горячее, бледное, нервное. Зачатые в промежутки битв, воспитанные в училищах под барабанный бой, тысячи детей мрачно озирали друг друга, пробуя свои слабые мускулы. По временам являлись к ним покрытые кровью отцы, подымали их к залитой в золото груди, потом слагали на землю это бремя и снова садились на коней.

Но война окончилась; Кесарь умер на далеком острове.

---

* «Исповедь сына века» *(франц.)*.

Тогда на развалинах старого мира села тревожная юность. Все эти дети были капли горячей крови, напоившей землю: они родились среди битв. В голове у них был целый мир; они глядели на землю, на небо, на улицы и на дороги, — все было пусто, и только приходские колокола гудели в отдалении.

Три стихии делили между собою жизнь, расстилавшуюся перед юношами: за ними навсегда разрушенное прошедшее, перед ними заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану, отделяющему старый материк от Америки; не знаю, что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушениями, по временам переплываемое далеким белым парусом или кораблем с тяжелым ходом; настоящий век, наш век, одним словом, который отделяет прошедшее от будущего, который ни то ни другое и походит на то и на другое вместе, где на каждом шагу недоумеваешь, идешь ли по семенам или по праху.

И им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек, не день и не ночь; они нашли его сидящим на мешке с костями, закутанным в плащ себялюбия и дрожащим от холода. Смертная мука закралась к ним в душу при взгляде на это видение, полумумию и полупрах; они подошли к нему, как путешественник, которому показывают в Страсбурге дочь старого графа Саарвердена, бальзамированную, в гробу, в венчальном наряде. Страшен этот ребяческий скелет, ибо на худых и бледных пальцах его обручальное кольцо, а голова распадается прахом посреди цветов.

О народы будущих веков! — заканчивает поэт свое вступление. — Когда в жаркий летний день склонитесь вы под плугом на зеленом лугу отчизны, когда под лучами яркого, чистого солнца земля, щедрая мать, будет улыбаться в своем утреннем наряде земледельцу; когда, отирая с мирного чела священный пот, вы будете покоить взгляд на беспредельном небосклоне и вспомните о нас, которых уже не будет более, — скажите себе, что дорого купили мы вам будущий покой; пожалейте нас больше, чем всех ваших предков. У них было много горя, которое делало их достойными сострадания; у нас не было того, что их утешало».

II

МИР СУЕВЕРИЙ

Хорошая вещь — серьезные и захватывающие жизнь в ее типах литературные произведения. Мало того, что они сами по себе хороши, положительно хороши, — они имеют еще отрицательную пользу: захвативши раз известные типы, художественно и рельефно увековечив их, они отбивают охоту повторять эти типы.

Вот, например, не будь аксаковской «Семейной хроники», я бы неминуемо должен был вовлечься в большие подробности по поводу моего

деда, лица, мною никогда не виданного, потому что он умер за год до моего рождения,[1] но по рассказам знакомого мне, как говорится, до точки и игравшего немаловажную роль в истории моих нравственных впечатлений.

Теперь же стоит только согласиться на общий тип кряжевых людей бывалой эпохи, изображенной рельефно и вместе простодушно покойным Аксаковым, да отметить только разности и отличия, и вот образ, если не нарисованный мной самим, то могущий быть легко нарисован читателем.

Дед мой в общих чертах удивительно походил на старика Багрова, и день его, в ту эпоху, когда он уже мог жить на покое, мало разнился, судя по семейным рассказам, от дня Степана Багрова. Чуть что даже калинового подожка у него не было, а что свои талайченки,[2] даже свои собственные калмыки были, это я очень хорошо помню. Разница между ним и Степаном Багровым была только в том, что он, такой же кряжевой человек, поставлен был в иные жизненные условия. Он не родился помещиком, а сделался им, да и то под конец своей жизни, многодельной и многотрудной. Пришел он в Москву из северо-восточной стороны в нагольном полушубке, пробивал себе дорогу лбом, и пробил дорогу, для его времени довольно значительную. Пробил он ее, разумеется, службой, и потому пробил, что был от природы человек умный и энергический. Еще была у него отличительная черта — это жажда к образованию. Он был большой начетчик духовных книг и даже с архиереями нередко спорил; после него осталась довольно большая библиотека, и дельная библиотека, которою мы, потомки, как-то мало дорожили...

Странная вот еще эта черта, между прочим, и опять-таки черта, как мне кажется, общая в нашем развитии, — это то, что мы все маленькие Петры Великие на половину и обломовцы на другую. В известную эпоху мы готовы с озлоблением уничтожить следы всякого прошедшего, увлеченные чем-нибудь первым встречным, что́ нам понравилось, и потом чуть что не плакать о том, чем мы пренебрегали и что мы разрушали. Мне было уже лет одиннадцать, когда привезли нам в Москву из деревни сундуки с старыми книгами деда. А то была уже эпоха различных псевдоисторических романов, которыми я безразлично упивался, всеми от «Юрия Милославского» [3] до «Давида Игоревича» [4] и других безвестных ныне произведений, от «Новика» [5] Лажечникова до «Леонида» [6] Рафаила Зотова. Странно повеяли на меня эти старые книги деда в их пожелтелых кожаных переплетах, книги мрачные, степенные, то в лист и печатанные славянским шрифтом, как знаменитое «Добротолюбие»,[7] то в малую осьмушку, шрифтом XVIII века, и оригинальные вроде назидательных сочинений Эмина,[8] и переводные вроде творений Бюниана и Иоанна Арндта,[9] и крошечные и полуистрепанные, как редкие ныне издания сатирических журналов: «И то и се», «Всякая всячина». Как теперь помню, как я глядел на них с каким-то пренебрежением, как я — а мне отдали право распорядка этой библиотеки — не хотел удостоить их даже чести стоять в одном шкапу с «Леонидами», «Постоя-

лыми дворами», «Дмитриями Самозванцами»[10] и другим вздором, которым, под влиянием эпохи, наполнил я шкап, отделивши от них только сочинения Карамзина, к которому воспитался я в суеверном уважении. Помню, я даже топтал их ногами в негодовании, а все-таки, пожираемый жаждою чтения, заглядывал в них, в эти старые книги, и даже начитывался порою сатирических изданий новиковской эпохи (Рослад и других од,[11] равно как сочинений Княжнина и Николева одолеть я никогда не мог) и знакомством своим с мыслью и жизнью ближайших предков обязан был я все им же, старым книгам. И как я жалел в зрелые годы об этой распропавшей, раскраденной пьяными лакеями и съеденной голодными мышами библиотеке. Но увы! как и везде и во всем, поздно хватаемся мы за наши предания...

Дед мой был знаком даже с Новиковым, и сохранилось в семье предание о том, как струсил он, когда взяли Новикова,[12] и пережег[13] множество книг, подаренных ему Николаем Иванычем. Был ли дед масоном — не могу сказать наверное. Наши ничего об этом не знали. Лицо, принадлежавшее к этому ордену[14] и имевшее, как расскажу я со временем, большое влияние на меня в моем развитии, говорило, что был.

Дед и мир, когда-то вокруг его процветавший, мир довольства и даже избытка, кареты четверней, мир страшного, багровского деспотизма, набожности, домашних свар — это была Аркадия для моей тетки, но далеко не была это Аркадия для моего отца, человека благодушного и умного, но нисколько не экзальтированного.

Когда приезжали к нам из деревни погостить бабушки и тетки, я решительно подпадал под влияние старшей тетки; о ней, как о лице довольно типическом, я буду говорить еще не раз. Натура страстная и даровитая, не вышедшая замуж по страшной гордости, она вся сосредоточилась в воспоминаниях прошедшего. У нее даже тон был постоянно экзальтированный, но мне только уже в позднейшие года начал этот тон звучать чем-то комическим. Ребенком я отдавался ее рассказам, ее мечтам о фантастическом золотом веке, даже ее несбыточным, но упорным надеждам на непременный возврат этого золотого века для нашей семьи.

Была даже эпоха и... я обещался быть искренним во всем, что относится к душевному развитию, буду искренен до последней степени, — эпоха вовсе не первоначальной молодости, когда, под влиянием мистических идей, я веровал в какую-то таинственную связь моей души с душою покойного деда, в какую-то метемпсихозу не метемпсихозу, а солидарность душ. Нередко, возвращаясь ночью из Сокольников и выбирая всегда самую дальнюю дорогу, ибо я любил бродить в Москве по ночам, я, дойдя до церкви Никиты-мученика в Басманной, останавливался перед старым домом на углу переулка,[15] первым пристанищем деда в Москве, когда пришел он составлять себе фортуну, и, садясь на паперть часовни, ждал по получасу, не явится ли ко мне старый дед разрешить мне множество тревоживших мою душу вопросов. На ловца обыкновенно и зверь бежит. С человеком, наклонным к мистическому,

случаются обыкновенно и факты, незначительные для других, но влекущие его лично в эту странную бездну. Раза два в жизни, и всегда перед разными ее переломами, дед являлся мне во сне. Дело психически очень объяснимое, но питавшее в душе наклонность ее к таинственному миру.

Суеверия и предания окружали мое детство, как детство всякого большой или небольшой руки барчонка, окруженного большой или небольшой дворней и по временам совершенно ей предоставляемого. Дворня, а у нас именно испокон века велась она, несмотря на то что отец мой только что жил достаточно, была вся из деревни, и с ней я пережил весь тот мир, который с действительным мастерством передал Гончаров в «Сне Обломова». Когда наезжали родные из деревни, с ними прибывали некоторые члены тамошней обширной дворни и поддавали жара моему суеверному или, лучше сказать, фантастическому настройству новыми рассказами о таинственных козлах, бодающихся в полночь на мостике к селу Малахову, о кладе в Кириковском лесу — одной из главных основ надежды моей тетки на возврат Аркадии, о колдуне-мужике, зарытом на перекрестке. Да прибавьте еще к этому старика-деда, брата бабушки, который впоследствии, когда мне было уже десять лет, жил у нас со мной на мезонине, читал всё священные книги и молился, даже на молитве и умер, но вместе с тем каждый вечер рассказывал с полнейшею верою истории о мертвецах и колдуньях, да прибавьте еще двоюродную тетку, наезжавшую с бабушкой из деревни, — тетку, которая была воплощение простоты и доброты, умевшую лечить домашними средствами всю окрестность, которая никогда не лгала и между тем сама, по ее рассказам, видала виды. . .

На безобразно нервную натуру мою этот мир суеверий подействовал так, что в четырнадцать лет, напитавшись еще, кроме того, Гофманом, я истинно мучился по ночам на своем мезонине, где спал я один с Иваном, или Ванюшкой, который был моложе меня годом. Лихорадочно-тревожно прислушивался я к бою часов, а они же притом шипели и сипели страшно неистово, и засыпал всегда только после двенадцати, после крика предрассветного петуха.

С летами это прошло, нервы поогрубели, но знаете ли, что я бы дорого дал за то, чтоб снова испытать так же нервно это сладко-мирительное, болезненно-дразнящее настройство, эту чуткость к фантастическому, эту близость иного, странного мира. . . Ведь фантастическое вечно в душе человеческой и, стало быть, так как я только в душу и верю, в известной степени законно.

III

ДВОРНЯ

Но не одно суеверие развило во мне ранние отношения к народу. Один великий писатель в своих воспоминаниях[1] сказал уже доброе слово в пользу так называемой дворни и отношений к ней, описывая

свой детский возраст. Немало есть и дурного в этом попорченном отсадке народной жизни, дурного, в котором виноват не отсадок, а виновато было рабство, — немало дурного, разумеется, привилось и ко мне, и привилось главным образом не в пору. Рано, даже слишком рано пробуждены были во мне половые инстинкты и, постоянно только раздражаемые и не удовлетворяемые, давали работу необузданной фантазии; рано также изучил я все тонкости крепкой русской речи и от кучера Василья наслушался сказок о батраках и их известных хозяевах,[2] — и вообще кучера Василья во многих отношениях я должен считать своим воспитателем, почти наполовину с моим первым учителем...

Но была и хорошая, была даже святая сторона в этом сближении с народом, с его даже попорченными элементами. Разумеется, бессознательно поступали мой отец и моя мать, не удаляя меня от самых близких отношений с дворовыми, но во всяком случае это делает большую честь их благодушному и простому взгляду, тем более делает честь, что в них, как во всей нашей семье, было ужасно развито чувство дворянской амбиции во всех других жизненных отношениях. В этом же все шло по какому-то исстари заведенному порядку. Надобно сказать также к их чести, что и собственные отношения к дворне по большей части были человеческие, т. е. настолько человеческие, насколько человечность была мыслима и возможна при крепостном праве. Ела у них наша дворня всегда хорошо, работала мало, пила, как мужеский пол, так и женский постарше, до крайнейшего безобразия. Раз даже отец не купил весьма выгодно продававшегося с аукциона дома потому только, что подле него был кабак и что тогда, по *основательному* возражению матери, Василья с Иваном старшим пришлось бы ежечасно оттуда вытаскивать, да и старуху няньку мою Прасковью точно так же. Между прочим я сказал, что отношения моих родителей к дворне были человечны *большею частью*, и сказал не без основания. В матери моей было в высокой степени развито чувство самой строгой справедливости, но с девяти лет моего возраста я уже не помню ее здоровою. Что за болезнь началась у ней и продолжалась до самой ее смерти, я не знаю. Знаменитый по Таганке и Замоскворечью доктор Иван Алексеич Воскресенский постоянно лечил ее, но более двадцати лет болезнь ее грызла, и несколько дней в месяц она, бедная мать моя, переставала быть человеком. Даже наружность ее изменялась: глаза, в нормальное время умные и ясные, становились мутны и дики, желтые пятна выступали на нежном лице, появлялась на тонких губах зловещая улыбка, и тогда забывалось всякое чувство справедливости... Совершенно лишенная образования, читавшая даже по складам, хотя от природы одаренная замечательным здравым рассудком и даже эстетическим чутьем, — она пела очень хорошо по слуху, — бедная мать моя совершенно извращена была ужасной болезнью. Во время приливов или припадков этой болезни светлые, хорошие стороны ее личности исчезали, свойства, в умеренном виде хорошие, как например хозяйственная заботливость и расчетливость, переходили в ужасные крайности: неудовлетворенное, обиженное

судьбою самолюбие даровитой, но лишенной средств развития личности выступало одно на месте всех душевных качеств. А бывали минуты, — увы! чем далее шла жизнь, тем становились они реже, — когда она как будто светлела и молодела. Прекрасные и тонкие черты ее лица прояснялись, не теряя, впрочем, никогда некоторой строгости не строгости, а какой-то грустной серьезности; движения теряли резкость и становились гибкими; голос, болезненно надорванный, звучал благородными контральтовыми звуками. О как я любил ее в эти редкие минуты! Откуда являлось у нее вдруг столько женственного такта в разговоре с посторонними, такое отсутствие выжимок и ужимок, ощипываний и одергиваний, отличавшее ее резко от всех других барынь нашего круга, барынь, походивших большею частью на мать Хорькова в «Бедной невесте».

С другой стороны, отец, человек с весьма светлым умом и с благодушием таким, что покойный дед, энергический и кряжевый человек, звал его отчасти любовно, а отчасти насмешливо Израилем;[3] запуганный даже отчасти с детства, иногда, хотя очень редко, раза два в год, повторял в жизни багровские выходки деда. И вовсе ведь не потому, чтобы в это время он был особенно выведен безобразием дворни из границ человеческого терпения. Если бы так, то поводы к выходу из нормального, благодушного состояния представлялись ежедневно. Нет, это было нечто физиологическое, дань чему-то родовому, нечто совсем бешеное и неистовое, нечто такое, чего приливы я сам, конечно, по другим поводам, чувствовал иногда в себе и чему тоже отдавался, как зверь... С летами в нем эти приливы родового неистовства становились все реже и реже. Он был и лицом и характером похож на свою мать, мою бабушку, — бабушку, которую знал я только старушкою и которая всегда являлась мне невозмутимо кроткою, спокойною, глубоко, но никак не до ханжества благочестивою, с разумным словом, с вечною до крайности даже нежною и беспокойною заботливостью о своих бедных дочерях, моих старых тетках, с благоговейною памятью о своем строгом и не всегда ровном Иване Григорьиче и с явными следами на своей натуре влияния этой кряжевой личности, следами, очевидными в ее здравых религиозных понятиях, в ее твердой вере в справедливость... Да! по многому вправе я заключить, что далеко не дюжинный человек был дед. Служа, он как и все, вероятно, брал если не взятки, то добровольные поборы, но таковы были понятия окружавшей его среды; помимо этих понятий, в нем жило крепко чувство добра и чести, и была в нем еще, по рассказам всех его знавших, даже дальних родных и посторонних, необоримая, ветхозаветная вера в бога Израилева, в бога правды, была в нем святая гордость, которая заставляла его не держать языка на привязи где бы то ни было и перед кем бы то ни было... перед архиереями ли, с которыми он любил водиться, перед светскими ли властями, с которыми он поставляем был судьбою в столкновение.

Но я опять увлекся любимым образом моего детства, этим идеалом, с которым я долго-долго сопоставлял моего умного и благодушного, но

весьма не характерного отца, никак не видя, что у него совсем другая природа, любя его инстинктивно, но не уважая разумно его собственных, личных хороших сторон.

Родовые вспышки отца и ежемесячные припадки болезни матери нарушали обычную распущенность нашей жизни, но они же развили во мне чувство сострадания до болезненности. Я ревел до истерик, когда доставалось за пьянство кучеру Василью или жене его, моей старой няньке, за гульбу по ночам и пьянство человеку Ивану и за гульбу с молодцами моей молодой и тогда красивой няньке Лукерье... Я всегда являлся предстателем в этих случаях, и отец даже в порывах бешенства, по благодушию своей природы, любил во мне это предстательство. Что он любил, это очень хорошо, но напрасно он показывал мне, что он это любит. Это развило во мне какое-то раннее актерство чувством, раннюю способность к подозреванию собственной чувствительности... Помню, — мне было лет девять, — нарыдавшись инстинктивно, я, прежде чем идти к отцу просить за отправленного в часть Василья или Ивана, смотрелся в зеркало, достаточно ли вид у меня расстроен.

Но, во всяком случае, я с дворовыми жил совершенно интимно. У них от меня секретов не было, ибо они знали, что я их не выдам. Лет уже четырнадцати-пятнадцати даже я запирал двери за Иваном, уходившим «в ночную» к своим любовницам, и отпирал их ему в заутрени; уже студентом привозил несколько раз, сам правя лошадью, кучера Василья в своих объятиях поздним вечером, тихонько отворяя ворота...

И они любили меня, разумеется, любили по-своему — любили до тех пор, пока в позднейшую эпоху жизни интересы их не столкнулись с моими. Разумеется, нечего винить их за свою корыстную любовь. Грех не на них, а все-таки на крепостном праве, много развратившем высокую природу русского человека. Одна старая нянька (она же была у нас долгое время и кухаркой, пока не *купили* повара) любила меня инстинктивно, сердечно — умерла даже с желанием хотя бы глазком взглянуть на меня, бывшего в Петербурге в минуту ее смерти, — да и то, я думаю, потому, что она была вольная из Арзамаса и по страстной любви, овдовевши после первого брака, вышла за пьяного крепостного кучера Василья...

А много, все-таки много обязан я тебе в своем развитии, безобразная, распущенная, своекорыстная дворня... Нет или мало песен народа, мне чуждых: звучавшие детскому уху, они отдались как старые знакомые в поздней молодости, они, на время забытые, пренебреженные, попранные даже, как старые книги деда, восстали потом душе во всей их непосредственной красоте... Во все народные игры игрывал я с нашею дворнею на широком дворе: и в бую, и в лапту, и даже в чехарду, когда случалось, что отец и мать уезжали из дому в гости и не брали меня; все басни народного животного эпоса про лисицу и волка, про лисицу и петуха, про житье-бытье петуха, кота и лисицы в одном доме — переслушал я в осенние сумерки от деревенской девочки Ма-

рины, взятой из деревни собственно для забавы мне, — лежа, закутанный в шубку, в старом ларе в сарае...

Наезжали порою мужики из бабушкиной деревни. Вот тут-то еще больше наслушивался я диковинных рассказов — постоянно уже проводя все время с мужиками на кухне. Всех я их знал по рассказам, многих лично; со мной они, предупрежденные дворней, не чинились и не таились... Ужасно я любил их и, провожая почтенных мужиков, как староста Григорий, поминал даже в своих детских молитвах после родных и ближайших окружающих...

IV

СТОРОНА

Да и сторона-то, надобно сказать, была такая, которая могла нарезать на душе неизгладимые следы!

Я начал историю своих впечатлений с общего образа Замоскворечья, рискуя, и конечно рискуя сознательно, попасть на зубок нашим различным обличительным изданиям. Я сказал уже, кажется, что Замоскворечье не только особый мир, а соединение разных особых миров, носящих каждый свою отдельную, типовую физиономию.

Встанемте с вами, читатели, бывшие в Москве, на высоте Кремля, с которой огромным полукружием развертывается перед вами юго-восточная, южная и юго-западная часть Москвы. Если я с самого начала не повел вас туда, на кремлевскую гору, то, покаюсь в этом, во избежание рутинного приема. Вид Москвы с кремлевской вершины почти такое же избитое место, как вид ее с Воробьевых гор. И теперь я становлюсь с вами на этом пункте только потому, что так мне нужно...

Панорама пестра и громадна, поражает пестротою и громадностью, но все же в ней есть известные, выдающиеся точки, к которым можно приковать взгляд... Он упирается налево в далекой дали в две огромных колокольни двух монастырей: Новоспасского и Симонова... Старые монастыри — это нечто вроде драгоценных камней в венцах, стягивающих в пределы громадный город-растение, или, если вам это сравнение покажется вычурным, — нечто вроде блях в его обручах... Дело не в цвете сравнения, а в его сущности, и сущность, если вы взглянете без предубеждения, будет верна; старые пласты города стягивает обруч с запястьями-монастырями, состоящими в городской черте: бывшим Алексеевским, который я еще помню и на месте которого высится теперь храм Спасителя,[1] упраздненным Новинским, Никитским, Петровским, Рождественским, Андрониевским;[2] разросшиеся слободы стянуты тоже обручем горизонтальной линии, на которой законными, останавливающими взгляд пунктами являются тоже монастыри: Новоспасский, Симонов, Донской, Девичий...

Я обратил ваше внимание на дальние точки горизонтальной линии, потому что к одному из этих пунктов «тянет», по допетровскому пластическому выражению наших дьяков, та или другая сторона Москвы, сторона с особенным видом и характером. Внутри городской черты монастыри потеряли свое значение притягивающих пунктов, хотя прежде, вероятно, имели его: ведь на обруче Китай-города есть тоже свои бляхи: Знаменский, Богоявленский монастыри[3] и т. д. В Замоскворечье и в Таганке, которая «тянет» наполовину к Андроньеву, наполовину к «Спасуновому», типовой характер монастырей уцелел, разумеется, более... Особый характер, особый цвет и запах жизни у юго-восточного Замоскворечья, которое «тянет» к Симонову, и у южного и юго-западного, которые «тянут» к Донскому...

Идя с вами в глубь Замоскворечья, я указал вам на его три или, собственно, две главные жилы, кончающиеся не существующими на деле воротами, но не упомянул о третьей, огромной юго-восточной жиле, о Пятницкой, названной так по церкви мифически-народной святой Пятницы-Прасковеи.[4]

Но не церковь Пятницы-Прасковеи поражает и останавливает ваш взгляд с кремлевской вершины, когда вы, отклоняя постепенно глаза от юго-востока, ведете их по направлению к югу, а пятиглавая, великолепная церковь Климента папы римского.[5] Перед ней вы остановитесь и идя по Пятницкой: она поразит вас строгостью и величавостью своего стиля, своею даже гармониею частей... Но особенно выдается она из бесчисленного множества различных узорочных церквей и колоколен, тоже оригинальных и необычайно живописных издали, которыми в особенности отличается юго-восточная часть Замоскворечья... Путешествуя по его извилистым улицам, заходя дальше и все дальше вглубь, вы натолкнетесь, может быть, на более оригинальный стиль старых, приземистых и узорчатых церквей с главами-луковицами, но издали надо всем властвует, без сомнения, Климент. Около него, по Пятницкой и вправо от нее, сосредоточилась в свои каменные дома и дворы с заборами, нередко каменными, жизнь по преимуществу купеческая; влево жизнь купеческая сплетается с мелкомещанскою, мелкочиновническою и даже, пожалуй, мелкодворянскою. Идя по Пятницкой влево, вы добредете даже до Зацепы, этого удивительного уголка мира, где совершается невозможнейшая с общечеловеческой точки зрения и вместе одна из наидействительнейших драм Островского «В чужом пиру похмелье», где хозяйка честного учителя берет расписку с Андрюши Брускова в женитьбе на дочери своего постояльца, и «Кит Китыч» платится по этой странной расписке, ибо не знает, что могут сделать «стрюцкие», и внутренне боится их, хотя и ломается над пропившимся «стрюцким» Сахаром Сахарычем... Тут, между Зацепой и комиссариатом,[6] две жизни: жизнь земщины и жизнь «стрюцких» живут рядом одна с другою, растительно сплетаются, хоть не смешиваются и тем менее амальгамируются.

Только затем, изволите видеть, я и водил вас на вершину Кремля, чтобы оттуда различить для вас две полосы Замоскворечья. Детство мое

прошло в первой, юго-восточной, отрочество и ранняя молодость — в юго-западной.

Жизнь, которая окружала меня в детстве, была наполовину жизнь дворянская, наполовину жизнь «стрюцких», ибо отец мой служил, и служил в одном из таких присутственных мест, в которые не проникал уровень чиновничества, в котором бражничало, делало дела и властвовало подьячество... Эта жизнь «стрюцких» соприкасалась множеством сторон с жизнью земщины, и в особенности в уголке мира, лежащем между комиссариатом, Зацепой и Пятницкой.

Как теперь видится мне мрачный и ветхий дом с мезонином, полиняло-желтого цвета, с неизбежными алебастровыми украшениями на фасаде и чуть ли даже не с какими-то зверями на плачевно-старых воротах, дом с явными претензиями, дом с дворянской амбицией, дом, в котором началось мое сознательное детство. Два таких дома стояли рядом, и некогда оба принадлежали одному дворянскому семейству, не из сильно, впрочем, родовитых, а так себе... Обитатели дома, в который мы переехали с Тверской, были женские остатки этого когда-то достаточного семейства: вдова-барыня с двумя дочерьми-девицами. Хозяин другого, племянник вдовы, жил где-то в деревне, и дом долго стоял опустелый, только на мезонине его в таинственном заключении жила какая-то его воспитанница. И об этом мезонине, и об этой заключеннице, и о самом хозяине пустого дома, развратнике по сказаниям и фармазоне, ходили самые странные слухи.

Оба дома смотрели на церковную ограду Спасо-Болвановской церкви,[7] ничем, впрочем, кроме своего названия, не замечательной, стояли какими-то хмурыми гуляками, запущенными или запустившими себя с горя, в ряду других, крепко сколоченных и хозяйственно глядевших купеческих домов с высокими воротами и заборами. Уныло кивал им симпатически только каменный дом с полуобвалившимися колоннами на конце переулка, дом тоже дворянский и значительно более дворянский.

Мрачность ли этих домов с их ушедшим внутрь и все-таки притязательным дворянским честолюбием подействовала сразу на мое впечатлительное воображение или так уж на роду мне было написано воспитывать в душе двойную, т. е. родовую и свою мечтательную Аркадию, но все время нашего там пребывания, продолжавшегося года четыре до покупки дома в другой, южной, стороне Замоскворечья, я относился к этому жилью и к житью в нем с отвращением и даже с ненавистью и все лелеял в детских мечтах Аркадию Тверских ворот с большим каменным домом, наполненным разнородными жильцами, с шумом и гамом ребят на широком дворе, с воспоминаниями о серых лошадях хозяина, седого купца Игнатия Иваныча, которых баживал он меня часто смотреть в чистую и светлую конюшню; об извозчике-лихаче Дементье, который часто катал меня от Тверских ворот до нынешних Триумфальных,[8] вероятно из симпатии к русым волосам и румяным щекам моей младшей няньки; о широкой площади с воротами Страстного монастыря[9] перед глазами и с изображениями на них «страстей господних», к которым любила ходить

со мною старая моя нянька, толковавшая мне по-своему, апокрифически-легендарно, эти изображения в известном тоне апокрифического сказания о «сне богородицы».

Многое, может быть, — и начинавшаяся болезнь матери, и начавшаяся для меня проклятая латинская грамматика Лебедева,[10] к которой до сих пор не могу я отнестись без некоторого, самому мне смешного враждебного чувства, и еще более проклятая арифметика, с которой никогда я не мог помириться, будь она Меморского, как прежняя, или Аллеза, Билли, Пюисана, Будро,[11] как последующая; многое, говорю, навевало на меня, может быть, мрак, — но только враждебно относился я к житью-бытью на Болвановке.

Но странная сила есть у прошедшего, и в особенности на нас, людей былого поколения. Чем дальше отдаляли от меня годы это житье, тем больше и больше светлело оно у меня в памяти. Шляясь часто по вечерам по Москве, я в мои зрелые годы углублялся в левую сторону Замоскворечья, но — увы! — и следов старого не было. Уцелели крепко сколоченные купеческие дома, но отняли колонны у каменного дома, выбелили его и придали ему прилично-истертую наружность новые хозяева, а на место амбиционных дворянских домов в конце переулка выстроились новые чистые купеческие дома. Самая ограда церкви, вилявшая некогда кривою линиею, отступила на шаг и вытянулась в струнку, по ранжиру...

И понятно, кроме общего закона идеализации прошедшего, по мере его удаления от нас, почему светлело для меня спасоболвановское житье-бытье.

При старом доме был сад с забором, весьма некрепкого и дырявого качества, и забор выходил уже на Зацепу, и в щели по вечерам смотрел я, как собирались и разыгрывались кулачные бои, как ватага мальчишек затевала дело, которое чем дальше шло, тем все больше и больше захватывало больших. О! как билось тогда мое сердце, как мне хотелось тогда быть в толпе этих зачинающих дело мальчишек, мне, барчонку, которого держали в хлопках,[12] изредка только позволяя (да слава богу, что хоть изредка-то!) играть в игры с дворнею! А в большие праздники водились тут хороводы фабричными, и живо, страстно сочувствовал я нашей замкнутой на дворе дворне, которая, облизываясь как кот, смотрела на вольно шумевшую вокруг нее вольную жизнь!

V

ПОСЛЕДНЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСТВА

Да! меня держали в хлопках; жизнь, окружавшая меня, давала мне только впечатления, дразнила меня, и потому все сильнее и сильнее развивалась во мне мечтательность. На меня порою находила даже какая-то неестественная тоска, в особенности по осенним и зимним долгим вечерам. Игрушками я был буквально завален, и они мне наскучили.

Мне шел седьмой год, когда стали серьезно думать о приискании для меня учителя, разумеется, по средствам и по общей методе подешевле. До тех пор мать сама кое-как учила меня разбирать по складам, но как-то дальше буки-рцы-аз ра-бра (так произносил я склад) я не ходил. Вообще я был безгранично ленив до двенадцати лет возраста.

Стали наконец действительно искать учителя, но прежде всего, по известному русскому обычаю покупать прежде подойник, а затем уже корову, купили неизвестно для каких целей указку. Указка была костяная, прекрасивенькая, и я через день же ее сломал, как ломал всякие игрушки. Помню как теперь, в осенний вечер, когда уже свечи подали, сидел я на ковре в зале, обложенный игрушками, слушая рассказы младшей няньки про бабушкину деревню и стараясь разгадать, что́ такое Иван, сидевший тут же на ковре, делает с куколками, показывая их Лукерье, и отчего та то ругается, то смеется, — явился учитель-студент в мундире и при шпаге и бойкою походкою прошел в гостиную, где сидел отец. «Учитель, учитель!» — сказала моя нянька и с любопытством заглянула ему вслед в гостиную. «С форсом!» — добавил Иван и опять стал что-то ей таинственно показывать...

Я заревел...

Насилу меня уняли рассказами о будущей моей невесте и о золотой карете, в которой поеду я венчаться, а между тем через четверть часа отворились двери гостиной и отец, провожая студента, указал ему на меня, потом подозвал меня и прибавил: «Так начинайте с богом во вторник».

А во вторник был день Козьмы и Дамиана бессребреников,[1] день, в который обыкновенно учить начинают, по преданиям...

Но, видно, преданиям вообще суждено было всегда носиться вокруг меня, а не исполняться вполне надо мною. Настал день покровителей учения, посадили меня с азбукой и сломанной указкой у окна и велели ждать учителя. Помню, что бессмысленно и вместе тоскливо, ничего не замечая, ничего даже не думая и ни о чем против обыкновения не мечтая, проглядел я с час на улицу. Било одиннадцать — срок, назначенный для урока, — учитель не являлся. С места меня сняли. Било двенадцать — учителя все не было. Пришел час обеда, воротился отец из присутствия.

Дворянская амбиция в нем заговорила.

Воспитанник бывшего благородного пансиона, товарищ по воспитанию Жуковского и Тургеневых, он, несмотря на здравый ум свой и доброту души, был проникнут каким-то странным пренебрежением к поповичам, тем более странным, что в семье у нас было множество родни духовного чина всяких подразделений: от протоиереев до дьяконов и даже ниже. Впрочем, это был уж общий недостаток отца, старшей тетки и дяди, что они не любили расспросов о степенях родства с дядей их протопопом Андреем Иванычем и другими лицами духовного ведомства. У отца же, кроме того, примешивалась специальная антипатия к поповичам, вынесенная им из университетского благородного пансиона. Рассказывая о своем пребывании в нем, он никогда не забывал упомянуть о том, как они, дворянчики, обязанные слушать последний год университетские

лекции, перебранивались на лестницах университета с настоящими студентами из поповичей, ходившими в его время в каких-то желтых нанковых брюках в сапоги и нелепых мундирах с желтыми воротниками.

Надо сказать правду, что и в это время, в 1828 г., некрасив был студенческий мундир: синий с красно-оранжевым воротником, он имел в себе что-то полицейское, и университетская молодежь почти никогда не носила его, ходя даже и на лекции в партикулярном платье.

Для отца, по старой памяти, понятие о студенте сливалось с понятием о поповиче. Притом же амбиция произвела в нем мгновенно родовую вспышку, и когда студент явился вечером, он принял его весьма сухо и, несмотря на его извинения, отказал от уроков...

Так и не удалось мне начать учиться в день преподобных Козьмы и Дамиана.

Опять по-старому принялась учить меня по складам мать, и так же точно по-старому дальше буки-рцы-аз ра-бра мы не подвигались.

Наконец в одни тоже осенние, но уже ноябрьские сумерки приехал младший товарищ отца по службе, секретарь Дмитрий Ильич[2] с женою, красивою и крайне веселою поповною, любимой ужасно моей матерью за живой и добрый характер и развлекавшей нередко своей болтовней ее ипохондрические припадки. Объявили они за чаем, что вслед за ними будет их «сродственник», отец Иван,[3] священник одного подмосковного села Перова, с сыном, молоденьким семинаристом,[4] только что вступившим в университет и, разумеется, на медицинский факультет. Точно, не позже как через час какой-нибудь прибыл отец Иван в треухе и заячьей шубе, рослый, но худой старик с значительной лысиной, оказавшейся по снятии треуха. За ним выступал робкою поступью, с потупленными долу очами, с розовыми щеками, юноша, чуть не мальчик, во фризовой шинели. Прехорошенький был он тогда, как я его помню... Меня — а я как теперь его вижу — не поразила даже особенная сахарная сладость его физиономии и масленистость глаз, которые заметил я уже впоследствии. Я даже не заревел.

Отец Иван и Дмитрий Ильич «осадили» в вечер графина с четыре ерофеичу на зверобое. Отец мой не пил с ними, ибо уже лет десять тому назад бросил «заниматься этим малодушеством, пить», но усердно их потчевал, был в духе, а когда он был в духе, он как-то невольно располагал всех к веселости, подшучивал над Сергеем Иванычем, — так звали моего будущего юного наставника. Юный наставник прикашливая по-семинарски, краснея, запинался в ответах; для придания себе «континенту» обратился он ко мне со спросом, как и чем я до него занимался. Я, помню, отвечал ему без малейшей запинки и весело потащил его в залу показывать мои игрушечные богатства. Он не мог скрыть своего изумления и отчего-то ужасно покраснел, увидавши мою младшую няньку.

Дело было порешено. С завтрашнего же дня Сергей Иваныч должен был перебраться к нам.

Начиналось мое «ученье»...

ДЕТСТВО

I

СЕМИНАРИСТ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

В настоящее время, когда,[1] т. е. не то, что вы думаете, — речь вовсе не идет ни о прогрессе, ни о благодетельной гласности, — в настоящее время, когда литература поднимает один за одним слои нашего общества и выводит один за другим разнообразные его типы, — тип семинариста и его обстановка выдвигаются тоже из бывалой неизвестности. Но это тип, изменяющийся с эпохами в своем цвете, хотя конечно имеющий общие, коренные основы сущности. Тип этот двоится, как все основные типы нашей бытовой жизни, и литература покамест разрабатывает, преимущественно в очерках г. Помяловского,[2] одну его сторону, сторону кряжевого человека, твердой ногою завоевывающего себе известное первенство в той или другой сфере жизни, тем или другим путем, положительным или отрицательным, это совершенно все равно. Выбор пути зависит здесь от обстоятельств времени и жизненной обстановки, хотя исходная точка деятельности есть всегда отрицание. На отрицании кряжевой семинарист воспитался. An non spiritus existunt?..* — дается ему задача; если она дана положительно, он говорит и должен сказать: nego,** и своей негацией, своим отрицанием добиться первенства в этом вопросе. Если бы школа давала тезис в отрицательной форме: spiritus non existunt,*** он негировал бы негацию и вместо того, чтобы быть матерьялистом и нигилистом, был бы идеалистом, e sempre bene! **** Кряжевой семинарист будет всегда жизненно прав, всегда одержит практически победу, ибо правы практически только смелые отрицатели: они помнят твердо, что gutta cavat lapidem,***** и бьют метко в одно место, не обращая ни малейшего внимания на другие, не увлекаясь ничем, кроме поставленного ими вопроса, — даже намеренно становятся глухи на все возражения мысли и жизни. Раз известный

---

* Существуют ли духи? *(лат.)*.
** отрицаю *(лат.)*.
*** духи не существуют *(лат.)*.
**** и превосходно! *(лат.)*.
***** капля долбит камень *(лат.)*.

взгляд улегся у них в известную схему, будет ли эта схема — хрия инверса,[3] административная централизация по французскому образцу, как у Сперанского, или фаланстера, как у многих из наших литературных знаменитостей,[4] — что им за дело, что жизнь кричит на прокрустовом ложе этой самой хрии инверсы, этого самого административного или социального идеальчика? Их же ведь ломали в бурсе, гнули в академии — отчего же и жизнь-то не ломать?..

Мрачными и страшными чертами рисует наша литература жизненную и воспитательную обстановку, приготовляющую практических отрицателей, обнажая ее беспощадно, до цинизма, бичуя без милосердия, — да милосердия эта обстановка едва ли и заслуживает. Пусть кричат от боли те, кому больно: крик их свидетельствует только, что бич бьет метко, бьет по чувствительным местам, — все равно они стоят бичевания. Ведь эта обстановка не почвой нашей, не народной жизнью дана: эта бурса так же точно нам навязана, как навязана административная централизация, навязана только раньше, может быть, незапамятно рано... Нечего ее жалеть: это не наша родная обломовщина, виноватая только разве тем, что не дает на себя сесть верхом штольцовщине...

Всем этим хочу я сказать, что литература, принявшаяся в настоящее время за разработку этого слоя нашей жизни и его типов, совершенно права в односторонности изображения. В самой жизненной среде тип являлся наиболее ярко только в своей отрицательно-практической манифестации, будет ли эта манифестация — великий Сперанский, деятель исторический, или в жизненных сферах процветавший Максютка Беневоленский[5] Островского... Парадоксальное и дикое сближение! скажут читатели. Больше чем парадоксальное и дикое, прибавлю, кощунственное сближение, ибо Сперанский, по крайней мере в первую эпоху своей деятельности, руководился возвышеннейшими стремлениями, а Максютка Беневоленский самодовольно треплет себя за хохол перед зеркалом по поводу весьма незначительного в истории обстоятельства, по поводу женитьбы, завершающей, впрочем, его завоевания в жизни; но ведь я нарочно и взял такие крайние грани, как исторический Сперанский и художественный Беневоленский, для того чтобы показать, какое важное значение имеет повсюду в нашей жизни этот тип кряжевого семинариста, бесстрашного отрицателя и завоевателя жизни.

Но у типа, как у всякого, преимущественно русского типа, есть другая сторона, другим образом проявляющаяся в жизни. Раздвоение типа есть, пожалуй, общечеловеческое, но у нас оно как-то нагляднее.

Есть, по глубокому слову, кажется, Занда, des hommes forts — люди сильные и des hommes grands — люди великие;[6] есть, по глубокому же замечанию одного из оригинальнейших и самостоятельнейших мыслителей нашей эпохи, Эрнеста Ренана, des pensées étroites — мысли узкие и des pensées larges — мысли широкие. «Только узкие мысли управляют миром»,[7] — прибавляет Ренан, и это совершенно справедливо... Если так же нельзя закончить мысль Занда, то можно все-таки найти в ней сродство с мыслью Ренана. Есть люди широкие; из них делаются или ве-

ликие люди, или Обломовы, и есть люди сильные, крепкие, кряжевые, из которых великие люди бывают, и даже часто, но Обломовы никогда. Они отдаются жизни и всем ее веяниям, и благо им, если они гении — представители веяний жизни; другие завоевывают жизнь и обладают ею. Одни не выполняют никаких преднамеренных целей, а смотря по тому, в какую пору они созданы, или отождествляются с самою жизнью, или личность их расплывается в жизни; другие каких-нибудь целей да достигают, целей Сперанского или целей Беневоленского: это зависит и от степени их силы и даровитости, и от эпохи, в которую они живут и действуют. Наша эпоха — я обращаюсь вновь от общего положения к судьбе типа, о котором я начал говорить, — выдвинула много таких кряжевых личностей с отрицательною, теоретическою задачею. Мне же лично эта сторона типа явилась уже в годы университетской юности, в могущественной и даровитой личности покойного Иринарха Введенского,[8] но никак не прежде.

Эпоха, в которую началось мое учение, все до самого университета шедшее под влиянием семинаристов, была не та, которой провозвестником явился потом Введенский и которой полные представители — Добролюбов и Помяловский.

Жизнь живет протестом, но у протеста в разные эпохи разные же точки отправления, разные мотивы, разные, так сказать, возбуждения. Полны были протеста и личности, окружавшие мое детство, но протест их не походил на теперешний. Все они были более или менее идеалисты, — точнее и цветнее сказать, — романтики всех сортов и подразделений, от романтиков буйных и прожигавших жизнь с неистовством русского человека до романтиков мечтательных и сладких; но во всяком случае это были люди, вполне отдававшиеся или по крайней мере поддававшиеся жизни. Характеристическая особенность этих людей в том, что, в противуположность теоретикам, отрицателям, централизаторам, они были все почти, и в особенности даровитые из них, страстные поклонники изящного, и другая особенность, что почти никто из них, и в особенности даровитые, не сделали никакой карьеры. Даже самые смирные из них по жизненному взгляду достигли разве-разве профессорства. Даровитые же, увлекавшиеся или прожигали жизнь, как один замечательный певец-дьякон, дошедший наконец до того, что расстригся, или становились подьячими «пивогрызами», не достигая даже целей Максютки Беневоленского, а тем менее умилительного спокойствия совести Акима Акимыча Юсова.[9]

Что же хорошего в этом типе? — спросит читатель, подметивший, может быть, в тоне моем особенное расположение к этому типу (что совершенно справедливо) и предположивший, пожалуй (что уже совершенно несправедливо), что я даю этому типу преимущество перед тем, который развился в особенности в настоящую эпоху. А вот, изволите видеть, что: во-первых, погибшие даровитые личности были все-таки страшно даровиты, и безумное буйство их сил свидетельствует, как хотите, о богатстве природы; немногие же уцелевшие и правильнее развив-

шиеся были полные, цельные люди, с деятельностью в высшей степени плодотворною. Довольно указать в этом случае хоть на покойного Петра Николаича Кудрявцева, который не виноват же тем, что он слишком рано стал покойником. Я указываю нарочно на личность, по поводу которой не может возникнуть ни сомнений, ни недоразумений ни в одном из наших лагерей и которую никак нельзя отнести к типу кряжевых семинаристов, хотя собственно Кудрявцев принадлежит к другому, позднейшему пласту, к пласту моих товарищей, а не руководителей по отношению к развитию. Кудрявцев был самый даровитый и гармонический из семинаристов-романтиков. В нем, несмотря на гармоничность и исключительность его природы, мелькали даже порою комические стороны типа сентиментального романтика, и одна злая, хотя дружеская эпиграмма[10] резко выразила эти комические черты в стихе: «Педант, вареный на меду. . .».

Но ни в ком, как мне кажется, комические стороны сентиментального романтизма не совместились так резко, как в моем юном наставнике.

Сергей Иваныч решительно весь был создан из сердца, и это сердце было необычайно мягкое и впечатлительное. Нервичность его была совершенно женская, и я решительно не понимаю, как этот человек мог быть на медицинском факультете, учиться анатомии, стало быть, резать трупы, да еще кончить курс лекарем первого отделения, даже с звездочкой, т. е. в числе эминентов.[11] Раз он упал в обморок, неосторожно обрезавши себе ноготь большого пальца и вообразивши, что у него сделается антонов огонь, о котором он только что прослушал, кажется, лекцию; другой раз — целая долгая история происходила по поводу того, что у него надобно было вырезать веред[12] под мышками. С этою женскою или, лучше сказать, бабьею мягкостью натуры соединялось самолюбьице совершенно петушиное и удивительно способное к самообманыванию. Настоящей страстности в нем не было, но зато был постоянный неугомонный зуд страстности, и зудил же он, зудил себя паче меры — и стихами, и прозой, и разными любвями, начинавшимися у него как-то по заказу и о которых я расскажу в следующей главе все, что помню, расскажу потому, что они характеризуют ту эпоху. В нем была также способность к энтузиазму, и пусть в нем она была дешева и кончилась ничем, на меня она хорошо подействовала. А впрочем, хорошо или дурно, — это бог знает.

В семье нашей и в домашнем быту была та особенность, что всякий, кто входил в нее более или менее, волею и неволею становился ее членом, заражался хотя на время ее особенным запахом, даже подчинялся, хоть с ропотом и бунтом, тому, что мы впоследствии называли с Фетом домашнею «догмою», развившеюся в позднейшее время до примерного безобразия, исключительности и самости. Дело вовсе не в том, что у нас был заведенный порядок — где же его не бывает? — нет, у нас постоянно все более и более узаконивались, становились непреложными вещи антирациональные, так что впоследствии посягнуть на священность и неприкосновенность прав на пьянство и буйство повара Игнатья было делом

не совершенно безопасным. Но так сделалось уже впоследствии... Сначала особенность нашего домашнего быта захватывала человека как-то полегче. Беда в том только, что если человек мало-мальски был мягок, он становился чем-то вроде домашнего шута.

И это вот почему. Отец мой, несмотря на свой замечательный ум и на достаточное, хотя внешнее и потому совершенно заглохшее без пользы для него и для других образование, был по натуре юморист, и юморист, как всякий русский человек, беспощадный. Собственно говоря, и щадить-то ему было нечего. Идеала жизненного и морального перед ним не стояло никакого: пласт людей, современных ему и тревожно искавших идеала, отыскивал его уже в это время, быть может, «в мрачных пропастях земли»,[13] а он принадлежал к благоразумному большинству. Это благоразумное большинство той эпохи оставило нам наивный и по наивности своей драгоценный памятник в «Дневнике студента».[14] Если читатели не знакомы с этой замечательной по своей безыскусственности книгою, советую им прочесть ее. Дух отцов наших, вызвавший пламенное бичеванье Грибоедова, дышит в ней.

Отец мой смеялся или, лучше сказать, потешался добродушнейшим образом над всяким чувством, любил натравливать на чувство всякого, в ком он подмечал какую-либо впечатлительность, и в моем наставнике имел для себя субъект, неоцененный по этой части, влюбляя его каждый месяц и разъяряя его ежедневно. Он даже чувствовал какую-то антипатию к личностям, сколько-нибудь серьезным и не поддававшимся на его удочку. Над Сергеем Ивановичем он имел огромное влияние, даже образовывал его по-своему, не замечая, что сам отстает, если не совсем отстал уже, от образования эпохи. Сергей Иваныч слушался его во всем, и в любовных своих похождениях и даже в костюмировке, тоже не замечая, по добродушию и самолюбию, что в любовных своих интригах он был его шутом, а в костюмировке и манерах мог избрать себе менее отсталого руководителя. Но посудите сами, как же было ему, семинаристу мягкого типа, крайне падкому до образования, не слушаться человека, который говорил по-французски и учился в благородном пансионе? Отец нередко вмешивался даже в его товарищеские связи, устраняя своим влиянием людей буйных, т. е. таких, которые мало были способны подчиниться его «асандану»[15] (это было одно из любимых его слов), и «протежируя» личности, оказывавшие любовь к тому, что считал он образованием.

Зато личности, «протежируемые» отцом и даже сколько-нибудь терпимые, ходили беспрепятственно во всякое время, имели право сидеть хоть во время класса и вообще целые дни до условного догматического часа. Догматический час, час, когда весь дом должен был спать de jure и когда de facto начинался полнейший разгул всякого блуда, пьянства и безобразия, постепенно шел к десяти часам вечера, но в ту пору было еще не так. В десять часов только что кончался день для посторонних. Сергей Иваныч шел из своей комнатки в спальню отца и матери и часто до часу читал им, а иногда даже и до двух. А моя детская была подле

спальни, и все я слышал, что читалось по ночам Сергеем Иванычем, как все слышал я, что читалось по вечерам отцом, ибо они чередовались.

Чтение было у нас поистине азартное в продолжение нескольких лет. Оно имело огромное влияние на мое моральное развитие. По распущенности ли, по неверию ли в то, что книжки дело серьезное, как будто не замечали, что я сижу в углу по вечерам, вместо того чтобы играть в игрушки, и не сплю ночи, слушая с лихорадочным трепетом «Таинства Удольфского замка», «Итальянца», «Детей Донретского аббатства» и проч. и проч.[16] И в конце концов я ведь глубоко благодарен моему воспитанию за то, что не обращали внимания на мое внимательное слушание. Я, слава богу, никогда не знал «детских книжек», и если глубоко ненавижу их, то, право, сам дивлюсь своей совершенно бескорыстной к ним ненависти. Мне их иногда и покупали, но не требовали, чтобы я читал их; пресыщенный игрушками, которыми я был завален, я вырезывал из них картинки.

Тоже и в первоначальном учении моем, несмотря на его безобразную беспорядочность, была своя хорошая сторона, и, может быть, именно эта самая безобразная беспорядочность. Собственно, учился я тогда мало, но сидел над ученьем... чрезвычайно много. То, что давалось мне легко, я, разумеется, вовсе не учил; то, что могло вдолбиться, несмотря на мою лень, при моих довольно счастливых способностях, как например латинский язык, которому начал я учиться с русской грамотой вместе, вдолбилось вследствие сиденья по целым дням в комнате Сергея Иваныча за гнусною книжкою грамматики Лебедева; то, к чему я вовсе не имел способностей, как математика, вовсе и не вдолбилось... ma tanto meglio.* А все же таки я, не прошедший «огня и медяных труб», бурсы и семинарии, — семинарист по моему первоначальному образованию, чем, откровенно сказать, и горжусь.

Помню я как теперь эту заднюю, довольно грязноватую, выходившую окнами на двор комнатку, отведенную для житья Сергею Иванычу и назначенную вместе с тем для нашего ученья, с ее ветхою мебелью, с дырявым и чернилами проеденным столом у окошка, с темнокожаным изорванным диваном — обиталищем мильонов клопов, с черепом на шкапу, необходимым атрибутом всякого студента-медика... Сколько слез лилось в ней по утрам над проклятыми арифметическими задачами и как весела она была для меня начиная с пяти и до десяти часов, когда ученья уж не было, когда я был в ней гостем, посреди других гостей Сергея Иваныча, студентов разных факультетов... Как дорого мне воспоминание о ней, об этой грязной комнатке в долгие сумерки, когда, бывало, Сергей Иваныч заляжет на дырявый диван и я свернусь около него клубочком. Свечей нет, он заставляет меня шарить у себя в его мягких, несколько кудреватых волосах, а сам если не фантазирует вслух о своих любвях, то рассказывает, и хорошо рассказывает, римскую историю, и великие личности Брутов и Цинциннатов, Камиллов и Мариев исполинскими призраками встают перед моим впечатлительным воображением...

* но тем лучше (*итал.*).

Вечная память этой грязной комнатке! Вечная память и тебе, мой добрый наставник, если ты уже умер, и дай бог тебе долгих дней, коли ты еще жив и не спился, а спиться — увы, по моему крайнему разумению, судя по данным твоей романтической натуры, — в захолустье одного из тех городов, которых черт «три года искал»,[17] куда судьба бросила тебя уездным лекарем, — ты должен был непременно.

II

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

Да! я хорошо тебя помню, продолговатая грязненькая комнатка, хотя ты никогда не называлась классною, а была просто помещением Сергея Иваныча; помню тебя во всякие часы дня, со всеми различными переменами декораций.

Зимнее утро чуть-чуть еще брезжит сквозь занавески моей кроватки, которую постоянно, в предотвращение последствий моей резвости до сна и нервной подвижности во сне, задвигали досками. Часов семь, а отец уже кашляет в соседней комнате, — значит, проснулся, но еще не встает, ибо у него была прекрасная и до старости уцелевшая привычка не будить людей до урочного часа, хотя он просыпался обыкновенно раньше. Но вот он встал, вот загремели чашки, вот, слышу я, глухой Иван вскочил с громом с залавка передней: сейчас, значит, самовар поставят. И я подаю знаки жизни. Младшая нянька моя, ибо старшая давно уже перешла в звание кухарки, обувает меня, одевает (а обували и одевали меня лет чуть не до тринадцати, пока наконец не застыдил меня дядя, о котором будет речь впереди).[1] Я иду к отцу здороваться, прочтя, разумеется, наперед молитвы, по-русски и по-латыни, по какому-то латинскому букварю. Затем наливается мне отцом большущая чашка чаю, в которую кладется такое огромное количество сахара, что и теперь тошнит при одном воспоминании, а тогда не тошнило. Отец по обыкновению молчалив, пока не напился чаю; затем начинает чем-нибудь дразнить меня, если в духе, и посылает чай Сергею Иванычу, приказывая будить его хорошенько; наконец, делает мне чай на целый день до вечера, ибо меня, как дитя дворянское и нежное, поили почему-то чаем, как теленка молоком... Я весел или не весел, смотря по тому, жаловался ли на меня накануне вечером Сергей Иваныч или не жаловался, что, впрочем, было всегда делом чистой случайности и расположения духа наставника, зависевшего более или менее от удачи или неудачи сердечных дел, ибо жаловаться на меня было всегда за что. Не весел я, впрочем, — если только не весел — вовсе не потому, чтобы отца боялся; его я точно боялся, до запуганности в редкие минуты его вспыльчивых припадков, которые могли обрушиться точно так же случайно и в одинаковой степени на меня, как и на кучера Василья, — но он сорвет сердце на ком-нибудь, да и дело с концом, на другой день ни о чем уже и помину нет, но мать — мать будет неумолчно и ядовито точить во все долгое время ее чая

и не менее долгое же время чесанья волос моих частым гребнем, прибирая самые ужасные и оскорбительные для моей гордости слова... Вот и мать встает, я подхожу к ее постели или с трепетом или без трепета, опять смотря по тому, пожаловался ли на меня Сергей Иваныч за лень, пожаловались ли на меня или нет хозяйские барышни за неприличные шалости. Розги я не знал никогда; меня только раз постращали ей, да и то за то, что я наклеил на подол хозяйской горничной бумажку с именем Ивана глухого — ее любовника... Кончены наконец предварительные муки раннего утра до девяти часов. От нравственного и головного чесанья бегу я как «алалай» [2] в комнату Сергея Иваныча...

Но и тут не легче. Строг и мрачен Сергей Иваныч по утрам, т. е. или напускает на себя строгость и мрачность, или действительно печален от какой-либо неудачи. В последнем случае — беда: все исключения третьего склонения потребует и ужасную арифметическую задачу задаст, а выучить из священной истории строк сколько!.. Задаст он урок и уйдет часа на три в университет... а ты тут без него сиди в столовой у окошка да долби, или хоть не долби, а сиди над книжкою. Мать, бранясь в соседней комнате то с глухим Иваном или за то, что он вечно «как мужлан» охапку дров брякнет об пол или соловья окормил гречневою кашею, которая, впрочем, по его возражению, сама в клетку прыгнула, или с Лукерьей, которую постоянно и поедом ела она за грехи против целомудрия, или с старой нянькой моей Прасковьей, призываемой нарочно в важных случаях из кухни, — мать моя, занимаясь, одним словом, хозяйственными заботами, строго наблюдает, чтобы я до кофею и после кофею сидел за уроком. Ну и сижу я. Священную историю, я знаю, что слово в слово ни за что не выучу; арифметическую задачу и пытаться решать нечего; в третьем склонении я уж наверно собьюсь и просклоняю iter — iteris, а не itineris... Штука скверная, но «грозен сон, да милостив бог!» — пробежаться в кухню для прохлады и воздуха... Там уж Василий собирается, вероятно, лошадь закладывать, за отцом в присутствие ехать, и покамест подкрепляет свои жизненные силы; от него всегда услышишь что-либо новое и обогатишь свои познания в непечатной речи, а тут, пожалуй, в сенях горничная хозяев всунет в руку записочку Сергею Иванычу от старшей хозяйской дочери, а пожалуй, и сама Софья Ивановна урвалась от строгой матери и мимолетом шепчет: «Скажите, Аполлоночка, что я в пять часов на галерею на минуту выйду...». Но бывали времена после нескольких сряду повторявшихся жалоб Сергея Иваныча на леность, что мать и прохладиться сбегать не позволяет и зорко следит за тем, чтобы я сидел у окна с книжкой. Тогда я все-таки не урок учу, а мечтаю; целые романы создаются в моем воображении до того живо, хоть и нескладно, что я умиляюсь и плачу над создаваемыми мною пленными или преследуемыми красавицами и героическими рыцарями. Мечты свои я держу в глубочайшей тайне от всех, даже от Сергея Иваныча, держу в тайне, потому что мне самому совестно и стыдно, а совестно и стыдно, потому что я сам являюсь тут героем, и ведь сознаю, что в мои лета еще неприлично так мечтать. Хит-

рость, орудие раба, рано во мне развивается, и я показываю всегда вид, что ничего неприличного не понимаю. Да и точно, не понимаю я вполне, но что-то странное смутно предугадываю и, хоть мне еще семь-восемь лет, что-то странное смутно чувствую подле женщин... На беду еще, в этот год гостила у нас неделю дочь соседки отца по деревне. Ее отпустили к нам из пансиона, и она была уже девочка лет одиннадцати, прехорошенькая брюнетка, вострая и живая: неделя жизни с нею, неделя, в которую и мне дали полнейший отдых от ученья, догадавшись, может быть, что я одурел от него, неделя эта промелькнула как сон, но чем-то теплым и даже сладким отзывается память о ней, об этой неделе, об играх в горелки рука с рукою с Катенькой, об играх в гулючки, когда мы с Катенькой прятались в одном месте и, прижимаясь друг к другу, таили дыхания, чтобы нас не было слышно; об осенних сумерках вдвоем на одном кресле с нею, когда что-то колючими и сладкими искрами бегало по моему составу. И, разумеется, в создаваемых детским воображением романах пленная красавица — Катенька и рыцарь — я. Но повторяю: никто этого не знает... Если я теперь могу в этом признаться — то ведь, право, я — как и все, вероятно, — обязан этим Толстому, обязан новой эпохе.

В нашей эпохе не было искренности перед собою; немногие из нас добились от себя усиленным трудом искренности, но боже! как болезненно она нам досталась. Даже в Толстом, который одной ногою все-таки стоит в бывалой нашей эпохе, очевидны следы болезненного процесса.

Но возвращаюсь к моему дню того времени. Из университета Сергей Иваныч приходил то раньше, то позже, смотря по количеству лекций. Редко ходил он туда в вицмундире, товарищей же его, таких же как он студентов, я никогда и не видывал в вицмундирах; мундиров же ни у него, ни у них и в заводе, кажется, не было... Если он приходил рано, часу в первом, прослушание уроков совершалось до обеда, т. е. до приезда отца из присутствия; если поздно, то вечером часов в шесть, после чаю. Вообще же положенных часов на класс у нас не было, да и самого слова «класс» не употреблялось, и если я ненавижу классный порядок и классную дисциплину, как и детские книги, то это опять-таки бескорыстно, по своей фрондерской натуре. Если у меня было какое-либо поручение от Софьи Ивановны, то я являлся, не зная никогда урока, с смиренномудрым и вместе наглым видом; если нет — корчил плачевную физиономию и плачевно подавал сумбур цифр вместо арифметической задачи, нахально врал iter — iteris и неисправимо смешивал Иеровоамов с Ровоамами, Ахавов с Иосафатами. Не знаю почему Сергей Иваныч постоянно всем и всегда говорил, что у меня блестящие способности и отличное сердце: уроков я не знал положительно никогда, а прекрасное сердце мое выражалось только в упорном нахальстве вранья и в обильных токах дешевых слез... Дело, кажется, в том, что Сергей Иваныч, хоть и один из честнейших и простодушнейших юношей той эпохи, учить вовсе не умел, или нет, не то что не умел, — может быть, и умел бы, если бы отрекся от метод, по которым сам учился... Но на эти методы

он не смел посягнуть. Как его учили, так он и меня учил: ему задавали «от сих до сих», и он задавал; ему вдолбили лебедевскую грамматику со всеми задачами, он и мне ее вдалбливал — но увы! — он не догадывался, что я давно открыл источники разных задаваемых им латинских тем в «гнусной книжке» «De officiis,*[3] хотя, задавая задачи, он отходил с нею в уголок, а уходя в университет, запирал ее в один из ящиков кровати, к которому давно подобрал я ключ и который впоследствии просветил меня насчет многих таинств природы, когда в нем завелись некоторые красками иллюминованные изображения... а все-таки, как бы то ни было, а лебедевская грамматика вдолбилась так, что в латинских разговорах Сергея Иваныча с товарищами мало было для меня непонятного, и, разумеется, в особенности понятно было то, чего понимать мне не следовало. Розанова лексикон [4] был лексикон нецеремонный.

Наконец отец возвращался из присутствия часам к двум, коли не было каких-либо срочных дел или ревизии. Начиналось священнодействие, называемое обедом...

Да! у нас именно это было священнодействие, к которому приготовлялись еще с утра, заботливо заказывая и истощая всю умственную деятельность в изобретении различных блюд. Не здесь еще место говорить о том безобразии, до которого доходило в нашем быту служение мамону... Оно дошло до крайних пределов своих в другую эпоху, эпоху моего отрочества и ранней юности...

Кончался обед, и опять после маленького промежутка начиналось наше учение, длившееся более или менее не по степени моих успехов, а по степени вины, так что оно всегда являлось в виде наказания. Странная система, конечно, но дело в том, что это все делалось не по системе, а *так*.

Вечер, то есть обычный вечер, повседневный вечер, проводим был мною на ковре в зале, где, окруженный дворовыми и пресыщенный своими игрушками, я находил, разумеется, более интереса в живых людях, меня окружавших, в их радостях и печалях... в играх с ними в карты, особенно в так называемые *короли*, а втихомолку и по *носкам*, причем я обижался, если мой барский нос щадили, когда он провинился, — в играх в жмурки, гулючки и проч. Но нередко все это мне наскучивало: какая-то странная, болезненная тоска томила меня...

В девять часов люди обыкновенно уходили ужинать и ужинали обыкновенно долее часу; все это время я сидел в столовой, где уже происходило чтение разных романов Анны Радклиф или г-жи Коттен.[5] В десять меня укладывали, но чтение продолжалось в соседней комнате, и я никогда не засыпал до конца его, то есть до часу или до двух ночи.

То был особый мир, особая жизнь, непохожая на эту действительность, жизнь мечты и воображения, странная жизнь, по своему могущественному влиянию столь же действительная, как сама так называемая действительность.

---

* «Об обязанностях» *(лат.)*.

III

ТОВАРИЩИ МОЕГО УЧИТЕЛЯ *

Да! я помню, живо помню тебя, маленькая, низкая проходная комната моего наставника, с окном, выходившим на «галдарейку», над которой была еще другая «галдарейка», галдарейка мезонина и мезонинных барышень, хозяйкиных дочерей, — комната с полинявшими до крайней степени бесцветными обоями, с кожаной софою, изъеденной бесчисленными клопами, и с портретом какой-то «таинственной монахини» в старой рамке с вылинявшею позолотою над этой допотопною софою... Под вечер Сергей Иванович, пока еще не зажигали свечей, в час «между волка и собаки»,[1] ложился на нее — и я тоже подле него. Он обыкновенно запускал свою очень нежную и маленькую руку в мои волосы, играл ими и рассказывал мне древнюю историю или фантазировал на темы большею частию очень странные. До неестественности впечатлительный, он не бесплодно слушал отцовское (т. е. моего отца) чтение романов Радклиф или Дюкре-Дюмениля: ему самому все хотелось стать героем какой-нибудь таинственной истории — и почему-то к этой таинственной или просто нескладно дикой истории он припутывал и меня.

Но о нем и его странных беседах со мною — после.

Комнатка под вечер становилась почти каждый день местом сходки студентов, товарищей моего учителя. Его когда-то любили, хоть он и не блистал особенной талантливостью, и к нему ходили, потому что он сам редко выходил из дому. Он вообще долгое время был поведения примерного.

Он был, как я уже сказал, очень молод и, главное, мягок как воск. Кроме того, отец его и его родные отдали его в семейный дом, известный столько же строгостью нравов, сколько радушием и хлебосольством, отдали, так сказать, «под начало» к человеку, который в своем круге считался в некотором роде светилом по уму и образованию и даже по-французски говорил нередко с советниками губернского правления или с самими вице-губернаторами, производившими каждый год так называемую «ревизию» в весьма низменном и невзрачном тогда месте, называвшемся Московским магистратом.[2]

Мой отец действительно имел на своих товарищей, и уже тем более на молоденького семинариста, то, что называл он «асандан»... Да и любил же он, покойник, и употреблять (нередко злоупотреблять) и показывать этот «асандан»... Умный и добрый по природе, он основывал свой, этот милый сердцу его, «асандан» не на уме и доброте, а на плохом французском языке да на лоскутьях весьма поверхностного образования, вынесенного им из университетского благородного пансиона... Кроме того,

* Так как воспоминания мои связаны только хронологическим порядком и притом этот отдел их начинается прямо с очерка литературной поры тридцатых годов, то я не считаю нужным ссылаться на начальные главы, в которых очертил я впечатления младенчества.

крепко засела в его натуру, да и в натуру всех членов нашего семейства, честь дворянского сословия, может быть, именно потому крепко засела, что происхождение ее, этой сословной чести, не терялось в неизвестности, как источники Нила,[3] — а просто-напросто сказывалось родством из духовенства по мужеской линии да вольноотпущенничества по женской.[4]

И странное это дело! Ну добро бы отец, несмотря на свой ум, все-таки человек весьма прозаический, был заражен этой сословною честью! Старшая тетка, экзальтированная до понимания многих возвышенных вещей, с увлечением читавшая Пушкина и с жаром повторявшая «Исповедь Наливайки»,[5] — и та скрывала от себя источники нашего Нила, а дядя — впечатлительный головою до всяческого вольнодумства — терпеть не мог этих источников. Я ведь вот уверен, что если эти страницы и теперь попадутся моей старшей тетке, которая и сама, может быть, не подозревает, как много она имела влияния на мое отроческое развитие своей, по формам странной, но страстной и благородной экзальтацией, — я уверен, говорю я, что моя плебейская искренность и теперь даже сделает на нее очень неприятное впечатление.

Всю эту речь вел я к тому, чтобы объяснить свойство того «асандана», который имел мой отец на моего наставника и которым обусловливалось многое, почти что все в обстановке жизненной этого последнего, — обусловливалось уже всеконечно и его товарищество. Живя в семейном доме, и притом почти как член семьи, откармливаемый на славу и хотя вознаграждаемый денежно весьма скудно, но не имевший возможности найти себе что-либо повыгоднее, — он, конечно, должен был хотя-нехотя сообразоваться со вкусами и привычками дома.

Кто ходил к нему, тот большею частию становился общедомашним знакомым, стало быть, так или иначе приходился «ко двору», а кто ко двору не приходился, тот, наверно всегда можно было сказать, ходил недолго.

А между тем университет, к которому принадлежал мой юный наставник, был университетом конца двадцатых и начала тридцатых годов, и притом университет Московский — университет, весь полный трагических веяний недавней катастрофы и страшно отзывчивый на все тревожное и головокружительное, что носилось в воздухе под общими именами шеллингизма в мысли и романтизма в литературе, университет погибавшего Полежаева и других.[6]

Я бы мог по источникам той эпохи, довольно близко мне знакомым, наговорить много об этом тревожном университетском поколении, но я поставил себе задачею быть историком только тех веяний, которые сам я перечувствовал, передать цвет и запах их, этих веяний, так, как я сам лично припоминаю, и в том порядке, в каком они на меня действовали.

Ясное дело, что ни с Полежаевым, ни с кругом подобных этой вулканической личности людей мой Сергей Иванович не был и не мог быть знаком, как по своей мягкой и ослабленной натуре, так и по своей обстановке, по свойству того «асандана», которому он подчинился.

Ему это, впрочем, и тяжело-то особенно не было. «Романтизм» коснулся его натуры только комическими сторонами, т. е. больше насчет чувствий, да разве изредка насчет пьянства, но ни стоять по вечерам на тротуарных столбиках перед окнами низеньких домов Замоскворечья, ни даже изредка предаваться пьянству «асандан» не воспрещал ему нисколько. Похождения его «асанданом» даже поощрялись, потому что служили немалою потехою в однообразной домашней жизни. А пьянство — как известно всем, «даже не учившимся в семинарии», — и пороком-то вообще не считается в обычном земском быту...

Буйства, буйства в различных его проявлениях, неуважения к существующему боялся мой отец... Вот чего!.. Запуганный сызмальства кряжевым деспотизмом кряжевого человека, каков был мой дед, хоть не физически, но морально забитый до того, что из благородного пансиона никаких впечатлений не вынес он, кроме стихотворения

Танцовальщик танцовал,
А сундук в углу стоял; [6а]

никаких воспоминаний, кроме строгости инспектора, барона Девильдье, — разошедшийся почти тотчас же по выходе из заведения с товарищами, из которых многие стали жертвою катастрофы, и ошеломленный этою катастрофою до ее положительного непонимания, — он если не был убежден в том, что

Ученость — вот чума, ученость — вот причина! [7] —

то зато вполне чувствовал глубокий смысл пословицы, что «ласково телятко две матки сосет», — и как рассудочно-умный человек инстинктивно глубоко разумел смысл нашей общественной жизни, где люди делились тогда очень ярко на две категории: на «людей больших» и «людей маленьких»... Ну, большому кораблю большое и плавание, — а маленькие люди всячески должны остерегаться буйства.

Буйные люди, стало быть, не ходили к моему наставнику, а ходили всё люди смирные: только некоторые из них в пьяном образе доходили до сношений более или менее близких с городскою полициею, да и такие были, впрочем, у отца на дурном замечании и более или менее скоро выпроваживались то тонкою политикою, то—увы! в случае внезапных приливов самодурства — и более крутыми мерами, от строгих увещаний Сергею Ивановичу до зверообразных взрывов, свойственных вообще нашей, весьма взбалмошной, хоть и отходливой сердцем породе.

Но смирным, «нежным» сердцам отец нисколько не мешал. Напротив, сам, бывало, придет, балагурит с ними, неистощимо и интересно рассказывает предания времен Екатерины, Павла, двенадцатого года, сидит чуть не до полночи в табачном дыму, от которого, бывало, хоть «топор повесь» в воздухе маленькой комнатки, — а поймает некоторых, так сказать, своих любимцев и в парадные комнаты позовет — и «торжественным», т. е. не обычным, чаем угощает часов в семь вечера...

Потому точно: люди все были подходящие и уступчивостью и добрыми правилами отличались. Многие даже приятными талантами блистали — и гитара переходила из рук в руки, и молодые здоровые голоса, с особенною крылосною грациею и с своего рода меланхолиею, конечно, более, так сказать, для шику на себя напущенною, воспевали или:

Под вечер осенью ненастной
В пустынных дева шла местах,[8]

или «Прощаюсь, ангел мой, с тобою...»,[9] или — с особенною чувствительностию:

Не дивитесь, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался,[10]

на известный глубоко задушевный народно-хохлацкий мотив, на который доселе еще поется эта песня Раича во всякой стародавней «симандро» (семинарии) и «Кончен, кончен дальний путь...» [11] во всякой лакейской, если лакейские еще не совсем исчезли с лица земли... Отец мой — и это, право, было очень хорошее в нем свойство, как вообще много хороших свойств выступит в нем в течение моего правдивого рассказа, — любил больше заливные народные песни, но с удовольствием слушал и эти, тогда весьма ходившие в обороте романсы. Мать моя также в свои хорошие минуты до страсти любила музыку и пение.

Все это было прекрасно, и хорошая нравственность молодых людей, и кротость их, и их песни, и их невинные, приличные возрасту их амурные похождения, которые отец, начинавший уже жить в этом отношении только воспоминаниями, выслушивал с большим любопытством, приговаривая иногда светское присловие: «знай наших камышинских», и которые я, притаившись во тьме какого-нибудь уголка, подслушивал с странной тревогой... Все это было прекрасно, повторяю, — и отец, сберегая Сергея Иваныча от людей буйных и удовлетворяя собственному вкусу к мирным нравам, имел, без сомнения, в виду и во мне развить добрую нравственность, послушание старшим, необходимую житейскую уступчивость и другие добродетели.

Но есть в беспредельной, вечно иронической и всевластной силе, называемой жизнию, нечто такое, что постоянно, злокозненно рушит всякие мирные Аркадии; есть неотразимо увлекающие, головокружащие вихри, которые, вздымая волны на широких морях, подымают их в то же время на реках, речках, речонках и даже ручейках — не оставляют в покое даже болотной тины, — вихри мысли, взбудораживающие самую сонную тишь, вихри поэзии, как водопад, уносящие все за собою... Вихри мирового исторического движения, наконец, оставляющие за собою грозные памятники ломки или величавые следы славы.

Вот ведь во всем этом кружке товарищей моего Сергея Иваныча были только, собственно, две личности, которые всурьез принимали жизнь

и ее требования. Одна из этих личностей, глубоко честная, глубоко смиренная личность,[12] которой впоследствии я был обязан всеми положительными сведениями, — пошла нести крест служения науке с упорством любви, с простотою веры. Другая, сколько я ее помню, тем отнеслась сурьезно к требованиям жизни, что наивно, искренно и беззаветно прожигала жизнь до буйства и безобразия, до азарта и цинизма... Все другие осуждены были явным образом на то, чтобы прокиснуть, медленно спиваясь или медленно погружаясь в тину всяческих благонравий.

Но каким образом и этот кружок посредственностей задевали жизненные вихри, каким образом веяния эпохи не только что касались их, но нередко и уносили за собою, конечно только умственно. Ведь дело в том, что если оживлялась беседа, то не о выгодных местах и будущих карьерах говорилось... Говорилось, и говорилось с азартом, о самоучке Полевом и его «Телеграфе» с романтическими стремлениями; каждая новая строка Пушкина жадно ловилась в бесчисленных альманахах той наивной эпохи; с какой-то лихорадочностью произносилось имя «Лорд Байрон»... из уст в уста переходили дикие и порывистые стихотворения Полежаева... Когда произносилось это имя и — очень редко, конечно — несколько других, еще более отверженных имен,[13] какой-то ужас овладевал кругом молодых людей, и вместе что-то страшно соблазняющее, неодолимо влекущее было в этом ужасе, а если в торжественные дни именин, рождений и иных разрешений «вина и елея» компания доходила до некоторого искусственно приподнятого настройства... то неопределенное чувство суеверного и вместе обаятельного страха сменялось какою-то отчаянною, наивною симпатиею — и к тем речам, которых

значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно,[14]

и к тем людям, которые или «жгли жизнь» беззаветно, или дерзостно ставили ее на карту... Слышались какие-то странные, какие-то как будто и не свои речи из уст этих благонравных молодых людей...

Каким образом даже в трезвые минуты передавали они друг другу рассказы об их, страшных им товарищах, отдававших голову и сердце до нравственного запоя шеллингизму или всю жизнь свою беснованию страстей! Ведь все они, благонравные молодые люди, знали очень хорошо, что отдача себя в полное обладание силе такого мышления ни к чему хорошему повести не может. Некоторые пытались даже несколько юмористически отнестись к философскому или жизненному беснованию — что, дескать, «ум за разум у людей заходит» — и все-таки поддавались лихорадочно обаянию.

Не «Вестник Европы», а «Телеграф» с его неясными, но живыми стремлениями жадно разрезывала эта молодежь... не профессоров старого закала слушала со вниманием, а фанатически увлекалась, увлекалась до «аутос эфе»,[15] широтою литературных взглядов Надеждина (то-

гда еще высказываемых им только на лекциях), фантастическим, но много сулившим миропостроением Павлова,[16] в его физике, и, так как эта молодежь, почти что вся, за исключением одного, будущего труженика истории,[17] была молодежь медицинская, увлекалась пением своей сирены,[18] Дядьковского... Это имя всякий день звучало у меня в ушах; оно было окружено раболепнейшим уважением, и оно же было именем борьбы живой, новой науки[19] с старою рутиной... Не могу я, конечно, как не специалист, хорошо знать заслуги Дядьковского, но знаю то только, что далеко за обычный звонок простирались его беседы и что эти люди все без исключения заслушивались его «властного» слова, как впоследствии мы, люди последующего поколения, тоже далеко за урочный звонок жадно приковывались глазами и слухом к кафедре, с которой — немножко с резкими эффектами, немножко, пожалуй, с шарлатанизмом звучало нам слово, наследованное от великого берлинского учителя...[20]

Каким образом, повторяю еще, людей, которых ждала в будущем тина мещанства или много-много что участь быть постоянными «пивогрызами», тогда всевластно увлекали веяния философии и поэзии, новые, дерзкие стремления науки, которая гордо строила целый мир одним трансцендентальным мышлением из одного всеохватывающего принципа.

Соблазн, страшный соблазн носился в воздухе, звучавшем страстно сладкими строфами Пушкина. Соблазн рвался в нашу жизнь вихрями юной французской словесности... Поколение выросшее не искало точки покоя или опоры, а только соблазнялось тревожными ощущениями. Поколение подраставшее, надышавшись отравленным этими ощущениями воздухом, жадно хотело жизни, страстей, борьбы и страданий.

IV

НЕЧТО ВЕСЬМА СКАНДАЛЬНОЕ О ВЕЯНИЯХ ВООБЩЕ

Если перенестись мысленно за каких-нибудь тридцать с небольшим лет назад, то даже человеку, который сам прожил эти тридцать лет, станет вдруг как-то странно, точно он заехал в сторону, где давным-давно уже не бывал и где все, однако, застыло в том самом виде, в каком было оно им оставлено, — так что, присматриваясь к предметам, он постепенно с большею и большею ясностию воспроизводит свои бывалые впечатления от предметов, постепенно припоминает их вкус, цвет и запах, хотя вместе с тем и чувствует очень хорошо, что эта уже отшедшая жизнь поднимается перед ним каким-то фантастически-действительным маревом.

Но еще страннее должно быть отношение к этой отжившей полосе жизни человека иного, позднейшего поколения, когда он видит перед собою только мертвые, печатные памятники ее, да и то, конечно, далеко не все... да, может быть, и не те даже, в которых та отжившая пора сказалась безоглядочно и непосредственно, вышла перед почтеннейшую публику не во фраке и перчатках, а по-домашнему, как встала, правой или левой ногой с постели.

Еще не далее как вчера вечером, о мой милый Горацио Косица,[1] беседуя с тобою после концерта, где слышали мы 2-ю симфонию старого мастера,[2] который, творя ее, еще не оглох для современной и предшествовавшей ему *столовой камерной* музыки, но уже горстями посеял в нее и свои глубокие думы и свои пантеистические созерцания жизни, пытаясь разъяснить смысл этих очевидных «схваток» чего-то глубоко серьезного и тяжелого, звучащих неожиданными взвизгиваниями скрыпок и виолончелей в allegro patetico, доискиваясь или, лучше, дорываясь значения замедленных тактов в финале, тактов, явно заклейменных какою-то мрачною и важною думою, тактов, снова, хоть не так уже определенно-резко, возникающих в последующем развитии музыкальной ткани, — еще вчера, говорю я, мы договорились с тобою опять до тех веяний, которые так смешны нашим современным мыслителям.

Смешны-то они им смешны, в этом спору нет ни малейшего, равно как нет спору и о том, что умственная жеванина, которой кормят они своих адептов, несравненно доступнее, чем наши трансцендентальные бредни, но тем не меньше (я ведь совершенно согласен с началами, выражающимися в твоем последнем письме[3]), если трансцендентальные мысли возникают в мозгу «выродившихся обезьян», которых невежды, не читавшие Молешотта и иных мудрых, обычно зовут людьми, то нельзя не послать их к «тем особам», с которыми познакомил Фауста ключ Мефистофеля,[4] а если нельзя, то мы с тобою имеем полное право дожить свой век трансценденталистами. Да и то, правду сказать, если бы мы с тобою, устыдясь в некотором роде своей несостоятельности перед великими современными мыслителями, сказали который-нибудь один другому, как Фамусов Чацкому:

Ты завиральные идеи эти брось,

то, вероятно, мгновенно расхохотались бы, как римские авгуры.[5] Потому трансцендентализм — в своем роде «зарубки Любима Торцова»:[6] попадешь на «эту зарубку, не скоро соскочишь».

Да и совсем даже не соскочишь. Есть у меня приятель,[7] которого и ты знаешь, человек поколения, так сказать, среднего между трансценденталистами и нигилистами, совершенно удовольствовавшийся отрывочными психологическими кунштиками[8] Бенеке, которые столь мало нас с тобою интересуют. Он поведал как-то раз в искренней беседе один свой собственный психологический опыт, весьма любопытный и даже назидательный. Он принимался читать «Систему трансцендентального идеализма» Шеллинга с решимостью «проштудировать» его основательно для доставления себе определенных понятий об этом хотя и отжившем, но все-таки важном в истории мышления философском учении. Ну, как тебе известно, отжившее учение сразу ошарашивает человека по лбу известного рода распутием, потребностью — вывести или все мироздание из законов сознающего *я*, или сознающее *я* из общих законов мироздания. Конечно, это в сущности все равно, почему и является философия тождества, но распутие на первый раз огорошивает, как та стена, на которую жалуется, например, последний герой нашего друга Федора Достоев-

ского.[9] Усердно штудировал и пристально читал мой приятель, с тем же усердием и пристальностью, с какими одолевал он «психологические скиццы» [10] и другие умственные мастурбации Бенеке. Начал он уж переваривать и тот процесс, в котором из нашего непосредственного, так сказать, объективного, еще слитого с предметом познавания *я* выделяется *я* сознающее, в котором из этого сознающего внешний предмет *я* выделяется еще *я*, которое уже подымается вверх над сознающим внешние предметы *я* — и в некотором роде судит это самое, сознающее внешние предметы *я*, в котором, наконец... Но тут мой крайне осторожный, рассудительный и весьма не пренебрегающий жизненным комфортом приятель схватился в пору, догадался, что соприкоснулся сфере, в которой начинается поворот головою вниз, что из этого судящего *я*, производящего суд и расправу, по каким-либо признанным правилам выделится еще, пожалуй, после многих выделений, уже такое *я*, которое никаких правил, кроме тождества с мировою жизнию, знать не захочет, *я* трансцендентальное, весьма опасное и безнравственное.

И благоразумный приятель мой закрыл зловредную книгу и таким образом сохранил для отечества полезного члена, хорошего отца семейства, изредка только, в видах необходимого жизненного разнообразия, дозволяющего себе некоторые загулы, наконец, деятеля в литературной области, который, как «дьяк, в приказе поседелый»,[11] может

Спокойно зреть на правых и виновных,

не увлекаясь и не впадая в промахи в своих суждениях, — чем всем мы никогда не будем с тобою, о мой Горацио!

В самом деле, что это за страстность такая развита в нас с тобою, что за неправильная жила бьется в нас, людях «трансцендентальной» закваски, что нам ужасно скучно читать весьма ясного и методом естественных наук идущего Бенеке и не скучно ломать голову над «Феноменологией духа».[12] Да не то, что скучно Бенеке читать, а просто невероятных усилий стоило; если не тебе, писавшему магистерскую диссертацию о каких-то никому, кроме микроскопа, неведомых костях инфузорий [13] или о чем-то столь же неподобном, — я ведь наглый гуманист и сам знаю, что ужасные невежества луплю; если не тебе, говорю я, то мне невероятных усилий стоило ловить за хвосты идеи Бенеке, например, — да и тут оказывалось, что ловлей я занимаюсь совсем понапрасну, что, по мнению моего бенекианца, совсем я не тем, чем следует, занимаюсь, что общего хвоста, из которого бы пошли, как из центра, эти маленькие хвостики, как живые змейки, я искать совсем не должен, потому, дескать, и зачем он? — всеохватывающие, дескать, принципы оказались совсем несостоятельными.

Да позволено будет мне в этой совершенно скандальной и неприличной эксцентрической главе — перескакивать, как я хочу, через время и пространство, предупреждать первое и совершенно забывать о существовании второго...

Вот мне на память пришло то время, когда, вняв советам моего благоразумного друга, я со рвением, достойным лучшей участи, принялся «штудировать» психологические скицы. Не потому я принялся их со рвением «штудировать», чтобы особенно подействовал на меня друг мой своими беседами. Друг мой, точно, очень красноречиво толковал о параллелизме психических и соматических явлений, о заложениях и душевных образованиях; друг мой даже с прекрасными и очень умными дамами вел эти беседы — и, конечно, не без успеха, хотя, к сожалению, сей успех был вовсе не научный, — ибо прекрасные и умные дамы, слушая его, смотрели более на его тогда чрезвычайно яркие и голубые глаза и от логического красноречия его делали совсем нелогическую посылку к другим, так сказать, более низменным свойствам его натуры, но дамы вообще уж все таковы и от таких посылок едва ли избавит их даже стрижка кос и рассуждения о женском труде... Меня-то не красноречие друга моего увлекало — и даже не сам он, а — опять-таки то «веяние», которого он в ту пору был одним из энергических представителей.

Это было в эпоху начала пятидесятых годов, в пору начáла второй и самой настоящей моей молодости, в пору восстановления в душе новой или, лучше сказать, обновленной веры в грунт, почву, народ, в пору воссоздания в уме и сердце всего непосредственного, что только по-видимому похерили в них рефлексия и наука, в пору надежд зеленых, как цвет обертки нашего милого «Москвитянина» 1851 года... Я оживал душою... я верил... я всеми отправлениями рвался навстречу к тем великим откровениям, которые сверкали в начинавшейся деятельности Островского, к тем свежим ключам, которые были[14] в «Тюфяке» и других вещах Писемского да в ярко талантливых и симпатических набросках покойного И. Т. Кокорева; передо мной, как будто из-под спуда,[15] возникал мир преданий, отринутых только логически рефлексиею; со мной заговорили вновь, и заговорили внятно, ласково, и старые стены старого Кремля, и безыскусственно высокохудожественные страницы старых летописей; меня как что-то растительное стал опять обвевать, как в года детства, органический мир народной поэзии. Одиночеством я перерождался, — я, живший несколько лет какою-то чужою жизнию, переживавший *чьи*-то, но во всяком случае не свои, страсти — начинал на дне собственной души доискиваться собственной самости.

Веяние новой поры влекло меня с неодолимою силою. Есть для меня что-то наивное до смешного и вместе до трогательного в той фанатической вере, с которой я рвался вперед, как все мы, все-таки рвался вперед, хоть и думали мы — что возвращаемся назад... Такой веры больше уж не нажить, и хоть глупо жалеть об этом, а жаль, что не нажить! Хорошо было это все, как утренняя заря, как блестящая пыль на лепестках цветов...

Фанатик до сеидства,[16] я готов был каяться, как в грехе каком-нибудь, в своем трансцендентальном процессе, от него, доставшегося душе не дешево, способен был отрицаться, как «от сатаны и от всех дел его»... Но увы! две вещи оказались скоро очень явными: первое дело, что, раз дойдя

до того пункта, на котором, по соображению моего приятеля, натура поворачивается вверх тормашкой, — остается повторять с поэтом:

> Per me si va nell'eterno dolore...
> Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate! * [17]

а второе дело, что психологические мастурбации Бенеке столь же мало шли к новому веянию жизни, как «к корове седло»... Бенеке попал в «кружок» совсем случайно, и если представителей кружка петербургские критики стали скоро упрекать в «заложениях»,[18] то совсем не в тех, какие разумеются в «психологических скиццах» и других сочинениях ученого психолога (философом-то назвать его как-то язык не поворачивается).

Но с каким «в некотором роде торжественным шиком» приступал ко мне мой друг, вручая мне книжку «скицц». Во-первых, он — как теперь помню — допрашивал меня: занимался ли я над собою и над другими — психологическими наблюдениями?.. Ну, жизни, хоть и гальванической,[19] пережито было немало; рыться в собственной душе и в душе других двуногих без перьев, особенно женского пола, тоже случалось немало, но не такого рода психологическую работу и психологические наблюдения разумел мой приятель: гальванически пережитую жизнь он называл весьма правильно напускною и часто, как человек, к счастью, мало «тронутый», относился к ней юмористически, и мои психологические наблюдения над прекрасною половиною двуногого рода он, по добродетели своей, не переваривая моих софистических и собственно к практическим целям направленных бесед с женщинами, называл гусарским к ним «отношением, возведенным только в перл создания[20] и тонкость чувствований»... Поэтому я долго не понимал, каких он от меня исследований психологических добивается. Во всяком случае, я за Бенеке принялся с ожесточенным упорством и даже слепо подчинялся своему руководителю. Лербуха,[21] т. е. системы, он мне в руки не дал, подозревая во мне не без основания охоту к ловле абсолютного хвоста, а отчасти боясь, чтобы в лербухе я не схватил скоро, на лету и, стало быть, поверхностно разных хвостиков.

Потому хоть с известного пункта трансцендентализма и поворотил назад оглобли мой приятель, но ведь он как недюжинно умный человек понял вполне ярыжно[22]-глубокую и вместе глубоко-ярыжную мысль великого учителя в «Феноменологии духа», что в деле мысли важен только процесс и что результат есть только безжизненный труп, покинутый живой душой — тенденцией.

И сижу я это, бывало, тогда по целым вечерам зимним над «психологическими очерками» немецкого хера профессора[23] и мучу я свой бедный мозг не над тем, чтобы понять читаемое, ибо так себе, безотносительно

---

* Я увожу сквозь вековечный стон...
Входящие, оставьте упованья!

(итал.; пер. М. Лозинского).

взятое, оно все, это читаемое-то, очень просто, но над тем, чтобы внимание приковать к этому читаемому... А за стеной вдруг, как на смех,

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли,[24]

и мятежная дрожь венгерки бежит по их струнам, или шелест девственно-легких шагов раздается над потолком, и образы встают вслед за звуками и шелестом, и жадно начинает душа просить жизни, жизни и все жизни... Так просидел я несколько вечеров, да и возвратил другу книгу с наивнейшим сознанием, что никак не могу я заставить себя ею заинтересоваться. Видит он, что ничего со мной, погибшим человеком, не поделаешь... купил и подарил мне лербух. Лербух я весьма скоро прочел, механику эту всю, значит, усвоил и пошел себе как следует рассуждать о новой системе достаточно ясно, хотя и поверхностно... С меня и будет! — думал я, потому что абсолютный хвост в ней ловить запрещается ее адептами. А черт ли мне в ней, коли я в ней этого-то самого хвоста и не словлю.

Отчего ж это, бывало, в пору ранней молодости и нетронутой свежести всех физических сил и стремлений, в какое-нибудь яркое и дразнящее и зовущее весеннее утро, под звон московских колоколов на святой — сидишь весь углубленный в чтение того или другого из безумных искателей и показывателей абсолютного хвоста... сидишь, и голова пылает, и сердце бьется — не от вторгающихся в раскрытое окно с ванильно-наркотическим воздухом призывов весны и жизни... а от тех громадных миров, связанных целостью, которые строит органическая мысль, или тяжело, мучительно роешься в возникших сомнениях, способных разбить все здание старых душевных и нравственных верований... и физически болеешь, худеешь, желтеешь от этого процесса... О! эти муки и боли души — как они были отравительно сладки! О! эти бессонные ночи, в которые с рыданием падалось на колена с жаждою молиться и мгновенно же анализом подрывалась способность к молитве, — ночи умственных беснований вплоть до рассвета и звона заутрень — о, как они высоко подымали душевный строй! ..

И приходит мне еще в память, как в конце 1856 года мне, лежавшему больным на постели, — уже пережившему и вторую молодость, разбитому и морально и физически, — один из добрых старых могиканов, знаменитый Дон Базилио Педро,[25] прислал в утешение только что вышедший вступительный том в «Философию мифологии» Шеллинга.[26] Приехать благородный Дон побоялся, потому что я был болен запоздавшей оспой, но книгу прислал с запиской и в записке, между прочим, упоминал, что он уже нюхал и что хорошо как-то пахнет... И впился я больными, слабыми глазами в таинственно и хорошо пахнущую книгу — и опять всего меня потащило за собою могучее веяние мысли — и силою покойный отец, ходивший за мною, как нянька, должен был отнимать у меня эту «лихую пагубу».

И в саду итальянской виллы подле Tomba tusca *[27] сидел я по целым часам над этой «лихой пагубой» и ее последующими томами — и опять голова пылала и сердце билось, как во дни студенчества, — и ни запах роз и лимонов, ни боязнь тарантулов, насчет местожительства которых в Этрусской гробнице предварял меня весьма положительный англичанин Белль, гувернер моего ученика, князя Т‹рубецкого›, — ничто не могло развлечь меня.

Трансцендентальное веяние, sub alia forma,** вновь охватило и увлекло меня...

V

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ НАЧАЛА ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

Не «скандала единого ради», конечно, написал я предшествующую главу, хотя она, по собственному моему сознанию, и вышла крайне скандальна.

Мне хотелось сколько-нибудь наглядно «в утешение современникам и назидание потомкам» изобразить в общих чертах силу и влияние трансцендентализма на людей моего поколения, чтобы несколько пояснить его силу же и влияние на поколение, нам предшествовавшее.

Мне хотелось вместе с тем сколь возможно искренне изложить свои верования в отношении к тому, что я привык называть *веяниями жизни*, изложить прямо и смело, пожалуй, на потеху и глумление наших позитивистов или нигилистов...

Да! исторически живем не «мы как индивидуумы», но живут «веяния», которых мы, индивидуумы, являемся более или менее значительными представителями... Отсюда яркий до очевидности параллелизм событий в различных сферах мировой жизни — странные, таинственные совпадения создания Дон-Кихота и Гамлета,[1] революционных стремлений и творчества Бетховена [2] и проч. и проч... Отсюда солидарность известных идей, мировая преемственная связь их, и мало ли что отсюда такого, друг Горацио,

О чем не смеет грезить ваша мудрость [3]

и что она отвергает только потому, что не наловила достаточно хвостиков и по ним не добралась до общего хвоста...

Сила в том, что трансцендентализм был *силой*, был веянием, уносившим за собою все, что только способно было мыслить во дни оны. Все то, что только способно было чувствовать, уносило другое веяние, которое за недостатком другого слова надобно назвать романтизмом. В сущности то и другое — трансцендентализм и романтизм — были две стороны одного

---

* Этрусской гробницы *(итал.)*.
** под другими формами *(лат.)*.

и того же. Об этом, впрочем, рассуждал и писал я так много,[4] что если бы принялся рассуждать еще раз, то неминуемо должен был бы впасть в повторение.

Потому для того, чтобы уяснить моим читателям сущность романтического веяния, я избираю путь повествования вместо пути рассуждения.

Перенесемтесь в конец двадцатых и в начало тридцатых годов. На сцене перед нами, во-первых, великая и вполне уже почти очерченная физиономия первого цельного выразителя нашей сущности, Пушкина. Он дозрел уже до «Полтавы» — в его портфеле уже лежит, как он (по преданиям) говорил, «сто тысяч и бессмертие», т. е. «комедия о Борисе Годунове и Гришке Отрепьеве», но еще чисто романтическим ореолом озарен его лик, еще Байрона видит в нем молодежь, еще он не улыбался добродушною и вместе саркастическою улыбкою Ивана Петровича Белкина, «не повествовал с карамзинской торжественностью» и вместе с необычайно метким тактом действительности об исторических судьбах обитателей села Горохина,[5] не вглядывался глубоко симпатично в жизнь какого-нибудь станционного смотрителя. Он идол молодого поколения, но в сущности молодое поколение видит его не таким, каков он на самом деле, ждет от него не того, что он сам дать намерен. Если б оно обладало даром предведения, это тогдашнее молодое поколение, оно с ужасом отступило бы от своего идола. Оно прощает ему комический рассказ о графе Нулине, даже готово в этом первом простом изображении нашей действительности видеть романтическое, но оно не простит ему повестей Белкина...

У тогдашнего молодого поколения есть предводитель, есть живой орган, на лету подхватывающий жадно все, что носится в воздухе, даровитый до гениальности самоучка, легко усвояющий, ясно и страстно передающий все веяния жизни, увлекающийся сам и увлекающий за собою других... «купчишка Полевой», как с пеной у рту зовут его, с одной стороны, бессильные старцы, а с другой — литературные аристократы.

Потому есть и те и другие. Еще здравствуют и даже издают свои журналы и поколение, воспитавшееся на выспренних одах — старцы в котурнах, и поколение, пропитанное насквозь «Бедной Лизой» Карамзина, старцы «в бланжевых чулочках»,[6] которые после «Бедной Лизы» переварили только разве «Людмилу» Жуковского и, как председатель палаты в «Мертвых душах», читают ее с зажмуренными глазами и с особенным ударением на слове: чу![7] У них не только купчишка Полевой, но даже профессор Мерзляков считается, по крайней мере у первых, еретиком за критические разборы Сумарокова, Хераскова и Озерова... Для них опять-таки, в особенности для первых, нет иной литературы, кроме литературы «выдуманных сочинений»; между ними самими, т. е. между дрянными котурнами и полинявшими бланжевыми чулками, идет смертельная война за Карамзина, предмета ужаса для учеников и последователей автора книги «О старом и новом слоге», кумира для бланжевых чулков,[8] доходящих в лице Иванчина-Писарева до идолопоклонства самого омерзительного.[9]

Есть и аристократы литературные,[10] группирующиеся около Жуковского и Пушкина. Они образованны, как европейцы, ленивы, как русские баричи, щепетильно опрятны в литературных вкусах, как какая-нибудь английская мисс, что не мешает им, впрочем, писать стихи большею частию соблазнительного содержания и знать наизусть «Опасного соседа» В. Л. Пушкина... Есть, наконец, еще кружок врагов Полевого, кружок, образовавшийся из молодых ученых, как Погодин и Шевырев, из выделившихся по серьезности закваски аристократов, как Хомяков, тогда еще только поэт, и Киреевский. Эта немногочисленная кучка, выступившая на поприще деятельности блистательною статьею И. В. Киреевского[11] в альманахе «Денница» и сосредоточившаяся в «Московском вестнике», тяготея по преимуществу к Пушкину и отчасти к Жуковскому, связана с кругом аристократов литературных, но находится в самых неопределенных отношениях к старцам-котурнам и старцам-бланжевым чулкам: почтение к преданиям связывает ее с ними, культ Пушкина разъединяет. Но зато в одном она с ними вполне сходится — во вражде к Полевому. Аристократы литературные и сам Пушкин держатся в стороне от этой борьбы.[12] Даже стихотворения Пушкина и его друзей появляются временами в плебейском «Телеграфе», но старцы и уединенный кружок свирепствуют.

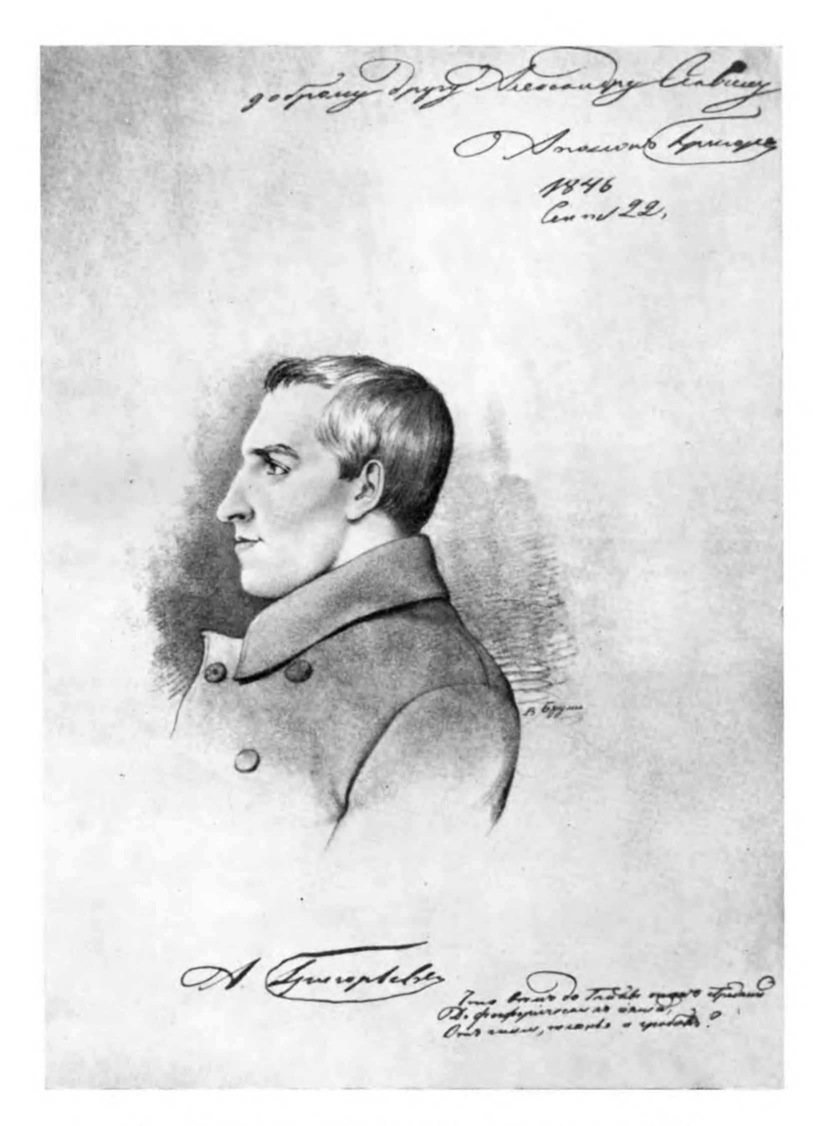
Нельзя было бы ничего неприличнее, с нашей теперешней точки зрения, вообразить себе той статьи, которой разразился против «Истории русского народа» редактор «Московского вестника»,[13] если бы еще неприличнее не были статьи против нее в старческом «Вестнике Европы».[14]

Повторяю, что с нашей теперешней точки зрения все эти вражды и беснования литературные — дело непонятное. Еще непонятнее оно будет с знанием личностей деятелей... Автор «Истории русского народа» был Полевой; редактор «Московского вестника» — Погодин.

Шашки представляются вовсе не в нормальном порядке лет за тридцать назад. Из-за чего враждовалось до пены у рту?.. Купец Полевой, отзывчивый на все веяния современной ему жизни, был, однако, вовсе не западник, а вполне и в высшей степени русский человек и менее всего отрицатель идей народности. С другой стороны, Погодин был всегда демократ до конца ногтей — и что было делить ему с другим демократом, Полевым?[15]

Да, вот так это нам теперь кажется, что нечего было делить. В течение тридцати лет шашки несколько раз смешивались и переменяли места, и много перестановок тут было для установки сколько-нибудь правильных их взаимных отношений.

Теперь нам легко произносить суд над тем или другим деятелем, равно легко и смеяться над посвящением «Истории русского народа» Нибуру,[16] который, конечно, не мог ее прочесть, и смеяться, с другой стороны, над культом, который совершаем был Карамзину его последователями, людьми жизненно, сердечно и душевно пережившими «веяние»



Ап. Григорьев. Портрет рукою П. Бруни. 1846.



Антонина Федоровна Кавелина (Корш).
Фото 1840-х гг.



Софья Федоровна Куманина (Корш).
Портрет 1840-х гг.



Любовь Федоровна Крылова (Корш).
Фото 1850-х гг.



Евгений Федорович Корш.
Фото 1850-х гг.



Валентин Федорович Корш.
Фото 1850-х гг.



Ап. Григорьев.
Фото конца 1850-х гг.

карамзинской эпохи и след этого веяния сохранившими на себе многие десятки лет: так, значит, оно было сильно...

Ведь и Полевой, несмотря на свою последующую, несчастную и обстоятельствами вынужденную драматическую деятельность,[17] и Погодин, несмотря на увлечения его страстной и неразборчивой насчет средств выражения природы, — борцы честного, высокого дела, борцы, которым много простится, ибо «они много любили»... Ни тот, ни другой не были виноваты в том, что, захваченные разными «веяниями», они враждебно стояли друг против друга, равно как не виноваты были в том же впоследствии славянофильство и Белинский.

Но за тридцать лет назад факты были таковы, что купец был представителем современных, так сказать, животрепещущих интересов жизни или, коли хотите лучше, тогдашнего марева жизни и что враги его казались тогда большей части молодого поколения людьми отсталыми. Что за дело, что передовой скоро «сбрендил» до непонимания высшей сферы пушкинского развития[18] и что отсталые шли неуклонно вперед и выродились наконец в явно торжествующее во множестве пунктов славянофильство... Факты, повторяю я, представляются за тридцать лет в вышеизложенном положении, и такое их положение мы должны взять за исходный пункт, если хотим как следует понять ту бывалую пору.

Да вот! Я недаром, например, упомянул о таких памятниках известных литературных эпох, в которых они, т. е. эпохи-то, являются перед наблюдателем нараспашку, как с постели встали.

В «Телеграфе» 30-го года, именно в томе 35-ом (я нарочно сверился в Публичной библиотеке, только забыл записать страницу), вы, просматривая отдел смеси, встретитесь с статьями о театре, подписанными буквами В. У., и сами натолкнетесь невольно на большую сравнительно с другими статьями статью — о мольеровском «Скупом»[19] в русском переводе и в русской сценической постановке... Если вы не будете читать между строками, вы ничего не поймете в этой бойко, умно и с ужасным азартом написанной статье. Продергивается в ней, и притом совершенно нещадно — до цинизма современных нам «абличительных» изданий,[20] — какой-то барин, член всех возможных клубов, неизменный партнер вистов и бостонов, имеющий знакомство в кругу литературной и литературно-официальной знати, а между прочим, из дилетантизма и от нечего делать удостаивающийся заниматься театром и литературой вообще и даже весьма исполненный претензий в этом деле, придающий себе и своим занятиям немалое значение. Затем разбирается перевод мольеровского «Скупого» до придирчивости бранно и до брани придирчиво. И для не посвященного в литературные мистерии той поры очевидны два факта: 1) что «продергиваемый» барин и есть именно самый-то переводчик «Скупого» и 2) что азартно-желчная, кровавая статья — результат долгой, упорной, и глухой, и явной борьбы между партиями.

Чтобы разом показать вам, в чем дело, в чем *суть* статьи, я только назову вам имена автора азартной статьи и переводчика «Скупого» — да отошлю вас за справкою к одной весьма легко приобретаемой книге.

Переводчик мольеровского «Скупого» — С. Т. Аксаков. Фельетонист «Телеграфа» — В. А. Ушаков. Книга, к которой я отсылаю вас — «Собрание разных театральных и литературных воспоминаний» Аксакова.[21]

И Сергея Тимофеевича Аксакова и его книги вообще — вы, вероятно, знаете, если вы только не ограничили свои чтения известными пятью умными книжками, да и в этом случае вы все-таки о них хоть слыхали. Но Василья Аполлоновича Ушакова, написавшего одну только замечательную, да и то в ту пору «замечательную» вещь, повестушку «Киргиз-Кайсак»,[22] вы, если вы пятикнижник, совсем не знаете, да и, пожалуй, погордитесь сейчас же таким незнанием; если же вы — ни рыба ни мясо, т. е. ни мы, люди бывалой поры, ни люди новейшего пятикнижия, то имя это припоминаете смутно, вместе с серовато-грязноватой оберткой какого-либо учебника российской словесности времен минувших — ну, хоть милого учебника г. Георгиевского,[23] что ли, восторгающегося равно и «Борисом» Пушкина и «Тассом» г. Кукольника, — учебника чрезвычайно назидательного, как факт победы, совершенной понятиями романтической эпохи тридцатых годов, учебника, который совместил изумительно и самые застарелые основы эстетических учений «симандры»[24] и критические взгляды Полевого — и даже подчас целиком вносил на свои страницы свист Сенковского-Брамбеуса. . .[25]

И потому я прежде всего обязан сказать вам, что *Василий Аполлонович Ушаков*, кроме того, что написал наделавшего в свое время немало шуму «Киргиз-Кайсака», писал постоянно театральные фельетоны в «Телеграфе», еще больше чем «Киргиз» делавшие шум в литературном кружке, — был человек чрезвычайно многосторонне образованный и остроумный. . .

И вот, право, не знаю, как мне лучше взяться, чтобы показать вам весьма странные позиции шашек на тогдашних квадратиках литературной арены. Всего лучше — ex abrupto * показать вам конечные, последующие позиции их.

Василий Аполлонович Ушаков написал впоследствии «Кота Бурмосека», вещь далеко более бездарную, чем изделия Федота Кузмичева, Сигова и иных промышленников московского толкучего рынка. Да, кроме того, он в «Библиотеке для чтения» — уже в ту пору ее упадка, когда Надеждин в «Телескопе» и Шевырев в «Наблюдателе» разбили мгновенный кумир петербургской молодежи — Брамбеуса,[26] — написал вещь весьма гнусную под названием «Висяша»,[27] нечто вроде бездарного и совершенно бестолкового доноса на безнравственность эстетических учений, которых пламенную проповедь только что начинал в «Молве» под названием «Литературных мечтаний» — великий борец, Виссарион Белинский.

Сергей Тимофеевич Аксаков кончал свое поприще — авось-либо вы хотя это знаете — высокой эпопеей о Степане Багрове, Записками об охоте, уженье, детских годах, в которых во всех являлся великим и простым поэтом природы, и умирающею рукою писал гимн освобождения от

---

* сразу, внезапно *(лат.)*.

векового крепостного рабства[28] — великого народа, любимого им всеми силами его широкой, святой и простой души.

А между тем, он-то, дорогой нам всем при жизни и благоговейно чтимый по смерти старец, и продергивается в азартной статье Василья Аполлоновича Ушакова.

И сделайте вы божескую милость, не торопитесь вы, люди вчерашнего и люди нынешнего дня, произносить осуждение над Васильем Аполлоновичем Ушаковым — и, главное, не подумайте вы, пожалуйста, чтобы из личной вражды к Сергею Тимофеевичу Аксакову или из литературной зависти писал он эту азартную статью, — а прочтите, с одной стороны, литературные воспоминания Аксакова да припомните хоть даже в общих чертах, по учебнику, деятельность купца Николая Полевого, значение московского «Телеграфа» и тому подобное.

Ведь поражающею пустотою содержания жизни веет от литературных воспоминаний С. Т. Аксакова — и веет именно потому, что эта книга и глубоко искренняя, как все, что ни писал он, и искренно талантливая, переносящая вас совсем в тот мир, который она изображает... Что за мелкие интересы с огромными претензиями на литературное аристократство! думаете вы, да и я, человек той поры, думаю заодно с вами, читая о время ли препровождениях князя Шаховского, Загоскина, самого Аксакова, Писарева, Кокошкина в подмосковной этого последнего, тогда директора московского театра, о литературно ли театральных стремлениях тогдашних всех этих весьма достойных уважения людей! Огромное место, например, в воспоминаниях С. Т. Аксакова занимает покойный водевилист Писарев. Может быть, он и был талантливый человек по натуре, да ведь талант-то свой употреблял он ровно на такой же вздор, на какой в наши дни употребляют свою бездарность гг. Родиславские, Дьяченки, авторы водевилей с переодеванием. Может быть, и даже не может быть, а наверно, ибо мы нравственно обязаны верить всегда честному повествователю, — это была натура раздражительно страстная и тонкая, и страстность рано скосила ее; да ведь вы посмотрите, однако, на что эта страстность пошла! Человек жизнь и душу полагает в театральные кулисы, не в искусство драматическое, а просто-напросто в кулисы. Не в том беда, что он от хорошенькой дуры с ума сойдет и что она вгоняет его в чахотку, — этакой грех со всяким порядочным человеком случиться может, а то, что он тлетворным воздухом театральных кулис пропитался насквозь, как разве только г. Родиславский или иные деятели драматургии российской пропитываться могут; что он мишуру театральных облачений, как самую мишуру, белила и румяна, как белила и румяна an sich * любит. Та беда, что раздражается-то он, нервно раздражительный человек, преимущественно за актеров или за свои пошлые изделия, что громит-то он своими остроумными куплетами популярного журналиста-купчишку с совершенно мелочными взглядами на жизнь и дело искусства — с самых низменных точек.

* сами по себе *(нем.)*.

Припомните вы, что в это время популярный купчишка-публицист, еще не автор «Комедии о войне Федосьи Сидоровны с китайцами», «Параши Сибирячки», «Ермака»[29] и прочего, а жадный и смелый ловец всех новых веяний жизни, зоркий сторож прогресса, громитель всяческой рутины, уже автор рассказа «Симеон Кирдяпа», этого смелого по тому времени протеста за удельных и удельщину, еще с большей энергиею выражающегося скоро после, в романе «Клятва при гробе Господнем», автор «Истории русского народа», которая, уж там что хотите говорите, имеет важное, даже и положительное во многих отношениях значение. Об отрицательном я уж и говорить не считаю нужным: она была началом исторических отрыжек местностей, национальностей, толков, попранных Карамзиным во славу его абсолютной государственной идеи. Я нарочно беру эти стороны деятельности Полевого, чтобы показать, что ведь это не западник был, а народный человек, знавший народ не менее Погодина и значительно больше, чем знали его, не говорю уже князь Шаховской или Писарев с Кокошкиным, но Загоскин и, может быть, в ту пору сам Аксаков. Ведь года через три потом, например, является «Двумужница», аки бы народная драма князя Шаховского, и популярный купчишка меткой, злой и талантливейшей пародией (которую вы можете прочесть тоже в нередкой книжке, в его «очерках» литературы)[30] разбивает в прах ее дюкре-дюменилевскую народность,[31] разбивает безжалостно, не обращая внимания на то, что она, эта драма, впервые, хоть и лубочным способом, затронула живые, до того нетронутые никем стороны народной жизни, разбивает во имя идеала, во имя той же самой, только несравненно шире понимаемой им народности. Ведь еще несколько лет, и этот чуткий публицист смело восстает на «Руку всевышнего»,[32] во имя того же своего идеала.

Я вам говорю, что Полевой вовсе не западник и оттого-то понимание позиции шашек становится еще запутаннее. Какой это западник, который дорожит, как святынею, всякою старою грамотою, всякою песнию народа, печатая их в своем «Телеграфе», который в одном из фельетонов своего журнала показывает, например, Москву[33] заезжему приятелю с фанатической любовью, с полным историческим знанием?

А уж о деятельности его как ловца всех новых веяний жизни и говорить нечего... Статьи о Гете, о Байроне и других корифеях современной тогдашней литературы, ознакомление читателей с судьбами литератур романских, культ Шекспиру, Данту и прочее... переводы Гофмана, разборы всего нового в юной французской словесности, смелое благоговение перед Гюго, наконец, возможные толки о государственных устройствах цивилизованных народов и посильные, положим, хоть и по Кузену, толки о Канте, Фихте, Шеллинге и Гегеле; перехват всякой новой живой мысли, сочувствие всякому новому явлению в жизни и искусстве, азартное увлечение всяким новым мировым веянием — вот что такое «Телеграф». Мудрено ли, что им увлекалось все молодое и свежее, сначала как дельное, так и не совсем дельное молодое и свежее. Потом дельное отошло... но об этом после. Я беру шашки в известную, данную минуту.

Что же этому, во всяком случае и прежде всего живому направлению, противупоставляли его ожесточенные враги? . . Старцы — оды Державина, поэмы Хераскова и творения Максима Невзорова. Популярный вождь благоговел, даже излишне благоговел перед «потомком Багрима», написал даже впоследствии к щукинскому изданию сочинений певца Фелицы довольно ерундистую статью,[34] а над Херасковым тешился уже Мерзляков,[35] а от «нравственности Максима Невзорова» претило молодое поколение. . . Бланжевые чулки возились с «Бедной Лизой» и «Натальей боярской дочерью», но, во-первых, молодому поколению было уже очень хорошо известно, что самый «Лизин пруд» за Симоновым вовсе не Лизин пруд, а Лисий пруд, а потом, какое ему было дело до «Бедной Лизы», когда оно жадно упивалось в «Телеграфе» повестями модного писателя Марлинского, окруженного в его глазах двойною ореолою — таланта и трагической участи.[36] Какое дело было ему до «стонов сизого голубка»,[37] воспеваемых его высокопревосходительством И. И. Дмитриевым,[38] когда чуть что не каждую неделю «Московские ведомости» печатали в объявлениях о выходящих книгах объявления о новых поэмах Пушкина или Баратынского, об разных альманахах, где появлялись опять-таки эти же славные или и менее славные, но все-таки любимые молодежью имена. Разумеется, что уж не только на «Северные цветы» накидывалась она, тогдашняя молодежь, не только что старую «Полярную звезду» переписывала в свои заветные тетрадки, но всякую новую падаль, вроде «Цефея», «Венка», или, как сшутил сам издатель в предисловии, «Веника граций»,[39] пожирала. И понятное совершенно дело. В каком-нибудь несчастном «Венике» она встречала один из прелестных рассказов Томаса Мура в «Лалла Рук», «Покровенный пророк Хорасана», какой-нибудь перевод, разумеется посильный, из Гете и Шиллера, или из Ламартина и Гюго. . . Не «Россиадами» и альманашники потчевали.

А старцы-котурны и старцы бланжевые горячились, из себя вон выходили и в «Вестнике Европы», и в нежной «Галатее», и еще более нежном «Дамском журнале» князя Шаликова, и, разумеется, как всегда со старцами испокон века бывало, проигрывали свое дело. . .

Что, наконец, мог противупоставить живому направлению «Телеграфа» и тесный кружок Аксакова и солидарный с ним во многом, но более обширный кружок, столпившийся в «Московском вестнике»? . . Правда, этот последний кружок не восставал против великого явления в литературе, против Пушкина, был в связи с сателлитами блестящей планеты,[40] но ведь не перещеголял же он «Телеграф» в поклонении общему идолу и в других отношениях; в своей ожесточенной вражде и борьбе с Полевым он старался, напротив, перещеголять старцев в котурнах и самый «Вестник Европы» площадным цинизмом статей об «Истории русского народа».

«Московский вестник» страдал изначала той несчастной солидарностью с старым хламом и старыми тряпками, которая впоследствии подрезывала все побеги жизни в «Москвитянине» пятидесятых годов. . . Напишешь, бывало, статью о современной литературе, ну, положим, хоть

о лирических поэтах — и вдруг к изумлению и ужасу видишь, что в нее к именам Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Хомякова, Огарева, Фета, Полонского, Мея втесались в соседство имена графини Ростопчиной, г-жи Каролины Павловой, г. М. Дмитриева, г. Федорова... и — о ужас! — Авдотьи Глинки![41] Видишь — и глазам своим не веришь! Кажется — и последнюю корректуру и сверстку даже прочел, а вдруг, точно по манию волшебного жезла, явились в печати незваные гости! Или следит, бывало, следит, зорко и подозрительно следит молодая редакция, чтобы какая-нибудь элегия г. М. Дмитриева или какой-нибудь старческий грех какого-либо другого столь же знаменитого литератора не проскочил в нумер журнала... Чуть немного поослаблен надзор, и г. М. Дмитриев налицо, и г-жа К. Павлова что-либо соорудила, и, наконец, к крайнейшему отчаянию молодой редакции, на видном-то самом месте нумера какая-нибудь инквизиторская статья г. Стурдзы[42] красуется, или какая-нибудь прошлогодняя повесть г. Кулжинского[43] литературный отдел украшает! И это — в пятидесятые года, все равно как в тридцатые.

Но дело-то в том, что в пятидесятые года у народного направления был уже Островский, да начинало уже энергически высказываться славянофильство, честно стараясь разрывать солидарность с гг. Кулжинским, Муравьевым и прочими витязями, а в тридцатые годы ничего этого не было. Была только глубокая, даже по всякому времени, не то что только по тогдашнему, статья о литературе И. В. Киреевского, напечатанная в «Деннице», два-три стихотворения Хомякова,[44] две-три оригинально-талантливых, хотя по обычаю неопрятных, повестей Погодина,[45] его да шевыревская профессорская более или менее замкнутая в пределах аудитории деятельность, и только Аксаков, единственный полный художник, который вышел из этого кружка, занимался тогда решительно вздором. Другой, хоть и ограниченный, но действительно даровитый человек, принадлежавший даже и не к кружку «Московского вестника», а к тесно театральному, солидарный притом всю жизнь с мракобесами, с петербургским славянофильством,[46] происшедшим от весьма, впрочем, почтенного человека, адмирала Шишкова, — Загоскин, еще не издал своего «Юрия Милославского», а был известен только как писатель комедий, принадлежавших к отвергаемому, и по справедливости отвергаемому молодежью, роду выдуманных сочинений.

Да и после появления пресловутого «Юрия Милославского» — разве в самом деле произошел какой-либо переворот в литературных понятиях? Полевой отдал справедливость даровитой по тогдашнему времени попытке исторического романа[47] — даже, с теперешней точки зрения, отнесся к нему без надлежащей строгости. Между тем сам он в ту пору своим пониманием народа и его истории стоял несравненно выше, чем первый русский романист, и молодежью это очень хорошо чувствовалось. Ведь Полевой только что впоследствии, да и то искусственно, дошел в своих драмах до той квасной кислоты и нравственной сладости, которая господствует в романах Загоскина вообще. В ту же пору, в пору тридцатых годов, он стоял высоко.

Читали ли вы, люди позднейшего поколения, его литературную исповедь,[48] которую предпослал он своей книге «Очерки русской литературы»? Еще не очень давно, года два назад, я перечитывал ее — и чувство симпатии до умиления к этой даровитой, жадной света личности, всем обязанной самой себе, — притекало в мою душу — и чрезвычайно омерзительною представлялась мне знаменитая пародия на Жуковского «Светлану»,[49] сочиненная одним из бездарных, но весьма солидных старцев, в которой Полевой перед каким-то трибуналом (без трибуналов старцам не живется)[50] обвиняется, между прочим, в том, что

...известно миру,
Как он в Курске еще был
Старый друг Шекспиру,
Как он друга своего
Уходил ста за три,
Анатомили его
На Большом театре,

но в заключение о бедном, убитом судьбою, загнанном обстоятельствами, даровитом и много сделавшем публицисте злорадно рассказывалось, что

У газетчика живет
Он на содержаньи.

Не говорю уж я о том, что анатомил Гамлета на Большом театре величайший сценический гений русской сцены, т. е. Мочалов, и что Полевой своим поэтическим и единственно возможным для русской нашей сцены переводом Гамлета так уходил своего старого друга, что Гамлет разошелся чуть что не на пословицы. Это еще ничего, потому что о вкусах не спорят; но ругаться над человеком, который долго, честно, жарко боролся и силою совершенно внешних обстоятельств вынужден был круто поворотить с одной дороги на другую, вынужден для спасения семьи от голода и за неимением собственного журнального органа работать у Сенковского, ругаться вместо того, чтобы сожалеть о слабости характера даровитого литературного деятеля, достойно только тех старцев, которые, навязывая свою солидарность народному направлению, как ржавчина подъедали чистоту задач «Московского вестника» и «Москвитянина»...[51] («Русскую беседу», также и «День» не удалось им опозорить этою солидарностью — и слава богу!).

О старцы, старцы! Прошло уже много лет с тех пор, как мы, т. е. кружок, во главе которого стояли Погодин и Островский, несли со всем пылом и энергией молодости, с ее весельем и свежестью лучшие силы, лучшие соки жизни на служение национальному направлению и не могли, однако, поднять наш журнальный орган, именно потому только, что глава редакции, Погодин, не мог отречься от губительных солидарностей; прошло уже около десяти лет после этого, но без приливов желчи я и теперь еще не могу вспомнить о наших тщетных, хоть и жарких усилиях...

Есть, еще раз повторю я, новые книги, в которых или целая литературная пора, или известное направление сказываются по-домашнему.

Вот также книжка, например, «Московские элегии» г. М. Дмитриева.[52] Маленькая, но назидательная, я вам скажу, книжка, способная самого истого москвича, если только в нем мало настоящей московской закваски, довести до полнейшего остервенения на такую Москву, какая является идеалом для «маститого», говоря высоким тоном, певца; книжка, которая, если паче чаяния одна только вместе с нашими обличительными изданиями уцелеет для отдаленного потомства, способна оправдать даже хамскую ненависть к почве и Москве какой-нибудь «Абличительной головешки»,[53] как «Назидательная головешка»[54] г. Аскоченского, если тоже она одна уцелеет, способна оправдать наших бюхнерчиков и молешотиков.[55] Большей инфамии[56] наложить на Москву, как наложили эти поэтические досуги, невозможно: враг самый заклятый ничего такого не выдумает... Это не добродушные рассказы Фамусова-Загоскина о прелестях старого дворянского житья, с массой верных рабов, не комические наслаждения гаерством шутов и шутих, не наивные восторги, которые сами же себя и обличают... нет! это Фамусов, дошедший до лирического упоения, до гордости, до помешательства на весьма странном пункте, на том именно, что Аркадия единственно возможна под двумя формулами, барства, с одной, и назойства,[57] с другой стороны, это Фамусов, явно и по рефлексии презирающий народ и в купечестве и в сельском свободном сословии, Фамусов-идеалист, которому совершенно бесстыдно жаль, что для изображения зефиров и амуров не свозят

на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей,

и который в Москве старой видит идеал барского города... в великой, исторической, народной Москве, свободно растительно расстилавшейся в течение столетий своими «слободами», замыкаемой тщетно стенами то белого, то земляного города и рвавшейся в ширь беспредельную...

Людям и не с таким узким идеалом народности, а все «старцы» тридцатых годов, старцы ли с котурнами или старцы в бланжевых чулках, именно такой только идеал в душе носили, было не под силу бороться с популярным купчишкой... Даже и серьезные, народные люди кружка «Московского вестника» не могли с ним бороться, потому что сами в сущности не знали, за что с ним борются... Они тянули к преданиям, к истории, к народу, да ведь и он по сердцу тянул туда же, только они не отличали преданий народа от преданий старцев и заявляли свою солидарность с ними, чего он,

Отродие купечества,
Изломанный аршин,[58]

не мог с ними разделять, ибо предания старцев он, демократ по рождению и духу, ненавидел так же сильно, как ненавидел их кровный аристократ Грибоедов.

За него было все, всякая новая европейская мысль, которую сообщал он тотчас же, схватывая ее на лету, читателям; каждое веяние жизни современной, да и само правильное чувство национальности. Этому чувству надобно было на время отнестись совершенно отрицательно к художественной постройке нашего исторического быта Карамзиным по одной, абсолютно-государственной идее — и Полевой явился в своей истории и в своих романах представителем этой отрицательной потребности: он начал работу, которая еще до сих пор не кончена, да еще и не скоро кончится.

Могли ли язвить его тогда и ругательства двух «Вестников»,[59] и эпиграммы г. М. Дмитриева,[60] и водевильные куплеты Писарева.[61] Все это было тогда несравненно ниже его уровня.

Понятное дело, что люди впечатлительные, как В. А. Ушаков, я опять возвращаюсь к факту, с которого начал, были на его стороне, были совсем его сеидами, с азартом накидывались на все ему и им враждебное, и каково ни будь, например, мое и ваше глубокое уважение к покойному Аксакову, но фельетон Ушакова перестает возмущать ваше чувство... Ведь даже в менее крупных вопросах, чем те, которых я коснулся, изображая общее настройство эпохи, Полевой и его направление расходились постоянно с своими противниками.

Был, например, или, лучше, только что начинал быть в это время на сцене весьма странный чудак, которого имя я упомянул и которого имя я постоянно вношу самым смелым образом в историю целой полосы нашего развития, не просто как имя сценического художника, осуществителя образов, данных литературою, а как имя представителя веяния, творца образов самостоятельного, поэта, который был в своем творчестве цельнее и выше своих драматургов. Я говорю конечно о Мочалове, но не с тем, чтобы о нем повести речь... Место ему, как одному из великих воспитателей всего нашего поколения, в дальнейшем течении моих записок. Здесь я коснусь только отношения к этой гениальной силе того и другого лагеря. Аксаков, например, как сам художник, Загоскин, как даровитый и впечатлительный русский человек, князь Шаховской и Кокошкин, как большие знатоки и любители театра, конечно, одни, как Аксаков, и понимали и чувствовали, другие только чувствовали — что это за сила самобытная и могучая, но или все, кроме, впрочем, женственно восприимчивого Загоскина, не брали его таким, каким бог его создал, хотели от него чего-то условного в художестве, чего-то условного и в жизни, не мирились с его беспутством, возмущались его плебейством и прочая. Взять его таким, каким он был, предоставлено было только Полевому, короновавшему его ролью Гамлета, да Белинскому, разъяснившему этого оригинального мочаловского Гамлета. Но обо всем объясним после.

Я рассказал вам, мой читатель (на читательниц в отношении этих глав я плохо рассчитываю и полагаю, что так называемые серьезные из них находят теперь более вкуса в анатомических, чем в исторических, диссертациях),[62] положение литературных шашек в избранную мною минуту.

Но вы не торопитесь, пожалуйста, *совсем* становиться на стороне не только что фельетониста Ушакова против С. Т. Аксакова и его кружка, но даже и на стороне Полевого против старцев и «Московского вестника». Вы всё помните, всё держите, пожалуйста, в голове пословицу: девять раз примерь и в десятый отрежь, и всё имейте в виду концы, а именно:

1) Что В. А. Ушаков кончит «Висяшей».

2) Что Полевой напишет «Парашу», «Ермака» и проч.

3) Что, наконец, сама борьба, поднятая им против абсолютно-государственной идеи Карамзина, кончится в наши дни хохлацким жартом над русскою историею, сведением Московского государства на одну доску с разными отпадшими ханствами[63] и проч. или не то поморскими, не то просто поморными галлюцинациями русских историков «Искры».[64]

Вот вы это всё имейте в виду, и так как процесс литературных стремлений есть процесс органический, то поприсмотритесь еще к данной минуте и посмотрим, нет ли уже в ней самой зачатков плана разложения.

Есть, и есть несомненно. Я говорил до сих пор «по волку», стоит только начать[65] говорить «против волка».[66]

Полевой и его направление действительно отражали в себе, как в зеркале, все современные веяния, но отражали безразлично, поверхностно, почти что бессознательно. Молодежь, воспитываемая этими бессознательно отраженными направлениями, делилась на две части: одну — меньшую, которая шла в глубь дела, принимала веяния всурьез, переводила их в жизнь и скоро ощущала страшное неудовлетворение поверхностным отражением, а другую, конечно многочисленнейшую, которая совершенно довольствовалась верхами и, вероятно, доселе век свой доживает в безразличном поклонении и Гюго и Марлинскому, и в абсолютном непонимании всего нового и живого, начиная с самого Гоголя.

Та и другая молодежь — два фазиса того, что я не раз уже называл русским романтизмом и что совершенно не похоже на другие романтизмы. Русский романтизм так отличается от иностранных романтизмов, что он всякую мысль, как бы она ни была дика или смешна, доводит до самых крайних граней, и притом на деле. Немец, например, может род человеческий производить от обезьян и исправлять какую угодно, хоть пасторскую, обязанность: доходить до крайнейшего отрицания всяких нравственных основ или до самых фантасмагорических галлюцинаций и не спиться с кругу, ибо таких чудаков, как Гофман, который от своих принцев-пиявок, Серпентин[67] и иных созданий своей чародейной фантазии обретал успокоение только в Ауэрбаховском погребке[68] да там же большею частию и создавал их, или таких, как Макс Штирнер, который довел до крайнейшей, безумной последовательности мысль об абсолютных правах человеческого *я*, да и сел в сумасшедший дом, — очень немного. Великий Гегель, по сказанию известного ерника Гейне, выразился как-то в беседе неуважительно насчет планет небесных, да и сел потом преспокойно за вист.[69] Француз тоже за исключением лихорадочных

эпох истории, когда милая tigre-singe *[70] разыграется до головокружения, вообще весьма наклонен к *нравственной* жизни, наслаждениям фантастическими и иными прелестями, по весьма правдивым сказаниям Федора Достоевского.[71] Но мы народ какой-то неуемный, какой-то грубо-первобытный народ. Мысль у нас не может еще как-то разъединяться с жизнию. Закружилась у нас голова от известных веяний, так уж точно закружилась. Печальные жертвы приносили мы этим вихрям в виде Полежаевых, Мочаловых, Марлинских, даже Лермонтовых.

Вот людей такого-то чисто русского закала, людей с серьезной жаждой мысли и жизни, способных прожигать жизнь или ставить ее на всякую карту, кроме еще небольшого кружка людей дельных, способных специально чем-нибудь заняться, мало удовлетворяло направление «Телеграфа» и общий уровень тогдашней литературы. Праздношатательство, эпикурейство, весьма притом дешевые, луна, мечта, дева, — тряпки, тряпки! — по позднейшему остроумному выражению Сенковского-Брамбеуса,[72] проповедуемые в поэзии сателлитами Пушкина и всякими виршеплетами в бесчисленных альманахах; немецкий сентиментализм, который стал скоро примешиваться в повестях Полевого и других к лихорадочно-тревожным веяниям и вел совершенно последовательно к знаменитому приторно мещанскому эпилогу «Аббадонны»,[73] — все это могло удовлетворить окончательно только ту молодежь, которая, как например мой наставник, в сущности переводила романтические стремления на *суть* знаменитой песни:

Для любви одной природа
Нас на свет произвела,[74]

да уездных или замоскворецких барышень, которые всё ожидали, что в последней главе «Онегина» явится опять не убитый им и только почтенный убитым Ленский и соединится с овдовевшею Ольгою, равномерно как Онегин с Татьяной. Из юношей, веривших в упомянутую песню, образовались или подьячие-пивогрызы, или лекаря-взяточники, или просто нюни и пьянюги; из барышень, конечно, Кукушкины, с жадностию читающие и в зрелых летах, «когда препятствия исчезают и два любящиеся сердца соединяются».[75] Все это как следует. Даже многие из поэтов тогдашних, проклинавших жизнь и сетовавших на то, как тяжело:

...быть в толпе бесчувственных людей,[76]

преспокойно дослужились до чинов известных и до пряжек за двадцатипятилетие.[77]

Все это не только что удовлетворялось окончательно и Полевым и его направлением, но, вероятно, и до сих пор, если еще здравствует на свете, то удовлетворяется. Да не то что вероятно, а это факт. Читали вы, например, недавно вышедшую поэму г. Жандра «Свет»?[78] Курьез.

* тигр-обезьяна *(франц.)*.

занимательный. Тридцатые годы, совершенно как были, вдруг возлетают перед вами запоздалым явлением, — совсем как были, с личностями непризнанных поэтов, воздушных графинь или княгинь, с речами à la Марлинский, все это мужеский пол чуть ли не в тех же фраках с откинутыми широкими бортами и длиннейшими талиями, в башмаках с ажурными чулками из-под обтянутых панталон, а женский, или прекрасный, пол в шляпках с какими-то ракушками, с буфами-шарами рукавов и, напротив, с короткими талиями... Или загляните на задние дворы литературы, прочтите «Наташу Подгорич»[79] или другие недавние романы, которыми еще не перестает дарить свою публику «маститый» московский романист г. Воскресенский. Вот вам уцелевшие мумии Полевого и его направление.

В них самих, т. е. в Полевом и в тогдашнем направлении литературы, которого он был горячим и даровитым, но совершенно слепым вождем, лежало их крайне пустое будущее. Литература уже в конце тридцатых годов[80] разменивалась на пошлейшие альманахи. Пушкин начинал уже от нее отвертываться и уходить в самого себя. Полевой уже подавал руку Булгарину и начинал не понимать Пушкина. Да ведь и мудрено было, воспитавшись «Иваном Выжигиным» и снисходительно отнесшись к «Димитрию Самозванцу»[81] знаменитого уже и тогда Фаддея, понять сцены из «Бориса»,[82] появлявшиеся хоть редко в хороших альманахах.

«Борис»-то и стал в своей величавой целости и был для многих, в том числе и для Полевого самого, камнем претыкания и соблазна. «Борис» же, с другой стороны, выдвинул ярко другого литературного деятеля, которому суждено было ответить потребностям серьезной молодежи, положить основы дальнейшему ходу критического сознания и, кроме того, воспитать и дать поколению его настоящего вождя, Виссариона Белинского.

Этот крестный отец великого борца был циник-семинарист, Никодим Надоумко. То есть Никодимом Надоумко был он до 1831 года и в одной только первой книжке новорожденного «Телескопа» за этот год. Затем явился редактор журнала Н. И. Надеждин, один из оригинальнейших самородков, один из величайших русских умов и одна из громаднейших ученостей, с положительным отсутствием характера, отсутствием почти таким же, как в другом современном ему деятеле — Сенковском, равно оригинальном по уму, равно обладавшем изумительною ученостью...

В 1829 году дряхлевшего до «жалости подобного» состояния «Вестника Европы», наводившего сон или уныние и своим Лужницким старцем[83] и своими литературными взглядами

Времен очаковских и покоренья Крыма,[84]

в статье «Сонмище нигилистов» явился новый, свежий, цинически-грязный, но по-своему остроумный и несомненно энергический деятель под именем Никодим Надоумко. Слово «нигилист» не имело у него того значения, какое в наши дни придал ему Тургенев. «Нигилистами» он звал просто людей, которые *ничего* не знают, *ни на чем* не основываются

в искусстве и жизни, ну, а ведь наши нигилисты знают пять книжек[85] и на них основываются... Надоумко повел странные по плану и по содержанию беседы с просвирнями, корректорами типографий и иными выводимыми им лицами о пустоте литературного направления, нещадно восставал, больше, впрочем, из угождения старцам, на Пушкина, в чем, конечно, никто ему не сочувствовал, на Полевого и его поверхностность, в чем уже многие ему сочувствовали, на праздношатание мысли и чувства...

Затем, рядом статей под псевдонимом Надоумки завоевавши себе известность, а диссертациею «De poësia romantica» * — степень доктора философии и кафедру, Н. И. Надеждин раскланялся с старцами и их органом и начал издавать «Телескоп». В первом же нумере, как я упомянул, он один во всей своей тогдашней критике объявил себя за пушкинского «Бориса» и встал во главе всей серьезной молодежи.

Но это уже относится к 1831 году...

VI

ОТЗЫВЫ ПРОШЛОГО

Между тем старое поколение, сходившее с поля действия или долженствовавшее сойти по непреложным законам истории, доживало же свою жизнь с чем-нибудь, хранило же на себе след тех веяний, которые во время оно более или менее могущественно уносили его за собою, и передавало же или по крайней мере старалось передавать поколению молодому эти для него еще живые веяния?..

Конечно так. Сколь ни мало серьезного вынес мой отец из своей юности, но все-таки же по преданиям помнил и

Пою от варваров Россию свобожденну,
Попранну власть татар и гордость угнетенну.[1]

Потом

Российские князья, бояре, воеводы,
Прешедшие за Дон отыскивать свободы[2]

и другие тирады из «Дмитрия Донского», разумеется, вместе с пародией «Митюха Валдайский»[3] и другой пародией, в которой отменною энергиею отличался ответ ханскому послу:

Поди и расскажи Мамаю,
Что я его... и проч.,

помнил и с восторгом, конечно уже подогретым преданием, читал и оду «Бог» и «Фелицу» Державина. Впрочем, он был уже человек не державинской, а карамзинской эпохи, Сумарокова совсем не знал, Хераскова

* «О романтической поэзии» *(лат.)*.

только что оставлял, собственно, в покое, зато с большим чувством цитировал Нелединского-Мелецкого и Дмитриева, особенно

Ах, когда б я прежде знала,
Что любовь родит беды,[4]

сам же, впрочем, и пародировал цинически конец этого нежного стихотворения.[5]

Странный человек во многих отношениях был мой отец, или, лучше сказать, *бывал* в разные эпохи. Не касаюсь еще его чисто житейских отношений... Но со стороны духовной он именно представлял собою тип умного дюжинного человека первоначальной карамзинской эпохи. Для того чтобы представлять этот тип, судьба дала ему и достаточно много восприимчивости, легкости усвоения впечатлений и достаточно мало нравственной твердости и умственной глубины. Как в жизни он способен был подчиняться всякой обстановке ради тишины и мира, так и в духовном развитии. Но в сущности подчинение было только видимое, чисто внешнее. Что-то упорно в нем сохранялось для тех, кто знал его так близко, как я впоследствии. В эпоху пятидесятых годов, например, ему уже было за шестьдесят, но вдруг оставшись один вдовцом и тотчас же окруженный кружком молодежи, он чрезвычайно легко освоился с своим новым положением, нашел в нем смех,[6] не только не мешал нам всем, но самым наивным образом делил с нами наши литературные интересы... и в сущности эта наивность не была искренна. «Что-то», повторяю, упорно в нем засело и по временам выскакивало наружу, особенно при мало-мальски неблагоприятной обстановке... Судьба вообще довольно немилостиво с ним обходилась, как и со всей нашей породой, и увы! один из самых немилостивых ее презентов старику был конечно я... Пока дела шли хорошо, он, можно сказать, шел за мной всюду, но когда хорошая или по крайней мере сносная полоса жизни сменялась очень несносною, старик впадал опять в прежний упорный эгоизм.

Такое же что-то сидело у него и в мире умственно-нравственном. Это не была его самость, личность, ибо личности в нем не было, и он развился как-то так, что решительно не дорожил ни своею, ни чужою личностью, — но нечто, если не вколоченное (ибо, сколько я знаю, дед не бивал его, а даже спускал многое добродушному и, вероятно, плаксивому ребенку), то задавившее его своим гнетом, подрывавшее в нем всякую серьезную восприимчивость. И это нечто не были убеждения его отца, а моего деда, ибо у того были крепкие убеждения, а просто — это была вся бывалая эпоха, воспринятая его душою безразлично, бессознательно, так сказать рабски, не осмысленная никаким логическим процессом, засевшая в ум гуртовым хаосом. Что дед, который, как я уже говорил, был Степан Багров, хоть, конечно, менее грандиозный и менее грандиозно поставленный к жизненной обстановке, виноват в развитии такого рода восприимчивости в отце моем, — нет никакого сомнения. Он запугал его с детства, запугал до того, что отец мой никогда не чувствовал к нему любви, а чувствовал только боязнь: от самых ранних лет[7] он

боялся паче всего рассуждения, привык все принимать безразлично. В жизни он потом, как только выпустили его несколько на свободу, разумеется, «свертелся», попал в довольно низменную обстановку и вынужден был в ней основаться и, разумеется, ей подчиниться. Но натура человеческая так уж устроена, что даже при самой слабой закваске все-таки упорно стремится к самостоятельности и ее выражению в жизни и, разумеется, разнузданная, выражает в жизни не самостоятельность, а самодурство. Рабы становятся непременно деспотами при малейшей возможности, но и деспотизм их не есть проявление их личности, а невольное подражание деспотизму старых господ. В жизни — при маломальски хорошей и комфортабельной обстановке [8] — отец решительно перенимал деспотизм деда, но, конечно, по отсутствию крепкой закваски в его натуре, проявления никогда не носили долю серьезного оттенка, а разрешались почти всегда комически.

Но тем-то и дорог в особенности мой отец как субъект исследования,[9] что он был умный и вместе нравственно-деятельный человек, совершенно вроде того, которого вы можете представить себе, читая «Дневник студента». Недаром с автором этого «Дневника», покойным Жихаревым, он сохранил отношение дольше, чем с другими своими товарищами по университетскому пансиону, хоть Степан Петрович и чины большие произошел, а он так и остался на всю жизнь титулярным советником...

Всех этих общих основ натуры отца я коснулся только для того, чтобы объяснить, какими *он* должен был жить умственными и литературными веяниями.

Державина он уважал, как уважал разных фетишей, с той только разницей, что его он не боялся. Оды его некоторые он читал с известного рода декламацией, чуть что не слезным тоном, и даже непристойных пародий, к сочинению которых имел он большую страсть (наследованную, впрочем, и мною),[10] никак себе не позволял... Но это именно был фетишизм слепой и бессознательный. Другое дело были для него Карамзин, в его первоначальной деятельности, и Дмитриев в его сказках, Нелединский в чувствительных песнях: под эти песни и он, конечно, по-своему *любил* некогда и *нежничал*, если он способен был хотя как-нибудь любить и нежничать... Сказки Дмитриева были profession de foi * полускоромного, полунравственного воззрения на жизненные отношения его эпохи; Карамзин в своей первоначальной деятельности чрезвычайно развивал сердечную доброту и нежность, свойства самые полезные для того, чтобы жизнь прожить в тишине и мире... Поклонение Карамзину как историку государства Российского было уже опять слепо и неискренно, как фетишизм, и в особенности основывалось на высоких чинах историографа и близости его ко двору.

Жуковский прошел как-то мимо моего отца, не задевши его души никакими сторонами. Оно и понятно. Отец был совсем земной, плотской

---

* исповедание веры, мировоззрение *(франц.)*.

человек: заоблачные стремления и заоблачный лиризм были ему совершенно непонятны. Пушкина высоту он как умный человек не понимать не мог, но отношение его к Пушкину было какое-то весьма странное. То он его бранил как писателя развратного и, как он говорил, злого, — все это конечно в противуположность Карамзину, которого всякая страница добротой дышит; то, как только ему начинали молодые люди цитовать что-нибудь из Полежаева, например, он говорил — нет! это не Пушкин! отправлялся на другой же день к знакомому книжнику в «город» (гостиный двор), привозил какую-либо поэму Пушкина и с увлечением, хотя с старою декламациею, читал ее вслух. Злыми же писателями, но в высшей степени талантливыми, считал он Грибоедова и автора «Дум» и «Войнаровского»,[11] ставя последнего чуть ли по размаху не выше Пушкина. К Марлинскому, которому поклонялась молодежь, питал он очень мало сочувствия.

Все это и старое и новое носилось вокруг меня, читалось за полночь отцом и Сергеем Ивановичем в спальне отца и матери, подле моей детской, читалось целым гуртом, безразлично... и Пушкин, и Марлинский, и «История государства Российского», и «Иван Выжигин», и «Юрий Милославский», и романы Вальтера Скотта, выходившие тогда беспрестанно в переводах с французского.

Чтение производилось пожирающее. Но в особенности с засосом, сластью, искреннейшею симпатиею и жадностью читались романы Радклиф, Жанлис, Дюкре-Дюмениля и Августа Лафонтена.

О них, о том мире, которым населяли они детское воображение, я считаю нужным поговорить в особенной главе.

‹VII›

ЗАПОЗДАЛЫЕ СТРУИ

Кроме этих живых, в самом воздухе жизни носившихся веяний, кругом меня и — буквально, не метафорически говоря, вокруг моей детской постели шелестели еще впечатления былого, уже прожитого времени... Собственно, только что числились прожитыми эти впечатления, и не сменены совершенно, а только что заслонены несколько были они новыми ответами на новые требования жизни, продолжа́я тем не менее действовать, влиять, воспитывать... Они, пожалуй, принадлежали уже к роду тех впечатлений, в силе которых на душу неохотно сознаются молодые, свежие поколения, но тем не менее они отяготели на них неизбежным наследством, засели в них целым органическим, неотделимым от души миром.

То был, как я уже сказал, мир старых — и, разумеется, перéводных романов, через посредство которых в новые волны жизни вливались многоразличные, более или менее запоздалые струи былого времени.

Моя детская комната была подле спальни отца и матери, и кроватка стояла у самых дверей, так что и старинно-патетическое чтение отца, и сентиментально-дьячковское и монотонное чтение Сергея Иваныча — были мне слышны до слова в продолжение ночи, кроме того уже, что никто не препятствовал мне слушать, прижавшись где-нибудь в уголку, чтение вечером, начинавшееся обычно после пяти часов, т. е. по окончании вечернего чая в моей комнате, служившей вместе и чайною. Разве только отец иногда заметит, да и то больше «для проформы» (как он выражался насчет разных официальностей), «ты бы шел лучше в залу с Маришкой играть», а Маришка, т. е. Марина, была девочка моих лет, нарочито для удовольствия барчонка привезенная из Владимирской деревни; но о непременном выполнении своего замечания отец нисколько не заботился, сам слишком увлекаясь интересом читаемого, да разве, если уж что-либо слишком страшное или слишком скандальное очень явно предвиделось в дальнейшем ходе читаемого, то высылал меня вон с авторитетом родительской власти. Да и на то были средства. Коли только вечер был не летний, т. е. коли я, volens-nolens,* не должен был отправляться на двор или в сад, я с замиранием сердца, на цыпочках прокрадывался в девичью, находившуюся подле моей комнатки, усаживался около шившей у дверей Лукерьи и, не мешая ей разговорами, прислонялся ухом к дверям и опять-таки, с маленьким перерывом, дослушивал от слова до слова привлекательные уже самою таинственностью своей страхи или скандалы... Ну, а летом другое было средство. Я тщательно замечал всегда, куда кладет отец читаемую книгу: он же, как человек порядка, и клал-то ее всегда на определенное место, на верх бюро, на левую сторону под календарь. Затем, на другой день утром, в часы, когда по уходе Сергея Иваныча я должен был зазубривать краткий катехизис, или исключения третьего латинского склонения, или велеречивые повествования Матвея Шрекка о царях вавилонских и ассирийских,[1] я уловлял ту минуту, когда мать в болезненном настройстве начинала пилить, грызть и есть Лукерью или в добром — усердно занималась перекладкою вещей и белья в комодах, беседуя мирно с тою же ненавидимою и вместе странно любимою, постоянно грызомою и вместе странно любившею ее Лукерьею, — я воровал книгу и, держа всегда наготове для ее прикрытия латинскую грамматику Лебедева, пожирал неслышанные места и перечитывал даже слышанные или забегал и вперед. Подходила мать в дурном расположении духа пилить меня и немилосердно чесать мне голову, а в хорошем — ласкать и звать кофий пить, я как ни в чем не бывало прикрывал запретную книгу почтенным трудом заслуженного профессора и принимался громко зудить iter — itineris или «по делу виден художник и так как художник бывает всегда совершеннее своего дела» и проч...[2] Затем, пользуясь каким-либо выходом матери в девичью, с легкостью серны прыгал в спальню и клал книгу на обычное место, а когда возвращался Сергей Иваныч и официально-

---

* волей-неволей *(лат.)*.

грозно требовал отчета в утренних занятиях, я, постоянно не зная исключений третьего склонения, с несодеянною наглостью ссылался на то, что сидел целое утро и что маменька, дескать, видела...

Впрочем, повторяю еще, отец более «для проформы» прибегал к такого рода изгнаниям, чтобы, так сказать, совесть не зазрила и долг родительский в некотором роде был исполнен — а сам внутренно, и по собственным отроческим воспоминаниям и как весьма умный практически человек, был глубоко убежден в бесполезности всяческих запрещений... В этом, в особенности впоследствии, подрастая, я все более и более мог бы убеждаться, кабы смотрел только на вещи попроще. Он смотрел на все сквозь пальцы и, видимо, хотел смотреть так... ну, достигало что-нибудь против его воли до его ведома, он принимался за «проформы» и «асандан» в ход пускал. Жаль, что с полною ясностию сознал я такие его свойства только тогда уже, когда мне в том не было нужды. Вообще от многих бы моральных мук избавил я себя, если бы «поестественнее» относился к делам мира сего... Вопрос только в том, мог ли я, воспитавшийся под теми вeяниями, о которых имею честь вам повествовать в точности и подробности, и воспринимавший их все совершенно всурьез, — понимать даже естественное отношение к делам мира сего. Передо мною долго, очень долго ходили не люди живьем, а образы романов или образы истории. Сколько-нибудь естественного отношения к жизни и к людям я должен был добиваться от себя трудом несравненно более упорным, нежели тот мозговой процесс, который был потребен для усвоения отвлеченностей «Феноменологии духа». Болью сердца, язвами самолюбия покупалось впоследствии это сколько-нибудь естественное отношение!

И все-таки нечестно в высшей степени было бы винить и веяния века, подорвавшие во мне в корне естественность отношений к жизни, — и отца, который мало заботился о том, чтобы подрезывать ранние и неправильные побеги развивавшегося в его глазах растения. Я той веры — в сорок два года, надеюсь, можно иметь смелость на такую веру, я той веры, что, останови побег жизненной силы в одну сторону, она ударится в другую. Не развейся во мне с ужасающею силою жизнь мечтательная, развилась бы с такою же жизнь животненная, а что лучше или хуже — решить, право, трудно. Отец инстинктивно, кажется, понимал это и притом сам, как человек положительно чувственный, жизни души не придавал большого значения. В этом, равно как и в любимом своем присловье: «Перемелется — все мука будет», он, конечно, ошибался, и впоследствии, когда на его глазах даже в тридцатилетнем человеке брожение не перемалывалось в муку, мог наглядно убедиться в своей ошибке, но во всяком случае в том, что он не прибегал к стеснительным и запретительным мерам, я считаю его совершенно, хотя тоже инстинктивно правым...

Расскажу вам один из моих позднейших опытов по этой части, хоть друзья мои начинают уже сильно бранить меня за мои бессовестные вставки и отступления. Довелось мне быть наставником одного крайне ленивого и крайне же даровитого отрока[3] — купно с весьма положитель-

ным гувернером-англичанином,[4] честнейшим и ограниченнейшим господином мещанского закала, какого только удавалось мне в жизни встретить. Методы образования отрока были у нас с ним диаметрально противуположны. Гувернером я не был, да и никогда бы, по чистой совести, не только мальчика, но даже щенка не принял бы под свое руководство, но быть образователем я взялся, и даже охотно взялся, потому что я люблю это дело, да и не лишен к нему способностей. Стал я к нему поэтому в совершенно свободное отношение: я сразу понял, конечно, что от малого почти что шестнадцати лет, у которого глаза разгораются на всякую мало-мальски нестарую фиористку,[5] которых так много в милой Citta dei Fiori * и которые все — сказать par parenthése ** — предобрые, что от такого малого нечего желать и требовать не только что зубренья уроков, но вообще занятий вне классной комнаты требовать совершенно бесполезно; когда ему? и на пьяцетте[6] в отличном экипаже всякий день показаться, и в театре побывать в разных ложах и проч. А с другой стороны, я также хорошо понял, что с малым, который, прочтя раз сколько-нибудь заинтересовавшую его страницу, удержит ее навсегда в памяти или, воротясь из новой оперы, катает на рояле все ее сальянтные[7] места с гармоническими ходами и оркестровыми эффектами, много сделаешь часа в четыре в сутки, и добросовестно отдал в его распоряжение столько своего времени, сколько сам он хотел и мог взять. Главное то, что я понял всю бесполезность и даже положительный вред разных запретительных мер, и от души хохотал, хохотал порою до сумасшествия, когда он показывал мне строки, замаранные в истории римских императоров его высоконравственным гувернером. Увы! он только эти-то строки и выучил наизусть по другому, конечно, экземпляру из истории римских императоров. Но высочайшая прелесть запретительной системы обнаружилась, когда мудрый и чинный наставник в день рождения (воспитаннику было уже шестнадцать лет, и он состоял уже в ближайшем знакомстве с прекрасной половиной одного престарого и прескупого грека, подчинявшегося, однако, общему правилу образованного общества иметь свою ложу в Перголе)[8] подарил ему издание Family-Shakspeare.***[9] Шекспира англичанин хотя знал очень плохо и, кажется, внутри души считал его просто только непристойным и безнравственным писателем, но увидел с сокрушенным сердцем тяжкую необходимость решиться на такой подарок... Вот где можно было окончательно дознаться, с какими целями издаются Фемили-Шекспиры и другие editiones castratae **** на пользу юношества. Первым делом, разумеется, наш отрок стянул у меня моего нефамильного Шекспира, добросовестнейшим образом вписал в свой экземпляр пропущенные или исправленные места, добросовестнейшим образом их выучил и бессовестно мучил ими каждое утро своего добродетельного надзирателя...

* городе цветов, Флоренции *(итал.)*.
** в скобках *(франц.)*.
*** семейного Шекспира *(англ.)*.
**** кастрированные издания *(лат.)*.

Да к иному результату — Фемили-Шекспиры и вообще запретительные меры, прилагаемые к живым и даровитым натурам, и вести, конечно, не могут... С другой стороны, нельзя же, конечно, и прямо все в руки совать отрокам. И выходит поэтому, что прав был вполне мой отец, смотревший и желавший смотреть на все сквозь пальцы, чтобы и отеческое достоинство не страдало, да и свобода бы развития человеческого сколько можно не стеснялась.

В конце двадцатых и в начале тридцатых годов в обращении между обычными читателями всякой всячины находились уже, конечно, не «Кандид» г. Волтера, не «Антеноровы путешествия»,[10] не «Кум Матвей»[11] и даже не «Фоблаз».[12] Со всеми этими прекрасными и назидательными сочинениями познакомился я уже после, в эпоху позднейшую даже, чем студенчество. Струя нахально-рассудочного или цинически-сладострастного созерцания жизни, бежавшая по этим дореволюционным[13] продуктам, уже сбежала и сменилась иною, в свою очередь тоже сбегавшею уже струею — так сказать, реакционною. Средние века — которые были как время мрака и невежества отрицаемы «веком разума» — мстили за себя. Они, хоть на первый раз по возобновлении, и совершенно ложно понятые, — заняли почти что всевластно человеческое воображение. Рыцарство, с одной стороны, таинственности загробного мира и сильные страсти с мрачными злодеяниями — с другой... вот что дразнило немалое время вкус публики, которой приелись и нахальство голого рассудка и бесцеремонная чувственность былого времени. Уже самый «Фоблаз» — книга, стоящая, так сказать, на грани двух направлений: сказка, интрига весьма спутанная и сложная играет в нем роль нисколько не меньшую чувственности — и история Лодоиски имеет в нем уже весь характер последующего времени, романов г-ж Жанлис и Коттен. Сказка, интрига, чудесное и таинственное должны были на время занять человеческий ум — именно потому, что крайние грани революционного мышления и созерцания были крайними гранями его собственного истощения. После фанатически-чувственного культа разума гебертистов[14] и после сентиментально-сухого культа высшего существа, признанного и освященного Робеспьером, идти дальше было некуда. Замечательно, что самое освещение этого культа добродетельным учеником Жан-Жака[15] сливалось уже с смешными бреднями и мистериями вдовицы Катерины Тео[16] (Theos). Кроме того, пресытившись тщетой различных утопий будущего, одна за другою оказывавшихся несостоятельными, человечество на время поворачивало назад оглобли и переселяло свои мечты в прошедшее.

Так было, конечно, преимущественно в той стране, в которой революционное движение совершилось в самой жизни, а не в одном мышлении, т. е. во Франции, и, обращая взгляд на сказки, дразнившие и тешившие вкус ближайшего послереволюционного поколения, надобно непременно иметь это в виду и строго различать струи, бегущие по романам хотя бы, например, англичанки Анны Редкляйф, или Радклиф, как обычно писали у нас ее имя, чопорной гувернантки герцога Орлеанского г-жи Жанлис или слезливой г-жи Коттен и добродетельно-сентиментального Дюкре-

Дюмениля — и немцев Клаурена и Шписса. Все это имеет, пожалуй, одну общую исходную точку, и эту точку можно, пожалуй, назвать реставрацией средних веков — но не везде слово «реставрация» однозначительно в этом отношении с словом «реакция».

Талант, например, Анны Радклиф и ее магическое влияние на бывалых читателей — не подлежат ни малейшему сомнению. Покойный А. В. Дружинин в одном из своих «Писем иногородного подписчика», с своими всегдашними качествами чуткости и тонкости, написал несколько блестящих и даже эстетически глубоких страниц [17] о значении и обаятельной силе множества сторон в произведениях ныне забытой романистки, передавши искренне свои впечатления от этой живописи мрачных расселин и подземелий, зверских страстей и вместе самых чинных, английски-нравственных жизненных воззрений — живописи с колоритом иногда совершенно рембрандтовским... но он не коснулся исторических причин, лежавших в основе этой живописи и ее породивших, не коснулся разницы неизмеримой, лежащей, например, между этим родом и полнейшею чисто уже реакционною реставрациею, совершенною впоследствии Вальтер Скоттом в его романах. Дело в том, как мне кажется, что отношения знаменитой романистки к изображаемому ей миру были не так определенны, конечно, как отношения Вальтер Скотта к его миру, ибо у нее прежде всего недоставало огромного запаса его сведений; но едва ли ее отношения не были более непосредственны; едва ли не более огранически сложились в ней ее вкус и созерцание... Вальтер Скотт некоторым образом *сделался,* Анна Радклиф *родилась* — родилась прямо с своею страстью к развалинам, подземельям и могилам, с своим нервическим чутьем жизни теней, привидений и призраков, с своей отзывчивостью на мрачные и зверские страсти — и родилась притом из самой глуби английского духа, из того же мрачного сплина, который у величайшего представителя нации сказался сценою Гамлета на кладбище и потом могущественно-односторонне сосредоточился в Байроне. Я говорю здесь, конечно, не о силе таланта, а о его источниках, говорю о том, что Анна Радклиф была талант глубоко искренний — чем и объясняется ее преимущественное, преобладавшее и магическое влияние на мысль читателей, повсеместно колоссальный успех ее романов, поколебленный — да и то нескоро — только успехом чрезвычайно искусных изделий шотландского романиста.

С другой стороны, писатели рыцарских романов в Германии — как например Шписс, Клаурен (кажется, Клаурен — автор «Могильщика», «Урны в уединенной долине» [18] и проч.) — хотя постоянно заняты рыцарством, фантастическим и средними веками, но вовсе не принадлежат к последующей реакционной реставрации средневекового мира, последствиями которой были: сочиненный искусственный католицизм Герреса и братьев Шлегелей [19] да «вольные» сумасшествия «доктора любви» Захарии Вернера, этого «сумасшедшего, который вообразил себя поэтом», как метко выразился о нем гениально остроумный автор писем о дилетантизме в науке.[20] Шписс и вообще писатели тогдашних немецких рыцарских

романов принадлежали к другому периоду, к так называемому Drang und Sturm Periode * немецкой литературы, периоду, начатому вакхическими возлияниями Клопштока и его друзей перед Ирминовым столпом[21] (Irmin Säule) и блистательнейшим образом выразившемуся в железноруком «Гетце фон Берлихингене» Гете да в «Разбойниках» Шиллера — периоду скорее разрушительному, чем реакционному. Древняя Германия, затем рыцарство и средние века были для этого титанического поколения знамена борьбы, а не отдыха, и кинжал, который без подписи горел над безвестною могилой безрассудного убийцы филистера Коцебу,[22] был прямым последствием тевтонско-революционного движения. Разумеется, все это относится не к скучным и длинным романам Шписса, а к тому направлению, за которым ковыляли эти и подобные им романы, к той струе, которая бежит по ним.

Знаю — не могу не сделать опять отступления — что меня настоящее молодое поколение, если только — что весьма сомнительно — оно пробежит мои записки, — попрекнет в темноте и даже неопределенности изложения, — но ведь не могу же я писать целые томы для разъяснения вещей очень близко и коротко знакомых и мне и всем моим сверстникам, хотя, конечно, с другой стороны, не могу и требовать, чтобы молодое поколение перечло всю ту ерунду, вроде разных «Рыцарей Льва», «Рыцарей Семигор», «Улло, горного старца», «Старика везде и нигде»,[23] которую мы перечитали. Во всяком случае, общего знания хода истории литератур и значения литературных периодов я имею основания требовать от того, кому благоугодно будет разрезать эти страницы «Эпохи» с намерением пробежать их, и добросовестно предупреждаю его насчет необходимости этого общего знания. Мне некогда рассказывать историю немецкой, или английской, или французской литературы, и, передавая те веяния, которые они приносили нашему поколению, я поневоле должен ограничиваться намеками.

Струя, которая бежит по этим старым рыцарским немецким романам, — весьма сложная струя. Эти гонимые добродетели и угнетаемые злодеями невинности, которые защищены всегда или прямо таинственными, загробными силами, или добродетельными рыцарями, обязанными по уставам своих братств поражать зло и поддерживать страдающую правду; эти тайные судилища, фемгерихты, потайным кинжалом творящие суд и правду в бесправном и разрозненном, лишенном единства (которого и поныне не достигла Германия) обществе, — эти мрак и тайна, которыми окружены поборники правого дела, какие-нибудь рыцари Льва или Семигор, эта вечная чаша св. Грааля,[24] парящая в высях небесных, — все это не одна любовь к средним векам и к реставрации — далеко не одна. Тут и месмеризм[25] XVIII века с его духами и духовидцами, тут и иллюминатство Вейсгаупта[26] или розенкрейцерство[27] с их тайнами, символами и потайными кинжалами — тут, наконец, главным образом, ужасное убеждение в полнейшем бесправии разрозненного об-

* период бури и натиска *(нем.)*.

щества и не менее же ужасное убеждение в полнейшей необходимости постоянного действия сверхъестественных или сверхобщественных и, стало быть, противуобщественных сил — убеждение, высказавшееся у двух великих художников Германии образами Карла Моора и Гетца фон Берлихингена — а в жизни безумным мученичеством Занда... Мудрено ли, что как ни плохи и ни длинны изделия Шписса, Клаурена и других рыцарских романистов того времени, но струи, бегущие по ним, действовали сильно и на воображение и на чувство читавшей массы.

Наконец, что касается до французских романов этого времени, то они также отличались совершенно особенным характером, и притом вовсе еще не реакционным и даже не реставрационным. Я говорю, конечно, о романах, преимущественно ходивших в обращении в публике, т. е. в читающей черни, о романах Дюкре-Дюмениля, г-ж Жанлис и Коттен, а не о романах Шатобриана или г-жи Сталь. «Виктор, или Дитя в лесу», «Слепой у источника св. Екатерины» — произведения первого из поименованных мною романистов, «Рыцари Лебедя» г-жи Жанлис — и знаменитая «Матильда, или Крестовые походы» г-жи Коттен — вот что составляло насущную пищу читающей «публики», преимущественно женской ее половины. Дюкре-Дюмениль завлекал своими сложными и запутанными интригами да разными ужасами, хоть и не тонко, но зато крайне расчетливо придуманными. Над «Матильдой» проливалось несчетное количество слез, и Малек-Аделем ее решительно бредили барыни и барышни, ровно до тех пор, пока его сменили герои виконта д'Арленкура, представителя новой, уже чисто реставрационной и реакционной струи. Скучнее всего были романы г-жи Жанлис, хотя по странной игре судьбы в упомянутом мною пошлом ее изделии «Рыцари Лебедя» — может быть, нагляднее всех других выражался тогдашний французский дореволюционный дух и его тогдашнее отношение к средним векам, рыцарству и проч., так что даже весьма скандальных непристойностей немало в произведении сухой и чинной гувернантки Орлеанского, а легкомыслие общего взгляда на жизнь доказывает, что не бесследно прошло для нее знакомство с сочинениями Вольтера и с ним самим. Да и рыцари, взятые ею напрокат без малейшего знакомства с историею из времен Карла Великого, нисколько не похожи на рыцарей немецких романов: это люди очень легкомысленные и ветреные, — помимо, конечно, ее ведома — вышедшие у нее точно французскими и даже провансальскими рыцарями, — или резонеры, рассудочные люди, схожие, как две капли воды, с типами французских буржуа. О г-же Коттен я не распространяюсь, потому что хоть она и больше, может быть, читалась, но в сущности менее характеристична. Дюкре-Дюмениль, как я уже сказал, брал преимущественно запутанностью сказки. Чрезвычайно важно то только, что во всех этих совершенно различных один от другого романистах, во всех, — если прибавить к ним еще и г-жу Монтолье, автора знаменитой тоже тогда «Каролины Лихтфильд» и «Амалии, или Хижины среди гор» [28] — несмотря на всю их пошлость, общий французский дух и конец восьмнадцатого века выражаются все-таки очень ярко и наглядно и в легко-

мыслии, и в чувственности, и в мещанской рассудочности взгляда на жизнь. Та нравственность, к которой они клонят, и та мораль, которая из них выводится, вовсе не то, что чопорный пуританизм Радклиф или добродетель, проповедуемая Шписсом. Она гола и суха до крайней пошлости, не обвита ни сплиническим мраком, ни нимбом таинственности — и совершенно практична. Сочинялись эти изделия по чисто внешним, а уж никак не по внутренним побуждениям. Не стремление к средним векам, к таинственному или ужасному порождало их с их крестовыми походами, замками и подземельями, таинствами и ужасами, а просто мода и прихоть. Вкус к разбойникам пошел от Шиллера, т. е. от того M-r Gilles, auteur allemand,* которому юная республика посылала гражданский патент и которого Карл Моор переделался на французской сцене в Robert, chef des brigands,** — таинства, подземелья и ужасы были простым соревнованием громадному успеху романов Анны Радклиф. Всурьез еще ничто подобное не принималось французским духом. Еще не явилась знаменитая книга г-жи Сталь о Германии,[29] а Шатобриан еще только обдумывал свой «Génie du christianisme», *** еще носил только в душе психологические исповеди Рене и Эвдора.[30] Писались просто сказки, бившие на занимательность и прошпигованные насквозь с одной стороны сентиментальностью, которой, как виноградным листиком, прикрывалась, и не всегда удачно, чувственность; да нравственностью, которая в переводе на чистый французский язык значила и значит всегда, как известно, рассудочность. Но этим-то лицемерством и важны эти пошлые изделия, предназначавшиеся для потребления читающей черни. Лицемерство сентиментальности и нравственности — вещь весьма понятная после чувственных сатурналий, начатых философом Дидро и законченных маркизом де Садом.[31]

Была, однако, еще струя, еще более запоздалая, но зато гораздо искренней мутная, в которой старый, дореволюционный XVIII век сказывался совершенно животненными отрыжками. Эта струя бежала сильно в произведениях одного, тоже из любимых писателей читающей черни, в Пиго-Лебрене. Это был уже просто писатель-циник, хотя, надобно отдать ему полную справедливость, несравненно более талантливый, чем все сентименталисты, и несравненно менее противный, чем любимый писатель последующего времени, Поль де Кок, с силою комизма неоспоримой, с наглой искренностью разврата, без малейших претензий на мораль и добродетель, которые в Поль де Коке гораздо гнуснее для здравого эстетического и нравственного чувства, чем его скабрезности. Сочинений этого весьма откровенного господина до сих пор, я думаю, нельзя читать без смеха; даже характеры и лица умел рисовать он, — и кто, например, читал когда-нибудь «Пажа»,[32] тот, верно, не забыл достолюбезного гусара Брандта, верного друга барона Фельцгейма и верного дядьки его молодого

* г. Жиля, немецкого литератора *(франц.)*.
** Робера, главаря шайки разбойников *(франц.)*.
*** «Гений христианства» *(франц.)*.

сына, милых сцен на станции с хозяйкой, и с старым циником, и с рыжим капуцином... Прямота и откровенность вольтерьянизма с его ненавистью к monacaille * и дидротизма с фанатическим поклонением чувственности слышатся пренаивно в подобных сценах. Пиго-Лебрена я не могу отнести даже к числу *вредных* писателей: разврат у него так бесцеремонно показан, так обнажен от всяких завлекающих и дразнящих покровов, что едва ли кого соблазнить может. Я помню, что отец, например, читая вслух «Пажа», высылал меня на короткое время из комнаты и что потом я, как уже рассказывал, крал по обычаю книгу и, конечно, прочитывал с некоторым лихорадочным трепетом пропущенные места: особенного действия они на меня, сколько я помню, не производили, а смеялся я ужасно, потому что действительно смешно, гораздо смешней Поль де Кока (которого, впрочем, я как-то терпеть не мог всегда) писал человек.

Но вся штука в том, что Пиго-Лебрен — прямой и смелый человек, нахально сам себя выставлявший безнравственным писателем, «проформа» требовала, чтобы юное воображение было удаляемо от знакомства с таким циником. Именно только «проформа», потому что никому не приходило в голову гнать меня из комнаты, когда читались «Природа и любовь», «Вальтер, дитя ратного поля» [33] и другие произведения безнравственнейшего из писателей того времени, равно помешанного на чувственности самой ядовитой и дразнящей, как на добродетели самой приторно-немецкой, и знаменитого даже нравственностью и добродетелью, немца Августа фон Лафонтена. Многим, в особенности помнящим только стих Пушкина:

Роман во вкусе Лафонтена,[34]

приговор мой насчет безнравственности этого и других подобных ему в это время романистов покажется, по всей вероятности, парадоксальным; но в сущности, если уж говорить о безнравственности или вреде литературных произведений, то дело выйдет совершенно так. Молодое сердце и даже, проще говоря, молодая чувственность не так легко, как вообще думают, поддаются цинически-нахальному, не таящему себя под покровами разврату. До этого надобно дойти, а сначала нужны непременно приманки, покровы, некоторая таинственность, нужно то, что вообще сообщает прелесть всем запретным плодам. В самой женщине натуру благоустроенную влекут сначала именно такие же свойства...

Из читателей даже не совсем молодого поколения, а только несколько помоложе того, к которому принадлежу я, никто, конечно, не читал сентиментально-чувственной дичи добродетельного немецкого романиста, с чем я их от души поздравляю, потому что время, которое было бы употреблено на это совершенно пустое и праздное чтение, с большею пользою пошло, вероятно, хоть на игры на свежем воздухе, а тревожное чувство, которое бы оно непременно возбудило в их существе, находило

---

* монашескому *(франц.)*.

себе, и притом в пору, позднее, правильный и жизненный, а не книжный выход. Но с другой стороны, не совещусь я нимало сам признаваться и в этом чтении и в немалом влиянии этого чтения на мое развитие. Так было, так сделалось: я-то, спрашивается, чем тут виноват?

Представьте вы себе вот какого рода, например, нелепую историю. Живет в каком-то немецком захолустном городке добродетельнейший и честнейший до паточной приторности танцмейстер. Совокупляется он — браком, разумеется — с столь же добродетельною, прекрасною и еще более бедною, чем он сам, девицею; живут они как и следует, т. е. как канар и канарейка, пересыпаясь непрерывно поцелуями и питаясь весьма скудною пищею. Тем не менее, несмотря на скудное питание, приживают они сына Вальтера. Вальтер выходит образцом всякой чистоты и добродетели. В ранней юности он встречает какую-то шатающуюся девицу, тоже образец чистоты, добродетели и невинности, дружится с нею и препроводит он с нею время наичистейшим образом, храня, хотя не без волнений, и весьма притом тревожных, ее чистоту. Как уж это ему удается, спросите у добродетельного писателя, ставящего его, как нарочно, в самые затруднительные положения... Затем — какими уж именно судьбами, не могу вам поведать в точности, ибо нить самой сказки исчезла из моей памяти, а если б я вздумал ее перечитывать, то вы бы имели полнейшее право заподозрить меня в непомерной глупости, — Вальтер попадается в какой-то богатый дом, к странному чудаку-старцу, у которого есть прелестная и невинная, как сама невинность, шестнадцатилетняя племянница. Чудаку почему-то и от кого-то нужно скрыть на месяц свою племянницу и вместе с тем убедиться в добродетели Вальтера. В огромном саду его есть уединенный домик, клетка для канара и канарейки, — и вот в этот-то домик, совершенно одних, поселяет он Вальтера и Леопольдину, обязавши первого честным словом хранить вверенную ему чистоту красавицы, а ей самой не сказавши, конечно, ни слова, ибо предполагается везде и всегда, что «у девушек ушки золотом завешены». Можете вообразить себе, какую адски-раздражающую нервы жизнь ведут сии чистые голубки целый месяц. Я полагаю, что Кукушкина, у которой глаза закатываются под лоб от восторга, когда она читает, «как препятствия исчезают и два любящих сердца соединяются», не раз и не два, а раз двадцать перечитывала эту идиллию. История называется «Вальтер, дитя ратного поля» — в российском переводе, разумеется. Не этот, впрочем, Вальтер дитя ратного поля, а ребенок, действительно найденный им во время битвы и им воспитанный. Сказку, повторяю вам, я забыл.

Или вот еще, например, история, которой мой отец в особенности восхищался всегда, живя уже более воспоминаниями, но любя дразнить себя ими, восхищался, как Кукушкина, — история, называющаяся — «Природа и любовь». Вам не безызвестно конечно, что последняя четверть XVIII века помешалась на природе, на первобытной чистоте и невинности, бредила о том, как бы создать, сочинить хоть искусственно — как Вагнер во второй части «Фауста» сочинил Гомункулуса, — высидеть, наконец, как-нибудь человека природы. Великий красноречи-

вый софист, добросовестнейший и пламеннейший из софистов, потому именно, что он прежде всех самого себя обманывал, Руссо, пустивший в ход и теорию абсолютной правоты страстей в своей «Юлии», и теорию, отрешенную от условий воспитания, в своем «Эмиле», и *сделанную* общественную утопию в своем «Contrat social» * — если и не выдумал эту «природу конца XVIII века», ибо и до него еще было немало ее выдумщиков, то по крайней мере силою своего огненного таланта и увлекающего красноречия, самою жизнию, полною мук из-за нелепой мысли и преследований за нелепую мысль, пустил ее в ход на всех парусах. Гонимый всеми — и католиками, и кальвинистами, и даже самыми философами, осыпаемый клеветами и бранью Дефонтеней[35] и других подобных личностей, но вместе и нещадными сарказмами Вольтера,[36] он, однако, на известный срок времени, вполне торжествует по смерти. Не только что ко гробу его ездят на поклонение всякие путешественники (помните, как какой-то англичанин без дальних разговоров, прямехонько спрашивает задумавшегося Карамзина:[37] vous pensez à lui? **), его слово переходит в дело, кровавое дело его практических учеников Сен-Жюста и Робеспьера, а с другой стороны разливается как учение по читающим массам. Как дело оно гибнет в свою очередь, но гибнет грандиозно-сурово; как добыча читающих масс оно опошляется до крайних пределов пошлости, до чувствительных романсов вроде

Для любви одной природа
Нас на свет произвела,

до паточных идиллий Геснера и его истории о первом мореплавателе,[38] до романа «Природа и любовь» Августа фон Лафонтена...

Воспитывает какой-то чудак своего сына à la Эмиль, но с еще большими крайностями, в совершеннейшем удалении от человеческого общежития, в полнейшем неведении его условий и отношений, даже разницы полов — вероятно, для того, что пусть, дескать, сам дойдет до всего — слаще будет... Но выходит из этого не канва для «Гурона, или Простодушного» — этой метко-ядовитой и, несмотря на легкомысленный тон, глубокой насмешки старика Вольтера над модною «природою» — а совсем другая история. Юный Вильям — конечно уж, как следует — образец всякой чистоты, прямоты и невинности. Попадается он при первом столкновении с обществом на некоторую девицу Фанни — и, приведенный сразу же в отчаяние ее совершенным непониманием «природы» и тончайшим пониманием женского кокетства и женского вероломства, — уезжает в далекую Индию. Там он конечно научается глубоко уважать диких и ненавидеть угнетающую их, «чад природы», цивилизацию, там он встречает прелестную Нагиду. Самое имя — конечно для ясности идеи измененное таким образом русским переводчиком, исполнявшим, кажется, труд перевода «со смаком», — показывает уже достаточно, что это — на-

* «Общественном договоре» *(франц.)*.
** вы думаете о нем? *(франц.)*.

гая, чистая природа. И действительно, разные сцены под пальмами и бананами совершенно убеждают в этом читателя — и ужасно раздражают его нервы, если он отрок, еще ничего не ведающий, или старик, много изведавший и мысленно повторяющий поведанное. Недаром же так любил чтение этого произведения мой отец — и не до преимуществ дикого быта перед цивилизованным было, конечно, ему дело...

Все это, как вы видите, были струи более или менее мутные — струи запоздалые, но вносившие свой ил и тину в наше развитие.

‹VIII›

ВАЛЬТЕР СКОТТ И НОВЫЕ СТРУИ

Между тем новые струи уже вторгались в умственную и нравственную жизнь, даже в ту далеко отстававшую от общего развития, в которой я воспитывался или воскармливался. Разумеется, об отсталости среды говорю я по отношению к поколению уже старому, зародившемуся в последней половине XVIII века. Молодое жило всего более теми умственными и нравственными веяниями современности, которые и поставил я, кажется по всей справедливости, на первом плане — хотя оно, органически связанное с поколением, его породившим, не могло же уберечься от известной доли наследства его впечатлений. А с другой стороны, и поколение старое, если только оно не было уже совсем дряхлое и находилось в соприкосновениях с жизнию, а стало быть, и с поколением, выступавшим на поприще жизни, не могло тоже уберечься в свою очередь от воспринятия известной же доли новых впечатлений нового поколения.

Не только мой отец, человек, получивший хоть и поверхностное, но в известной степени полное и энциклопедическое образование его эпохи, — даже его чрезвычайно малограмотные товарищи по службе, которых уже, кажется, ничто, кроме взяток, описей и погребков не могло интересовать, — и те не только что слышали про Пушкина, но и читали кое-что Пушкина. Небольшую, конечно, но все-таки какую-нибудь часть времени, свободного от службы и погребков, употребляли они иногда на чтение, ну хоть с перепоя тяжкого, — даже хоть очень небольшую, но все-таки какую-нибудь сумму денег, остававшихся после житья-бытья да кутежей, употребляли, хотя спьяну, на покупку книг, приобретая их преимущественно, конечно, на Смоленском рынке или у Сухаревой башни; некоторые даже библиотечки такого рода пытались заводить. В особенности мания к таким совершенно, по мнению жен их, бесполезным покупкам распространилась, когда полились неудержимым потоком российские исторические романы. Тут даже пьянейший, никогда уже не достигавший совершенного трезвого состояния, из секретарей магистрата — прочел книжку и даже купил у носящего эту книжку, хотя не могу с точностию сказать, потому ли он купил в пьяном образе, что прочел, или потому прочел, что купил в пьяном образе. То была «Танька-разбойница Ро-

стокинская»,[1] которая особенно представлялась ему восхитительною с кнутом в руках — так что он купил, кажется, даже табатерку с таковым изображением знаменитой героини.

Но российские исторические романы принадлежат уже к последующей полосе, а не к этой, кончающейся началом тридцатых годов и замыкающей в себе из них только первые романы Загоскина и Булгарина,[2] только первые опыты российского гения в этом роде.

Российский гений открыл род этот, как известно, не сам, а перенял, но проявил свою самостоятельность в изумительном его облегчении и непомерной вследствие такого облегчения плодовитости, — о чем в свое время и в своем месте я поговорю, конечно, подробнее.

В ту полосу времени, о которой доселе идет еще пока у меня дело, — новыми струями для поколения отживавшего и читающей черни были романы знаменитого шотландского романиста — или, как условлено было называть тогда в высоком слоге альманачных и даже журнальных статеек, «шотландского барда».

«Шотландский бард», возбуждавший некогда восторг до поклонения, обожание до нетерпимости, поглощаемый, пожираемый, зачитываемый целою Европою в порядочных и нами в весьма гнусных переводах, — порождавший и послания к себе поэтов, как например нашего Козлова,[3] и целые книги о себе — вроде книги какого-то невероятно ограниченного шотландца, кажется, Олена Кунингам[4] по прозванию, полной неблагопристойно-тупоумного поклонения, не знающего уже никаких границ, — шотландский бард, говорю я, отошел уже для нас в прошедшее, — не возбуждает уже в нас прежних восторгов — тем менее может возбуждать уже фанатизм. Факт и факт несомненный — печальный ли, веселый ли, это я предоставляю разрешать ad libitum,* — что в конце двадцатых и в тридцатые годы, серо и грязно изданные, гнусно и притом с Дефоконпретовских переводов[5] переведенные романы его выдерживали множество изданий и раскупались, несмотря на то, что продавались очень не дешево — расходились в большом количестве, а в половине сороковых годов затеяно было в Петербурге дешевое и довольно приличное издание переводов Вальтер Скотта[6] с подлинника, да и остановилось на четырех романах — да и те-то, сколько я знаю, покупались куда не во множестве. В пятидесятых годах кто-то, добрый человек, выдумал в Москве начать издание еще более дешевое, хоть и посерее петербургского, переводов с подлинника Вальтер Скотта, и выпустил довольно сносный переводец «Легенды о Монтрозе»[7] — да на нем и сел, по всей вероятности, за недостатком покупщиков — тогда как ужасно много разошлось старого перевода, под названием «Выслужившийся офицер, или Война Монтроза».[8]

Habent sua fata libelli **[9] — весьма устарелая, до пошлости избитая и истасканная, но все-таки весьма верная пословица, только приложи-

* по желанию (*лат.*).
** Книги имеют свою судьбу (*лат.*).

мая преимущественно к временным, так сказать модным (не в пошлом впрочем, а в важном, пожалуй гегелевском, смысле слова), а не к вечным явлениям искусства.

Прежде всего я должен сказать, что к таковым модным в искусстве явлениям, хоть в своем роде и в высшей степени замечательным явлениям, я причисляю знаменитого шотландского романиста. Сказать это после величайшего из английских мыслителей Карлейля,[10] конечно, уже нисколько не смело в наше время, но дело в том, что и в ранней юности я без особенного заскока читал многие из хваленых произведений Вальтер Скотта и, напротив, читал по нескольку раз, и от детства до юности с постоянно живым интересом некоторые из его же малоизвестных. На меня весьма малое впечатление произвел, например, «Айвенго», и я не обинуясь скажу, что насчет сказочного интереса пресловутый роман этот весьма уступит сказкам Дюма и что в нем дороги только такие подробности и лица, которые автору не дороги, потому, явное дело, что страстному, хоть и нечестивому храмовнику Бриану читатель гораздо более сочувствует, чем добродетельно-глупому рыцарю Айвенго... На меня совсем никакого впечатления не произвели «Ваверлей» и «Вудсток», которого Оливер Кромвель так деревянно бледен перед живою фигурою во весь рост великой драмы Гюго,[11] и «Квентин Дорвард», которого захваленный Людовик XI, не сходящий почти со сцены в романе, какая-то вялая тень перед Людовиком XI величайшего поэта нашего века, хоть в свой «Notre Dame» он и пустил его только в две сцены. Да ведь зато какие эти сцены-то, какой мощи и поэзии полны они!.. Не произвели на меня впечатления и «Ричард в Палестине», и «Карл Смелый и Анна Гейерштейн», и сентиментальная «Эдинбургская темница», и весь на эффектах построенный «Кенильворт». Я не стыжусь даже признаться, что «Невесту Ламмермурскую» люблю я как «Лючию»,[12] т. е. как вдохновение маэстра Донидзетти и певца Рубини, а не как роман Скотта... и мне кажется (о, варварство! воскликнут запоздалые поклонники шотландского барда), что дюжинный либреттист Феличе Романи выжал из романа весь сок всего истинно драматического, что́ заключается в романе, разбавивши это драматическое водою неизбежных итальянских пошлостей.

А между тем читал я и перечитывал в разных переводах и, наконец, в подлиннике «Пирата», или «Морского разбойника», как называется он в чистом и по своему времени изящном, хоть и сделанном с французского, переводе замоскворецкого романиста, г. Воскресенского, читал и перечитывал «Монтроза», читал и перечитывал «Певериля Пика»... Да! и доселе еще жив передо мною весь со всей обстановкой, со всем туманно-серым колоритом уединенный, замкнутый, как будто изолированный от всего остального мира, мирок шотландских островов, где совершается действие простой, даже не исторической, не загроможденной никакими блистательными личностями и событиями, но собственной жизнию полной драмы, совершающейся в романе «Пират», или — как озаглавлен он в переводе г. Воскресенского — «Морской разбойник».

Равномерно огромное же впечатление оставила на меня «Легенда о Монтрозе», или «Выслужившийся офицер, или Война Монтроза», по старому его серобумажному переводу. О «Певериле» я не говорю. Я его в детстве не читал, а прочел уже в довольно позднюю пору в подлиннике, но, во всяком случае, причисляю его к сильным впечатлениям от Вальтер Скотта. Затем, странное тоже дело, одна из поэм его в непотребнейшем переводе под названием «Мармиона, или Битва при Флодденфильде» — перечитывалась мною несколько раз в детстве. Из нее превосходно передан Жуковским известный отрывок «Суд в подземелье», но, повторяю, не в этом художественно переведенном отрывке я с нею познакомился.

У нас в доме вообще не особенно любили Вальтер Скотта и сравнительно не особенно усердно его читали. «Морского разбойника» даже и до конца, сколько я помню, отец не дочел — так он ему показался скучен. «Выслужившегося офицера» хоть и прочли, но отец жаловался на его растянутость, «Мармионы» же осилили разве только станиц десять. Вообще как-то форма изложения — действительно новая и притом драматическая у шотландского романиста — отталкивала от него старое читавшее поколение. «Как пойдет он эти разговоры свои без конца вести, — говаривал мой отец, — так просто смерть, право», — и пропускал без зазрения совести по нескольку страниц. Вырисовка характеров, к которой Вальтер Скотт всегда стремился, его не интересовала. Ему, как и множеству тогдашних читателей, нравилась всего более в романе интересная сказка, и потому естественно, что знаменитый романист нравился ему там только, где он или повествовал о важных исторических личностях или — как например в «Роберте, графе Парижском» — рассказывал разные любопытные похождения.

Вдумавшись впоследствии в причины моего малого сочувствия к множеству самых хваленых романов Вальтер Скотта и, напротив, очень сильного к вышеупомянутым, я нашел, что я был совершенно прав по какому-то чутью.

Искусство живет прочно и действует глубоко на душу преимущественно одним свойством (кроме, разумеется, таланта художника) — искренностию мотивов или побуждений, от которой зависит и самая вера художника в воссоздаваемый им мир, а «без веры невозможно угодити богу», как сказано в Писании, да невозможно угодить вполне и людям.

Шотландец до конца ногтей, сын горной страны, сурово хранящей предания, член племени, хотя и вошедшего в общий состав английской нации и притом свободно, не так, как ирландское, — вошедшего, но тем не менее хранящего свою самость и некоторую замкнутость, — Вальтер Скотт весь полон суеверной любви к старому, к преданиям, к загнанным или сгибшим расам, к сверженным династиям, к уцелевшим еще кое-где, по местам, остаткам старого, замкнутого быта.

Случайно или не случайно — деятельность его совпала с реставрационными стремлениями, проявившимися после первой революции во всей Европе. Но — опять-таки — совсем иное дело эти реставрационные

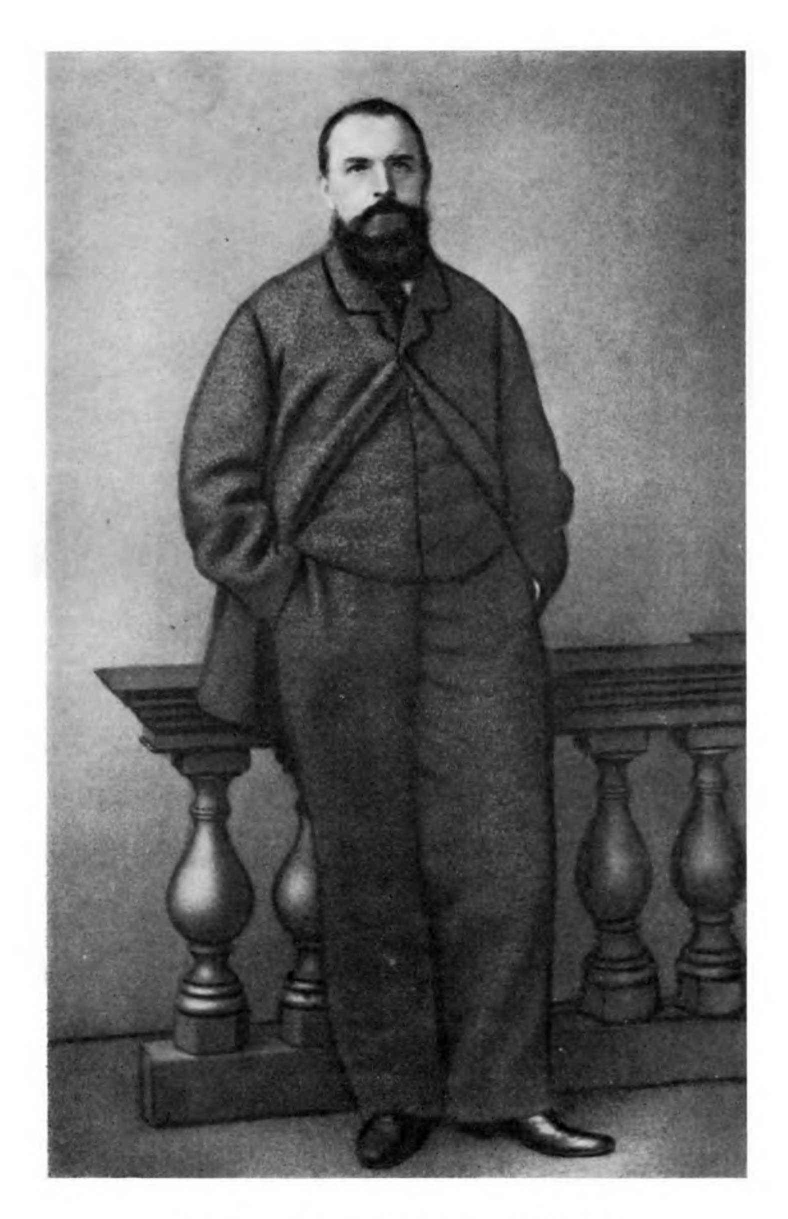
стремления в разных странах Европы. В Германии — как я уже сказал — под этими реставрационными стремлениями билась в сущности революционная жила; во Франции они были необходимой на время реакцией, выродившейся в новую революцию тридцатого года, у нас, наконец, они были и остались простым стремлением к очищению нашей народной самости, бытовой и исторической особенности, загнанных на время терроризмом реформы или затертых и заслоненных тоже на время лаком западной цивилизации.

О нас и наших реставрационных стремлениях говорить еще здесь не место. О Германии я говорил уже с достаточною подробностию. Чтобы уяснить мою мысль о непосредственно, так сказать, нерефлективно-реставрационном характере литературной деятельности Вальтер Скотта, я должен сказать несколько слов о французских реставрационных стремлениях.

Но никак не о тех, которые выказались в блестящей деятельности одного из величайших писателей Франции, Шатобриана — этого глубоко потрясенного событиями и страшно развороченного в своем внутреннем мире Рене, который с полнейшею искренностью и с увлечением самым пламенным ухватился за старый католический и феодальный мир, как за якорь спасения. Он представляется мне всегда в виде какого-то св. Доминика, страстно, со всем пылом потрясенной души и разбитого сердца, со всей судорожностью страсти обнимающего подножие креста на одной из чудных картин фра Беато в монастыре Сан-Марко.[13] Не на тех также стремлениях возьму я французскую реставрацию, которые начались у Гюго его одами и выразились в «Notre Dame», в «Le roi s'amuse» * и блистательно завершились «Мизераблями»;[14] не на напыщенных медитациях или гармониях Ламартина...[15] Эпоху, как я уже заметил, нужно брать всегда в тех явлениях, где она нараспашку.

В это время читающая публика «бредила» — буквально бредила ныне совершенно забытым, и поделом забытым, совершенно дюжинным романистом виконтом д'Арленкуром. Его таинственный пустынник и эффектно-мрачный отступник Агобар, его отмеченная проклятием чужестранка сменили в воображении читателей и читательниц добродетельных Малек-Аделей и чувствительных Матильд. Но сменили они вовсе не так, как хотел этого автор. Автор сам по себе — ограниченнейший из реставраторов и реакционеров: во всех своих успех имевших романах («Пустынник», «Чужестранка», «Отступник») он проводит одно основное чувство: любовь к сверженным и изгнанным династиям — в особенности в «Отступнике», в «Ипсабоэ» он в рот, что называется, кладет, что Меровинги ли первого романа, прованские ли Бозоны второго — для него то же, что Бурбоны, да публике-то читавшей, в особенности же не французской, а, например, хоть бы нашей, никакого не было дела до подвигов его воительницы девы Эзильды, полной любви к сверженной династии, ни до Ипсабоэ, восстановляющей всеусердно, хотя и тщетно, Бозо-

* «Король забавляется» *(франц.)*.



Ап. Григорьев. Фото начала 1860-х гг.

$^1/_2$II Зак. 719



Дом И. Г. Григорьева (деда) на Малой Дмитровке в Москве. Фото 1979 г.



Дом И. И. Казина (справа) в Малом Палашевском пер. Москвы. Фото 1979 г.



Церковь Спаса Преображения на Болвановке в Москве.
Фото 1979 г.



Дом Григорьевых на Малой Полянке в Москве. Фото 1915 г.



Комнаты А. А. Фета в мезонине дома Григорьевых. Фото 1915 г.



Панорама Замоскворечья 1856 г. Фото. Часть 1 (левая). 1 — Новоспасский монастырь. 2 — церковь Параскевы Пятницы. 3 — церковь Климента. 4 — Симонов монастырь.



Панорама Замоскворечья 1856 г. Фото. Часть 2 (центральная). 1 — церковь Воскресения в Кадашах. 2 — церковь Григория Неокесарийского.



Панорама Замоскворечья 1856 г. Фото. Часть 3 (правая). 1 — дом Прозоровского. 2 — Донской монастырь.



Загородный дом графа А. Г. Кушелева-Безбородко в Полюстрове.
Гравюра А. Беме (XIX в.).

нов в Провансе. Для французской публики все это были уже старые тряпки, для нашей вещи совершенно чуждые. Не тем влек к себе дюжинный романист, а своей французской страстностью, которая помогала ему разменивать на мелочь могучие и однообразно мрачные образы сплинического англичанина, к которому восторженное послание написал Ламартин[16] и которого наш Пушкин называл, уподобляя его морю, «властителем наших дум»,[17] но которому читающая чернь поклонялась понаслышке и издали, как таинственно-мрачному божеству. Все эти «Пустынники», «Агобары»,[18] «Чужестранки» — были решительно разменом на мелочь байронизма; разменом, может быть, более доступным черни, чем самый байронизм. С другой стороны, известная лихорадочная страстность француза, проникающая по местам штуки виконта д'Арленкура, была уже некоторым образом предвестницей той великой полосы литературы, которая называется юной французской словесностью. Реставрационные же стремления благородного виконта потрачены им совершенно задаром — и не сумей он, как настоящий, заправский француз, послужить вместе и богу и мамоне, т. е. не пиши он так, что и реакции-то было бы не противно и на новые, страстные стремления похоже, он бы не имел решительно никакого успеха.

Совсем другое дело — наивно, непосредственно, искренне реставрационный характер Вальтер Скотта — не говоря уже, конечно, об огромном различии таланта. Весь полный мира преданий, собиравший сам с глубокою любовью песни и предания родины, чуждый всяких политических задач и преднамеренных тенденций, честный даже до крайней ограниченности, объясняющей его нелепую, но искреннюю историю французской революции и Наполеона,[19] Вальтер Скотт был вполне представителем шотландского духа, но не с той грозной и величавой стороны его, которая породила суровый пуританизм и Оливера Кромвеля, а со стороны, так сказать, общежитейской. Такого другого ограниченного мещанина, как «шотландский бард», надо поискать да поискать — разве только наш Загоскин будет ему под пару: его добродетельные лица глупее Юрия Милославского и Рославлева, приторнее братцев Чарльсов[20] Диккенса. Но дело в том, что он все-таки поэт — и большой, хотя далеко не гениальный, как Байрон или Гюго, поэт, что помимо его воли и желания вырисовываются перед нами в его произведениях именно те самые образы, к которым не питает он нравственной симпатии, и что, с другой стороны, есть правда и есть поэтическая прелесть в его сочувствии к загнанным или погибшим расам, сверженным, но когда-то популярным династиям, к суевериям и преданиям, — есть художественная полнота и красота в его изображениях замкнутых мирков или отошедших в область прошедшего типов.

Что это за мир, например, совсем отдельный, разобщенный с остальным миром — этот мир шотландских островов с его патриархом Магнусом Труалем (я все имена пишу по переводу Воскресенского),[21] с его дочерьми: поэтически мрачной, суеверной, нервной и страстной Минной и с белокурой, простодушной Бланкой, с таинственной — не то поме-

шанной, не то ясновидящей заклинательницей стихий Норной, с загадочным стариком-проходимцем Мертуном, с молодцом разбойником Клевеландом и его остроумным и непотребно ругающимся товарищем, с чудаком стихотворцем Клавдием Галькро и с жадным, лукавым разносчиком, нецеремонно пользующимся береговыми правами. Все это живет, все это ходит и говорит перед нами: мы точно побывали сами на пиру у старого Магнуса и видели воочию старый танец мечей; мы ехали с Магнусом и его дочерьми в темную ночь гадать к помешанной колдунье; мы стояли с ней, с этой колдуньей, на скале и заклинали морской ветер; мы даже рылись в заплечном чемодане разносчика и с любопытством рассматривали разные диковинные вещи, приобретенные им нецеремонно, как res primi occupantis * в силу берегового права; мы, наконец, верили, входя в пещеру Норны, что ее карлик — действительно какой-то гном, а не существо из земного мира. И что за дело было нам, следившим с лихорадочным интересом за страстию Минны к удалому разбойнику и за таинственной симпатиею к нему колдуньи, — до пошлости юноши Мертуна и до сентиментальных отношений его к Бланке.

А достолюбезный капитан Долджетти в «Легенде о Монтрозе»; милый капитан, с величайшей наивностью и по-своему совершенно честно готовый служить и конвенту и роялистам, смотря по тому, кто больше даст, — Долджетти, взятый в плен республиканцами и готовый идти на виселицу, потому что еще осталось несколько дней срока до конца его службы Монтрозу и роялистам... многоученый капитан Долджетти с его большею частию непристойными латинскими цитатами, которыми угощает он за столом чинную и мрачно скорбящую пуританку, леди Арджиль?.. А вражда кланов, а община «детей ночи» с их грозным, суеверным и вместе безверным, мрачным и ясновидящим предводителем, и наконец, сам ясновидящий, как Саул, терзаемый фуриями и утешаемый только звуками арфы прелестной Анны Лейль, — Оллин Макголей?.. Что нам за дело, что Анна Лейль любит не его, а пошлеца Ментейта?.. Мир, живой мир и вместе какой-то фантастический перед нами: личности, ярко очерченные, носятся в нашем воображении — и поэт тут, видимо, в своем элементе...

Таковы были книжные впечатления, литературные веяния, окружавшие мое детство...

* вещи, принадлежащие первому захватившему их *(лат.)*.





ЛИСТКИ ИЗ РУКОПИСИ СКИТАЮЩЕГОСЯ СОФИСТА

XX

Я вышел из дому в шесть часов и уж конечно не с тем намерением, чтобы прямо явиться туда: избави боже! Взял извозчика и отправился в Знаменский переулок.[1] . . . .

«Руки ваши горячи — а сердце холодно». Да! может быть, это и правда: молод и стар в одно и то же время, моею теперешнею жизнию я догоняю только жизнь духа, которая ушла уже далеко, далеко. Все что я ни чувствую — я уже все это перечувствовал давно жизнью снов, жизнью воображения. Все это я знаю наизусть — и вот что скучно. Измученный лихорадочною жизнию снов, я приношу в жизнь действительную одно утомление и скуку.

В половине девятого я был там. Первый вопрос *Нины*:[2] «Вы одни?»... Меня обдало холодом, страшным холодом. Я солгал, разумеется, сказавши, что заезжал к Кав‹елин›у и что он нынче быть никак не может; я не сделал этого — но отчего? Неужели от мелкой ревности? а ведь почти так, если не хуже. Ее вопрос сделал меня глупым на целый вечер... Если я ошибся? если я для нее то же, что Кав‹ели›н? Если это страдание, эта болезнь внутренняя, которая грызет ее, — не мое создание?.. Но тогда к чему же все наши странные разговоры, в которых недоставало только ясно сказанного слова признания? Faut-il que je sois dupe?..*

Наехало много народу, — весь почти этот круг, которому я так страшно чужд, в котором так возмутительно ложно мое положение. Что общего между ними и мною? Все общее основано на обмане, на ожидании от меня чего-то в их роде... Боже мой! кто бы заставил меня выносить это положение клиентства, если бы, подвергаясь всевозможному нравственному унижению, я не надеялся на несколько минут разговора с нею?.. Еще одно: зачем дано мне видеть все это, зачем во мне нет *suffisance*?..** Я сам знаю, что я становлюсь невыносим моей хандрою,

* Суждено ли мне быть обманутым? *(франц.)*.
** самодовольства *(франц.)*.

моей гордой неловкостью, всем, всем. — Vous êtes bien triste aujourd'hui,* — заметила мне Лидия.[3] «Comme à l'ordinaire»...**

Приехал *Щепин*[4] — и начался музыкальный вечер, т. е. Нина, бледная и расстроенная, села за климперкастен,[5] а Щепин со скрипкой поместился подле нее. Мне это было невыносимо смешно и досадно, досадно на всю эту комедию, в которой такое искреннее участие принимали Матушка[6] и Никита,[7] — досадно на нее, что в ней есть жалкое самолюбие, досадно на себя за то, что мне досадно. Я стал [против нее] у печки и смотрел на нее прямо, с самою злою иронией. Лидия подошла ко мне и попросила перейти на другое место; я стал у двери. Началось: интродукция дуэта Осборна и Берио прошла благополучно, но в вариациях она сбилась. Я не мог удержаться от невольной улыбки, которую мать, кажется, заметила, к несчастию, — да и в самом деле, это было не только невыносимо, но даже неприлично... Когда она кончила — и совершенно смущенная ушла в другую комнату, мне было нисколько не жаль ее. Потом она воротилась, и я начал смеяться над ее смущением: Non! ce n'est pas de pareils triumphes qu'il Vous faut... Laissez les à m-lle Aslanovitsch...*** Все остальное время вечера прошло благополучно. Только за ужином мне было по обыкновению гадко и неловко до невозможности: я сидел подле Никиты Ивановича и должен был рассуждать о чем-то — когда мне, право, было не до рассуждений, — когда мне было все гадко и ненавистно, кроме этой женщины, которую люблю я страстью бешеной собаки...

Дядя[8] еще не спал, когда я воротился домой, потому что недавно приехал из клуба, и мы говорили с ним долго, только не об этом вечере, о котором сказал я слова два, не больше, а об моих семейственных отношениях. Это наш вечный разговор...

Чем все это кончится?

Мне хотелось, глубоко хотелось молиться, но кому — и об чем? Fatum **** — одно Fatum, которое опутало меня какими-то безысходными сетями, которое с такою страшною постепенностию вело меня к этому состоянию трагической иронии.[9] Да! религия моя, как и религия целого современного общества, — просто религия Одина,[10] религия борьбы с сознанием падения, религия страдания беспредельного, стремления бесцельного во имя человеческого благородства и величия.

XXI

Образчик цеховой деликатности.[11] Когда я зашел нынче к m-me K<or>sch после обеда — там был Н. И.[12] Между прочим, он спросил меня: званы вы к Крюкову? — нет! «Да! ведь я и забыл — что он держится

---

* Вы сегодня очень печальны *(франц.)*.

** Как всегда *(франц.)*.

*** Нет! не такие триумфы нужны вам... Оставьте их мадемуазели Аслanoвич... *(франц.)*.

**** Судьба, фатум *(лат.)*.

аристократических убеждений — и у него только профессора»... Что было отвечать на это?.. Не знаю — по крайней мере, я не сказал того, что вчера Крюков звал меня обедать и я не поехал... Теперь вопрос: на чем основано мое отношение с К<рыловым>? Не принимают ли меня par grâce *? Нина не совсем здорова — при мне приезжал доктор Брок. Я ушел скоро.

XXII

Нынче был день рождения Любовь Ф<едоровн>ы: поутру я, как следует, был с поздравлением. «Что же вечерком-то — я чай, будете?» — Как же-с...

По обыкновению — бездна народу, весь круг цеховых.[13] Я пришел поздно, в половине девятого, но все не позже К<авелин>а. Нина села, как это бывает часто, на козетке в спальне. Забавнее всего то, что когда человек что-нибудь знает за собою, ему кажется, что и все это непременно знают. К<авелин> говорит с ней свободно, садится подле нее и не отходит целый вечер — а я с каждым днем глупею и глупею до невыносимости. Какими-то тактическими маневрами я наконец пробрался туда и стал против нее, стараясь придать своему положению и тону как можно более равнодушия и спокойствия. Мы говорили о вздоре, между прочим об Koat-ven — Сю; [14] но что с нею? ее так видимо грызет глубокое, невыносимое страдание. Приехал К<авелин>: так свободен, так непринужден, так умен... Поговоря несколько минут с m-me Korsch, он перешел к нам и очень спокойно сел против нее. Потом он почти заставил ее пересесть на свое место, как более далекое от окна: отчего же я не догадался об этом прежде?.. Для чего я так глупо создан, что не могу совладеть с тяготящею меня хандрою?.. Софья Кум<анин>а беспрестанно говорила со мною, и я почти молчал, как идиот, — и это положение вольной и вместе невольной глупости было мне до бесконечности тяжко. Да — я сказал раз и повторю теперь, что только две вещи — гений и богатство могли бы закрыть, сделать сносною уродливость моего характера... Скучать оттого, что имеешь что-нибудь, — c'est comme il faut du moins,** но скучать и хандрить от чувства ложности своего положения, но знать это, но думать, что другие, что, наконец, эта женщина знает это, — боже мой — это невыносимо. Моя страсть к ней дошла до последней степени самоотречения, и она никогда не узнает и не должна узнать об этом... Я ненавижу каждого, кто подойдет к ней на два шага, — и презираю себя за эту ненависть... И если б она любила прежде — я точно так же ненавидел бы прошедшее, как настоящее, и эта мысль об ее прошедшем меня давит и мучит.

Меня просили играть *им* кадриль — или (к чему бояться слов?) мне только намекнули об этом — и я сел. «Боже мой — вы такой добрый!», —

---

* из милости *(франц.)*.

** это прилично, по крайней мере *(франц.)*.

сказала мне Любовь Ф‹едоровн›а: это меня добило окончательно — я вспомнил конфету, которая была мне дана Ниной за мою доброту. И в самом деле — не с ума ли я сошел быть рыцарем?.. Но я играл им кадриль с каким-то торжествующим самоотречением...

И, может быть, я сам отравляю для себя все, может быть, *они* и в самом деле считают меня почти членом своей семьи, *своим*, что называется?

После меня сел *Крюков*, а я танцевал с Ниной... — Vous êtes vierge de la liberté aujourd'hui? — Comment donc? — Mais Vous avez les trois couleurs.* Она засмеялась... Но зачем мне всегда жужжат в ушах проклятые слова Гоголя: «...или заговорит, что Россия — государство пространное»...[16]

Ужин был для меня еще невыносимее, чем у m-me Korsch, накануне Нового года... Я сидел с цеховыми, Кавелин — между двух сестер и говорил целый час без умолку. Несколько раз я почти изменял себе... Ребенок!..

Воротился домой в два — и был очень рад, что дядя мой спал. Мне было невыносимо грустно: заснуть не мог до утра — в голове такая чушь — мечты о миллионах — да об эксцентрических подвигах. Рыцарство смешно в наше время, но отчего я не нахожу в нем ничего смешного, ничего невозможного. К чему мне лицемерить перед собою?..

Еще раз — глупо я создан; но не я виноват в этом. В самом деле, моя ли вина, что для меня все сосредоточено в эксцентрическом, что я не могу верить в неэксцентрическое?..

XXIII

Нынче вечером мы долго говорили с К‹авелиным› о бессмертии. Сначала то, что я говорил, казалось ему делом, но потом — он объявил, что этого его Логика не допускает, что надобно иметь на мои доказательства особенную мистическую настроенность... «Тебе надобно жизни, жизни»...

Вот в чем и ошибка-то — он считает меня способным к перемене. Едва ли? Каков я был ребенком, таков я и теперь. Древняя ли история, которую так любил я в детстве, вечно ли изолированная жизнь этому причиною, — но je suis un homme tout fait.** Изменения, которые происходят во мне, происходят по непреложным законам моего личного бытия, да и нельзя их даже назвать изменениями: это все формы одного и того же идеализма. С чего бы я ни начал — я приду всегда к одному: к глубокой, мучительной потребности верить в идеал и в *jenseits*.*** Все другие вопросы проходят мимо меня: сенсимонизм в своих последних или, по *их*, разумных результатах мне противен, — ибо я не могу ничего

---

* — Вы сегодня дева свободы? — Как это? — На вас ведь три цвета [15] *(франц.)*.
** я человек законченный (*франц.*).
*** потустороннее *(нем.)*.

найти успокоительного в мысли о китайски-разумном идеале жизни. Оттого — ко всему я в состоянии божественной иронии, ко всему, кроме jenseits. Нормальным мне кажется не общежитие, но отрешенная, мистически-изолированная жизнь самости в себе. Но это не ведет меня к правилу тибетского мистицизма, что лучше спать, чем жить. Нет — жить, но не для того, чтобы жить, а чтоб жизнию стремиться к идеалу, ибо все существует только потолику, поколику существует в идеале, в *Слове*.

Потом мы говорили об *ней*. «Ее грызет страдание — она должна была испытать несчастную страсть»... Но кто же, кто создал в ней это страдание? Я знаю всех, кто ее окружает, знаю, что́ она была за год до этого времени. Есть один человек только, кто, кроме меня, мог быть ею любимым. Это Щ***[17] — и странно! одного только этого человека я не мог бы ненавидеть: светлая, открытая природа, хотя многие назовут его пустым человеком... Но ее душа, какова она теперь, создана мною, создана теми вечерами прошлого года, когда равнодушный к ней, равнодушный ко всему — я был так умен, так свободен, так зол, создана всего более — теми восторженными, лихорадочными намеками, которые я не переставал делать ей при каждой встрече, начиная с нашей прогулки в аэрьене,[18] где я в первый раз сказал ей, что она — Нина Лермонтова,[19] до вечера 23 декабря, когда я, на ее с лихорадочною дрожью сказанные слова: «Я не могу ни от чего прийти в восторг», — спокойно и тихо прочел ей строфу «Сказки для детей».

Знает ли она, что я люблю ее и люблю так безумно? Думаю, что знает. Я помню тот прекрасный весенний вечер, когда, возвращаясь из цыганского концерта (это было во время пребывания в Москве Листа),[20] она вошла к нам во всей полноте девственной прелести, окруженная какою-то ореолою белого, чистого сияния... Я невольно потупил глаза, когда взглянул на нее, — и она видела это... — и на ее губах прозмеилась улыбка женского торжества... И снова перебирая в памяти недавнее прошедшее, я не могу и подумать, чтобы она не знала о моей страсти к ней...

XXIV

Приехали наши родные... Кроме того, что я вообще не охотник до всяких семейных сцен — я был рассержен еще тем, что мне помешают идти к К‹орш›. Я эгоист — да! но я сам мучусь своим эгоизмом, я бы так хотел быть не эгоистом: что же мне делать, что многое, вместо того чтобы трогать меня, просто только меня мучит, бесит и смешит.

И, однако, я все-таки туда отправился, только не застал там ни Софьи Г‹ригорьевн›ы, ни Нины. Было скучно. Н. И. рассуждал о «*нравственных лицах*». Господи боже мой — не надоест же человеку, подумаешь...

Мне было скучно.

XXV

Она опять больна... Дела мои по службе идут плохо[21] — и странно! чем хуже делается, тем больше предаюсь я безумной беспечности. Только успех, только счастье могут придать мне жизни и деятельности: неудачи — никогда. Оттого-то, как я часто говорил ей, «можно молиться только в минуты счастья».

XXVI

Заходил к ним после обедни... Она — больна, бледна, расстроена; просила прислать ей «Индиану» и «La dernière Aldini».*[22] «Индиану» послал, но «La dernière Aldini» надобно взять у Готье. Взять — но на что? Долги мои растут страшно и безнадежно.

XXVII

Оставя у всенощной тетушку, забежал к ним хотя на полчаса, твердо решась быть точно так же веселым и злым, как вчера, — что и удалось мне вполне. Но она — что с нею? Она не хотела сказать со мною ни одного слова.

XXVIII

Заходил на минуту К‹авелин› — и удивил меня: «На́ тебя сердятся». — И прекрасно! — «И знаешь за что?» — Вероятно, за то, что не прислал «La dernière Aldini»?.. — «Да; с этих пор, говорит она, избави меня боже попросить его о чем бы то ни было. Знаешь ли, это природа гордая и раздражительная»...

«Я очень рад, очень рад — ты ничем бы не мог меня так порадовать, как этим»... «Что ж ты, пошлешь — а то я пошлю?» — Посылай...

И между тем я был расстроен.

XXIX

На вечере у Менщикова — я был очень в духе, врал без умолку и плясал без устали. Человек минуты — я готов предаваться каждому мимолетному впечатлению; но нашептывать, как демон, первой встретившейся свежей девственной душе несбыточные грезы и тревожные сны — стало у меня маниею... Бывают минуты, когда я становлюсь даже остер до последней степени: немудрено, что К-й, которая только что вышла из пансиона, мне удалось вскружить голову до того, что под конец она слушала мой вздор, не спуская с меня больших и, надобно сказать, прекрасных черных глаз.

Завтра к Л-у,[23] которого жена не ухвалится мною за нынешний вечер.

* «Последняя Альдини» *(франц.)*.

XXX

Я был совсем не то, что вчера. Я хорош только тогда, когда могу примировать,[24] т. е. когда что-нибудь заставит меня примировать... Все это вытекает во мне из одного принципа, из гордости, которую всякая неудача только злобит, но поднять не в силах. В эти минуты я становлюсь подозрителен до невыносимости. Дайте мне счастие — и я буду благороден, добр, человечествен. Если б я родился аристократом, я был бы совершенно Эгмонтом Гете, но теперь я только оскорблен и раздражен тем, что я не аристократ...

Здесь был Н. И. с женой и Лидией... Лидия до бесконечности добра и нежна со мною. Кстати — на меня не сердятся, потому что поручили просить меня прислать «Роберта».[25]

Мы ехали оттуда с К‹авелиным›. Разговор наш был об ней — и как-то печален, как туман и холод, которые нас окружали. Он спрашивал меня: как я люблю ее, с надеждою или без надежды? Я отвечал отрицательно. Да и в самом деле, неужели можно считать надеждами несколько слов à double sens,* которые притом могли относиться к другому? И между тем отчего же не могу я вполне отказаться от этой мысли — и между тем к чему же позволяли мне говорить всё, что я говорил? Боже мой! ужели она не понимала ничего этого, не видала моих мук, моего лихорадочного трепета в разговоре с нею, когда я сказал ей: «Человек становится невыносимо глуп, когда хочет скрыть то, чего скрыть нельзя», — принимала за общие места мои упреки, моления — всё, что я так ясно высказывал в разговоре с ее матерью о *женщинах*, — не понимала, с какою безумною страстью читал я ей: «Они любили друг друга так долго и нежно...»?..[26] «Но если эта женщина полюбит кого-нибудь, она будет готова следовать за ним на край света», — говорил Кавелин. Я молчал: меня сжимал внутренний холод — мне было нестерпимо грустно.

XXXI

Нынче в последний раз смотрел «Роберта» — и видел в бельэтаже madame Кум‹анин›у с Лидией... «Meinem Flehen Erhörung nur schenke mit des Kindes Liebe Blick... Gieb mein Kind mir, gieb mein Kind mir, gieb mein Kind mir zurück»...** Зачем бывают подобные минуты?.. Вот опять та же однообразная, бесконечно грустная действительность — несносная печка против самых глаз, нагоревшая свеча, болезненное бездействие.

— Сейчас из собрания... Да! я подвержен даже зависти: чуждый среди этого блестящего мира и зачем-то (уж бог ведает зачем) постоянный и постоянно незаметный член этого мира, я с невольным негодова-

---

* двусмысленных *(франц.)*.

** «Услышь мою мольбу и подари любящий взгляд ребенка... Верни мне, верни мне, верни мне мое дитя» *(нем.)*.

нием смотрю, как к другим подходят целые толпы масок... Богатство — имя!.. Но страшно, когда человек утратит веру в спасение внутреннею силою, когда только богатство, имя — кажутся ему выходом... И грустно подумать, что это чувство плебейской ненависти и зависти — почти общий источник мятежных порывов?..

XXXII

Сидели опять целый вечер с К<авелиным> — и точно так же без толку. Мы не поймем один другого: социальное страдание останется вечною фразою для меня, как для него искания бога. Его спокойствие, его разумный взгляд на любовь — мне более чем непонятны.

Вместо того, чтобы быть там, я остался дома, вследствие домашней догмы. И неужели мой ропот на это страшное рабство — преступление?

XXXIII

Презабавная история! «*Je suis à vos pieds*» * — сказанное мною m-lle Б-й на вечере у нашего синдика,[27] принято за формальное изъяснение в любви, — и она сходит теперь с ума, падает в обмороки и т. п. Но забавнее всего то, что я должен был выслушать от З *** [28] проповедь... Что меня влечет всегда делать глупости?

XXXIV

Достал наконец денег — последние, кажется, какие можно достать — и послал при письме «La dernière Aldini» и «Histoire de Napoléon» **...[29] Долги растут, растут и растут... На все это я смотрю с беспечностию фаталиста.

XXXV

Нынче она прислала за мною Валентина...[30] Я люблю его как брата, этого ребенка; его голос так сходен с ее резки-ребяческим голосом. Странно! Кавелин говорил, что это в ней одно, что делает ее женщиною du tiers ètat; *** а мне так нравится этот голос...

Она больна... Она почти сердилась на меня за мои богохульства, за мою хандру, за мои рассказы о явлении иконы Толгской божией матери...[31]

«Вы хотите от жизни бог знает чего?» — говорила она мне. Это правда. И если результатом всех этих безумных требований будет судьба чиновника?..

* «Я у ваших ног» *(франц.)*.
** «История Наполеона» *(франц.)*.
*** третьего сословия *(франц.)*.

Мать ее говорит мне, что я установлюсь. Едва ли!

Приехали Кр<ылов>ы и с ними какая-то дама, с которою они все засели в преферанс. Я сидел на диване у стены, Лидия подле меня раскладывала карты, а Юлия[32] рассказывала мне какой-то вздор. Но мне было как-то wohl behaglich.*

Она подошла и села против меня на стуле. Мы молчали долго — и я глядел на нее спокойно, тихо, не опуская глаз; я забылся, мне хотелось верить, что она меня любит, мне казалось в эту минуту, что я вижу перед собою прежнюю — добрую, доверчивую Нину, Нину за год до этого: мне припоминались первые мечты моей любви к ней, тихие, святые мечты, — благородные надежды пройти с ней путь жизни... Я снова, казалось, стоял перед иконостасом Донского монастыря и думал о будущем, и думал о том, что когда-нибудь я отвечу божественному: «Се аз и чадо, его же дал ми еси»... То было то же чувство, которое майскою луною светило на меня, когда, рука об руку с нею пробегая аллеи их сада, я замечал отражение наших теней на старой стене — и был так рад, так гордо рад, что моя тень была выше...

Нина заговорила первая, и заговорила о смерти. Она боится ее — и хотела бы верить в бессмертие... Но мой мистический бред о бессмертии едва ли в состоянии кого-нибудь ободрить и уверить... «А вы, неужели вы в самом деле не боитесь умереть?» — спросила она меня задумчиво и не подымая своих голубых глаз с резного стола, по которому чертила пальцем. Я отвечал ей — что «боюсь медленной смерти — но умереть вдруг готов хоть сейчас»... Мы замолчали снова; изредка только, почти невольно из меня вырывались темные, странно-мистические мечты о будущей жизни.

Я ушел в 11 часов.

Опять хотелось мне рыдать и молиться; еще больше хотел бы я упасть у ее ног и с глубокою, бессознательною любовью смотреть на фосфор ее глаз, на бледную, прозрачную руку...

XXXVI

Вопрос — чем кончатся мои дела по службе и мои долги?.. Нельзя же вечно обманывать других и себя.

Нынче был Кав<елин>... Опять о бессмертии и об ней. Он говорит прямо, что если обеспечит свою будущность, то непременно женится на ней... «Наш взгляд на семейную жизнь одинаков, — продолжал он, — на другой день брака я буду точно таков же, каков я теперь; жена моя будет свободна вполне»... А я — я знаю, что я бы измучил ее любовью и ревностью...

Я и она осуждены равно...[33] Я и она — сумеем найти бесконечное страдание в том, что другие зовут блаженством.

---

* очень приятно *(нем.)*.

XXXVII

У Н. И. был нынче какой-то господин, которого физиономия мне очень не нравится; он — что-то вроде откупщика и пахнет откупами и нравственностью. Целый вечер я и Софья Кум‹анин›а занимались бласфемиями.[34]

Потом мы ходили с Лидией, она выпытывала от меня тайну моей хандры — а выпытывать, право, нечего; я даже не стараюсь и таиться. Да и она, кажется, только для эффекту выпытывает. Читая строфу «Сказки для детей», она сделала такое ударение над именем Нины, что сомневаться в ее догадливости совершенно невозможно.

— Послушайте, — говорил я, садясь подле нее в зале у окна, — когда встретишь такую женщину, то отдашь ей всю жизнь, всю душу, все назначение, отвергнешь всякую цель, потому что всякую цель станешь считать богохулением... — Я говорил святую правду.

— Да вы не найдете такой женщины.

— А если? ...

— Вы обманетесь. Ecoutez moi, vous êtes le comte Albert... Et Consuèlo...,* — она не договорила, но лукаво засмеялась. «Consuèlo, Consuèlo, Consuèlo di mi alma»,**[35] — отвечал я с безумным порывом.

— О чем вы так горячо рассуждаете? — спросила меня с улыбкою *добрая* Любовь Ф‹едоровн›а, которая сидела у рояля с Софьей Кум‹анино›й.

— О «Сказке для детей», — отвечал я с всевозможным спокойствием.

Сели ужинать. Разговор между мною и Софьей Кум‹анино›й склонился опять на то же. Я был в духе — и по поводу мысли о наказании в будущей жизни стал рассказывать, как мне вообразилось однажды, что ко мне входит der alte Zebaoth...*** Яблочков отвернулся и плюнул, кажется... Я не остановился и продолжал ту же историю, — хотя предчувствовал, что это не пройдет даром.

XXXVIII

И точно... Нынче в Совете Н. И., отведя меня в сторону, начал говорить мне, что «это *именно* и *опасно* и с одной стороны неприлично»... Я смолчал — здесь было не место объясняться. Он прав, может быть, но *замечаниям* пора положить конец.

Конец — но вместе с этим конец и всему. Будь воля рока — она влекла меня, она опутала меня сетями, которые можно только разрубить. Минута настала...

Написал письмо к Кр‹ылов›у, желчное и умное, но софистическое во всяком случае. Я знаю сам, что я не прав.

— Завтра я иду к Стр‹оганову›, — сказал я Фету.

---

* Послушайте, вы — граф Альберт... А Консуэло... *(франц.)*.

** «Консуэло, Консуэло, Консуэло (утешение) души моей *(итал.)*.

*** старый Саваоф *(нем.)*.

— Зачем?

— Проситься в Сибирь.

Он не поверил.

Хочу молиться, в первый раз <за> этот год. Есть вечное Провидение — и я хочу знать его *волю*.

XXXIX

Я оставлен самому себе... Вперед же, вперед...

XL

Разговор с Стр<огановым> был глуп — потому что я не хотел быть откровенен. Но дело идет. От него я поехал к An<nett>e.[36] Она была поражена моим намерением — и между тем почти сквозь судорожный смех сказала мне: c'est pour la première foi que vous êtes homme.* Оба мы были спокойны и холодны, но я знаю, чего стоит ей это спокойствие. При прощанье я пожал ее руку, и мне — эгоисту было как-то отрадно это пожатие. К чему таиться? мне было весело, что эта душа вполне принадлежит *мне*, что она страдает моими страданиями.

Целый вечер мы говорили с Фетом... Он был расстроен до того, что все происшедшее казалось ему сном, хотя видел всю роковую неизбежность этого происшедшего.

— Черт тебя знает, что ты такое... Судьба, видимо, и явно хотела сделать из тебя что-то... Да недоделала, это я всегда подозревал, душа моя...

Мы говорили о прошедшем... Он был расстроен видимо...

Да — есть связи на жизнь и смерть. За минуту участия женственного этой мужески-благородной, этой гордой души, за несколько редких вечеров, когда мы оба бывали настроены одинаково, — я благодарю Провидение больше, в тысячу раз больше, чем за всю мою жизнь.

Ему хотелось скрыть от меня слезу — но я ее видел.

Мы квиты — мы равны. Я и он — мы можем смело и гордо сознаться сами в себе, что никогда родные братья не любили так друг друга. Если я спас его для жизни и искусства — он спас меня еще более, для великой веры в *душу человека*.

О да! есть она, есть эта великая вера, наперекор попам и филистерам, наперекор духовному деспотизму и земной пошлости, наперекор гнусному догмату падения. Человек пал... но вы смеетесь, божественные титаны, великие богоборцы, вы смеетесь презрительно, вы гордо подымаете пораженное громами рока, но благородно-высокое чело, вы напрягаете могущественную грудь под клювом подлого раба Зевеса. Ибо знаете вы, что не воля Зевеса, но воля вечного, величаво спокойного рока судила вам бороться и страдать, как она судила Зевесу править

---

* в первый раз вы поступаете как мужчина *(франц.)*.

недостойными рабами, как она судила беспредельному морю тщетно стремиться сокрушить ничтожные плотины земли. И рванулось же море когда-то, но поглотило оно землю своей беспредельностью, но без брата-огня не могло оно уничтожить своего врага... Горы-боги скрыли этот огонь, — и потом, когда великий Титан низвел его на землю, приковали к скале великого Титана...

Боритесь же, боритесь, лучезарные, — и гордо отжените от себя надежду и награду...

XLI

В Сибирь нельзя будет уехать тайно. Только что пришел нынче в канцелярию военного генерал-губернатора, как встретил там одного знакомого моего отца, и вообще это требует предварительных сношений. Но разве *это* в силах остановить меня? Вздор! если нельзя в Сибирь через Москву, то можно через Петербург, взявши туда отпуск.

Что бы ни было — а минута развязки пришла. Глупо я сделал, что сказал о плане ехать в Сибирь Ч-у[37] и Назимову... Но все можно поправить. Надобно лгать, лгать и лгать.

«Да кой черт с вами делается? — сказал мне Хмельницкий. — Вы с ума сошли...».

XLII

Отец уехал к сенатору...[38] Я сидел с матерью и говорил преспокойно о будущем, о моем желании остаться всегда при них... «А там, бог даст, и женишься, возьмешь богатую невесту. Что ж Менщиков-то? Разве лучше тебя?».

А наверху Фет и Хмельницкий рассматривали мои вещи, думая, как бы повыгоднее заложить их.

Приехал отец — и начался обыкновенный рассказ об сенаторе; я вторил его словам, по обыкновению, спокойно, точно так же, как всегда, полулежа на креслах...

Пробило 10. — Казенный час.

«Полуночник-то, чай, просидит у вас до полночи?» — сказала мать, которая особенно как-то не расположена к Хмельницкому.

«И что сидит? — отвечал я, — хоть бы дело говорил-то... Покойной ночи!».

— Христос с тобой!

Я взошел наверх — и мы трое говорили об отъезде. Кажется, все уладим. Главное дело — отпуск.

XLIII

Назимову я сказал, что отец отпускает меня в Петербург и дает 1000 рублей на дорогу... Отпуск написали — и я тотчас же повез его

к ректору.[39] Я ждал его долго, до 4 часов. Когда он приехал, я сперва подал ему бумаги к подписанию, потом положил мой отпуск.

Он, казалось, не удивился нисколько! — Что ж так ненадолго? только на 14 дней?

— Оттуда буду просить отсрочки, ваше пр<евосходительст>во.

Он подписал.

— Теперь, в. п., позвольте поблагодарить вас за вашу благородную снисходительность, за ваше внимание ко мне.

— Что это значит?

Я объяснил ему настоящую цель моего отпуска, взявши с него честное слово никому не говорить об этом.

Он уговаривал меня остаться, уверял, что все перемелется.

Нынче пятница. В субботу Кр<ылов> не бывает в университете, следственно, *мои* не узнают ничего.

Крыл<ов> подошел нынче к моему столу и подал руку с каким-то смущением. Я отвечал ему самым дружеским и искренним пожатием. «Экая горячка какая!» — сказал он мне тихо... «С нами, Н. И., сбывается, кажется, всегда, что amantium irae amoris renovatio»...* — «Что ж вечерком-то именно?» — «Ваш гость».

Прежде зайду к *тем*, в последний раз!.. Но избави меня боже от поползновения даже на какую бы то ни было драматическую сцену.

XLIV

Там застал я К<а>в<ели>на и потому невольно был молчалив и скучен. «У! какой злой сегодня, — говорила мне Софья Григорьевна, — какой злой, какой старый!». И в самом деле — я и К<а>в<ели>н были такими противуположностями в эту минуту. Он — живой, умный, румяный, полный назначения и надежд, сидел прямо против Антонины Федоровны и говорил без устали. Я сидел у окна подле матери — и курил сигару, изредка вмешиваясь в разговор; моя бледная, исковерканная физиономия казалась еще бледнее. К чему-то Антонина обратилась ко мне с вопросом: «А помните, как мы гуляли в Покр<овско>м?»... — Как же-с! — отвечал я так равнодушно, что за это равнодушие готов был уважать себя.

Мы поднялись вместе.

— Au revoir, medames, — сказал я им. — Adieu, m-lle,** — обратился я к ней.

И как подумаешь, что, может быть, навек.

На дороге к Кр<ылов>у мы успели переговорить с К<а>в<елины>м. Нет! к черту письмо и к черту всякую драму.

---

* ссоры влюбленных — обновление любви... *(лат.)*.

** До свидания, сударыни... Прощайте, мадемуазель *(франц.)*.

XLV

Завтра — день моего отъезда.

Зах‹аро›в, узнавши о моем отпуске, сказал мне: «А ведь я знаю, зачем вы едете? Чтоб поправить отчет. А? не так ли?»... И сам рад своей догадливости, он с видом хитрости смотрел на меня.

— Поедем нынче к Петру Кириловичу! [40] — сказал мне отец.

— Сделайте одолжение!

Мы были там. Я был в этот вечер до nec plus ultra * любезен. Мы долго сидели с Анной Петровной [41] одни и говорили о Ж. Занд, но как ни наводил я разговор на мою любимую тему, она не подавалась... Наконец я просто, хотя другими словами, сказал ей, что она — пуста, и пуста потому, что аристократка. «Mais que voulez vous donc que je sois? Je chasse loin de moi toutes ces questions»...** С этого пункта я начал проповедовать. Она слушала меня задумчиво, не подымая глаз... «Si on nous entendrait — on nous maudirait», — прошептала она. — «Par bonheur on ne nous entendra pas faute de comprendre».*** — Потом она пела мне чудные звуки Монтекки и Капулетти.

XLVI

Утро — со мной лихорадка. В пять часов меня не будет в Москве. Написал письмо к Анне Петровне, с которым послал «Оберманна».[42] Я доволен собою.

Чуть не изменил себе, прощаясь с стариками; — но всё кончено — передо мною мелькают лес да небо... Теперь 9 часов. Домашняя драма уже разыгрывается.

Fatum опутало меня сетями — Fatum разрубило их.

Vorwärts! ****

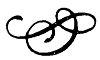
---

* крайней степени *(лат.)*.

** «Но что же вы хотите от меня? Я далеко отгоняю от себя все эти вопросы» *(франц.)*.

*** «Если бы нас услышали, нас прокляли бы»... «К счастью, нас никто не услышит, потому что не поймут» *(франц.)*.

**** Вперед! *(нем.)*.





ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО

РАССКАЗ
БЕЗ НАЧАЛА И БЕЗ КОНЦА, А В ОСОБЕННОСТИ БЕЗ «МОРАЛИ»

Посвящается А. А. Фету

I

ВСТРЕЧА

Был полдень. На Невском еще не мелькали обычные группы и лица. Все, что шло по нему, шло с особенною целию, и эта ли цель или довольно сильный мороз сообщали особенную скорость походке пешеходцев.

Один только человек не имел в это время определенной цели и шел по Невскому для того, чтобы идти по Невскому. Он вышел из кондитерской Излера,[1] довольно медленно сошел по ступеням чугунной лестницы, поднял бобровый воротник своего коричневого пальто, вероятно почувствовавши холод, надвинул почти на глаза шапку с меховою опушкою и, заложив руки в карманы, двинулся по направлению к Полицейскому мосту.[2]

Двинулся — сказал я, — потому что в самом деле было что-то непроизвольное в походке этого человека; без сознания и цели он шел, казалось повинуясь какой-то внешней силе, сгорбясь, как бы под тяжестью, медленно, как поденщик, который идет на работу. Он был страшно худ и бледен, и его впалые черные глаза, которые одни почти видны были из-под шапки, только сверкали, а не глядели. Изредка, впрочем, останавливался он перед окнами магазинов, в которых выставлены были эстампы, и стоял тогда на одном месте долго, как человек, которому торопиться вовсе некуда, которому все равно, стоять или идти. Но и глядя на эстампы, он, казалось, не глядел на них, потому что на лице его не отражалось ни малейшей степени участия или интереса.

Во время одной из таких остановок двери магазина, перед окнами которого он стоял, отворились, и из них выпорхнула женщина, которой

появление заставило бы всякого, кроме его, выйти из апатии. Черты лица ее были так тонки, цвет кожи так прозрачен, походка так воздушно-легка, что она могла бы показаться скорее светлою тенью, тончайшим паром, чем существом из плоти и костей, если бы яркие, необыкновенно яркие голубые глаза не глядели так быстро и живо, что в состоянии были бы, взглянувши на человека, заставить его потупиться. Она была одета легко и даже слишком легко, потому что все, что было на ней мехового, могло ее украшать, но уже вовсе не греть. Лицо ее было одно из тех немногих у нас лиц, которые, промелькнувши перед вами даже профилем, не выйдут из вашей памяти, потому что, кто бы вы ни были — старик, муж или юноша, они, эти лица, сольются для вас с первыми грезами детства, с первыми снами жизни; одно из тех лиц, на которых странно-гармонически сливаются и чистота младенческой молитвы, и первые грешные мечты, поднимающие грудь женщины, и детски-простая улыбка ангелов Рафаеля, и выражение лукаво-женского кокетства.

Она выпорхнула из магазина, как птичка, беззаботно и весело, как ребенок, которому купили игрушку, — но это движение в одну минуту и без резкого перехода сменилось у нее выражением до того строгим и холодным, что ее нельзя было узнать. Мига этой перемены вы бы не уловили. Вы могли сказать только, что перед вами выпорхнула птичка и что перед вами же стояла на ступенях лестницы прекрасная, но строгая фигура женщины, с ресницами, опущенными не от скромности, но от холодности, с нетерпеливым выражением на бледных и тонких устах, вероятно потому, что человек, который шел за нею с лестницы магазина и нес разные пачки, был слишком тяжел, чтобы следовать за ней шаг за шагом.

— Боже мой — наконец! — сказала она почти с досадою.

— Сию минуту, сударыня, — отвечал лакей. — Эй ты, подавай, — закричал он во все горло почти над ухом красавицы.

Она вздрогнула.

Извощичий возок медленно стал поворачивать.

В это время она рассеянно взглянула направо.

Чудак еще стоял перед окнами, по-прежнему сунувши руки в карманы.

При первом взгляде на него в глазах ее выразилось то смутное, неопределенное чувство, которое овладевает нами, когда мы припоминаем себе что-нибудь; но чувство это пробежало на ней мгновенно, как молния. В полсекунды она уже была подле него.

— Виталин! — вскричала она.

Он вздрогнул и, узнавши ее в ту же, казалось, минуту, хотел сказать ей что-то.

— Виталин, — повторила она с детскою радостью и, не давши ему выговорить, завладела его левою рукою и повлекла за собою к карете.

Он не противился, но дружески пожал эту поданную ему маленькую и бледную руку; больше еще, его неподвижность исчезла, он очень ловко помог ей впорхнуть в карету, влез за нею и захлопнул дверцы.

— Домой, — закричала она из окна. Карета поехала.

— Давно ли ты здесь? — спросил Виталин, садясь подле нее и нисколько, казалось, не изумленный нежданною встречею.

— Почти год, — отвечала она, — и почти столько же ищу тебя по всему Петербургу. Я знала, что ты здесь, — но где, это было мне неизвестно, как всем. Ты бог знает что делаешь, — прибавила она, взглянувши на него грустно. — Ты забыл всех, всех...

— Ну, многие, конечно, меня в этом предупредили, — возразил Виталин. — Да и скажи на милость, к кому я там стану писать?.. К тебе... но, кстати, муж твой здесь?

— Он умер, — сказала она, стараясь придать тону этого ответа прилично-печальный оттенок.

— Без церемоний, пожалуйста... Это самое умное дело, какое он сделал в свою жизнь. Он надоел тебе страшно?

Она молчала, потупив глаза.

— Он был удивительно глуп, не правда ли? — продолжал Виталин все так же спокойно, как будто говорил о живом и совершенно постороннем человеке.

Она кусала губы, чтобы не расхохотаться.

— Но оставим его... Зачем ты здесь?

— Зачем ты-то здесь, и целые годы? — отвечала она и, привязавшись к этим словам, захохотала, как ребенок.

— Зачем?.. Вероятно, затем, что здесь незаметнее ничего не делать, пьянствовать и проч. Кстати, легенды обо мне разрослись, я думаю, в целую поэму? Как там, по преданиям, я пью?.. Верно, мертвую чашу? А играю, а? Наверную?

Говоря это, Виталин нервически смеялся.

Ее голубые глаза потемнели от слез, она хватала обеими руками его похуделые и маленькие пальцы.

— Бедный, — прошептала она, — ты все еще не позабыл ничего прежнего?

Он был тронут ее участием и, схвативши одну из ее рук, поднес к губам.

— Зачем ты здесь? — повторил он тихо и нежно, смотря на нее глубоко грустно.

— Это ты узнаешь нынче же, — отвечала она как-то робко и принужденно.

— Отчего не теперь?

— Не все ли равно тебе?

— Ты знаешь, как я не люблю откладывать того, что можно узнать сию секунду, на целый день.

— Впрочем, — сказала она, принужденно-весело, — что же такое нынче или завтра? Итак, мой добрый друг, не удивляйся, не брани меня... я — актриса.

И сказавши это с усилием, она опустила ресницы.

— Ты актриса? — почти вскричал Виталин с радостным изумлением.

Тон его ответа произвел на нее какое-то странное действие; она вся оживилась, ее щеки вспыхнули румянцем, и она бросилась к нему на грудь.

— Ты не упрекаешь меня? — спросила она с радостью ребенка, который ждал упрека и услыхал слово любви.

— Я — упрекать тебя, моя сестра, мой друг, мое дитя, — говорил Виталин, целуя ее белокурые локоны. — Я упрекать тебя? Да ты с ума сошла?.. Я, который мечтал видеть тебя Офелией Шекспира, тебя, живое повторение Офелии... И мои мечты сбылись? Знаешь ли, что это, может быть, в первый раз мои мечты сбылись?.. Дитя, дитя, ужели ты думаешь, что я сам не был бы актером, если бы не мешали мне проклятая грудь и расстроенные нервы?

— Сумасшедший, — сказала она с улыбкою, поправляя локон, — ты все тот же сумасшедший, все тот же (продолжала она шепотом), который своим безумным учением чуть не... — она не договорила.

— А что?.. ты забыла его?.. — спросил Виталин полушутя, полугрустно.

— Забывается все, хотя грустно и горько, — отвечала она, задумчиво и склонив голову.

— А я тогда любил тебя, любил сильней, чем он, хотя не так порывисто.

— И говорил все о нем и умолял за него?

— Ты его любила?

— Да, и его и тебя, почти равно.

Виталин задумчиво взглянул на нее и потом прошептал почти про себя: «Быть может, его я любил тогда больше, чем тебя, больше, чем себя. Но что прошло, прошло, — продолжал он громко, — давно ли?..».

Карета остановилась перед одним из домов Малой Морской. Начатая речь осталась без окончания. Лакей отворил дверцы, спустил подножку... красавица выпорхнула и была уже на лестнице, когда Виталин только что вышел из кареты.

— За мною, — сказала она ему. — Иван, отпусти карету и вели приезжать завтра.

Виталин последовал за нею и остановился только, когда она дернула за звонок отделанной под карельскую березу двери, в третьем этаже.

Им отперла старушка в трауре и белом чепце и с удивлением взглянула на гостя.

— Анна Игнатьевна, Анна Игнатьевна, — вскричала она, — поскорее кофе, я иззябла, — и вслед за этим бросила на стоявший в передней комнате маленький комод свой роскошный салоп и побежала далее. Виталин за нею.

Анна Игнатьевна покачала ей вслед головою, свернула бережно салоп, повесила на крючок пальто гостя и ушла в боковую дверь.

Квартира нашей артистки была просто чиста и опрятна, но вкус женщины в размещении всего, какой-то стройный беспорядок сделали из нее изящную квартиру. Она состояла из четырех комнат: передней, ку-

хни, в которую ушла Анна Игнатьевна, приемной, где стоял в углу тишнеровский рояль и как-то комфортабельно была расставлена немногочисленная мебель, и спальни, заменявшей и уборную.

Виталин сел на диван, стоявший у стены. Хозяйка скидала с себя перед трюмо в спальне шляпку и боа...

Перед диваном стоял рабочий столик и на нем лежала рукопись. При первом взгляде на эту рукопись по бледным губам Виталина пробежала ироническая улыбка.

— Послушай, какая у меня роль теперь будет! — сказала она, входя в приемную в одном уже платье, которое выказывало всю стройность ее стана.

— Что же? — отвечал он, перевертывая страницы рукописи. — Роль в самом деле недурна.

— Недурна? .. Но ты не знаешь этой драмы!

— Я? — Он захохотал самым искренним смехом... — Помилуй, когда она моя и когда она мне вот где села, — прибавил он, показывая на шею, — благодаря... — он не договорил.

— И это твоя драма? — спросила она с каким-то детским восторгом и сложивши руки.

— Моя, точно так же, как это шитье твое, — отвечал он взявши какую-то бисерную работу.

— Ах, не трогай, пожалуйста, ты мне все перепутаешь... Послушай же, — продолжала она, садясь подле него и положивши на его плечо руку, — тебя ждет слава, Арсений, слышал ли? .. тебя ждет слава, тебя ждут рукоплескания...

— Отдаю их тебе, если они будут. Ты думаешь, нужна мне твоя слава, ребенок, — отвечал он, играя ее локонами.

— Слава, рукоплескания! — возразила ему она с неистовым восторгом. — О нет, ты лжешь на себя, ты любишь славу, ты должен любить славу — ты гений.

— Гений! Наталья, Наталья, ты, верно, уж давно привыкла к этому слову. Но что мне за дело, — продолжал он с печальною улыбкою, — гений я или нет. Думаешь ли ты, что этого названия, что уверенности в этом названии станет добиваться человек, который много жил, чтобы думать о самом себе. О нет, — продолжал он, приподнявшись и пройдя два раза по комнате, — о нет, я не хочу твоей славы, я не хочу названия гения — и вовсе не из отвратительно-ложной скромности: нет, я вовсе не скромен, я знаю себе цену. Это, — сказал он, остановясь перед нею и тоном совершенно холодным, взявши свою рукопись, — это — гадость страшная, гадость, от которой мне придется краснеть, но от того-то, что я краснею за нее, находят на меня минуты сатанинской гордости, сознание огромной силы в себе самом... И между тем, сознавая эту силу, клянусь тебе моею совестью, — я не хочу названия гения, я не хочу славы.

— Чего же ты хочешь? — спросила она, смотря на него с изумлением.

— Вот видишь ли, — начал он... — Так многое я ненавижу фанатическою ненавистью, так много я люблю безумною любовью. Так много есть

такого, что хотел бы я пригвоздить к позорному столбу, с чем я обрек себя бороться до истощения сил, потому что от ложного уважения к этому страдаю я сам по-пустому многие, долгие годы, и верно страдает много безумцев, и нужно мне очень, чтобы меня наградили за это славою или позором? Только бы поняли, только бы один из страдающих братьев нашел в моих созданиях оправдание самого себя, своей борьбы, своих страданий...

Она глядела на него грустно, как глядят на сумасшедшего.

— Мои слова странны, не правда ли, — продолжал он с печальною улыбкою, — но этим словам, дитя мое, я продал всю жизнь, но все то, за что считали меня безумным, было служение этим словам, этим верованиям... Было время, когда и я встретил бы подобные слова в устах другого недоверием и иронией. Тогда я был счастлив, тогда я был молод, тогда я видел только себя в божьем мире и не верил, чтобы кому-нибудь было какое-нибудь дело до других. Но я кончил жить для себя, кончил с тех пор, конечно, когда уже у меня не осталось ничего, чем бы я мог жить для себя!.. И с этих пор я живу одною ненавистью к прошедшему, одною любовью к будущему.

Глаза Виталина блистали фосфорическим блеском, на щеках его выступил болезненный румянец.

— Пророк, пророк, — вскричала Наталья, снова складывая руки.

— Да, пророк, если ты хочешь, только, бога ради, не гений, — отвечал он, садясь подле нее и проведши рукою по лбу. — Но оставим это... когда идет моя драма?

— В среду после Нового года.

— Я должен еще говорить с тобою о твоей роли.

— Хорошо... Но послушай, ты нынче у меня весь день?

— Пожалуй, когда это можно.

— Отчего же нельзя?

— Qu'en dira-t-on? *

— Боже мой! из-за «qu'en dira-t-on» мы не виделись пять лет, — отвечала Наталья, — теперь я свободна, теперь я артистка, — прибавила она с чувством гордой самоуверенности, — и он опять с своим «qu'en dira-t-on».

— А кто тебе дал право пренебрегать мнением общества именно потому только, что ты артистка?

— Право? я взяла его сама, я не ужилась с обществом и отвергла его.

Виталин не мог удержаться от улыбки, потому что, хотя и верил в женщину вообще, но в каждой из них, взятой порознь, имел привычку уверяться только после долгих наблюдений.

---

* А что будут болтать? *(франц.)*.

II

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В один вечер, не помню именно когда, но знаю, что это было незадолго до рождества, площадь Александринского театра была исполнена особенного движения. Лихие извозчики и измученные ваньки беспрестанно подвозили к колоннам театра новых посетителей; по временам даже подъезжали кареты или, за недостатком их, патриархальные возки, из которых вылезало обыкновенно штук по шести женского пола и штуки по две мужского; как они там помещались, это уж загадка необъяснимая.

Ясно, что в Александринском давалась новая пиеса, и с достоверностию полагать можно, что афиша оной пиесы была не менее как в два аршина длиною. Сени театра наполнялись все более и более новыми приплывающими толпами народа, чрезвычайно пестрыми и разнообразными! Чего и кого тут не было! Здесь наблюдатель мог бы в минуту, с помощию расписания мундирам, научиться узнавать безошибочно все вышивки, погончики, петлички[3] офицеров разных полков и так же безошибочно уметь по цвету воротников относить чиновников к известным ведомствам.

Давалась, в самом деле, новая пиеса, только переводная с французского, под названием которой красовалась ярко и четко отпечатанная фамилия переводчика, с начальными буквами имени и отчества, выставленными, вероятно, из опасения, чтобы такой колоссальный подвиг не был приписан какому-нибудь однофамильцу. Пиеса была одна из тех, которые в блаженные тридцатые годы, когда еще свирепствовала новая французская литература, под именем неистовой юной французской словесности, приводили в ужас раздражительную, как mimosa pudica,* нравственность наших критиков даже одним своим названием,[4] действительно нередко затейливым.

Кроме того, в этой пиесе дебютировала во второй раз, и притом в первой роли, новая артистка.

Она явилась на сцене под именем г-жи Склонской, хотя настоящая фамилия ее была другая.

Эти две причины — новая пиеса и новая артистка, от первого дебюта которой пострадали крайне руки некоторых молодых людей, — эти две причины, вероятно, содействовали к особенному оживлению Александринского сквера и к видимому благоденствию тощих ванек, впрочем, их только потому, что извозчики-лихачи были большею частию нанимаемы только от дверей Палкина,[5] куда, для передышки от дальнего пути, заходили офицеры, с различными нашивками и петлицами, и молодые чиновники, с завитыми в трубочки волосами и в различных цветов жиле-

---

* мимоза стыдливая *(лат.)*.

тах, чтобы собраться с силами перед будущим эстетическим наслаждением и чтобы осмотреть состояние вязанного обыкновенно из бисера какими-нибудь нежными ручками барышни с Петербургской стороны кошелька и расчесть: достаточно ли будет содержащегося, чтобы на лихаче поравняться с известным патриархальным возком у колонн театра.

Било уже семь часов. Прибывающие толпы спешили или летели на крыльях по лестницам.

В это время вошел и Виталин. Одет он был точно так же, как мы уже его видели, шел точно так же медленною походкою, не глядя ни на что впереди и кругом себя.

Он подошел к кассе, взял билет в кресла и отправился.

Когда он вошел, оркестр играл что-то, по обыкновению неизвестно откуда взятое, но, кажется, французскую кадриль из оперы «Густав»,[6] хотя это вовсе не клеилось к имеющей быть представляемою драме. Он сел на свое место и, увидевши, что соседнее с правой стороны было еще пусто, положил на него свою шляпу.

Не прошло минуты, как по ногам сидящих стал пробираться с извинениями человек, одетый очень скромно, с наружностию очень замечательною. Это было лицо, на котором ум ярко отпечатлел свое божественное присутствие; но вместе с этим какое-то неприятное выражение, какое на обыкновенных лицах является от сильного пронзительного холода, какое-то постоянное сжатие всех черт искажало эти умные и благородно-правильные черты и сообщало им выражение скромной таинственности вопроса, не разрешимого для других и, может быть, для себя; кроме того, усталость и тяготение видны были во всех движениях этого человека, и от нее ли или в самом деле от внутреннего холода происходила еще одна неприятная резкая особенность: промежуток между губами покрыт был у него потом, который невольно как-то напоминал нам о стеклах окон, влажных от холода.

Это новое лицо добралось наконец до места, занятого шляпою Виталина, мóлча подало ему руку, которую тот так же молча пожал, и село, когда Виталин взял свою шляпу.

— Не начинали еще? — спросил он, наклоняясь к уху Виталина, и стал смотреть то в правую, то в левую сторону, ища, казалось, кого-то глазами.

— Нет еще, — отвечал Виталин, вынимая из кармана табакерку.

— Я смотрю переводчика, — говорил тот, все еще продолжая глядеть. — А! Вот наконец!

Виталин посмотрел в ту сторону, куда показывал глазами его приятель.

Тот, на кого он показывал, был юноша лет девятнадцати, стройный и красивый собою, с бледною наружностию и с длинными волосами, по самые плечи, закинутыми чрезвычайно искусно, в синих очках, которые, несмотря на то, что были очень сини, не могли снять с его лица типа самого раннего, близкого еще к детству, юношества. Он был весь в черном и в белых перчатках.

— Гм... — проговорил Виталин, смотря на него, и улыбнулся едкою улыбкою. Он наклонился к своему соседу, хотел ему сказать что-то, но в это время подняли занавес; он оборотился к сцене и, положивши на шляпу руку, оперся на нее подбородком.

Вышли какие-то господа, которые по афише должны были представлять двух маркизов XVIII столетия и которые беспрестанно подмигивали один правым, другой левым глазом, потому вероятно, что вели разговор довольно таинственный и непонятный о похищении какой-то мещанской невинности и находили, что в разговорах подобного рода маркизы XVIII века должны были употреблять именно этот жест, а не какой-либо другой.

В театре было так тихо, что можно было бы слышать жужжание мухи.

Но вот вдали показалась женская фигура.

Топот, стук, хлопанье и вой нечеловеческий раздались во всех концах залы, так что гул слышен был даже на площади, а кучера, поглаживая и разглаживая бороды, обратившиеся в сосульки от жестокого мороза, и похлопывая рукавицами, говорили друг другу: «Знать, важно ломают камедь!».

Но в самом деле появившаяся на сцену женщина была существо необыкновенное: воздушная тень, какою она пронеслась почти по сцене, с такою детски-простою естественностию, которая вовсе не показывала в ней дебютантки, потому что только богато одаренным и артистическим натурам дается эта простая естественность. Она непринужденно ловко, без отвратительно жеманной наивности поблагодарила публику легким наклонением головы.

Виталин неподвижно глядел на сцену; казалось, в первый раз взгляд этого человека сошелся с определенною целию.

Она начала говорить. Все затихло.

То, что она говорила, был страшный вздор, хотя милый и французский вздор, — но, боже мой, как чудно звучал он в устах этой женщины, как искусно умела она скрыть неуклюжесть фраз и как у нее одной только понятна была эта речь, вся полная гремушек и блесток. Она была умна, говоря этот вздор, или, лучше, она пела его, как искусная певица, у которой не заметны фиоритуры и рулады.

И когда, прощебетавши свою песню, она грациозно присела и, как серна, побежала в глубину театра, Виталин одобрительно кивнул головою, а партер опять залился гулом, от которого в состоянии убежать человек с самыми крепкими нервами.

Дебютантка должна была снова явиться; на ее устах играла улыбка торжества, на щеках ее горел румянец, глаза сияли, как звезды...

Боже мой, как дивно хороша, как невыносимо хороша, как женственна была она в эту минуту. Не одно пылкое, безумное, еще невыстрадавшееся сердце ощутило теплоту и полноту в присутствии этой женщины.

Один только приятель Виталина не изменил сжатого выражения своей физиономии; он даже зевнул, отвернувшись в сторону.

Виталин не сделал ему никакого замечания; видно, он знал его слишком хорошо или сам вполне ушел в самого себя. Но когда артистка, поклонившись публике, заметила его и слегка кивнула ему головою, по лицу его пробежало чувство неудовольствия, тем более что на него уставились оловянные глаза какого-то довольно полного офицера с рыжими усами и даже по целому ряду пронесся шепот. Он внутренне уже готовил филиппику на бедную артистку, которая была виновата тем только, что никогда не изменяла своей благородной женской природе.

Но несмотря на эту случайно пробежавшую по лицу его тень досады, он постоянно впивался в нее глазами при каждом появлении на сцену, слушал внимательно ее лепет, подмечал каждую верно почувствованную интонацию и невольно раз еще изменил своей обыкновенной приличности, кивнувши одобрительно головою.

Акт кончился. Начались вызовы дебютантки. Виталин вышел в кофейную. Приятель его исчез еще прежде.

Он нашел его в кофейной разговаривающим с переводчиком пиесы, который стоял перед ним в каком-то странно-ложном и затруднительном положении. Они говорили о последней речи Гизо, напечатанной в «Дебатах»,[7] но по всему виду юноши видно было, что ему хочется как-нибудь априличнее завести речь о своей пиесе. Приятель Виталина упорно вел речь о «Дебатах».

— Браво! Браво! молодой человек: хорошо переводишь, славно переводишь, — сказал юноше какой-то толстый господин в широком пальто, с картузом под мышкою. — Молодец, ей-богу, молодец! Тиснем статью, тиснем, — продолжал он, дружески ударяя по плечу молодого человека.

Лицо приятеля Виталина сморщилось сардонически.

Юноша был, казалось, между Сциллою и Харибдою.

Может быть, он рассыпался бы в другой раз в вежливостях перед толстым господином, но теперь он как-то принужденно поблагодарил его.

Господин отошел, не слишком, кажется, довольный.

— Вы пожинаете лавры, — заметил сухо и сардонически приятель Виталина.

— Помилуйте, такие пустяки, — отвечал юноша робко, но с маленьким самодовольствием, ожидая, казалось, возражения на слово «пустяки».

Но его собеседник неумолимо начал прерванный разговор о Гизо.

Юноша говорил заметно неохотно; но скоро офицер с рыжими усами подскочил к нему с какою-то самодельно-французскою фразою и, увлекши к буфету, начал что-то говорить ему, показывая пальцем на Виталина.

Потом послышалось слово «магарычи», и вслед за этим почти юноша потребовал бутылку шампанского.

— Что он говорил с тобой? — спросил Виталин у своего приятеля, ходя взад и вперед по кофейной.

— Ничего; добивался, кажется, чтоб я похвалил его перевод. Глуп страшно.

— Что же ты, будешь хвалить?

— Вопрос еще, буду ли я писать? — отвечал приятель Виталина рассеянно.

— Разумеется, будешь.

— Что писать, о чем писать? Во-первых, я не понимаю сюжета пиесы.

— Я его расскажу тебе после.

— Ну хорошо.

Они оба ушли в кресла.

Второй акт драмы был торжеством дебютантки. Она играла в нем сумасшедшую от любви и этой избитой роли умела сообщить много своего и в особенности много женственного, чего почти не бывает в наших актрисах, хотя они и женщины, кажется.

Особенных происшествий не было, кроме того, что некоторые львы осипли от крика в продолжение представления и, когда после окончания драмы хотели было закричать «Склонскую», рты их, вместо членораздельных звуков, издали какое-то мычанье.

Виталин и его приятель вышли почти из первых.

Ночь была светлая и лунная, но чрезвычайно холодная. Они оба шли долго по Невскому проспекту, не говоря ни слова и на каждом шагу почти приподнимая воротники своих пальто, хотя поднять их больше, чем они поднимались обыкновенно, было вовсе невозможно.

— Послушай, Искорский, — начал наконец Виталин, — ты должен, непременно должен писать статью.

— Буду... да что уж только за статья будет, бог ведает, — отвечал тот.

— Да неужели ты настолько не владеешь собою, чтобы предаться предмету душой и телом, и верь, что во всяком, как бы он пошл и пуст ни казался, можно найти всегда глубокую сторону. Ты сам это знаешь. А главное-то — это нужно.

— Ох, знаю, братец, что нужно, — отвечал Искорский с чувством какого-то болезненного страдания. — Завтра у меня ни чаю, ни свечи.

— Ночуй у меня — будет и то и другое.

— Нет уж, как-нибудь... Но что писать, что писать? — почти с отчаянием говорил Искорский.

— Послушай, начать с того, что как ни плоха эта драма, а все-таки в ней есть содержание, все-таки интересы-то в ней не вертятся на обыкновенной пошленькой любви. Уж и то, что ее интерес на собственности, на имении. Развивай эту мысль — вот тебе и все. Разумеется, тут нового ничего не будет, но для нашей публики и это ново. Повторю опять мое любимое слово, публика милое дитя, ей надобно вдалбливать отвращение к известным нелепостям, ей надо оправдать ее эгоистические потребности, потому что иначе идеалисты будут вечно ее жать, сами перед собою притворствовать.

— Мне ли и тебе ли бороться! — отвечал Искорский.

— Борьбу на смерть и до смерти, борьбу до последнего истощения сил должны мы вести все, все, как бы мы ни были больны, — возразил Виталин, — потому что, право, о самих себе, — добавил он грустно, — не стоит заботиться.

—Так, так, все так, но где же силы бороться? Да и можно ли опять, скажу я, писать что-нибудь, — отвечал мрачно Искорский, — когда запираешь дверь на крючок и вздрагиваешь при каждом стуке за дверью, потому что грозит какое-нибудь малочестное посещение кредитора, который, может быть, представил уже и кормовые деньги.[8]

Они оба замолчали.

— Пиши о дебютантке, — начал опять Виталин, — не потому, мой милый, чтобы это до меня касалось, — я знаю, впрочем, что это тебе и в голову не придет, — но опять потому, что нашей массе надобно навязывать убеждения.

— Послушай, Виталин, — сказал, приостановясь немного, Искорский, — что́ я буду о ней писать. Для меня все это китайская грамота; к театру у меня сочувствия вовсе нет, к игре актеров еще менее.

— Но когда эта игра проводник к электричеству! Чудак, ей-богу, — говорил Виталин. — Кстати или некстати, — продолжал он, несколько помолчавши, — хочешь ты быть знаком с этою женщиною?

— Пожалуй, но к чему? — отвечал Искорский рассеянно.

— Все так... впрочем, мне идти налево, тебе направо. Прощай.

— Завтра будешь?

— Буду.

— Точно будешь?

— Буду, буду, буду, — отвечал Виталин с нетерпением, и, кивнувши головою своему спутнику, быстро повернул к Вознесенскому проспекту.[9]

Он остался один. Ему хотелось быть одному, чтобы предаться своему внутреннему миру. Этот вечер взволновал опять в его памяти былые образы; но не дивный образ женщины, которой обаяние околдовало всех других, не этот светлый образ носился перед ним, нет — он ему напоминал только образ человека, проведшего яркую черту на странице жизни этой женщины, с жизнию которого так долго и так с ранней молодости сливалась его собственная жизнь. Ему все больше и больше обрисовывались благородные мужественные черты, высокое чистое чело, саркастическая, но по временам женски-нежно-обаятельная улыбка. Ему слышались речи, то полные ледяного холода и ядовитой пронзающей насмешки, речи, которые от странности казались многим бессмысленными, но которые так изучил он, которые для него полны были глубокого смысла, — то поэтически-беззаветные, исполненные чудных воспоминаний. В памяти его оживали те вечера, редкие вечера, когда, окончивши работу художника, передавши ему только что распустившееся свежее создание, — уверенный гордо в своем призвании поэта — этот человек сбрасывал с себя кору черствой холодности, являлся тем, чем был он в существе своей богатой природы, и из уст его лились слова, проникнутые чистотою младенца и разумом мужа. То были долгие беседы об искусстве, любимом им более всего на свете, или простые, но чудно-поэтические рассказы о первых днях молодости, о снежных беспредельных полях, озаренных полною луною, о лучах этой луны, играющей на полу старой залы, и о темно-русой головке с голубыми очами, наклоненными к кла-

вишам рояля. И припоминалась ему та полоса их общей жизни, когда они оба любили эту теперь женщину, тогда слабое воздушное дитя, страдавшее в когтях палачей, добродушно и бессознательно ее терзавших, и то, как плакал тогда по ней, как ребенок, как юноша, как сумасшедший, этот человек сильный и крепкий душою, — как она видалась с ним в такие же светлые зимние ночи на паперти ветхой церкви и как она зашаталась от его первого огненного мужеского поцелуя. Виталину припомнилось все это, припомнилось, как он сам благородно и бескорыстно болел душою за эту женщину, как он пламенно веровал тогда и как готов был отдать жизнь свою за то, чтобы не страдала эта женщина, это бедное больное дитя. И потом как промелькнула эта полоса жизни, образ одного только человека уцелел из нее, и Арсений думал о том, какую тайную силу имел он над ним, как умел он в его вечно страдавшей душе поднять всех змей страдания и обнажить перед ним все тайные, все отвратительные пружины этих страданий, злобно посмеяться над ними — и потом одним словом примирить все и подать руку на восстание. Пред ним предстали опять длинные бессонные для обоих ночи, когда, не имея ничего нового сказать друг другу, они говорили, однако, и им весело было говорить друг с другом, ночи, когда тот засыпал наконец, а Арсений еще сидел перед ним, смотря на этот строгий и спокойный профиль, на эту поднятую грудь, на эти белые, как из мрамора изваянные, женские руки. Арсению было так понятно, так страшно понятно, что его личная жизнь не имела больше смысла с тех пор, как отделилась от жизни этого человека.

Он добрался наконец до своей квартиры, которая была в одной из отдаленных улиц Коломны.[10] Когда он вошел в нее, она показалась ему еще теснее, еще печальнее, чем обыкновенно.

Изнеможенный, он упал на постель и рыдал долго, рыдал безутешно.

Тщетно он хотел заснуть. Ему предстала иная полоса жизни. Он был опять, казалось, в кругу одного семейства, он опять, казалось, с безумным увлечением говорил в нем о своих верованиях, о своей ненависти, не смея ни слова сказать о своей любви, и, облокотясь на стол, с глубоким сочувствием слушала его женщина, которую одну в целом мире считал он себе равною, а прямо против него сияли болезненно ярко-голубые очи другой женщины, у ног которой он хотел упасть, чтобы долго, безумно долго смотреть в ее болезненно сияющие очи. . . . . . .

Она его не любила. Жгучий трепет бегал по телу Арсения; из уст его вырывались бессвязные слова, странные, как бред горячки.

Било четыре. Он все еще лежал с открытыми глазами, томимый пыткой невыносимого, безнадежного страдания.

III

АРСЕНИЙ ВИТАЛИН

Теперь пора мне поближе познакомить читателей с героем моего рассказа.

Арсений Виталин — с первого взгляда принадлежал, казалось, к числу тех, к несчастию, может быть, многих молодых людей нашей эпохи, которые, слишком рано предавшись наслаждениям, теряют вкус ко всему и, чуждые вовсе условий общества, в котором они живут, остаются в состоянии вечного отрицания и тягостной, мучительной апатии. Такие явления странны и даже смешны, если хотите, но всего более грустны... Апатия налегла на них не потому, чтобы силы их истощились в борьбе с действительною жизнию; нет, эти силы погибли в борьбе с призраками; они сами знают, что мучат себя этими призраками, истощают себя неистовыми снами, — и потом дрожат нервически, выходя на свежий воздух жизни, и бегут опять в свое призрачное *я*, потому что вне его их пробирает дрожь, которую они считают следствием холода. На таких личностях лежит печать постоянного разочарования; но многие не верят в искренность этого разочарования, забывая, что силы, как тетива лука, слабеют равно, напрягаемые с целию или без цели, что жизнь в грезах истощает более настоящей жизни, потому что в ней нет питательных соков последней.

Но мы ошиблись, сказавши, что Арсений с первого раза казался явлением такого рода; мы все, люди XIX-го века, не способны верить в возможность эксцентрических страстей и убеждений, хотя страдаем все, все до единого, более или менее. Нет, при первом сближении с Виталиным вы бы подумали, что это умный человек, — единственное качество, которого в нем не отвергал никто, но что жизнь этого человека двоится, как у многих господ, которых вы видите вечером в каком-нибудь из московских салонов горячо отвергающими основы всякой жизни и деятельности при современных условиях общества и которых вы встретите утром в одной из канцелярий отправляющими с изумительным терпением должность столоначальника.

Виталин и сам способствовал бы этому обману; у него была страсть казаться человеком положительным, но он был слишком ветрен и даже слишком раздражителен, чтобы поддержать обман. Была эпоха, однако, — и эта эпоха в жизни его тянулась долго, — когда обстоятельства заставляли его с желчью в сердце играть искусно принятую роль. Он был где-то учителем и по многим отношениям считал себя обязанным обманывать всех и каждого ревностию к науке и изученными энциклопедическими познаниями. Это было для него пыткою, но играл он свою роль легко и непринужденно, потому что, в самом деле, в наше время очень нетрудно играть подобную роль. Виталин читал без толку и без системы, но читал чрезвычайно много; он наблюдал, кроме того, с удивительною восприемлемостию; одного слова, схваченного на лету, достаточно ему

было, чтобы вывести из него целую систему, и, продумавши один вечер над двумя или тремя положениями Спинозы, он рассказывал на другой день, что изучает Спинозу, а на третий пускался уже в пропаганду его учения, с циническим хладнокровием и бесстыдством, над которым сам он хохотал злобно внутри самого себя. Он был слишком уверен в том, что другие точно так же изучают предметы; притом у него была своя тактика: «Рыбак рыбака видит издалека», — думал он, и с людьми, которые так же, как он, не верили в филистерскую науку, разговор, начавшийся обыкновенно с взаимных самонадуваний, переходил на живые вопросы жизни, а труженики односторонней идеи, люди, которые в состоянии заниматься изысканиями частными, обыкновенно слишком скромны, чтобы сметь и подумать даже знать что-нибудь, кроме своего предмета, и слишком добросовестно ограниченны, чтобы подозревать цинически-нагую ложь знания... Потому Виталин считался человеком, подающим большие надежды, и даже все резкие выходки его против всех условий общественной нравственности вызывали только одобрительную улыбку, в которой так и выражалось: «Уходится, дескать, молодой ум гуляет, будет со временем как мы же»... Был ли виноват Виталин в своем циническом неверии — вопрос, трудный для разрешения. Была пора, он был молод, он был так чист душою, он в каждом человеке, который на словах проповедовал то, а на деле другое, — готов был видеть избранника и жреца истины, и каждое слово этого избранника было для него искрою, брошенною в порох. К одному из таких избранников он, способный привязываться глубоко и пламенно, как женщина, привязан был узами беспредельного уважения и беспредельной любви. Но когда этот человек спокойно перешел в грязную филистрическую жизнь,[11] когда Виталин поневоле должен был увериться, что желчная раздражительность этого человека была просто следствием эгоизма холостяка и исчезла сама собою в сладких семейных сценах, когда этот человек, когда-то гордый и независимый, стал уже не без удовольствия мечтать о превосходительстве, — это явление, самое обыкновенное, самое разумное, может быть, заставило Виталина увидеть вещи в их настоящем свете.

Он играл комедию долго; наконец она стала ему невыносима, как всякое ложное положение. Человек крайностей — он разрубил разом, как гордиев узел, это ложное положение и, оставивши за собою всю прежнюю жизнь, бог знает почему, бог знает для чего, умчался куда-то.

Он поступил так, а не иначе, потому что только, по-видимому, лежала на нем тень разочарования. Правда, много душевных сил истратил он среди своей бесплодной софистической жизни, но слишком еще сильно звучал в душе его голос, зовущий к жизни и деятельности, слишком еще глубока была его вера в жизнь и бескорыстные стремления духа. Он не верил ни в порок, ни в добродетель, не верил до того, что ему странно и смешно казалось убеждать в своем неверии, но верил пламенно в одно только, что в каждой натуре лежит предчувствие ее назначения, ее право на счастие, право на жизнь. Что за нужда, думал он, что растение юга страдает на севере! Есть же страна, где оно зацветет жизнию;

больное в чуждом ему климате, оно может же быть, однако, здорово... Сознание божественной правды каждой натуры и того, что ее болезни и недуги происходят не от нее самой, а от влияния посторонних обстоятельств, — вот что было для Виталина незыблемым убеждением и вот что, может быть, поддерживало его в жизни. Обманываясь на каждом шагу, обманываясь постоянно, он не изменил, однако, надежде на будущее.

Разумеется, не вдруг дошел он до этой веры, потому что для нее нужно полное самоотречение, приобретаемое долгими мучительными страданиями. Надобно страдать самому, чтобы понять страдания других, надобно самому желать излечения и верить в его возможность, чтобы искренно желать излечения других. Надобно самому отыскать в себе тайные, тщательно скрываемые болезни, чтобы понять все: от величайшего подвига самоотречения до самого мелкого и отвратительного изгиба эгоизма.

И Виталин дошел до того, так страшного каждому убеждения, что если он не подлец, то потому только, что к этому не принудили его обстоятельства, и не отступил от самого себя с ужасом и омерзением. Нет! он почувствовал себя выше в эту минуту, выше потому, что перешел последнюю преграду, отделяющую человека от человека, что не стало для него ни одного страдающего брата, от которого бы он мог отвернуться с презрением.

Но жизнь Виталина была двойственна, как жизнь каждого из нас. Никогда в самые трудные минуты не изменял он своим верованиям, но эти верования его не успокаивали. В нем самом, в его характере лежало зерно страдания... Он был ветрен, он был даже бесхарактерен: за минуты наслаждения или, лучше, забвения он платил слишком дорого, — но никогда дорогая расплата не была для него упреком. Если же бывали для него промежутки внешнего благоденствия, он в самом себе будил заснувшие во время неприятностей жизни внутренние страдания, и они терзали его тоскою неодолимою, тоскою осужденного, которая гнала его бог знает куда, которая заставляла его искать забвения в чем бы то ни было.

Он жил какою-то скитальческою жизнию целые пять лет, не обзавелся ничем, чем обыкновенно обзаводятся порядочные люди. Комната его была почти пуста, потому что все, что можно было заложить, давно уже лежало в залоге, и он не думал никогда выкупать заложенного, даже при деньгах. Квартиры переменял он аккуратно почти через два месяца, потому что он, заплативши обыкновенно вперед за первый, — он имел привычку до того откладывать на завтра плату за второй, что хозяин являлся обыкновенно к нему с надзирателем, — и тогда для Виталина начиналось кочеванье по чужим квартирам, отвратительно печальное положение, от которого часто бывали с ним нервические горячки. Он принимался работать, доставал денег, платил хозяину обыкновенно вдвое более, но переезжал на другую квартиру, потому что не мог видеть человека, который напоминал ему какую-нибудь неприятную эпоху жизни,

как не мог никогда прочесть письма, в котором предполагал найти что-нибудь неприятное, и бросал его в огонь не читавши.

Иногда на него находили минуты, когда он думал положить конец такой безалаберной жизни, но исполнение таких благих намерений было чудовищно нелепо. Тогда он обыкновенно нанимал квартиру где-нибудь по Нарвской части или даже раз на Петербургской стороне за 10 рублей серебром в месяц, с мебелью, столом и прислугою. Можете себе представить, какова была эта квартира и этот стол. Переехавши на одну из таких квартир, он обыкновенно лежал, не вставая с постели, целую неделю, наслаждаясь полною свободою и удобством хандрить, потом хандра же его выгоняла из дому и он исчезал по целым дням.

Он писал много, работал во многих журналах, но писал и работал полосами. В остальное время он лежал или странствовал, и все, что ни писал он, казалось ему тогда отвратительно гадким. Так было до новой полосы. Он опять одушевлялся, опять верил не в талант свой, до которого ему, без притворства с его стороны, было очень мало нужды, но в необходимость пропаганды своих убеждений.

IV

ЗАПИСКИ СОФИСТА

Мы рассказали читателю то, что сами могли заметить в характере Виталина; но этого мало, даже слишком мало для того, чтобы представить себе его нравственный образ: слишком ли богата была его природа или не было в нем вовсе ничего своего, — но дело в том, что Виталин нынешний никогда не был похож на Виталина вчерашнего, и чем более вы его узнавали, тем более открывалось вам в нем новых незамеченных изгибов.

Он вел почти постоянно дневник, но вовсе не оттого, чтобы придавал своей жизни какое-нибудь значение, а просто по привычке и по старой памяти. Это была скорее переписка с одною женщиною, чем дневник. Заметим здесь кстати, что если у Виталина были друзья, то только между женщинами, потому ли, что в нем самом было много женских черт, потому ли, что у нас женщины вообще умнее мужчин.

Несколько отрывков его дневника передано мне человеком, от которого я знаю подробности о жизни Виталина и о встрече с которым расскажу вам в свое время и в своем месте. Виталин называл свой дневник «Записками софиста», и отрывки его мы передаем читателям под этим же названием.

Отрывки из записок софиста

Порок и добродетель! Люди чрезвычайно расточительны на эти слова — жаль, что и ты также. Разумеется, я не требую от тебя, чтобы на порок и добродетель смотрела ты иными глазами, нежели другие люди, —

вовсе не потому, что ты женщина, а потому, что ты не встречалась еще лицом к лицу с этими сухими добродетелями, от которых становится иногда страшно, и с этими пороками, от которых бывает подчас грустно, глубоко грустно. Но я — я не нашел еще человека, от которого бы мог отвернуться, имел право отвернуться.

Опыт ли это или крайняя степень разврата, но мысль, что добродетель — деньги, меня как-то не пугает уже, как пугала прежде. Скажи, пожалуйста, есть ли возможность сохранить человеческое достоинство, не имея ни гроша в кармане?.. Да и в чем заключается человеческое достоинство? Не в том ли, чтобы человек был выше мелочных потребностей жизни, чтобы человек был в состоянии пренебречь — не говорю жертвовать, потому что это бы значило унижать человека — но просто пренебречь этими мелочными потребностями для высших условий бытия? А согласись сама, пренебречь тем, чего у нас нет, это просто значит быть поэтом в душе — что так же смешно, как быть Наполеоном в душе, или, пожалуй, сапожником в душе.

Все это только предисловие к тому, что я хотел тебе высказать. Ты мне пишешь: «Пусть чело твое будет вечно ясно и чисто». Да! оно ясно и чисто, я свободно и гордо поднимаю его к небу, но вовсе не потому, чтобы я не знал пятен на своей жизни.

Была пора, как бывает она для каждого, кто жил и мыслил, когда я презирал самого себя, [12] презирал потому, что хотел невозможного и падал под бременем этих невозможных требований. Это — первая минута сознания личности, отделения себя от целого и падения в прах перед этим бесконечным целым; душа созидает для себя темные, колоссальные пагоды, чтобы во мраке их прислушиваться к отзывам бесконечности и молиться во прахе, сознавая свое ничтожество перед бесконечным.

Бывает иная пора... Человек испытал уже собственные силы, он уже знает, что, как он ни бейся, ему не удастся выйти из их ограниченного предела, но знает и права свои на жизнь и счастие. Он разлюбил и разуверился, и ему жаль того, что он разлюбил и в чем разуверился, но он не винит себя, он видит, что не мог жить иначе, и знает, что если бы начал снова жить, то жил бы точно так же.

Таково теперь мое состояние. Я вижу насквозь все нити, которые меня спутывали и вели к этому состоянию, и знаю наизусть все мои потребности, т. е. все мои требования от жизни. Это не фатализм, потому что в фатализме нет и не может быть такой разумности, это и не вера также.

Знаешь ли, что? Быть может, это надежда...

Когда я вошел нынче, она сидела спиною к дверям или, лучше сказать, лежала на креслах, на которых обыкновенно садится ее муж, так, что ее локоны выходили за спинку кресел; правая рука ее сжимала лоб, как будто от сильной головной боли, левая упала на ручку кресел. Надобно сказать, что руки ее необыкновенно белы и прозрачны.

Я вошел тихо, так, что она не слыхала, и, вставши за нею, мог заметить, как порывисто и вместе тяжело дышала ее грудь. Наконец такое наблюдение показалось мне очень скучно. Я взял ее за руку, она вздрогнула и обратилась ко мне быстро.

Щеки ее горели болезненным румянцем, глаза были заплаканы, но она не сказала мне ни слова, может быть потому, что довольно умна, чтобы говорить пошлости.

— Ага, мы не в духе сегодня, — начал я, перебирая пальцы ее правой руки; я люблю как-то делать это с ее руками.

Она взглянула на меня с укором и потом опустила глаза в землю, как будто ей стыдно было чего-то.

Мне было это понятно, разумеется, но не хотелось показать, что это понятно. Не выпуская из рук ее пальцев, которые она усиливалась выдернуть, я опять спросил ее с величайшим равнодушием: «Что с тобою?».

Ни с того ни с сего она повисла у меня на шее и прижалась щекою к моему лицу. Отчего выражение лица ее было в это время какое-то болезненное? Прижавшись ко мне, она искала как будто защиты от чего-то, ее преследовавшего... Я сжал ее крепко в моих объятиях, как испуганного ребенка.

— Пусти меня, — сказала она, вырвавшись от меня, и, упавши снова в кресла, закрыла лицо руками. Бедное дитя, она дрожала, как в лихорадке!

Во всем этом есть много такого, за что бы я в лучшие годы готов был заплатить чем угодно и что теперь дается мне даром. Все это навевает на меня сны моей молодости, жаль, что сны только!

Не брани меня за это отношение. Начать с того, что я не искал ее любви и что по моим нравственным убеждениям вовсе не обязан отвергать ее, когда она сама явилась. Милости просим.

Что за дело, что я не в силах любить? Этой женщине ни тепло, ни холодно от моей любви или нелюбви. Да это еще вопрос и для самого меня: люблю я ее или нет? Признаюсь, я еще не решил для себя этой загадки. Но дело не в том. Я дал ей несколько минут безумного самозабвения — и довольно! Может быть, лучше даже, что сам я не испытываю с нею самозабвения, что во мне ее детская преданность, ее болезненная раздражительность — производят только сладостное щекотание нервов.

Я эгоист — это говорили мне с детства, и это я сам давно знаю: но в бесчисленных изветвлениях моего эгоизма можно просто растеряться. Уверен только, что мне самому было бы очень хорошо, когда бы другие в отношении ко мне были бы такими же, как я, эгоистами; сам до последней степени раздражительности тонкий, я верю вполне и в чужую раздражительность: знаю, по крайней мере, что никогда, ни одного страдающего брата не оскорбил я грубым неверием в нравственное страдание.

И между тем не было ни одного человека, который бы в отношении ко мне был так терпелив, как я ко многим. Впрочем, и то сказать, разве

я мог когда-нибудь высказаться? То, что я высказывал, принимало всегда какой-то нелепый, недействительный образ, в который нельзя поверить, в который я сам не верил.

Мы страдаем, страдаем страшно и бесплодно; жизнью слов, жизнью воображения переживаем мы все, что действительность может дать, — и вносим в нее одну скуку и утомление, потому что знаем наизусть все, что она может дать, и потом, разумеется, виним эту действительность, как будто ее вина, что безумными снами, внутренним развратом истощили мы все жизненные соки. Мы жалуемся на бессилие воли, и жалобы эти основательны, если хочешь: по замечанию одного знакомого мне медика, все болезни нашего времени происходят, по преимуществу, от расстройства нервов... Но это вовсе не Fatum, лежащее на нашем веке: в том, что «над миром мы пройдем без шума и следа»,[13] виноват не век, но мы сами. Воля-то есть в нас — но крепкие жилы этого лука мы натягиваем для того, чтобы стрелять в воздух.

И таково между тем состояние современного общества, и тем лучше, что оно таково: я рад душевно, когда услышу, что где-нибудь в отдаленном уголке нашей неизмеримой родины таится глубокое безотрадное страдание — потому что оно-то для меня и признак воли.

Но дело в том, что мы все страдаем, потому что все лжем сами на себя. Было время, когда мир во зле лежал, — теперь он лежит во лжи. Ибо ложь не зло, вовсе не зло, напротив, ложь есть сознание добра, сознание истины, страдание по сознаваемой истине, страдание о том, что эта истина только сознается, а не выполняется. И потому что истина не выполненная, а только сознанная, есть одно разрушение старого предрассудка, дух лжи — дух разрушенья. Само собою, вступая в действительность с предвкушением будущего, мы вносим в настоящее одно страдание и скуку... И эту скуку мы боимся назвать ее собственным именем и зовем ее бессилием воли. Оно и понятно, пожалуй; не много найдется личностей, которые бы смело сказали: «Вот это я пережил, вот это для меня старо», когда им кажется, что для других, для большинства это вовсе не старо; но много ли найдешь ты таких, которые бы не страдали более или менее старостию тяготеющих над ними понятий?.. Человеческой личности ни одной, это я скажу смело... А назвать вещи их собственным именем как-то страшно... Возьмем, например, хотя ту же молодость. То, что называли молодостью наши отцы и деды, — для нас это прошло в восемнадцать, девятнадцать лет; а действовать в двадцать как подобает мужу и человеку — для нас неуказное время... А силы есть, стало быть, есть и потребность напрягать их... Точно так же неуказное время запрещало нам в пятнадцать лет жить жизнию юноши, и мы переживали эту жизнь только снами. Да! мы лжем, страшно лжем на самих себя, мы сами создаем себе страдания. На нас тяготеют еще готовые данные прошедшего, и за этими данными мы вечно осуждены тщетно искать самих себя, своих собственных понятий долга и нравственности, своего собственного воззрения на жизнь. Каждый из нас — актер, который славно играет известную

роль, но никогда не забудет, что эта роль принята им на себя добровольно. Каждый из нас обманывает сам себя, обманывает даже в минуту самозабвения, обманывает потому, что предвидел это самозабвение, что искал самозабвения, сна, а не жизни.

Но что за различие между сном и жизнью? Сон, особенно у человека напряженного и нервически расстроенного, — жизнь, создаваемая им самим, жизнь, в которой ему светло и привольно, потому что ее явления совершаются по законам его мысли.

Что за дело, что эта жизнь — обман для других. Обман, обман! Истина для всех — часто обман для одного, и если хотя уже для одного она обман, можно быть уверенным, что будет время, когда она разоблачится для многих... Обман! — но разве не обман всякая перспектива, раскладывающаяся перед нами под сиянием полного месяца и дарящая нас минутами примирения и молитвы, минутами, когда на душе светло и свободно... Истина здесь в одной только целости, в одной стройности и разумности сопоставления предметов: подойди ближе, и предметы, отдельно взятые, тебя разочаруют.

Я давно уже не ищу истины, а ищу счастия, в чем бы оно ни было.

Жаль одного только, по поводу чего я и написал это длинное оправдание обмана, что другие не хотят согласиться со мною. Сказать правду — эта женщина начинает меня мучить. Слезы и вечно слезы — о чем, уж этого я просто не понимаю или, лучше сказать, не хочу понимать. Недоставало одного только, чтобы она мучила меня ревностию. Вероятно, уж следует непременно, чтобы любовь была с ревностью: нет повода — что же за дело? Надобно его создать, а то как же можно обойтись без ревности? Но очень любопытно узнать, к кому она меня ревнует?

Разные драматические положения меня, наконец, бесят. Дай бог и без страстей-то прожить, слыхал я часто от одного почтенного человека, а это еще со страстями. Влюбилась, перелюбилась — и господи! прибавлял он всегда, обыкновенно поднимая руки кверху. Ведь есть же наслаждение мучить себя небывалыми призраками!

Вчера я играл в преферанс с ее мужем и еще с одним, кажется, чиновником же — впрочем, бог его ведает, на лбу не написано... Она сидела подле мужа, смотрела ему в карты и указывала, с чего ходить. Я проигрывал по обыкновению... Один раз ему удалось оставить меня без трех в червях. Он так самодовольно открыл в эту минуту свою серебряную табакерку, так весело прищелкнул ее сбоку, что я смотрел на него с истинным наслаждением.

— Каково мне счастие-то везет, Арсений Федорыч, — сказал он, опрокинувшись на спинку кресел и подмигнувши левым глазом на жену.

— Вы правы, счастие с вами, — отвечал я, не давая заметить, что понял его намек. — Но всегда ли?

— А вот посмотрим — всегда ли? — возразил он с самоуверенною улыбкою и взял, как будто не нарочно, руку жены, лежащую на ручке его кресел.

— Сомнительно, — сказал я с особенною расстановкою. — Восемь в червях!

Она отошла быстро.

— Вы смеетесь надо мною, — прошептала она с нервическою дрожью, когда через полчаса я подошел к ее рабочему столику.

— Это что еще?.. — и я с величайшим равнодушием закурил сигару над ее лампой и отошел опять к карточному столу.

Удивительно глупая, но и удивительно добрая, в самом деле, натура ее мужа. Он с нею все еще как на другой день свадьбы. И между тем что же делать, когда мне это очень забавно, забавно до того, что из удовольствия послушать его восторги я не щажу даже этой женщины... Когда он, полузажмурясь, начинает мне в сотый раз рассказывать о своем сватовстве — и доходит до самого эффектного места, до того, когда столоначальник, разбранивши его за неподшивку дела, говорил ему, что он хуже медведя и что где он нашел такую дуру, которая бы за него пошла, — и потом с таким наивным и простодушным смехом спрашивает, дура ли у него Ольга Петровна? — и я с ледяным вниманием слушаю этот рассказ... она... Но что мне за дело?.. Она лучше, во стократ лучше, когда страдает чем бы то ни было: я забываю тогда, что она чиновница, забываю, что она без ума от повести «Фрегат Надежда»,[14] — я люблю ее в эти минуты. Страдание — апотеоза женщины, хотя, разумеется, есть степень этой апотеозы. Кстати о страдании. Я знал одну женщину, для которой страдание было стихиею. Помню ее, как теперь, высокую и стройную с долгим, болезненным взглядом, с нервическою, но вечною улыбкою на тонких и бледных устах, с странным смехом, как будто ее щекотал кто-нибудь. Я не был влюблен в нее и этому удивляюсь до сих пор, но говорить с нею было для меня потребностию, но я отдал бы много, чтобы говорить с нею опять. Она была осуждена жить в патриархальном семействе, она была осуждена любить своего мужа, потому что он в самом деле был порядочный человек, но за это осуждение наверстывала она таким глубоким, таким самосознательно гордым страданием, что холодному наблюдателю могла бы показаться неправою. И в самом деле, ей, любимой до поклонения всей семьей мужа, ей, верной жене, образцовой матери — стоило бы сказать одно слово, чтобы уничтожить разом все патриархальные обычаи, от которых ее охватывал судорожный трепет, все долгие пытки однообразно-нелепого и добросовестно-однообразного образа жизни, от которого она таяла так заметно, и она никогда не сказала этого слова, и она умерла гордая тем, что не сказала этого слова. Есть натуры, до такой степени нежные, что быть не понятыми один раз в жизни для них страшнее в тысячу раз длинного, томительного страдания... Они до того особны, эти натуры, что им самим странна их особенность, что они сами знают, как все их требования от жизни несогласны с обыкновенным порядком вещей... Они тонки до такой степени, что их раздражают вещи вовсе для других незначительные, и очень хорошо знают это; что им говорить с людьми,

которых оскорбить может разве только пощечина, потому что она факт, и факт несомненный?

Не таково, разумеется, страдание Ольги... Эта женщина вовсе не исключение, а скорее общее правило нашего быта, жертва нашего нелепого воспитания, жертва идеализма азбучных правил и мечтательности. Ей воображалось когда-то, что цель жизни любовь, что брак следствие любви. С 16-ти лет она мечтала об идеале, и, к несчастию, этот идеал явился к ней в особе живописца-гения, с общею принадлежностию наших доморощенных гениев, т. е. с проклятием людям и с разгулом жизни, который, как известно, составляет необходимость всякой широкой души. Измеривши, по возможности, всю неизмеримую пустоту этого идеала, убедившись, что идеалы такого рода не годны даже на то, чтобы быть мужьями, — она ударилась в крайность. Ей нужен был человек, а, к несчастию, попались на пути жизни так называемый гений, а потом животное, чрезвычайно доброе, но до крайности глупое.

V

СКВЕРНОЕ УТРО

Виталин проснулся рано в утро после представления, хотя заснул только в пять часов. Он помнил, что должен писать статью в один журнал и что эта статья нужна через два дня.

По обыкновению, он спросил девочку, принесшую ему два чайника, не был ли кто у него вчера.

Та отвечала, что был кто-то и даже фамилию сказывал, но фамилию она забыла, а помнит только, что столоначальник.

От слова «столоначальник» Виталина всегда подирал мороз по коже. Надобно сказать, что он служил когда-то, и именно в ту эпоху, когда, расквитавшись навсегда с софистической жизнью, бросился искать положительной деятельности и думал найти ее в службе. Но или понятия его о положительности были слишком странны, или просто он был вовсе ни к чему не годен, только ему, что называется, не повезло. Он работал усердно, особенно сначала, но искал всегда бог знает чего и как-то не мирился с мыслию, что дело не в деле, а в очистке бумаг. Притом же он никак не мог привыкнуть к тонкостям и различиям, которые должны быть соблюдаемы в сношениях с разными классами.

Одним словом, был ли он виноват или нет, но он бросил и службу, как бросил софистику, и с этих пор при слове «столоначальник» пред ним представал всегда печальный образ с длинною, страшно длинною физиономией, с мыслию об отношении и нагоняе, или о нагоняе и об отношении.

Поэтому читателю не покажется странным, что неприятное чувство стеснило его грудь при этом слове и что он продумал довольно долго,

какой бы это столоначальник вздумал сделать ему визит, и притом поздно вечером.

Наконец, он провел рукою по лбу, как будто желая смахнуть упорно засевшую мысль, и стал писать.

Не прошло получаса, как у дверей его послышались шаги и шарканье резиновыми калошами.

Он обернулся с невольною досадою, но при виде отворившейся двери и показавшегося лица его физиономия приняла обыкновенно спокойное и даже приветливое выражение.

Вошедший был человек среднего роста, с сгорбившеюся наружностию, с волосами, остриженными чрезвычайно гладко, и с глазами, которые беспрестанно, казалось, бегали и искали чего-то.

— А! здравствуйте, мой любезнейший Червенов, — обратился к нему Виталин.

— Здравствуйте... Ну, что, как вы? А? — говорил пришедший, не переставая искать глазами.

— Вы у меня вчера были? — спросил Виталин.

— Я? нет. А кто у вас вчера был? был кто-нибудь? — спросил Червенов, как будто забывая, что Виталин спрашивал, не зная, кто у него был.

— То-то, не знаю, — отвечал Виталин. — Ну что, как вы?

— Я? да что, ничего, — говорил Червенов, садясь на порожний стул. — Скверно на свете жить.

— Старая истина!

— Вам, батюшка, хорошо — вы литератор, — продолжал Червенов, и в его словах отзывалась едкая, желающая рассердить ирония...

Но рассердить Виталина было вообще почти невозможно.

— Вчера был в канцелярии Г**, — начал опять Червенов, — и говорил, что вы ему должны; должны вы ему?

— Да, — отвечал Виталин, — а давно ли он был?

— На днях.

— Я ему отослал долг вчера.

— А! отослали... Были вы в субботу в Михайловском? отчего вы не бываете в Михайловском?

— В это время все денег не было, — отвечал Виталин.

— А в Александрынском бываете? Нет, — продолжал Червенов очень громко и как бы сердясь, — вы не бываете в Михайловском потому, что вы человек выше других людей, что вам это кажется trop commun.*

— Вы не в духе сегодня, вы больны, мой милый Червенов, — отвечал ему Виталин, спокойно и улыбаясь.

— Прощайте, однако, — сказал, вставая, Червенов.

— Куда вы?

— Мне пора, я к вам только на минуту.

---

* слишком заурядным *(франц.)*.

Виталин дружески протянул ему руку.

Он ушел.

Виталину стало странно грустно. Ясно, что этот человек искал в нем какого-нибудь больного места, но Виталину было грустно не от этого. Истощенное, больное лицо Червенова, бессвязные речи, желтый цвет кожи — все говорило, что этот человек болен нравственно и физически. Он давно был знаком с ним и никогда не мог, подобно другим, бросить в него камень. Он видал его, когда внешние обстоятельства были для него хороши, и видал его тогда иным. Эта больная подозрительность, следствие самоунижения, следствие потери веры в собственное достоинство — могла скорее заставить плакать, чем рассердить. Червенов был умен, не тем умом, который приобретается, но умом врожденным, т. е. чрезвычайно редким умом, и между тем он мог даже сомневаться в этом уме, унижать себя до того, чтобы в другом умном человеке отыскивать презрение к себе, — но, несмотря на это, Виталин не в силах был отречься от него. Виноват ли был этот человек, что в его природе лежала наклонность импонировать, что он падал под бременем обстоятельств и так же бы легко встал при других условиях? Азбучная истина, что несчастие делает человека лучшим, справедлива только в отношении к ограниченным и пошлым личностям.

Посещение Червенова произвело на Арсения скверное впечатление; он насилу мог опять начать писать.

Через несколько минут дверь опять заскрипела, и в нее выглянуло лицо с рыжею бородкою клином.

Виталин обернулся...

— Что тебе? — закричал он с досадою, узнав хозяина своей квартиры.

— Да как же-с? Вы обещали вчера еще, — проговорил тот.

— Завтра, — отвечал Виталин решительно и захлопнул дверь.

Но непосредственно за этим он оделся, собрал лежавшие на столе бумаги, положил их в карман своего пальто, запер комнату и ушел, взявши ключ с собою.

VI

ВООБРАЖАЕМЫЙ ЖУРНАЛ, РЕДАКТОР ЕГО И СОТРУДНИКИ

Недели через полторы после описанного нами утра известный уже нам Искорский, тщетно проискавши Виталина по всем заведениям, которые, сколько знал он, любил посещать сей последний, и только что возвратясь, измученный, прозябший и проголодавшийся, из последнего, отчаянного путешествия в 17-ю линию Васильевского острова, — вошел в свою комнату, с физиономией вдвое более сжатой против обыкновенного, и, заперши ключом дверь извнутри, сбросил с досадою свое синее па́льто и в видимом волнении кинулся на диван.

Привязан ли был он слишком к Арсению и, находя в его безумствах оправдание собственных, любил в нем самые недостатки, — или обстоятельства слишком связали его жизнь с жизнию Виталина, но дело в том, что даже в эту минуту не мог он сердиться на него серьезно; он понимал слишком хорошо, что если Виталин теперь не у него, значит, Виталин не может, не в силах делать что-нибудь, не может потому, что ему лень, а лень — так принимали они оба — всегда невольна, всегда следствие болезни. Итак, он не сердился на него в эту минуту, но ему было досадно за него, досадно то, что в это время, по всем его расчетам, Виталин успел уже создать десять новых легенд о себе в уме квартирных хозяек своих приятелей, наделать бездну долгов и рассказать, по слабости характера и по неограниченному самолюбию, много будущно возможного за настоящее действительное. Притом же хозяин Виталина до того надоел ему своими жалобами, что он не мог равнодушно его видеть.

По коридору, ведущему в его комнату, послышались чьи-то шаги. Искорский поспешил затаить, по возможности, самое дыхание.

— Искорский, — раздался за дверью знакомый голос, — это я, — отвори.

Искорский поспешил встать и отпереть.

Вошел Виталин.

Он был бледен, на его лице было видно болезненное утомление, его глаза были странно мутны.

— Откуда ты? — был первый вопрос Искорского...

— Мало ли откуда, — отвечал Виталин рассеянно, садясь на противоположный диван.

— Ты обедал? — спросил опять Искорский.

— Да.

— Где?

— Там... у одного знакомого.

— Да вздор, не обедал...

— Когда я тебе говорю, что обедал...

— Где ты был полторы недели?

— А что? меня искали?

— Хозяин надоел просто.

— Нет ли писем?

Искорский вынул из ящика стола одно маленькое письмо, запечатанное черной печатью.

Виталин молча взял его, распечатал и, пробежавши, положил в карман.

— Только? — спросил он холодно.

— Только.

— Послезавтра идет моя драма, — начал Виталин. — Получивши деньги, я уезжаю тотчас же из Петербурга.

— Куда?

— В Сибирь.

Виталин подал Искорскому с этим словом письмо, которое тот пробежал тотчас же.

— Безумие! — сказал Искорский, отдавая письмо назад.

— Не думаю.

— А я знаю, — продолжал тот, — а я вижу отсюда, что из всего этого будет. Дело конченное и решенное, что ты не в состоянии еще успокоиться.

— Я?.. а пора бы! — отвечал Виталин с горькою улыбкою. — О нет, — сказал он, — вон, вон отсюда, поскорее вон отсюда. Чего мне ждать теперь? Да и глуп я был, когда ждал чего-нибудь прежде!.. Там, по крайней мере, мне останется только скучать.

— Что за отчаяние?

— Что за отчаяние? хорош вопрос! Да неужели тебе самому все это не надоело? Чего ждать? все одного — страдания.

— Да разве не везде одно и то же, по крайней мере для тебя и для меня?

— Говорю тебе: там мне будет полная свобода скучать и хандрить.

— О старом вздоре?

— Хотя бы и о нем.

— Славная цель, однако! Но тише, — прибавил Искорский, — сюда идут.

В коридоре снова послышались шаги, и казалось, двух человек... Вскоре за дверью раздался резкий и повелительный голос: «Это я, отворяйте!».

— Редактор,[15] — прошептал Искорский, и губы его сардонически сжались на минуту. Он подошел к двери и повернул ключ.

В комнату вошли два человека.

Один из них обладал наружностию, которую я назову воинственною, потому что не умею иначе назвать ее, да и потому еще, что привык на все смотреть через призму табели о рангах. Он был еще очень молод и по всем признакам страшно недоволен своею молодостию; бледным и слабым, совершенно финским очертаниям его лица сообщали выразительность только усы, возделываемые с бесконечною любовью. Движения его были резки и каждое из них, казалось, говорило «каков я, а?..». Он часто пристукивал каблуками, что, впрочем, за недостатком шпор не производило желаемого эффекта. На его лице вечно сияла улыбка неизменного самодовольствия; его речь была чрезвычайно резка и через три слова приправлялась постоянно выражениями, никогда не видавшими печати.

Другому господину, вошедшему с ним вместе, было, казалось, лет под пятьдесят. Он был довольно полон и невысок ростом; его несколько лысая голова, его полное и круглое, даже несколько распухшее лицо, нос красный к оконечности высказывали его натуру с первого раза: никогда, может быть, вы не вспомнили бы так ясно Шекспирова Фальстафа, как при взгляде на этого человека. Его припрыгиванья, так несообразные с летами, его претензии на светскость и изобилие — и

вместе с тем летний костюм в половине зимы — все это представилось бы вам чрезвычайно комическим, хотя при более долгом наблюдении едва ли бы смех ваш не заменился глубоким, болезненным состраданием. И не одно то только поразило бы вас грустию, что этот человек не вынес ничего из своей долгой жизни, кроме беспутства и претензий на светскость... нет! вглядевшись в него пристальнее, вы уловили бы в нем искру еще не совсем заглохшего ума и, может быть, еще человеческого страдания... И в самых претензиях его на светскость и изобилие проглянуло бы вам, может быть, сознание ложности положения, хотя это сознание и приняло, от бесхарактерности, чудовищную форму. Отношения его к первому описанному нами лицу с первого взгляда казались слишком унизительными; видно было, что он сам понимает это унижение, что он презирает того, перед кем он унижается, — но что искушение хорошего обеда сильнее в нем мысли о человеческом достоинстве.

— Ну что? — начал молодой человек, только что успевши войти и стукнувши правою ногою, — ведь я говорил вам, что *он* меня надует? — Вопрос относился к Искорскому, а слово *он* — к Фальстафу. — А! Виталин, здравствуйте, — продолжал он, протягивая два пальца правой руки, с аристократическою претензиею.

— Здравствуйте, барон, — ну что вы с журналом? — сказал тот.

— Я вам говорю, — надул, подлец... Ты не обижайся, — продолжал он, обращаясь к Фальстафу, — ведь мы здесь все свои... К** и покупать не думал.

— Ну, что ж К**, ну, что ж мне К**?.. — заговорил самоуверенно и скороговоркою Фальстаф. — Я и знать-то его не хочу, твоего К**. Да вот Костоедов... ведь ты знаешь, я, братец, у него всякий день обедаю, трюфели, братец, вчера были такие ... ну и *того,* знаешь... Вот я ему и говорю: Купи, братец, журнал. Да что Костоедов? я сам, братец, у тебя куплю; хочешь пять тысяч? хочешь, а? хочешь?

— Полно, братец, вздор врать, — отвечал барон с презрительною улыбкою.

— Вздор, я — вздор?.. Оно надобно сказать правду, — ты забываешься, мы с тобой друзья, но правду-таки все надобно сказать; да и что же у тебя за журнал без меня будет?.. А уж пять тысяч найду, да вот хоть сейчас, поедем к Костоедову.

— Да я не возьму пяти тысяч, — отвечал барон, впрочем, уже не презрительным тоном.

— Не возьмешь, а отчего не возьмешь? Кто ж тебе даст пять тысяч?

— Да я сам буду издавать, сам, сам, — говорил барон и встал посередине комнаты в гордом сознании своего величия... — Ну, что ж такое, — продолжал он, приправивши речь и пристукнув каблуком, — одну книжку выдам, а там и поминай как звали! — Сказавши это, он повернулся на каблуках и, ставши в воинственную позицию, взглянул на всех с такою наглою самоуверенностию, которая невольно как-то напоминала: «Женитесь на мне, я буду сидеть вот как» [16] одного из лиц гоголевского

«Невского проспекта»... Тут было столько нахального бесстыдства, что оно привело бы в изумление ужаса.

— Нет, — оно, что ж одну книжку, — начал Фальстаф... — ты только продай; ну, вот к Костоедову поедем, сейчас поедем.

— Да, поедем, знаю я, поедем! — отвечал редактор, — в трактир?..

— Ну, да потом-то к Костоедову, — сказал, нимало не смущаясь, Фальстаф.

— Да что, — говорил редактор, — уж знаю, что ничего не будет... Выдам первую книжку, выдам да и баста — да и с мошенника-то сдеру! непременно сдеру!

«Мошенник» было у редактора техническое название книгопродавца, которого обмануть ему не удалось, потому что тот вовремя успел отказаться от контракта с ним и заплатил ему неустойку, кажется, рублей тридцать серебром, воспользовавшись крайним желанием редактора купить галстук с чудовищно огромными цветами и крайнею невозможностию удовлетворить это желание.

Редактор несколько раз прошелся по комнате в сильном волнении; потом остановился против своего Фальстафа и сказал ему решительным тоном: — Ну, поедем.

Величественно кивнул он головою двум нашим приятелям и замаршировал к дверям. Фальстаф в два прыжка очутился подле него, сказавши наперед Искорскому: — Ну, что он без меня! Меня все знают... мои ученые труды... вот и Костоедов говорит всегда: вы, профессор, собаку съели!..

По выходе их двое наших приятелей грустно взглянули друг на друга. Виталин молча склонил голову на стол. Искорский раскрыл книгу, лежавшую подле него на столе, долго, казалось, рассеянно перебирал ее листы и потом тихо, но с особенным благоговением прочел:

Lasst fahren hin das Allzuflüchtige,
Sie sucht bei ihm vergeblich Rath;
In dem Vergangnem liegt das Tüchtige,
Verewigt sich's in schöner That.* [17]

Книга, единственная книга, которая уцелела у него, среди всех превратностей его бродячей жизни, была — сочинение Гете.

Виталин поднял голову.

— Да! — начал он после долгого безмолвия, — да, долго мучила меня эта мысль или, лучше сказать, этот круг мышления, и было время, когда всем и каждому готов я был сказать: «Оставьте скоропреходящее». — Но это время прошло. Бывают и теперь минуты, когда я готов этому поверить, но ненадолго... Жребий брошен!.. жить и умереть с массами.

---

* Дайте уйти мимолетному,
Тщетно искать в нем опору;
‹Лишь› в прошедшем находится здоровое начало,
Увековечивает себя в прекрасном деянии *(нем.)*.

— Т. е. с редактором и ему подобными, — грустно-иронически заметил Искорский.

— Хотя бы с ними, хотя бы за них!

— Бедный, бедный, — тихо говорил тот... — Страшное, безумное, сознательное ослепление!..

Виталин встал и надел пальто.

— Куда ты? — спросил его Искорский.

— Прощай — мне пора в театр.

Он вышел.

VII

ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

...Занавес упал под гром рукоплесканий... И едва только успели опустить его, как начались неистовые клики: «Склонскую, Склонскую!..». Занавес поднялся опять, и она вышла, но на ее лице выражалось скорее утомление, чем удовольствие, и она, казалось, не обратила ни малейшего внимания на усилия одного из своих обожателей, который, стоя у самой рампы, продолжал еще реветь в блаженном самозабвении.

— Автора! — раздались новые клики.

В директорской ложе показался Виталин. В нем не заметно было ни малейшей перемены: то же холодное, неподвижное выражение физиономии, та же апатия во всех движениях.

Да и что ему было до этих вызовов? Разве не знал он еще прежде начала представления, что его вызовут вовсе не за то, чему он придавал значение в своей драме, — и что между тем его непременно вызовут, потому что таков уж обычай. Спокойно и гордо покорился он своей участи — и не терзали его ни рукоплескания фразам в его пьесе, ни выполнение ее, о котором в отношении к артистам можно было сказать: «Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой».[18] Одна Склонская была верна его наставлению — и он несколько раз забывался под звуки ее голоса...

Вышедши из директорской ложи, он отправился в кофейную. Идти туда было ему скучно и даже просто гадко, но он дал слово и не мог не сдержать его.

Там его ждали уже редактор и много других господ, в числе которых были и Фальстаф, и господин с гнусной физиономиею, и несколько юношей-литераторов. Все это было уже пьяно: осиплые голоса, красные лица, бестолковый крик — все это напоминало Walpurgisnacht *... И все это стремилось к Виталину с крепкими объятиями и сочными поцелуями, от которых он не мог увернуться. Чуждый этому шабашу ведьм, он, однако, попал в его очарованный круг и бог знает когда бы из него

* Вальпургиеву ночь [19] *(нем.)*.

вышел, если бы капельдинер не подошел к нему и не сказал: «Наталья Васильевна ждет вас в карете». Он раскланялся с приятелями и пошел за капельдинером: вслед ему раздались хриплые восклицания.

Склонская в самом деле ждала его в карете, потому что он дал ей слово быть с нею в маскераде. В этот вечер она была так хороша, как, может быть, никогда не бывала: к ней шли как-то усталость и утомление — они разливали по всему существу ее обаятельную негу. Белизна ее плеч и шеи казалась еще чище от черного бархатного платья; грудь ее сладострастно колыхалась и просилась как будто наружу из-под узкого корсета, глаза блестели влагою, дыхание было жарко и прерывисто...

Виталин сел подле нее — и карета поехала.

Долго они оба молчали.

В окно кареты гляделся с правой стороны полный январский месяц. Ночь была холодна — но чудно прозрачна...

Арсений погрузился в самого себя. О чем он думал — о настоящем или о прошедшем? Думаем, что о последнем, потому что есть странное сродство между прошедшим и луною. Быть может, представала ему иная пора, иная лунная ночь, но летняя, теплая, обаятельная. И тогда так же смотрелся в карету месяц, но смотрелся с левой стороны, и было ему грустно и страшно, что он смотрелся с левой стороны, грустно и страшно, не за себя... о нет!..

— Арсений! — послышался подле него прерывистый, сладострастный лепет, и вслед за этим он почувствовал на своей щеке прикосновение локонов, ароматическое и жгучее прикосновение, и жаркое дыхание пахнуло на него...

О! это дыхание перенесло его под южное, пламенное небо, — он забыл все, кроме этого южного неба... Еще минута, еще ближе к устам его это дыхание: лихорадочный трепет, томительно-блаженный трепет пробежал по нем. Еще минута, и уста его впились в другие уста долгим, бесконечно долгим, удушительным поцелуем...

И как будто опаленная страшною, мужескою силою этого поцелуя, Склонская с усилием оторвалась от его уст и упала головою на его грудь, почти без чувств и без дыхания.

А он! — он очнулся снова, и снова серебряные лучи месяца защекотали ему сердце, и снова объяла его нестерпимая, больная тоска...

Но вот опять посыпались огненные частые поцелуи, опять безумным трепетом пробудилось чувство жизни и понял он, что бессильно над ним прошедшее, что много еще сил лежит в его природе, что много еще нового, вечно нового ждет его в грядущем.

Карета катилась тихо: то замирая, то пробуждаясь, слышался в ней таинственный лепет . . . .





МОЕ ЗНАКОМСТВО С ВИТАЛИНЫМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА БЕЗ НАЧАЛА, БЕЗ КОНЦА И БЕЗ МОРАЛИ

I

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

Раз как-то, в начале или в конце мая прошлого года, не помню, право, но знаю только с достоверностию, что это было в мае, в один из редких в Петербурге светлых майских дней, и притом утром, — я сидел у окна в кондитерской Вольфа[1] и занимался изысканием средств, как бы можно было вовсе не заниматься ничем на свете; к величайшему сожалению, все, что было у меня перед глазами, слишком живо напоминало мне об отдаленности блаженного состояния человечества: и движущиеся волны чиновного люда на Невском, и длинные физиономии людей, сидевших подле меня, и как я же, не имевших положительного занятия и соответствующего ранга, но видимо желавших пополнить этот недостаток самовольным углублением в европейские сплетни. Скиф и вандал, вовсе чуждый политике, я покушался часто принудить себя прочесть хотя лист «Times» или «Presse», но — увы! — оставался всегда при одном покушении; со мной сжилась как-то ненависть к цивилизации, и в этом отношении учение Фурье[2] пало мне глубоко на душу, очень понятно поэтому, что я начинал скучать невыносимо; и убедившись окончательно в невозможности ничего-неделания, я стал придумывать, как бы заняться чем-нибудь; но день, неумолимо длинный день представал мне во всем своем ужасающем однообразии... Идти куданибудь было бы совершенно бесполезно, людей в Петербурге до 4-х часов можно отыскать только в канцеляриях, а я давно уже не заглядывал ни в одну из «таковых» и в этом отношении мог сказать о себе:

> Не верил только потому,
> Что верил некогда всему.[3]

Я вспомнил о Москве, о том, что там, например, я не сидел бы так бесплодно, а занялся бы разрешением глубокого вопроса о вечном Ничто — и, проведши час или два в таком общеполезном занятии, с спокойной

совестию отправился бы к К** или к Г* сообщать свои открытия по этой части, вполне уверенный, что застану их разрешающими или уже разрешившими вопрос об абсолютном Всем, — и что таким образом себе и им доставлю удовольствие столкновения крайностей...

Не зная, что делать и даже что думать, я велел подать себе третью порцию мороженого и продолжал глядеть в окно на Невский, глядеть без мысли, глядеть почти не видя, глядеть не желая ничего видеть, потому что Невский надоел мне страшно. Долго ли сидел я в этом состоянии безмыслия, не знаю, — но из него я был выведен довольно сильным ударом по плечу и словом: «Здравствуйте!», словом, которого звук обдал меня каким-то знакомым ощущением.

Я обернулся — перед мною стоял один из моих московских приятелей, Александр Иванович Брага.

Я не мог опомниться от удивления и смотрел на него с минуту, не говоря ни слова. Так! Это был он, он сам, в том же вечном зеленом пальто, обшитом шнурами и застегнутом доверху, с пятнами чахотки на лице, с черною бородою, выглядывавшею из-под галстука... «Здравствуйте, — повторял он, радушно схватывая мою руку, — я увидел вас, идя по Невскому».

— Благодарю, что не забыли, — отвечал я, дружески пожимая его руку. — Ну что, как вы?.. Знаете ли, я думал, что вы уже умерли.

— Нет еще, — отвечал он с тем же сардоническим смехом, который обыкновенно кончался у него удушливым кашлем, садясь на стул и вынимая из кармана сигары.

— Или что вы уже в Болгарии, — продолжал я, смотря на него пристально и удивляясь, как человек-то вообще живуч.

— В Болгарии!.. — он опять захохотал удушливым смехом и махнул рукою. Помолчавши немного и закурив сигару, он спросил меня, что я здесь делаю.

На это я отвечал ему, что еще менее его знаю, что я делаю.

Он улыбнулся — и начал рассказывать с величайшею подробностию и с обыкновенной злостью разные московские сплетни.

Я был странно рад появлению этого человека в Петербурге, не потому, чтобы ждал от этого пользы или удовольствия для себя, но потому, что вид его приводил мне на память много прошедшего, дурного или хорошего, смешного или странного, но для меня во всяком случае дорогого.

Я познакомился с Александром Иванычем еще в Москве, в 1843 году, и познакомился довольно оригинально. И он и я ходили очень часто в одну библиотеку заниматься, я — всем и ничем, он, кажется, военными науками. Южное очертание лица, что-то резкое во всех движениях, что-то дребезжащее в чрезвычайно звучном голосе, дребезжащее, как тоны разбитого инструмента, — заставили меня с первого раза обратить на него особенное внимание: в нем было так много особенного от других и вместе с тем так много гордой свободы в сознании этой особенности, — а я всегда любил уродов, тем более, когда эти уроды знают свое место среди других живых существ и умеют удерживать его с достоинством во всех об-

стоятельствах жизни. Печать этой исключительности, лежавшая на нем, хранилась им свято — и везде, где бы ни было, заставляла быть его, как у себя дома. Мне нравилось, что, посещая эту библиотеку, он успел сделаться в ней почти хозяином; мне нравился его вечно одинаковый костюм, намекавший на плохое состояние кармана, но в котором он умел быть сам собою и с которым у него одного только могли мириться привычки порядочного человека. Мне было очень интересно узнать его, и в одно прекрасное утро я прямо сказал ему об этом. Мою циническую откровенность он встретил без всякого удивления, потому, может быть, что порядочные люди имеют привычку верить в физиономии и — слабость думать, что состояние головы человека можно узнать не только по слову, но по первому звуку голоса. Кстати об этом: мне казалось всегда, что порядочные люди, то есть люди жившие и думавшие, или просто люди, составляют какую-то общину, имеющую свои условные знаки и предания. Дело в том только, что мы сошлись с ним с первого разговора, — сошлись, то есть были в состоянии понимать один другого, подчас, может быть, и смеясь друг над другом, — по крайней мере мне казалась всегда смешною его вера в то, что можно что-нибудь делать. Он служил долго в военной службе, волонтером, бывал на Кавказе и в Турции, знавал хорошо покойного Пушкина и вообще, по образованию своему, принадлежал к эпохе двадцатых годов. Но как бы то ни было, а я полюбил этого человека, хотя с невольным неверием выслушивал его планы о просвещении болгар, с неверием не к нему, впрочем, а к возможности заботиться о чем-нибудь, кроме самого себя. Он был весь съеден желчью, он не мог ни о чем говорить без сардонического и удушливого смеха, — но я приписывал это просто обстоятельствам личной жизни и в его любви к болгарам видел общий всем нам, грешным, эгоизм, который, чтобы оправдать свое собственное раздражение, ухватился за что-то другое. Я допускал, впрочем, от души, что он сам обманул себя, и потому никогда не оскорблял его неверием, а, напротив, очень терпеливо выслушивал его филиппики; другие не хотели считать его даже фанатиком личного эгоизма, а просто с натяжкою искали в нем ловкого плута, хотя слишком много подлости и злости надобно было иметь в себе, чтобы это подумать... Я отличался всегда неимоверным терпением ко всем фанатикам, и потому Брага ходил ко мне часто, и часто до утомления преследовал меня по ночам и одушевленными рассказами о юге, о Малороссии, его родине, и неистовыми выходками на подлость людей, и мечтательными планами ... У него была одна ужасная привычка или, лучше сказать, маневр убийственный: когда у меня слипались уже глаза и я просто говорил ему, что пора убираться, — он брал шляпу и, стоя с нею на лестнице, куда я провожал его по обыкновению со свечою, еще битый час продолжал ораторствовать.

Встретивши его здесь, я не нашел в нем ни малейшей перемены: он точно так же жаловался на нестерпимую грудную боль, носил на руках и на спине фонтанели[4] и точно так же беспрестанно курил сигары. В Петербург, по его рассказам, приехал он потому, что здесь удобнее —

не жить, а пробиться кое-как, что в Москве почти совершенно невозможно. В Москве надо жить или картами, или доходами с деревень; последних он вовсе не имел в наличности; в карты же хотя играл довольно искусно, но всегда по маленькой, потому что уже много спустил «в коротенькую», употребляя его собственное выражение. У него было много знакомых гвардейских офицеров, бывших товарищей по службе, о которых он с первого же разу успел пересказать мне очень много замечательных историй.

— Кстати, — спросил он меня, выходя из кондитерской и только что кончивши рассказ о том, как поручик Таксенов нашел средство завести у себя гамбсовскую мебель, — кстати, — продолжал он, — не знавали вы здесь одного, тоже московского, Виталина?

— Офицера? — спросил я, ожидая новой истории.

— Нет.

— Чиновника?

— Тоже нет.

— Литератора?

— Да, пожалуй, литератора, — отвечал мой приятель, сморщивши физиономию вдвое более против обыкновенного...

— Не знаю, — хотел было отвечать я, но мне пришло на память, что в январе видел я драму, автор которой носил это имя, что я и сказал Браге.

— Он и есть, — сказал тот. — Да не в том дело: лично вы его не знаете?

— Нет, — отвечал я, — а что?

— Тоже вот, батюшка, судьба-то, — говорил он, ускоряя шаги. — Человек умный, страшно умный, — как говорили, по крайней мере. Я о нем вспомнил по поводу Таксенова. Он был в Москве учителем — и в то время даже еще, как я хаживал к вам, да и чуть ли я тогда вам о нем не рассказывал, тем больше, что я любил тогда этого человека, очень любил... Вышел тоже дрянь дрянью.

— То есть как же это? — спросил я с любопытством, потому что привык не слишком верить решительным приговорам моего приятеля.

— Тряпка, — отвечал Брага с видимою грустью, — просто тряпка. Когда мы провожали его сюда, мы все думали, что из ‹него› что-нибудь будет: бесхарактерность, ветреность просто его погубили.

Питая особенную привязанность к личностям, от которых все ждали многого и из которых ничего не вышло, я просил Брагу объясниться подробнее...

— Да вот вам хотя бы и это, например, по поводу чего я и вспомнил о нем, — отвечал Александр Иваныч. — Я поручил ему здесь отыскать Таксенова и передать ему дневник его, который тот пересылал мне аккуратно... Он и послал его, да через год, и притом изорванный. Помилуйте, что уж за человек, который в состоянии читать чужие письма?

— Да читал ли он? — спросил я, впрочем, сам не слишком уверен-

ный в возможности противустоять искушению прочесть чужой дневник, тем более дневник офицерский.

— Наверное, — сказал Брага, махнувши рукою. — И заметьте себе, кто решается читать чужие письма, тот так же легко не отдает чужих денег, а о долгах уж и говорить нечего.

— А вы в долги веруете? — спросил я его с улыбкою.

Он поглядел на меня с заметным изумлением. Я вам сказал, что он был человек другой эпохи и верил в рыцарство чести.

— Вот видите ли, — продолжал я, — есть маленькое различие между неплатежом долгов от корыстолюбия, т. е. от любви к деньгам, и неплатежом их от полного к ним презрения.

— Софизм! — вскричал мой приятель, — точно то же говорит и Виталин.

— В самом деле?.. Послушайте, — сказал я, — познакомьте меня с ним.

— Я с ним не увижусь, — отвечал Брага твердо и грустно, — вы — дело другое, вы можете с ним знакомиться, когда хотите: я вам дам его адрес и, кроме того, — прибавил он с злобною улыбкою, — я вам поручу для передачи ему его записки.

— Его записки! — почти вскричал я. — Вообразите себе, что мне упало нежданное спасение от страшной скуки.

Брага взглянул на меня иронически.

Я засмеялся.

Мы друг друга поняли.

Через два часа в руках моих было несколько незапечатанных тетрадей, порученных Браге одною женщиной, для передачи Виталину.

Эти записки сблизили меня с Виталиным. По связи событий прежде всего передаю их, на что впоследствии я был уполномочен Виталиным.

II

ЗАПИСКИ ВИТАЛИНА

Апреля 15.

Когда я пришел нынче к ним, у них сидел уже гусар, которого они зовут кузином: он очень добрый малый, но мне несносен. Неужели потому, что богат и независим?.. Едва ли поэтому, — впрочем, потому что я не боюсь ни в чем признаваться себе. Антония[5] была в розовом платье; розовый цвет к ней очень идет, по крайней мере, это заметил я нынче.

Я был скучен и, к величайшему несчастию, сам это чувствовал, до того чувствовал, что был в состоянии сделаться несносным. Чего не приходило мне в голову? Да и в самом деле, что за нелепое отношение между мною и ими: отчего Никита Степаныч[6] не может обойтись без меня даже и в филистерски-заказном наслаждении природою, — отчего я сделался другом дома не только у него, но даже у них — что это? позор ли покровительства, иное ли что или просто смотрит на меня, как на что-то вовсе не имеющее никакого значения?.. Одним словом, мне было не-

сносно, несносно потому еще, что я должен был ехать за город на чужой счет: карета нанята была гусаром для них, — я же очутился тут по приглашению Никиты Степаныча, вовсе и не подозревая, что он звал меня наслаждаться на чужие гроши.

Наконец явился он с женою; аэрьена[7] стояла уже у крыльца, и все стали собираться.

Я вышел после всех, но внутренно желал, чтобы мне досталось место подле Антонии. Хотела ли этого судьба или было это следствием моего расчета войти в аэрьену последним, но я сел подле нее. Разговор наш был незначителен, но я рад был, что мог хоть что-нибудь говорить: близость этой девушки веяла на меня благоуханием, — мне было сладко тонуть взглядом в ее детски-ясных голубых глазах. Она дитя еще, но бывают, впрочем, минуты, когда она становится женщиной. Как чудно хороша, как светла и прозрачна вошла она третьего дня в маленькую залу Старских:[8] каким-то сиянием облило меня ее появление, и я невольно должен был потупить глаза от этого сияния. Видела ли она это? Думаю, что видела, потому что тогда она была женщиной...

Когда мы приехали в Покровское, я помог выйти ей и ее матери. Мы пошли гулять, я шел рядом с нею, но не предложил ей руки, так что гусар должен был напомнить мне об этом. Это было неловкостью с моей стороны, но неловкостью очень расчетливой: можно быть неловким и тем не менее порядочным, зная свою неловкость и нимало не скрывая ее...

Когда рука ее легла на мою руку, — электрическая искра пробежала по моему телу.

Мы шли позади. Она начала говорить о моей вечной принужденности.

— Вот видите ли, — сказал я ей, — мне очень много вредит одно место «Мертвых душ», которое я слишком твердо запомнил: «...или заговорит, что Россия государство пространное...».[9]

Она засмеялась.

— Вы к себе несправедливы, — заметила она.

— Может быть, — отвечал я, — но оставимте это: что вам до моей принужденности или непринужденности? с вами я менее принужден, чем с другими.

В Покровском мы пили чай, нескончаемо продолжительный; я играл самую печальную роль; она с сестрою ушла гулять. В Покровском для нее было много воспоминаний детства.

Когда она возвратилась, все мы отправились гулять по длинной аллее. Я шел опять рука об руку с нею; мне было хорошо, как очень редко бывает... Молодой месяц прорезывался рогами на ясном небе.

Она первая заметила, что он глядит на нас с левой стороны и что это очень дурно.

Мне стало грустно от этих слов, хотя эта грусть была смешна мне самому. Впрочем, и то сказать, неверие так близко граничит с суеверием! Но это ребяческое поверье, высказанное ею так случайно, окружило ее для меня какой-то ореолою детских преданий, чем-то странным, как сказка, и очаровательным, как сказка.

Садясь с нею в аэрьену, я чувствовал, что с каждою новою минутою яснее и яснее вижу я в ее глазах создающуюся душу. И верилось мне, что на мою долю выпало вызвать эту живую душу женщины из небытия в жизнь...

Я сказал ей, что она сама еще не знает себя, что для меня она — какая-то детская сказка, которую я помню смутно, но которая напоминает мне такие блаженные, такие несбыточные сны...

Месяц все так же с левой стороны смотрел в окна кареты. Кругом меня все было в том розовом сиянии, каким облекают мир только сны...

О! я готов иногда верить падению природы, готов, потому что редки для природы самой минуты торжественного примирения, минуты, когда она становится божественною симфониею. Или мы — смесь света и праха — виною ее расстройства, мы — ее цари, ставшие ее рабами?.. Или в душе моей есть силы сообщить самой природе мир и гармонию, силы оправдания и воссоздания?.. Нет, нет, — я не могу верить этому: где мне сообщать силу либо жизнь и гармонию, когда я сам только мира, только забвения и мира готов просить у самой природы? Часто приходило мне в голову уйти куда-нибудь в девственные, человеком нетронутые леса, чтобы упасть на грудь вечной матери и сосать новые соки жизни, истощившейся в бесплодных стремлениях, пожравшей самую себя...

Я помню себя ребенком, странным ребенком, раздражительным до женской истерики, понимавшим рано слишком многое... Когда терзали меня разные нравственные сентенции, которые я ненавидел до ожесточения, — я уходил в аллею нашего старого сада. Старые тополи, озаряемые полным месяцем, так величаво качали махровыми головами, так были полны гордого сознания законности своего бытия, так были выше людей, изобретших для себя бесчисленные препоны свободной деятельности... Я вслушивался в их таинственно-образный шепот и успокоительно засыпал под их качание...

Вечная мать, божественная природа, — или снова хочешь ты раскрыть для меня долго немые уста? или снова хочешь ты говорить со мною веяньем вечернего ветра, шепотом листьев, голосами бесчисленных насекомых, — лучами месяца?

Апреля 17.

Когда я шел нынче к Старским, сердце мое сильно билось. Или это в самом деле снова любовь, со всеми ее безумными явлениями? О, если бы... Я искал и ищу всегда одного: безумия или, лучше сказать, забвения: может быть, в этом высказывается стремление к средоточию рассеянных сил моей души.

Она стояла у окна с матерью, когда я подошел к воротам дома Старских.

У них не было никого, против обыкновения, и потому Никита Степанович предложил отправиться в сад дома, который нанимает его теща.

Мы пришли прямо в сад... Сначала я ходил с Старским и говорил

с ним о каком-то ученом вздоре: говорил, впрочем, без особенного принуждения, потому ли, что надеялся этим выиграть больше свободы на остальную часть вечера, потому ли, что в эту минуту в моей душе пробудилась к нему прежняя привязанность. Может быть и это, ибо это была минута, когда душа способна все любить и все понимать... О чем мы говорили, право, не знаю, но только мы говорили, и притом очень усердно. Наконец я был снова с нею, опять рука ее лежала на моей руке, опять тепло и жизнь разливались по мне от ее прикосновения.

Сначала мы говорили с ней о вздоре, о том, между прочим, отчего я так странен...

Прошедши с нею весь сад, я хотел было подойти опять к Старскому, но она сама взяла мою руку и повлекла за собою. Так много чистоты, так много доверия было в ее движении!..

Мы шли тихо. Лучи месяца, прорезываясь сквозь густую сень листьев, рисовали на стене сада наши тени.

— Моя тень выше вашей, — заметил я ей.

Мне казалось, да, мне казалось в эту минуту, что мы идем с нею рука об руку по дороге жизни, спокойные, беззаботные, равные столько, сколько нужно быть равными мужчине и женщине. Я чувствовал, что люблю ее глубоко в эту минуту, что не мечта — вечная любовь, что душа человека только раз в жизни встречает свою половину, что горе тому, кто встретил эту половину и должен был идти один...

Июня 3.

Мне было ясно и весело на душе, когда я ехал сегодня утром на дачу Старских: мне казалась возможною та жизнь без забот, без цели, без завтра, почти без сознания, о которой мечтал я так долго... Да и к чему жить завтрашним или вчерашним днем? Завтра, вечное завтра, вечная мысль о завтра, мысль о мече, висящем на волоске над головою!.. Нет, воля небесной птицы, беззаботность небесной птицы — вот жизнь! Я платился часто месяцами невыносимых страданий за один день без завтра и точно так же готов платиться теперь!.. Сожаление, раскаяние — для меня слова без смысла. Сожалеть — но о чем же? не о том ли, что я вырвал у судьбы хоть минуту безумного блаженства, похитил с неба хоть искру Прометеева огня? Раскаиваться? — но разве я чем обязан кому-либо, я, которому по натуре смешны всякие обязанности, который не пожертвует даже наслаждением сна, хотя бы завтра ждала меня смерть. — Правило: не делай того-то, чтобы получить то-то, этот основной камень всякой морали — было мне отвратительно и смешно с самого детства. Что за торг с судьбою? Что за корыстный расчет в счастии?

Старский встретил меня на дороге. «Я уже поджидал вас», — сказал он мне. Что за странность? неужели этот человек в самом деле чувствует ко мне привязанность?.. Может быть, тем более что он во мне жестоко обманывается, что все кажущееся ему во мне эксцентрическим он считает преходящим. Я сам постоянно помогал и помогаю ему обманы-

ваться, я говорю с ним так серьезно о науке, о книгах, которые я знаю только по предисловиям, я известен в кружке его знакомых за человека трудолюбивого и ученого. Я — и трудолюбие! Виноват ли я, впрочем, в том, что обманываю добрых людей, когда они сами хотят обманываться? если бы я рассказал им мой день, каков он есть, с его постоянным бездействием — они бы, без всякого сомнения, сочли мой рассказ бравадой, хвастовством, пожалуй, человека, который хочет все приписывать способностям, а не труду.

Но внутри самого себя, надобно признаться, я слишком недоволен моим положением среди всех этих господ: быть res sperata* вообще крайне неприятно. Позор покровительства выношу я только потому, что на нем основана моя связь с семейством Старского. И теперь в особенности, когда я люблю эту девушку, мне становится несносна моя незначительная роль. Что она обо мне думает? Смелость и резкость моего взгляда на вещи — в таком страшном противоречии с моею жизнию!..

Отношение мое к ней тоже загадочно. Оно не слишком свободно и слишком принужденно... Я могу говорить с нею как угодно, но никогда не скажу того, что бы хотел сказать. Да и к чему? Ее-то менее всего хотел бы я обманывать собою. Мужем я быть не способен. С нею я, нарочно утрируя, может быть, смеюсь над всеми отношениями. Она слушает меня без пошлых ужасов, но так внимательно, что я начинаю видеть в ней даже больше ума, чем надеялся увидеть...

И между тем это отношение бесит меня своей роковой неизбежностью... Или должно бросить все это, или остаться вечно на одной точке... чтобы потом наконец одним разом разрубить эту путаницу.

Замечательно, что когда я даже и не подозревал в себе возможности в нее влюбляться, когда я без всяких претензий ходил к ним почти каждый вечер выливать всю желчь и досаду, — она старалась угадать меня, она и ее сестра. Недавно она сказала мне, что я жил больше мыслью, чем жизнию.

Дело в том только, что, возвратясь сегодня домой, я просто сходил с ума и хотел писать к ней.

Зачем так жадно следила она глазами какую-то лодку?

Июля 3.

Я пошел к ним с полною уверенностию, что они дома, а не на даче Старских, и застал, впрочем, только Антонию с сестрой...

Она страшно грустна. Неужели в самом деле в Лелии[10] нашла она сама себя или, лучше, нашла формы для своих впечатлений?

Развитие женщины — раскрытие цветка... У женщины нет души до первой страсти.

Пальцы ее приметно длиннеют и худеют: движения ее стали порывисты.

Мне самому страшно грустно.

---

* объектом, на который возлагаются надежды *(лат.)*.

Сентября 13.

Я приехал к Старским часов в 11, прямо из театра — и застал уже народ; между прочим, Л. и К.[11] Оба говорили о каких-то новых изданиях Археографической комиссии. Мне ни до них, ни до изданий вовсе нет никакого дела, но чтобы не прямо начать говорить с нею, я сел подле нее и вмешался в этот крайне скучный и пошлый разговор... Всякий другой, кроме этих господ, добросовестно верующих в свои занятия, легко бы мог видеть в словах моих иронию.

Она заметила это, но отчего она как будто не верит мне?

Я начал говорить с ней о «Роберте»,[12] потому что был под влиянием этой страшной поэмы. «Если б я был женщиной, — сказал я ей, — я не мог бы противиться Бертраму... Сила, страшная сила...».

— Этого еще мало, — перервала она меня.

Мы начали ходить с ней и с какой-то институткою по зале. Институтка была очень невинна. Невинность мне просто несносна. Я начал безжалостно смеяться над нею.

— Вы страшно злы, — заметила мне Антония, садясь за рояль по моей просьбе.

Никита Степаныч беспрестанно выбегал в переднюю. Он ждал его превосходительства.

Мне стало скучно. Я уехал.

Сентября 28.

Несмотря на все мое желание опаздывать, явился часом раньше — и застал одного Никиту Степаныча еще наверху. Поневоле должен я был начать бесконечно длинный разговор, беспрестанно теряя терпение и между тем поддерживая его.

Послышались звуки рояля — и тема из «Страньеры»,[13] моя любимая тема.

Я был почти в лихорадке, но между тем не понуждал Старского сойти вниз, а ждал его зова. Еще минута — я потерял бы всякое терпение. Наконец мы отправились вниз. Поклонившись в гостиной дамам, я ушел в залу...

Зала была еще не освещена. Она сидела за роялем; звуки «Страньеры» сменились звуками мазурки Шопена, от которой мне становится всегда невыносимо грустно.

Я стоял против нее, опершись на доску. Разговор наш был вял и странен... К чему-то сказал я ей, что бог создал ее так скупо и так полно вместе, и вспомнил «One shade the more, one rey the lesse» *[14] Байрона...

Во все существо ее проникло с недавних пор нервическое страдание. Она больна, — она становится капризна: ее глаза горят болезненно.

---

* «Одной тенью больше, одним лучом меньше» *(англ.)*.

Она жаловалась на людей, на жизнь, я молчал.

Она сказала, что желала бы умереть скорее.

Я молчал.

Она продолжала, — что при смерти, по крайней мере, можно быть откровенною.

Со мною начинался лихорадочный трепет.

— Послушайте, — сказал я ей, — страшно, когда человек обязан говорить не то, что думает.

И чтобы скрыть судорожный трепет, я подошел к лампе засветить сигару.

Октября 4.

День рождения Старского; у него было народу более обыкновенного... между прочим, какой-то офицер с женою, их родственник, и два каких-то новых женских лица: одна, кажется, старая дева, от нечего делать ударившаяся в ученость, другая ее сестра, довольно молодая и, как говорят, невеста. Я был как-то в духе и потому говорил много с обеими... одна, молодая, рассыпалась в прекрасных чувствованиях. Я не замедлил воспользоваться этим и сказать об этом Антонии под конец вечера...

— Я как-то не могу никак расчувствоваться, — говорила она, смеясь нервически...

Я не отвечал на это, но через несколько минут пропел стихи поэта:

Ее душа была одна из тех,
Которым в жизни ровно все понятно,[15] и т. д.

Читая это, я смотрел ей в глаза так прямо и спокойно, как будто бы в целом мире не было никого, кроме ее и меня.

Октября 10.

Да, чем больше я думаю о себе самом и о своих отношениях вообще, тем яснее и понятнее для меня мысль, что так не живут на свете... Три вещи могли бы оправдать мои нелепые требования от жизни, и это — или богатство, или гений, или смерть...

Богатство?.. Зачем до сих пор я не могу выжить из себя детской мысли о падающих с неба миллионах!..

Гений?.. Я самолюбив, может быть, — но все еще чего-то жду от самого себя.

Смерть!.. Я умер бы спокойно, если б она пришла; но — или жизнь слишком мало дала мне — или в моих требованиях лежит предчувствие, — я жду еще от жизни и буду ждать, кажется, вечно чего-то.

Почему? этого я сам не знаю, потому что, кроме безумных требований, не имею я никаких прав на исключительное счастие.

Декабря 31.

«Руки твои горячи — а сердце холодно», — говорила мне сегодня одна женщина, и я ей верю. В самом деле, рано начавшаяся жизнь мысли состарила мое сердце. Давно просвещенный воображением, я внес в действительность одно утомление и скуку... С восторгом приветствую я все, что может сколько-нибудь раздражать притупившиеся чувства. Таковы все мы — все мы потеряли вкус в простом и обыкновенном; нам давай болезненного!

Я пошел с тяжелым чувством на душе на вечер к ним — и это чувство оправдалось. Антония встретила меня вопросом: отчего со мною нет Валдайского?[16] Я принужден был солгать, потому что нельзя же было сказать настоящей причины того, что я не звал его с собою... А настоящая-то причина гадка, да, гадка, потому что это — ревность!..

Да, я готов ревновать ее к каждому, кто на нее взглянет. По какому праву?.. Не знаю, но я глубоко ненавижу каждого, о ком она вспомнит случайно, но я бы хотел, чтобы она любила меня с забвением всех и каждого... О! я хотел бы быть богат, славен, хотел бы быть выше всех — только для этого. Глупо, безрассудно, но что же делать? Так я создан... Она должна была играть что-то, что она очень долго приготовляла. Мне было досадно на нее, на ее мать, на всех, досадно, потому что это было что-то парадное, что это не шло к ней. Когда она села за рояль, —я стал против нее. Сестра ее подошла ко мне и попросила меня отойти в сторону.

Антония сбилась на четвертом такте и ушла чуть не в слезах.

Я торжествовал — но ее волнение оскорбило меня, казалось мне мелочностью.

— Вы слишком свыше этих торжеств, — сказал я ей потом... Пришедши домой, я рыдал, как женщина, как ребенок.

Января 4.

Опять у них вечер; *Валдайский* явился по приглашению... Неужели и этого человека начинаю я наконец ненавидеть?.. Недавно еще познакомясь с семейством, он держит себя свободнее меня. Он говорит с нею беспрестанно; она его слушает.

И между тем нынче же, когда, почти не в силах пересилить самого себя, не в силах ни с кем говорить, сел я один в углу залы, — она взглянула на меня и потом попросила офицера, который, в прибавок ко всем своим достоинствам, поет еще романсы, петь: «Ты помнишь ли?» Варламова... Слова необычайно глупы, но в них видел я какую-то связь с прошедшим...

Но если я обманут, о мой боже!.. Если вовсе никогда она меня не любила. Если все это — только призраки моего воображения?.. Если я смешон?..

Офицер запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной..[17]

Она грустно склонила голову.

Я стоял за нею, пожирая глазами ее открытые плечи, боясь перевести дыхание.

Она казалась так грустна, так больна!

Я готов был плакать.

Января 7.

Да, чем больше я вглядываюсь в эту природу, тем она становится мне непонятнее... тем я больше люблю ее. Зачем так полны значения наши разговоры о совершенно общих предметах, наши разговоры, которые ведутся при матери, при других. Мы говорили нынче о ревности. Я защищал это чувство... Она сказала, что ревность оскорбительна.

Сестра ее пела в гостиной старый романс: «Oublions-nous»,* который бог знает почему-то попал к ней в милость.

— Бросьте эту пошлость, — сказал я, подходя к ней вместе с Антонией.

— Пошлость? почему же? — спросила Антония.

Я сказал, что *люди* расстаются не так.

— Полноте, все так кончается, — заметила она с недоверчивою улыбкою.

— Нет, — отвечал я, — кончается часто и серьезнее...

О, моя бедная жизнь, долго ли будешь ты в противоречии с моими словами?!

Пришел какой-то господин, который не помешал мне, впрочем, говорить с матерью о том, о чем изо всех женщин можно говорить только с ней — о настоящем состоянии общества. Я был зол и резок.

Антония слушала меня слишком серьезно...

Я начал говорить о моих верованиях, — о той молитве, которою я могу молиться, которою наполняет мою душу Вечное целое!

— Вы с ним согласны? — спросил господин Антонию, которая, наклонясь к столу, задумчиво чертила по нему пальцем.

— Вполне, — отвечала она быстро и живо.

Января 9.

Валдайский заехал ко мне нынче и просидел целый вечер... Он прямо сказал мне, что видит меня насквозь. Я не отпирался — да и к чему?.. Разве моя любовь бросает на нее тень?.. Он говорил мне потом, что я ревнив и что ревновать смешно и странно. Я согласился, что это так — да и сам я знаю, что это так.

Февраля 1.

Она больна — и говорит, что боится смерти...

Я стал было говорить что-то о бессмертии: но скоро заметил, что мне это вовсе не пристало.

---

* «Забудемся» *(франц.)*.

Я начал о смерти...

Мы сидели вдали от всех, у маленького стола в гостиной; она на диване, я против нее на креслах, неподвижно прильнувши взглядом к ее голубым глазам, сверкавшим блеском лихорадки.

О, зачем я не мог быть у ног ее, зачем не мог я целовать пальцы ее бледной прозрачной руки!

Пора все это кончить...

Февраля 10.

Да — это должно было кончиться так, а не иначе. Всякое ложное положение рано или поздно рассекается разом, как Гордиев узел.

Я еду — и никто этого не знает.

Вечером.

В последний раз пошел к ним. У них сидел Валдайский. Я был невольно зол и болен; он сыпал остроумие.

— До свидания, — сказал я, взявшись за шляпу.

— Прощайте, — обратился я к ней.

И я вышел...

Навсегда!..

Этим кончаются записки Виталина, — потому что на другой день после последнего свидания он уехал из Москвы. Я нарочно оставил эти записки во всей их отрывочности, хотя после Виталин рассказывал мне подробно всю историю. Дело в том, что эта история — слишком старая история. Пускай в партиции уцелеют одни эффектные места; зачем нам речитативы? Как итальянцы оперу, — слушаем мы всегда чужую исповедь и принимаем в ней к сердцу только сродные нам впечатления.

III

ПОЭТ В ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ

Познакомиться с Виталиным было для меня дело очень нетрудное. В одно прекрасное утро — и слово «прекрасное» употребляю я здесь вовсе не для украшения — я взял извозчика и велел ехать ему к Крестовскому перевозу, в одну из Колтовских,[18] где жил в это время Виталин. Он нанимал очень большую квартиру, которая хотя и не отличалась комфортом, но обличала привычки порядочного человека...

Виталин принял меня в халате, спросил, что мне угодно, и когда я, отдавая ему рукопись, объявил, в чем дело, он просил меня садиться.

— Верно, Брага на меня сердится? — спросил он, перевертывая тетради... — Чудак, ей-богу, — продолжал он... — Вы давно его знаете?

— Я познакомился с ним в Москве, — отвечал я.

— А вы давно из Москвы?

Я сказал ему.

Между нами завязался разговор о Москве. Оказалось, что у нас есть очень много общих знакомых и что мы чуть ли даже не встречались у кого-нибудь из них.

От Москвы разговор перешел на Петербург, от Петербурга мало-помалу на такие пункты, на которых люди, несколько жившие, скоро сходятся один с другим.

Мы сошлись с Виталиным с первого раза, хотя никогда не сделались друзьями, потому что обоим нам равно, кажется, надоели разные дружбы. Дружба обязывает к разного рода услугам и даже пожертвованиям, а всякая обязанность слишком тягостна и скучна; и притом же бывают годы, когда люди перестают искать в других любви или уважения, а просто ищут развлечения, без всяких дальнейших претензий. Виталин был рад, что нашел во мне человека, способного угадывать мысль его по полуслову, я также был очень доволен тем, что мне было с кем говорить. Найти человека, с которым можно говорить, не рассуждать, но просто говорить, более еще, с которым можно подчас и молчать без всякой неловкости, не думая ни обидеть его, ни внушать о себе невыгодной мысли, — о! это дело очень трудное. Я знавал людей, которые во внутри души оскорблялись тем, что я часто с ними молчал, хотя это-то и показывало мое полное к ним уважение. Говорить — но о чем же говорить, о мой боже? Говорить — значит, лгать, ибо слова существуют вовсе не для того, чтобы высказывать мысли, а разве для того, чтобы их скрывать.[19] В Москве я позволял себе говорить об интересах человечества, потому что там господствует общая мания прикрывать ими интересы праздности, но в Петербурге заботиться о прикрытии его драгоценнейших интересов, интересов кармана, — было бы непозволительно смешно... С Виталиным мы касались часто самых глубоких современных вопросов, но тотчас же и оставляли этот разговор, потому что с первого же раза нашли, что нам нечем удивлять один другого. Да и чем же, в самом деле? Не ненавистию ли к старым преданиям? Но мы предпочитали смеяться над ними на самом деле и делом доказывать полное к ним презрение...

Я стал ходить к Виталину каждый день, и целые дни, лежа на двух противоположных диванах, мы не могли наговориться друг с другом. Мы говорили о вздоре, если хотите, но не скучали. Потом мы даже полюбили друг друга, но эта любовь не влекла за собою никогда тягостных обязанностей, уничтожения одной личности в пользу другой. Когда у кого-либо из нас случались деньги, мы занимали друг у друга, и, разумеется, без отдачи, но никто из нас и не подумал бы даже просить другого хлопотать о деньгах — я потому, что знал слишком хорошо собственную лень и верил в лень других, — он потому, что слишком хорошо знал людей и их привязанность к благородным металлам...

Для Виталина я стал необходим и потому еще, что, хотя он и был человек порядочный, но все же за ним водилась общая слабость писателей, а именно — охота поговорить о своих произведениях. Впрочем,

я слушал с удовольствием и сочинения его и планы сочинений, хотя более любил его одушевленные и злые рассказы о своей жизни, о Москве, о прошедшем — и его цинические выходки, из которых в особенности нравилась мне одна. Он говаривал часто, что жалеет о тех временах, когда можно было жениться по заказу и не видать в глаза жены. Я хохотал этому, но внутри себя считал неневозможностью решимость на такой брак, не для самых денег, разумеется, но для многого, что достигается посредством денег.

Виталин жил порядочнее прежнего, но старая страсть попадать в неоплатные долги еще его не оставила. Часто бывал я свидетелем забавных сцен его с кредиторами.

Раз как-то я пришел к нему очень рано. Он лежал еще в постели, а перед ним, посередине комнаты, стоял юноша в чиновническом фраке, с физиономиею птицы, которой нос оседлан был золотыми очками. Он жарко ораторствовал и размахивал руками.

— Почтеннейший мой, — говорил, потягиваясь, Виталин, — ведь мне вас жаль, право, вы на извозчиках проездите гораздо больше того, что я вам должен.

— Вы же еще мне это говорите? — возразил птицеподобный человек, с трагическим укором: — я вам давал, как московскому приятелю, без расписки.

— Эх! — отвечал зевнувши и с маленькою досадою Арсений: — кто же вам велел? Думаете ли вы, что приятны очень подобные посещения?

— Так вы меня гоните? — спрашивал тот с чувством глубокого оскорбленного достоинства.

— Вы меня не хотите понять, — спокойно сказал Арсений. . . — Дело в том только, что вещи так не делаются. Люди порядочные подадут ко взысканию, но будут говорить пристойно и весело.

— Да, а по-московски не так, — кричал птичий нос, — по-московски — выскажешь, что на душе есть, а потом зла не помнишь.

— Деликатно, — не правда ли, как ты думаешь? — обратился ко мне Виталин.

— Вы же еще смеетесь, — говорил птичий нос.

— Да что же делать-то? Нет денег ни копейки нынче, — отвечал мой приятель. — Хотите, я вам дам расписку?

Побежденный таким великодушием, птичий нос затянулся Жуковым[20] и ушел.

Мы оба хохотали до упаду.

Я бывал свидетелем не одной такой сцены и в каждой изумлялся всегда непобедимому хладнокровию Виталина.

Ежедневно вечером являлась к нам Склонская, которая жила также на даче. Эта женщина была в состоянии изумить даже меня, потому что я как-то не верю в женскую характерность.

Когда она приходила, ни он, ни я не изменяли предмета разговора, каков бы этот разговор ни был, ибо мы считали ее себе равною.

Она уходила обыкновенно в 10 часов.

Тогда для Виталина начиналось единственное состояние души, которого он не хотел разделять даже с нею, состояние невыносимой тоски, особенно в светлые петербургские ночи. Мы уходили с ним к Неве, — но он шел со мною, вовсе не надеясь и не ища исцеления. Светлая ночь, кажется, раздражала его еще более. Речи его становились полны сухой, безнадежной иронии; на все, что окружало его, для него налегало страдание.

— Это одно, чего я не могу пересилить, — говаривал он мне часто.

Мысль ли об Антонии, иное ли что отравило его существование, этого узнать мне не удалось. Из темных намеков мог я догадываться, что кроме встречи с Антонией была для него еще роковая встреча. Антония отравила ему любовь, — но для него была также отравлена истина.

Впрочем, истина полная едва ли бы его и успокоила. Он как-то был всегда наклонен к мистицизму.

Так текла наша жизнь, однообразная, свободная, почти без забот и без будущего, — до встречи с одним... существом, потому что этого существа я не решаюсь назвать человеком. Встреча эта не изменила ничего во внешних обстоятельствах, но на сердце каждого из нас начертила она неизгладимое, новое слово разубеждения, — но в душе Виталина потрясла она основу его верований, ту мысль, что то, чего ждет живая душа, непременно рано или поздно сбывается.

Это была встреча — с Антошею.

О нем — когда-нибудь после.

До свидания!





ОФЕЛИЯ

Одно из воспоминаний Виталина

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА БЕЗ НАЧАЛА, БЕЗ КОНЦА И В ОСОБЕННОСТИ БЕЗ МОРАЛИ

Посвящается В. С. Межевичу

...Forty thousand brothers
Could not, with all their quantity of love,
Make up my sum...* [1]

I

...Мы были одни с Виталиным. Склонской почему-то не было.

Мы страшно скучали — и долго предоставляли один другому полную свободу скучать, лежа, по обыкновению, на двух диванах.

— Знаешь ли, однако, Виталин, — сказал я наконец, бросая сигару, — что скука...

— Удивительно скучна!.. — перервал он и натянуто улыбнулся своему остроумию...

— Нет! заразительна... — отвечал я ему.

— Старая истина, — сказал он, — что ж далее?

— Что далее? мало ли что далее? Но дело в том: отчего нет Склонской?

— Больна, или занята, верно.

— Ты думаешь? — спросил я, смотря на него так глубокомысленно, как только может смотреть человек, у которого в голове нет никакой мысли. Привычку к подобного рода взглядам вывез я из Москвы, где она чрезвычайно в ходу и служит заменой мышления, знания и т. д.

Виталин не отвечал мне на мой вопрос и, заложивши руку за голову, погрузился в прежнюю апатию. Находили на этого человека минуты, когда он становился невыносим даже для меня, потому что, когда чело-

---

...сорок тысяч братьев
* И вся любовь их — не чета моей...
(англ.; пер. Б. Пастернака).

век упорно молчит с вами, вы невольно подумаете, что он или сердится на вас, или таит от вас что-нибудь неприятное, или считает вас, наконец, слишком ограниченным.

Не желая показать ему, что меня тревожит его хандра, я также погрузился в размышления о тленности всего земного... с четверть часа мы оба упорно молчали.

— А в самом деле, странно, что ее нет? — начал наконец Виталин зевнувши. — Скучно, Г**.

— Да, скучно, — отвечал я флегматически покойно.

— И гадко даже, — продолжал Виталин почти с досадою.

— Ну! .. — заметил я.

— Да, гадко! — сказал опять Виталин, приподнявшись и проведши рукою по лбу, как бы желая выгнать упорно засевшую мысль.

— Что же с этим делать? — спросил я равнодушно.

— Да ничего, разумеется... Но ты спрашивал о Склонской: она будет вечером.

— Согласись, что без нее нам было бы слишком часто вот такое состояние.

— Твоя правда. Мы с тобою две ровные стороны треугольника, которые соединяются третьею. Число три, впрочем, необходимо для всего. Я вам говорил уже, что Виталин был наклонен к мистицизму.

— Кстати, — продолжал он, — в состоянии ли ты любить Склонскую?

— Как сестру — да!

— Только? .. но любить, любить...

— Нет, — а ты? Но что за глупый вопрос? Разумеется, тоже нет.

— Но отчего? — спросил Виталин с какой-то грустью. — Чего нам нужно еще? Она умна, она прекрасна, она — равна нам.

— Прибавь еще, что, несмотря на это равенство, ты не найдешь женщины женственнее ее...

— И между тем... ее нельзя любить страстно, хотя вся она полна страсти.

— Полно, страсти ли? — заметил я. — Страсть и страстная натура — две вещи разные. Страсть — болезнь. Положим, что новейшая медицина вполне права, считая болезни односторонним развитием чего-нибудь, лежащего в нас самих, а не вне нас...

— Итак, ты думаешь, — прервал Виталин начатый мною период, — что она не способна быть больною?

— Вовсе нет, но что она не была еще больна.

— Гм! .. — произнес он. — Впрочем — это правда. Но все-таки остается вопрос, почему нельзя такой женщины любить страстно, почему нам всем, более или менее, нужны болезнь и страдание?

— Ну, уж это мы оставим в стороне покамест: интереснее знать, нужны ли ей самой болезнь и страдание? Если бы она была девочка лет семнадцати, с недосозданною душою [2] и потому с недосозданною наружностию или, пожалуй, с недосозданною наружностию и потому с недосозданною душою, я бы отвечал головою, что она еще будет больна, но...

— Ты думаешь, следовательно, что она вполне развита? — перервал снова Виталин.

— Знаешь ли? Je suis presque tenté de croire,* что, если она не развита, то, по крайней мере, остановлена.

Виталин улыбнулся.

Чтобы пояснить вам мои слова, я должен поневоле говорить о моей теории женщины — этого единственного предмета, для которого у меня есть какая-нибудь теория [3] и который один, может быть, стоит какой-нибудь теории.

Душа женщины, жизнь женщины — водяная влага, бездна без образов, до тех пор, пока зиждительный дух мужчины не повеет на нее. Душа женщины, натура женщины глубока и бездонна, как бездна, но и темна, как бездна, пока не осветит ее свет любви мужчины. Душа женщины, глаза женщины — зеркало, в котором отражается воля мужчины, в котором может успокоиться его беспокойный пламень в блаженстве самосозерцания... Темна моя теория, читатели, не правда ли? что же делать? она соответствует предмету... Скажу вам еще более... Женщина — те же мы сами, наше *я*, но отделившееся для того, чтобы наше *я* могло любить себя, могло смотреть в себя, могло видеть себя и могло страдать до часа слияния бытия и тени, жизни и смерти.

По крайней мере, из моей теории ясно одно только, что мы таковы, каковы мы теперь, можем любить только тех женщин, в которых мы отражаемся.

Склонская была существо менее всего болезненное, — но между тем я был прав, сказавши Виталину, что в ее страстной натуре лежит предрасположение к болезни, т. е. к одностороннему развитию или, по моей теории, к отражению одностороннего развития, и был прав также, думая, что развитие это остановлено, что в этой душе отразился когда-то не образ, но призрак образа, что бедная обманутая душа, не успевши уловить неуловимого, не успевши полюбить и вместить в себя своей любви, и между тем, желая жить, желая любить, принуждена была отразить в себе самую себя, выйти из самой себя.

Но самой себя у нее не было, и она отразила в себе весь божий мир, со всем его бесконечным разнообразием.

И она любила все, не любя ничего.

И она жертвовала всему, не принося ничего в жертву. Ибо на свою красоту смотрела она, как на часть целого мироздания, и целое мироздание являлось ей громадным храмом, которого она была жрицею.

Ее любовь, ее жизнь не была современною любовью. Это была любовь будущего — светлая, спокойная влага, способная принимать все, отражать все.

Своею красотою она считала себя обязанною всем и каждому, она способна была бросить мгновение счастия уроду... но только мгновение.

---

* Я почти склонен думать *(франц.)*.

Она не понимала ревности: она была жрицею своей красоты, своей женственности.

Виталину, которому щедрее всех других расточала она свои дары, Виталину, которого любила эта женщина с слепою преданностию, ему первому рассказывала она о каждой своей новой любви.

И он слушал ее внимательно, играя ее белокурыми локонами, — ибо он отстрадал уже, ибо он также, хотя другим путем, дошел или, по крайней мере, доходил до того, чтобы любить все, понимать все.

Когда-то он так полно любил одно, так глубоко проник одно, что в глубине этого одного нашел основу всеобщего и разумом, по крайней мере, поклонился всеобщему, полюбил все...

Они оба равно любили все, они оба равно были равнодушны, — но Склонской легко досталось это равнодушие, — Виталину же слишком тяжело.

Когда он дошел до любви ко всему, он был так измучен и болен, что в душе его осталось место для одной только отрицательной любви, для одной ненависти к тому, что скрыло от нас общее, что убило тождество и похоронило его в грубом гробе предрассудков...

И долгий, и тернистый путь прошел бедный мученик до того несчастного места всего, где погребено слово создания...

И когда он обрел это слово, он должен был скрыть его в неприступных тайниках души, — ибо, простое и нагое, оно ослепило бы людские очи...

Моя теория о женщинах меня завлекла слишком далеко, и я в свою очередь погрузился в самого себя. Нельзя иначе: может быть, с разгадкою создания связана разгадка бытия женщины.

Виталин вывел меня из этого состояния.

— Я никогда не говорил тебе, — обратился он ко мне, — об одной женщине, об одном воспоминании моей молодости, об Офелии?

— Нет, — отвечал я довольно рассеянно, не в силах еще вырваться из самопогружения.

— Помнишь ли ты Инесу?..

— Инесу черноглазую?..[4] — отвечал я словами Лепорелло, и мне невольно пришли на память эти немногие слова, которыми великий мастер очертил существо, может быть, самое болезненное изо всех созданных когда-либо поэтами.

. . . . Голос
У ней был тихий, слабый...
А муж у ней был негодяй суровый...
. . . . Бедная Инеса!

— Вижу, что помнишь, — с улыбкою заметил Виталин, — мы разговорились о болезненных натурах, и по этому поводу мне пришло в голову рассказать тебе об одной женщине: хочешь?

— Пожалуй.

— Предваряю тебя только, что я должен буду начать с самого себя, с своей ранней молодости...

— И с первой любви? Не так ли, милый? — спросил я полунасмешливо.

— Да, и с первой любви, — отвечал Арсений серьезно и грустно. — Кстати, ты, вероятно, любил несколько раз?

— То есть, что ты назовешь любовью? Серьезно я не любил никогда.

— Все равно, хоть и не серьезно, но несколько раз?

— Да.

— Я также, но скажи, пожалуйста, когда ты начинал любить вторую и третью, был ли ты вполне уже равнодушен к первой?

— Не скажу... Впрочем, не знаю, — а ты?

— Я?.. — отвечал Виталин. — Как тебе это объяснить? Чувство только засыпало в моей груди, усыпленное новым чувством и готовое пробудиться вновь при известных обстоятельствах. Зажгись теперь опять ореола около чела первой женщины, которую я любил, — и я опять буду любить ее. Да и нельзя иначе: все что прекрасно — неизменно.

— Эгоизм!

— Почему же?

— Потому, что ты не допускаешь ошибок в своем понятии о прекрасном.

Виталин улыбнулся с невольным самодовольствием. Он всегда чрезвычайно любил, когда его уличали в эгоизме. Да и как не любить эгоизма? Эгоизм — начало жизни, ибо эгоизм есть любовь.

И нет иной любви, кроме эгоизма.

Ибо эгоизм знает сам себя и любит в себе только то, что достойно любви, что прекрасно.

Это назовут парадоксом, но я уже давно привык к моей репутации парадоксального человека, как прозвал меня один знакомый мне юный столоначальник, подающий блистательные надежды и исполненный совершенств столько же, сколько Лаэрт в описаниях Осрика.[5]

— Рассказывай же! — сказал я Виталину, — но прежде вели сделать чаю.

Вследствие сего мы прежде напились чаю, т. е. удовлетворили материальным потребностям, и потом уже решились «чем-нибудь высоким заняться»,[6] по выражению Хлестакова.

Передаю вам без всяких перемен рассказ Виталина; может быть, я должен был бы изменить в нем многое неинтересное или для многих чересчур интересное, но...

Предоставляю выкидывать самим читателям и пересказываю буквально.

II

РАССКАЗ ВИТАЛИНА

Мне было восемнадцать лет. У меня было еще семейство, т. е. я хотел еще, чтоб оно у меня было.

Семейство! В этом слове столько радостей и страданий — страданий всегда и во всяком случае... Человек — свободный житель божьего мира — заперт в тесный кружок, прикован исключительно к одной частице этого беспредельного мира, и горе ему, если из своей тесной клетки видит он светлую даль необозримого небосклона!..

Так или иначе он вырвется всегда из своей клетки и увидит, что прежняя маленькая клетка, вместе с другими такими же заключена в другой, более просторной, а эта другая еще в третьей, и что едва ли не выбьется он из сил, разбивая преграды, пока над его головою засияет чистое безоблачное небо, усеянное светилами, его старшими братьями.

Немногие прорываются в соседство к светилам. Большая часть разводят гнезда и сами себе строят клетки, — и потом еще удивляются, как можно не жить в клетках.

А старшие братья текут спокойно, мерно, в вольной беспредельности и с божественной иронией смотрят на бедных тружеников...

Но я заговорил о том, что у меня было семейство для того только, чтобы показать тебе, что я был еще молод, очень молод...

Но, впрочем, был ли я молод когда-нибудь? Молодость — эпоха жизни, когда еще девственные инстинкты души жадно пьют наслаждение, не разбирая, из какого источника, а я?..

Ребенком двенадцати лет я жаждал уже жизни, не видал в мире ничего, кроме женщины, и ждал жизни, ждал женщины, мой боже... и в длинные бессонные ночи проходили перед моими очами легкие воздушные образы, полузакрытые, целомудренные, страстные... и голова горела, и сердце билось, как маятник, и уста сохли от жажды, и страстный трепет пробегал по всему существу, и руки стремились уловить воздушные призраки и ловили один воздух... И изнеможенный тщетными усилиями падал я на свое изголовье...

И я ждал тщетно любви и жизни — я был заперт в моей клетке.

И я в пятнадцать лет страдал уже пустотою и пресыщением — ибо силы мои были истощены жизнию призраков.

И поневоле мысль о *лишении*, как о долге человека, явилась тогда мне, и вся жизнь предстала мне длинной цепью лишений, ибо таково всегда следствие пресыщения — физического или нравственного. Я сделался мечтателем, но не таким, который ненавидит все, что несогласно с требованиями разума, и гордо враждует с предрассудками, а мечтателем, который принял за факт свое бессилие, принял за неизменно необходимое все несообразности с разумом и бросил якорь спасения в безбрежное море сна, пустоты, несуществующего.

Все, что окружало меня, все, что душило меня, я признавал за высшее себя, за ложе Прокруста, по мерке которого я должен был вытягивать или обрезывать себя. Я страдал, но смиренное страдание казалось мне единственным уделом человека на земле; мир представал мне чистилищем, душа человека — узником, запертым в душной темнице, жизнь — бременем.

Бывали вечера, длинные, зимние вечера, когда пуста и печальна была моя комната, когда глазам становился несносен свет нагоравшей свечи, когда душе было тяжело ее одиночество... Тогда бедная душа просилась на волю, тогда снова окружали меня воздушные призраки с своими волшебными, неизведанными чарами. О! эти призраки просились жить и сами звали к жизни... мне становилось душно... я роптал...

Бывали ночи... усталый, обессиленный постоянным одиночеством, я с рыданиями бросался на ложе. Лучи луны, прорезываясь через стекла окон, падали на меня. Незаметно, тихо лились они в грудь успокоительною влагою, уста шептали невольно слова молитвы... я смирялся, я надеялся...

Я был чужд всем и всему — или, лучше, все видели во мне чуждого. Дикий и принужденный, я казался самым близким мне злым ребенком, не способным к ласке, не способным к привязанности. В восемнадцать лет меня считали холодным флегматиком, потому что перестали даже считать скрытным.

И между тем одиночество сделало меня точно скрытным и гордым, хотя ни я, ни окружавшие меня не были в этом виноваты. Если б я высказывался, мои слова показались бы безумным бредом, — но зато, никогда и ничего не высказывая, я привык считать все мною не высказанное святыней. Я слишком рано уверился, что ни одному слову, сказанному мною от сердца, не поверят, и дорожил слишком каждым таким словом, чтобы бросать его на ветер. Когда меня заставляли делать что-нибудь противное моему внутреннему чувству, я не возражал, я исполнял беспрекословно, — но тщетны были бы попытки искоренить во мне что-нибудь; меня беспрестанно мучили, но тем сильнее была моя привязанность к оскорбляемой святыне.

Таков я был ребенком, таков я был юношею. Во мне жили две души: одна, которая рвалась на волю, и другая, которая страдала за нее и подчиняла ее страданию. Может быть, это было следствие равносильности двух еще не установившихся темпераментов.

Все, что обыкновенно вырывается наружу, — гнев, радость, печаль, у меня падало вовнутрь, жило внутри и душило меня: не удовлетворенный ничем, что удовлетворяет других, я еще не считал себя и правым; я мучился еще своим уродством, я ждал, что придет еще что-нибудь спасающее, что мне есть примирение.

О боже! жадно стремился я ко всему, чем примиряются другие, жадно искал я веры в знании и знания веры.

Но для меня был безжизнен остов науки, отвергнувшей всякую веру, — и между тем этот безжизненный остов лишил меня последней

искры веры, последней возможности молиться... И то, что давал он мне в замену беззаветного, детского лепета молитвы, было так пусто и голо, так бессвязно и отрывочно.

О боже! я искал Тебя, искал связующего, а они показывали мне мир в таком страшном, хаотическом распадении!

У мертвых книг, у глашатаев истины, признанных глашатаев, у фарисеев и книжников спрашивал я, прав ли Ты, живущий во мне, страдающий во мне, живешь ли Ты, вечно живущий, — а они встречали холодным циническим удивлением мой вопрос, не понимая его, не чувствуя в нем нужды.

Они говорили: вот перед тобою предметы, — выбери себе любой и изучай его, потому что каждый изученный предмет будет тебе хлебом.

Им нужен был хлеб животный...

Но они жили, они роились кругом меня, все эти люди, они были способны жить: жизнь их была мне упреком.

Я презирал самого себя за то, что не мог, как они, привязаться к чему-нибудь в общем распадении.

Я говорил тебе раз о Вольдемаре,[7] с которым мы жили как с братом, я говорил тебе о влиянии на меня этого человека.

Вольдемар был старше меня, когда мы сошлись с ним впервые; он начал жить слишком рано внешнею жизнию, до того рано, что вовсе позабыл о существовании иной, внутренней жизни.

Другими словами, Вольдемар не верил в возможность лучшего, другого чего-нибудь, кроме того, что им было уже прожито, а всем прожитым был он пресыщен, все прожитое было ему гадко.

А между тем он был в полном цвете молодых сил, которые развились в нем свободно и широко.

Он был хорош, как муж, но на устах его мелькала иногда обаятельная, змеиная улыбка женщины. Минуты такой улыбки бывали редки, но они бывали. И то не были минуты мечтательности, ибо мечтательность есть ожидание лучшего. Нет! то был странный, непостижимый, противоречивый рассудку возврат первоначальных детских снов, розовых сияний, какими окружен божий мир для едва пробудившегося сознания. В нем была способность усыплять свое *я* и во время сна накидывать на него давно сброшенную оболочку.

В нем была способность обманывать себя, отрекаться от своего *я*, переноситься в предметы.

Он был художник, в полном смысле этого слова: в высокой степени присутствовала в нем способность творения...

Творения — но не рождения — творения из материалов грубых, правда, но внешних, а не изведения извнутри себя порождений собственных.

Он не знал мук рождения идеи.

С способностию творения в нем росло равнодушие.

Равнодушие — ко всему, кроме способности творить, — к божьему миру, как скоро предметы оного переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником.

Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни... Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг.

Этот человек должен был или убить себя, или сделаться таким, каким он сделался... Широкие потребности даны были ему судьбою, но, пущенные в ход слишком рано, они должны были или задушить его своим брожением, или заснуть, как засыпают волны, образуя ровную и гладкую поверхность, в которой отражается светло и ясно все окружающее.

Но я говорю тебе, что это сделалось не скоро. Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства.

Я любил его с безотчетною, нежною, покорною преданностию женщины — и теперь даже это один человек в целом свете, с которым мне не стыдно было бы предаваться ребяческим, женским ласкам. Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели: стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души. Чем бы то ни было — без ограничения. Это было смирение, простиравшееся до самоуничтожения, это было убаюкивание, простиравшееся до лжи...

Может быть, я сделал его тем, чем он стал теперь, ибо как за якорь спасения схватился я за художественное влечение его природы, не думая, что вместе с этим развивалось в нем равнодушие.

Я убеждал его жить не для себя, но для своего призвания, как будто бы призвание не бесплодно, когда оно живет на счет жизни, как будто бы нужны миру *слепки* с него!

Я был нянькою, любовницей, женщиной для этого человека, и он знал это: он терзал меня!

И когда, в замену своей преданности, моя мужская натура требовала такой же, он убеждал меня в небытии моей мужской натуры, моих огненных стремлений, моих безумных потребностей...

Я был одинок... я был чужд всем, ибо знал, что все, кому бы я ни открыл себя, назвали бы меня безумцем.

Он не звал меня безумцем, он сделал лучше, он поселял во мне сомнение в моем безумии...

Он не говорил мне: «Ты сам не знаешь, чего хочешь!». Нет! он говорил: — «Ты ничего не хочешь, ты играешь комедию».

И между тем таким же смехом, такою же иронией встречал он все мои попытки мириться с требованиями мира, с знанием мира, с деятельностию мира. Ему равно не хотелось, чтобы я подходил под общий уровень, потому что в таком случае я перестал бы понимать его.

Он смеялся цинически над моею жаждой веры, убеждая меня, что я слишком умен, чтобы верить во что-нибудь, — и положительно не верил существованию во мне способности заняться чем-нибудь определенным на свете. В последнем он был прав.

Он любил меня потому, что я был необходим для него; смеясь над моими страданиями, он переживал их, как переживает зеркало отражаю-

щиеся в нем предметы; он любил не меня, но мою способность к хандре, к страданию.

Есть люди, которые думают, что можно мыслить так и жить иначе, которые готовы слушать оправдание злодеяний, пожалуй, и которые первые бросят камень за малейшее уклонение от обыкновенного пути.

Он с спокойной совестью поддерживал во мне мое мышление; он в минуты злой досады анализировал мне самого меня и доказывал, что у меня нет привязанностей, что у меня нет сердца, нет личности.

О! состояние безличности страшно!

И я был в этом состоянии, был долго, до того долго, что сам начал было сомневаться в существовании у себя личности... что привык даже к этой мысли...

Тогда на меня налегла всею тяжестью невыносимая, убийственная апатия. Да и как же иначе? Я был так изнурен бесплодной борьбой с тем, что казалось мне противным долгу в моей природе, что должен был успокаивать себя хоть забвением о своем вечном враге, о своей бедной душе, о ее ненасытимой жажде...

Но не дано было мне забвение — и не в чем было мне забыться!.. А я все ждал чуда, все ждал спасения.

И чудо сбылось...

Да! то было чудо — то было исполнение ожидаемого, оправдание стремлений живой души, первый успокоивающий ответ на ее мучительные вопросы...

Ответ — данный небом, но перетолкованный землею!

Я помню старый, простой, бедный храм,[8] с почерневшими образами, выглядывавшими мрачно из старинных серебряных окладов, тусклый свет лампад, однообразное пение, однообразное, как стоны рыданий человека о своем падении, смиренное, как моление ожидающего... Моя душа так сходна была с этим храмом... как этому старому храму, были ей чужды все иные звуки, кроме стонов падения... Кругом стояла и молилась толпа; но зачем она стояла? о чем она молилась? Она пришла оскорблять святыню храма смерти своими молитвами о благах жизни, она пришла ругаться над падшим духом в его сокровенное убежище, где распростерся он у подножия креста, приявший зрак раба, оковы преступника... Мне было тяжело: мне хотелось взять бич и изгнать продающих и купающих, мне хотелось быть один на один с невидимым духом старого храма. Я был один, один, как первый падший, — пока луч упования не осветил для него креста, на котором заклала себя Вечная Любовь!

Но вдали ото всех, хотя коленопреклоненная со всеми, стояла женщина.

Мне не забыть никогда этого лица, правильного, бледного, озаренного глазами, которых цвет угадать было можно, только вглядевшись в них пристально, глазами с двойственным светом, то тихим и грустным, как влажный взгляд грешницы, то ярким и светлым, как взор кудрявого ребенка, беспечно порхающего за мотыльком, — мне никогда не забыть этих черт, неуловимых в самой правильности, тонких, прозрачных, подвижных, этой улыбки, исполненной лукаво-детского кокетства...

И эта женщина предстала мне кающейся Магдалиной, обнявшей крест распятого Учителя.

Она была прекрасна — как мраморное изваяние, — она была прекрасна, стоявшая на коленях, как прекрасное создание, падшее перед своим мастером... Она была прекрасна в этом мрачном и бедном храме, как лучшая жертва греховного мира своему Искупителю. Она была прекрасна, как смирение и надежда.

Я также упал на колена, я также начал молиться. Я также смирился, ибо поверил в красоту и счастие. Но когда она встала потом, когда, величавая, как царица, легкая, как воздушная тень, проходила она сквозь толпу, и когда за нею несся шопот порицания, шипение клеветы — я гордо поднял голову... Я поклонился в ней оклеветанному и падшему, я был равен с нею, — я один мог подать ей руку.

И вся жизнь моя стала ожиданием появлений этой женщины, и после каждого появления я был счастлив лихорадочным воспоминанием об этом появлении.

По целым дням лежал я в забытьи, припоминая ее черты, ее легкую походку, слыша волшебные звуки ее голоса. Образ ее был неуловим для меня: с каждой новой встречею я падал в прах перед этим образом — и возвращался успокоенный, блаженный вполне, унося с собою еще новую, прежде не замеченную черту.

Я таял и был счастлив тем, что я таял, вся жизнь являлась мне горением... С нею замолк мой ропот на одиночество, на бесплодность моей жизни. К чему мне был тогда мир? кругом меня роился мир призраков, я утопал в блаженстве созерцания, я уничтожался, я истощался в этом блаженстве, и истощение сил казалось мне единственным их назначением.

Я помню утро... светлое, весеннее утро, голоса первых жаворонков в свежем и легком воздухе, — помню встречу с нею, всегда одинаково прекрасною, всегда величавою и стройною, помню опаляющий взгляд, упавший на меня случайно и снова опущенный в землю, помню младенчески ясное, беззаботно-довольное чувство, владевшее мною в это утро... чувство свободы, чувство любви, чувство жизни без завтра...

Я помню ночи, долгие, теплые летние ночи под заветными окнами простого, смиренного домика, трепет ожидания, лихорадочную дрожь страсти и безумный, неистовый восторг при появлении прозрачного профиля, оттененного черными локонами, освещенного голубыми глазами, сияющими, но равнодушными, как сияние дальних звезд...

Я помню зимние вечера в душной комнате, с нагоревшей свечою, с однообразным треском мороза на крыше, с напряжением создать перед собою неуловимый, ускользающий образ, с блаженною тоскою страсти, с молодою жаждою счастия, любви, жизни, с детской доверчивостью к картам, раскладываемым старою нянькою.

О, да! я долго был мечтателем, я долго истощал силы в бесплодных страданиях — я долго жил в мире призраков, я бы, может быть, стал равнодушен ко всему божьему миру, ежели бы случайное столкновение с ним не разбудило во мне дремавшего сочувствия.

Да будет благословенно Провидение, которое не дало мне успокоения, да будет благословенна жизнь, да будет благословенно страдание!..

Виталин замолчал.

— Все? — спросил я его не без удивления, — а где же Офелия?

— Прости мне, пожалуйста, мой лирический бред, — сказал он улыбаясь, — я и забыл, что тебе нужны всегда факты.

— Замечу в скобках, мой любезнейший, один из твоих недостатков: ты никогда не говоришь о том, о чем обещаешь говорить. В твоих рассказах нет ни начала, ни конца...

— Ни морали, — добавил Виталин. — Советую тебе так и назвать их, если вздумаешь когда-нибудь передавать другим; но я и забыл действительно, что обещался говорить тебе об одной женщине, которую я звал Офелией.

Виталин достал из стола старую, запыленную связку бумаг и подал ее мне, сказавши: — Читай.

Я читал, — Арсений ушел в сад.

III

ДНЕВНИК МЕЧТАТЕЛЯ

Авг‹уста› 23.

Я ходил вчера долго по пустым улицам: было сыро, холодно, мрачно... вместо звезд тускло светились фонари. Мне было тяжело... Что это было такое? Насмешка судьбы, вырвавшей меня на минуту из моей пошлой, из моей страшной жизни, для того, чтобы показать мне ее во всей отвратительной наготе, или призыв к иному, лучшему бытию?

Ее нет... этой мыслью отравлено все теперь мое существование, ее нет — и мне не о чем думать, и мне не в чем забыться... И опять оставлен я в добычу тяжелым, мучительным вопросам... и опять я не могу молиться.

И, однако, третьего дня ночь была такая светлая и холодная, лучи луны озаряли преддверие храма: я был на коленах, я молился... Молился... Да! но мне приходит теперь часто в голову страшная мысль, что нельзя жить вечно такой молитвой: я называю эту мысль страшною, потому что она влечет к делу, к жизни — а что я буду делать?.. Иногда мне кажется, что я вовсе не способен жить. Или я не способен только жить так, как живут другие? Но опять, неужели один я — прав?..

Я падал под бременем обязанностей, легких для других, невыносимых для меня, — я падал, я презирал себя — и Ты спас меня, вечный боже! — Ты так успокоительно озарил меня Твоими лучами — лучами красоты — и когда я упал в прахе, я так глубоко понял сердцем, что прекрасное живо и действенно... Я считал себя отверженником. — Ты явился мне. Ты излил на меня любовь свою, Ты ввел меня в семью человечества...

Боже, боже! Когда храм наполнялся хвалою Твоего имени, когда братским лобзанием сливались в нем разрозненные люди в великий праздник примирения, — я не был более отверженником, между мною и людьми было существо, которое любил я, — и со всеми сливался я любовью.

Любви моей нет — и я снова чужд всем, и снова жизнь всех кажется мне так мелочна, так пуста, так лишена света, но я уже не презираю себя, я уже искуплен Твоею любовию, о мой Спаситель!..

О любовь моей души, о моя Елена — моя в царстве божьей мысли, я жду тебя, как прежде, у колонн старого храма, жду с тем же смирением, так же готовый упасть во прах...

Но перед Тобою, о боже, а не перед миром!

Сентября 1.

Тяжело, страшно тяжело. Зачем хотят отнять у меня все, чем живу я, зачем хотят отнять у меня моего Спасителя, зачем хотят низвести в чреду обыкновенной, пошлой жизни проявления божественной любви?

Вольдемар!.. сжалься надо мною, сжалься над благороднейшею частию самого себя, — ты не можешь не верить в страдание по лучшем, по утраченном бытии...

Но если б даже я обманывал себя — ведь этот обман спасает меня, ведь этот обман — чаша утоления невыносимо палящей жажды...

К чему убеждать меня, что мои верования носят в себе семена разрушения, что они не похожи нисколько ни на одно из признанных... Я забывался, я был блажен... я был — спасен!..

Душно, душно...

Я не хотел бы раздвигать границы моего чувства, я не хотел бы пояснять себе моего чувства — а меня мучат насмешливым неверием, а меня заставляют идти вперед... И что-то мрачное присоединяется к моим светлым призракам, и, кажется, с каждым шагом вперед путь становится мрачнее и мрачнее...

Ибо нет мира между богом и Велиаром...

И я ли устрашусь Твоего пути, я — спасенный Тобою... Я созерцал Изиду без покрова: я стоял на той неизмеримой высоте, с которой знание, искусство... жизнь, наконец, кажутся облаками, скрывающими чело горы... я зрел тебя, Крест любви и страдания, знамение разъятого Космоса...

О! как олень жаждет на источники водные — сице возжажда душа моя к Тебе, боже! [9]

Меч и разделение принес Ты, божественный, — дай же мне силы возлюбить меч и разделение.

Со стонами и рыданиями лежал я сегодня во прахе перед ликами Твоих избранных, со стонами и рыданиями о самом себе, о своем нравственном бессилии...

Еще одну каплю любви, о мой боже, еще одно явление Твоей благости... Подкрепи мѐня, спаси меня!

Сентября 3.

А я еще молод... душа так жадно просится жить, при взгляде ли женщины, при тихом ли лепете девственных уст, при мечтательных ли звуках музыки, под которые несутся легкие пары... Тогда мне кажется, что я опередил свою жизнь, что я убил свою жизнь, тогда мне так же хочется нестись в блаженном самозабвении, тогда эти звуки развивают передо мною целые ряды призраков, воздушных, девственных, страстных: да, да! я мог бы так же, веселый, свободный, беспечный, нестись, обнявши гибкий стан женщины, так же пылать от прикосновения к щекам моим каштановых локонов, чувствовать такой же трепет сердца, как все другие; для меня так же, может быть, назначены были судьбою и тихие пожатия рук, и кроткие голубые взгляды, полные бесконечной преданности, и условленные встречи, и счастие взаимной тайны, тайны любви, тайны ребячеств, тайны блаженства... Я так же, как и другие, и теперь даже способен забыться в чаду безумной веселости... Да, я это чувствую, я это знаю — я испытал это вчера; я, дикий и флегматический, — способен быть ловким и гибким, способен говорить без умолку...

Странно! сам не понимаю, что было со мною вчера, что оживило меня: думаю, влияние молодости этой девочки, которую я так привык звать сестрой, на которую я не обращал никогда внимания. Вчера я как будто в первый раз ее видел — хотя мы росли вместе, хотя не далее, как за неделю, я с нею сидел целый вечер, и она не была для меня даже женщиной. Но вчера, в день ее именин, она, казалось, вдруг выросла, вдруг приобрела все дары женщины — и огненный румянец, и искусство одеваться, и даже — что особенно меня поразило — грациозность манер... Давно ли еще мне были несносны и смешны ее претензии, ее нижегородско-французские фразы, ее ложь на каждом шагу, ее желание быть выше своего состояния...

Чем же она виновата, бедная девочка?.. Мать ходит сама на рынок и бранится, как кухарка, отец пьян с утра до вечера, а она — учена по-французски, а ей с ребячества набили голову — *воспитанием* и *танцами*... Пока в ней не было ничего, кроме воспитания и танцев, до тех пор она была, pour dire le mot propre,* — отвратительна...

Но пришла ее минута, минута жажды воздуха и жизни, та минута женщины, когда почка мгновенно раскрывается цветком, хризалида вспархивает бабочкою,[10] — пришла эта минута, и чудно легли пышные белокурые локоны на нежный прозрачный лик ее, и жажда любви пробилась на бледные ланиты ярким заревом румянца, и резкий, несносный, детский голос заменился тихою речью, и быстрые голубые глаза подернулись влагою, и чувство стыда, чувство сознания, чувство разделения добра и зла — сжало в границах порывы, и не могло только остановить соблазнительных колыханий груди да по временам вырывающегося звонкого, но тихого, как серебряный колокольчик, ребяческого смеха...

---

* говоря откровенно *(франц.)*.

Бедная девочка!.. Так искренно пил я за ее счастие бокал настоя из белого вина с французской водкой, подаваемого под видом шампанского... да! я желал ей счастия, — я сказал ей, что желаю ей счастия... что желаю ей... любви, прибавил я так тихо, что только она одна могла это слышать.

Она вспыхнула, она опустила глаза в землю, и опустила стыдливо, как девушка, страстно, как женщина, лукаво, как ребенок.

— Завтра мы увидимся с вами, братец?.. — прошептала она мне на прощанье.

Я отвечал утвердительно, — и точно отправляюсь нынче с отцом и с Вольдемаром на одну свадьбу, где она должна быть.

Сентября 4.

Лучи жизни, лучи молодости исходят от этой девочки; я опять был весел, я опять предавался безумному веселью, веселью беспритязательному, с забвением о гнусной натянутости всего этого овоскресенившегося люда, с забвением о сальных свечах пополам с восковыми... с забвением о самом себе, о своей любви, обо всем, обо всем...

Она вошла так хороша, так отделена от всего этого натянутого и перетянутого мирка, так молода, так проста в каждом своем движении. Каким чутьем поняла она, что простота и изящество — одно и тоже? — кто сказал ей, что ее природа одна из избранных женских природ?..

Она бросила мне так резво и вместе кокетливо свой голубой шарф, когда встала за невестой...

Я один ходил с нею, я пользовался моими правами брата в пятнадцатом колене, пользовался своим беспритязательным положением в отношении к ней, клал руку на ее стул, сидя с нею, и она так близко наклонялась ко мне, что несколько раз я чувствовал прикосновение ее локонов... Меня самого озаряло ее сияние, я был весел, я был доволен собою. Мне было хорошо оттого, что во всем этом кружке — она чужда всем, кроме меня, — что она улыбается только мне, что ее глаза смотрят прямо и ясно только в мои глаза; мне было хорошо оттого даже, что ее отец смотрит на меня, как на родственника, которому в состоянии поручить, пожалуй, одному, отвезти свою дочь домой в карете... Глупо и смешно — а я рад бы был, если б кто-нибудь сказал о ней замечание, к которому бы я мог придраться... Я был молод до того, что чувствовал себя способным драться за нее на дуэли.

Я был рад даже тому, что Вольдемар поехал только для меня, что он бесился на непорядочность, что он хандрил и не замечал ореолы, которая окружала эту девочку.

— Вот, скоро, может быть, мне придется быть шафером, — сказал я отцу.

И мне стало грустно, мне стало больно — но за нее ли только, за ее ли будущее?..

Сегодня со мной такое сладко-болезненное состояние, что мне не хочется оторваться от вчера, от воспоминаний о вчера, от моего дневника...

Мне как-то неловко, как-то стыдно даже, и между тем в этой неловкости, в этом стыде так много счастия! Вчерашнее впечатление еще лежит на всем, лежит так, что нет сил возвратиться к прежнему взгляду на жизнь.

Сентября 5.

Впечатление неизгладимо, но оно тяготеет надо мною, оно давит меня, оно обратилось во что-то глубоко-грустное, болезненно-печальное.

Я взглянул нынче на себя... Желтый, почти зеленый, худой...

— Следствия безалаберной нравственной жизни! — заметил сзади меня Вольдемар. В его насмешке пробилось, однако, невольно сожаление и участие. Бедный! он также страдает...

И отдадут ее какому-нибудь Карпу Кирилычу — гладко обстриженному, облизанному, глупому, нравственному...

Бедное дитя мое, бедная Офелия... Да! Офелия... Невольно приходит в голову при взгляде на нее это имя, и не мне одному.

Вольдемар старался меня уверить, что все это вздор, что в ней нет ничего особенного.

Я давно не молился...

О, моя Елена, спаси меня, спаси меня!

Сентября 7.

Удивляюсь верности своих предчувствий: нынче приходил ее отец с объявлением, что за Лизу сватается жених, по рассказам его, человек с состоянием и офицер. Он просил совета моей матери, и смотр жениха назначен у нас сегодня вечером...

Да — это так, да и чего же можно было ожидать мне?

Через полчаса после приезда жениха я оделся и сошел вниз. Жених — маленький человечек, с обиженной наружностию и со всеми манерами пехотинца — сидел с моим отцом на диване; против них стоял ее отец со взглядом, устремленным на принесенный уже графин ерофеича. Матери моей не было, когда я вошел; мать Лизы сидела на креслах у печки. Разговор общий шел о строении дворца...

Она сидела у окна, на голубой козетке, играя концами шарфа, по-видимому спокойная, веселая, стараясь показывать вид, что ей вовсе неизвестна цель, для которой ее привели — да! привели, — это — настоящее слово.

Когда я вошел, отец мой обратился к офицеру:

— Мой сын, — сказал он, со всею простотою порядочности, сохраненною им, несмотря на жизнь вне того круга, к которому назначали его — его природа и образованность.

Офицер привстал и вытянулся: его маленькая фигурка показалась мне удивительно смешною. Он протянул руку: я ему поклонился.

И потом, видя, что разговор опять обратился к строению дворца, я подошел к ней и сел на другой конец козетки.

Мы говорили о прошедшем бале, со времени которого мы еще не видались, — я был недоволен ею, ее притворным равнодушием, ее явно ложным незнанием.

И между тем все-таки она была чудно хороша!

Вошла моя мать и через несколько минут вызвала меня в столовую.

— Говори с нею меньше, — сказала она мне, — ты хотя и брат, но все молодой человек, — жених может бог знает что подумать. . .

Итак, с первым появлением жениха женщина становится обреченной жертвой, которой не должны касаться профаны!. .

Мне было досадно. . . мне становилось душно; я сел у противоположного окна и погрузился в самого себя. . . Ей было, кажется, страшно скучно. . .

Она и я — мы оба были дети.

Ее мать обратилась ко мне с просьбою сыграть что-нибудь. Я вышел в залу и сел за рояль; она также вышла и облокотилась на доску. . . Она, казалось, ждала, чтоб я начал разговор.

— Послушайте, — сказал я ей тихо и по-французски, — теперь дело идет о вас, о вашей жизни. . .

— Я вас не понимаю, — отвечала она с самым наивным изумлением.

— Мне и вам притворяться некогда — я вам говорю, что дело идет о вашем сердце.

— О сердце?. . У меня нет сердца! — и она засмеялась.

— Gnade, Gnade für dich selber. . .* — играл я почти с отчаянием. Подошла моя мать.

—Ну что, Лиза, нравится ли тебе жених? — спросила она.

— Жених! какой жених, тетенька? — говорила Лиза с аффектированным простодушием.

Мне было больно за нее, мне было больно за искажение ее природы. . . — я кончил играть — я ушел наверх.

И вот я один — и сердце мое разбито. . .

Неужели прав Вольдемар? неужели страдание — блажь, вздор, неужели все гадко, и все довольно гадостью?

Он хохочет злым смехом над моим отчаянием.

— Да тебе-то что? — говорил он, — разве ты влюблен в нее?. .

И в самом деле, ведь она счастлива, ведь она больше ничего не требует, ведь она отрекается от сердца. . . Я должен радоваться ее счастию.

Так, по крайней мере, говорит *нравственность*.

Сентября 10.

Вчера было обручение. Она стояла веселая и спокойная, но на жениха смотрела она как на что-то совершенно чуждое и постороннее.

После обручения он пустился в нежности; она невольно отворачивалась.

* Пощади, пощади себя самого *(нем.)*.

И между тем — она была весела!

Все были довольны. Отец ее был пьян.

Когда мы шли домой, ночь была холодная, светлая: месяц вырезывался светло и ярко. Во мне жило в эту минуту прошедшее, я снова мечтал, я забылся... Нет, нет, — мое блаженство, мое страдание — только мое и ничье более; другие — не поймут его, ибо не знают его, ибо другие — от мира.

Но зачем же сердце просит доверенности, зачем стремится оно жадно разделить каждое святое, прекрасное впечатление?..

...Поговорим, мой милый,
О Шиллере, о славе, о любви! — [11]

сказал мне нынче Вольдемар, с тою редкою обаятельною улыбкою, за которую я забываю все пытки, какими он меня мучит.

Я до зари просидел у его постели, слушая его рассказы о первых грезах его поэтического детства, читая его стихи, рассказывая ему свои верования... Да! Этот человек один из немногих избранников искусства — и у меня есть назначение около него...

Благодарю Тебя, боже, за это назначение, благодарю Тебя за смирение, которое вера в Тебя, навеки живущего, сообщила мне — больному, падшему, утомленному.

Да будет воля Твоя, Отче!

Алеет заря... розовым сиянием озарена моя маленькая комната, портрет матери на стене и в углу крест божественного Учителя. Все мое со мною.

Пора заснуть, пора увидеть светлый, милый образ!

Сентября 11.

Боже, боже, сжалься над нею, сжалься надо мною... осуди меня на вечное мучение, но спаси ее.

Бедный ангел, бедное дитя... ужели ты осуждена последним, роковым судом?..

Палачи, демоны... о Спаситель, Спаситель, вырви ее из когтей их!..

Спаси ее, спаси ее!..

О! неужели только за то проклята ты, мое дитя, что ты чиста и прекрасна, что ты нежна, что пытка упреков и жалоб ужаснее смерти и несчастия...

Спаситель, я во прахе перед Тобою, я готов на муки и страдания.

. . . .

Сентября 12.

Целую ночь, длинную, бессонную, страшную ночь провел я в рыданиях и стонах. Неужели спасения нет!..

За нами прислали вчера: мать лежала в постели больная, и потому только мы одни с отцом пошли к ним. Приходим — все по обыкновению:

за столом Елисеич и будущий зять с красными физиономиями, и перед ними графин с ерофеичем. Матушка недовольна будущим зятем, что мало приносит подарков, и ругает мужа за то, что он только-де и знает, что с раннего утра наливает глаза, что она-то-де уж такая несчастная и т. п.

Я сел играть по обыкновению; она стояла подле меня прекрасная, молодая, с огненным румянцем на щеках, с тихо волнующеюся грудью...

Мы говорили — о чем мы говорили? — не знаю.

— Мне завидуют многие, — сказала она вдруг с горькою улыбкою.

— Вам?

— Да, — продолжала она так печально и жалко... — Mon frère, mon frère, je suis bien malheureuse! * — прошептала она едва слышно, склонивши голову на руку.

— А зачем вы не слушали меня, когда я говорил вам о сердце?.. — отвечал я почти со слезами.

— Я вас не знала, простите меня... — И она подала мне руку, которую пожал я сильно.

Глаза ее были влажны... я почти плакал.

— На жизнь и на смерть? не правда ли?.. — говорил я, не выпуская ее руки.

Мы долго сидели молча, смотря друг на друга. Ее бедная, стесненная, воздушная душа была, казалось, счастлива, нашедши для себя свободу и пространство излиться...

И тихо и грустно лилась из девственных уст печальная исповедь жизни, однообразной, но трепетной, но исполненной ожиданий, исповедь души светлой и воздушной, осужденной на душную и грубую темницу, исповедь молодости, жажды, желаний, встречающих на каждом шагу грубые противоречия, отвратительные оскорбления... Передо мной раскрылась святыня этого юного сердца, и я понял, что даже вечная ложь была заслугою в этой благородной природе, была чувством иного, лучшего назначения — и я готов был поклониться в ней самой лжи...

Бедное дитя мое... Офелия, Офелия.

Сентября 13.

Вольдемар поверил наконец в страдание, — он болен, как я же, от мысли о ее судьбе.

Нынче я ходил молиться за нее — но не мог молиться... Тяжелое чувство давит мне душу, чувство вражды и ненависти.

Целый мир кажется мне громадным демоном, которого когти впиваются во все светлое и прекрасное.

Зашел к ним: она больна, она страшно жалка... Принужден был говорить с этой несносной старой девой Анной Максимовной, с отвратительной гарпией, которая вешается на меня и на Вольдемара вместе и

---

* Брат мой, брат мой, я очень несчастна! *(франц.)*.

которая живет у них вроде компаньонки, родственницы, гувернантки или, точнее, приживалки.

Во мне разливается желчь.

Сентября 14.

Нынче утром был у нас жених и зашел к нам наверх выкурить трубку. Распространялся о своей любви к ней — и вдруг с каким-то странным смирением стал унижать себя перед нею.

— Где ей любить меня? — заметил он так жалко, что я, право, готов был заплакать. Это чувство понятно, — я не могу видеть даже мучения собаки.

Но — он и она, о мой боже!

Вечером пришла Анна Максимовна... она насильно посадила меня за рояль, кажется, для того, чтобы сказать мне, что она знает о моем участии к Лизе, о нашей дружбе — и потом, как Дионисий, тиран Сиракузский,[12] предложить себя в друзья, для составления трио.

Мне стало скверно.

Опять всю ночь не спали с Вольдемаром: он говорил, что хотел бы влюбиться, что ему это нужно для его поэзии, что влюбиться не трудно, стоит только захотеть...

Он постепенно экзальтировался.

Сентября 15.

Послезавтра — свадьба. Она приезжала с женихом... Я опять играл. Вольдемар говорил с нею. Он был хорош, он обаятельно улыбался, он не смеялся цинически.

Она как-то чуждалась меня.

Жених просил меня быть шафером. Со мною он хочет быть, видимо, по-родственному.

Прощаясь, она обратилась к Вольдемару.

— Прошу вас быть на моей свадьбе, — сказала она, и в тоне ее голоса было бесконечно много грусти.

— Не знаю, — сквозь зубы отвечал он...

— Будет, будет, — прервал его мой отец.

Жених сделал кислую гримасу, но просил также.

Вольдемар поклонился.

После их ухода начались шутки отца над Вольдемаром.

Мне было горько. Отчего?..

Сент<ября> 18.

Бледная, как мрамор, трепещущая, стояла она под венцом и страшно было видеть подле нее эту глупую, красную физиономию...

Вольдемар стоял против нее почти: он был мрачен... он был прекрасен...

Она просила меня застегнуть ей мантилью: руки мои дрожали — я должен был передать это Вольдемару.

За обедом, принужденный сесть подле ужасной приживалки, я был судорожно весел, пил много и говорил без умолку.

— Vous avez deux soeurs à présent,* — повторяла мне неотвязчивая старая девка. Я от души желал ей провалиться сквозь землю.

Молодая танцевала только со мной.

Она переоделась: к ней чудно шло малиновое бархатное платье, она была так роскошно хороша, и она была так жалка, так жалка.

Заиграли вальс. Она быстро подошла к Вольдемару.

— Вы не танцуете сегодня? — спросила она его.

— Я никогда не танцую, вы знаете, — отвечал он; в голосе его было много непритворной грусти.

— Со мною?..

— О! с вами... — и он обхватил ее тонкую талию.

Они понеслись. Они были оба хороши, как античные изваяния.

Я смотрел на них, я любовался ими.

Я страдал невыносимо.

Я проклинал.

Сент‹ября› 19.

Они были с визитом. Шутки отца моего над нею меня терзали. Вольдемар вышел бледный и расстроенный. Оба мы — он и я — должны быть сегодня у них в ложе. Она обещала Вольдемару свой альбом.

Она и муж ее сидели уже в ложе, я сел за ее стулом, но я чувствовал, что между ей и мною есть уже тайна.

Муж вышел в фойе... Я стал смотреть в сторону, я хотел показать вид, что не знаю их тайны.

Альбом был передан.

Снег валил хлопками — на небе было мутно, когда мы ехали с Вольдемаром из театра. На душе моей лежала свинцовая тяжесть — предчувствие ее участи, беспокойство о Вольдемаре...

И досада, и ревность, мой боже! — ибо я люблю ее, люблю больше, чем может любить ее Вольдемар.

Сент‹ября› 21.

Она пришла сегодня к нам, под предлогом навестить мою больную мать — осталась обедать и после обеда три часа ходила по зале со мною и с Вольдемаром: я не мешал говорить им, я решился наконец принять свою печальную роль и служить им прикрытием.

* У вас теперь две сестры *(франц.)*.

Когда она ушла, меня позвали к матери. Я выслушал упреки и сентенции по обыкновению, т. е. так, что они упали вовнутрь меня. Моя мать думает, что Лиза влюблена в меня, потому что она ослеплена, как всякая мать, и не видит того, что меня нельзя любить.

Как бы то ни было, я обещал Лизе прийти ужо вечером с Вольдемаром и сдержу обещание.

Она встретила нас в слезах, расстроенная... Боже мой! эти палачи гнусны до того, что не удерживаются даже от физических оскорблений... Отвратительно передать бумаге то, что происходило в первый день или, точнее, в первую ночь свадьбы между ее отцом, ею и мужем...

— О! мне ничего не остается на свете!.. — вскричала она, с рыданиями падая на стул.

Мы оба с Вольдемаром стояли пораженные отчаянием; не знаю, что было с ним, но мной владело чувство негодования на себя, на него, — но я считал в эту минуту святым делом убить ее мужа и увезти ее...

Она приподнялась и, быстро схвативши меня за руку, повела в другую комнату. Она трепетала, как в лихорадке.

— Я люблю!.. — шептала она.

Я молчал.

— Я люблю, — продолжала она с рыданиями, — я люблю... его. Я его любила с первого дня нашей встречи, я любила его...

Я взял ее руку.

— Итак, — сказал я, — мы все трое осуждены... Он вас любит, знайте это... знайте также, что я люблю вас.

Она с рыданиями бросилась ко мне на грудь. Я тихо оттолкнул ее — и ушел в ту комнату, где сидел Вольдемар.

— Она тебя любит, — начал я.

—Я это знаю, — отвечал он.

Послышался колокольчик; приехали отец и муж и бросились ко мне и к Вольдемару с распростертыми объятиями.

Я, против обыкновения, пил — и не мог опьянеть.

Сент‹ября› 29.

Вчера за нами прислали, потому что у них был вечер... Я сел подле ее мужа, чтобы отвлечь его внимание от нее и от Вольдемара. Скоро, впрочем, муж стал играть в карты.

Я должен был выносить пытку разговора с приживалкою. Вольдемар говорил с нею... она полулежала на кушетке, так грациозно, так свободно... На ее лице играла такая беззаботная радость.

Мне было тяжело: меня давило предчувствие.

Когда я возвратился домой, все ужасные пытки, какие может изобрести воображение больной женщины, были употреблены надо мною.

Со мною, наконец, делаются припадки истерии . . . .
. . . .

Октября 20.

— Я спас его. Он будет жить... Отец! я исполнил подвиг, порученный мне тобою.

Но она — осуждена навсегда.

И он уже начинает стыдиться своего увлечения, стыдиться орфографических ошибок в ее письмах...

Дитя мое! ты должна презирать меня: я отдал тебя в добычу миру — я пожертвовал тобою...

Бедная Офелия!

IV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мне стало невыносимо грустно, когда я прочел до конца эти записки. Долго сидел я над ними, долго еще вопросы бродили в моей душе.

И вопрос о нем, бедном мученике жизни, о нем, для которого эта полоса жизни была первым взрытым пластом, первым сомнением, роющимся в глубину беспредельную, первым призывом к вражде и борьбе...

И вопрос о ней — бедной девочке, бедной женщине, осужденной на гибель в страшной отвратительно-грязной тине.

Ибо что ждало ее?.. Она просила любви, и не было дано ей любви, потому, может быть, что она не могла еще любить в человеке человека.

Я по-своему создавал ее будущее: видел, как потребность любви заменялась в ней жеманным развратом, свободная грация — наглостью кокетки дурного тона, жажда наслаждений — привычкою к пустой и непорядочной суетности. Я видел ломберный стол и ее, сидящую подле франта дурного тона, обыгрываемого наверную мужем.

Я видел это... я не видел спасения.

Долго сидел я, погруженный в самого себя. Когда я очнулся, взошла уже луна, в открытое окно несся бальзамический запах тополей; по длинной аллее против окна шла к дому, легкою походкою, женщина... Сиянием луны было озарено бледное лицо женщины, и на него падали волны белокурых локонов...

Это была Склонская!



«ГАМЛЕТ» НА ОДНОМ ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

(ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК ДИЛЕТАНТА)

Посвящ‹ается› В. С. М‹ежевичу›

I

Я приехал в*** на рассвете, усталый, разбитый ухабистою дорогой, измученный бессоницею, больной. Провести целую ночь под дождем проливным, можешь себе представить, как это приятно; я благодарил судьбу, что в городе оказалась довольно порядочная гостиница, где мне дали сколько-нибудь чистый нумер, сколько-нибудь чистую постель и прочая; я тотчас же лег и проспал семь часов сряду каким-то летаргическим, болезненно-бесчувственным сном, что — надобно тебе сказать — всегда для меня очень приятно. Еще и в Москве я часто, бывало, проводил ночи не смыкая глаз, для того только, чтобы доставить себе удовольствие спать утром самым эксцентрическим сном; ты знаешь, я вовсе не прихотлив в моих вкусах, вовсе не гастроном, нисколько не знаю толку в вине и даже, к величайшему ужасу порядочных людей, совершенно не привязан к комфорту, но — в отношении ко сну — я прихотлив, разборчив, как слишком немногие, и могу сказать, что во сне я знаю толк почти столько же, сколько в женщинах, потому что, après tout,* только две эти вещи я и люблю на свете: было время — славное, право, время, — когда, ложась спать, я знал, я был уверен, что бросаюсь в совершенно иную, в совершенно новую жизнь, бросаюсь с тем же чувством страха и лихорадочного удовольствия, с каким бросаются в воду с возвышенности. Да, — сон вещь хорошая, чуть ли не лучшая в жизни, — чуть ли, говорю я, потому что есть другая, ей равная, — женщина, но и женщина не тот ли же сон, только почти всегда зловещий... Не в этом дело, впрочем: дело в том, что я проспал семь часов сряду, как убитый... Просыпаюсь, смотрю на часы — второго половина. Боже мой! Целых еще 18 часов ждать опять дороги. Мне стало истинно досадно; я повернулся на другой бок и попробовал, нельзя ли спать еще; но, видно, это была уже

---

* в конце концов (*франц.)*.

физическая невозможность, видно, злая судьба определила мне видеть древности города *** и рутинерски любоваться его прекрасными видами, великолепными зданиями, фабриками и заводами, всем, одним словом, о чем пишется в географиях и чего нет на факте, всем, что мне опротивело с детства в географиях. Нечего делать! Встал, спросил себе чаю, лениво выпил три стакана и выкурил две регалии[1]... Пробило два! Ну, хоть полчаса как-нибудь убито. Сел к окну и стал думать... О чем, спросишь ты? О ничем, мой милый, что, впрочем, вовсе не значит ни о чем не думать. Блаженны ни о чем не думающие — прибавил бы я к числу семи блаженств, я, который в состоянии думать о ничем...

Наконец мне стало несносно скучно, и я уже решался даже идти осматривать ***-ские древности, несмотря на то, что древности составляют один из предметов моего отвращения,[2] как вдруг довольно громкий разговор за стеною в соседней комнате заставил меня выйти из моего самоуглубления. Стена, или, точнее сказать, перегородка, была очень тонка, и разговор можно было расслушать почти от слова до слова. Это были два женских голоса; один из них звучал неприятно и резко: нетрудно было угадать, что он принадлежит одному из тех существ, которые не могут быть ни кем иным, как чиновницами известного класса, и притом матушками; другой был свежий, как весенний воздух, тонкий голос девочки...

Сначала я, от нечего делать, стал просто прислушиваться к звукам этих двух голосов, вовсе не обращая внимания на содержание разговора; мне был как-то по душе этот звонкий, несоздавшийся, ребяческий голос, в котором таился или страстный шепот женщины, или кухонная брань будущей титулярной, надворной, коллежской советницы и начальницы отделения. Да! то или другое, ибо в этом голосе было что-то несоздавшееся: он был чист и звонок, но его ноты могли звучать и в божественной поэме, и, пожалуй, в пошлом мотиве польки... Я жадно прислушивался к этому голосу, как ко всякому откровению нераспустившейся женственной души, ловил каждый звук его, потому что каждый звук был еще неоскверненная святыня. Это смешно, может быть, — но что же делать? Я везде и всегда один и тот же, я везде и во всем вижу только женщин, слушаю только женщин, понимаю только женщин и, пожалуй, страдаю только за женщин, — везде, везде, в многолюдном ли салоне, среди ли бешеного веселья танцклассов петербургских, здесь ли, наконец, в каком-то губернском городе, меня занимает одно — судьба женщины.

А что мне в них, кажется? Они же первые были готовы обвинять меня в неограниченном самолюбии, они же первые не верили моему поклонению, моему фанатизму, они же, которых природа казалась мне всегда выше и чище грубой природы мужчины, способны были сомневаться даже в искренности моих эксцентрических понятий...

Так или почти так думал я, прислушиваясь к звукам разговора за стеною. Наконец, и думать о женщинах стало мне если не скучно, то, по крайней мере, грустно — и вероятно, заразительность любопытства до-

черей Евы была причиною того, что я наконец стал вслушиваться в содержание слов.

Дело шло, сколько я мог догадаться, о том, ехать или не ехать куда-то; дочери хотелось ехать, мать доказывала, что успеют-де наездиться и в Петербурге. Просьбы продолжались, возражения тоже.

Вошел половой.

— Кто стоит в соседнем нумере? — был мой первый вопрос.

— В соседнем-то-с? — отвечал он, почесав затылок... — Статская советница Поджогина с дочерью-с.

— Поджогина! — почти вскричал я, с удивлением услыхавши имя моих московских знакомых.

Очарование почти разлетелось. Я знал эту девочку, которой голос произвел на меня сегодня странное впечатление, похожее на щекотание; я видел ее часто в разного рода кружках, куда имел привычку ходить от скуки, живя в Москве; она была пансионерка, и притом Поджогина! Она держалась прямо, танцевала с неизменно настроенной улыбкой и с казенными фразами на устах, танцевала прекрасно — с целию найти мужа!

— Барыня-то заболела, что ль, бог ее ведает, только что с неделю позажилась здесь, — продолжал половой, и понес целую историю.

Я не слушал.

— И дался тебе этот «Гамлет», матушка, — послышался за стеною резкий голос, — уж ты и в Москве-то мне им надоела; вот дело другое — «Морской разбойник»,[3] ну, того бы я и сама еще посмотрела.

Я не знал еще, в чем дело, но слово «Гамлет» заставило меня ждать с нетерпением ответа.

— Да ведь скучно же сидеть здесь, — послышался голос дочери.

У меня отлегло от сердца... я так и ждал восклицания «ах» и «прелесть, душка Гамлет», — что расстроило бы меня на два дня с половиною. О лучше, в тысячу раз лучше эта наивная жалоба на скуку, чем наклеивание на себя вздорной сантиментальности и восхищение тем, чего не понимают! Я готов был благодарить эту девочку за ее ответ, за то, что она не взяла его целиком из какого-нибудь серобумажного романа.

— Да ведь я тебе говорю, Леночка, что вот как только приедем в Петербург, Фома Ильич достанет ложу в итальянскую оперу: он уж обещал, он человек значащий.

— Хорош ваш Фома Ильич! — отвечала дочь с ребяческою досадою.

— Бог тебя знает, кто у тебя хорош; все дурны... Эх, Леночка, говорю я тебе всегда: не плюй в колодец...

Я заткнул уши; нервы у меня очень слабы, и всякий диссонанс действует на них слишком неприятно.

Но между тем любопытство заговорило во мне, я стал опять слушать.

— Ну поедем, поедем, — послышался опять голос матери, — ты знаешь, что я с тобой не могу совладеть.

Это откровенное признание мне очень понравилось, — я порадовался за дочь.

— Так пошлите же скорее взять билет! — сказала дочь.

— Успеем еще... ты думаешь, здесь Москва, что ли? — отвечала мать.

Билет! значит, здесь театр, значит, здесь дают «Гамлета», подумал я, — отчего же и мне не пойти в театр? ведь уж все равно; я столько раз был терзаем разными профанациями бессмертной трагедии, что быть еще раз истерзанным вовсе ничего не значит. Решено — иду в театр.

Я кликнул полового.

— Есть здесь театр?

— Тиятер? как же-с! — отвечал он почти с улыбкою сожаления о моем невежестве, — важнеющий!

— Вели мне взять ложу, — сказал я, отдавая деньги.

Половой ушел.

Разговор в соседней комнате прекратился: я закурил сигару и лег на постель, в ожидании обеда.

II

Гамлет, Гамлет! Опять он появится передо мною, бледный, больной мечтатель, утомленный жизнию прежде еще, чем успел узнать он жизнь, отыскивающий тайного смысла ее безобразно-смешных, отвратительных явлений, растерзанный противоречиями между своим *я* и окружающею действительностью, готовый обвинять самого себя за эти противоречия и жадно схватывающий оправдание своей вражды, вызванное им из мрака могил... И в каждой жиле чувствует он крепость могучих львиных сил в первую минуту этого страшного оправдания своего разлада, — и призвавший небо, и землю, и самый ад в свою больную грудь, он вправе назвать «малюткою» того, чей голос вызывает его из этого страшного внутреннего мира... Но вот он опять возвращен к своей обыкновенной жизни, он опять тот же бледный, слабый, страдающий Гамлет — он обязан притворяться, он обязан просить товарищей своего детства, чтобы они не выдали тайны его внутреннего мира, — он робеет перед страшною борьбою, ибо в его болезненной, мечтательной натуре лежит грустное сознание бесплодности борьбы, покорность вечной воле рока, заключенной в нем самом, в его слабости; он знает, что, не созданный ни для чего, что в состоянии делать другие, он пойдет туда, куда влечет его жалкий жребий, пойдет молиться — но он пойдет не тем уже, каким пришел. Нет! страшное сознание правды уже озарило его, он вызвал загробный мир на оправдание предчувствий души своей, и в грозном, ужасающем величии предстало ему это оправдание, и оправданные требования его болезненного *я* явились ему страшным *долгом*. Он не может сомневаться, как прежде, — он прав, он знает это, — но что же ему в этой правоте, ему, бессильному, больному, признающему волю рока?.. И сомнение переходит в ропот на жизнь и Создателя жизни, ропот, невыносимый до того, что он в состоянии обнаружить его даже перед смешным резонером Полонием, словами: «Изо всего, что вы можете взять у меня, ничего не уступлю вам так охотно, как жизнь мою, жизнь мою», — перед ничтожными Розенкранцем и Гильденштерном: «И гордое величие неба с его золотыми

звездами кажется мне грудой заразительных паров»... Он знает, что он прав, — и потому слова его звучат гордой злобной иронией; но он чувствует, что сознание правоты влечет за собою необходимость действия, и, неспособный перевести мысль в дело, наедине с самим собою предается последней степени отчаяния, презрению к самому себе... «О Гамлет, Гамлет — позор и стыд тебе!» — говорит он, но тотчас же готов опять сомневаться в правоте своих предчувствий, ибо человеку страшно самосознание, ибо за все, за самую нелепость, готов он схватиться прежде, чем примет страшную правду. И вот Гамлет опять на степени сомнения, — и никогда лучше, как в эту минуту, старый мастер не мог вложить в уста его вопроса о бытии и небытии. И только что Гамлет уяснил себе свое сомнение, признал законность этого сомнения и заключил словами: «И смелость быстрого порыва гибнет, — и мысль не переходит в дело»... и только что остановился он на сомнении, — является Офелия, чистая, светлая Офелия, святыня его души, является орудием низких замыслов, живым протестом на действительность, страшным богохулением. Ее явлением уже дан ответ на вторичный вопрос о том, прав ли он или правы требования окружающего его мира, так, что сцена комедии не прибавляет уже ничего нового, и с самого начала этой сцены слова его язвительны, по замечанию Офелии, ибо он знает наперед, что «слова привидения должно покупать на вес золота». Но вот ему уже нельзя сомневаться... ему должно действовать, он заливается адским смехом, адским проклятьем — и вновь падает под бременем бессилия, и вновь отлагает казнь до будущего времени. Способный к мгновенной решимости, он, думая убить короля, убивает Полония, и с болью сердца, с глубоким страданием совершает суд над матерью. Суд кончен, на душе его лежит уже убийство, и убийство бесплодное; но он не раскаивается в нем, он видит волю рока над другими и над собою, видит волю рока надо всем, что он любит, над матерью, которую убеждает не осквернять себя прикосновеньем дяди и на вопрос которой: «Что же делать?..» с страшною грустью отвечает: «Ничего не делать», не веря нисколько в возможность для нее восстановления. Покорный року, он едет в Англию... Бедная, кроткая, слабая Офелия падает пред судьбою, и холодный, злобный юмор Шекспира влагает в уста прекрасного создания непристойные песни, и самые эти непристойные песни окружают ореолою сияния, венком из цветов кроткий задумчивый лик Офелии!.. И опять является Гамлет, является хоронить то, что он любил, является с тяжкою думою о человеке, царе мироздания, поедаемом червями гробов, о человеке, великом как человеке, в образе ли шута Йорика или Александра Македонского... Страшная сцена! Я помню картину, кажется Делароша,[4] картину, в которой сцена эта понята глубоко. Мутное, вечереющее северное небо, несколько рассеянных могил, Гамлет, с наружностию почти ребенка и с глубокою, тяжкою думою мужа, сидящий на одном из гробовых камней, и подле него добрый, но ограниченный Горацио, с неизменным спокойствием, с зевотою скуки... Гамлет возвратился с немою покорностью року, с незыблемою верою в то, что «чему быть потом — то не будет сегодня».

Гамлет спокойно, тихо, величаво идет на смерть и мщение — и «смерть торжествует страшную победу»; но Гамлет падает, исполнивший свое назначение, падает тогда, когда должен был пасть, — ибо ни он, ни Офелия не могли жить: над ними обоими лежала воля рока...

III

О, зачем я пошел? Зачем я позволил себе смотреть на профанацию величайшего из человеческих созданий, на это низведение в грязь страшных вопросов человеческой души?

Поднялся занавес... явились какие-то господа, с неприличными манерами и с необычайною любовию к... суфлеру. Они начали говорить о явлении привидения и считали обязанностию говорить не по-человечески, вероятно потому, что драма переведена стихами. Я чуть не захохотал на весь театр, когда Горацио сказал: «Да! я дрожу от удивления и страха», ибо, к сожалению, удивляться можно было только неестественности его движений и дикции. И между тем этот актер, говорят, иногда превосходен в ролях обыкновенных драм и трагедий; за что же именно в Гамлете-то считает он долгом кривляться не по-человечески?

Декорация переменилась... гусиными шагами потянулись придворные; я ждал появления Гамлета, думая найти в нем хоть что-нибудь сходное с его идеалом. И он явился встреченный громом аплодисментов, явился высокий, здоровый, плотный, величавый, пожалуй, но столько же похожий на Гамлета, сколько Гамлет на Геркулеса. Он заговорил: голос его был голос Стентора;[5] он назначен был командовать ротою, пожалуй, даже двумя ротами, но отнюдь не вырывался из груди болезненным стоном. Поза актера была живописна, но изысканна, и я удивлялся притом, зачем он явился на сцену с насморком, потому что иначе я не мог себе объяснить его беспрестанных эволюций с платком. Он был одет великолепно, а шло ли это великолепие к утомленному страданием Гамлету?.. Наконец все удалились, — он остался один; я ждал, что он, т. е. Гамлет, которого душа была сдавлена присутствием ненавистного ему окружающего, разразится страшною бурею — этим знаменитым монологом почти бессвязных стонов, затихающих только при приближении чужих. Ничуть не бывало! Актер продекламировал сначала очень покойно, с сентиментальным завыванием, воскликнул: «Жизнь! что ты? сад заглохший»... и сделал из этого стона проклятия пошлую сентенцию; а в заключение, при словах: «Еще и башмаков она не износила», показал на свои собственные башмаки!!! Масса разразилась оглушительным рукоплесканием. Слова: «Но сокрушайся, сердце, когда язык мой говорить не смеет», слова, которые должны быть сказаны шепотом, полным глубокой горести, произнесены были с таким декламационным пафосом, что показались смешны. Вошел Горацио; Гамлет грустный, в себе самом замкнутый Гамлет, с первого слова, с умилительною нежностию повис у него на шее — и потом d'un air goguenard * начал рассказывать, как

* с насмешкой *(франц.)*.

Хозяйственное здесь распоряженье было,
От похорон осталось много блюд,
Так их на свадьбе поспешили съесть.

Масса театра разразилась смехом: она почуяла в этих словах, опрофанированных дикциею актера, *свое собственное,* и единодушным смехом наградила своего любимца, который, как она же, понял немножко в «курьезном роде» эти ядовитые, грустные слова. «Друг, — продолжал он, —

Мне кажется, еще отца я вижу».

— Где, принц? — с наивно-комическим удивлением спросил его достойный наперсник.

— В очах души моей, Горацио, —

отвечал любимец публики тоном героев повестей Марлинского, с их азиятскими страстями. Таков ли должен был быть Гамлет, говоря эти слова? Нет! его физиономия должна была принять выражение глубоко религиозного благоговения, в его поднятых к небу очах должно было отразиться созерцание, в его тоне должна была быть заметна мечтательность... Друзья ушли. — Гамлет неестественно зарычал: «Тень моего отца в оружии» и, кончивши монолог, побежал как сумасшедший. — Его вызвали. — Явился Лаэрт с Офелиею, — Лаэрт был просто глуп, но Офелия — о, Офелия обладала удивительно галантерейным обращением: какую тонкость, черт возьми, придала она простому, детскому, полугрустному, полушутливому вопросу: «Не более?!». — Какой тон, сентенциозный тон сообщила она простым, ласкательно-ребяческим, лукаво-милым словам:

Совет хорош, я верю, но, любезный брат,
Скажи, ты не походишь ли на тех,
и т. д.

Пришел Полоний, — он был хорош, потому что был прост и естественен; зато его провожало и встречало гробовое молчание массы.

Декорация снова переменилась... Опять явился Гамлет — и в героической позе остановился перед явившимся привидением и, вместо того, чтобы едва слышным, прерывающимся, грудным голосом заклинать его, ревел, — так что слова:

Судьба зовет меня,
И в каждой жиле чувствую я крепость
Могучих львиных сил... —

не были понятны после этого рева, qui ne laissait rien à desirer.*

Опять перемена декорации, опять Гамлет в героической позе перед привидением, и опять очень покоен, вместо того, чтобы дрожать нерви-

* который был отменным *(франц.)*.

чески. Впрочем, и нельзя было дрожать перед таким смешным привидением, которое путалось в словах и произносило их совершенно вкривь и вкось... Я ждал взрыва в монологе, где Гамлет призывал небо, и землю, и ад, в монологе, который весь, так сказать, должен быть произнесен одним взрывом. Не тут-то было! Как нарочно, тут актер, вероятно уставши, и ревел даже менее обыкновенного... Слова «Здесь, малютка» произнесены были так, что очень было ясно, что Гамлет сам их не понимает, и публика опять наградила артиста смехом, ибо ведь, сами согласитесь, очень смешно слово «малютка», по крайней мере, должно так думать, судя по смеху публики. В сцене клятвы Гамлет бегал очень эффектно, и слова:

А я пойду, куда влечет меня мой жалкий жребий,
Пойду молиться, —

были сказаны с завыванием, вероятно для придания им печального колорита.

Акт кончился. Я стал смотреть на моих соседей, и в ложе подле меня увидел мою московскую знакомку Поджогину, с дочкою. Раздосадованный и взбешенный, я был рад говорить хоть с ними. *Барышне* представление очень нравилось, — но я никак не понимаю, почему именно «барышни» считают своею обязанностью восхищаться Гамлетом. Что им в нем?

Начался второй акт: опять Полоний, и опять очень хорош, опять Офелия, и точно так же галантерейна... Потом обыкновенным гусиным шагом прибыл король и придворный штат за ним; я эту сцену, как и всегда, пропустил мимо ушей, потому что ее всегда и везде играют нечеловечески. Разговор принца с Полонием, где Гамлет, вполне углубленный в чтение книги, должен только вскользь, только отрываясь от ее страниц и отрываясь от преобладающего впечатления, отвечать на вопросы Полония, — без чего слова его покажутся безумием, хотя он менее всего безумен, — возбуждал вообще смех достойной публики, ибо достойный ее любимец сам понимал вещи «курьезно». Мне наконец стало досадно за недостаток самолюбия в актере, который доволен тем, что возбуждает смех словами, которые должны быть слушаны, по крайней мере, в молчании. Сцена с Розенкранцем и Гильденштерном в особенности меня возмутила; я видел перед собою человека, которому вполне чужда святыня человеческой души, который нисколько не сочувствует грустному взгляду Гамлета на человека и мироздание... Слова «Какое величие являет собою человек» были опрофанированы неуместным, диким голосом. Но грустный, отчаянный, полный страдания монолог: «Бог с вами, я один теперь»... Зачем я его слышал!..

Третий акт. Настала минута — «быть или не быть», — я готов был бежать из театра... И вообще-то этот монолог внутренней драмы не может быть выполнен, но тем более был он смешон при этой пошлой, бесстрастной физиономии, при этом плачевном завывании, заменяющем с удобностию место чувства и страдания. Но что скажу я о сцене комедии? о на-

тянутом ползанье змеею по сцене, о натянутом, резком, неприятном смехе, о пошлых фарсах. При слове «мышеловка» образованная публика хохотала!!

А сцена с матерью?.. Сцены нежные в особенности противны в устах этого актера; его всхлипывания просто отвратительны. Слова: «Покойной ночи, королева», тихие, грустные, вовсе не злобные, были по обыкновению поняты и переданы «курьезно».

В четвертом акте я отдохнул только, слушая музыку песен Офелии, где композитор[6] понял глубоко если не Офелию Шекспира, то, по крайней мере, момент безумия и судьбу бедной девушки! Лаэрт был отвратителен.

Но вот начался пятый акт. Боже! Как смешны и жалки казались мне эти намалеванные декорации, эта луна на проволоке, эти деревянные могилы, этот рисующийся Гамлет, не удостоивающий даже взять в руки черепа и поднимающий его на мече, этот смешно-плачевный тон восклицания «Бедный Йорик!». Как гадки мне были те люди, которые в силах смеяться глупым, животненным смехом над страшными, леденящими душу речами могильщиков, когда и эти речи, и появление на кладбище Гамлета с его вопросами о жизни и смерти, и погребение светлой, чистой Офелии, и вырвавшаяся наружу любовь к ней Гамлета — все наполняет сердце страданием невыносимым, после которого так понятно становится примирение смерти... И как сказаны были эти слова актером, о мой боже!

Мне стало слишком скверно... Я ушел и не дождался смерти Гамлета, а говорят, он славно дерется на рапирах.

На другой день утром я выехал из ***, соседки мои уехали прежде меня.

1845. Дек‹абря› 4.





«РОБЕРТ-ДЬЯВОЛ»

(ИЗ ЗАПИСОК ДИЛЕТАНТА)

I

Я жил еще в Москве, я был молод, я был влюблен.

Конечно, моим читателям вовсе не нужно было бы знать ничего этого; но, со времени *признаний* Руссо,[1] люди вообще постепенно усовершенствовались в цинической откровенности, и не знаю, от каких подробностей домашней и внутренней жизни пощадит человечество любой из современных писателей, если только, по его расчету, эти подробности разменяются на звонкую или ассигнационную монету... И он будет прав, разумеется, как прав капиталист, который не любит лежачих капиталов, даже более, чем капиталист, потому что всякая прожитая полоса жизни достается потом и кровию, в истинном смысле этого слова — и, по пословице «с дурной собаки хоть шерсти клок», что же, кроме денег, прикажете вы брать с общества за те бесчисленные удовольствия разубеждений, которыми оно так щедро дарит на каждом шагу? .. Да, милостивые государи! в наше время личный эгоизм нисколько не сжимается, il se gêne le moins du monde,* напротив, он нагло выдвигается вперед, как бы мелочен он ни был; он хочет, во что бы то ни стало, сделаться заметным, хоть своею мелочностью: оттого-то в наше время, богатое страданием, стало даже смешно и пошло говорить о страдании, оттого-то болезненная борьба заменилась цинически-презрительным равнодушием, и слово «*высокое чело»* обратилось в другое слово, более выразительное, и это — извините пожалуйста — «*медный лоб*». Иметь *медный лоб* — вот высокая цель современного эгоизма, хоть, конечно, не многие еще прямо говорят об этой цели. Хороша ли, дурна ли эта цель — судить не мне, да и не вам, милостивые государи, а конечно только Тому, пред очами Которого длинной цепью проходят мириады миров и века за веками, каждый с своим особым назначением, с своим новым делом любви и спасения...

«Возвратимся к нашим барашкам», т. е. к тому, что я жил еще в Москве, что я был молод и влюблен — и это будет истинное возвращение

* он ничуть не стесняется *(франц.)*.

к пасущемуся состоянию, ко временам счастливой Аркадии, к тем славным временам для каждого из нас, когда общественные условия не заставили еще нас отрастить когти и не обратили в плотоядных животных. Здесь, à propos de bottes,* никак не могу я удержаться и не заметить в скобках, что каждый из мирного, пасущегося, *домашнего* животного делается, смотря по своим природным наклонностям, *медведем* или *волком*; медведи обыкновенно очень добры, и только бы их не трогали, лежат себе смирно в своей берлоге, думая по-своему о превратностях мира сего, — волки же, как известно, нигде не уживаются.

Итак, я был еще мирным, домашним животным, тем, собственно, что, на грубом техническом языке скотных дворов называется сосунком, а на учтивом общественном — примерным сыном и прекрасным молодым человеком, — хотя чувствовал сильное поползновение отрастить когти...

Я любил... о! как я любил тогда, милостивые государи, — идеально, бешено, фантастически, эксцентрически — смело до того, что даже — о ужас! — позволял себе, в противность предписаниям родительским, просиживать целую лишнюю четверть часа после полночи, что даже — о разврат! — героически проповедовал, в стихах разумеется, презрение к общественному мнению, что даже — о верх нечестия! — писал стихи в месте моего служения, ибо я служил, милостивые государи, с гордостию мог сказать, что целых три года отслужил отечеству, целых три года — так, по крайней мере, значится в моем формулярном списке, потому что, по особенной доброте начальства, в этот формулярный список не вписывались периоды нехождения к должности, иногда значительно долгие.

Итак, я любил по всем правилам романтизма; любовь моя «не оставляла ничего желать», как говорят французы, — к довершению всего она была безнадежна и, следовательно, освещена тусклым байроническим колоритом. Безнадежна же была она потому, что я носил в себе всегда роковое сознание вечно холостой участи, что даже и во сне никогда не видал себя женатым.

Чего бы лучше, кажется? я любил и, к величайшему удовольствию, любил безнадежно. Но тем не менее я страдал самой невыносимой хандрой, неопределенной хандрой русского человека, не «зензухтом»[2] немца, по крайней мере наполняющим его голову утешительными призраками, не сплином англичанина, от которого он хоть утопится в пинте пива, но безумной пеленой, русской хандрой, которой и скверно жить на свете, и хочется жизни, света, широких, вольных, размашистых размеров, той хандрой, от которой русский человек ищет спасения только в цыганском таборе,[3] хандрой, создавшей московских цыган, пушкинского Онегина и песни Варламова.

И вот в один из дней масленицы 184. года больной от хандры, больной от блинов, которые я поглощаю дюжинами, или, точнее сказать, поглощал, потому что это относится к совершенно мифическим временам, — я лежал на своем диване, скучая, как только можно скучать от

* ни к селу, ни к городу *(франц.)*.

мысли, что перед вами чуть ли еще не полдня, в которые вам ровно нечего делать. В театре, как нарочно, давали «Льва Гурыча» [4] и какой-то балет; в том доме, где я во время масленицы — этих русских сатурналий — имел право, сообразно предписаниям родительским, быть два раза в неделю, — я уже успел быть два раза, и уйти туда в третий было бы решительным возмущением против домашних догм. Итак, я лежал, не предвидя ни конца, ни исхода этому состоянию, лежал без надежды и ожиданий, по временам только тревожно прислушиваясь, не звенит ли колокольчик, мучитель колокольчик, проведенный наверх снизу, возвещавший с нестерпимым треском и визгливым звоном час обеда, чая и пр.

Часов в пять мальчик мой подал мне книги и записку, по почерку которой я тотчас же узнал одну руку, бледную, маленькую руку, с тонкими, длинными и худыми пальчиками.

— Приказали кланяться-с да велели сказать, что сегодня вечером не будут дома.

Я с трепетом раскрыл записку, первую и единственную, которую получил я от этой женщины, — и перечитал ее несколько раз; искал ли я прочесть между строками или просто глазам моим было весело рассматривать эти умные, чистые, женственно-капризные линии почерка — не знаю; знаю только, что я перечитал несколько раз и... но было бы слишком глупо рассказывать читателям, что я сделал с запискою. А она была между тем проста и суха, как какое-нибудь отношение. «Monsieur, — гласила она, — veuillez bien m'envoyer le trio d'Osborne et de Berio; vous obligerez infinement votre affectuée...».* И только!

— Так их не будет дома? — спросил я моего мальчика.

— Нету-с.

— Где ж они?

— Не знаю.

Я опять начал перечитывать записку. Скука перестала мучить меня.

Через несколько минут на лестнице послышались чьи-то шаги.

Я поспешно спрятал записку и схватился за одну из множества разогнутых книг, лежавших на столе. Всегда так, с книгою в руках, с глубокомысленным взглядом, имел я привычку встречать разных господ, почти ежедневно являвшихся беседовать о мудрости. Кто бы это? — подумал я. Князь ли Ч **? — и нужно ли будет с видом глубокого убеждения рассуждать о политике. Н** ли? — и должен ли я в одно мгновение придумать какую-нибудь новую систему философии?

Двери отворились, и, против ожидания, вошел, однако, приятель мой Брага.

— Здравствуйте! — сказал я, бросая в сторону книгу.

— Здравствуйте! — отвечал он мне удушливым кашлем, вынимая сигару.

* «Сударь... не откажите в любезности прислать мне трио Осборна и Берио; вы бесконечно обяжете любящую вас...» *(франц.)*.

— Да полноте курить, — заметил я, вовсе, впрочем, не думая, чтобы он послушался моего замечания, и вовсе не из участия, всегда более или менее смешного, а так, чтобы сказать что-нибудь.

— Поедемте в театр, — начал Брага, залпом выкуривши четверть регалии.

— В театр? .. Да что вам за охота?

— Как что? да вас ли я слышу? .. Разве вы не хотите быть в «Роберте»?

— В «Роберте»? — перервал я почти с испугом, — да разве сегодня...

Брага не дал мне договорить и с торжествующим видом показал мне афишу.

— Едемте же скорее, — прибавил он. — Бертрамисты, я думаю, уже собрались.

Я оделся.

Через полчаса мы оба, Брага и я, входили в кресла.

— Господа, — сказал я, проходя мимо двух отчаянных бертрамистов, сидевших рядом в пятом ряду, — не отставать! К пятому акту переходите в первый ряд.

— Посмотрите на эту ложу, — сказал мне Ч**, указывая на одну из лож бельэтажа, занятую или, точнее, начиненную студентами.

— Вижу, ну что ж?

— Да то, что московский патриотизм сегодня в особенности сильно вооружится на петербургскую Елену.[5]

— А что вы скажете о ней, князь?

— Я? вы знаете, что это не мое дело... Впрочем, по-моему, elle est quelque fois sublime.*

— Touchez la,** — отвечал я ему, подавая палец руки, и стал пробираться во второй ряд.

— А! вы вечно здесь, — приветствовало меня с важною улыбкою одно звездоносное лицо, под начальством которого я служил или, лучше сказать, которое было одним из многих моих начальств. Это значительное лицо я, впрочем, очень любил: *оно*, говоря о нем с подобающим уважением в среднем роде, было очень умно и обязательно приветливо.

— Какой вы партии? — спросило оно меня с тою же улыбкою.

— Никакой, в<аше> п<ревосходительство>.

— Но, все-таки, pro или contra?

— Скорее pro, в. п., хотя в этом случае буду иметь несчастие противоречить вам.

Значительное лицо обыкновенно вооружалось на танцы петербургской Елены как на верх соблазна и на унижение искусства, но, несмотря на это, бывало в театре каждый раз, когда очаровательница кружилась воздушной Жизелью или плавала и замирала в сладострастной неге, вызванная из праха могил силою Бертрама... И тогда на важной физионо-

* она иногда бывает в ударе *(франц.)*.
** Попытайте счастья *(франц.)*.

мии значительного лица, всегда благородно спокойной, играла невольная улыбка удовольствия.

Потому при словах: «противоречить вам» я не мог сохранить ровности тона и, почтительно поклонившись, начал искать своего нумера, который был подле бенуара.

Я сел и достал из кармана трубку. Ложа подле меня была еще пуста. Капельмейстер махнул своим волшебным жезлом...

II

Отдаленный, таинственный, беззвучный раскат грома послышался в адской бездне; он был тих и грозен, как первые предвестники приближающейся бури, как шум сонмища духов, собравшихся восстать на Создателя. Он затих, и после страшной секунды молчания раздался раздирающий звук, голос хулы и отчаяния, нисходивший все ниже и ниже, до соответствующего ему в преисподней. То была целая история падшего духа — роковая, как создание, грустная, как мрак и смерть, быстрая, как молния, падшая с неба. Но звук, падший в бездну, еще раз глухо повторился в ней и, вечный житель вечного неба, начал восходить к нему тем же путем, тою же лестницею звуков, которою совершилось падение... Но когда достиг он своего прежнего пункта и, не остановясь на нем, устремился к иному родственному ему звуку, он был отвержен, и сотня различных инструментов страшным ударом возвестили приговор проклятия. И вновь в адской бездне послышались стоны страдания и падения и сменились потом звуками отчаянной борьбы. Однообразно звучал тот же голос падшего духа, стоном отчаяния призывал он с неба свою жизнь, свою любовь, — и снова слышался роковой, неизменный приговор, и сливался с злобным хохотом демона. Но вот как бы из иного мира, в ответ на заклинание и призыв, послышались плачущие тоны, полные воспоминаний, раскаяния, примирения, грусти. Они были встречены хохотом хулы и страдания, и голос начал бороться с этими тонами, и они исчезли в массе странных, резких, свистящих звуков. Ад торжествовал свою победу; сильнее и сильнее раздавался голос, сливаясь с свистом бури и с резкими противоречиями страстей, — но снова истекли из этого хаоса светлые звуки, те же, что и прежде, но более торжественные... Они побеждали, голос глухо звучал в бездне, — но он снова собрал все силы и, как огонь, разрушивший последние преграды, поднялся до неба... И вновь зазвучал приговор, зазвучал громовым, неразрешенным диссонансом... Совершилось!.. Драма кончилась непримиренная, неразгаданная, как участь человека.

Зашумела безумная оргия — но и среди ее веселого безумия слышались чьи-то таинственные стоны. Они смолкли. Раздалась песня вину и веселью. Занавес поднялся...

Вот они, веселые рыцари юга, чада Сицилии и Прованса, с песнею вину и любви на устах — они, весело и разгульно порхавшие по жизни, они, поборники кулачного права и верные паладины избранной краса-

вицы... Вот и Роберт, простодушный сын дикой Нормандии, рыцарски честный, добродушный, доверчивый... Но за столом против него сидит другой. Мрачный, печальный, с печатью проклятия на челе, но прекрасный, но величавый в своем падении — он прикован взглядом к Роберту, и в взгляде этом так много страдания, так много любви, так много иронии. Он молчит... изредка только звучный, мужественно-сильный голос соединяется с песнью оргии... Посреди этих разгульных тонов раздаются иные; так и слышно, кажется, что эти звуки навеяны иной страною, иным небом; они просты, — но простота эта причудлива, как простота средневековых легенд... И действительно — это пилигримы, и один из них начинает свой наивный рассказ: «Ich komme aus der Normandie».* И потом он поет страшную балладу, в простых и почти веселых звуках которой слышится невольно что-то иное, леденящее душу, так даже, что и комический ужас трубадура и рыцарей при словах: «Der Teufel gar, der Teufel gar» ** — переходит в стон настоящего ужаса. Роберт оскорблен. Трубадур у ног его; опять раздается новый мотив: «Ich komme aus der Normandie, mit meiner schönen Braut»,*** — и за ним исполненный цинизма и суровости речитатив Роберта, на который не менее цинически отвечает хор рыцарей... И вот влекут Алису... Взгляните на нее: она вовсе не хороша, может быть, но в чертах лица ее так много девственной чистоты русых дочерей Севера, но так жалобно звучат ее мольбы среди неистового хора... Зато посмотрите, с какою иронием глядит на эту сцену Бертрам!.. Но Алиса узнала Роберта, она спасена: бешеная оргия смолкает в отдалении и повторяющимися звуками...

Раздается ritornello **** каких-то свежих, благоухающих, как цветы, стеклянных звуков. Это ritornello — душа Алисы — чистая и светлая, как сама природа. И весь разговор этих двух простых чад суровой Нормандии полон патриархальной простоты... Но кто это стоит за деревьями? Это опять он, опять Бертрам, колоссальный, недвижный, как изваяние, с неизменною улыбкою горькой иронии, с гордо поднятым под тяжестию проклятия челом. Это снова он — и таинственным ужасом обвевает оркестровка рассказа Алисы, тем ужасом, который невольно чувствуешь в час ночи от шелеста дерев и голосов кузнечиков в траве, ибо, в самом деле, в оркестровке слышен стук кузнечиков, — да и нельзя иначе; Алиса — свежий цветок, дитя непосредственных, природных впечатлений — формы ее чувствований так же просты, как она сама...

Она убежала — воздушная гостья, и Роберт опять глаз-на-глаз с своим демоном. Полный еще свежести и благоухания, он в эту минуту чувствует, что его тяготит влияние Бертрама... «O, Robert, — начинает тот, — zehnmal mehr als mein Leben, nie wirst erfahren du — wie sehr ich dir

* «Я прибыл из Нормандии» *(нем.)*.
** «Это же дьявол, это же дьявол» *(нем.)*.
*** «Я прибыл из Нормандии, с моей милой невестой» *(нем.)*.
**** ритурнель, припев *(итал.)*.

ergeben...».* Демонскою, уничтожающею любовью отзывается это признание, страстное, таинственное, отрывистое. И чудно хорош был Бертрам в эту минуту, чудно хорош, потому что не позволил себе ни одного движения внешнего, человеческого. Это был тот же изваянный образ, с сосредоточенным в груди страданием, с молниеносным и грустным взглядом.

Зала потряслась от рукоплесканий; я не мог перевести дыхания; нечто обаятельное было в этих страстных тонах, в этом бархатно-органном голосе, в этой фигуре, мрачной, неподвижной, прекрасной, в этом прерывистом, скором, нервною дрожью отзывающемся речитативе...

Я сам дрожал, как в лихорадке, — я прикован был к этому колоссальному, страшному, неотразимо влекущему образу. И в сцене игры я не видал бесновавшегося Роберта. Я видел только его, с горькою ирониею на устах, я слышал только из груди исторгавшиеся: «Ja, du bist mein und singst mit mir...».** И потом, когда это страшное явление встало между разъяренным Робертом и рыцарями, все так же спокойное, грустное, непреклонно-гордое, — мной овладел почти панический страх.

Занавес упал при замиравших звуках сицилийского напева. Бертрамисты собрались к рампе и вызывали своего любимца.

Я взглянул на ложу бенуара и почти оцепенел от изумления. В ней сидели все знакомые лица, и между ними резко выдавался тонко-очерченный, до невозможности прозрачный профиль, с голубыми лихорадочно-яркими глазами, с детски-насмешливою улыбкою. Чудно хороша была она в этот вечер, чудно хороша в черном бархатном платье, с венком из белых роз на темно-русой головке! В ней было так много грусти, ее бледные пальцы подлиннели так заметно...

Я был под влиянием божественной поэмы, и она слилась для меня с благоухающею, светлою Алисою маэстро... Я понял, что недаром каждое появление ее в маленькую залу одного дома приводило мне всегда на память ritornello речитатива Алисы и Роберта.

Почти весь второй акт я проговорил с нею, и только вскользь, как бы сквозь сон, слышались мне обаятельные жалобы Изабеллы; но когда в толпе рыцарей снова явился Бертрам, немногие слова его под такт марша турнира повеяли на душу леденящим ужасом. — Занавес вновь упал под чудные звуки турнира, этой полной, веселой, смелой рыцарской поэмы.

Я вышел в фойе.

— Ну что? — спросил я одного моего приятеля, которого не видал с неделю, — ты pro или contra Елены?

— Контра, братец, контра — уж какая будет контра! — отвечал он с радушным смехом. — *Наших* собралось много.

— С чем вас и поздравляю, — сказал я.

---

* «О Роберт, (я тебя люблю) в десять раз больше, чем мою жизнь, ты не поймешь, как я к тебе привязан» *(нем.)*.

** «Да, ты мой и поёшь со мной» *(нем.)*.

— Да что, братец! — продолжал он, — как же ее с С** сравнивать.[6]

— Точно нельзя, — подхватил господин зрелых лет с Анною на шее, — помилуйте! — обратился он ко мне, — в ее танцах нет нисколько благопристойности... В «Фенелле»,[7] например, вы ее видели? Просто...

Я не дослушал и ушел. На пути к моим креслам опять я столкнулся с значительным лицом, которое обязательно взяло меня за пуговицу фрака и поправило свой галстук.

— Я говорил сейчас только, — начал он, — об искусстве танцев. Чтобы танцы входили в область изящного, нужно, чтобы они были пластично-благородны.

— Да, как античные изваяния, в. п.

— Гм! — сказало лицо, погладив подбородок, с особенной ему свойственной грацией, потому что, в самом деле, в этом человеке было что-то чрезвычайно грациозное... Вы так думаете?..

— Да, в. п.... античные изваяния чисты и целомудренны, и между тем они наги. Прикрывать наготу цветами придумал жеманный разврат периода Возрождения.

— Итак — вы pro! — спросило меня лицо, осклабясь и прищуря глаза, как кот.

— Ни pro, ни contra, в. п.

— Т. е. amicus Plato...*

— Sed magis amica veritas...**

Я поклонился и пошел к своему месту, потому что уже началась интродукция третьего акта с ее странными, ломаными звуками, комически страшными и относящимися к дуэту Бертрама и Рембо... Но дуэт этот всегда пропускали на московской сцене, хотя он необходим в поэме, как необходимы гротески в готическом храме. Комизм его дышит ярким сарказмом, ибо до ничтожества мал является человек в этой схватке с холодно-насмешливым демоном.

Подняли занавес. Вот он, как привидение, стоит вдали, прислушиваясь к дикой оргии ада, запечатленной цинически-развратным и вместе глубоко-отчаянным весельем. Но он уже не тот холодный, грозный, сверкающий очами демон; на нем налегло всей силой отчаяние, в этих звуках слышно ему тяготеющее над ним роковое проклятие, и черты, и поза его проникнуты болезненным страданием. Но он так же мрачно неподвижен, он тот же демон... Какою страстною любовию звучит его гордый голос при словах:

Für den Glanz der erblichen,
Den Ruhm der entwichen...
Warst du, warst du mein Trost mir geblieben.***

---

* Платон друг... *(лат.)*.

** Но больший друг истина *(лат.)*.

*** За померкший блеск,
За ушедшую славу
Ты остался мне утешением *(нем.)*.

Какою сверхъестественною силою одушевлен он, вызывая на борьбу небо и ад! .. Да, в это мгновение артист был истинно велик! .. Он не прибегал ни к каким форсированным жестам, он передавал только глубоко почувствованные ощущения, и потому не побежал, как безумный, после этих адских стонов, а пошел тихо, падая под бременем проклятия.

Ад затих. Религиозно-торжественно раздалась гармония целого мироздания, тихая, ровная, светлая; природа почуяла приближение существа, под стопами которого должны расцветать цветы.

И вот, едва ступая легкою ногою, прислушиваясь к отдаленному шуму, явилась она, светлая Алиса... Что мне за дело, что артистка не вполне соответствовала идее композитора? Я слышал только чистый женский голос, я внимал только, забываясь, как ребенок, простые, ребячески-веселые звуки ее песни... Бесконечною прелестью девственности, младенческою чистотою веры благоухает эта песня. Но вот опять зашумел ад, опять раздались раздирающие, развратные, томительно-отчаянные звуки... Бедное дитя, бедная Алиса... Но чего же ей бояться? «Gott ist mit mir»,* — говорит она с детскою доверенностью, и опять льется из уст ее простая сельская песня, и опять смолкает ад, и снова слышен только ее голос в целом мироздании, обливающемся розовою зарею при каждом ее шаге, один ее голос, к которому изредка только присоединяются слышные по временам в оркестровке голоса природы.

Взгляните, вот она упала на колена. Бедный ребенок, она не может совладеть с своим ужасом, и льется та же песня, но принявшая религиозную настроенность молитвы, и с этой молитвой соединяется целая природа, как бы явившаяся на помощь своему лучшему цветку. В оркестровке так и слышно, как одна и та же мысль проходит по растениям, по волнам реки, по горам. Снова зовут Роберта в адской бездне... и оживотворенная молитвою Алиса бросается к тому, что недавно еще было для нее предметом ужаса, и падает у креста, уничтоженная появлением Бертрама.

Приговор произнесен, воля рока отяготела над падшим духом, и он вырывается из бездны, пораженный проклятием.

Но он опять на земле... Посмотрите, с какою рыцарскою galanterie ** подходит он к Алисе... «О, Alice, was ist dir...».*** Каким обаянием библейского змея дышат в устах его слова: «Komm zu mir».**** Да! это он, соблазнитель Евы, вкрадчивый, прекрасный в самом падении, и ему нет сил противустоять.

Но разве Алиса — женщина? Это — цветок, это — стеклянный звук, чуждый страстей и страданий, доступный только чувству стыда и робости. И демон встает перед нею во всем ужасающем величии, и начинается страшная борьба звуков, полная судорожного трепета... Еще не-

---

* «Со мною бог» *(нем.)*.
** галантностью *(франц.)*.
*** «Алиса, что с тобою...» *(нем.)*.
**** «Подойди ко мне» *(нем.)*.

сколько тактов борьбы, и вот уже она, слабое создание, лежит на руке его, и он с насмешливой злобою поет над нею: «Du, zarte Blume! ..».* В этой позе, в этих органно-глубоких звуках артист дошел почти до nec plus ultra** трагического величия, и когда, при приближении Роберта, раздалась последняя, до бесконечности низкая и между тем все так же бархатная нота, я готов был вскочить с своего места.

И потом, как грозно-таинственно, как лихорадочно-трепетно звучал этот голос в рассказе Роберту о пещере Розалии, каким адским хохотом заливался он в знаменитом дуэте!

Облака закрыли сцену при последних тактах дуэта. Поднялись какие-то могильные, дрожащие, грустные звуки...

Пещера Розалии. На ночном небе мелькают светила... Голос сатаны повелительно зовет их с неба на землю: торжеством, отчаянием веет это призывание, оканчивающееся, впрочем, горестным сознанием: «Ich verdammt so wie ihr...».*** Опять почти невыносимо высок был артист в этом монологе!

Вот блудящие огни засверкали на гробах, вот под однообразно унылые звуки начали лопаться крыши... Вот они, дочери греха и соблазна, обаятельные, страстные, бесстыдные. Вот льются какие-то прыгающие, беснующиеся, адские звуки ужасающей, могильной, богохульной радости, они собрались все, легкие, воздушные тени, они снова хотят жить и наслаждаться... Но они ждут кого-то.

И под звуки бесовской, безумной музыки пронеслась по сцене она, верховная жрица наслаждения, вавилонски-сладострастная грешница... О посмотрите, посмотрите, как хороша она, как нага она, как она возвышенно-бесстыдна, как негою и томлением дышит ее каждое дыхание! Да! это искусство, это искусство, принесшее в жертву ложную жеманность, это апотеоза страсти, апотеоза томления — в очах безумство, в каждом движении — желание. Посмотрите, с каким умоляющим видом молит она Роберта, как жадно пьет она кубок, как нежно-сладострастно подает его. Посмотрите, как потом, под томительные звуки виолончеля, под эту вакханально-нежную, под эту обаятельно и тонко-развратную музыку, она то плывет в море сладостных грез, то с пылом желания стремится на грудь Роберта, то манит и зовет, то замирает в безумном, неистовом лобзании... О да! это искусство! честь и слава искусству!

Но вновь запрыгали бесовские звуки... из бездн вырвались духи. Час ваш пробил, воздушные тени. А она — царица теней, посмотрите, как отчаянно вырывается она из когтей бесов, какой змеею ускользает она, но тщетно, тщетно... Час твой пробил, приговор произнесен над тобою, жрица страстей!

Оглушительный гром рукоплесканий потряс залу театра. Искусство торжествовало.

---

* «Ты, нежный цветок! ..» *(нем.)*.

** крайней степени *(лат.)*.

*** «Я так же проклят, как и вы...» *(нем.)*.

Я вышел, чтобы отдохнуть от впечатлений и чтобы не видеть четвертого акта, исполняемого всегда убийственно, — и возвратился тогда уже, когда оркестр начал хор пустынников.

Страшное действие производила на меня всегда интродукция перед явлением Роберта и Бертрама; в этих ломаных звуках высказалась вся завязка драмы. Роберт влечет Бертрама — и начинается борьба неба и ада, религиозных песней с проклятиями демона. Бледный, истерзанный, неподвижный Бертрам полон рокового сознания гибели. Но — какою сатанинскою любовью дышит каждый звук его, как стесняют грудь его слова: «Wähle nunmehr, Robert...»,* его признание, его мольбы... «Приговор произнесен!» — говорит Роберт, — появляется Алиса.

Я затаил самое дыхание. Декорации исчезли передо мною; в каком-то тумане виднелись и светлый дух, и опаленный проклятием демон... Апокалипсическая, неземная драма совершалась передо мною... артист был выше всех трагиков в мире, когда раздирающим голосом, изнеможенный, истерзанный, на коленях, не пел, но стенал скорее:

Mein Sohn, mein Sohn, lass trostlos mich nicht sterben,
Seh, ich knie vor dir...**

Посыпались адские диссонансы борьбы, страдания, отчаяния, молений... Я почти выбежал из театра, в моих ушах звучало «Seh, ich knie vor dir...». Мне не хотелось после этого слушать довольно мескинного[8] окончания величайшей из трагедий.

* «Выбирай сейчас же, Роберт» *(нем.)*.
** «Сын мой, сын мой, не дай мне умереть безутешным,
Смотри, я на коленях пред тобою» *(нем.)*.





ОДИН ИЗ МНОГИХ

Эпизод первый

ЛЮБОВЬ ЖЕНЩИНЫ

— Savez-vous qu'est ce que c'est que la vertu?
— La vertu c'est le front d'airain.

*Correspondance inèdite.**

В саду Кушелева-Безбородко[1] играл оркестр Германа,[2] старого, но вечно живого Германа, которого Гунгль вытеснил из Павловска. Народу было очень много, тем больше, что вечер стоял чудесный. По обыкновению, было больше охотников слушать музыку даром, т. е. за́ оградой, нежели в пределах ограды; впрочем, народ этот принадлежал или к обыкновенным жителям дачи, или к обыкновенным фланерам петербургским, которые садятся на Невском в первый свободный дилижанс и едут куда попало; в этом есть очень много наслаждения, которое, не знаю, испытали ли мои читатели.

Было уже восемь часов. Раздался оглушительный и неприятный крик огромного насекомого, которое зовут дилижансом.

Дверь ограды отворилась и оттуда вышел человек. При появлении этого человека одна из гувернанток, которых всегда так много на дачах, высокая, длинная и худая, приставила к глазу лорнетку. Ее примеру последовала и другая, низенькая и довольно толстая, с которой любезничал какой-то поручик.

Только, впрочем, и было замечательного при выходе из ограды этого человека.

Одна из гувернанток скоро обратилась с лорнетом в другую сторону, другая заметила сквозь зубы:

— On le voit très-souvent.**

---

* — Знаете ли вы, что такое добродетель?
— Добродетель это лик из бронзы.
Неизданная переписка (франц.).

** — Его часто видать *(франц.).*

— C'est un habitué,* — подхватил офицер.

Разговор тем и кончился.

Человек, который вышел из-за ограды, вероятно на призыв дилижанса, был довольно высок ростом и одет очень изящно, хотя немного странно, немного эксцентрически. На нем был черный бархатный однобортный сюртук, застегнутый почти доверху, небрежно повязанный легкий шелковый платок с большими отложными воротничками; черные перчатки обтягивали его до невероятности маленькую руку; в правой была у него палка огромной величины с искусно вырезанным черепом из слоновой кости вместо ручки. Черная бархатная фуражка без козырька, густая черная борода, довольно живописно падавшая на голландскую рубашку, и гладко остриженные волосы придавали ему какой-то особенный, оригинальный вид. В его физиономии, очень выразительной, не было ничего особенно неприятного, но бледные, тонкие губы, сжатые в вечную улыбку, но что-то слишком дерзкое в выражении больших черных глаз возбуждали чувство невольной антипатии во всем петербургском народонаселении, так привыкшем к уровню однообразных вицмундирных физиономий, так искренно неприязненном всему, что смеет носить печать какого-либо нравственного превосходства. Увы, таковы все мы от первого до последнего; во всяком немного выдающемся выражении физиономии, во всяком непозволительно резком очертании профиля мы готовы видеть всегда что-то зловещее, что-то враждебное нам, чадам посредственности; мы хотим непременно уровня, хотя бы уровня безобразия.

Человек в черном бархатном сюртуке пошел действительно к месту отправления дилижансов.

Когда он пришел туда, места были уже почти все заняты, и на остальные было множество претендентов.

Но он вынул из бокового кармана сюртука билет и, показавши его кондуктору, беспрепятственно вступил на подножку.

Пробираться к месту было ему, кажется, довольно трудно, потому что места были заняты дамами или почтенными чиновниками, которых физическая оболочка любит, как известно, простор.

Наконец он пробрался в самый угол и сел, не обращая ни на кого особенного внимания. Он два раза зевнул, сжал губы с особенно неприятным чувством и обратился к окну.

Я сказал, что в дилижансе сидели все чиновники и дамы, вероятно, супруги или дочки чиновников, как можно было предполагать по выражению лица, по цвету глаз, по форменным очертаниям профилей.

Все это были добродетельные матери и верные супруги, настоящие или будущие.

Но подле моего незнакомца сидели мужчина и женщина, по-видимому, не принадлежавшие к чиновному люду.

Мужчине было лет 28; его лицо, чрезвычайно свежее и нежное, было благородно и открыто, в голубых глазах светилось много добродушия и

* — Это завсегдатай *(франц.)*.

ума; вообще он был бы чудно хорош, если б был женщиной, ибо тогда не так ярко выступала бы дюжинность, повседневность его природы. Одет он был очень порядочно и просто, хотя уже слишком изысканно просто, слишком, так сказать, по-московски просто, именно по-московски — другого слова я не придумаю для этой заезжей простоты, которой порядочное, почти аристократическое чувство запрещает брать пример элегантности с посетителей кондитерских Невского проспекта, но которая попадает часто в другую крайность. Он был с головы до ног в черном, и воротнички de rigueur * ни более, ни менее как на $^1/_{10}$ пальца выдались из-за черного атласного галстука.

Женщина... ибо я не хочу назвать ее казенным словом «дама», этим несносным именем, добиваясь которого чиновницы часто уничтожают в себе всю свою природную женственность, — женщина, говорю я, была закрыта черной флеровой [3] мантильей, и потому я могу сказать несколько слов о ее лице, но и то только несколько слов; черты этого лица были слишком тонки, даже до болезненности тонки; не одна природа так ярко очертила эти синие жилки на прозрачном облике, не одна природа так фосфорически осветила эти голубые большие глаза, создала эти бледные длинные худые пальцы, сообщила что-то мягкое, сладострастное и вместе утомленное положению этого слабого тела.

— Который час, Жорж? — обратилась она усталым тоном к сидевшему подле нее мужчине.

При звуках этого голоса, как-то странно, как-то ребячески резкого,[4] незнакомец, неподвижно смотревший в окно, невольно полуоборотился.

Тот, к кому относился вопрос, достал часы из кармана жилета и, поглядевши на них, сказал:

— Huit heures et demie, Marie.**

Дилижанс тронулся. Незнакомец стал барабанить пальцами по стеклу кареты. Молчали только он и его соседи. Все остальное рассуждало довольно шумно о новом начальнике отделения и о счастии семейной жизни.

Незнакомец сидел неподвижно, грустно смотря на мелькавшую перед ним бедную петербургскую природу.

— Мне душно, Жорж, — сказала опять его соседка мужчине, который, по всем вероятностям, должен был быть ее мужем.

Незнакомец, предупредивши ответ его, машинально опустил стекло кареты. В эту минуту он оборотился совершенно, и при первом взгляде на него тот, которого женщина звала Жоржем, почти вскричал:

— Званинцев!

Незнакомец спокойно протянул ему руку с тою же неизменною, сжатою улыбкою, хотя глаза его засветились на минуту ярче обыкновенного.

— Ты ли это? какими судьбами? — продолжал с радостью Жорж.

— Судьбами очень простыми, — полушутливо отвечал Званинцев; —

---

* пунктуально *(франц.)*.

** — Полдевятого, Мари *(франц.)*.

скорее я вправе спросить тебя...— Он не договорил и взглянул на его жену, но взгляд этот был так быстр, что мог быть замечен только той, к кому он относился.

Что касается до нее, она слишком заметно вздрогнула в первый раз, когда муж ее произнес фамилию незнакомца, и, бледная, как бы еще более ослабевшая, сидела, склонивши голову. Только украдкою, на лету почти, был пойман ею беглый взгляд Званинцева, и потом она снова потупила в землю свои яркие глаза.

И что-то странное отяготело над этими тремя лицами, отяготело даже над мужем, которого веселое восклицание сменилось принужденной, суетливой радостью, и самый невнимательный наблюдатель прочел бы целую, может быть, давно минувшую повесть на этих трех лицах, на суровом, грустном, гордом челе Званинцева, в болезненно светившихся из-под опущенных ресниц глазах женщины, в неловких, несвязных речах ее мужа.

— Вот моя жена, Званинцев,— сказал наконец муж с натянутою улыбкою,— вы, надеюсь, знакомы?

Званинцев молча наклонил голову так, что это было вместе и утвердительным знаком и поклоном.

Она на него взглянула... В скорбном ее взгляде отразился тяжелый упрек.

Но Званинцев встретил его покойно. Глаза его бестрепетно впились в нее,— и она опустила взгляд первая.

— Как же тебе не стыдно, Званинцев?— начал муж, но замялся, встретив его спокойный, неподвижный взор.

— Чего?— равнодушно спросил его Званинцев.

— Ты знал, что я здесь,— продолжал муж.

— Вовсе не знал,— отвечал тот,— но кстати: давно *вы* из Москвы? Вопрос этот ясно относился к мужу и жене.

Но ответа на него не было, потому что вслед за этим отворились дверцы дилижанса, остановившегося на одном из мостов при въезде в город,— и знакомый Званинцева рад был случаю обратить внимание на новоприбывшее лицо.

Жена его не поднимала глаз.

Званинцев также склонил голову, сжавши двумя руками костяной череп своей палки.

В дверцы дилижанса вошел молодой человек, лет 18-ти, с длинными мягкими белокурыми локонами, падавшими на плеча, одетый довольно пестро, но чрезвычайно мило и грациозно. При первом взгляде он показался бы вам прекрасной женщиной, надевшей из прихоти мужской костюм; так был нежен цвет его лица, еще не изрытого страстями, так бархатны и влажны были его темно-голубые глаза,— но, вглядевшись пристально в угловатое очертание его висков, в длинный чисто германский овал лица, вы нашли бы в нем чрезвычайно редкий мужеский тип... В его движениях было много еще почти девической стыдливости, много робости, происходящей от молодого, смиренного чувства недосоздавшейся

природы, хотя вместе с тем его лицо светило благородною гордостию. Он был в той поре жизни, когда не доверяют себе и верят другим, когда благородная природа жадно стремится к совершенству и готова мучиться, проклинать, пожалуй, даже презирать себя за слабость и верить глубоко в существование избранников, которым доступно созерцание совершенства, в существование вождей, озаренных светом неба, вождей, за которыми должно идти, если нужно, в самую бездну. И потому его прекрасный лик еще дышал доверием ко всему и ко всем, еще не был сжат гордостию, не признающею ничего, кроме себя в мире.

По ногам чиновников и по платьям чиновниц он протеснился в соседство к Званинцеву, на незанятое подле него место, и сел на него, не обративши особенного внимания на физиономию соседа, которой, впрочем, и нельзя было хорошо видеть, потому что начинало уже темнеть.

Но Званинцев поднял голову — и почти тотчас же обратился к нему.

— Здравствуйте, Севский, — сказал он ему.

— M-r Званинцев! — отвечал тот с каким-то неприятным чувством, и как бы нехотя протягивая ему руку, обтянутую желтой перчаткою.

— Мы вечно встречаемся, — с легкой иронией заметил Званинцев.

— Вечно! — повторил почти с досадою Севский.

— Да... — продолжал Званинцев, улыбнувшись, — и там, где мы встречаемся... Но, кстати, — перервал он, не докончив своей фразы, — здорова ли ваша матушка?

Это *кстати* имело, вероятно, тайную связь с неоконченною фразою, потому что молодой человек сказал обычное «покорно ва́с благодарю, слава богу» изменившимся от досады голосом.

Званинцев очень нецеремонно засмеялся и оставил молодого человека рвать свою перчатку.

— Послушай, Воловский, — обратился он к своему московскому знакомцу: — когда тебя *находят* дома?

— Дома? — отвечал тот с худо скрытым замешательством и взглянул на жену, которая побледнела слишком заметно. — Дома? — продолжал он, стараясь выйти из своего неловкого положения, — но, любезный друг, всегда, т. е. почти всегда, хотел я сказать...

— Я спросил тебя потому, что мне хотелось бы к тебе заехать, — сказал Званинцев, глядя пристально на его жену.

— Очень буду обязан, — перервал муж.

Ужасное положение, когда нельзя, когда неприлично отделаться от посещения человека, которого видеть у себя неприятно.

— Хотя, право, — продолжал тихо Званинцев, — я не знаю, когда я успею к *вам* заехать.

Молодая женщина подняла на него взгляд глубокой, стесненной грусти.

— Я сам у тебя буду, — сказал Воловский, вероятно, проклиная внутренно визиты и контрвизиты. — Где ты живешь?

— На Большой Мещанской,[5] в доме под № 14, — отвечал Званинцев.

Дилижанс остановился еще на одном мосту.

— Кажется, нам пора выйти, Marie? — обратился Воловский к жене.

Та медленно встала.

Званинцев пожал руку мужу и потом протянул руку жене.

Нерешительно и робко подала она ему свои бледные пальцы, и всякий третий мог бы видеть, как они дрожали в его руке.

Он крепко пожал их, эти бледные пальцы, и, устремив на нее долгий почти испытующий взгляд, сказал громко и резко:

— Я к вам буду.

К кому относились эти слова? Бог знает.

Но в ответ на них она послала ему взгляд, полный болезненного упрека, и, опираясь на руку мужа, вышла из дилижанса.

Званинцев долго смотрел ей вслед, сжимая череп своей палки. Потом, как бы опомнившись, обратился к своему соседу, с вечно неизменною сжатою улыбкою.

— Давно вы были у Мензбира?

— В последний раз мы были с вами вместе, — отвечал тот, скрывая досаду.

— Лидия заметно подрастает, — продолжал равнодушно Званинцев.

— Кажется, — сухо сказал Севский.

— Вы, вероятно, давно это заметили? — спросил Званинцев, не заботясь скрыть насмешливость своего вопроса.

— Почему же я, а не вы? — грубо возразил молодой человек.

— Мне некогда, вы это знаете, я всегда играю.

— И, *кажется,* счастливо, — перервал Севский, сделавши особенное ударение на слове «кажется».

— Да, в последний раз я выиграл пять тысяч у этого барона... как бишь его? — совсем забыл его имя... — ну вот у того, который всегда привозит что-нибудь Лидии.

Севский вспыхнул.

— Очень весело иметь хорошенькую дочку, — продолжал равнодушно Званинцев, — этот Мензбир, право, пресчастливый человек. Как вы думаете?.. Да, скажите, пожалуйста, кто была ее мать, гречанка, что ли? Вам это должно быть известно.

Севский не отвечал. Дилижанс остановился на Невском.

— Пойдемте вместе, — сказал Званинцев Севскому, выходя из дилижанса, — нам по дороге.

— Нет, — сухо отвечал тот, — я еще зайду к одному знакомому.

— Так поздно?.. Что же скажет ваша маменька? — спросил Званинцев с явным сарказмом.

Но Севский был уже в десяти шагах от него.

Званинцев грустно улыбнулся вслед ему и повернул на Мещанскую.

Говорят, в Петербурге очень весело зимою — может быть! Я не решаю этого вопроса, потому что вообще плохой судья в веселье; но что я знаю слишком хорошо, так это то, что летом в Петербурге необычайно

скучно, особенно тому, кого не благословил рок службою в какой-нибудь канцелярии... Театров нет; ездить на дачи не стоит хлопот, потому что там точно так же играют в преферанс; в кондитерских народу мало, и только в одной из них каждый вечер толкуют об Англии и Франции,[6] о Невском проспекте и т. п.

Там есть всегда бессменные члены, и, когда вы ни придете, вы всегда найдете там седого человека с очень умной и насмешливой физиономией, — и моего приятеля *** с мефистофелевскою улыбкою на тонких губах, с болезненно-искаженными чертами, с сгорбленною и усталой походкой, с цинизмом в каждой мысли, в каждом слове, в каждом движении, с вечно злыми и страшными остротами, с вечными аневризмами сердца и боязнью за драгоценную для человечества жизнь, — и другого моего приятеля ***, которого благородная физиономия больше и больше покрывается густым слоем флегматизма, и низенького толстого человека с лицом птицы — великого мастера круглого биллиарда, спокойно поощряющего сподвижников искусства.

Но утром и в этой кондитерской очень мало народу. Один мой приятель циник сидит иногда в угловых креслах и читает новую «Presse» да по временам бросает ее с досадою, говоря будто бы про себя: «Скверно на свете жить!».

Раз — это было в светлое, довольно раннее летнее утро — в кондитерскую вошел или, точнее, вбежал уже знакомый моим читателям Севский. Он быстро подошел к прилавку и спросил какой-то конфеты-карикатуры, которой налицо не оказалось и за которой надобно было послать в другую кондитерскую.

— Warten sie nur einen Augenblick! * — сказал ему прислужник.

— Jawohl! ** — отвечал Севский и, положив соломенную фуражку, стал ходить по первой комнате; потом, сбросивши свое легкое пальто, отворил дверь в другую и вошел в нее.

Спиною к нему сидел человек в черном бархатном сюртуке, по очертанию гладко остриженной головы которого ему нетрудно было узнать Званинцева.

— Вечно? — сказал Севский почти вслух и хотел уже затворить дверь; но Званинцев, услыхавши шум за собою, оборотился к нему с живостию и засмеялся.

— Да, вечно, вечно, мой молодой друг, — сказал он, протягивая ему через стул руку. — Вечно, везде, где бы вы ни были, вы меня встретите; таков рок.

Озадаченный этой насмешливостию, но смущенный сильно тем, что он дал вырваться из себя слову, которое, по всем расчетам, должно было остаться на дне души, молодой человек машинально пожал протянутую ему маленькую и белую руку и тотчас же почувствовал всегда неприят-

---

* — Подождите минуточку! *(нем.)*.
** — Конечно! *(нем.)*.

ную ему манеру Званинцева пожимать указательным пальцем чужой пульс.[7]

— Да, таков рок, — повторил Званинцев, не выпуская его руки и продолжая щекотать его пульс указательным пальцем, впрочем, вовсе уже не насмешливо, а скорее важно и холодно. — Послушайте, — сказал он, вперивши в молодого человека неподвижный, сильный, магнетический взгляд, — вы очень меня ненавидите? А? признайтесь по совести, — ведь очень? — не правда ли?

И, говоря эти слова, он положил его руку на ладонь своей левой руки и, гладя правою нежную и мягкую руку Севского, глядел ему в глаза с каким-то скорбным странно-умоляющим и вместе обаятельным выражением. Молодой человек молчал, опустивши глаза в землю; на его щеках пробился огнем румянец стыда.

— Ну, да... оно и понятно, — продолжал Званинцев, — вам велели меня ненавидеть? — И он холодно засмеялся.

Севский вспыхнул и с негодованием выдернул из рук Званинцева свою руку.

— Я вас развращаю, не правда ли? — говорил Званинцев, пристально смотря ему в лицо с насмешкою. — Ваша маменька...

Он остановился, ожидая, какое действие произведет это слово: он вонзился взглядом в свою жертву, как тигр, готовый к вечной обороне.

Натура Севского была не из тех слабых натур, которые покоряются ласковому слову: он ненавидел всякое наставничество, хотя бы в самых тонких, обаятельных формах.

Он отступил... он побледнел внезапно, как бывает со всяким человеком слишком нервного сложения.

Огненный взгляд Званинцева не упускал из виду ни одного его движения.

— Иван Александрович, — сказал наконец молодой человек, сжавши физиономию, но дрожащим от гнева голосом, — кто дал вам право говорить мне дерзости? Что вам от меня нужно?

Званинцев быстро прислонился спиною к стулу и смотрел на него, как смотрит художник на прекрасное произведение искусства.

— Ничего, — сказал он потом медленно, отвечая на вопрос, — я вас люблю.

— Я не хочу вашей любви, — почти вскричал молодой человек, судорожно сжавши спинку стоявшего возле стула.

— Да мне-то что до этого? — продолжал Званинцев, полушутливо, полугрустно, — я вас люблю, вот и все тут, я — картежный игрок, я — ужас вашей матушки, я вас люблю, я в вас люблю самого себя, свою молодость.

Севский молчал: чувство отвращения боролось в нем с чувством доверчивости его благородной натуры.

— Да, *дитя мое,* — начал опять Званинцев трепетным, почти умоляющим тоном, — я вас люблю. Вам это странно? И мне понятно, почему это странно вам, у которого есть на свете привязанности.

И он вновь замолчал, ожидая действия своих слов.

Чувство симпатии, чувство сострадания явно побеждало в душе молодого человека.

Званинцев заметил это, но вместо того, чтобы пользоваться слабостию противника, он вдруг переменил тактику.

— Да, *дитя мое,* — сказал он с немного насмешливым ударением на словах «дитя мое»: — я хочу руководить вас в жизни, я хочу быть вашим лучшим другом.

Он опять сжался, как пантера на добычу.

Севский снова вспыхнул, но, скоро выправившись, сказал очень гордо:

— Нет, нам не быть друзьями.

Угловатые линии его лба обозначились резко. Он был мужественен, прекрасен.

Званинцев лежал в креслах, скрестивши руки и смотря на него с глубокой задумчивостию.

— Итак, мы не друзья, — сказал он наконец медленно и тихо... — Так, так — иначе и быть не могло: это воля рока. И сказать ли вам откровенно, — продолжал он, горько улыбаясь, — я бы презирал вас, если бы вы согласились играть когда-либо второстепенную роль. Потому-то я и имею причины вас любить, что ваша натура, как моя же, не признает над собою высшей.

Он замолчал. Севский с невольным смущением глядел на это высокое чело, осененное тяжелою думою.

— Итак, мы не друзья, — повторил опять Званинцев после минуты молчания, вставая со стула. — Мы не друзья, мы — враги.

Последние слова он произнес с безотчетной тоской и с какой-то немой покорностию рока. В этом человеке хитрость тигра беспрестанно сменяла пылкие, женственные порывы.

— По крайней мере, *вы* хотели быть моим врагом, я вас люблю, — продолжал он.

— Я сказал вам, что не хочу вашей любви, — отвечал Севский тихо и сосредоточенно грустно.

— Да я не спрашиваю вашего позволения, — сказал Званинцев, — я вас люблю и буду любить, но, не погневайтесь, любить по-своему. Я вас люблю и буду любить в вас себя, и сделаю вас собою.

Такая страшная уверенность господствовала в холодном тоне Званинцева, что молодой человек отступил с невольным ужасом.

— Да, я вас сделаю собою, и тогда моя роль на свете кончена, — продолжал спокойно Званинцев... — Вы и Лидия будете моими последними созданиями.

Севский, не в силах совладеть с своим гневом, сильно толкнул стул.

— Как вы еще молоды, дитя мое, — вскричал с циническим хохотом Званинцев.

Но молодой человек был уже за дверью столовой.

Званинцев с большим удовольствием погладил свою густую черную бороду и спокойно уселся за принесенную ему cotelette à la sauce Robert.*

Он съел котлету, по-видимому с большим аппетитом, взглянул потом на часы, стрелки которых показывали полчаса первого, спросил себе рюмку рейнвейна, выпил и заказал себе еще что-то.

Но вот опять отворились двери первой комнаты и в столовую вошли два новых лица.

Одному из них было лет двадцать семь. В его наружности было что-то наглое: его походка, быстрая и резкая, напоминала полет ястреба, самое лицо его создано было по типу головы хищной птицы. Кстати замечу, что, вовсе не будучи физиономистом и последователем Лафатера, я привык распределять человеческие лица по сходству их с головами животных, и вот что извлек я из моих наблюдений: люди, похожие на хищных птиц, обыкновенно, очень смелы, даже дерзки — это их общее качество, но ястребиные физиономии принадлежат по большей части трактирным героям. Другое дело физиономия орлиная, которую только слишком неопытный наблюдатель не различит от ястребиной. Итак, один из вошедших был, как я сказал, очень похож на ястреба, — и это почти все, что можно сказать о нем; прибавить разве можно только то, что он был одет очень богато, но пестро и безвкусно, и носил перчатки не на руках, а в руках, вероятно от непривычки носить их.

Наружность другого, пришедшего с ним лица, была до того неопределенна, что на ней трудно было бы прочесть что-нибудь. Он был молод, но его бледное лицо было изрыто слишком рано развившимися страстями, его глаза были тусклы и безжизненны, как тупой взгляд трупа, его длинные темно-русые волосы висели по щекам и по плечам сальными палками. Вообще какое-то отупение отражалось в его чертах, какое-то необычайное рассеяние выказывалось во всех движениях, то невероятное рассеяние, которое равно принадлежит или человеку, занятому слишком одною какою-либо мыслию, или человеку, который вовсе не имеет в голове никакой мысли. По временам в отупелом взгляде выражалось что-то похожее на божественную искру светлого, высокого ума, но помрачалось тотчас же бессмысленным развратом. Вообще по первому взгляду на него можно было заключить одно только: что этот человек или вовсе потерял центр и равновесие, или еще тщетно искал их.

Он не шел, а скорее влекся первым из пришедших. Костюм его был больше чем скромен; он был очень беден, и бедность эта еще ярче выказывалась от необычайной неопрятности.

Первый из пришедших, только что увидал Званинцева, бросился к нему с распростертыми объятиями, но Званинцев, отстранясь немного, не подал даже руки.

---

* котлету под соусом Робер *(франц.)*.

— Ах ты, душа моя! ну как ты? — начал новопришедший и, не ожидая ответа, продолжал: — Ну что? Как дела-то? храбро? а? — И он потер руками и захохотал громко.

— Кто это с тобой, Сапогов? — спросил Званинцев почти громко.

— Это, братец, мой задушевный приятель, поэт, братец, и идет в актеры, — рекомендую.

Званинцев сухо поклонился, и сопутник Сапогова отвечал ему таким же сухим поклоном.

— Что, каков, а? — продолжал Сапогов, толкая своего товарища и поворачивая его к Званинцеву.

Званинцев сел на стул и пристально взглянул на спутника Сапогова, но этот последний потерял даже, кажется, способность краснеть.

Вероятно, Званинцеву пришло в голову, что под этим беспутным развратом сокрыто или страшное бесстыдство, или сознание в себе высших сил, таящихся под грубым, скотским бесчувствием; но так или иначе, он перестал преследовать его своим взглядом и обратился к Сапогову.

Но Сапогов уже стоял с двумя рюмками ликера.

— Ну, на! выпей, что ли? — обратился он к своему спутнику: — чудесный ликер, — тридцать копеек серебром. Ну, пей же, что ли? — вскричал он с нетерпением, видя, что тот не вдруг берет рюмку. — Еще ломается!

Спутник его схватил рюмку и выпил одним духом.

— Храбро! — вскричал с хохотом Сапогов... — Ай да Антоша!..

Антоша улыбнулся...

Званинцев опять вперил в него свой пронзающий взгляд.

— Ну, что, — обратился к Званинцеву Сапогов, — будем мы сегодня вечером...

— У Мензбира? Я буду.

— Во что? в преферку? — спросил опять Сапогов, подмигнувши левым глазом.

— Пожалуй.

— Втроем? с бароном?

— Да!

— Обдерем, как липочку, — закричал Сапогов с громким хохотом... — А я вчера бился в банчишку с Олуховым: надул, подлец, да зато научил штуке, говорит, в наследство оставлю... — И, наклонясь на ухо Званинцеву, он что-то тихо сказал ему.

— Знаю, — холодно отвечал тот.

Сапогову принесли котлеты, и он бросился уписывать их с жадностию.

Антоша сидел против него, и, кажется, он был голоден.

— А славная вещь, ей-богу! Люблю я котлеты, — сказал Сапогов, поднося вилку ко рту и пристально смотря на Антошу, — всегда ем котлеты, славная вещь!

И, кончивши порцию, он утерся салфеткой и толкнул по плечу Антошу.

— Ну, кутнем сегодня, поедем.

Антоша молча повиновался и машинально встал со стула.

— Прощай, Званинцев, — сказал Сапогов, надевая шляпу, à la Polka, — до вечера.

— Прощай, — отвечал тот холодно.

— Ну, поедем, Антоша.... Шампанское, черт побери, поставлю, храбро кутнем, — говорил Сапогов, щелкая по ладони пальцем... — А славный малый, ей-богу, — обратился он к Званинцеву, показывая ему на Антошу, — без него бы просто беда. Иной раз хандра щемит, страшная, хоть давись, а с ним и разгонишь.

И, положивши руку на плечо Антоши, он запел: «О, Роберт, люблю тебя сердечно. Любви души моей ты не постигнешь вечно!».[8]

Они вышли.

Званинцев послал Антоше взгляд на прощанье, но то был взгляд не презрения, а сострадания и участия.

Антоша поник головою и повлекся за Сапоговым.

Через 10 минут Званинцев взглянул на часы и, сказавши: «Ну, теперь пора», набросил фуражку и вышел из кондитерской.

На бронзовых часах камина било два часа.

Мари Воловская полулежала на маленьком турецком диване в маленькой, но со вкусом убранной комнате, обитой темно-синим штофом.

В комнатке было полусветло, полутемно.

Левая рука Мари обвила шитую подушку, и к этой руке прильнула ее маленькая головка.

Она была вся в белом. Она была бледна, как всегда.

Мари Воловская только что проводила мужа, который уехал куда-то обедать.

О чем она думала?

Длинные пальцы ее правой руки трепетали судорожно, как бы трогая клавиши.

На полу лежал шитый маленький башмачок.

Ног ее не было видно из-под платья. Ее сжимал холод.

На часах било четверть третьего.

Она быстро приподнялась... Лицо ее запылало и приняло какое-то пугливое выражение...

На нем сверкали то страх, то ожидание. Так ждет ребенок полуночного часа, ребенок, напуганный суеверными рассказами няньки.

Послышался звон колокольчика.

Мари окаменела...

Сукно, заменившее двери арки, отвернулось... за ним стоял Званинцев.

Он был таков же, как всегда, но угрюм и грустен.

— Садитесь, — сказала ему Мари твердо и тихо, — садитесь, — повторила она, собравши все силы... — Вы хотели меня видеть, ваше желание исполнено. Последние слова были сказаны с горьким упреком.

— Да, я хотел вас видеть, — сказал Званинцев, садясь на козетку у ног Воловской... — Я хотел вас видеть, видеть *тебя*, Мари.

В его тихом шепоте было столько безумной страсти, столько глубокой покорности, что Воловская не могла совладеть с собою и зарыдала.

Званинцев схватил ее правую руку и прижал к губам крепко.

Она перестала рыдать и вынула свою руку с каким-то негодованием.

И, поднявши на него свои большие глаза, она сказала:

— Вы хотели меня видеть, зачем? что вам во мне?

— Все, Мари... вы это знаете... вы меня знаете.

— О, да! я вас знаю! — отвечала она с горькой насмешливостию. — Я вас очень хорошо знаю.

Они оба замолчали.

Званинцев скрестил руки на груди и смотрел на нее, как смотрит мать на больного ребенка.

— Помните ли вы наше детство, Мари? — начал он тихо, с особенною, ему только свойственною мечтательностью. — Помните ли вы старую березу на берегу пруда? Я был там опять недавно, я видел эту старую березу, она еще жива, и на ней уцелела метка вашего роста, которую я вырезал, когда мне было пятнадцать, а вам было двенадцать... Как ты была хороша тогда, как ты была чиста тогда, Мари... Как ты доверчиво смотрела на меня своими голубыми очами... Мари, Мари... ты была моею, и ты отравила мою жизнь, Мари, и ты заставила меня проклинать жизнь, проклинать доверчивость, твою, мою доверчивость.

Она безмолвно слушала... она уже не могла оторвать от него глаз.

— Ты звала меня мужем тогда, — продолжал он с тихой сосредоточенной грустью, — на это смотрели сквозь пальцы, да, может быть, тоже видели нас они, добрые люди, в будущем мужем и женою... Да, это и должно было бы<ть> так, мы должны были быть мужем и женою, мы могли бы любить друг друга свободно, вечно... не правда ли? Ведь ты любишь меня, Мари, — ведь я люблю тебя?

Воловская закрыла двумя руками свое пылающее лицо. Званинцев насильно почти отнял эти руки и, глядя на нее с безотчетной страстью, продолжал:

— Да, это все так... это должно было быть так, — и между тем это не сделалось.

— Кто же виноват в этом? — спросила Воловская с горьким упреком.

— Кто? — повторил Званинцев и, не отвечая на этот вопрос, — ты знаешь, — сказал он, — я не мог жениться на тебе.

— Не мог?

— Да, потому что я вовсе не хотел заставить тебя разделять мою бродячую судьбу.

— Но разве в вас не было воли, не было силы создать себе состояние, имя? разве вы... разве ты не сильнее, не лучше, не выше всех?

Званинцев презрительно покачал головою.

— Разве теперь, — продолжала Мари, почти с насмешкою, — вы не создали себе положения в свете?

Званинцев горько улыбнулся.

— Видишь ли ты, — начал он тихо, — это положение, эту власть над разным людом я купил слишком дорогою ценою, потерею всего, что я мог бы любить. Знаешь ли, что такое это положение? На чем основывается эта власть? На том, что я ни в чем и <ни> в ком не имею нужды, что я свободнее всех, что я убил в себе всякую привязанность, что на все и на всех смотрю я, как на шашки, которые можно переставлять и, пожалуй, уничтожать по произволу, что для меня нет границ, за которые я не смел бы пойти...

Ужас и страдание отпечатлелись на бледном лице Воловской; она быстро схватила руку Званинцева.

— Никаких границ, говоришь ты, — сказала она трепещущим голосом.

— Да, никаких, Мари, — отвечал он твердо.

Взгляд его был строг и неумолим, как приговор.

Мари упала головою на подушку.

— И не думай, — продолжал Званинцев тем же тоном, — чтобы ты была виновата в этом. Нет, — прибавил он с горькою улыбкою, — так было предназначено...

Она молчала.

— И я знал это, знал с той минуты, как начал думать, — говорил он, — а я начал думать потому только, что я любил глубоко, и я тебя не обманывал, и я вечно был перед тобою тем, чем создала меня природа, и я прямо говорил тебе, что мне не ужиться с моими требованиями на свете. Будь я богат, я так же не имел бы нужды в других, но зато другие имели бы во мне нужду.

Воловская сжимала руками свою горевшую голову. Взгляд Званинцева был так гордо спокоен, так полон глубокого сознания правоты перед нею, достоинства в отношении к другим, что не одна она, любившая его всею вместе взятою любовью ребенка, девочки, девушки и женщины, поверила бы этому взгляду.

— Я был таков, я был всегда таков, — продолжал Званинцев, — и если ты любила меня, и если ты любишь меня, ты любила меня таким, ты любишь меня таким.

Мари уже смотрела на него с беспредельною, глубокою преданностию.

— Я хотел быть любимым тобою, — говорил он, — любимым больше всего, любимым безгранично, я хотел быть выше всех, потому что чувствовал себя выше многих. И я знаю, что ты любишь меня, — сказал он с чувством глубокой самоуверенности, — и я знаю, что ты не можешь любить другого, что ты презираешь всех, и больше всех своего мужа.

Воловская приподнялась с испугом и с отчаянием ломала руки.

Он сидел против нее спокойный, всевластный, непреклонный.

— Оставь меня, оставь меня, — проговорила наконец она умоляющим, боязливым голосом.

— Оставить, когда я могу наконец упасть у твоих ног? — отвечал страстно Званинцев, — упиться всем тем блаженством, о котором я рыдал, как женщина, целые ночи, длинные, мучительные, бессонные? Потому что я плакал, Мари, я много плакал, я, как дитя, плакал, но только о тебе, только об одной тебе, верь мне.

Истина и ложь, страсть и притворство так были тесно соединены в натуре Званинцева, что сам автор этого рассказа не решит вопроса о том, правду ли говорил он. Есть грань, на которой высочайшее притворство есть вместе и высочайшая искренность. Да и что такое искренность? Разве можно быть искренним даже с самим собою, разве можно знать себя? Да простят мне мой скептицизм и да не обвинят меня за этот скептицизм в пристрастии к моему герою, в желании оправдать его. Я менее всего на свете способен кого-либо оправдывать, и тем менее Званинцева.

— Оставь меня, оставь меня, — повторяла Воловская, — пряча свою ногу, к которой жадно прильнули губы Званинцева, — оставь меня... между нами встали судьба и люди.

— Судьба за нас, мой ангел, — говорил он полушутливо, покрывая поцелуями ее пальцы... — а люди!.. я давно уже хожу между ними диким волком... Мари, Мари!.. забудь и судьбу и людей, — продолжал он, с неистовою страстью сжимая ее в объятиях, — ты моя, ты моя... я должен стереть с тебя осквернившие тебя чужие лобзания.

Она вырывалась от него, — зазвенел колокольчик. Званинцев уже сидел на креслах, спокойный и холодный.

Воловская была спасена. Муж ее воротился вовремя, не заставши дома приятеля, с которым собрался обедать в клубе.

Званинцев встретил его весело. Смущен был не он, а бедный Воловский, вовсе не предвидевший этого посещения, и чрезвычайно опечаленный тем, что оно могло быть неприятно его жене, и без того уже расстроенной слишком нервами.

Но она была также спокойнее обыкновенного.

Званинцев у них обедал и после обеда целых три часа говорил с Воловским о молодости, об университете.

Воловский был страшно рад возвращению старого приятеля. Он был вполне славный малый...

Перенесемтесь теперь, для пояснения моего рассказа, лет за тридцать назад.

Званинцев и Воловская воспитывались вместе, росли вместе. Отцы их были соседями по имениям, служили в одном полку, и отец Званинцева, штабс-ротмистр *** гусарского полка, умер в великий день Бородина на руках Скарлатова, отца Мари; Иван Александрович Званинцев

остался после смерти отца на руках матери или, лучше сказать, на руках старой няньки, которая *выходила* и Александра Ивановича; он был еще по одному году. Мать его, женщина рассеянная и по-тогдашнему довольно эмансипированная, вовсе не горевала о смерти мужа и, расстроивши до конца и без того уже порядочно расстроенное имение, убежала во Францию с одним из героев великой армии, выдававшим себя за полковника карабинеров. Маленький Ванечка был брошен совершенно на произвол судьбы, и бог знает, что бы с ним было, если бы не приехал Сергей Петрович Скарлатов, покрытый ранами и наконец решившийся оставить службу с чином полковника. Тогда люди имели еще слабость верить в дружбу, и потому Сергей Петрович вступился в положение сына своего приятеля, над которым, при множестве опекунов, сбывалась совершенно пословица, что у семи нянек дитя без глазу, и предъявил предсмертное завещание Александра Ивановича Званинцева, которым единственным опекуном его сына назначен был Скарлатов.

Полковник уехал в деревню, потому что в полусгоревшей Москве жить было не очень весело, а Петербург был ему ненавистен с тех пор, как он проиграл там половину своих будущих доходов, находясь еще под опекою; в деревню он увез с собою и ребенка.

Он был человек немного странный, но очень умный, живал за границею и, несмотря на то что дрался как истинный русский, любил Наполеона и Францию. Твердый и решительный сам, он глубоко сочувствовал этой железной воле, и, несмотря на то что в душе его было много истинной поэзии, он готов был поклоняться даже деспотической дисциплине своего идеала. С слишком немногими из своих современников он смутно постигал в нем не только великого полководца, но характеристический тип человека совершенно новой эпохи, и, сам того не зная, может быть, обожал в нем его стальной прозаизм, так несходный с переслащенною поэзиею прошедшего.

Он сам носил в себе семена практического XIX века, и один из первых занялся плодопеременным хозяйством.

Жизненная мораль его была уважение силы и одной только силы. À force de la force * он хотел даже создать из себя машину вместо человека, хотя это ему и не совсем удавалось. Естественно, что он с жаром бросился на теорию Бентэма, как только прочел о ней какую-то статью. В ней нашел он оправдание своих смутно предчувствуемых идеалов, хотя иногда, в минуты русской хандры, часто задавал себе вопрос, отчего эта теория его не удовлетворяет и чего еще ему хочется? В нем были две стороны жизни, и он, утилитарист, по странности своей природы, глубоко сочувствовал романтическому направлению.

Он приехал в свое поместье, чтобы заняться устройством его и воспитанием маленького Званинцева. Была пора, он мечтал об иной жизни, он любил и, разочаровавшись в любви, думал найти успокоение в тесном круге этих занятий.

---

* Благодаря силе (*франц.*; каламбур: в силу силы).

Воспитание ребенка полковник начал по спартанской методе: с ранних лет закалить человека, как сталь, сделать его силою огромной паровой машины, вот какова была цель этого воспитания. Естественно, что оно покамест было физическое, потому что Ванечке, как я сказал, был только год.

Что касается до устройства имения, Скарлатов устроил его очень скоро, продавши половину на уплату долгов; остальной достаточно было для того, чтобы жить так, как живет всякий порядочный помещик.

И воспитание ребенка, и устройство имения, и чтение Бентэма — все это скоро надоело полковнику. Ребенок физически скоро достиг совершенства, т. е. не боялся нимало нежданных пистолетных выстрелов над самым ухом, а Бентэм, толкуя об утилитарности, вовсе не имел в виду хандры русского человека.

От хандры полковник женился на дочери соседа, семидесятилетнего старика, екатерининского бригадира в отставке, высокого, прямого, как палка, молчаливо угрюмого и занятого вечно чтением мистических книг.

Тогда, как известно, мистицизм и масонские ложи были в большом ходу; Скарлатов, как современный человек, разумеется, тоже принадлежал к какой-то ложе, и это первое сблизило его с стариком, который любил его, хотя и улыбался на его утилитарные системы ироническою улыбкою старого мистика... Скарлатов не любил его иронической улыбки и часто тяжело задумывался над его загадочными, темными речами.

Дочка бригадира была в полном смысле барышня, свежая, как огурчик, румяная, как заря, и довольно глупенькая. Потом она как следует сделалась настоящей барыней и лет через десять растолстела до невероятности.

Жизнь Скарлатова не переменилась почти нисколько, кроме того, что к нему, как к человеку семейному, стали иногда заезжать играть и пить соседние помещики с женами и домочадцами, когда прежде приезжали играть и пить одни, да и то довольно редко; жена его была довольно скупа, а он сам не находил особенного услаждения в разговорах о сенокосе да о выборах.

Тесть был очень беден, но переехал к нему только после слишком усиленных и настоятельных требований и после нескольких вспышек Скарлатова, который, несмотря на утилитаризм, был очень горяч.

Старик бригадир поместился в особенном флигеле и потребовал, чтобы с ним же поместили маленького Ваню, которого физиономия почему-то ему понравилась. Старик кроме мистицизма был заражен еще и лафатеровой физиономикой. Это была уцелевшая развалина великого XVIII века, дряхлая, но еще крепкая... Ребенок, который, как мы уже сказали, не боялся пистолетных выстрелов, привык очень скоро к его резкому голосу, к его повелительному тону, к его пронзительному взгляду.

Ему было уже три года, когда у полковника родилась дочь.

— Вот твоя невеста, Жанно, — сказал ему полковник, подведя его к колыбели, в которой плакал крошечный ребенок.

Старик тесть наморщил брови.

На несоздавшуюся душу ребенка слова полковника произвели глубокое впечатление: он почувствовал с этой минуты, что связан чем-то с крошечным, крикливым, слабым ребенком, — а всякая привязанность, всякая связь тяжело достается человеку. Рано или поздно ведь расторгнут же ее общественные отношения или сам он? Ибо нет ничего, во что бы не ввязались отношения общественные и беспокойный эгоизм человека.

Детей воспитывали отдельно; Ванечку, или Жанно, как звал его полковник, которому тяжело было говорить не по-французски даже на родном наречии, — Ванечку, говорю я, предоставили совершенно бригадиру и старому дядьке, угрюмому, как осенняя русская ночь, — Мари (ибо русское уменьшительное Машенька никогда для нее не существовало: отец и мать звали ее Мари, дворня — Марьей Сергеевной, вся, без исключения даже ее старой няньки, прежней няньки Ванечки), Мари воспитывалась на руках этой няньки, двух мамушек и десяти штук горничных девок, отличавшихся от дворовых тем, что они очень редко ходили босые и, в наказание за известные уступки матери-природе, были разжалываемы строгой нравственностью барыни в дворовые, тогда как дворовые просто ссылаемы были на деревню, эти наказания вполне и безусловно входили в права домашней юстиции Анны Николаевны. Сергей Петрович в них не вмешивался, потому что был утилитарист, а может быть, и по другой причине. Итак, детей воспитывали отдельно, но играли они вместе.

Жанно было десять, Мари — семь лет. Жанно давно уже бегло читал, писал и говорил по-французски и по-русски. Мари говорила по-русски, а читала только по-французски.

Бентэм был англичанин, Оуэн тоже англичанин, великий Франклин был американец, но говорил и писал по-английски. Вследствие этого Сергей Петрович рассудил выписать из Москвы для двух детей какую-то мисс Томпсон, на что бригадир кивнул утвердительно головою и сказал два каких-то загадочных слова о *шотландских степенях*.[9]

Старику стукнуло восемьдесят, но он по-прежнему был бодр и прям. Странно было то, что он глубоко, почти страстно привязался к своему питомцу, который звал его дедушкой. Угрюмый и суровый со всеми, даже с зятем, который мог бы понимать его, бригадир был нежен, как мать, к своему Жанно. Когда ребенок спал, старик часто склонялся над его маленькой постелью и смотрел на него по целым часам с заботливою, беспредельною любовию, с каким-то тайным ожиданием. Так ждут искатели философского камня расцвета таинственного цветка — чада солнца.

За что полюбил его старик? Напоминало ли ему это прекрасное, нежное лицо, эти большие глаза ребенка с выражением вовсе не детским, что-либо давно минувшее, быть может, черты когда-то любимой

женщины, или просто была это жажда какой-нибудь привязанности, когда все нас оставляет, последнее усилие утопающего схватиться хоть за соломину?

Когда старик сидел углубленный в чтение ветхих пергаментных книг, ребенок сидел также за книгою, безмолвный, задумчивый. Это был странный ребенок, или, лучше сказать, это было странное создание двух веков: спартански-смелый, ловкий и сильный, он был, однако, важен и задумчив не по летам.

Старик имел привычку при чтении говорить иногда с самим собою. Тогда лицо его воспламенялось, но речи были так же загадочны и отрывисты; и ребенок с непонятным наслаждением всматривался в его черты, жадно вслушивался в эти темные таинственные речи.

И, заметивши это, старик вперял в него свой внимательный, пронзающий взгляд, и Жанно не отворачивался от этого невыносимого многим взгляда.

Старик и ребенок понимали друг друга.

Бригадир воспитывал своего названного внука на древних, и тот полюбил страстною любовию великую Грецию, с ее звонкими песнями, с ее обожествленными силами, с ее алкивиадовскою жаждою жизни и с сократическим равнодушием к смерти. Сергей Петрович ругал древних, любя только спартанцев и Катона Утического, и говорил Ване о Наполеоне. Но для чистой еще души ребенка между всем этим не было противоречия, и образ Наполеона сливался для него с светлым образом Аполлона Гелиоса, победителя Тифона.

Так шло воспитание Званинцева. Приводить его в систему поручено было какому-то выгнанному воспитаннику какого-то учебного заведения, которого Скарлатов приютил у себя в доме, — человеку очень ученому, но горькому пьянице. Его, впрочем, Ваня видел только в часы урока, остальное время утра он сидел подле деда, после же обеда переходил в руки полковника, потому что дед спал до шести часов...

Но наступал теплый летний вечер... вершины дерев огромного старого сада начинали тихо переговариваться, небо окаймлялось розовой полосою — и двое детей отправлялись гулять с мисс Томпсон.

Мисс Томпсон, добрая старушка, скоро уставала и садилась отдыхать, и дети гуляли одни по длинным аллеям, никогда не исполняя предписаний мисс Томпсон говорить по-английски и говоря на *родном* французском.

Они ходили и бегали... уставали и опять ходили, и все вместе, и все рука об руку... И месяц через чащу ветвей обливал их своим влажным светом, и было им привольно, и было им тепло друг подле друга, и было им безотчетно весело друг подле друга, и в ушах Вани раздавались слова полковника: «Вот твоя невеста».

Ване было пятнадцать, Мари — тринадцать. Они так же ходили по длинным аллеям сада, они так же были вместе, они уже звали себя мужем и женою... Бедные дети!

Мари развилась рано. Все, что чувствовал молодой Званинцев, все,

что он читал, проходило по ее душе. Бедные дети! Они жадно читали Байрона, потому что никто не заботился о том, что они читают, да никто и не догадывался никогда, что всякий вечер на полке поэтов библиотеки Сергея Петровича недоставало одного тома.

Они любили друг друга и не умели говорить об этом друг другу: так это казалось им просто и естественно.

Старик дед умер, когда Ване было пятнадцать лет с половиною, умер спокойно, твердо, с иронической улыбкой на устах, пожавши руку полковника и обратившись к своему питомцу с последними словами:

— Jean, je vous laisse mes livres... Frappez et on vous ouvr...*

Он не докончил.

Званинцев не плакал — он уже не был ребенком. Он поклонился с глубокою, стесненною скорбию этому гордому, еще более вытянувшемуся мертвецу, поцеловал его сухую руку и, взглянувши на сжатые иронией уста, задумчиво покачал кудрявой головою.

Деда зарыли. Зять поставил над ним колонку белого мрамора и окружил ее акациями и кипарисом.

Шестнадцати лет Званинцева отвезли в Московский университет. Он усвоил себе быстро верхушки современных знаний, но, возвращаясь на ваканцию к опекуну, с любовию и жадностию бросался за старые книги деда.

Опекун над ним смеялся... Званинцев молчал на эти насмешки.

Характер его развивался быстро. Он был горд и непреклонен, но обаятельно вкрадчив. Все повиновалось ему от товарищей по университету до самого Сергея Петровича включительно.

Но, возвращаясь домой по окончании курса наук, он нашел Сергея Петровича больным и умирающим... Из полученных отчетов по своему имению он увидал, что ему жить почти нечем. Имение Сергея Петровича в последние годы тоже расстроилось окончательно от неудавшейся плодопеременной системы, и этого расстройства не могла поправить скупость Анны Николаевны, потому что она простиралась только на сбор талек льну.[10]

Сергей Петрович, умирая, взял руку рыдавшей дочери и положил в руку Званинцева. Потом он показал на них глазами жене.

Званинцев горько улыбнулся, но взял руку Мари!

Справили похороны, съехались соседи и дальняя родня. За заупокойным же столом один дядюшка Мари по матери, бывший лицом очень важным в губернии, предложил ему протекцию по службе.

Званинцев отказался — он не любил почему-то службы.

— Что же ты будешь делать, Иван Александрович? — с видимым неудовольствием спросил дядюшка.

— Не знаю, — сухо отвечал он и после обеда тотчас же ушел во флигель.

---

* — Жан, я оставляю вам свои книги... Стучите и вам откр... *(франц.)*.

А на другой день ни его, ни дедовских книг не было уже в Скарлатовском.

Его не упрекали... о нем не говорили. Анна Николаевна вообще его не жаловала: — Гордым бог противится! — говорила она всегда.

Мари — не плакала. Она была тоже слишком горда.

Через год она вышла замуж за молодого соседа их по имению, университетского товарища Званинцева.

Почтенный дядюшка обещал Воловскому протекцию даже в Петербурге, если бы понадобилось.

В эпоху нашего рассказа Воловский занимал видное место в Петербурге и получал значительный доход с своего и жениного имения, которые оба он устроил наилучшим образом. Мать Мари умерла в деревне, разбесившись не в меру на оскорбительный ее нравственности проступок любимой горничной. Старушка мисс Томпсон скончалась в Петербурге на руках Мари, благословляя ее и вспоминая со слезами о своем «dear John»,* который никогда ее не слушался. . . . .
. . . .

Между тем, когда Званинцев был у Воловских, другой знакомец наш Севский сидел за письменным столом и грыз в зубах перо, склонясь над почтовым листиком с вычурными бордюрами.

Комната или, точнее, комнатка молодого человека была мала, но чиста и опрятна, даже изящна, если хотите, только немного щепетильно изящна. Все было в ней так гладко, так опрятно, что не видно было ни порошинки песку на столе, ни соринки на полу; в этой опрятности было что-то неприятно натянутое, и слишком заметно было, что половая щетка работала слишком часто. Комната была узка, но в ней кроме письменного стола были нагромождены еще кровать с занавесом, маленький диван и фортепьяно, помещавшееся между изголовьем кровати и диваном так, что большая половина этого дивана была совершенно неудобна для сидения. Кроме того, остальную часть стен до двух этажерок с прекрасно переплетенными книгами занимали плетеные стулья. На столе, довольно поместительном, стояло множество безделушек, вовсе ни к чему не нужных, разных пресс-папье, печатей, печаток и раковин для украшения. Перед столом стояли кресла, обитые красною кожею. В комнату Севского надобно было проходить через три парадные комнаты, не включая в это число маленькой передней. Севский жил у матери, вдовы статского советника, служившего в каком-то департаменте виц-директором, человека примерной честности, оставившего ей пенсию тысячи в две рублей да наследственную деревушку из 50 душ, в Тверской губернии. Жили они очень чисто и прилично, но малейшее уклонение от строгой дисциплины обыкновенных доходов повлекло бы в их быту значительные изменения.

---

* дорогом Джоне *(англ.)*.

Севский сидел и грыз перо. Он сидел не за каким-нибудь отношением, а за почтовым белым листком, на котором было написано «Lydie» с восклицательным знаком. Кроме этого слова и огромного восклицательного знака, Севский, несмотря на то что грыз перо чрезвычайно усердно, не прибавил еще ничего, кроме другого, маленького восклицательного знака, за которым скоро последовал третий.

Он был в видимом волнении; щеки его горели.

Наконец он схватил перо и начал:

«Lydie!!¡» — (восклицательные знаки были расположены именно таким образом).

«В первый раз решаюсь я назвать вас этим именем, решаюсь потому...».

Севский подумал, ища, вероятно, достаточной и основательной причины, «потому что, — продолжал он как бы по вдохновению, — люблю вас, как сестру, люблю слишком чисто, чтобы не позволить себе этого названия...».

За дверями раздался шорох, — Севский с досадою бросил поспешно письмо в ящик стола и раскрыл какую-то книгу.

Вошла рыжая девка с половою щеткою.

— Зачем? — вскричал Севский с негодованием, — у меня чисто.

— Барыня велела, — отвечала девка флегматически и принялась за операцию.

Физиономия Севского приняла какое-то страдальческое, болезненное выражение: пытка эта, вероятно, была для него обыкновенна и вместе с тем слишком несносна. Нетерпение выражалось в его взгляде, но вместе с тем и какая-то покорность.

Девка ушла, продолживши свое занятие до невозможности: кажется, она также справляла тяжелый долг, а притом знала, что после него будет справлять еще более тяжкий, и потому вовсе не торопилась.

Севский опять достал письмо из стола и продолжал его, но продолжал, уже не перерывая порывов своего *вдохновения*.

«Причина, которая заставляет меня писать к вам, — слишком важна — для вас, Lydie, и... для меня, может быть. — Да!!!!! то, что я узнал, обдало страшным холодом мою душу, обдало потому, что... я дрожу написать это... Я люблю вас безумно, пламенно, я вас люблю, Lydie, я ревную... смейтесь надо мною!..».

Продолжение, как видите, слишком не гармонировало с *братским* началом, но таковы письма влюбленных. Начнет всякий, как человек порядочный, и кончит черт знает чем, тем, о чем и сам не думал, принимаясь писать. Все дело было в том, впрочем, что Званинцев, этот холодный эгоист, этот человек без чести и без правил, — осмеливается произносить ее имя, обещается сделать ее своим созданием, ее — чистую, светлую, как само небо.

То, что между порядочными людьми называется сплетнею, у влюбленных носит название благородного порыва.

Письмо было кончено на трех почтовых листочках, но Севский еще не успел его запечатать, как послышался в передней звон колокольчика. Он опять поспешно спрятал его в ящик стола и раскрыл Гегелеву «Феноменологию».

Он ждал минуты с три и уже хотел было достать опять письмо из стола, как чьи-то твердые и быстрые шаги раздались за дверью, и в его комнату вошел мужчина лет 30, с южнорусскою физиономиею, с длинными черными кудрями, с усами и эспаньолкой; одет он был в греческое пальто-сак, из зеленого сукна, застегнутое доверху и, кажется, довольно уже послужившее; но воротнички рубашки голландского полотна и прекрасные, почти новые перчатки служили порукою за порядочные привычки этого человека.

— Здравствуйте, Севский, — сказал он с сухим кашлем, — а мне сказали, что вас нет дома? Я удивился, тем более что сам сказал вам вчера, что зайду к вам.

Севский видимо изменился, с смущением и робко почти подал ему руку.

— Да... — начал он с смущением, — я, извините, кажется, забыл... а впрочем... не знаю...

Видно было, что Севскому тяжело было лгать. Пришедший взглянул на него быстро.

Севский потупил глаза в землю.

— Вы, может быть, заняты? — сказал тот, взявши опять шляпу, брошенную им на стол.

— О, нет, нет, — вскричал Севский с умоляющим видом, схвативши его за руку, — садитесь, садитесь, Александр Иванович! Хотите сигару... Впрочем, вы кашляете? вам нельзя?

— Ничего, дайте.

И новопришедший закурил регалию.[11]

— Умирать сбираюсь, — говорил пришедший, продолжая курить, — кашель, грудь болит смертельно!.. Да что это! — прибавил он, с неудовольствием махнувши рукою, — ничто не берет!

Он сбросил на пол нагоревший пепел... Севский кинул на это беглый взгляд, вспомнивши, вероятно, рыжую девку.

— Ну что вы? — сказал Александр Иванович, — все читаете?.. — и все вздор, чепуху немецкую? Читайте французов, Дмитрий Николаевич, читайте французов, народ хоть сколько-нибудь дельный.

И он с негодованием плюнул.

Севский опять бегло взглянул на это.

— Будете вы сегодня у Мензбира? — продолжал его гость, не обращая особенного внимания на его косвенные взгляды.

При этом вопросе Севский взглянул почти с ужасом в сторону, где стояло фортепьяно, заслоняя собою двери.

Но он был слишком горд, чтобы показать перед гостем этот ужас... Он отвечал твердо и, по-видимому, равнодушно.

— Не знаю... может быть, буду, может быть, нет.

— Разумеется, будете, — иронически заметил гость, — разумеется, будете... Но скажите, ради бога, — продолжал он тоном искреннего участия, — зачем вы там бываете? Я хожу туда играть в карты, потому что, как вы знаете, это мой промысел, — карты, заметьте, не шулерство...

Севский бледнел и глядел на двери, заслоненные фортепьяном.

— Полноте шутить, — заметил он наконец с принужденной улыбкою.

— Шутить? менее всего на свете! — отвечал гость. — Я вовсе не шучу: я не литератор, не служащий, я человек вовсе лишний на свете. Но вам-то что делать у Мензбира? Если вы волочитесь за Лидией, то я скажу вам...

Но в эту минуту сам гость заметил взгляд Севского, полный такого ужаса и страдания и так прикованный к двери, что, казалось, молодой человек потерял над собою всякую волю.

Гость поглядел на него с недоумением и, чтобы переменить разговор, попросил у него вторую сигару.

Но сигара, которую подал ему Севский, была последняя: это еще больше смутило бедного ребенка.

И хозяин и гость молчали. В соседней комнате послышался звон чашек.

— Что это? — сказал гость. — Как вы рано пьете чай, Дмитрий Николаевич... Еще шесть часов только. Впрочем, я теперь выпью стакан с удовольствием.. жарко.

— Да... то есть, — начал бледнея и краснея вместе молодой человек, — я должен предварить вас... — Но ему стыдно было предварять гостя, что, по всем его соображениям, принесут только один стакан, и он уже думал о том, что ему делать, не обидится ли его приятель... если он ему предложит свой стакан и сам останется без чаю...

Но в эту минуту дверь отворилась и явился лакей с угрюмой физиономией и с подносом, на котором стояли два стакана чаю.

Лицо Севского немного просветлело.

Александр Иванович выпил стакан и взял шляпу.

— Куда же вы? — спросил Севский, желая удержать его, потому что после чаю не предвидел уже никакой пытки.

— Мне пора, — сказал тот и, крепко пожавши руку молодого человека, вышел из комнаты.

Севский бросился на диван и закрыл руками свое лицо. Когда он открыл его, перед ним стояла уже барыня, нервически дрожавшая, с злобно язвительной улыбкою на бледных и обметанных лихорадкой губах.

— Вот и картежник и мошенник, Дмитрий Николаевич, — начала она сухим тоном, — а говорит вам дело.

— О чем, маменька? — спросил Севский голосом, дрожащим от внутреннего волнения.

И губы его сжались, и в груди, казалось, что-то накапливалось.

— О чем? я знаю, о чем, вы меня не обманете, — говорила она. — Ты думаешь, окружишь себя мошенниками и мерзавцами приятелями, так и скроешься от меня... Нет, дружочек мой, они же тебя и выдадут, — продолжала она каким-то переслащенно-нежным тоном. — Пусть он и мерзавец, а говорил дело. За то я ему и чаю принесла, а то велела было отказать ему.

Севский, стиснув зубы, мог сказать только:

— Зачем? я бы не пил сам.

— Ты бы не пил сам?.. ты бы не пил сам? — завизжала матушка. — Так-то ты мне грубостями платишь за попечение! Уморить что ли меня ты хочешь? Что ж, умори, умори, я и так уже на сем свете страдалица...

Севский вскочил и ходил по комнате. Наконец он встал перед матерью, и во взгляде его блеснула отчаянная твердость.

Его мать еще больше завизжала и упала на диван.

Человек холодный заткнул бы себе уши... Севский был молод, Севский был благороден; в его высокой природе чувство сострадания ко всему себя низшему доходило до слабости.

Он ударил себя по лбу и, схвативши руку матери, поцеловал ее.

Она плакала и продолжала тише, но так же злобно:

— Вот они до чего доводят тебя, твои приятели... и не до того еще доведут, вспомнишь ты тогда материны слова: материны слезы сильны перед богом.

— Маменька, маменька! — умоляющим скорбным голосом говорил Севский.

— Что — маменька? — сказала она, отирая слезы, сухим тоном. — Я говорю правду, я уж давно страдалица, и все за тебя. Одного уж отучила от дому, а то было повадился каждый день шасть да шасть: словно с виселицы сорвался, картежник этакой, а тоже выдает себя за барина, в коляске ездит... Я про твоего приятеля толкую, — сказала она язвительно, — про Званинцева.

Дмитрий дрожал нервически.

— Какой же он мне приятель, маменька? — говорил он тем же покорным тоном.

— Что ж? небось этот лучше, что ли? небось лучше! тоже с цепи сорвался. Да уж за одно благодарна, правду говорит, у меня не изволь шататься к этому, как бишь его, где картежники-то собираются?.. Изволь-ка нынче к дяде... там порядочные люди, твой начальник отделения. А то куда хорошо, — мать больна лежит, а сынок сидит с мерзавцами да с развратной девчонкой шильничает.[12]

Дмитрий вспыхнул... но без действия осталась эта вспышка в его истерзанной пытками организации. Он не имел силы вскипеть гневом мужа даже за то, что он любил больше жизни.

— Я пойду к дядюшке, маменька, — отвечал он с нежною покорностию раба и изменившимся от страдания голосом; все, что у других вы-

рывалось наружу, в этой природе падало вовнутрь и грызло и жгло мучительно.

— То-то пойду... — продолжала мать, — а у меня смотри, ведь я поглядеть пошлю, точно ли ты у дяди.

И она вышла, захлопнувши с гневом дверь.

Севский опять упал на диван, изнеможенный, больной, и с ним начались припадки женской истерики.

Ему необходимо было быть у Мензбира. Но как?

Наконец он вспомнил, что жена его дяди любит его, что она несколько раз вызывала его на откровенность.

Он был горд для откровенности.

Но он был влюблен.

И впервые, может быть, человеческое достоинство и гордость принесены им в жертву.

— Но... лгать, лгать, боже мой! — продолжал он вставая, — но вечно лгать...

— И сметь еще любить? — прибавил он с негодованием на себя.

Но он запечатал письмо и спросил одеваться...

А ведь точно любовь — хула в душе раба!

По очень большой, но неприятно голой желтой зале одного дома на Песках[13] расхаживал маленькими, скорыми шагами старик лет 60, небольшого росту, седой, с быстрыми, беспрестанно бегавшими глазами... Старик был по-домашнему, в шелковом халате, спитом сюртуком. Он беспрестанно поправлял свечи, расставленные по всем маленьким столикам залы и обливавшие ее желтизну особенным, отвратительным светом. Старик то раскладывал мелки на четырех приготовленных столах для карт, то заглядывал своими маленькими беглыми глазами в полуотворенные двери передней, то поправлял пюпитр для скрипки, поставленный подле прекрасного виртовского рояля. Какое-то лихорадочное беспокойство просвечивалось в его непреодолимой заботливости.

— Анна, Анна! — закричал он в двери, которые вели в другую комнату.

На крик его явилась малорослая женщина лет 30, настоящий, неподдельный тип чухонки[14] или ведки,[15] ибо, как все чухонки, она обижалась своим чухонским происхождением. Что-то гнусно-наглое было в ее лице, довольно, впрочем, красивом.

— Анна, — повторил старик, — что же не выдет Лидка? пора, уж десять часов.

— А мой пошем знайт? твой Лида, а не мой, — грубо сказала чухонка, захлопнув дверь ему под нос.

Старик с досадою топнул ногой.

— Пора мне с ней разделаться, проклятою, — проворчал он сквозь зубы, — да и надоела уж, право.

Он опять начал ходить из угла в угол, поглядывая по временам в окно.

— Лида, — вскричал он, — Лида, а Лида?

— Что вы, папенька? — послышался серебряный голос.

— Пора, матушка, скоро наедут.

— Сейчас, дайте мне застегнуть спензер.[16]

И через минуту дверь другой комнаты отворилась, и оттуда выпорхнула девочка лет пятнадцати, маленькая, как кукла, вся — выточенная, как кукла, но выточенная великим художником.

Она была мала — мала до той уродливости, которая есть высшая красота и малейший шаг за которую дальше будет безобразием. Ее мягкие светло-каштановые волосы, тонкие и длинные, падали довольно небрежно на щеки, нежные до болезненности; глаза ее, темно-голубые до того, что их с первого взгляда не различили бы вы с черными, облиты были преждевременной, опередившей года сладострастной влагою, и она опускала их так стыдливо-лукаво, так боязливо-смело... Бюст ее был совершенно античный; все тело ее, молодое и упругое, способно было гнуться и извиваться по-змеиному, и когда она села, небрежная поза ее дышала невыразимо обаятельным сладострастием; правая нога, выставившаяся из-под платья, была мала и вместе высока в подъеме, и это одно, что перешло в ней восточного от ее матери, гречанки по происхождению. Одета она была прекрасно, но фантастически-театрально: белое платье, короче обыкновенных модных, черный бархатный спензер, венок на голове и прекрасные, почти до плеча голые руки! Это была, казалось, театральная гитана.[17]

— Папенька, — начала она, смотря на отца очень выразительно, — ваш барон мне надоел... Долго ли он еще будет к нам ездить?

Старик не отвечал.

— Я вас спрашиваю, — повторила она со смехом, — долго ли будет ездить барон?

— Ты глупа, — с сердцем сказал старик.

— Я вам говорю, что он мне надоел, — вскричала она с нетерпеливою досадою ребенка... — Он настоящая сова.

— Да вот так для тебя и прогоню я его сейчас, — проворчал старик.

— Он мне говорит любезности!

— Ну так что ж?

— Знаете ли, что он мне сказал вчера?

— Ну!.. — и старик, заложив руки за спину, вопросительно глядел на дочь.

— Угадайте... — сказала она с веселым хохотом.

— Да ну же.

— Он уговаривал меня бежать с ним. С ним!

И девочка хохотала.

Старик заходил по комнате быстрее прежнего.

— Ну что ж? — сказал он с величайшим спокойствием, остановясь

опять перед нею. — Он богат... играет скупо — так не скуп будет на другое. Не мытьем, так катаньем!

— Фуй! — сказала девочка и, сделавши презрительную мину, порхнула к роялю и запела чистым, хотя немного детским голосом какой-то романс.

— Ой ты! — сказал отец, — все вздор в голове. Ведь я разведал про Севского-то: ничего нет за душою.

— Он хорошенький, — сказала Лидия, прерывая романс и закинув назад головку.

Двери передней отворились. Вошли уже известные читателю Сапогов и его спутник, которого звал он Антошею. Антоша, впрочем, был во фраке, довольно чистом, хотя, кажется, сшитом не по нем. Лица Сапогова и Антоши раскраснелись от чего-то и черты последнего дышали отвратительным беспутством.

Лидия окинула их взглядом и, слегка кивнувши головою, продолжала играть.

— А, почтеннейший Андрей Сидорович! — засуетился старик, — наконец-то вы, — и он исподлобья взглянул на его спутника.

— А я к вам не один, Сергей Карлыч... Рекомендую, мой закадычный — Антон Петрович.

— А по фамилии, смею спросить? — сказал старик, протягивая спутнику руку и прищуря левый глаз.

— Позвонцев, — громко отвечал Антоша, пожимая протянутую ему руку и раскланиваясь с ухарскими ухватками. Видно было, что он не совсем в трезвом положении.

— Прошу полюбить да быть без церемонии, — сказал старик.

И сам же подал пример нецеремонности обращения, схвативши Сапогова и отведя его в сторону, спросил тихо:

— Играет?

— Ни гроша за душой.

— Так зачем?

— Нужен!

— Гм!

— Знает кой-кого.

— И может?

— Приведет.

— Когда же?

— Да уж приведет.

Во время этого лаконического разговора Антоша рассеянно смотрел в сторону; ему не было даже неловко.

— А я, представьте себе, какая со мной скверная была вчера история, Сергей Карлыч, — громко начал Сапогов, остановясь посередине комнаты.

— Что такое, Андрей Сидорыч? — с участием спросил Мензбир.

— Да вообразите себе... Есть у меня приятель, служит со мною вместе, малый и того бы, кажется, умный... разбитной. Я, знаете, —

продолжал он, щелкнув по ладони пальцем, — раз этак отвожу его в сторону и говорю: что, братец, мол, жизнь человеческая, говорю, — просто сад заглохший, как Шекспир говорит.

— Ну-с!

— Есть, говорит, Андрей Сидорыч, извольте... А уж я, мол, говорю, тебе, любезный друг, десятый процент. Будете, говорит, вы завтра дома. Буду... Ну так я привезу к вам. Хорошо, мол. Ну, вчера утром сижу у окна, знаете, вижу, едет мой приятель в коляске, и с ним молодец в золотых очках, франтом таким. Я принимаю. Расшаркивается на всю комнату, и по-французски. Что, мол, он, братец, такое говорит? Charmé,* говорит... Ну, мол, шарме так шарме. Вы, говорит, Андрей Антоныч, здесь, верно, скучаете? Да, мол, — а вы? Я, говорит, ма тант,** княгиня такая-то, ма гран-тант,*** говорит, баронесса, там черт знает, что несет! — Не сыграть ли в преферанс нам, говорю я. — Извольте, говорит. Приятель мой ушел, дело, говорит, есть, после зайду. Садимся. Сыграли игры две...

— Ну-с, ну-с, — с видимым участием сказал Мензбир.

— Сыграли игры две, вижу — дока! Так уж и не играем, известно как с открытым, взятки ведь все на чистую. Что ни сдадим, у меня, говорит, семь, и бросит карты. Проиграл я пуанов 200.

— А помногу ли куш? — спросил, вмешиваясь в разговор, Антоша.

— А тебе что? — насмешливо сказал Сапогов. — По рублю серебром. Ну, да вдруг привалило мне счастье, как пошел, как пошел, храбро этак отыграл свои пуаны. Рискую страшно. Что мол? «Злато — мечтанье пустое, ужели нам жалеть его?» Да и наиграл на него 800 пуанов.

— 800 серебром! — вскричал старик, и маленькие глаза его запрыгали.

— Пора, мол, кончить! Сочлись — 800 серебром, он в проигрыше. Со мною, говорит, только билет в 10 тысяч. Ну что ж, давай его сюда. Я, говорит, завтра, да и давай, знаете, вилять, как лисица хвостом. Что, мол, завтра, подавай сюда. Ма тант, говорит, княгиня. — Я-те дам, мол, княгиня, ты подавай деньги... Я его, знаете, обыскивать, не дается, я людей, ну, Петрушку, вы знаете, малый дюжий, обыскали. Ни полушки. А, мол, так-то ты, на шарамыгу, да и давай его, и давай его, и тузил, тузил. А он, какой вы, говорит, шутник, мусье Сапогов. Я-те дам, говорю, шутник, я-те дам, говорю, шутник, да с лестницы-то его, с лестницы.

И под конец рассказа Сапогов хохотал оглушительным смехом; Мензбир улыбался.

Двери отворились, и ввалилась целая толпа игроков.

— А, барон, барон, — подбежал Мензбир к высокому мужчине в коричневом сюртуке, застегнутом доверху, с орденом в петличке, в высоком галстухе и с накладкою на голове.

---

* Очарован *(франц.)*.

** моя тетя (от *франц.* ma tante).

*** моя бабушка (от *франц.* ma grand-tante).

Барон сухо отвечал на его приветствия и прямо отправился к роялю.

— Здравствуйте, Лидия Сергеевна, — начал он очень почтительно.

— Здравствуйте, — отвечала ему девочка насмешливо.

— Вы на меня сердитесь?

Девочка в ответ на это сделала презрительную мину.

Барона окружила толпа игроков и, оттащив его к зеленому столу, уже хотела посадить за партию, но Сапогов отвел Мензбира и сказал ему вполголоса:

— Нельзя!

— А что?

— Сам будет.

— Опять?

— Что ж опять? в прошлый банк на его долю пришлось три тысячи.

— Мало?

— Видно, мало.

Мензбир пожал плечами, но отвел двух игроков, посадил их с каким-то помещиком, толстым и низеньким, который, видя вокруг себя людей порядочно одетых, удивлялся простоте их обращения и радовался, что попал на славных людей, с которыми и попить, и покутить, и поиграть можно.

Дым от сигар и трубок застилал всю комнату.

Вошел знакомый Севского Александр Иваныч и, почти никем не замеченный, кроме хозяина, без церемоний, как бы находясь в трактире, подошел к сигарному ящику и тотчас же закурил на свечке плохую регалию.

— Кто это? — мигнул Сапогов Мензбиру.

— Не знаете? Он бывает часто... играет ловко, только того... плох.

— Ну! — с сомнением заметил Сапогов.

— Право!

— Дурак! — сквозь зубы проворчал Андрей Сидорыч.

Барон опять был подле Лидии, которая над ним безжалостно смеялась.

Один из игроков, не составивши еще себе партии, просил ее сыграть что-нибудь, обещавшись ей аккомпанировать на скрипке.

Началась импровизация — приготовленная еще за неделю.

Не люблю я этих подготовленных импровизаций, не люблю я, когда профанируют публичностью тихую натуру бедной девочки, заставляя ее выказывать со слезами пополам доставшиеся таланты, не люблю я этих заказных, приторных похвал. Я помню, как судорожно сжималось мое сердце в один вечер такой подготовленной импровизации, как я готов был от души послать к черту всех этих гостей, с какою-то глупою важностью слушающих очень милую, но простую игру беспрестанно сбивавшейся в такте девочки, всех этих родных, которые не стыдятся дорожить в этом случае успехом и дрожат за него, — помню, как глубоко было досадно на нее самую, как я был зол тогда, как я страдал тогда.

Лидия играла. Раздавались браво.

Вошел Севский, в черном фраке, ловко обрисовывавшем его стройную талию, в белом шелковом жилете. Он был бледен: недавние пытки оставили след на его челе, но он был хорош: страдание сообщало мужескую выразительность его лицу.

Он оставался в дверях и в этой чадной атмосфере искал глазами своего воздушного призрака. Наконец тонкие черты Лидии прорезались сквозь эту дымку. Ему стало грустно, ему впервые слишком гадким явилось все, что окружало этого бедного, прекрасного ребенка.

Лидия кончила. Посыпались браво.

Севский подошел к ней. Она с живостию схватила его руку и увлекла к дверям залы, где стояли два порожних стула и где было не так душно.

Они говорили. Разговор их был пуст и полон ребячества. Лидия была резва и весела — Севский стыдлив, грустен и робок.

Но они оба были молоды, хороши, созданы, казалось, один для другого.

Они говорили, беспечные, забывшие весь окружавший их люд, а между тем почти подле них стоял уже Званинцев, который, слегка кивнувши головою хозяину, не пошел дальше и встал у окна, закуривши сигару. Он смотрел на двух детей внимательно и грустно.

— Что же это за тайна, Дмитрий Николаевич? — спросила Лидия с резвым смехом.

— Я вам говорю, что это очень важно... — тихо и твердо проговорил Севский, — умоляю вас.

И он быстро передал ей крошечный конверт.

— Стихи? — спросила она, лукаво улыбнувшись.

— Может быть, — отвечал он, но в эту минуту оборотился в сторону, чтобы скрыть свое смущение, и побледнел...

Званинцев насмешливо улыбался.

Севский с досадою вскочил с своего места и бросился к своему Александру Иванычу, все еще не сыскавшему партии.

— Здравствуйте, Лиди, — сказал Званинцев за стулом молодой девушки... — Я вам принес конфект... жаль, что не мог найти порядочной игрушки.

— Игрушки? — и девочка с досадою надула губки.

— Вы заметно хорошеете, — сказал он холодно. — Какие у вас славные локоны! Дайте мне поцеловать один. — И, не ожидая позволения, он уже наклонялся к ее головке.

Лидия вскочила с живым смехом и порхнула в другой угол. Он пошел за нею.

Севского рвала досада и бешенсто.

— Послушайте, Лиди, — спросил Званинцев, — долго ли вы будете дурачить барона?

— Знаете ли? — отвечала она с детской доверчивостью. — Он сегодня предлагал мне руку и сердце.

— Право? и что же вы?

— Фи!

— Чего же вам надо?

И в Лидию вонзился взгляд тигра.

Она потупилась и отвечала робко:

— Не знаю.

— Дитя вы, — сказал беззаботно Званинцев.

— Отчего вы зовете меня дитею? — с досадою спросила Лидия.

— Оттого, что вы дитя, и притом мое любимое дитя.

Лидия захохотала.

В другом углу Севский особенно торжественным тоном говорил Александру Ивановичу:

— Вы говорили, что меня любите?

— Да.

— И потому я могу требовать от вас услуги?

— Всегда.

— Я говорю это потому, что, быть может, вы мне будете нужны.

— Эх, вы, ребенок, ребенок, — говорил, грустно качая головою, Александр Иваныч, — я знаю, о чем вы будете просить меня.

— Знаете?

— Да... ну да что ж, впрочем? Ведь надо же вам когда-нибудь умереть? Не лучше ли даже умереть, пока вы молоды, пока вы еще не сделались подлецом. Я ваш.

— Хорошо, — сказал Севский, пожав крепко его руку. — Быть может, придет минута, когда я вам напомню об этом.

. . . .

Было уже три часа утра, когда Лидия вошла в свою тесную, низенькую, бедную комнату.

Она была утомлена и задумчива. О чем она думала? О том ли, отчего рано уехал Севский, о том ли, отчего Званинцев играл в этот вечер менее обыкновенного?

Не знаю. Знаю одно только, что она совсем почти забыла о письме Севского.

Ей беспрестанно мерещился то мягкий, то пронзительный взгляд, полунасмешливая, полустрастная речь — этот гордый, высокий человек, равнодушно бросивший на стол проигранные им в банк три тысячи и тотчас же обратившийся к ней с веселою шуткою.

Не раздеваясь, села она на кровать и, опершись локтем на подушку, склонилась головой на руку.

Она была утомлена, но ей не хотелось спать.

Медленно расстегнула она спензер, из-под мыска выпала записка.

Она вздрогнула.

Она вспомнила — и с жадным любопытством дочерей Евы разорвала конверт.

Она читала.

Письмо было глупо, но искренно. Что-то похожее на чувство, на первое чувство мелькало на лице девочки.

Но она дочла до того места, где говорилось о Званинцеве.

Щеки ее вспыхнули самолюбивым румянцем.

Стало быть, этот человек, так глубоко презирающий все и всех, тоже человек, как и все другие.

Да... но зачем он смотрит на нее, как на ребенка?

Лидия была дитя, но дитя, созданное из ума и расчета. Да и не виновата была она, бедная девушка: вокруг нее все дышало расчетом, все было взвешено и продано, и если до сих пор еще не была продана она, то, вероятно, оттого, что на нее рассчитывали больше, чем на собственную честь и совесть.

И она знала это.

Но, подчиненная силе, она бессознательно, может быть, думала, что имеет полное право защищаться своим оружием — хитростию.

И в ней рано развилось это змеиное свойство, развилось на счет всех других.

Бессознательно она, может быть, так же презирала все, как сам Званинцев.

Она еще никого не любила.

Она была самолюбива — и в молодом, милом, умном Севском привыкла видеть мужа, который введет ее в иную жизнь; мечты об этой жизни, порядочной, быть может, блестящей, — ее сильно тревожили.

И только.

Она была холодна, она была опытна не по летам.

Она была воспитана чухонкой да хламом книг, который ей отовсюду таскали игроки, сбиравшиеся у отца.

Читатель может судить, каковы были эти книги...

Странная смесь ума и невежества, простоты и кокетства была в голове бедной девочки.

Будущее ее было безотрадно... и в нем также видела она такой же расчет, хотя, может быть, в иной сфере.

И в первый раз почувствовала она в этот вечер обаяние бархатного взгляда, обаяние силы, которая, казалось, ее сжигала.

Но она была самолюбива...

Он должен быть у моих ног, — думала она.

И от этой мысли ее мучила бессонница...

Утренняя заря облила комнату... Лидия заснула.

Она была дивно прекрасна, разметавшаяся, освещенная розовым светом.

. . . .

В эту ночь Антоша, как называл его Сапогов, или Антон Петрович Позвонцов, губернский секретарь, уволенный от службы за неспособностию, как значилось в его формулярном списке, ночевал на Крестовском острове под кустами.

Случилось это очень просто.

Он выехал с Сапоговым в его коляске, но Сапогов не рассудил ночевать дома и ссадил своего друга посередине улицы.

Антоша пошел очень равнодушно дальше, дальше и все дальше, наконец он дошел до Адмиралтейского бульвара и рассудил было ночевать на одной из его скамеек, но вспомнил, что полиция встает довольно рано.

И он спокойно шел, куда глаза глядят, — и так же спокойно лег под кустами Крестовского.

Но он не спал... он думал, — чего с ним давно уже не бывало, но какой-то хаос были его думы. То мелькали перед ним воспоминания давно минувшего: маленький домик в одном из самых отдаленных концов Москвы, тихая, скучная жизнь, два старых, облитых слезами, изборожденных морщинами лица — мужское и женское, и он готов был плакать; то, с негодованием отвергнувши эту полосу жизни, он видел себя молодым, полным надежд, безумно предающимся жизни, только что вырвавшимся на волю, с деньгами, еще уважаемым... с деньгами!.. О! он не знал тогда цены денег, он не знал, что деньги одни только делают человека свободным, он не знал еще, до чего доводит отчаянное безденежье и хандра, он не видал еще себя в своем будущем презренным паразитом Сапогова, бездомным скитальцем, который терпит все возможные унижения для того, чтобы не возвратиться на квартиру, где его ждет старый, пьяный, но жалкий слуга, не евший, может быть, три дня, да крик хозяйки за недоплаченные деньги. Он еще не знал тогда этого, он верил еще, что найдутся люди, которые поддержат человека, если он сделает ошибку в жизни, поддержат не бесплодным советом, а деньгами, деньгами, деньгами... И вот теперь он убедился горьким опытом, что человеку, раз запутавшемуся на свете, ровно нельзя ничего сделать; от долгов он бегал из дому, от долгов он не ходил на службу, которую и так не очень любил...

И вот нынче, в этот вечер, перед ним стоял человек с гордым челом, равнодушно и беспечно терявший тысячи за карточным столом, смелый, надменный, презиравший свободно все, что стояло с ним не в уровень.

То был идеал, тревоживший его юность, то был тип, который когда-то, еще юношей, он имел возможность хотя корчить — он, теперь друг, и наперсник, и подлейший раб презираемого им Сапогова.

В эту минуту Антоша без малейшего колебания продал бы душу черту, если бы черт не был слишком скуп в наше время.

Боже, боже! была пора, когда его могли спасти только полтораста рублей, только уплата первого, запутавшего его долга, и он жил бы, жил себе, скромный, грустный, отрекшийся от жажды необычной участи, но гордый, но не имеющий нужды ни в ком, и было бы своего роду величие в этом ограниченном положении. И он пошел тогда к своим друзьям, и он рассказывал им свое положение со всею искренностию, со всею чистотой благородной души, которая считает всякого способным к человеческому поступку; но его друзья удивлялись только, что его может запутывать такая безделица, снабжали его советами вдоволь и угощали у Излера.

И потом, потом, когда его спасла бы какая-нибудь тысяча рублей, он даже и не пошел искать этой тысячи. Он знал уже людей, он был уверен, что это сумма невероятная.

Но еще недавно, в порыве безумной мечтательности, ему, истощенному болезнию, страданием и развратом, вздумалось, что люди, владеющие миллионами, должны менее других ценить деньги. Он рассуждал очень просто, что сам он, если бы имел миллионы, то способен был бы бросать тысячи. Бедный безумец! к одному из миллионеров писал он письмо, странное, нелепое, просительное и вместе гордое, которого смысл был почти таков: «Вы богаты — я беден, у меня есть способности, но нет ни одного дня спокойствия. Вы можете дать мне год спокойствия, и я заплачу вам потом за это».

Разумеется, ответа он не получил, да, вероятно, письмо и не дошло до самого миллионера.

Перед ним все рисовался этот величавый образ, повелительный, прекрасный.

Боже! он так же, как и этот человек, мог быть выше многих, как и этот человек, он мог так же свободно и равнодушно требовать любви от прекрасной девочки.

И опять безумная мысль озарила голову Антоши.

Утро сияло... Было восемь часов.

Антоша порылся в кармане, но не нашел там ничего.

Тем не менее, дошедши до Васильевского острова, он кликнул извозчика и, садясь на него, сказал ему:

— В Большую Мещанскую!

Званинцев проснулся, но лежал еще в постели.

Комнаты его были убраны со строгой простотой и изяществом, но, по особенной странности, спальня была обита пламенно-красным штофом.

Перед спальнею был кабинет, в средине которого стоял огромный письменный стол, а по стенам шкафы с книгами.

Званинцев курил сигару и пил чай.

— Не принимать сегодня никого, кроме Воловского, — сказал он своему слуге.

— Слушаю-с, — отвечал тот и хотел выйти, но Званинцев остановил его.

— Сходи сегодня к Мензбиру, снеси туда книги, которые я приготовил на столе, и отдай кому-нибудь, сказавши, что это от меня барышне; ступай сейчас и пошли Ивана.

— Слушаю-с, — сказал опять лакей и вышел.

Через полчаса раздался звон колокольчика.

— Кто был? — спросил Званинцев другого вошедшего лакея,

— Какой-то чиновник, — отвечал тот, ибо в Петербурге слово «чиновник» заменяет московское слово «барин» для обозначения каждого, кто одет не в длиннополый сюртук.

— Кто такой?
— Не знаю-с, фамилии не сказал, и оставил вам записку.
— Подай!
Званинцев пробежал записку и спросил опять:
— Что? он ушел?
— Ушел-с!
— Нельзя ли его воротить?
Лакей побежал в переднюю.
— Что за странность! — подумал Званинцев, перечитывая опять записку: «Человек, видевший вас только раз, имеет нужду вас видеть». — Это любопытно.
Вошел Антоша.
Званинцев поклонился ему без всякого удивления, но спросил его довольно сухо:
— Что вам угодно?
— Мне нужно говорить с вами, — отвечал тот, невольно потупляя глаза перед строгим взглядом Званинцева, и дрожащим голосом.
— Ну-с, я вас слушаю... — сказал тот, опираясь подбородком на руку и не спуская с Антоши глаз.
— То, о чем я буду говорить с вами, так странно...
— Нужды нет.
— Вы богаты...
— Гм! вам, верно, нужны деньги?
— Вы бросаете тысячи.
— Прямо к делу. Вам нужны деньги?
— Да, — сказал Антоша, с твердостию встречая взгляд Званинцева, насмешливый и суровый.
— Хорошо, я не стану вас спрашивать даже, на что вам нужны деньги, деньги вещь очень важная, но сегодня я еще могу их бросить. Много ль вам?.. тысячи три, четыре?
— Две, — спокойно сказал Антоша, — но так я не возьму ваших денег, вы должны меня выслушать.
— К чему?
— Вы должны меня узнать, — настойчиво сказал Антоша.
— Я вас знаю, — спокойно отвечал Званинцев.
— Как паразита Сапогова?
— На что вам? не все ли вам равно?
— Нет, я не возьму ваших денег, — проговорил твердо Антоша, вставая со стула, на который он сел без приглашения.
— Безумец! — заметил с грустной улыбкой Званинцев. — Безумец! — повторил он. — Ну, утешьтесь, я знаю вас, как безумца.
Несмотря на язвительную несмешливость тона, Антоша понял, что Званинцев глубоко заглянул в его душу.
— Отоприте этот ящик, — начал ласково Званинцев, подавая Антоше ключ и указывая на ящик, стоявший на столе подле постели.
Антоша отпер.

— На левой стороне депозитки,[18] берите ими, да берите уж тысячу серебром, что за глупое жеманство?

Антоша отсчитал молча. Званинцев внимательно глядел на его лицо, но не заметил на нем и признака радости. Казалось, молодой человек совершал какую-то тяжелую обязанность.

— Вам тяжело, я вижу, — сказал Званинцев важно, — ну, что же делать, сами виноваты. Помните, что деньги — все.

И потом, подумав немного:

— Мне надобно вас взять в руки, — сказал он с улыбкою.

Антоша взглянул на него, и в его взгляде было много благодарности, хотя нисколько не унижающейся.

— Переезжайте ко мне, — опять начал Званинцев.

Антоша схватил его руку.

— Вы еще молоды, но в вас много благородства, много силы, много свободы, — говорил Званинцев. — Садитесь и пейте чай.

И через час беседы, в которой молодой человек передавал впервые другому человеку исповедь своих мук, своего унижения, казня беспощадно самого себя, — он был уже чист, светел и горд, как за пять лет назад, — он был уже почти равен своему идеалу.

Антоша уехал с тем, чтобы воротиться через два часа.

Лакей, которого Званинцев посылал к Мензбиру, возвратился и донес, что встретил барышню у ворот, выезжавшую в коляске с какой-то дамой.

— Куда? .. не знаешь? — спросил Званинцев.

— Не знаю, говорили только, что ужо в Кушелевом будут.

Через полчаса Званинцев оделся и вышел, оставив на имя Позвонцова записку, в которой просил его распоряжаться как дома в свое отсутствие.

В Кушелевском саду опять раздавалось новое оглушительное попурри Германа. На скамьях против оркестра сидело много дам, жительниц дач большею частию, одетых в неглиже, требовавшее, кажется, не менее трех с половиною часов времени. За ними стояли гвардейцы и говорили очень громко, разумеется по-французски. Было еще семь часов.

Налево сидела Лидия Мензбир, с какою-то дамою средних лет, очень незамечательной наружности. Она, видимо, скучала, потому что не было никого из ее поклонников, к пошлостям которых она привыкла. Ей было досадно, что кругом ее раздавались любезности, которых предметом была не она, и притом на языке, вовсе ей непонятном. Ее родственница молчала, она молчала также.

Но вот мимо ее прошел и Званинцев, прошел и едва заметно кивнул головой.

В эту минуту она его ненавидела...

— Скучно, тетенька, — сказала она вставая, — поедемте.

Флегматическая тетушка машинально последовала ее примеру.

И они пошли. Обыкновенные посетители сада осматривали их с наглым любопытством.

— Как вы тихо идете, тетушка, — сказала Лидия, выставив вперед нижнюю губку, с нетерпением и досадою.

Но в эту минуту чья-то рука коснулась ее левой руки и без церемонии взяла эту руку.

— Куда вы спешите, Лиди?.. — раздался звучный голос Званинцева.

— Ах, это вы! где вы были, я вас не видала здесь, — сказала Лиди с худо скрываемой злостью.

— Я вам кланялся, — сказал Званинцев.

— Я не заметила.

— Я знал, что вы сегодня будете здесь.

— Ах, да!.. благодарю вас за книги...

— А где же Севский? — спросил равнодушно Званинцев. — Странно, что его здесь нет.

— Отчего же странно?

— Полноте скрытничать, Лиди, я знаю, что вы вчера приняли его письмо.

Взгляд Званинцева был так холодно насмешлив, что Лидия потупила глаза, несмотря на свою досаду.

— Ну, что же? очень страстно это послание? — продолжал Званинцев: — как оно начинается? вероятно — Lydie! и, вероятно, это слово написано по-французски, хотя Севский очень хорошо знает, что вы знаете только по-русски.

Эта наглая дерзость могла взбесить даже и не девочку.

Лидия кусала губы от досады.

— Что ж тут смешного? — сказала она чуть не сквозь слезы. — Вы сами зовете меня Лиди.

— А! так я угадал... Но не в том дело, я совсем другое, я могу звать вас, как мне угодно.

Эти слова, произнесенные равнодушно и спокойно, вывели из терпения Лидию. Не привыкши удерживать свои внутренние движения, она вырвала свою руку из-под руки Званинцева.

— Как вам угодно?.. — сказала она, взглянувши на него с гневом своим блестящим взглядом.

Званинцев смотрел с улыбкою.

Он любил, когда из-под бархатной кошачьей лапки выступали когти тигра.

— Ну вот вы и рассердились, — сказал он добродушно, схватывая опять ее руку и кладя на свою... — Мне хотелось вас взбесить немного сегодня, чтоб видеть, к которой из кошачьих пород надобно вас причислить.

Лидия, несмотря на досаду, не могла удержаться от смеху.

— Дитя, дитя, вы и не знаете, как я люблю вас, — продолжал Званинцев, тихо и нежно.

Но Лидии хотелось не такой любви, спокойной и очень флегматической; она выставила нижнюю губку с досадою.

— Покорно вас благодарю, Иван Александрович, — отвечала она с ироническою улыбкою.

— Ну, что же писал вам Севский? — продолжал Званинцев, не обращая внимания на досаду девочки. — Предлагал вам руку и сердце? Не так ли, вероятно, с согласия своей маменьки?.. Может быть, также писал обо мне?..

Опять должна была потупиться Лидия перед этим ослепительным взглядом.

— Иван Александрович, — сказала она тихо, — знаете ли вы, что вы очень ошибаетесь, что я вовсе не так глупа и проста, как вы думаете, чтобы не заметить...

— Чего? — холодно и строго прервал Званинцев.

Лидия молчала.

— Не того ли, что я влюблен в вас? — продолжал Званинцев насмешливо. — О, о! вы порядочно самолюбивы...

Лидия была уничтожена... она ненавидела Званинцева, она хотела бы сгрызть его, как пантера, в эту минуту.

И между тем она шла с ним, покорная невольно.

Они замолчали оба и шли долго, не говоря ни слова.

— Советую вам, впрочем, не слишком верить письму Севского, — сказал наконец Званинцев.

— Я не имею причин ему не верить, — сухо отвечала Лидия и поклялась в душе завтра же отвечать на это письмо.

— Севский молод, у него есть матушка.

— Он меня любит, и я его также, — сказала твердо Лидия, освобождая наконец свою руку.

Званинцев захохотал.

— Он до того еще ребенок, что продаст вас, бедная Лиди: извините за слово «продаст», оно очень верно, он вас продаст, говорю я, за одну минуту спокойствия от наставлений своей матушки.

В эту минуту он увидел перед собою Воловских, мужа и жену. Воловская посмотрела на его спутницу и побледнела.

Званинцев это видел, и лицо его сделалось грустно.

— Я был у тебя сегодня, — сказал Воловский, пожимая весело его руку.

— Merci.*

И, кивнув головою Лиди, он пошел с ними.

— Походи, пожалуйста, с женою, — начал Воловский: — мне надо поговорить вот с этим гвардейским полковником, что стоит подле дамы в цыганке.

Званинцев и Воловская пошли вместе.

— Кто это? — спросила она с беспокойством, следя глазами за быстро удалявшейся Лидией.

— Так, дочь одного приятеля.

---

* Спасибо *(франц.)*.

— Она чудесно хороша! — сказала опять Воловская, грустно поникнув головою.

Званинцев взглянул на нее с изумлением. Ему, кажется, было непонятно, чтобы она могла ревновать.

— Неужели я в ней ошибся? — подумал он.

. . . .

— Неужели я в ней ошибся? — продолжал думать Званинцев, входя на другой день утром в гостиную Воловских и останавливаясь перед занавесом арки, отделявшей эту комнату от спальни Мари.

Он остановился, как будто в нерешимости, но только на минуту.

Он отдернул и тотчас же опять задернул за собою занавес.

Мари лежала на диване, бледная, расстроенная, с заплаканными глазами.

— Что с тобою, Мари, что с тобою, мой добрый ангел? — сказал он, взявши обе ее руки.

Она зарыдала.

— Ты меня не любишь, — прошептала она.

— Безумная! — почти вскричал Званинцев, сжавши с необыкновенною силою ея руки, — безумная, — повторил он тише. — Если я что-нибудь искренно любил в мире, так это тебя... тебя, слышишь ли ты, одну тебя и только тебя!

И, упав почти на колени, он покрывал горячими поцелуями ее ноги, ее платье...

— Мари, Мари, — говорил он страстным голосом, — я только с тобою таков, каков я на самом деле, я люблю тебя с бешенством дикого зверя.

И глаза его засверкали.

Мари вскрикнула и поднялась с дивана. Она поняла, что ее долг, ее верования висят на тонкой нитке.

— Опять! — с отчаянием сказал Званинцев, — опять! — повторил он глухим голосом, — чиста, как мрамор, холодна, как мрамор. Любовь, говоришь ты, — хороша любовь! О, Мари, что за любовь, у которой есть пределы!

— Ты хочешь, чтобы я умерла, — сказала Воловская боязливо и грустно, — ты знаешь... я твоя раба... ты знаешь это, но я умру, я умру...

И она зарыдала, закрывши лицо руками.

Он встал.

Он был грозен, как привидение, неумолим, как палач.

Она взглянула на него с немою покорностию.

Когда муж Воловской возвратился домой поздно вечером, он нашел жену в бреду лихорадки.

Доктор, за которым послала ее компаньонка, объявил ему, сжавши губы, что жена его больна нервической горячкой.

Через три дни она умерла.

Воловский оплакал ее столько, сколько прилично порядочному мужу оплакивать жену, и похоронил ее очень великолепно.

Званинцев, впрочем, не был на похоронах.

Его не было нигде видно с неделю, но потом он, как прежде, являлся везде, суровый, насмешливый, холодный. Только и заметили в нем нового, что он везде ездил с молодым человеком, который у него жил. Молодой человек был одет всегда в черном, был молчалив и важен. Он всегда в клубе играл в преферанс с Званинцевым и Воловским, который сделался тоже почти неизменным спутником Званинцева.

Собрания у Мензбира делались все чаще и чаще; но Званинцев вытеснил оттуда Сапогова и почти всех прежних игроков, заменивши их новыми, которые все были люди очень приличные и прекрасно говорили по-французски...

Эпизод второй

АНТОША

Patet exitus.*

Мораль Адама Вейсгаупта [1]

К нашей жизни не привились еще маскарады, это старая истина, в Москве ли, в Петербурге ли, они всегда необычайно скучны. Разговоры масок до нелепости пошлы. Язык ли уж наш виноват в этом, другое ли что, только они никак не выходят из спряжения глагола *знать*, и постоянно слышите вы: я тебя знаю, или: я тебя узнал, повторяемые часто несколько раз одному и тому же лицу, вероятно за неимением сказать ему ничего поважнее. Порой только мелькнет, как молния, быстрая и жгучая французская фраза, сказанная страстным шепотом, порой только маленькая ручка сожмет с неженскою силою чью-нибудь *избранную* руку и за трауром маски загорятся два огонька глаз... но это так редко, так редко, но это выпадает на долю слишком немногих, да и для этих немногих даже слишком необыкновенно подобное явление. Нет! не дались нам страсти, мгновенно вспыхивающие, опаляющие страсти, — ленива русская природа, простор любит русская природа, простор во всем, даже и в любви. Эта страсть к простору делает наших порядочных людей самыми порядочными людьми на свете, порядочнее даже англичан, которые зевают от пресыщения, тогда как мы зеваем от благодатного устройства организма, но бог с ней, с этой порядочностью, — как часто, страдая не зевотою пресыщенья, но пресыщением зевоты, хотел бы, вероятно, каждый из нас быть в состоянии хоть чему-нибудь удивляться,[2] в противность совету древнего.

Посмотрите, пожалуйста, вот в этой огромной зале большого театра движется с полсотни пар, медленно, лениво прохаживающихся взад и

---

* Выход открыт *(лат.)*.

вперед под бесовски-неистовые звуки, раздающиеся с верхнего балкона; вот впереди всех господин с Анною на шее, с страшно отъевшеюся физиономиею, и об руку с ним темно-коричневое женское домино, с вялыми движениями, с тяжелой ступней немки... о немки, немки!.. в какую полусонную минуту создает вас вечная мать-природа, утомившаяся разнообразием резких южных профилей! И чем бы, кажется, не женщины — чудесный бюст, правильное очертание лиц, идеально правильное, и на каждом лице печать казенной чувствительности, но глаза... глаза, в этих больших, голубых, вечно спокойных глазах вам уже нечего искать с самой первой минуты, как вы их увидели, эти глаза, пожалуй, чисто небесные, но ведь чем ближе к небу, — холоднее, говорит пословица. И эта речь, эта речь приторно-сладкая, не частая, не рассыпчатая речь француженки, не полногласно певучая речь южной женщины, не ленивая даже, но полная соблазна речь русской женщины, а немецкая речь, пересыпанная вечными Ach! и до бесконечности протянутыми Ja... о немки, немки! они только тогда и хороши, когда погибают рано, как все героини *Шиллера*, — но беда, истинная беда, когда немка дожила уже до того возраста, когда она узнает толк в бестолковом Жан-Поле. О! тогда она замучит себя и других приторной аффектациею чувства, она пересластит самую любовь до того, что нужна детская страсть к конфетам, чтобы понять эту любовь, она из каждого мелкого чувства сделает маленькое чудовище на муку ей самой и другим, разумея под этими другими не немцев. Немцев сама природа создает для немок...

Но я увлекся, я начал маскерадом и пишу о немках. Не виноват — что же делать, когда нет русских женщин. Где они — давайте их, русских женщин!.. Мы не видели еще русских женщин. В Москве и Петербурге есть барышни, в Москве есть барыни, в Петербурге есть чиновницы: но ни в Москве, ни в Петербурге нет женщин, не родятся женщины — почва такая! А если и появится женщина, то ведь и там и здесь, по слову Пушкина, она — беззаконная комета в кругу расчисленном светил.[3]

Званинцев скучал невыносимо, ходя об руку с какою-то схваченною им на лету женскою маскою и слушая ее догматические, заказные Liebeleien.*

Наконец, остановясь с ней недалеко от главного входа и направивши лорнет на ложу бельэтажа, он очень нецеремонно снял ее руку с своей.

— Du läßt mich... Schäme dich! ** — с невыносимою нежностью сказала его маска, но, не получа ответа, тотчас же схватила руку довольно толстого господина с лысиной на голове, сказавши: — Ich kenne dich.***

В ложе, в которую был направлен лорнет Званинцева, стоял, опершись на балюстраду, молодой человек. Он смотрел вниз, ища, казалось, кого-то глазами, и, наконец, быстро вышел из ложи.

---

* любезности *(нем.)*.
** Ты оставляешь меня... Постыдись! *(нем.)*.
*** Я знаю тебя *(нем.)*.

— А! — почти вслух сказал Званинцев, надвинув шляпу и садясь на балюстраду одной ложи бенуара.

Взгляд его вскоре отыскал опять молодого человека, который, сошедши с лестницы из бельэтажа в залу, почти тотчас же подал руку маленькому белому домино и вмешался с ним в толпу.

Званинцев обратился к капуцину, стоявшему недалеко от него и давно уже неподвижному, как статуя.

— Послушай, — сказал он ему довольно тихо.

Тот не отвечал.

— Антон Петрович, — громче повторил Званинцев.

Капуцин невольно вздрогнул, Званинцев улыбнулся.

— Ты задумался не на шутку, — продолжал он.

— А что? — равнодушно спросил тот.

— Вот что, — сказал Званинцев. — Тебе все равно — быть замаскированным или незамаскированным?

— Почти... меня никто здесь не знает.

— Так дай мне, пожалуйста, твоего домино.

— Пожалуй — зачем тебе?

— Мне это нужно.

И они вышли вместе.

Почти вслед за их уходом явился молодой человек с маленьким домино. Молодой человек был Севский.

— Знаете ли, Лиди, — говорил он своей спутнице печальным тоном, — знаете ли, что вам грех меня так мучить?

— Вас мучить, — повторила со смехом девочка, — разве я вас мучу?

— Если б вы знали, — продолжал он, — чего мне стоило быть сегодня здесь... о Лиди! Пожалейте обо мне, если вы меня точно любите.

— Мне вас жаль, — сказала холодно его маска.

— Да я сказал, впрочем, не с тем, чтобы вы обо мне жалели... Мне уж теперь все равно, — отвечал Севский с какой-то отчаянной решимостью.

— Право? — засмеялась Лиди... — вам все равно, говорите вы, вам все равно... а ваша матушка...

— Лиди, Лиди, — говорил Севский страстно, — вы знаете, что я люблю вас, вы этому верите, вы должны этому верить.

С ними поравнялся почти в эту минуту капуцин и пропустил их вперед.

— О! да, я вам верю, Севский, — прошептала рассеянно Лиди... — но что вы так странно смотрите?

— Этот капуцин, — сказал ей на ухо Севский с видимым волнением.

— Ну что же? — спросила она и, засмеявшись, опять показала свои хорошенькие зубки.

— Если этот капуцин — Званинцев?

Лиди робко взглянула в сторону, но капуцин исчез.

— Так что же нам до него? — сказала она наконец.

— Что?.. Я ненавижу этого человека, Лиди... он беспрестанно следит за вами.

— Следит за мной? — с трепетом спросила Лиди.

— Бывают минуты, когда мне хочется убить его, — сказал Севский.

Севский и Лиди исчезли снова в толпе.

— Здравствуй, Воловский, — сказал капуцин, подходя к своему приятелю, разговаривавшему с человеком, которого лысина показывала с первого раза его солидность.

— Здорово, — отвечал Воловский, пожимая его руку. — Что тебе за охота нарядиться шутом?

— Так; мне надоело кланяться разным господам.

— Отсюда ты куда? — спросил Воловский, зевая.

— В клуб конечно, а ты?

— И я тоже. Да вот вместе, втроем, господа, отправимтесь, — продолжал Воловский, обращаясь к своему собеседнику... — Рекомендую вам, Степан Степанович, моего приятеля Званинцева... Званинцев! Степан Степанович, мой начальник...

— И хороший приятель, добавьте, — сказал человек с лысиною, подавая руку Званинцеву. — Я давно хотел с вами познакомиться, — обратился он к Званинцеву.

Званинцев поклонился.

— Не родня ли вам, —начал он, — молодой Севский...

— Николаша? — спросил толстяк.

— Кажется, — отвечал Званинцев.

— А вы почему его знаете? он мой родной племянник, сын моего брата.

— Я с ним виделся в одном доме, — сказал Званинцев.

— А! верно у Мензбира?

— Вы угадали.

— Ох, уж мне этот дом! — сказак толстяк, сжавши губы. — Вам и Воловскому, разумеется, ничего быть где угодно, но Николаша... Хоть бы вы его остановили, право, а кстати, как звать вас по имени и по отчеству? — добавил он, нюхая с расстановкою табак из серебряной табакерки.

— Иван Александрович, — отвечал за Званинцева Воловский.

— Ну да, хоть бы вы его остановили, право, Иван Александрович. Я уж ему говорил, да что? нас, стариков, не слушают. Матушка его — хоть и родня моя, а баба вздорная, ничего не умеет делать толком. Подымет всегда содом такой, что боже упаси, а путного ничего не сделает. А Николашу, право, жаль, я его люблю, малой славный.

— Я его, кажется, видел сегодня, — сказал Званинцев, как будто б<ы> отклоняя разговор.

— Где?

— Здесь, — спокойно отвечал Званинцев и тотчас же отошел от Воловского.

— Куда ты? — спросил его тот.

Но Званинцев исчез уже в толпе.

— Так он здесь? — заметил как бы про себя толстяк... — как бы его встретить, право?

— Что ж, пойдемте на счастье, — сказал Воловский.

Они пошли.

Через несколько минут им в самом деле попался молодой Севский об руку с Лиди.

— Да, — говорил он с жаром, — я знаю, что когда-нибудь один из них непременно столкнется с другим, я это знаю — и тогда...

— Кто это столкнется, мой любезнейший, и с кем? — перервал его вовсе неожиданным смехом чей-то знакомый голос.

Он остолбенел... Перед ним стоял его дядюшка и очень добродушно хохотал, показывая на Лиди чуть не пальцем.

— Ага! попался, друг? — продолжал он. — Молодец, право! кто это с тобой?

— Дядюшка, — с досадой начал Севский.

— Ничего, ничего, — говорил Степан Степанович, — я тебе мешать не буду, это все, братец, ничего, на все это мое тебе разрешение... Вот только к Мензбиру...

Лиди вспыхнула под маской и почти насильно повлекла молодого Севского дальше от хохотавшего Степана Степановича.

— И я должна это слышать, — почти вскричала она, — и из-за вас, сударь, из-за вас...

Севский был уничтожен...

— Лиди, — начал он покорным голосом, — требуйте от меня чего хотите, но сжальтесь надо мною... Есть вещи выше сил моих.

— Я ничего не требую, — сухо отвечала Лиди и, бросивши его руку, подбежала быстро к женской маске.

— Поедемте, тетушка, — сказала она повелительно и схватила за руку маску.

— Здравствуйте, Лидия Сергеевна, — сказал ей почтительным голосом Позвонцев, стоящий в двух шагах от нее, — я вас узнал.

— А! это вы, здравствуйте, — рассеянно отвечала Лидия.

— Куда вы спешите? — начал опять тот.

— Пора, мне скучно... впрочем... я останусь,.. пойдемте со мною. — И, схвативши руку Позвонцева, она пошла с ним быстро мимо бледного Севского, который, сложивши руки на груди, прислонился к эстраде.

— Послушайте, *друг ваш* здесь? — начала Лидия, с особенно злым ударением на слове друг.

— Здесь, если вы так называете Званинцева, — тихо и грустно отвечал Позвонцев.

— Как же иначе? вы с ним всегда вместе.

— Что ж вы не добавляете, что он мой *благодетель*, — с горькой улыбкой заметил Позвонцев.

— Благодетель? — с удивлением сказала Лидия.

— Неужели вы об этом не слыхали? — отвечал Позвонцев тем же грустным тоном. — Ну, так я вам скажу это, несмотря на то что терпеть не

могу всяких благодеяний. Да... Званинцев спас меня, — продолжал он равнодушно-гордо.

— Ах, боже мой, что мне за дело до этого? — с нетерпением перервала Лидия.

Позвонцев грустно взглянул на нее.

— Так вам до этого вовсе нет дела? — спросил он. — Впрочем, это и понятно, что вам до меня, вам, которой ни до кого нет дела.

Лиди посмотрела на него пристально. В его тоне слышалось что-то очень странно грустное.

— Но вот и он, — сказал Позвонцев, увидевши недалеко капуцина, — передаю вас ему, — прибавил он с поклоном.

— О, нет, нет, — прошептала Лиди, сжимая невольно его руку.

Но Званинцев уже стоял подле нее и предлагал ей свою руку. Она не могла не пойти с ним.

— Ну-с, где же ваш Севский? — беззаботно спросил Званинцев, — неужели *дядюшка* был так неучтив... чтобы...

— Итак, это вы, это все вы, — сухим и резким тоном отвечала девочка.

— Да я — и все я, и везде я... — со смехом возразил Званинцев.

— Я вас ненавижу, — с силою прошептала Лидия.

— Благодарю вас. Но согласитесь, однако, что я говорил вам всегда правду, моя бедная Лиди, — сказал он с участием, смотря на нее пристально. — Вас продадут, мой бедный ребенок, продадут при первом *опасном* случае.

— Я его люблю, —опять прошептала Лидия, — слышите ли вы, я его люблю.

— Можете, — спокойно отвечал Званинцев. — Впрочем, и я его очень люблю.

— Я это знаю, — с досадою заметила Лидия.

— Только по-своему, — равнодушно продолжал он, — надобно, чтоб он сам узнал, до какой еще степени он ребенок. Он, кажется, сбирается убить меня — по крайней мере, мне так послышалось. К сожалению, ему не удастся даже и этого, бьюсь об заклад: на это все-таки нужна твердость... хоть руки, пожалуй.

Лидия вырвала свою руку из руки Званинцева и, схвативши тетку, увлекла ее к выходу.

Званинцев уехал в клуб.

Севский тоже исчез.

Один Позвонцев долго еще стоял у балюстрады, прикованный глазами к выходу...

. . . .

Было три часа ночи. Около часу уже Позвонцев, не раздеваясь, сидел в больших креслах в кабинете Званинцева. Взгляд его был дик и мутен; наконец он обмахнул лоб рукой, как человек, желающий согнать упорно засевшую в голову мысль.

Так! то, в чем искал он спасения, стало для него источником муки. Что из того, что этот человек, насмешливый, суровый и гордый со всеми, не стыдится перед ним плакать, пожалуй, что из того, что он сам, когда-то раб и приспешник Сапогова, когда-то полупомешанный Антоша, теперь имеет полную возможность и думать и грезить сколько душе угодно, что из того, что ему не отвратительно теперь возвращаться домой, — все-таки он погиб, он погиб потому, что никогда, никогда не удастся ему высказаться, что нечто гнетет и давит его и мешает ему высказаться.

А может быть, и ошибка — это желание высказаться... какие, в самом деле, формы бытия ему еще нужны? Он свободен, он не связан ничем даже нравственно, ибо все старые связи им разорваны, а Званинцев всего менее хочет ограничивать его произвол. Уж точно, есть ли в нем его собственная личность, как приходила ему мысль в былые годы?

Но это желание, но это стремление, эта тоска безысходная и это чувство своего духовного превосходства? Но это прошедшее, все полное мук и пыток, это прошедшее, с самого детства залитое слезами... Нет, нет, для него еще придет час освобождения, час примирения, за эти муки судьба еще должна заплатить счастьем. Иначе что же после этого упования живой души.

Прошедшее, грустное прошедшее... Вот перед ним, как китайские тени, мелькают картины этого прошедшего.

Вот опять перед ним маленькие комнаты в одном из отдаленных углов Москвы, вот опять целый однообразно глупый, страшный день. Ему восьмнадцать лет, бедному малому, а ему каждое утро чешут головку костяным гребнем за догматическим чаем: ему больно физически, ему больнее нравственно, — но костяный гребень все-таки чуть не до крови чешет его голову, и льются неумолкающие жалобы из уст больной матери — бедная, больная женщина! Вот опять перед ним ее бледное, изможденное страданием лицо, ее лихорадочно блестящие глаза, ее болезненная злость, — и ему хочется рыдать о ней, его бедной матери, о ней, которая мучила его всеми истязаниями пыток... И вот опять, кажется, является вечно пьяный повар, и отец его в задумчивости начинает ходить по комнате, изобретая кушанья... а Антоше тяжко смотреть на эту задумчивость, он знает, что при первом неудачном желании какого-нибудь кушанья мать не утерпит, чтобы не сказать что-нибудь очень язвительное, и отец вспыхнет, покраснеет, раскричится — и расстроенный пойдет в свою тяжелую должность. И у бедного ребенка сжимается сердце, и еще больше сжимается оно, когда по уходе отца мать начинает свои бесконечные монологи об отце, о том, как он ничего беречь не умеет, о том, что он живет только в своих родных. И она плачет, она действительно плачет, она искренно страдает, бедная больная женщина, но она не в силах понять, что от этих монологов с каждым днем худеет и худеет сын, она еще спрашивает, отчего дрожат, как на прово-

локах, его руки, не могущие удержать чайной чашки. Но он вырвался наконец... он там, куда рвался давно, он сидит на лавке против кафедры, он слушает, он усердно слушает, ибо это его единственно спокойные минуты; в голове его совершается умственный процесс, идея вяжется за идею, великолепное здание является пред очами духа... но боже, боже — нет основы у этого здания,[4] и оно рушится, и перед ним бездна, страшная бездна, и перед ним невозможность здания... И вот раздается голос — его зовут; он бледнеет, он трепещет, ибо знает, что хоть здесь должен он быть первым, ибо он честолюбив и горд, бедный ребенок. И зато какими муками искупает он минуты своих академических торжеств! Он готов до бесконечной преданности привязываться к глашатаям истины, он думает еще, что есть люди, которые больше его разумеют цель жизни, он винит себя за то, что не видит цели в мертвых отвлечениях науки, он презирает самого себя, он рыдает целые ночи, он мучит себя целые дни над книгами... а взгляд его на жизнь не просветлел нисколько.

И предстает ему иная сфера жизни. Он уже понял, что обман, что лицемерие — вся эта научная деятельность, — и он усвоил себе этот обман, он стяжал себе им уважение глупцов и дружбу лицемеров. Он подает большие надежды, бедный ребенок, — беда в том только, что на вечерах известных кружков еще не играет он в преферанс, по причине весьма естественной, потому что ему не на что играть, потому что его касса, точно так же, как прежде, каждое утро поверяется матерью, по окончании обыкновенной операции костяного гребня... Ну, да это еще ничего, что он не играет в преферанс, зато он хорошо рассуждает, обо всем рассуждает, об астрономии, пожалуй, которой он никогда не учился, зато он *прекрасная душа*, зато он примерный сын, солидный молодой человек.

И вот из-за множества фантасмагорических призраков с длинными носами, с догматическими физиономиями — мелькает легкий, воздушный образ девочки. Лицо ее очень простодушно и мило, голубые глазки смотрят так преданно, так покорно, и она, как и многие, замечает часто следы нравственных страданий на лице молодого человека, но она одна высказывает ему это почти прямо: *о! я знаю, вы часто плачете,* — говорит ему она своим детским голосом, — ведь это смешно, смешно, боже мой! что женщина уличает мужчину в слезах, но вспомните, что этот мужчина — больной ребенок, истерзанный нравственными пытками. И пусть речи этого ребенка полны часто злой иронии, пусть в иную минуту, в иной вечер девочка в состоянии подчиниться тягостному влиянию этих речей, в состоянии грустить сама и говорить ему об этом простодушно-откровенно, — все же он ребенок, все же ведь она же потом скажет ему: вы много читали... мало жили.

И ночь, ночь волшебная, редкая, прозрачная ночь перед взором Позвонцева — ночь, какую можно видеть только в грезах детства, и тихое качанье кареты, и робкий, и грустный взгляд девочки, которой впервые открыл он, что она — женщина, которой еще не верится это...

О, зачем, зачем исчез этот детский профиль, эта простодушная покорность, зачем вызвал он сам эти прозрачно-бледные черты, эти болезненно-сверкающие очи; зачем он должен быть ее демоном. Но он будет им, он им будет — он будет демоном, если она может любить только демона.

И призраки смешались, и прошедшее исчезло, и Позвонцев глухо рыдал все о нем, о прекрасном легком призраке...

Ибо что такое теперь, в самом деле, вся жизнь его?.. Неконченная драма, остановившаяся на четвертом акте... Все развитие совершено, оставалось пережить только катастрофу, а ее-то и не было. Бедная, странная жизнь, скептический вопрос без разрешения...

И что ж теперь?.. о! он в состоянии проклинать ту минуту, когда он был спасен Званинцевым... Пусть он нежен с ним, как женщина, этот человек, — все равно, он спас его — и они неравны. Есть человек, которого невольно должен Позвонцев признать по крайней мере хоть своим старшим братом. А он опять влюблен, влюблен страстно и безумно — зачем станет он скрывать это от себя? Да, он влюблен; но имеет ли право на любовь? Он уже слишком стар, чтобы подчиниться женщине, — он еще слишком молод, чтобы подчинить ее себе. Нет, нет — вон, с корнем, вон эту страсть из сердца, эту глупую безрассудную страсть. Он не должен больше любить, потому что не может любить по-своему. Так, так — и он покорен этому решению рока, но что же осталось ему? Жизнь так пустынна, так печальна, будущего нет более, остается одно прошедшее, мучительное своей безвозвратностию.

Позвонцев поднял наконец голову и вперил свой мутный взгляд в пару пистолетов, висевших на стене.

— Да, это так, — сказал он шепотом, — это так — рано или поздно.

— Но — не теперь, — раздался за ним звучный знакомый голос.

Позвонцев вздрогнул.

— Я тебя поймал, — сказал тихо Званинцев, положивши руку на его плечо.

Позвонцев глухо рыдал, закрывши лицо руками.

— Послушай, — продолжал кротко Званинцев, — я тебя знаю, как свои пять пальцев, но теперь, признаюсь тебе, я не могу догадаться, что тебя так взволновало.

— Оставь меня, ради бога, не спрашивай меня, — прошептал Позвонцев.

— Я не люблю лгать, — начал опять Званинцев, садясь в кресла и складывая на грудь руки, — я не люблю лгать, ибо уверен, что ложь слишком вредна. Правде надобно смотреть всегда прямо в лицо. Прикажешь мне *за тебя* догадаться о твоем внутреннем расстройстве?

Позвонцев опустил глаза в землю перед его испытующим взглядом. Званинцев видел это.

— Ну да, — сказал он тихо и грустно, — я знал это, тебе тяжело быть обязанным даже мне.

Позвонцев вскочил с места и начал ходить по комнате.

— Что ж? — продолжал Званинцев так же скорбно, — твоя воля! Видно, уж мне суждено идти по жизни одному, видно, уж ни на чью грудь не склонить мне головы... я был с тобой откровенен, как с любимой женщиной, я был — да, я был с тобой счастлив, я, старый волк в людской толпе, нашел в тебе семейство, и верь мне, брат, — сказал он с глубоким чувством, — только в это последнее время возвращался я не с омерзением под свой домашний кров, и только в это последнее время я был меньше зол на людей. Но я сказал тебе — твоя воля! Тяжело, и тебе и мне тяжело будет жить одним, но уж лучше же выносить тяжесть жизни, чем лгать, как рабы.

Позвонцев, грустный и бледный, качал головою.

— Нет, — начал он наконец, с усилием, — я сам не могу тебя оставить, я привык к тебе, я тебя люблю... Видно, так уж должно, — прибавил он тихо.

— Итак?

— Что бы ни было, я остаюсь... по свободному избранию.

— Благодарю, — сказал Званинцев: — ты и сам не знаешь, как ты много делаешь мне добра.

— Да, — отвечал медленно Позвонцев, — может быть, но почему я осужден встречать в жизни только высших или низших, а никогда равных? Впрочем, это очень глупый вопрос, — прибавил он с принужденным смехом. — Видно, так уж надо . . . .
. . . .

Вот перед нами опять маленькая, чистая комнатка Севского, и ничто не изменилось в ней, пол, кажется, выметен только еще чище, да на столе прибавилось множество безделушек большею частию работы нежных рук кузин, вероятно...

Но, бедный Севский, как он исхудал, как страшны его впалые щеки, зеленый цвет лица, обметанные лихорадкой губы, как уныло смотрят его светлые глаза, как резко обозначились угловатые линии лба!

Бедный молодой человек! Бедное, любимое дитя природы, истерзанное людскими отношениями, неотвязной людской любовью, идущей всегда наперекор любви вечной матери, наперекор здравому смыслу человека!

В самом деле, человек — существо разумное и свободное, существо высшее по своей организации и потому имеющее полное право на жизнь, сообразную с его высшими потребностями, — это существо, вследствие какой-то страшной путаницы, должно ограничивать свои желания, уничтожать свои потребности! Природа его требует любви, и, кажется, не все ли прекрасное стоит любви, равно может быть ее предметом и источником. Нет! первые впечатления, первые наклеенные понятия ограничили взгляд человека, давай ему не вообще прекрасного, но такого прекрасного, какого он привык ожидать и желать по понятиям того кружка, в котором он живет. Мало этого. Он наконец встретил прекрасное, им самим избранное прекрасное, он наконец остановился перед избранной женщи-

ной — и готов сказать ей слово любви, слово союза. И что же? ему — которого мысль в единое мгновение облетает бесконечное пространство — ему говорят другие люди: «Она не пара тебе» или «Она не может быть твоею, ибо предназначена другому», — и пусть человек и женщина любят друг друга такою любовью, которая в состоянии уничтожить и их самих и все возможные отношения, — попробуй они поверить в силу этой любви!.. Нет силы, которую не уничтожили бы постоянные муки и расчетливые пытки, нет любви, которой не залили бы собственные, выдавленные слезы.

Севский сидел у стола, сжимая голову руками.

— Дмитрий Николаевич! — послышался из другой комнаты пронзительный и дребезжащий голос.

Севский не слыхал... он был слишком углублен в самого себя.

— Дмитрий Николаевич, а Дмитрий Николаевич, — снова раздался тот же голос, но гораздо повелительней и строже, — я вас зову.

И вслед за этим в растворившиеся двери показалась голова матери.

— Да что ты, оглох, что ли? — сказала она, подходя наконец к нему и грозно сверкая лихорадочными глазами.

Севский поднял голову; лицо его горело.

— Виноват, маменька, — прошептал он, — у меня голова болит.

— Голова болит! — вскричала мать, и что-то похожее на чувство сожаления блеснуло на ее лице. Она быстро приложила свою худую, костлявую руку к голове Севского.

— Да ты весь в жару, Митинька, — начала она... — Вот то-то, мой голубчик, по ночам-то рыскаешь до свету. Погубишь ты себя, совсем погубишь, Дмитрий Николаевич, и оставишь меня одну. Уж я и так мало радости-то на свете видела, а тут...

Она не договорила, слезы градом полились по морщинам ее бледного исхудалого лица.

— Маменька, — страдающим тоном сказал Дмитрий, — покрывая поцелуями ее руки, — да полноте, полноте, маменька.

— Не жалеешь ты меня, дружочек мой, — говорила она рыдая. — Вишь, — продолжала она с сердцем, — голова-то так и горит. Где был вчера целую ночь, мой батюшка? Знаю, знаю, не вертись, не лги, грех перед матерью вертеться, мне дядюшка все сказывал, все.

И голос ее задрожал от гнева при последних словах.

— Знаю, где и вечера-то сидишь, Дмитрий Николаевич, — начала она опять, садясь на диване и утирая платком слезы. — Что ж, твоя воля, я тебя не удерживаю, погуби мать, погуби — я уж и так на свете мученица.

Севский молчал и тяжело дышал, как человек, у которого на груди лежит тяжелый камень.

Послышался звон колокольчика.

— Небось, к тебе несет нелегкая, — язвительно заметила мать. — Вот дожила до какого времени! И с сыном поговорить не дадут. Ну, что ж ты, — вскричала она, приподнимаясь с гневом, — поди, принимай своих гостей.

— Г-н Званинцев, — доложила входя рыжая девка.

Севский побледнел.

— Это не ко мне, — сказал он с живостью, — я его не звал.

— Да я-то его звала, — отвечала мать насмешливо. — Конечно, уж не к тебе он приедет, к мальчишке...

— Маменька, маменька. Да не вы ли... — с нервною дрожью начал Севский.

— Что не я ли? Что не я ли? — сказала мать с возрастающим бешенством. — Званинцев не твоим мерзавцам чета: я его не знала, так и говорила о нем прежде, что и он такой же. У меня смотри, — быстро закричала она, — выдь к нему.

Вся кровь бросилась в голову Севскому... он упал без чувств на кресла.

Когда он очнулся, перед ним стоял Званинцев с ласковою и грустною улыбкою.

— Вы больны, — начал он, взявши с состраданием его руку.

Севский выдернул руку и прошептал: — Оставьте меня.

— Вы видите, — сказал Званинцев уныло, — ваше сопротивление тщетно, вы в моей власти, я вам говорил это, я вам это доказываю.

— Варвара Андреевна, — обратился он спокойно к вошедшей матери Севского, — ваш сын болен, пошлите за доктором...

. . . .

Мензбир быстрыми шагами ходил по желтой комнате. Его седые волосы поднялись, как щетина, ноздри раздулись от гнева и волнения, на лбу его показались морщины.

Лидия сидела у рояля, беспечно закинув голову за спинку стула и по временам перебирая клавиши рукою.

— Да тебе, что ли, я говорю или нет? — вскричал наконец Мензбир, судорожно сжимая кулаки и останавливаясь перед нею.

Лидия презрительно улыбнулась.

— Я вам сказала, — равнодушно отвечала она, — будет с вас.

— Лидка! — закричал Мензбир, ближе и ближе подступая к ней.

— Что это!.. — вскричала Лидия... — о! вам не удастся! — и с этим словом она с быстротою молнии вскочила с своего места и была уже на балконе.

Мензбир топнул ногой и опять заходил по комнате.

— Скажите вашему барону, — быстро проговорила Лидия, отворяя половинку дверей балкона, — что я не буду принадлежать ему.

Мензбир ударил себя по лбу.

— Скверная девчонка! — прошептал он сквозь зубы. — Лидия, а Лидия, — начал он ласково, — поди сюда, мы поговорим с тобою посерьезнее.

— Ну-с, я вас слушаю, — сказала Лидия, снова отворяя половинку дверей.

— Да поди сюда... эх, какая!

— Я вас слушаю. Чего ж вам... ну-с, говорите... да говорите же... я жду, — быстро сказала Лидия.

— Ты все на Севского-то надеешься, — начал Мензбир ласково, — ведь я тебе говорил, что о нем уж справлялся... имение все записано на счет, да и что за имение-то... Дрянь сущая... ну, каких-нибудь тысяч пятьдесят в ланбарде, да и те едва ли наберутся, — чем тут жить, сама ты рассуди только... А у барона-то миллион, а барон-то хоть скуп, как жид, да зато богат, как жид.

Лидия задумалась.

В эту минуту отворились двери комнаты, и вошел Званинцев ровными и тихими шагами, с веселым и ясным челом.

— Здравствуйте, — кивнул он головой Мензбиру... — я к вам в необыкновенное время, потому что за делом.

— Что вам угодно, Иван Александрович? — с приторно нежной заботливостью обратился к нему Мензбир.

— О, дело не до вас, — почти презрительно отвечал Званинцев, — дело до вашей дочери.

— До меня! — быстро перервала Лидия.

— Да, до вас, — спокойно сказал Званинцев, садясь в кресла против нее. — Я, — продолжал он с комическою важностью, — приехал к вам сватом, именно сватом.

Лидия быстро взглянула на него, но тотчас же опустила глаза, встретивши их ослепительно холодное выражение.

— Я приехал уполномоченным от матушки Дмитрия Николаича, — начал снова Званинцев.

— Севского? — перебил Мензбир.

— Теперь, — продолжал Званинцев, не обращая внимания на слова отца и пристально смотря на Лидию, — все зависит от вашей воли.

Лидия опять взглянула на него и опять увидела то же бесстрастное выражение лица, которое напоминало спокойствие египетских сфинксов.[5]

Она тихо встала.

— Скажите Дмитрию Николаевичу, — сказала она тихо, — что я не отрекаюсь от своих слов.

— Только? — спросил немного насмешливо Званинцев.

Лидия опустила глаза в землю; правая рука ее рвала платок, на ее щеки выступил румянец досады.

— Да-с, — прошептала она сквозь свои хорошенькие зубки.

Званинцев засмеялся.

— Я у Севского посаженным отцом, Лиди, — сказал он. — Вот видите ли — вы правы: все я и везде я... Ну, так дело в том, что я могу объявить Севскому о его *счастии*, — прибавил он с насмешливым ударением на слове счастие.

— Кажется бы... — начал Мензбир.

— Что-с? — строго оборотился к нему Званинцев.

— Нет... я ничего... я, право, так, заметил только, — заговорил старик.

Лиди быстро встала с места и ушла в свою комнату.

Ей было досадно, ей было больно... она в волнении упала на постель... Расстаться с мыслию, что Званинцев ее любит, было для нее слишком тяжело.

Она его проклинала.

Она уже любила его всей силой первой девственной страсти . . . .

. . . .

Знаете ли вы зимние вечера, длинные, бесконечно длинные зимние вечера, проведенные в одинокой комнате с нагоревшей свечою, когда над вами лежит что-то страшно тяжелое, и сжимает, и давит грудь, и перед вами, как будто на смех, кружатся и роятся светлые легкие призраки, которые дразнят вас, как дневной свет, проникающий в узкое отверстие тюрьмы.

В один из таких адски-томительных вечеров Антоша сидел один у письменного стола, склоняясь головою на лист почтовой бумаги.

Он поднял наконец лицо, залитое слезами, и с негодованием покачал головою.

Он встал. В чертах его высказалась роковая неизбежная решимость.

— Давно... — прошептал он горестно.

— В последний раз, — прибавил он чрез минуту.

Он зарыдал и упал на колена.

— Нет! — вскричал он почти громко, с отчаянием махнувши рукой, и встал.

Он быстро вышел.

Долго оставалась пустою комната, — и что-то таинственно-торжественное было в этой пустоте.

Наконец послышался звон колокольчика, и через минуту вошел в кабинет Званинцев.

Он сел на кресла у стола, и первый взгляд его упал на незасохшее еще письмо Антоши, залитое слезами.

Званинцев схватил его и, пробежавши быстро, судорожно сжал в руке, на челе его выступил холодный пот.

Вот что писал ему Антоша:

«Друг, брат, отец мой!.. ты вырвал меня из омута, но ты не мог возвратить мне моего прошедшего. Я хотел быть выше всех, я не был равен с тобою, я любил снова... но, не имея силы быть в любви властелином, я не хочу быть рабом. К чему жить, когда я не умею властвовать жизнию... Быть может, есть иные сферы, где все, что сдавлено земною оболочкой, найдет простор и широкие размеры. Ты сам учил меня, что в человеке сокрыта целая вселенная. Прощай: жизнь моя была гадка, — смерть будет торжественна. Ты меня любил — пожалей обо мне.

Есть души, которым в самом деле неловко в своих сосудах, потому, может быть, что эти сосуды повреждены.

Мира, мира просите им, этим бедным душам».

Званинцев тихо сложил письмо и сказал:

— Patet exitus!

Он приехал с обручения Севского и Лидии.

Эпизод третий

СОЗДАНИЕ ЖЕНЩИНЫ

On ne fait le bien, qu'en faisant le mal.

*Correspondence inèdite.**

Было десять часов утра. В гостиной Севской полусонная рыжая девка стояла с половой щеткой в левой руке посередине комнаты. Правой рукою почесывая нос, она смотрела бесцельно мутными, заспанными глазами в угол комнаты. Белые сторы окон не были еще подняты, но ясное, зимнее солнце пробивалось и через них своим холодным светом; на круглом столе перед диваном стоял уже самовар и кипел, распространяя по комнате не слишком благовонный запах угольев.

И долго бы простояла еще в сладком полузабвении рыжая девка, если бы из него не вывела ее полновесная пощечина.

Девка только обернулась, нисколько не удивляясь, по-видимому, приветствию. Перед ней была Варвара Андреевна, в черном демикотоновом капоте, в спальном чепце. Даже черты лица самой Варвары Андреевны, искривленные всегдашним болезненным страданием, не выразили ни досады, ни гнева в ту минуту, когда ее бледная, костлявая, иссохшая рука давала обычную оплеуху.

Девка флегматически принялась двигать щеткою по полу.

— А чашки? — закричала Варвара Андреевна, садясь на диван перед самоваром.

Девка машинально подошла к дверям.

— Форточку опять не отворяла, бестия! — остановила ее Варвара Андреевна, — опять накурила самоваром... Ох, ох! тошно... я и так уж мученица, и без того голова болит, ох, ох!..

Девка мимоходом коснулась рукою форточки.

— Простуди еще меня теперь, — закричала Варвара Андреевна, с яростию подымаясь с дивана. — Спирту дай поскорее, мерзавка... да чашки. чашки...

Девка была уже за дверями гостиной.

Варвара Андреевна взглянула кругом себя, в ее лихорадочно сверкавших глазах выразилось глубокое, сдавленное страдание.

— Митя, — прошептала она глухо.

По ее впалым щекам покатилась слеза. Она задумалась, она не обратила даже внимания на то, что рыжая девка, вместо двух чашек,

* Не сотворишь добра, не сделав зла. *Неизданная переписка (франц.).*

принесла только одну, почти бессознательно положила две ложечки чаю в чайник и поставила его на комфорку самовара.

Она была жалка в эту минуту — кругом ее, бедной, больной женщины, все дышало одиночеством и тоской безысходною.

Она сняла чайник с комфорки и налила себе чашку.

— Где же другая чашка! — спросила она с гневом, уставивши свои впалые глаза на девку.

— Да я не поставила, — отвечала та, глупо улыбаясь... — Ушли-с.

— Кто ушли?

— Дмитрий-то Николаевич-с... к невесте ушли-с, так и сказать приказали-с, они, мол, скоро будут.

— К невесте ушел, — повторила про себя Варвара Андреевна качая головой... — вот оно... то ли еще будет!.. Посмотреть на него не дают, — вскричала она громко с отчаянием... — И я... не смей сказать слова, — прошептала она с тихой сосредоточенной желчью, — не смей слова сказать, от моих слов, вишь, он болен, умрет! Ох, Иван Александрович, бог тебе судья!

Она истерически зарыдала...

Увы! Она ведь была тоже права по-своему, бедная, больная и злая женщина. Есть характеры, которые не могут жить на свете без того, чтобы подле них не было существа, которое бы они любили и которое бы они терзали... Они ведь тоже любят, эти болезненные природы, любят до того, что в состоянии сами уничтожиться, уморивши любимое существо. Странная, грустная загадка, эти природы, загадка, объясняемая только общественными условиями, в которые они поставлены. В самом деле, чем виновата эта мать, которая мучит своего сына? Ведь она мучит его от беспредельной любви к нему, ведь она по-своему хочет даже добра ему? ведь она — *мать*! Эта женщина любит до того, что она, пожалуй, отречется от своего права мучить другое существо, но она умрет, как змея, у которой вырвали ее жало.

Долго еще припадки истерики мучили Варвару Андреевну.

Пробило 12 часов — в передней раздался звон колокольчика.

— Это он, — сказала она шепотом, поправляя чепец и садясь на край дивана.

В самом деле, через минуту вошел Дмитрий; он был весел, на его лице было просветление, на щеках играл румянец, так и видно было, что ему хочется кому-нибудь передать все, что наполняло грудь его беспредельной, удушливой радостью.

Он быстро подошел к матери и с любовью поцеловал ее руку.

— Здравствуй, Митя, — кротко сказала ему больная женщина, удерживая его руку и поднимая на него свой впалый, грустный взгляд. — Здорова ли Лидия? — как будто нехотя проговорила она, после минуты молчания.

Есть что-то глубоко унизительное для человека в принужденном участии, есть что-то страшно тяжелое в вынужденном великодушии людей,

близких к ним, есть, наконец, что-то отравляющее всякую радость в жертве, которую делают для человека люди слабее, ниже его.

— Маменька, вы плакали?.. — спросил Севский, не отвечая на вопрос и опуская глаза в землю.

— Я? о нет, Митя, нет, дружочек мой, я не плакала, я ведь обещала тебе, что не буду плакать... я не плакала, — скорбным, дрожащим от внутреннего раздражения голосом говорила Варвара Андреевна, отирая белым платком свои красные, больные глаза.

Дмитрий взглянул на нее... сердце поворотилось в его груди.

— О боже мой! — вскричал он с ропотом и отчаянием, стиснувши голову руками, — и зарыдал, не имея сил сказать ничего больше. Варвара Андреевна вскочила с места и, крепко охвативши его руками, залила его лоб потоком сдавленных, жгучих слез.

— Митя, Митя, — рыдала она, — не умирай, голубчик мой, Митя... не умирай, я буду любить ее, слышишь ли! она будет хозяйкою в доме, я готова быть твоей кухаркой, ее кухаркой, из любви к тебе, я на все готова, на все, я всем пожертвую, — что ж? уж целый век я была мученица.

Бедная женщина, она не понимала, что каждое слово ее способно было резать как нож, что самая страстная любовь ее была отвратительным эгоизмом, что она не могла даже пожертвовать ничем, сама не оценивши наперед и не выставивши на вид всей великости жертвы.

Ни мать, ни сын не слыхали, как вновь зазвенел колокольчик и как вслед за тем вошел в гостиную Званинцев. Он остановился в дверях и, сложивши на груди руки, с немою, зловещею улыбкою смотрел на эту сцену.

Варвара Андреевна увидала его первая и с криком упала на диван, закрывши лицо руками.

Севский с скорбным, умоляющим выражением поднял на него глаза. Званинцев молча пожал его руку и, севши на кресла против него, закурил сигару.

— Дайте мне стакан чаю, Варвара Андреевна, — сказал он спокойно.

Болезненная краска выступила на впалых щеках Севской, но она повиновалась ему, робко опуская глаза перед его холодным взглядом.

Это было нечто вроде сцен покойного фан Амбурга с гиенами.

— Когда ваша свадьба, Севский? — спросил он.

— Не знаю, — отвечал молодой человек, неподвижно уставивши глаза в пол.

— *Вероятно*, назначение дня зависит от вас, Варвара Андреевна, — обратился Званинцев к матери, — пожалуйста, поторопитесь, чем скорее, тем лучше; Дмитрий Николаевич до свадьбы не способен ничего делать, а место помощника Воловского не может долго быть вакантно... Он мне это сам говорил.

— Когда же? — дрожащим голосом спросила Варвара Андреевна, не смея поднять глаз.

— Не знаю, когда хотите, — спокойно отвечал Званинцев.

— Через неделю, — с усилием сказала Севская, поднимаясь с дивана.

— Ровно через неделю? у нас сегодня вторник, кажется? — обратился Званинцев к молодому человеку.

Дмитрий молчал.

Варвара Андреевна вышла из гостиной.

Севский быстро поднял глаза на Званинцева.

— Иван Александрович, — сказал он, подавляя неприятное впечатление, которое всегда испытывал от его взгляда, — научите меня, что мне делать?

Званинцев улыбнулся.

— Вы знаете, мой милый, я никогда не даю советов, — сказал он холодно.

— Боже мой, боже мой — что ждет меня в будущем? — с отчаянием говорил про себя молодой человек, ходя по комнате.

— Что же? вы хотели жениться на Лидии, вы на ней женитесь, — полунасмешливо начал Званинцев.

— Иван Александрович, — прервал его Севский, подходя к нему и взявши его руку, — сжальтесь надо мною... но что я говорю вам? к чему я говорю это вам, — продолжал он с отчаянием, — у вас нет сердца... или нет, нет, простите меня, я не знаю сам, что я говорю, вы мне сделали так много добра.

— Не я — обстоятельства.

— Ну, положим, положим так даже: вы не хотите моей благодарности, вам она оскорбительна... Но сжальтесь надо мною, что я должен делать?

— Ничего, кроме того, что вы можете.

Лицо Званинцева было спокойно, как облик сфинкса, — тщетно искали бы вы на нем хотя тени человеческого сочувствия.

Севский отступил с невольным ужасом и сел на кресла мрачный, бледный, как преступник, которому прочли приговор.

— Да, — сказал он наконец сухим, горячим тоном, — да, я знаю, что унизился до того, чтобы быть вам обязанным, что вы играли мной как ребенком.

— Я? — холодно прервал Званинцев, отряхивая сигару.

— Вы или обстоятельства, не все ли мне равно?.. Я уже подлец, довольно этого, — я ненавижу их, ненавижу вас... чего еще вам надобно?.. чтобы я был палачом?..

— Слушайте же, — тихо начал Званинцев, устремивши на него грозный, зловещий взгляд, — слушайте же, безумный, вы еще не все знаете, вы еще и не воображаете всех мук и пыток, которые ждут вас в будущем, вы еще не хотите верить, что каждое утро будет вам отравлено, что каждый вечер вы будете терзаться пыткой...

— О! — простонал молодой человек, сжимая голову руками.

— Вы забыли, что любовь не любовь, если она разделена, — продолжал Званинцев, — больше еще, вы забыли, что любовь делает свободного

человека рабом, который повсюду волочит за собою свою цепь... вы забыли это все, — а я это знал и знаю.

— И что же?

— Всякому дано действовать по силам. Я отрекся действовать, — я предоставляю людей их собственному произволу. Чему устоять — то устоит, чему погибнуть — то погибнет.

И, взявши шляпу, Званинцев тихо вышел из комнаты...

. . . .

Пойдемте теперь со мною, читатель, в один из самых отдаленных переулков Литейной части, в низенький, наклонившийся немного набок домик, выкрашенный дикою краской, снабженный даже ставнями у окон, как будто нарочно для того, чтобы живее напоминать подобные же московские дома. Кругом его, тоже для большего сходства, пустыри и огороды, но в этих пустырях и огородах слышится не размашисто-заунывная песня русского человека, а несносный чухонский вой.

В этом домике жил Александр Иваныч Брага, приятель Севского, тот самый Александр Иванович, вследствие слов которого автор этого рассказа когда-то познакомился с Виталиным, о чем в свое время и в своем месте рассказывал своим читателям.

Комната, в которой жил Александр Иванович, была пуста и мала; все в ней дышало каким-то вечным приготовлением к путешествию, в ней не было ничего, кроме кушетки, стола подле нее и чемодана, который валялся в углу. Над кушеткою висела пара пистолетов; сам Александр Иваныч лежал на кушетке, в ермолке, прекрасно вышитой серебром по бархату, которой он не покидал никогда дома. Эта ермолка да чубук с бисерным чехлом пользовались особенной его привязанностью, хотя ермолка порядочно уже поистаскалась, а из чубука Александр Иваныч никогда не курил, предпочитая трубке сигару. Было ли это воспоминание о какой-нибудь хорошенькой кузине или подарок бедной обольщенной невинности — и когда и как подарены были, этот чехол и эта ермолка? в светлый ли праздник, вместе с поцелуем свежего, розовенького ротика, за семейным ли самоваром, с первой чашкой чаю, налитого миленькой девочкой с заспанными глазками, в день ли ангела, при страстной записке с орфографическими ошибками? Дело в том только, что чехол и ермолка были драгоценностями для моего приятеля, они с ним не расставались давно уже, с турецкого похода, в котором он служил волонтером и для которого он в первый раз покинул кров родимого украинского хутора. Зачем он его покинул? зачем не дал он овладеть собою лени и беспечности южного человека?

Александр Иванович лежал и читал, в десятый раз, кажется, письмо знакомого гвардейского офицера, делая карандашом на довольно широких полях почтового листка в четвертку остроумные замечания, вроде следующего, по поводу упоминания в письме *херсонского трактира*: «Херсонский, — отметил Александр Иваныч, — трактир вовсе не дурной —

бильярт только крив немного», потом по поводу слова *спустил* — хотел было спросить: «в коротенькую?» но, увидавши, что слово «спустил» было употреблено в другом отношении, только презрительно улыбнулся.

Углубившись в чтение интересного письма, он и не видал, как отворилась дверь и как вошел к нему Севский.

— Здравствуйте, Александр Иваныч, — сказал ему молодой человек, — я вас насилу нашел.

—А, Дмитрий Николаич! Добро пожаловать! — весело приветствовал его Брага, спуская ноги с кушетки и приглашая Севского садиться... — Что это с вами, мой милый, вы так бледны, — продолжал он, смотря пристально на молодого человека, — уж не нужен ли я?

— Да, да, мой добрый друг, вы мне нужны, очень нужны, — отвечал с жаром Севский, крепко пожимая его руку.

— Вот оно что! — с невольной радостью перервал Брага, и рука его протянулась к пистолетам.

— Нет, не за этим, — сказал Севский, останавливая его руку.

— А! не за этим еще!.. — так зачем же?.. — почти с досадою проговорил мой приятель, — на кой черт я гожусь еще?.. Скажите, — продолжал он, — отчего я не вижу вас более месяца?.. да, именно больше месяца, с того самого вечера, когда на балу у Мензбира вы готовы были съесть Званинцева?

— Званинцев — человек благородный, Александр Иванович, — принужденно отвечал Севский.

— А! так это правда? — быстро перебил Брага.

— Что правда? — с смущением спросил Севский.

— Да то, что я слышал, — с досадой отвечал Брага, — что вы женитесь на Лидии.

— Это правда.

— Что, Званинцев уладил ваши дела?

— Да.

— Что, он вам дает выгодное место? — спрашивал Александр Иваныч с возрастающим негодованием.

— Все это правда, друг мой, — отвечал Севский, грустно склоняя голову.

— Так зачем же нужен вам я?.. — сказал Брага с ледяною холодностью.

— Я несчастен, я болен, Александр Иванович, — с нервическою дрожью говорил Севский, — я пришел к вам, потому что вы человек, потому что у вас есть сердце.

Брага махнул рукою...

— Ну! — сказал он наконец, — я ведь это знал... да что с вами будешь делать? тряпка вы, а не человек, ребенок, бесхарактерное существо, которому непременно нужно кого-нибудь, кто бы его водил за нос. Эх! — продолжал он вздохнувши, — говорил я вам, что эта девчонка..

— Александр Иваныч! — прервал Севский.

— Ну!.. хоть не говорил я вам по крайней мере, что малейшая уступка с вашей стороны Званинцеву унизит вас, погубит просто. Не говорил ли я вам, что я знаю этого человека, что я его ненавижу столько же, сколько я люблю вас, мой бедный друг, мой добрый ребенок. И хотите ли вы знать, за что я его ненавижу?

Севский молчал, Брага закурил регалию и закашлялся.

— Я давно не вспоминал об этом, я не говорил никому об этом, — начал Брага, — но ведь должны же вы убедиться, что в этом человеке, что в *этих людях* нет сердца, вовсе нет сердца. Умирайте от жажды подле него, он не подаст вам пить, — его слова довольно будет для того, чтобы спасти человека от позора, и он этого слова не скажет... Видите ли, я был еще почти ребенком, когда вступил в волонтеры — ну что еще?.. мне было восьмнадцать лет, только восьмнадцать лет... у казначея полка, где я служил, была жена... черт задави мою душу, если я забуду когда-нибудь эту женщину... Волосы, что это за волосы: густые, смоляные волосы, которые только целовать бы, целовать бы целую жизнь! Эх!

Брага ударил кулаком по столу.

— Муж был стар, — продолжал он с возрастающим жаром... — она меня любила, черт меня побери — как я ее любил... В это время мы встретились с Званинцевым... он был переведен к нам из другого полка, он был уже штаб-ротмистром, и недавно получил Георгия... Я скоро заметил, что моя казначейша о нем расспрашивает. Опять повторяю: я был молод и, следовательно, глуп, как пешка... до сих пор не прощу себе глупости и подлости, которую я тогда сделал... Я зашел к Званинцеву, с которым еще едва был знаком. Зачем — вы думаете? эх! мне даже теперь стыдно.

Брага закрыл лицо руками и молчал с минуту. Лицо его горело.

— Я ему сказал: вы честный человек, штаб-ротмистр?.. Он только насмешливо посмотрел на меня, но не сказал ни слова. Тут бы мне и остановиться! так нет, черт меня дернул за язык. — Любили вы? — спросил я его. «Может быть», — отвечал он зевнувши. Я сказал ему все. — Что же из этого мне? — спросил Званинцев... Остановиться было уж нельзя — я продолжал: Званинцев расхохотался... «Ну, — сказал он, насмешливо улыбнувшись, — вы поступили ужасно неблагоразумно, молодой человек, — почем бы я знал, что ваша казначейша мной интересуется? благодарю вас за новость, а мне, признаюсь, стало уж скучно здесь без дела...». Вспомните, что всякую новую мерзость, которую этот человек сделает, он называет делом... Я вспылил, я предложил ему драться. «Извольте, — отвечал мне спокойно Званинцев, — но вспомните, что я не обязан скрывать причины, которая заставляет вас драться...». Я замолчал, я был уничтожен этим бесстыдством, для которого не свята даже честь женщины. — Я вас презираю, — сказал я наконец. «Как угодно», — отвечал он, спокойно закуривая сигару... Я вышел.

— И потом? — с трепетом прервал Севский.

— Потом! — Брага махнул рукою.

— Ваша казначейша? — спросил молодой человек.

— Ушла от мужа.

— С вами?

— С ним.

Брага долго смотрел в потолок.

— Я встретил ее здесь, — медленно, как бы с трудом проговорил он через минуту... — Встретил так, что кровь прилила у меня к сердцу, когда я ее увидел... Вот до чего довел ее этот человек... Понимаете ли вы теперь, что у него нет сердца, что для него нет никаких границ?

Севский молчал, с отчаянием ломая руки.

. . . .

В этот день у Мензбира был один из обыкновенных карточных вечеров; в половине восьмого зеленые столы были уже открыты. Мензбир, потирая руки, похаживал по желтой комнате и беспрестанно смотрел на часы. На лице его заметно было беспокойство, смешанное с каким-то страхом.

Часы пробили восемь. В дверях появилась чья-то физиономия. Мензбир остановился посередине комнаты.

Половинка дверей совершенно отворилась, и в комнату смелым и решительным шагом вошел мужчина лет 45-ти, с рыжими бакенбардами, в сюртуке, застегнутом доверху.

— Здравствуйте, барон, — медовым голосом начал Мензбир, — я вас жду давно.

— Здравствуйте, — грубо отвечал барон, — я пришел сегодня требовать решительного ответа... Слышите ли?..

— Тише, барон, пожалуйста, тише, — прошептал Мензбир, — вы меня погубите...

— А мне какое дело, — сказал тот, нарочно усиливая голос... — Я буду всем и каждому рассказывать...

— Барон!

— Я буду всем и каждому рассказывать, что меня обыгрывали наверную... Я на это имею доказательства, вы знаете? — продолжал барон, грозно взглядывая на Мензбира, которого лицо судорожно сжалось.

— Но за что же, за что же? — бормотал он жалобным тоном.

— Что я позволял себя обыгрывать, потому что вы обещали мне.

— Барон, барон!

— Черт меня возьми, если я не скажу этого!

Мензбир наклонился к уху барона и что-то шепнул ему.

Лицо барона просияло.

— Ну, если так, — сказал он... — Впрочем, мы увидим. Завтра, говорите вы?

— Да.

— А тетка?

Мензбир снова шепнул что-то барону. Тот расхохотался.

— Вы, Мензбир, драгоценный человек, — сказал он наконец, пожавши руку старика и садясь на стул.

Мензбир только улыбнулся.

— Что Званинцев, — сказал барон, закуривая сигару, — у вас будет сегодня?

— Не знаю, обещал.

— А жених? — насмешливо спросил барон.

— Ну! этот наверно будет, — отвечал Мензбир.

Через минуту вошло несколько гостей, которыми Мензбир принужден был заняться. Барон сидел один у стола, куря сигару и смотря на затворенную дверь гостиной.

Дверь наконец отворилась, и вошла Лидия, в простом белом платье, без всяких театральных украшений: какая-то грусть разлита была по всему ее существу. Она, по-видимому, с изумлением увидала барона и, сухо поклонившись ему, села у окна, с нетерпением поглядывая на двери передней.

Барон не подходил к ней.

В передней послышался наконец шум. Лидия украдкою взглянула, но почти тотчас же ее маленькая головка приняла прежнее, рассеянное положение.

В залу вошел Севский и с ним Александр Иваныч. Севский с явным почти неудовольствием пожал руку Мензбира, который встретил его с распростертыми объятьями, и, слегка кивнувши головою другим гостям, рука об руку с Брагой подошел к своей невесте.

Она холодно протянула ему свою руку.

— Я опоздал, Лиди, — сказал он, целуя руку девушки, — но мне хотелось сегодня привезти с собою моего *лучшего* друга, рекомендую его вам.

Брага поклонился. Лидия привстала.

— Вы знаете, — обратилась она довольно сухо к молодому человеку, — что ваши друзья должны быть моими. Садитесь, — что нового? — рассеянно спросила она, указывая ему и Браге на два порожних стула возле себя... — Что ваша матушка? — сказала она, поправляя вопрос.

— Она к вам будет сегодня, Лиди.

— Как? вы оставили ее одну? — с укором сказала девушка.

— Она приедет с Иваном Александровичем, — отвечал Севский.

Лидия отвернулась к окну.

— Вы мне позволите закурить сигару, — обратился к ней Брага, доставая из кармана porte-cigares.*

— Прошу вас... ах, боже, Дмитрий Николаич, — быстро сказала девушка, — что же я вас просила достать мне Bäbu-polka?

— Виноват, Лидия, забыл, ей-богу, забыл, — чуть не умоляющим голосом отвечал Севский, приподнимаясь с своего стула, — забыл, как забыл еще другое очень важное.

---

* портсигар *(франц.)*.

И он взял шляпу.

— Куда же вы? — спросила его Лидия довольно равнодушно.

— Я возвращусь через полчаса.

И, не дожидаясь ответа, Севский быстро вышел из комнаты.

Лидия Сергеевна выставила вперед нижнюю губку.

— Бьюсь об заклад, — начал Брага шутливым тоном, — что ваш жених поскакал за полькой.

— Вы думаете? — холодно спросила Лидия, обернувшись прямо к нему и обливая его фосфорическим светом своих глаз.

— Я в этом уверен. Он влюблен.

— Только во мне он ошибается, — равнодушно заметила Лидия.

— Как это?

— Я не люблю, чтобы мне повиновались.

— Стало быть, вы хотите сами повиноваться?

— Может быть, — отвечала девочка, мечтательно закидывая головку. И из груди ее вырвался невольный вздох.

— Знаете ли что, Лидия Сергеевна, — начал Брага, смотря ей в глаза пристально и прямо, — ведь он вас больше любит, чем вы его.

Лидия принужденно захохотала.

— Извините за откровенность, — продолжал Брага, — но я знаю это — он для вас всех пожертвует, а вы. . .

— Почему ж вы думаете, что я ничем для него не пожертвую? — быстро перебила Лидия, отворачиваясь от его взгляда.

— Почему? . . Этого я вам не скажу, — я говорю только о нем и о нем я имею право говорить, я его друг.

— Да, у него много друзей, — немного насмешливо заметила Лидия, поправляя мыс своего платья.

— Кто же?

— Вы, — сжавши губки, отвечала Лидия, — Иван Александрович, — продолжала она, как будто робея произнести это имя.

— А знаете ли вы, что такое дружба Ивана Александровича? — неожиданно серьезно перервал Брага.

По лицу Лидии молнией пробежало чувство страха.

— Не смотрите на меня так странно, Лидия Сергеевна, — продолжал Брага с горячностью, — если вы любите вашего жениха, бойтесь за него дружбы Званинцева. Вспомните Позвонцева.

Лидия вздрогнула, но, победивши себя, отвечала с холодностию, которая всякого заставит прекратить разговор:

— Да, у Ивана Александровича много врагов, о нем говорят много дурного, но вспомните, что мой жених обязан ему всем.

Брага встал со стула с видимым негодованием и подсел к одному из карточных столов.

Лидия осталась одна и продолжала украдкою глядеть на дверь передней.

Барон, который во все это время сидел у окна и курил сигару, поглядывая с беспокойством на Брагу и на Лидию, наконец решился подойти к ней.

— Лидия Сергеевна! — начал он нерешительным голосом.

Лидия, выведенная из задумчивости, вздрогнула и быстро приподняла головку.

— Это вы, барон, — сказала она гордо и почти презрительно, — я вас не ожидала сегодня.

— То есть — я лишний? — глухо проворчал барон.

— Мои слова не требуют пояснений, — твердо сказала Лидия, поднимаясь со стула и решаясь снова уйти в гостиную.

— Лидия, — прошептал барон с стесненною яростью, останавливая ее за руку, — вы шутили с огнем, берегитесь.

— Кто же шутил с вами?

— Вы, вы, Лидия Сергеевна.

Лидия уже была на пороге гостиной, но в эту минуту отворилась дверь залы, и Званинцев, слегка кивнувши головою гостям и хозяину, шел прямо к ней, ведя под руку Варвару Андревну Севскую.

Варвара Андревна была очаровательно любезна, когда только хотела быть такою. В этот вечер вкус и почти роскошь ее костюма, тихая, благородная походка, улыбка на губах — все говорило, что она решилась разыграть роль нежно любящей матери. Званинцев тоже был одет чрезвычайно парадно, вероятно из уважения к своей даме.

— Ma chere enfant,* — начала Варвара Андревна, протягивая руку к девочке, немного смущенной ее появлением в эту минуту.

Лидия молча поцеловала ее руку и поставила большие кресла.

— Отчего ты так бледна сегодня? — ласково спросила Севская, касаясь тихо своей бледной рукой прозрачных щек Лидии. — А где же Митя? . .

— Он уехал, Maman, — отвечала робко Лидия.

— Уехал? — спросила мать.

— Он через четверть часа будет, — заметил громко Брага.

Услыхавши его голос, Севская довольно презрительно взглянула на него в лорнетку.

— Кто это? — спросила она Лидию.

— Друг Дмитрия Николаевича, — отвечала та, опуская глаза в землю.

— Да, помню. . . он к Мите ходит — пустой человек, — заметила Севская, — хоть бы ты, мой ангел, — обратилась она к Лидии, — поговорила Митеньке, что странно ему связываться с разными пустыми людьми. . . тебя он больше послушает? Не правда ли, Иван Александрович?

— О чем вы говорите? — сказал Званинцев, который в эту минуту пристально глядел на Брагу.

— Я говорю. . . — начала было Севская, — да вот и Митенька, — сказала она, видя входившего сына.

---

* Дорогая моя девочка *(франц.)*.

Дмитрий быстро подошел к матери и поцеловал ее руку — потом, подавая Лидии сверток:

— Вот Bäbu-polka, Лидия, — сказал он тихо.

Лидия взяла сверток и отвечала обычной благодарностью.

— Вы за этим и ездили? — равнодушно спросил Званинцев, указывая на сверток.

— Да.

— Делает вам много чести, — заметил Иван Александрович с полуулыбкою.

— Это-то хорошо, — привязалась мать, не понявши легкой насмешки Званинцева, — это-то хорошо, Митя, да вот что нехорошо, и Лидинька, верно, скажет, что нехорошо: зачем ты не оставишь знакомства с разными пустыми людьми, всему свое время, голубчик мой: теперь ты будешь женат... хорошо ли?..

— С какими пустыми людьми, маменька? — спросил побледневший Севский.

— Да вот, хоть с этим-то, — ответила мать, нагло лорнируя Брагу.

Севский вспыхнул и прежде всего взглянул на Званинцева, но гордая и спокойная физиономия этого человека заставила его опустить глаза в землю.

— Я думаю, — важным и звучным голосом сказал Званинцев, — что ваш сын в таких летах, Варвара Андревна, что сам имеет полное право избирать себе связи...

— Ох, батюшка, — заметила Севская, — ты все по-своему судишь, и по твоему-то хорошо — да каково-то будет нам с Лидочкой? — прибавила она, целуя Лидию в голову и чуть не плача, потому что эта женщина способна была плакать когда, где и как угодно.

На губах Званинцева мелькнула змеиная улыбка демона, который видит, как хорошо сети опутали жертву.

Севский молчал, он был убит: он видел в будущем наступательные и оборонительные союзы матери, то с Званинцевым против Лидии, то с Лидиею, с его будущей женою, против него самого, — он видел всю эту семейную трагедию, он знал, что Званинцев видит это еще лучше его, и не имел права обвинить этого *благородного, великодушного* человека. Да и как сметь обвинять его? Он защищал его свободу, он, этот гордый человек, для него выносил капризы его больной матери, он, наконец, этот игрок Званинцев, сел с нею и с каким-то стариком с Анною на шее за копеечный преферанс.

Лидия и Севский снова остались одни.

— Что вы скажете, Лидия? — грустно обратился к ней молодой человек, опираясь руками на спинку ее кресла.

— Послушайте, Дмитрий, — отвечала ему она, — вы иногда не правы перед вашей матушкой.

— Так, я это знал, — с отчаянием прошептал молодой человек, — и вы — против меня?

— Против вас?.. я? — возразила Лидия своим серебряным голосом, — вы ребенок! вы не хотите слушать людей, которые желают вам добра.

— Кого ж это? не Званинцева ли?

— Неужели вы не благодарны, Севский? — возразила Лидия с тихим укором.

— Этого еще недоставало! — почти с бешенством сказал тот. — О да, я несчастен, — начал он после минуты молчания.

— Воображением, — холодно добавила его невеста.

— Вы слышали о Позвонцеве? — спросил Севский мрачно и глухо.

— Это не ваши слова, Дмитрий Николаич, — насмешливо отвечала молодая девушка, — это — слова вашего *друга.*

— Лидия...

— Вы сердитесь?

— Он вам не нравится?

— Кто?

— Тот, кого вы с насмешкою назвали моим *другом.*

— Скажу вам откровенно — *да.*

Севский опустил голову и почти коснулся обнаженного плеча своей невесты, с которого спустился нечаянно легкий газовый шарф.

— Лидия... — сказал он страстным шепотом, — вы хотите, чтобы я разорвал связи с моим лучшим другом?

— Я ничего не хочу, Дмитрий Николаевич, — холодно сказала его невеста, выставя вперед нижнюю губку и поправляя спустившийся газ.

— Вы *хотите* этого? да говорите же, Лидия, — умоляющим тоном сказал снова Севский.

Лидия улыбнулась ему обаятельною, обещающею целую бездну наслаждений улыбкою.

— Лиди, вы знаете, — я раб вашей воли, — отвечал на эту улыбку молодой человек и в забытьи страсти снова склонился головою к ее плечу. Бедная голова его! Она горела, от нее было жарко даже Лидии.

А она отвернулась в сторону, чтобы скрыть презрительную улыбку.

Она оборотилась только тогда, когда сквозь газ почувствовала на своем плече горячий поцелуй молодого человека.

— Севский! — сказала она с укором.

— Разве вы не *моя,* Лиди, — сказал ей Севский, сжавши ее руку, — разве вы не моя жена, моя сестра, моя подруга...

— Дитя вы, Севский, — рассеянно прервала его девушка, освобождая из рук его свою руку.

Это равнодушие обдало его холодом. Мрачный и грустный, он подошел к столу, за которым сидела его мать и Званинцев. Мать его ставила ремизы и бесилась.

— С вами нельзя играть, мой батюшка, — обратилась она к Званинцеву, который объявил игру без козырей.

— Да — я счастлив, — беззаботно заметил тот.

— Дайте мне сыграть за вас следующую игру! — обратился к нему Севский.

— За меня? — пожалуй, — отвечал тот, — только заметьте, молодой человек, — прибавил он с улыбкою, — что играть *за себя* я позволяю только в картах.

И, обремизивши опять Варвару Андревну, которая пошла вистовать с приглашением, он встал со стула, уступивши место Севскому, мимоходом взял карту в лото и, закуривши сигару, подошел к Лидии.

— Зачем у вас барон сегодня? — спросил он ее.

— Не знаю, — отвечала Лидия с невольным смущением.

— За что вы прогнали вашего жениха? — снова спросил он беспечно, разваливаясь подле Лидии в больших креслах, в которых сидела прежде Варвара Андревна.

— Я его не прогоняла, — отвечала, судорожно смеясь, девушка.

— Ну, удался ли ваш наступательный союз с Варварой Андревной? — еще спросил он, показывая сигарою на печально сидевшего у окна в противуположном углу Александра Иваныча.

— Вам это лучше знать, — отвечала Лидия с тем же судорожным смехом.

— Вы, кажется, думаете, что я всемогущ?

— Почти, — сказала Лидия, опуская головку.

— Помилуйте, я играю всегда роль примирителя или ровно ничего не делаю.

— Вы выиграли, Иван Александрович! — вскричал в эту минуту Мензбир со стола, где играли в лото.

Лиди вздрогнула. Для нее чем-то роковым и странным показался этот выигрыш.

Званинцев погладил правою рукой свою черную бороду.

. . . .

Снежная вьюга крутилась вихрем и стучала в окно маленького домика в одной из самых отдаленных линий Васильевского острова.

По небольшой комнате, на обветшалых и грязных стенах которой развешаны были старинные портреты Петра II и Екатерины I-й, ходил неровными шагами знакомец наш барон. Он был, по-видимому, в сильном лихорадочном волнении и беспрестанно смотрел на часы.

— Сударыня, — вскричал он наконец с нетерпением в щель двери другой комнаты, — сударыня!

— Что, батюшка? — отвечал оттуда дряблый и визгливый голос.

— Если меня еще обманули, — сказал барон, — то черт задави мою душу...

В комнате сильно плюнули на пол.

— Фу ты батюшки, ругатель какой, — завизжал там тот же голос, — да уж говорят тебе, батюшка, что будет. Ведь еще семи нет.

Барон заходил по комнате.

Минут через десять на дворе послышался лай собак.

— Спрячьтесь, батюшка, спрячьтесь, — закричал женский голос из комнаты, и барон, дрожа от внутреннего волнения, поспешил укрыться за большим деревянным шкафом с платьем.

В комнату вбежала Лидия, вся закутанная в меховой салоп и засыпанная вьюгой; она быстро порхнула в дверь, из которой женский голос разговаривал с бароном.

Барон вышел из-за шкафа.

Страшно и отвратительно было бы постороннему взглянуть на него в эту минуту, лицо его было покрыто смертною бледностью и обрамлено щетиной поднявшихся дыбом рыжих волос, по временам яркий румянец пятнами вспыхивал на этих синеватых щеках, изобличая внутреннее волнение и присутствие чахотки; ноги его ходили ходуном, как говорят русские, руки судорожно тряслись.

Он подошел к двери и стал смотреть в щель. Чем больше смотрел он, тем сильнее становилось его волнение, тем ярче и жарче выходили на щеках его пятна, сделавшиеся наконец кровавыми. Еще минута и он упал бы, кажется, в страшных судорогах.

Он наконец сжал ручку двери — и дверь отворилась.

В комнате Лидия одна полулежала на канапе — перед нею было разложено несколько только что сшитых платьев, из которых одно, только что скинутое, упало к ее ногам.

Крик ужаса вырвался у нее при появлении барона. Она хотела было привстать — но, повинуясь голосу стыда, закрылась только и прижалась к углу камина.

— Тетушка! . . — закричала она.

Барон улыбнулся бесстыдной улыбкою.

Лидия посмотрела вокруг себя с ужасом. Она была одна в комнате, двери в спальню тетки были заперты изнутри задвижкою.

— Лидия, — с судорожным трепетом начал барон, приближаясь на два шага, — вас не спасет никто и ничто. . . вы в моих руках, в моих, Лидия.

Бедная девочка ломала руки с отчаяния: гнусная предусмотрительность не оставила кругом ее ничего, чем бы можно было защититься.

Барон сделал еще шаг.

— Вы меня знаете, — продолжал он, — знаете, что я не шучу, со мной шутили долго, да нельзя же шутить вечно.

Лидия отвернулась с отвращением.

Она молчала, — она знала, что перед нею не человек, а раздраженный зверь. . . Но она почувствовала прикосновение чужой руки.

Она вскочила и по невольному чувству сжала руки с умоляющим видом.

— Барон, барон. . . — говорила она.

За дверями комнаты послышался смех, перерываемый кашлем.

— Перестаньте дурачиться, — сказал барон, успевши наконец совладеть с собою и придавая тону своих слов самую невозмутимую холодность, — вы в моих руках, я это сказал вам.

Слова его были прерваны сильным лаем собак на дворе.

Лидия бросилась к окну.

Барон удержал ее и обхватил своими жилистыми руками.

Между зверем и девочкой началась тогда борьба. Гибкая, как пантера, Лидия вырвалась было из его рук, но барон снова схватил ее.

— Лидия, — шептал он, страстно сжимая ее слабые, нежные члены.

Сильный удар раздался в эту минуту в дверь комнаты.

Лидия рвалась из рук барона, который обеспамятел и не слыхал ничего.

Еще удар, и ржавые, старые задвижки уступили силе этого удара.

Барон опамятовался, когда сильная рука оттащила его и с презрением бросила, как гадину, на пол.

Лидия забыла даже о беспорядке своей одежды, — с таким благоговением взглянула она на прекрасный, величавый образ, стоявший перед нею с невозмутимым спокойствием.

Ибо это был Званинцев.

Она схватила его руку.

— Оденьтесь, Лидия, — сказал он ей, — и поедемте. Вон! — обратился он к приподнявшемуся с пола барону.

Барон заскрежетал зубами — но, покорно склонивши голову, вышел.

Званинцев тоже оставил девочку.

Через пять минут она вышла в залу совсем одетая.

— Иван Александрович! — сказала она тихо, подходя к нему и схватывая его руку, — вы меня спасли... вы, всегда вы, везде вы... — повторила она с страстным увлечением.

Званинцев взглянул ей в глаза.

— Благодарю вас, — робко прошептала девочка, опуская взгляд.

— Ну, — сказал Званинцев с холодностью, — одно из моих предвещаний сбылось: вас продали.

Лидия отступила с ужасом и провела рукою по лбу, как бы пробудясь от сна и отгоняя прочь призраки.

Потом она спокойно подняла глаза на Званинцева.

Минутное увлечение, под влиянием которого этот человек явился ей в ореоле света, рассеялось от его холодных слов.

Но в этом спокойном взгляде девочки Званинцев прочел немую покорность...

— Куда я должен везти вас, Лидия? — обратился он почтительно к молодой девушке.

— Домой, — прошептала она.

— Вы уверены, что ваш отец не виноват...

Лидия зарыдала.

— Иван Александрович, — сказала она с судорожным трепетом, — я поеду к матери Севского?

— Я должен вам сказать, мое бедное дитя, — отвечал Званинцев, смотря на нее с состраданием, — что это более чем невозможно. Что о вас подумают?

— Я расскажу ей все, — сказала Лидия.

— Вам не поверят, — твердо отвечал Званинцев.

Девочка ломала руки.

— Сжальтесь надо мною, Званинцев, — пролепетала наконец она, сжимая его руки, — у меня нет никого на свете... никого... в моего жениха я не верю.

— И не будете верить, когда он будет вашим мужем? — спросил Званинцев, смотря на нее пристально.

— Он никогда не будет моим мужем, — с увлечением вскричала девочка.

— Вы больны, вы в лихорадке, дитя мое.

— Неужели вы думаете, что женщина может любить ребенка? — спросила Лидия, дрожа нервически, но твердо и прямо взглянувши на Званинцева.

— Дело не в том, — отвечал он с полуулыбкою, — куда же мне везти вас?

— К вам, — быстро сказала Лидия.

Званинцев молча поклонился и подал ей руку. Они вышли.

. . . .

Вьюга перестала бурлить... туман редел на небе... рога молодого месяца вырезались из-за облаков. Полозья саней едва шелестели по мягкому новому снегу, лошадь мчалась как стрела.

Морозные ночи севера сто́ят иногда полуденных ночей.

Лидия дрожала, закутанная в свой легкий салоп... но она дрожала не от холоду. Званинцев заметил это.

— Вам холодно, — сказал он с заботливостью, — давайте я вас закрою, — продолжал он, раскрывая полы своей огромной медвежьей шубы.

Молодая девушка быстро, почти ни минуты не колеблясь, прижалась к нему — он закрыл ее так, что из меха виднелось только ее личико, пылавшее румянцем. То был румянец лихорадочного волнения, ибо он слышал, как неровно и часто стучало ее маленькое сердце на его груди.

— Боюсь, чтобы с вами не было лихорадки, — заметил он, отогревая в своей руке ее тонкие пальцы.

Лидия улыбнулась сквозь слезы.

— О чем же вы плачете, дитя мое? — начал Званинцев, — все это должно пройти для вас, как смутный сон, как бред лихорадки, я отвезу вас к одной почтенной даме, она вас примет как дочь, и верьте мне, что от нее вы можете идти под венец с кем угодно.

— Я никогда не выйду замуж, — прошептала Лидия.

— Ну, если вы хотите, — вы останетесь у нее всегда и постоянно; она — моя тетка, добрая старушка, которая любит меня без памяти, наконец, вы можете вступить на сцену с вашей красотой, с вашим талантом...

Лидия зарыдала и спрятала голову на грудь Званинцева.

— Странный вы ребенок, Лидия, — сказал он кротко. — Вы плачете, как будто что-нибудь потеряли, когда на поверку оказывается, что вы выиграли.

— Да, вы этого не поймете, — вскричала девочка с истерическими рыданиями. — Зачем вы спасли меня, Званинцев?.. кто вас просил обо мне заботиться, — я знаю, что вам все известно, что все эти гнусные люди в вашей власти; но зачем, зачем вы встали над ними так высоко?.. Званинцев, Званинцев, — продолжала она голосом умоляющей страсти, — пока вас не было, пока вы не стали ходить к нам, я была иногда счастлива и могла бы быть верной женой... я было полюбила Севского... он был благороден, он был нежен и добр, он был ребенок, как я же, больше меня...

— Чем же я помешал вам? — грустно спросил Званинцев.

— Чем?.. и вы еще спрашиваете... О! не притворяйтесь, бога ради, Иван Александрович, я вас слишком хорошо знаю... вы смеялись надо мною, смеялись над ним.

— Я хотел вам обоим добра.

— Довольны ли вы теперь! — быстро вскричала Лидия, поднимая на него глаза... — Я люблю вас.

— Лидия.

— Постойте, — перервала она его с усилием, — постойте... не говорите ничего... я вас знаю... вы уморили Воловскую... не возражайте, я это знаю... я этому верю... вы любить не можете, ваша любовь — смерть.

— И жизнь, Лидия, — улыбаясь, сказал Званинцев, отстегивая полог саней и внося на руках по лестнице девочку, которая в забытьи обвила своими руками его шею.

Он отпер дверь, потому что не имел никогда привычки, возвращаясь поздно домой, будить своих людей. Он внес Лидию в свой кабинет и, тихо, бережно сложивши ее на турецкий диван, зажег лампу; ничто не изменяло неподвижному, беспечному спокойствию его физиономии, и лампа осветила перед Лидиею тот же прекрасный, величавый мужской образ. Она трепетала, как в лихорадке, бедная девочка, но глаза ее, облитые влагою, не могли оторваться от Званинцева.

Он взял маленький табурет и сел подле нее.

— Лидия, — начал он, гладя на своей руке ее маленькую руку, — вы сказали слово, которое должно решить навсегда вашу и мою участь... Слушайте же меня.

— Я вас слушаю, — шепнула она, тщетно силясь оторваться от него глазами.

— Воловская умерла, потому что она не могла жить, — сказал он твердо и грустно, — я ее любил, но и на нее даже смотрел я как на камень: выдержит обделку — хорошо, не выдержит — что делать!

Лидия провела рукою по лбу.

— Во всем и везде я хочу правды, — продолжал Званинцев с невозмутимым спокойствием, — любовь и женщина — самые лучшие вещи на

свете, — это мой единственный интерес, потому что другим мне нечем заняться... но я не хочу никогда, чтобы раскаивались в любви ко мне... Для этого — я говорю вещи прямо и сам не терплю полупризнаний, полупреданности.

Лидия с ужасом закрыла лицо руками, вырвавши с усилием свои пальцы из рук Званинцева.

— Не бойтесь, Лидия, — сказал Званинцев улыбаясь, — не бойтесь, вы в безопасности до тех пор, пока сами не предались мне... Вы еще не в моей власти.

Лидия приподнялась и судорожно сжала руку Званинцева.

— Я вам сказал, — продолжал он, — что я отвезу вас к тетке!..

— Нет, нет, — сказала она с замирающим шепотом страсти, обвивая его шею и безумно-нежно смотря ему в глаза... — Я погибла, я навсегда погибла... но я от вас не отстану, я от тебя не отстану, мой милый... слышишь ли ты это?

И она в беспамятстве упала в его объятия.

Званинцев взял флакон eau de Cologne * и опрыскал ей лицо освежающею влагою... она снова пришла в себя, и снова пробудившееся чувство стыда заставило ее склониться лицом к подушке дивана.

— Повторяю вам, что я не хочу увлечения, — сказал ей Званинцев, — свободно, разумно должна предаваться женщина, если она хочет только быть равной мужчине.

— Вы меня не любите, — глухо рыдала Лидия.

— Я могу любить только равное себе, дитя мое, — отвечал Званинцев. — Вы увлечены теперь, я вам явился романтическим героем-избавителем, а что, если бы я сказал вам, что все это — только заранее подготовленная сцена?..

— Все равно, — вскричала девочка, — я люблю вас.

— Что я по крайней мере предвидел вашу судьбу и свою роль.

— Я люблю вас.

— Что я был уверен в том, что вы меня будете любить, с первой нашей встречи.

— Званинцев!..

— Что я сказал себе: она должна быть моей рабою.

Лидия быстро вскочила с дивана и стала перед ним бледная, трепещущая.

— Что я *знаю* это, — продолжал Званинцев с бесконечною нежностью.

— Он меня любит! — вскричала девушка, падая к его ногам и скрывая свою голову на груди Званинцева.

— Да, я тебя люблю, мой светлый ангел, — сказал он, страстно сжимая ее в объятиях... — Я тебя люблю, потому что *я* тебя создал, — продолжал он, сажая ее снова на диван и склоняясь головой к ее коленам... — Ты видишь, я у ног твоих, ты видишь, я твой раб, моя сестра, моя подруга... Лидия, Лидия, — говорил он, увлекаясь все более, —

* одеколона *(франц.)*.

путь мой кончен, эта минута — вечность, эта гордость, которой я теперь полон — целый мир, необъятный мир блаженства: я могу наконец, не стыдясь самого себя, обливать слезами твои руки, твои ноги, дитя мое, могу предаваться всем безумствам страсти... Мой ангел, моя подруга — еще раз скажи мне, что...

— Что я отрекаюсь от всего, — сказала Лидия страстным шепотом, — что в твоей любви целое небо, что иного я не хочу...

— На жизнь и на смерть, — сказал Званинцев, взявши ее руку и напечатлевая поцелуй на ее устах . . . .
. . . .

Читатели мои ждут, вероятно, кровавой развязки, — но, по долгу повествователя, я обязан сказать им, что о дуэли и в помине не было. Севского убедила его матушка, что все это случилось к его счастию.

О Званинцеве и Лидии нет ни слуху ни духу. Они уехали из Петербурга.

Севский где-то уже столоначальником.





ВЕЛИКИЙ ТРАГИК

РАССКАЗ ИЗ КНИГИ «ОДИССЕЯ О ПОСЛЕДНЕМ РОМАНТИКЕ»

В мирном и славном городе Флоренске, как зовет его Лихачев,[1] посол царя Алексея Михайловича к Дуку Фердинандусу, — я жил в одной из самых темных его улиц... или нет, не улиц. Улица — это via, via, например, Ghibellina, via Кальцайола, а я жил в Борго, в Borgo Sant-Apostoli, т. е. в улице, состоявшей из нескольких улиц, перерываемых множеством узеньких, маленьких, грязненьких *кьяссо*,[2] которые были отдушинами Борго на Лунгарно, т. е. на набережную Арно. Отдушины эти — нельзя сказать чтобы отличались благовонием, тем более что в них вы не встретили бы ни разу обычной надписи: Si il nome christiano portate *[3] и т. д. Нельзя сказать также, чтобы кьяссо отличались особенными изяществом и роскошью. Из них под вечер выскакивают обыкновенно на Лунгарно или оборванные синьоры «с чужим ребенком на руках» [4] и с припевом, действующим ужасно на человеческие нервы, если только эти нервы не канаты или не укреплены какой-нибудь крепко всаженной в них теорией — хотя бы теорией, например, английской о вреде безразличной помощи ближним или нашей доморощенной об исключительной помощи соотечественникам. Но теория, как известно, мастерски вьет из человеческих нервов канаты, на которые ничто не действует, даже болезненный, пожалуй, выученный, но лучше сказать, вымученный тон стона синьоры в отребиях,[5] преследующей вас своим sono fame, signor, sono fame ** от Понте-Веккио до Понте делла Тринита и гораздо далее, нагло — но как-то жалко-нагло цепляющейся вам за рукав, поспевающей за вами, как бы вы ни ускоряли ваши шаги. Не могу также добросовестно сказать, чтобы кьяссо были замечательны относительно целомудрия их обитателей. Pst, pst — этот призывный клич слышится вам из окон почти во всякое время дня и ночи и, право, едва ли не болезненней Jo sono fame действует на вас, особенно когда вы только что вышли из галереи *Уффиции* или шли из-за Ольтр-Арно,[6] из палаццо Питти, где женственная красота и чистота столь бесконечно

---

* Если вы носите христианское имя *(итал.)*.
** я голодна, синьор, я голодна *(итал.)*.

разнообразными идеалами наполняли вашу душу, так уверили вас в своем бытии, такие гармонические ответы дали на ваши вопросы.

А задние окна моей комнаты, как нарочно, выходили на один из таких кьяссо, и я мог всегда, когда только захочу, иметь перед глазами отрицательную поверку идеалов.

Был апрель. Итальянская весна дышала всем, чем ей дано дышать: и целыми стенами роз по стенам садов в городе и по дорогам за городом, и блестящей совсем молоденькой, разноотливистой зеленью в Кашинах, и целыми роями ночных светляков в траве, скачущих, летающих, кружащихся перед вашими глазами, как маленькие огненные *эльфы*. Была весна... но, впрочем, что я говорю — была, лучше сказать — стала весна, основательно утвердилась, потому что еще и прежде, в конце февраля, в начале марта, она вдруг, нежданно высовывала иным утром из-за травки, из-за листьев деревьев свою светленькую кудрявую головку и вдруг обдавала вас жгучим пламенным взглядом. Не шутя: я помню совсем весенний, дышащий росой и свежестью вечер в один из первых дней великого поста и совсем весеннее, сияющее, обдающее жаром утро с палящими лучами солнца, нагревшими ожидавшую меня у Сан-Донатской церкви карету. Итак, весна стала...

Толковать о том, какое тревожное, немного страстное, немного тоскливое чувство развивает в душе северного человека весна, — будет, кажется, совершенно излишне; на тысячу ладов и всегда разнообразно пересказывали нам об этом странном чувстве наши поэты, особенно трое из них.[7] Лучше их мне не сказать — смешные бы это были претензии, повторять ими сказанное, сводить в новую мозаическую картинку подмеченные ими черты, уловленные ими оттенки, одним словом, сочинять по печатным источникам физиологию весенних чувств... — это повело бы нас бог знает как далеко, в целую этюду, а таковой мне писать в настоящую минуту не хочется. Скажу вам только то, что сам особенно почувствовал. Иногда мне казалось, что либо наша весна лучше, либо мы, северные люди, глубже чувствуем. А в сущности ни то ни другое... Наша весна приходит резче, приходит с талыми ручьями, возбуждает больше ожиданий, сильнее раздражает нервы, изменяя радикально вид природы, обращая ее из белой в зеленую, из сжатой и суровой в раставшую, распускающуюся, сильнее и тревожнее дышащую всеми порами, после долгого усыпления под снежным саваном. Одним словом — вот и поневоле обратишься к любимым поэтам — весной у нас

> Еще лежит, белеясь средь полей,
> Последний снег и постепенно тает,[8]

и оттого-то таким криком радости, ликования приветствуем мы ее:

> Весна идет! Весна идет! [9]

и оттого-то:

> Какой-то странной жаждою
> Невольно грудь полна,
> И над душою каждою
> Проносится весна...[10]

Да, «май вылетает к нам» из «царства вьюг и снега».[11] Мы его ценим, мы ценим весну как гостя, — а в Италии она вечный жилец, только притаивающийся на время. Весна в Италии, как шалун мальчик, которого поставили в угол: нет-нет — да вдруг и выкинет он гримасу, в которой проглянет самая безнадежная неисправимость, самая неистовая жажда жизни. Зимой я часто дрог благодаря безобразию каминов, ибо до печей итальянцы, по милой распущенности своей, не дошли, да и никогда не дойдут, несмотря на многократные опыты холодов до замерзания маленьких ручьев; мужчины греются в кофейных, а женщины... но зачем женщины коптят себя проклятыми жаровнями? Кабы вы знали, как это неприятно, особенно принимая во внимание прирожденную неопрятность всякой синьоры и синьорины!!.. Итак, зимою бывало страшно холодно... Выйдешь продроглый на Лунгарно, на солнце — лучи его сияют по-весеннему и поневоле долой верхнее платье... Сошед с Лунгарно, углубишься немного в эти узкие улицы, с их мрачными и сырыми каменными комодами и сундуками, носящими название домов, — и опять дрожишь до нового пространства, до нового просвета ярких, всегда весенних лучей солнца... Я помню, раз в самом разгаре зимы вздумалось мне ехать в Сиенну; только что вышел я за городские ворота, на пространство между зданием железной дороги и *Кашинами*... всякая зима исчезла у меня из глаз и помышлений. Налево зелень *Кашин*, — толпы легко одетых женщин пешком, экипажи с дамами, которые только из явного кокетства набросили на плеча опушенные мехом или даже вовсе не опушенные мантильи... Солнце жжет — а это было в конце января. Мои читатели, не бывавшие в Италии, подумают, что я им сказки сказываю?.. Не так ли?

Но мое путешествие в Сиенну обращает меня к предмету моего рассказа... Дело в том, что с начала апреля я особенно хандрил — не только что вследствие влияния весны на нервы, но потому еще, что был один. Приятель мой Иван Иванович тоже уехал в Сиенну после святой недели. Другой мой приятель, несмотря на свое богатырское сложение, раскис до противности от тоски по отъезде любимого предмета и при каждом свидании терзал меня — Господи! что *влюбление* может сделать даже из умного и порядочного человека — маниловскими мечтами о мечте семейных радостей... и замучил совсем, заставляя раз по пяти при свидании аккомпанировать себе, когда он с искренним неистовством пел что-то такое из опер Донидзетти, в чем беспрерывно звучали слова: «Vedi un angelo, un angelo in Ciel» * — это что-то было, коли хотите, вещь прелестная, равно как и одна весенняя серенада, сочинение флорентинского маэстро, аббата *Федериги* (аббаты там нередко композиторы весьма страстные, по старой памяти), — и пел все это мой друг так хорошо, как поют соловьи в весеннюю пору, но от повторения все это приелось... Я жаждал Ивана Ивановича с его эксцентрическими движениями, едкой хандрой,

* «Я видел ангела, ангела в небесах» *(итал.)*.

«метеорскими» выходками и тонкими замечаниями — даже с его цинизмом, наконец, с его дикими, противными *«загулами»*.

Я заметил вообще, что мы особенно жаждем того, что или скоро нам дается, или уж вовсе никогда не дастся, так что наша жажда есть или простое чутье собаки на трюфли,[12] или неугомонная работа червя, подтачивающего и без того уже гнилое дерево.

Иван Иванович дался мне очень скоро — стало быть, жажда моя была чутье пса.

В один прекрасный день — употребляя это казенное выражение вовсе не в казенном его смысле, ибо день в самом деле был прекрасный, — отобедавши в ближайшей от меня траттории[13] delle antiche Carozze, я решительно не знал, что с собою делать до самого вечера, когда я мог идти к одной прелестной до самых зрелых лет и впечатлительной — вероятно, до самой дряхлости — женщине;[14] такие экземпляры, надобно заметить, встречаются только между северными женщинами: да и туда как-то против обыкновения не манило. Разговор наш с нею принимал всегда такое серьезное, почти суровое направление, так искренно касался глубоких вопросов души и жизни, что мне не хотелось серьезного разговора — мной владели лень и апатия, из которой может вывести душу только новое впечатление, а уж никаким образом не анализ. Правда — и честь за это женщинам вообще, честь глубине и мягкости женской натуры — мне случалось выносить из бесед с моей доброй соотечественницей чувство светлое, примиряющее; но в самом светлом чувстве было что-то унылое, как свет сумерек, что-то похожее на затихшую боль, на усталое и готовое за что угодно ухватиться сомнение. Такого впечатления я не хотел — да и, во всяком случае, его надобно было ожидать до вечера, а было еще только четыре часа. Идти в монастырь Сан-Марко и отдаться всей душой великой религиозной поэме фресков *Беато* Анджелико... Для этого надобно было быть способным хоть на минуту переселиться сердцем в ее пролог, в страстное упоение страдания, с которым его Доминик судорожно обнимает крест Распятого, — а способность переселяться в подобные миры

Лишь в лучшие мгновенья
Бытия слетает к нам...[15]

как сказал наш Беато Анджелико, Жуковский.

... Когда я вошел в свою комнату, куда решился возвратиться на время, она, с ее холодным мрамором каминов, окон и столов — в Италии нипочем ведь мрамор; вы его часто встретите там, где уж никак не ожидаете, — показалась мне еще унылее, еще серее, в противуположности с тем ярким весенним светом, который заливал половину площади del gran Duca. Бессмысленно прислонился я к окну и бессмысленно стал глядеть на мрачную и узкую улицу; явления были все известные: santo padre * с кружкою и с закрытым лицом, немного покачиваясь

* святой отец, монах *(итал.)*.

справа налево, тянул с сильным горловым акцентом однообразную *литанию*,[16] испрашивая подаяния бедным, разносчик безжалостно-звонко, всей ужасной полнотою итальянского грудного крика орал: «Carciofi, carciofi».* Проревел, наконец, трижды и ослик под грузом какой-то тяжести; прошли, громко рассуждая и размахивая руками, трое тосканских солдат, да какая-то растрепанная синьора густыми контральтовыми нотами обругала — или, как говорится у нас в Москве, обложила куплетами — засаленного и босого на одну ногу мальчишку... Во всех этих звуках было что-то такое полное и сильное, что бывает подчас совершенно *непереносно* и для наших северных нервов... Мне не раз случалось чувствовать истинную злобу на разносчиков и торговцев Флоренции, на какое-то ужасное, зверское, разбойничье выражение лиц их, при беспощадном сиповато-грудном крике, — как в другие минуты случалось ценить и любить эту силу, мощь, порыв итальянской природы — разлитые всюду: в человеческом голосе, в реве осла, в стрекотанье итальянских кузнечиков, которые всегда мне казались задатками итальянских теноров, — ибо, право, у каждого итальянского кузнечика бычачья грудь *невыпевшегося*, но сильнейшего тенора Ремиджио Бертолини, которого слышал я целый осенний сезон... Но в этот день я бы не вынес и Ремиджио Бертолини, и кузнечиков: тем неприятнее действовали на меня звуки, несшиеся из улицы. Попробовал отойти от окна и приняться за чтение — как раз оказалось, что дело неподходящее... Глаза читали, а душа была далеко — где именно, и сама она не знала с точностью; а была далеко, в каких-то весенних снах, в тех легких и прозрачных снах отрочества, которых невозможность так тяжела в тридцать пять лет... На часах пробило пять. Вошла синьора Линда с кувшином горячей воды per il the,** ибо я и в Италии сохранил привычку пить три раза в день китайский напиток, от которого итальянцы, если вы его им предложите, отказываются со словами: Gratia, signore, non voglio purgar mi...*** На этот раз я сам отказался от чаю, ибо даже на меня, привыкшего, как москвич, к его употреблению, он стал сильно действовать весною, только не в том отношении, в каком боятся его итальянцы... Вместо того чтобы пить чай, я вдруг спросил синьору Линду: «Carissima signora, dite mi — avete un amante?» ****

Линда, крошечное, добродушно-миленькое, хотя немножко рябенькое и значительно неопрятное существо, нимало не смутилась от моего вопроса и тотчас же отвечала с самою наивною радостью, как будто бы выиграла в тосканскую лотерею 300 пиастров:

— Si, signor!! *****

---

* «Артишоки, артишоки!» (*итал.*).

** для чаю (*итал.*).

*** Благодарю, синьор, я не хочу слабительного (*итал.*).

**** «Дражайшая синьора, скажите мне — есть ли у вас возлюбленный?» (*итал.*).

***** — Да, синьор!! (*итал.*).

Право — что-то такое детски-радостное было в этом ответе, что... Ну, да что тут говорить — мне стало просто досадно.

Чтобы дать, однако, какую-нибудь приличную причину моему дикому вопросу, я достал несколько пар затасканных перчаток «per l'amante della signora».*

«Signora» ушла в истинном восторге, — а я... опять остался один.

Наконец я решился на крайнее, последнее, отчаянное средство — я пошел в Кашины.

Вовсе не гиперболически называю я это крайним, последним, отчаянным средством. Большая часть моих читателей не знают конечно, что такое Кашины. Кашины (Cashine) — герцогский загородный скотный двор, с прекрасным парком, с прекрасными узенькими дорожками для пешеходов и с широкими для экипажей. Там присутствует ежедневно вся фешенебельная Флоренция и даже вся не фешенебельная зимою от трех до шести часов, летом от пяти до семи. Не фешенебельная гуляет по лесу и по берегу Арно... Фешенебельная сосредоточивается на пьяццоне. Место прекрасное, нечто вроде берлинского Тиргартена, если вы его знаете, и наших Сокольников, которые вы наверно знаете, только гораздо лучше Тиргартена и несравненно хуже Сокольников. Во всяком случае, из этого описания Кашин читатели никак не поймут, почему мне так трудно было собраться в Кашины. Все зависит, изволите видеть, от обстоятельств. Идя в Кашины, я имел два шанса: или попасть на берег Арно и неминуемо встретить доброго приятеля, мечтающего о мечте семейных радостей, или героически решиться на *пьяццону*, на эту небольшую площадку, загроможденную стоящими экипажами, всегда одними и теми же, напоминающими всегда одни и те же пошлые интриги, de secrets, que tout le monde connait,** которые известны потому, что сами интригующие об этом всем рассказывают. Чтобы понять все то омерзение, которое чувствовал я к пьяццоне, надобно знать хотя немного, хоть по слуху, — что такое Флоренция — не та Флоренция, которая раскидывается перед вами своими сурово-стильными памятниками прошедшего, которую полюбите вы искренно в театрах, кофейнях и на узких улицах, несмотря на все неистовство итальянского горла... Нет! а болотная, сонная, праздная, делающая «*ничего*», «il far niente» (это совсем не то, что ничего не делающая), погрязшая в маленьких интригах и пошлых сплетнях, не могущая жить и дышать без этих сплетен. Отнимите от Флоренции ее вековечное прошедшее и в настоящем поглубже лежащие пласты ее населения — и вы получите в результате губернский город Т. или В. или какой хотите. Пока вы — как со мною было целых полгода — видите и знаете только верхние, снаружи лежащие пласты жизни, вы готовы сказать, что жизнь здесь одряблела, раз-

---

* «для возлюбленного синьоры» *(итал.)*.
** тайны, всем известные *(франц.)*.

менялась на мелочь, на бесконечную пошлость, однообразную, безличную, как стертая монета. По этим наружи лежащим пластам жизни проходит именно наша губернская струя: с одной стороны, всеобщая радость всякому маленькому скандалу, с другой — добродушное правило: «кому какое дело, что кума с кумом сидела», — и этим, коли вы хотите, объясняется предпочтение Флоренции другим городам Италии всеми праздношатающимися лицами обоего пола из разных иностранных наций. Во Флоренции — безграничная терпимость в отношении ко всяким скандалам и вместе с тем вечный толк о скандалах, интересы губернских сплетен, стертость и пошлость мелочной, дрянью удовлетворяющейся жизни... Но об этом когда-нибудь после. Теперь же сделал я черную заметку потому, что мне хотелось объяснить вам все мое отвращение к пьяццоне, этому губернаторскому саду губернского города Флоренска.

А все-таки из двух зол я предпочел идти на пьяццону... В чужих мечтах есть что-то раздражающее, что-то вызывающее на отрицание всегда более или менее крайнее, преувеличенное, стало быть, всегда более или менее ложное, за что после упрекаешь самого себя, как за некоторую позировку. Человек так уж устроен, что, когда он становится в близкое отношение к другому человеку, ему хочется всегда заставить ближнего быть зеркалом, в котором он может глядеться, когда захочет, и весьма редко удается одержать такую победу над самим собою, чтобы обратиться самому в зеркало для ближнего. Я, может быть, еще более других — говорю это без малейшей натяжки — способен быть зеркалом для чужой радости, чужого горя и чужих интересов — но ненадолго: отрицательное или, проще, не возвышенным слогом говоря, самолюбивое начало берет верх, и зеркало начинает показывать доверчиво смотрящемуся ближнему на лицо его и гримасы лица. Хорошо это или дурно — право, я не знаю. В былую пору я назвал бы это критическим отношением к личностям, да этим бы и порешил, как будто сказал дело; в былую пору я стал бы даже уверять, что сам готов вытерпеть в отношении к собственной особе то, что один приятель называет *продергиванием* и в чем он, между прочим, большой мастер, но говоря так, я бы только добросовестно надувал самого себя и других... Я знал целый кружок, в котором продергивание, критическое отношение друг к другу — было чисто догматом, и в ту пору я искренно негодовал на одного весьма желчного и раздражительного господина, который говаривал, что ни одного ближнего не следует баловать до того, чтобы он когда угодно мог безнаказанно запускать лапы, часто довольно грязные, во внутренность *искренней* души. Кто был правее: кружок или желчный господин, для меня доселе осталось еще загадкою; знаю только, что в самом кружке каждый любил систему продергивания только в отношении к другим и никак не мог сохранить надлежащего спокойствия, когда очередь доходила до его собственной особы; знаю, с другой стороны, что и в правиле желчного господина отражалось оскорбленное самолюбие, что это правило вело к чистому самопоклонению.

Впрочем, я весь обратился в сомнение, — и вы, мои читатели — не слушайте меня, а поступайте по собственному сердцу. Если оно и лжет в вас, то лжет все-таки наивнее, добросовестнее чужого правила.

Когда я дошел до пьяццоны, обычная жизнь ее была в полном разгаре, т. е. праздношатающиеся юноши и старцы (некоторые из старцев пляшут во Флоренции до 80 лет, и с большим успехом) слонялись межу экипажами, передавая итальянским синьорам и нашим русским барыням обычные сплетни; грек, капитан российской службы, сидя на скамье подле музыкантов, рассказывал под гром музыки в стопятьдесятый раз о давно известном карнавальном скандале, не щадя репутации соотечественниц; столетний шевалье, спящий за зваными обедами, потому что спать ночью мешают ему стукающие духи, и евший, по сказаниям общества, человеческое мясо на островах Тихого океана, таскал по пьяццоне свою длинную и худую, как шест, особу; англичанки с неподвижною чинностью сидели в колясках, а зато одна из наших львиц хохотала без умолку с пожилым, но красивым итальянцем, картинно опиравшимся правою рукою на ее коляску... одним словом, явления обычные.

Вдруг из-за толпы, окружавшей музыкантов, которые играли из Верди что-то неумолимо-шумное, показался Иван Иванович. Я так и бросился к нему.

— Хорош, нечего сказать, — закричал я, невольно увлекшись нежданностью его появления, — хорош! Во Флоренции — и глаз не покажете.

— Здравствуйте, — отвечал он, прорываясь ко мне и обеими руками схватывая мою протянутую руку. — Можете себе представить, — продолжал он, — что я только что сейчас с железной дороги.

— Как сейчас?

— Так... Багаж — впрочем, багаж мой, как вы знаете, весьма невелик, — прибавил он с добродушнейшею улыбкою, — бросил в Сан-Донато у приятеля, а са́м помчался сюда, чтобы как-нибудь добить полтора часа до театра.

— До театра? Что вдруг за страсть припала к театру... Корради, что ли, вы не слыхали? Он спал с голосу: тенор слаб — basso profundo * груб, как дубина, и трио идет отвратительно. А примадонна — немка. В дуэте Арнольдо и Матильды [17] она и тенор это две немазаных телеги, которые одна на другую наезжают... — Все это проговорил я скороговоркою и со всем увлечением злобной досады, потому что накануне был жестоко обманут в своих ожиданиях насчет «Вильгельма Телля». Обещала Пергола [18] в этот сезон что-нибудь путное и надула страшно. Во всю осень и зиму только и был хороший оперный сезон от сентября до половины декабря, когда в Перголе пели «*Джованну ди Гузман*» (*местное* переименование «Сицилийских вечерен») [19] да «*Троватора*» [20] Альбертини и муж ее Бокарде, а в Пальяно Ремиджио Бертолини без особенного искусства, но с могучестью свежего голоса и дикою энергиею

* глубокий, низкий бас *(итал.)*.

производил Рауля в «Anglicani» (*местное* же переименование «Гугенотов»)...[21] Иван Иванович знал все это, как и я же, — и оттого-то стремление его к театральному позорищу показалось мне поистине изумительным.

Но, прежде всего, вы не знаете, мои почтенные читатели, кто такой Иван Иванович. Скажу вам откровенно, что вы и мало узнаете о нем и о его судьбах из сего первого рассказа. Одиссея о нем — весьма длинная одиссея. На первый раз скажу вам, что Иван Иванович один из моих старых университетских товарищей, что в былые времена подавал, как говорится, «*блестящие надежды*» всему своему факультету и последующею жизнию жестоко разочаровал благодушно-доверчивый и почтенный факультет в его надеждах, что вот уже года четыре, как он шляется за границею, проживая маленький капитал, который достался ему после престарелой бабки. Мы с Иваном Ивановичем живали несколько раз полосами общею жизнию — и вот в городе Флоренске выпала нам опять такая общая полоса. Скажу вам еще, что Иван Иванович — брюнет, и, кроме знойно черных, но каких-то усталых глаз, *особенных* примет не имеет: с лица довольно худ, и худоба его еще поразительнее от его длинных, висящих до плеч волос, губы у него тонкие и бледные, иногда странно судорожно подергивающиеся — и это самая резкая особенность его физиономии. Что вам еще прибавить о нем? Да... он отлично играет на гитаре, хоть никогда этим, как, может быть, и ничем вообще серьезно, не занимался — и от него-то с предпоследней полосы нашей общей с ним жизни происходит моя несчастная страсть к этому инструменту, очень нелегко дающемуся, несмотря на все мои труды и усилия, приводившие в глубокое отчаяние всех моих домашних и всех московских друзей, и поныне, рано или поздно, но постоянно успевающие приводить в некоторое остервенение хозяев различных квартир и отелей, в которых случается мне жить за границею. Есть безнадежные страсти, и они с летами безнадежно же укореняются. Выщипывать иногда тоны из непослушного инструмента стало для меня такой же необходимостью, как выпить утром стакан чаю, — и ведь надобно правду сказать, что, когда я говорю о безнадежности страсти своей, я делаю уступку злым приятелям и не менее злым хозяевам квартир и отелей. Надежда никогда не покидает человека. Во всяком случае, в моей гитарной страсти виноват Иван Иванович, виноваты эти полные, могучие и вместе мягкие, унылые, как-то интимные звуки, которые слышал я только от него и от Соколовского и которые, как идеал, звучат в моих ушах, когда я выламываю свои пальцы. Один из *злых* приятелей,[22] из лютейших и безжалостнейших врагов моей гитары, — в минуту *спекулятивного*[23] настройства, когда всякое безобразие объясняется высшими принципами, понял это. «Господа, — сказал он, обращаясь к другим приятелям, — они в это время играли все в карты, а я, уставши играть и взявшись за лежавшую на диване гитару, старался *выщипать* унылые и вместе уносящие тоны «Венгерки». — Господа, — сказал мой приятель (вероятно, ему пришли в это время в голову разные выводы из столь любимой им психологиче-

ской системы Бенеке), — я понимаю, что он слышит в этих тонах не то, что мы слышим, а совсем другое».

Действительно — широкая и хватающая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая «Венгерка» Ивана Ивановича раздавалась в это время в моих ушах.

«Да нам-то каково!..» — заметил на это другой приятель. Все захохотали, но замечание психолога все-таки было справедливо, — и я до сих пор, без надежды когда-либо услышать вновь в действительности могучий тон Ивана Ивановича, слышу его «душевным ухом». Почему же не быть и душевному уху, когда Гамлет видит отца в «очах души» своей. Но довольно обо мне и довольно об Иване Ивановиче — о нем, разумеется, довольно только на сей раз.

В ответ на всю мою злобную выходку против флорентийской оперы Иван Иванович сказал только:

— Гусь же вы, однако!

— Как гусь?

— Так, как гуси бывают... Вы толкуете мне об опере, а я вам говорю о Сальвини... — И он взглянул при этом настолько с торжеством, насколько обычная, унылая усталость его взгляда допускала торжество... — А я вам говорю о первом трагике Италии, — продолжал он с жаром... — может быть, — добавил он еще с большим жаром, — о первом трагике в свете... Понимаете?

— Нет, все-таки не понимаю — ich bin eben so klug, wie ich vordem war,* как говорят немцы.

— Здесь ведь теперь в Кокомеро играет драматическая труппа — не так ли?

— Да... только я в Кокомеро не был с тех самых пор, как мы вместе с вами слышали импровизаторшу...

— И когда мы ее так безжалостно с вами отделывали — помните? — сказал он смеясь.

— Мы с вами... т. е. вы ее отделывали, — возразил я... — Вот то-то и дело, бог вас поймет, Иван Иванович, то вы все режете анатомическим ножом, то вы чуть что не скачете от какого-то неизвестного господина Сальвини... Это у вас капризы, немецкая Laune,** приливы...

— Неизвестного... — проворчал сквозь зубы Иван Иванович... — И это говорит господин, — продолжал он громко и сердитым тоном, — который имеет претензию на самостоятельность взгляда, на неподогретость — я вашим языком говорю — чувства... И, во-первых, это неправда. Сальвини играл в Париже и произвел там фурор, а во-вторых, и Мочалов был неизвестен в Европе.

— То дело другое, — возразил я, — мы еще не Европа.

— Да неужели вы думаете, что итальянский актер бывает известен где-нибудь, кроме Италии? Я говорю об актере, а не о певцах.

---

* я также мудр, как и раньше *(нем.)*.

** прихоть *(нем.)*.

— Чувствую... А Ристори?

— Видели вы Ристори?

— Нет, не видал, но о ней много говорят.

— И я не видал, и я знаю тоже, что о ней много говорят. А знаете ли, почему говорят и именно говорят во Франции?.. Потому что во Франции была Рашель, — а такое необычайное явление как-то требует всегда сравнений и сличений... Я думаю, что если б какая-нибудь эфиопка приехала в Париж играть роли Рашели на эфиопском языке — французы и ее бы сравнивали с Рашелью... А кстати, — окончил Иван Иванович... — Не совестно вам было написать ваше стихотворение «Рашель и правда»?

— Да вы где и в чем видели Сальвини? — спросил я, не отвечая по *многим* причинам на его вопрос.[24]

Иван Иванович лукаво-мягко взглянул на меня и отвечал:

— В Риме — и во всем, в трагедиях Альфиери и в «Отелло» Шекспира... даже во французских драмах ходил я его смотреть, как хаживали мы, бывало, смотреть Мочалова в «Скопине-Шуйском»[25] и в «Уголино»...[26] Но дело не в том, где и в чем я его видел. Если б я даже его вовсе не видал, мое желание видеть знаменитого итальянского актера все-таки было бы понятнее вашего цинического равнодушия.

— Permesso, signore...* — обратился к нему запачканный и оборванный итальянец в рыжем пальто, из которого, по общему стремлению итальянцев к их типическому костюму, он успел образовать эффектно накинутую на плеча мантилью. Слова его значили, что он желает закурить сигару — и Иван Иванович молча протянул ему свою. — Grazia tanto!..** — сказал итальянец и оборотился к музыкантам.

— Однако пойдемте — пора. Полчаса седьмого, — обратился ко мне Иван Иванович, взглянув на часы.

— Вот как... часы завелись! — заметил я насмешливо. — Надолго ли?

— Глупый, с позволения сказать, вопрос, мой милейший, — отвечал Иван Иванович, нисколько не смущаясь, — глупый потому, что совершенно лишний... Часы — это касса сбережения ходячей монеты, до первого востребования... Однако пора, говорю я вам.

Мы пошли.

— Знаете ли, что в вашем равнодушии, — начал опять Иван Иванович, только что мы вышли в аллею, миновавши мизерную кофейную Кашиня, — много непоследовательности... Вы вообще гораздо смелее пишете, т. е. говорите с самим собою, нежели говорите с другими... Между этим равнодушием и тем значением, которое придаете вы трагической струе в человеческой душе, лежит целая бездна. После того, что вы мне читали, именно от вас-то и надобно было ждать, что вы броситесь, как угорелый, на представления Сальвини... В сущности вы ведь ждете трагика как некоторого откровения, как подтверждения вашей внутренней веры...

* Разрешите, синьор... *(итал.)*.

** Большое спасибо!.. *(итал.)*.

— Послушайте, — отвечал я уже совершенно серьезным тоном... — То, что видел я здесь до сих пор по этой части — и в чем, как хотите, а должен все-таки выказаться тон итальянского трагизма — не могло мне дать подтверждения веры. Вспомните представление «Медеи», неистовый крик и зверообразные гримасы актрисы, позировки Язона... все это я лучше хочу видеть на площадях, где продавец разных медицинских средств, размахивая руками, с патетическим тоном рассказывает толпе об удивительной, чудесной силе своих товаров, — чем в театре. Итальянская трагедия — опера... вот это дело другое. Помните, даже щедушная Альбертини обращалась в трагический образ в сцене восстания в первом акте «Джованны ди Гузман» — и помните, в каком я был восторге. Вспомните притом, сколько раз я добросовестнейшим образом обманывал себя в своих исканиях трагического!!.. Я вам рассказывал, кажется, что, увлеченный криками толпы, я не мог устоять в своем первом впечатлении от игры одного молодого актера?

— Нет, не рассказывали, — отвечал Иван Иванович. — Это очень любопытно.

— Не знаю, любопытно или нет, но для меня самого это факт весьма важный и наводящий на размышления... Явился раз на сцене молодой дебютант.[27] Я ходил его смотреть всякий раз — и несколько раз сряду мне все казалось одно и то же, что природа не создала его трагиком. Голос у него был сильный и звонкий; того, что называется теплотой и что в трагизме гроша не стоит, было у него ужасно много, — рутина уже в него въелась — проникла во все: в интонации, в эффектные заканчиванья монологов, в движения. А главное, главное, что бесило меня, — это была физиономия, красивая, благодушная до телячьего благодушия, да еще преобладание сентиментального тона — лучше сказать, у него только и был один тон, тот тон, в котором заканчивал покойный Мочалов первый акт драмы «Смерть или честь»,[28] словами: «о надежды человеческие, что вы такое?..». Этого тона трагику мало — и не им был велик Мочалов, т. е., пожалуй, и им, но в соединении с другими тонами. Мнение свое выражал я открыто. Юный трагик сердился — да и множество приятелей стали на меня сердиться. Публика встречала и провожала нового любимца постоянными рукоплесканиями. Он переиграл множество ролей, мочаловских и каратыгинских — *создания,* лица не было ни в одной... но между тем *что-то* было, *что-то* он играл, играл искренно, и нельзя было сказать, что это *нарочно*, что это только игра. Нет — *какие-то* стороны лиц он играл *взаправду*, и этим он был много выше другого, опытного актера, который все лица играл нарочно, хотя между ними обоими было много общего в сентиментальном тоне... Вот это *что-то* его игры, соединенное с некоторою верою в общее увлечение и некоторою трусостью собственного чувства, под конец увлекло меня — ненадолго правда, но увлекло. Потом это *что-то*, разумеется, всем приелось. Начали говорить, что он недобросовестно учит роли, что он надеется только на средства своей груди... Может быть, и так, но, кажется, правее было мое первое впечатление. Он не был рожден тра-

гиком — и что бы он ни делал для ролей, он всегда *чувствовал* бы только одну их сторону, а прочие выходили бы не живые, а деланные. Вот вам один мой опыт. Хотите другой?

— Я вас слушаю внимательно и принимаю ваши слова к сведению, — отвечал задумчиво мой приятель.

— Были вы в Берлине? — спросил я.

— Был — а что?

— Кого вы там видели из трагиков?

— Дессуара или Дессойра — не знаю, право, как произносится его имя.

— Ну и я его видел... В Ричарде III видели?

— Видел.

— Ну что ж?

— Да то же, что вы сказали о другом, только с другой стороны. Он не поэт, а сочинитель: он *делает* роль...

— И ведь удивительно искусно делает, — перебил я... — Помните последнюю сцену первого акта, сцену с убийцами. Тут было сделано — до *ужаса*.

— Правду вам сказать, — отвечал Иван Иванович, — он разочаровал меня только с третьего акта. Помните ли вы сцену с Анною в первом акте? Несмотря на общую форсировку немецкой трагической дикции, на общую же угловатость движений, — она была ведена так искусно, что только потом уж я догадался, что это искусственно. Потом костюмировка, историческая верность образа, мастерство в отделке частностей!!. Влияние первого акта на меня было таково, что, когда во втором он появился в залу, куда привели умирающего короля, — его появление навело на меня ужас, смешанный с отвращением... Жаба какая-то, випера...[29]

— Ну да... — перервал я опять. — Почти так чувствовал я, и почувствовал бы, вероятно, всякий, в ком любовь к шекспировским трагическим образам приготовляет известного рода душевную подкладку... Но второй же акт и положил предел всему, что можно *сделать*, — так что все дальнейшее обличило только сделанность предшествовавшего... От целого представления вы, вероятно, как и я же — чувствовали удивительное наслаждение, но какое-то холодное, совсем ученое наслаждение. Не только *Ричард* — все актеры ужасно умно сочиняли свои роли: в представлении была гармония, целость...

— И великолепная обстановка, — перебил Иван Иванович. — Помните появление теней и их совершенно незаметное исчезание?

— Ну да — все это было отлично *сделано*: я помню, что я мог победить даже свою прирожденную русскую насмешливость в отношении к напыщенности немецкого тона чтения. Но *трагизмом* тут не пахло.

— Да! тут трагизмом не пахло — вы правы, — сказал Иван Иванович. — Я знаю, что уже под конец третьего акта я желал, чтобы исчезла эта великолепная и добросовестная постановка, вся эта исторически верная подделка костюма и наружности и даже привычек главного

лица... чтобы все это заменить хоть на минуту одним мочаловским звуком, одним волканическим порывом. Фуй, — как низко упал Дессуар в сцене, где он велит трубами заглушить проклятия матери, и как ничего не выгорело из его эффектного молчания по ее уходе... У вас хорошо сохранились в памяти мочаловские представления Ричарда?

— Мочаловские минуты — да! а представления, целые представления — довольно тускло. Я видел его в Ричарде, когда мне было лет четырнадцать. Правда, что меня с девяти лет начали возить в театр и что я видел Мочалова во всем, что ни играл он, — отвечал я.

— Ну-с — я ведь тоже вырос на Мочалове, — начал опять Иван Иванович, — только так как я вас годом старше — то и воспоминания мои несколько определеннее. У меня перед глазами — и безобразный, какой-то полиняло-бланжевый костюм Мочалова... припоминаете? и декорации, которые так же могли представлять Париж, Флоренцию, даже Пекин — как и Лондон; предо мною и несчастнейший, выступающий гусиным шагом Боккингем или Буккингам — с твердейшим ударением на букву *г* произносилось это имя, и Кленренс, которого, видимо, протрезвляли целые сутки, — ведь это все было уже давно, очень давно, во времена патриархальные, и леди Анна такая, что лучше фигуры нельзя было бы желать для жены гоголевского портного в «Шинели»... И из-за всего этого вырисовывается мрачная, зловещая фигура хромого демона с судорожными движениями, с огненными глазами... Полиняло-бланжевый костюм исчезает, малорослая фигура растет в исполинский образ какого-то змея, удава. Именно змея: он, как змей-прельститель, становился хором с леди Анною, он магнетизировал ее своим фосфорически-ослепительным взглядом и мелодическими тонами своего голоса...

— Боже мой, что это был за голос, — перебил я невольно... — В самой мелодичности было что-то энергическое, мужеское; не было никогда противной, аффектированно-детской сентиментальности, которая так несносна в разных jeunes premiers,* не было даже и юношеского... Нет, это была мелодичность тонов все-таки густых, тонов грудного тенора, потрясающих своей вибрацией... Ну как же вы, Иван Иванович, после этого сердитесь на меня, что я не бегу смотреть, как угорелый, на вашего Сальвини? То, что мы видали с вами, неповторяемо.

— А в самом деле, — проговорил Иван Иванович своим обычным задумчивым тоном, — какие условия должен соединять в себе трагик для того, чтобы можно было верить в трагизм!...

Разговор завлек нас обоих так, что мы дошли уж до Понте della Trinita и только тут заметили, что взяли самую дальнюю дорогу.

Иван Иванович вынул опять часы, посмотрел на них с добродушнейшею ирониею, раскрыл и взглянувши сказал: — Эх! не опоздать бы!

— А вы все-таки хотите? — спросил я.

— Да уж нельзя же, — отвечал он.

— Ну, так и быть — и я с вами.

---

* первых любовниках *(франц.)*.

Мы опять пошли по направлению к piazza del gran Duca.

Шли мы опять так же тихо и опять так же мало заботясь о том, что выбрали самую дальнюю дорогу к театру Кокомеру... Надобно вам сказать, что мы с Иваном Ивановичем все итальянские названия площадей, улиц, церквей и проч. склоняли по-русски: так, Trinita склонялось у нас Тринита, Триниты, Трините, Тринитою, о Трините, — Иван Иванович импровизировал даже раз в альбом одной из милейших соотечественниц стихотворение, начинавшееся:

Когда пройду я, бывало, *Гибеллину*
И выбравшись на площадь *Триниту*.

Итак, мы пошли к театру del Cocomero, спеша медленно и продолжая прерванный разговор.

— Вы говорите — условия! — начал я... — Да вот что, — и я остановился идти и остановил Ивана Ивановича за металлическую пуговицу его бархатного пиджака... — Истинный трагик такая же редкость, как белый негр. Право... Физиономия у трагика должна быть особенная, голос особенный и, par dessus le marché,* душа особенная.

— Но именно par dessus le marché, — заметил Иван Иванович. — Одной души трагической мало: надобно, чтоб средства у нее были выразить себя...

— А что такое трагическая душа, Иван Иванович?

— Бог ее знает, что она такое, — отвечал он. — Может быть, именно то, что вы называете веянием...[30]

— Да, — сказал я, почувствовавши себя на своей почве... — Трагик как Мочалов есть именно какое-то веяние, какое-то бурное дыхание. Он был целая эпоха — и стоял неизмеримо выше всех драматургов, которые для него писали роли. Он умел создавать высокопоэтические лица из самого жалкого хлама: что ему ни давали, он — разумеется, если был в духе — на все налагал свою печать, печать внутреннего, душевного трагизма, печать романтического, обаятельного и всегда — зловещего. Он не умел играть рыцарей доброты и великодушия... Пошлый Мейнау[31] Коцебу вырастал у него в лицо, полное почти байронской меланхолии, той mélancolie ardente,** которую надобно отличать от меланхолии, переводимой на язык хохлацкого жарта мехлюдией...

— А из Ляпунова-то в «Скопине Шуйском» что он делал? — с живостию перебил Иван Иванович... — Он уловил единственную поэтическую струю этого дикого господина — я говорю о Ляпунове драмы, а не о великом историческом — Прокопии Петровиче Ляпунове, — он поймал одну ноту и на ней основал свою роль. Эта нота — стих:

До смерти мучься... мучься после смерти!

Ну и вышел поэтический образ, о котором, вероятно, и не мечталось драме, рассчитывавшей совсем на другие эффекты.

---

* сверх всего этого *(франц.)*.
** пламенной меланхолии *(франц.)*.

— То-то и дело, — перервал в свою очередь я, — Мочалов, играя всегда одно *веяние* своей эпохи, брал одну *струю* и между тем играл не страсти человеческие, а лица, с полною их личною жизнию. Как великий инстинктивный художник, он создавал портреты в своей манере, в своем колорите — и, переходя в жизнь представляемого лица, играл все-таки собственную душу — т. е. опять-таки романтическое веяние эпохи. Коли хотите, можно было критиковать каждое его создание — как объективное, даже самое лучшее, даже Гамлета. Ведь Гамлет, которого он нам давал, радикально расходился — хоть бы, например, с гетевским представлением о Гамлете.[32] Уныло зловещее, что есть в Гамлете, явно пересиливало все другие стороны характера, в иных порывах вредило даже идее о бессилии воли, которую мы привыкли соединять с образом Гамлета...

— То-то привыкли! — сквозь зубы сказал Иван Иванович. — Помните, у некоторых господ — разумеется, у мальчишек литературных — смелость приложения этой идеи бессилия воли доходила до совершенно московской хватки, до сопоставления Гамлета с Подколесиным...[33] Видели вы, кстати, как раз играли у нас Шекспира по комментариям и Гамлета по гетевскому представлению,[34] доведенному до московской ясности?

Я расхохотался, как сумасшедший. Память нарисовала передо мной все это безобразие — и Гамлета, сентиментального до слабоумия, детского до приторности, верного до мелочности всему тому, что в Шекспире есть ветошь и тряпки, — до спущенного чулка и обнаженной коленки, и Офелию, которую доставали нарочно — искали, видите, чистейшей простоты и «непосредственности» — и которая мяукала какие-то английские народные мотивы, а главное, короля, прелестного короля, ходившего и садившегося по комментариям, толстого, но с постной физиономией три дня не кормленного santo padre...

— Ну вот видите, — сказал Иван Иванович, когда я достаточно объяснил ему причину своего смеха... — Вы еще одну прелестную подробность забыли: несколько мальчишек, громко рассуждавших в фойе[35] о том, что в первый раз играют в Гамлете человека, — да положение публики, совершенно не знавшей, как к этому делу отнестись... Ну скажите же мне, кто тут, в этом до сентиментальности развенчанном Гамлете, понимал бессилие воли и тому подобные психологические тонкости... Да что уж Гамлет... Те, которые нередко плакали от бывалой Офелии[36] — талантливой в сценах безумия, хотя отвратительной дурным тоном до этих сцен безумия, которым песни ее были понятны в музыке инстинктивно-гениального Варламова, — все эти господа и госпожи находились в совершенной конфузии от постного представления по комментариям. Мальчишки кричали о невежественности публики... а для кого же, я вас спрашиваю, театр существует, как не для массы, не для публики?

— Разумеется, — отвечал я, — Мочалов-то тем был и велик, что поэзия его созданий была, как веяние эпохи, доступна всем и каждому — одним тоньше, другим глубже, но всем. Эта страшная поэзия, закружившая самого трагика, разбившая Полежаева и несколько других даровитейших натур, в этом числе поэта Иеронима Южного, — эта поэзия имела

разные отражения, в разных сферах общества. Одна из глубоких черт Любима Торцова[37] Островского — это то, что он жертва мочаловского влияния; еще резче наш поэт выразил это в лице заколоченного в голову до помешательства и помешавшегося на трагическом Купидоши Брускова...[38]

— Да-с... великий трагик есть целая жизнь эпохи, — перервал Иван Иванович. — И после этого будут говорить, что влияние великого актера мимолетное!

— Вы сказали, жизнь... Не вся жизнь, но жизнь в ее напряженности, в ее лихорадке, в ее, коли хотите — лиризме.

Мы были уже между тем на площади del gran Duca.

Милостивые государи! Я вас ничем не беспокоил из-за границы: ни рассуждениями о влиянии иезуитов и о борьбе с ними Джоберти, ни благоговением к волосам Лукреции Борджиа,[39] ни Дантом — ничем, решительно ничем. Я был свидетелем, как перекладывали из старых гробов в новые множество Медичисов и лицом к лицу встретился с некоторыми из них — и ни о чем я вам не рассказывал... но в настоящую минуту, только что помянул я площадь del gran Duca, — во мне возродилось желание страшное сказать о ней несколько слов, с полной, впрочем, уверенностью, что если вы ее не видали, то мой восторг от нее не будет вам понятен, а если видели, то приходили в восторг и без меня... А все-таки я даю себе волю. Потому что изящнее, величавей этой площади не найдется нигде — изойдите, как говорится, всю вселенную... потому что другого Palazzo vecchio — этого удивительного сочетания необычайной легкости с самою жесткой суровостью вы тщетно будете искать в других городах Италии, а стало быть, и в целом мире. А один ли Palazzo vecchio... Вон направо от него — я ставлю вас на тот пункт, с которого мы с Иваном Ивановичем шли в этот вечер на площадь, — вон направо от него громадная колоннада *Уффиции*, с ее великолепным залом без потолка, между двумя частями здания, с мраморно-неподвижными ликами великих мужей столь обильной великими мужами Тосканы. Вон направо же изящное и опять сурово-изящное творение Орканьи — Лоджиа, где в дурную погоду собирались некогда старшины флорентийского веча и где ныне — mutantur tempora * — разыгрывается на Святой флорентийская томбола!..[40] Вон налево палаццо архитектуры Рафаэля — еще левей широкая Кальцайола, флорентийское Корсо,[41] ведущее к Duomo, которого гигантский купол и прелестнейшая, вся в инкрустациях, колокольня виднеется издали. А статуи?.. Ведь эти статуи, выставленные на волю дождей и всяких стихий — вы посмотрите на них... Вся Лоджиа Орканьи полна статуями — и между ними зелено-медный Персей Бенвенуто Челлини и похищение Сабинок... А вот между палаццо Веккио и Уффиции могучее, хотя не довольно изящное создание Микель Анджело, его Давид, мечущий пращу, с тупым взглядом, с какою-то бессмысленною, неразумною силою во всем положении, а вон Нептун, а вон со-

* времена меняются *(лат.)*.

всем налево Косма Медичис на коне, работа Джованни да Болонья. И во всем этом такое поразительное единство тона — такой одинаково почтенный, многовековый, серьезный колорит разлит по всей пьяцце, что она представляет собою особый мир, захватывающий вас под свое влияние, разумеется, если вы не путешествуете только для собирания на местах фотографических видов и не мечтаете только о том, как вы будете их показывать по вечерам в семейном или даже не семейном кружке... Если вы способны переходить душою в различные миры, вы часто будете ходить на пьяццу del gran Duca... Днем ли, при ярком сиянии солнца, ночью ли, когда месячный свет сообщает яркую белизну несколько *потемневшим* статуям Лоджии и освещает как-то фантастически перспективу колоннад Уффиции... вы всегда будете поражены целостью, единством, даже замкнутостью этого особенного мира, — и когда вы увидите эту дивную пьяццу — чего я вам искренно, душевно желаю, в интересах расширения симпатий вашей души — вы поймете, почему я перервал все рассуждения страницей об одном из изящнейших созданий великой многовековой жизни и человеческого гения.

Даже и в этот раз мы с Иваном Ивановичем, по нескольку раз в день видевшие пьяццу, не могли удержаться от того, чтобы не заметить эффекта освещения ее вечерним светом. Заметил, впрочем, это не я, а он, потому что две недели его не было во Флоренции и, стало быть, его чувство зрения было менее притуплено обычными пунктами.

Замечали ли вы, что, если разговор двух лиц прерван каким-нибудь малоинтересным вмешательством третьего ближнего, его возобновить еще можно, даже иногда довольно легко — душевный строй ваш остался после таким же, каким был до удара по нем обухом любезного ближнего, — ибо струны этого странного инструмента, называемого человеческою душою, чрезвычайно упруги; но если разговор ваш прервался душевным впечатлением, если на струны, необычайно чуткие, подействовала струя иного воздуха, то надобно быть немцем, чтобы опять выкапывать со дна души старое впечатление, надобно положительно не верить в жизнь и ее наития, а верить только в поставленный вопрос и в теорию, *из оного* развивающуюся, — надобно иметь душу-книжку.

Иметь душу-книжку есть великое благо... для науки и сциэнтифических[42] споров, но знаете ли, что есть еще бо́льшее благо: иметь душу-комод, со множеством ящиков, из которых в один кладутся старые тряпки, в другой кухонные припасы, в третий то, в четвертый другое, и наконец, там в десятый, одиннадцатый возвышенные впечатления. Все это по востребованию вынимается, потом в случае нужды опять кладется на место и заменяется другим. Я встречал много таких душ, как мужских, так и дамских. Последние в особенности чрезвычайно милы, когда устроены комодами: c'est très commode * — пошлый каламбур, коли хотите, но это в самом деле удобно и главное дело — душа-комод ни к чему не обязывается, потому что все в ней совместимо.

* это очень удобно *(франц.)*.

Так как ни я, ни мой безалабернейший из смертных приятель не имели счастия при рождении быть награждены душою-книжкой или душою-комодом, то мы до самого Кокомеро не пытались продолжать прерванного новыми впечатлениями... Вечер был так хорош, Кальцайола так кипела жизнию, контральтовые ноты груди итальянских женщин звучали так полно, попавшаяся нам синьора Джузеппина, которую мы прозвали «золотою» после поездки на церемонию в Прато, ибо в самом деле без ее предводительства и наивно-дерзкой расторопности мы ничего бы там не увидали и вдобавок, не попавши на железную дорогу, принуждены были бы ночевать, может быть, sur le pavé du bon Dieu *, — синьора Джузеппина так обольстительно завязала слегка шею легкой ярко-красной шелковой косынкой, отчего ее черные огненные глаза получили еще более пламенный отлив... что мы забыли обо всем, кроме полногласной, полногрудной, яркой, пестрой и простодушной жизни, нас окружавшей. Мы дышали всеми порами, мы впивали в себя эти чистые, еще свежие, но уже сладострастно-упоительные, густые, как влага настоящего Орвиетто, струи весеннего воздуха — мы шли, отдаваясь каким-то странным снам, меняясь изредка замечаниями насчет физиономий попадавшихся нам женщин, и так достигли до площади собора, до piazza del Duomo... Читатель или читательница... вы уже бледнеете — не бойтесь: на сей раз вам не грозит никакой опасности. Мы пройдем с вами мимо Duomo, как прошли мимо, не обративши даже на него внимания, с Иваном Ивановичем...

Миновавши café «Piccolo Helvetico», Иван Иванович заметил только: что ж? опять сюда зайдем после театра.

— Иван Иванович! .. — сказал я тоном упрека. И слово *опять*, употребленное Иван Ивановичем, и мой тон *упрека* объяснятся впоследствии.

Огромный *хвост* был уже у театра Кокомеро, когда мы подошли к нему. Стало быть — надобно было lasciar ogni speranza,** [43] заплатить только *интрату* [44] и найти хорошее местечко в партере. Пришлось брать posto distinto. Надобно вам сказать — если вы этого не знаете, а впрочем, если и знаете, то не беда, — что во Флоренции платится в театры за вход, платится интрата. Если вы хотите иметь нумерóванное место в первых рядах, так называемое posto distinto, — вы платите за него особенно. Никто почти, кроме особенных высокоторжественных случаев, не берет этих отдельных мест. Берут, разумеется, англичане да некоторые из наших соотечественников — да и то из последних немногие, ибо наш, уж ежели раскутится, то берет ложу, «один в четырех каретах поедет».[45] На этот раз мы едва, однако, нашли и posti distinti. По всему видно было, что представление — высокоторжественное. Когда я с трудом достал афишу — афиш там, собственно, и нет в смысле наших и немецких, а есть огромными буквами напечатанные театральные объявления, у меня невольный зноб пробежал по составу. На афише стояло: Otello, il moro di Venezia,

* на мостовой господа бога *(франц.)*.
** оставить всякую надежду *(итал.)*.

tragedia di Guglielmo SK(sic!)akspearo — tradotta é ridotta per la scena da Carcano. . .*

Отелло! Шекспировский Отелло! Отелло, как бы он ни был tradotto é ridotto!

Театр был битком набит, и притом набит не той массой, которая обыкновенно наполняет Перголу или другие оперные театры, которой совершенно все равно, что бы ни представляли, — ибо в то время, как примадонна поет свою лучшую арию, большая часть публики делает по ложам визиты своим знакомым. В театре Кокомеро — чисто драматическом пьесы не даются по несколько недель сряду и на него не смотрят, как на залу какого-нибудь казино — притом же в нем и меньше откупных лож, стало быть, и меньше обычных посетителей. Публика, наполнявшая его в этот вечер, представляла смесь публики перголовской с тою живою, подвижною, волнующеюся массою, которую найдете вы во время карнавального сезона во всех маленьких театрах, которая жарко и не чинясь сочувствует успехам или плутням своего *Стентерелло,*[46] негодует на артистов, представляющих его врагов, и преследует их часто криками о! scelerato. . .** Я обрадовался этой публике, волновавшейся и жужжавшей как рой пчел, и, садясь на свое posto distinto, заметил о ее присутствии Ивану Ивановичу. . . До начала представления оставалось еще четверть часа — и так как ложи бенуара и бельэтажа по общепринятому в большом свете всех стран порядку наполняются только в начале представления — да и вообще-то эти два ряда лож перестали уже нас с ним интересовать, то мы с ним и стали прислушиваться к тому громкому и резкому жужжанию, которое, не умолкая, раздавалось позади. Об этом жужжании не можно составить себе и понятия, не бывши в Италии. В выражении чувствований, даже самых домашних, никто тут не церемонится. Говор в театрах, особенно до начала представления, гораздо живее, чем в кофейнях. Оно и понятно, почему. Публика, платящая только *интрату,* забирается пораньше большею частью целыми компаниями, запасающимися возами апельсинов, сушеных фиг, миндалю и грецких орехов. О милая простодушная и энергическая масса! как мы с Иваном Ивановичем полюбили ее в карнавальный сезон, полюбили все в ней от резких, несколько декорационных очертаний ее физиономий и картинной закидки итальянского плащика до ее простодушной грубости в отношениях, грубости, в которой, право, затаено больше взаимного уважения людей друг к другу, чем в гладкости французов и чинной приторности немцев: я говорю это насчет театральной массы и притом партерной. Она своим простодушием напоминала нам нашу массу райка — как и вообще многие черты типического, не стертого итальянского характера напоминали нам иногда черты славянские. . . Мы только выдержаннее или задержаннее, потому на вид суровее, но внутренне мы страстны, как южное племя: страстность наша не выделалась в типы, в картинность движений и опре-

* Отелло, венецианский мавр, трагедия Вильяма Шекспира, переведенная и переделанная для сцены Каркано *(итал.).*

** о! злодей... *(итал.).*

деленность порывов — и нам же, конечно, от этого лучше: перед нами много впереди! . .

Об этом мы прежде уже успели наговориться вдоволь с Иваном Ивановичем и потому в эту минуту молчали, прислушиваясь только к общему жужжанию, вследствие чего оно в ближайших позади нас рядах все более и более переходило для нас в явственный говор. . . Женские голоса особенно сильно звенели в этом говоре грудными нотами или ворковали теми горловыми звуками, которые даны только итальянкам и цыганкам. . . Иван Иванович не утерпел, однако, чтобы в десятый, может быть, раз не указать мне на действительно поразительное сходство женщин этих двух различных племен. Для него, четверть жизни проведшего с цыганскими хорами, знавшего их все, от знаменитых хоров Марьиной рощи и до диких таборов, кочующих иногда около Москвы за Серпуховскою заставою, нарочно выучившегося говорить по-цыгански до того, что он мог безопасно ходить в эти таборы и быть там принимаемым как истинный «Романэ Чаво», — для него это была одна из любимых тем разговоров. . . Подходили ли мы с ним в Уффиции к одной из картин Бассано, изображающей итальянское семейство за ужином, — он не мог обойтись без того, чтобы не обратить моего внимания на женщин с мандолинами и в особенности на действительно цыганский тип лица старухи и при этом случае замечал, что у молодых цыганок черты лица тоньше итальянских — чисто декорационных черт, теряющих много на близком расстоянии, — и что только старухи-цыганки совсем похожи на старух итальянских. . . Бывали ли мы с ним в одном из оперных театров — он доходил до того, что начинал уже звать труппу Перголы хором Ивана Васильева,[47] труппу Пальяно хором Петра Соколова, а маленькую труппу Боргоньизанти, где, однако, был удивительно даровитый и ловкий комик-баритон да прелестный и свежий, хотя еще не выпевшийся сопрано молоденькой примадонны, — одним из безвестных хоров Марьиной рощи, откуда вербуются часто контральто какой-либо Стеши[48] или Маши-козлика. . . Сначала, разумеется, мне странно было слушать его парадоксы, потом я к ним привык и сам, большой любитель племени цыган и их пения, перестал оскорбляться сравнением двух рас с истинно-прирожденною музыкальностью, хотя, может быть, и неравною. Он и теперь не прочь был бы пуститься рыскать по одному из любимых полей, тем более что домашние тайны двух синьор, лет уже довольно зрелых, и рассказ их о том, как муж застал синьору Аннунциату с синьором Винченцо и что из сего воспоследовало, интересовал нас довольно мало. . . но раздался звонок к поднятию занавеса. Странно, что мы тут только заметили отсутствие оркестра и нашу близость к сцене. Как то, так и другое нам чрезвычайно понравилось. К шекспировскому Отелло не шла бы ни fiera polka,* ни даже — да простит мне великий итальянский маэстро! — россиниевская увертюра к опере: в ней не слыхать Яго, как не слыхать его в самой опере. Перед Шекспи-

* ярмарочная полька *(итал.)*.

ром давайте либо бетховенскую музыку, либо уж вовсе никакой не нужно! .. По крайней мере согласитесь, что уж polka fiera вовсе не шла бы, тем более что публика не удержалась бы не подкрикнуть единодушно в ее середине оркестру, ибо это — polka с криком, полька ярмарки, как показывает самое ее название.

Занавес поднимался и, к сожалению, с препятствиями: вверху зацепился за что-то, и партерная толпа дружно и наивно хохотала над его бесплодными усилиями.

— Как бы, — заметил Иван Иванович, — в былую пору, в *умозрительную* пору молодости мы с вами негодовали на этот хохот массы!

— А вам и он нравится? — спросил я, сам уже, впрочем, свободный от *классического* негодования.

— Как все живое и простое, — отвечал он. — Я был раз свидетелем в Берлине подобного же происшествия — и признаюсь я вам, несмотря на все желания проникнуться глубочайшим уважением к невозмутимой серьезности немцев, приготовлявшихся *проштудировать* Гамлета, — не мог видеть в этом ничего, кроме отсутствия живой комической струи.

— Да ведь вы сами больше трагик, чем комик по душе, Иван Иванович?

— Да вот, я трагик, как вы говорите, и между тем... но после, т. е. слушайте! ..

Прежде чем слушать, я хотел, однако, видеть.

Декорации были просты, но делал их художник, а не мастеровой, ибо они дышали Венецией и ни одна черта не нарушала венецианского впечатления... Сначала, слушая разговор Яго и Родриго, я желал только дознаться — поэт или мастеровой возвращал Отелло на почву Италии: как только оказалось, что поэт, т. е. такой человек, который чувствует и передает тип лица, то я на этот счет совершенно успокоился...

Актер, игравший Яго, был далеко не трагик, но с первого раза видно было, что он человек умный. Ни злодейской выступки, ни насупленных бровей... ничего подобного. Это был просто человек лет тридцати, продувная итальянская бестия, с постоянно юмористическим оттенком в обращении с Родриго — этим загулявшим совсем синьором, — готовый сам загуливать с ним, только, конечно, не на собственный счет, шатавшийся с ним по всем возможным albergo,* тратториям и темным кьяссо, — an Ruffian ** — как зовет его Брабанцио. Когда он заговорил о мстительном чувстве своем к Мавру, в его речах послышался самый искренний, но опять-таки нисколько не напряженно трагический тон итальянской прирожденной вендетты — и это несколько меня смутило. Когда-то я был убежден и даже писал о том, что у Яго нет *личного* мщения к Отелло,[49] что поводы его мстить основаны, с одной стороны, на деле ничтожном, на повышении перед ним Кассио, да на подозрении — чисто им самим выдуманном насчет того, что Мавр осквернил его супружеское ложе, что Яго ненавидит Мавра инстинктивно, непосредственно, как все мелочное

* гостиницам *(итал.)*.

** сводник и сплетник *(итал.)*.

и низкое ненавидит все широкое и великое, что в Яго есть начало змеи, ехидны. Когда раз я говорил об этом с Иваном Ивановичем, он расхохотался и назвал мою мысль немецким умозрением и вдобавок еще оскорблением Шекспира, который ищет всегда для зла пружин чисто человеческих, а не демонских: в Ричарде уродства и безобразия, соединенных с ужасною энергиею души, в Макбете величия, поистине достойного первого места, с слабостью души, не могущей устоять против самолюбия и против внушений жены, в Яго мельчайшей *чиновничьей* раздражительности, соединенной с громадным своей плутоватостью умом, сознающим свое превосходство в деле мошенничества до артистического им восхищения... И вот итальянский актер, не бог знает как даровитый, но очень умный и играющий искренно, как итальянец — выполнял передо мною не моего, а скорей Иван Ивановичева Яго... Представление становилось поучительным. Оно и не могло быть, впрочем, иначе. Отелло возвращался на почву, с которой был взят, на ту грубую, может быть, почву, но, во всяком случае, коренную его почву, на которой вырастил его Giraldi Cintio в своей новелле del capitano Moro chi prende per Mogliera una cittadina Venetiana et caet...* [50] Яго рос не как трагик, а как умный актер с каждым шагом в разговоре с Родриго —умел ловко и жизненно выставить все итальянские стороны характера. Сцена с Брабанцио — стариком, который только что сорвался как будто со стен галерей портретов праотцев владельца одного из итальянских палаццо, прошла также благополучно, т. е. в нее можно было поверить, как в настоящее, совершившееся событие...

Но вот перемена декорации — и показался сам Отелло. Гром рукоплесканий приветствовал трагика... Флоренция уже знала его — но если б и не знала, то есть такие наружности и такие *входы*, при которых рукоплескания совершенно понятны. Изящнее, величавее и стройнее наружности я еще не видывал: это было нечто среднее между исполинским ростом Каратыгина и очень средним Мочалова, на гримированной по условиям роли физиономии ярко сверкали огненные глаза — и, кроме того, это была не безобразная физиономия хамита-негра, а открытая, благородно-спокойная и, несмотря на зрелый возраст, прекрасная, хотя бронзовая физиономия семита-мавра. В поступи, в движениях видна была исполненная сознания достоинства простота сына степей, соединенная с образованностью средневекового итальянского генерала. Костюм его был великолепен; яркие цвета Востока играли в нем значительную роль, но между тем это был не турок, не араб, а венецианец, сохранивший только некоторые из привычек Востока в манере *одеваться*... Все эти условия весьма важны, ибо все это поясняет магическое обаяние, которое произвел он на Дездемону.

Покамест только еще и можно было сказать о трагике — да, может быть, и хорошо было то, что только еще и сказать было можно. Так уже надоели мне разные Отелло, появляющиеся с громом и треском, что на

* о полководце мавре, который взял в жены жительницу Венеции и т. д. *(итал., лат.)*.

меня довольно сильно подействовала простота Сальвини... В разговоре его с Яго, с Кассио — было такое отсутствие желания напрашиваться на рукоплескания, а в разговоре с Брабанцио такая почтительная и достойная зрелого человека вежливость к оскорбленному им старику, — что цивилизованный уже Мавр и много испытавший вождь являлся в нем очевидно и ярко...

Но вот и зала сената, вот и почтенный старец, дож Венеции, — все это настоящее, как зала сената, все это костюмированное сообразно эпохе, говорящее важно, степенно, но по-человечески, двигающееся по сцене совершенно свободно и знающее свое место. А между тем — никакой особенно роскошной обстановки тут не было — да и откуда бы очень небогатый театрик Кокомеро взял роскошную обстановку? Были тут только итальянское художественное чутье да итальянская почва. Одного только не мог я никак понять: какой добрый дух внушил итальянцам играть Шекспира так просто, им, ломающим трагедии в пьесах Альфьери, не могущим напечатать афишки без штуки вроде tragedia del immortale Alfieri, или comedia del immortale Goldoni,* не могущим продать зубного эликсира без пластических размахиваний руками и необузданного потока напыщенных речей?.. Да — какой-то добрый дух вмешивался, видимо, в представление «Отелло»... Только Дездемона не соответствовала шекспировскому идеалу, потому что была чистая, кровная итальянка средней и южной Италии, а не рыжая или белокурая венецианка, — она была слишком пластична, слишком рельефна, а не легка, грациозна и прозрачна, как все шекспировские женщины, кроме Джульетты и без исключения нервной и разбиваемой преступлением леди Макбет. Самый тон ее звучал излишнею страстностью и густотою контральтовых нот, а ведь Шекспир ясно говорит об одном из своих поэтических идеалов:

Голос
У ней был нежный, тихий и приятный —
Вещь в женщине прелестная.[51]

Нет-нет — какая была это Дездемона, «лиана, обвившаяся около мощного дуба»[52] (слова поэта о другом его идеале, который он поставил в *комичнейшее* положение обвиваться плющом или лианою вокруг ослиной шеи). В такой энергической и итальянски-прямой перед сенатом женщине — вовсе непонятны ни ее последующее легкомыслие чистоты, ни ее кошачьи приставанья[53] к Отелло, ни то северно-меланхолическое, чем окружен ее образ в сцене песни об иве и в сцене смерти.

Я, однако, с нетерпением стал ожидать знаменитого объяснения перед сенатом. Вот выступил и Отелло: странно — но он не произвел тут на меня впечатления — несмотря на все удивительные, то мелодические, то металлические звуки его голоса... Мне казалось, и доселе еще я думаю, казалось верно, — что *так* можно и, пожалуй, должно читать октавы Тасса, но не эту задушевную исповедь, представляющую собою один из венцов шекспировского драматического лиризма, исповедь, в которой все

* трагедия бессмертного Альфиери... комедия бессмертного Гольдони *(итал.)*.

правда — и простота тона и обилие восточных метафор. Одно было хорошо, что Сальвини тут не ярился, как ярятся другие Отелло... И мне опять припомнилось одно из удачных представлений мочаловских, в котором именно эта исповедь высказалась такими глубоко верными тонами, после которых никакие другие не вообразимы — хоть, правду сказать, бывали другие представления, когда и наш великий трагик фальшивил в ней ужасно...

Но не только уже мало впечатления, а впечатление дурное произвела на меня сцена с Дездемоною, перед уходом. Зазвучали какие-то приторные, слишком юношеские ноты...

Я стал внимательно прислушиваться и приглядываться к заключительной сцене Яго с Родриго. Яго вел ее очень умно, мастерски скрыл даже резкости шекспировской формы — беспрестанное упоминание кошелька, играл отлично в итальянски-трактирном тоне, который, между прочим, очень близок к нашему, ловко и с *подходцем* издевался над Родриго: но ведь этого мало — тут у Яго заключительный монолог... Пусть и прав Иван Иванович, пусть мстительность и зависть составляют пружины действия Яго, — но он способен быть *артистом* зла, способен любоваться своей адской расчетливостью, своим критическим предведением; тут уже не просто мошенник, а софист, который порешил для себя все сомнения и колебания, окончательно отдался злому началу. Тут уже нужен трагик...

Акт кончился. Мы с Иваном Ивановичем молча вышли из posti distinti и молча же пошли в театральную кофейню, сальнее и грязнее которой едва ли найдется где-либо другая в целом мире, исключая опять-таки Флоренцию, — ибо кофейня театра Боргоньиссанти еще краше этой.

Сохраняя то же молчание, Иван Иванович подошел к буфету, *вонзил* в себя (я вообще желаю сохранить для потомства многие его выражения) рюмку коньяку, — *застегнул* оную апельсином, выбросил *павел* (т. е паоло) [54] и оборотился ко мне.

— Вы говорили мне, — начал он, продолжая есть апельсин, — что я трагик. Пожалуй, так, но я трагик такого сорта, что понимание трагического у меня идет об руку с пониманием комического. Мне смешны те люди, которые восторгаются Рафаэлем и не понимают фламандцев: по-моему, они и Рафаэля-то не понимают... А трагизм ходульный мне смешнее, чем кому-либо другому, — вы это знаете... Да! да! — продолжал он с жаром, — много нужно трагику для того, чтобы можно было поверить в трагизм.

— Один актер, мой приятель,[55] — начал я, — большой мастер на рассказы, удивительно представляет провинциального трагика. Его рассказ — этот рассказ я слышал перед самым отъездом за границу и он уцелел у меня в памяти, вместе с последнею сходкою множества разъезжавшихся в разные стороны друзей...

— Господи! вы и говорить наконец привыкаете такими же несносно-длинными периодами, какими иногда пишете, — перебил с нетерпением

Иван Иванович... — Ну-с... его рассказ — ведь в нем дело, а не в ваших приятелях... Но постойте... я пройдусь еще по *коньячилле*.

— Иван Иванович! — начал было я с упреком, но видя, что он уже свое дело кончил мгновенно, я ограничился только замечанием насчет того, что он заражен в выражениях тоном Яго и Родриго.

— Рассказ его, — продолжал я затем, — произвел на меня сильное впечатление. Не могу вам передать всего комизма его, ибо много комизма пропадет за отсутствием мимики и интонаций. Приятель мой отлично представлял, как трагик — Ляпунов, рычавший неистово в четвертом акте Скопина-Шуйского, рычит еще и по закрытии занавеса, рычит в уборной, рычит, когда его вызывает беснующаяся публика и т. д., как он потом напивается у содержателя, ругает его, недовольный им за его несправедливости и подлости, ибо трагики без негодования на несправедливости и подлости существовать не могут, — и под конец, в злобе на неверность первой трагической артистки, — скусывает ей нос на прощанье... Все мы хохотали до судорог, но мне все приходила в голову мысль, — что ведь это только комическое представление черт, которые существуют и — может быть — должны существовать в истинном, великом трагике; мне приходил в голову великий трагик, которого я знал лично...[56] Как вы думаете, *верит ли и в какой степени* верит трагик в представляемые им душевные движения? ..[57]

— Ну, это длинный вопрос... пойдемте, пора, — сказал Иван Иванович. — Должно быть, начинают, видите, никого не осталось в кофейной...

— А что ж Сальвини, — спросил я не уходя.

— Ничего: посмотрим! — отвечал Иван Иванович... — Мне что-то доброе сдается.

— И мне, — сказал я.

В задний план сцены уже колотили что есть мочи чурбанами, что обозначало пальбу из пушек, когда мы вошли, — значит, прибыли корабли в Кипр. Садясь, мы застали уже на сцене Кассио, Монтано и прочих. Потом, как следует, явились Яго и Дездемона — и кстати, знаете ли, что это имя произносится итальянцами не Дездемо́на, как мы произносим и как выходит по складу стиха у самого отца ее, а Дезде́мона? Половина острот и куплетов Яго была выброшена — да я об них и не жалел: их надо или передавать с солью, понятной для современной публики, или лучше вовсе выбрасывать. Явился Отелло, и я был опять поражен его наружностью и новой костюмировкой — уже совсем воинственной, но опять изящной без изысканности. Несколько слов к Дездемоне были сказаны так душевно и так мелодически, звучали такою пламенной страстью, что все вместе оправдывало увлечение молодой венецианки пятидесятилетним сыном степей, бурь и битв... Он был чудно хорош с своим коричневым лицом, с высоким, изрытым морщинами челом под чалмою, обвивавшей блестящий стальной шлем, с своими пламенными глазами, в белом плаще, из-под которого сверкали латы... Толпа снова встретила его взрывом — и в самом деле, так просто-величаво умеет

входить только он... Vorrei amar lo un giorno è poi morir!..* — говорила мне потом синьора Джузеппина.

Дальнейшие сцены по уходе его до вторичного его появления шли гладко и не оскорбляли ничем фальшивым, — хотя Яго начал все более и более оказываться несостоятельным в них как трагик, — да и, признаться, я видел только одного *состоятельного* Яго, именно М** (я не хочу льстить никому из живых наших), когда он играл с покойным К**,[58] — ну да М** играет и Гамлета, играет *не нарочно, а взаправду*! Я помню зловещее, мрачное, зло-радостное выражение лица его и всей фигуры, когда он напаивает Кассио и поет песню о *серебряной чарочке*... Зато целость всего была более чем удовлетворительна, и вся история походила на жизнь, а не на театральное позорище, — а ведь великое дело целость: без целости исчезала для массы и игра хоть бы помянутого мною М**; без *целости* обстановки мог играть только Мочалов и вообще могут играть только гении первой величины... С ними как-то все забывается, всякое безобразие исчезает, — и я помню, что никому не было смешно, когда великая Паста пела по-итальянски, а хоры ответствовали ей по-русски:

Здравствуй, здравствуй, о царица,
Здравствуй, здравствуй, красная!..[59]

В представлении, которое я описываю, все шло очень живо благодаря художественной натуре итальянцев и какому-то доброму гению, внушившему актерам играть Шекспира, как они играют своего immortale Goldoni. Самая драка Монтано с Кассио вышла отлично, вышла так, что могла разбудить Отелло, вырвать его из объятий его обожаемой Дездемоны.

Явился *сам* — и это появление *самого* действительно могло заставить *прильпнуть язык к гортани*.[60] Вы знаете, что немногоречив тут Отелло, но немногие речи его были поистине грозны, — а лучше-то всего, что и появление и речи вовсе не рассчитывали на эффект. Старый венецианский генерал *задал страху* своим подчиненным и только, — но все поверили тому, что он задал им страху. И вновь мелодически-страстные тоны, но в которых звучало еще не стихшее раздражение, раздались при появлении Дездемоны... Я уверился, что всего этого нельзя было *сделать*, что это рождено вдохновением, что сей господин играет, по удачному выражению Писемского, *нервами, а не кровью*. Иван Иванович взял меня под руку по конце второго акта (что означало у него особенное, лирическое расположение), и мы опять направились в кофейню.

— Ну-с!.. — сказал он, поглядевши на меня с торжеством.

— Да-с! — отвечал я ему, не употребивши даже обычного между нами присловья, что Nuss по-немецки значит орех.

Этим разговором мы и ограничились... Иван Иванович выпил еще одну рюмку коньяку, на что я смотрел с горьким чувством неудовольствия, ибо знал по многократным опытам, что подобная быстрота дея-

---

* Любить его хоть один день, а потом умереть!.. *(итал.)*.

тельности весьма надолго не предвещала ничего хорошего; впрочем, не приступал к нему с советами и укорами по причине их совершенной и по опытам же дознанной бесполезности. Зная притом, что он *огасал* — как он выражался — очень не скоро, я насчет сегодняшнего вечера оставался покоен. Его *загулы* длились обыкновенно по целым неделям, но только к концу их приходил он в то нервическое состояние, в котором человек бывает способен видеть существа иного мира, большею частию в образе зеленого змея или маленьких дразнящих языками бесенят... В первые же поры он доходил только до трагизма, до мрачной хандры, чтения стихов из лермонтовского «Маскарада» и бессвязных, но ядовитых воспоминаний.

Мы вышли из кофейной скоро — третий акт еще не начинался, а так как в зале театра было душно, то мы прошлись еще по коридорам, все так же, впрочем, молча.

Вот тут-то и встретил я *золотую* и милейшую синьору Джузеппину. Глаза у нее решительно разгорелись, узел красной косынки на ее смуглой, но совершенно античной шее переехал как-то набок, густая труба левого локона находилась в наиближайшем расстоянии от глаза, тогда как правая сохраняла законную близость к уху. Она была истинно прекрасна в эту минуту, и хотя шла об руку с двумя другими синьорами, но бросила одну из них и энергически схватила мою руку.

— L'avete gia veduto, signor A.? ..* — спросила меня она, сверкнувши взглядом. Я отвечал, что еще нет, что вижу в первый раз — но что понимаю ее восторг.

Вот тут-то, стиснувши мне руку и наклонившись ко мне, чтоб не слыхал Иван Иванович, которого она мало знала, и сказала она мне сладострастным шопотом: О! — любить его хоть день и потом умереть... Фраза, коли хотите, совсем оперная, избитая — но потому-то она так и избита в оперных либретто, что живет в душе итальянской женщины... Джузеппине нужно было только кому-нибудь сказаться — и сказавшись, она тотчас же меня бросила.

Да и нам пора было идти.

По обыкновению, выпущены были первые сцены третьего акта — и он начат был прямо с разговора между Дездемоной, Эмилией и Кассио. Отелло вошел опять в новом, т. е. домашнем, костюме и без чалмы, — так что тут только можно было вполне оценить всю выразительность физиономии Сальвини. Да и зачем Отелло будет носить чалму у себя в комнатах? .. Ему предстояла тут огромная задача: провести в разговоре с просящей за Кассио Дездемоной тревожную ноту странного чувства, заброшенного в его душу замечанием Яго: «это мне не нравится». Обыкновенным нашим трагикам это очень легко — они *ярятся* с самого начала, ибо понимают в Отелло одну только дикую его сторону. Но Сальвини показал в Отелло человека, в котором дух уже восторжествовал над кровью, которого любовь Дездемоны замирила со всеми претерпенными

* — Видели ли вы его раньше, синьор А.? .. *(итал.)*.

им бедствиями... У него как-то нервно задрожали лицо и губы от замечания Яго, и только нервное потрясение внес он в разговор с Дездемоною, — он еще не сердился на нее за ее докучное и детское приставанье к нему, он порой отвечал ей только как-то механически, и было только видно, что замечание Яго его не покидает ни на минуту... Но не знаю, как чувствовали другие, а по мне пробежала холодная струя... Звуки уже расстроенных душевных струн, но не порывистые, а еще тихие, послышались в восклицании: «чудное создание... проклятие душе моей, если я не люблю тебя... а если разлюблю, то снова будет хаос»... Вся безрадостно до встречи с Дездемоною прожитая жизнь, все те чувства, с которыми утопающий хватается за доску — за единственное спасение, и все смутное сомнение послышались в этой нервной дрожи голоса, виделись в этом мраком скорби подернувшемся лице... И потом в начале страшного разговора с Яго он все ходил, сосредоточенный, не возвышая тона голоса, и это было ужасно... Временами только вырывались полувопли... Когда вошла опять Дездемона, — все еще дух мучительно торжествовал над кровью, — все еще хотелось бедному Мавру удержать руками свой якорь спасения, впиться в него зубами, если изменят руки... О! только тот, кто жил и страдал, поймет эту адскую минуту последних, отчаянных, неестественно напряженных усилий удержать тот мир, в котором душа прожила блаженнейшие сны! .. Ведь с верою в него расстаться тяжело, и не скоро расстанешься: даже в полуразбитой вере еще будет слышаться глубокая, страстная нежность... Она-то, эта нежность, но соединенная с жалобным, беспредельно грустным выражением прорвалась в тихо сказанном «Andiamo!» (Пойдем!) — и от этого тихого слова застонала и заревела масса партера, а Иван Иванович судорожно сжал мою руку. Я взглянул на него. В лице у него не было ни кровинки...

— Он, он! .. — шепнул мой приятель с лихорадочным выражением.

— Кто он? ..

— Мочалов! ..

Да это точно был *он*, наш незаменимый, он в самые блестящие минуты... Мне сдавалось, что сам пол дрожал нервически под шагами Сальвини, как некогда под шагами Мочалова.

Мы ждали его снова, слушая, впрочем, Яго и Эмилию... ибо таково свойство артистической игры, что она вводит человека во всю драму, как в нечто живое.

Когда он явился с словами: «Ahi! donna infida...»,* это был уже другой человек. Процесс совершился в душе... яд вошел в нее... и что было в этой сцене с Яго, — как от стонов разбитого сердца и мрачной сосредоточенности перешел он к тому воплю и прыжку разъяренного тигра, с которыми душит он Яго, как все усиливались и усиливались эти ярые вопли, этот звериный рев, — этого словом передать нельзя. Все в театре приковалось взорами к актеру... все следило за ним жадно, не переводя

---

* «О! она изменила...» *(итал.)*.

дыхания... Он мучил нас по всей своей воле, не давая отдыху, — до той минуты, когда они с Яго упали на колена, произнося клятву. И как они упали на колени! Как естественно и вместе как итальянски-художественно!.. Всюду была *красота* страсти и страдания — то идеальное преображение, которое, бывало, из малорослого Мочалова делало какой-то гигантский призрак.

После этой сцены можно было актеру *упасть* и он все-таки остался бы высоким актером, — но гениальные натуры создают роль цельно... И в сцене с Дездемоной, в ласкании ее руки, волшебник нашел в своей натуре средства терзать сердца зрителей. Что это было такое? наполовину человек, глубоко разбитый, наполовину тигр, притаивающий тщетно свою ярость и разражающийся наконец всем неистовством в вопросах о платке... А главное — главное, что впечатление не перерывалось, что одна и та же струя пробегала по игре в течение целого акта, держала вас под таким влиянием, что порою решительно захватывалось дыхание! Что это все, одним словом, не *делалось,* не сочинялось, а рождено было одним бурным вдохновением...

Мы вышли какие-то отуманенные... Иван Иванович не пошел даже в буфет — и мы ходили с ним по коридору, ни на кого не смотря, никого не замечая и даже не передавая друг другу своих впечатлений... Что тут комментировать... Дело было совершенно ясное и простое. Волканическая натура, в соединении с высокой артистичностью, может делать чудеса — и такое чудо пронеслось перед нами, обвеяло нас каким-то знойным и бурным дыханием. В голове бывает, коли вы хотите, какой-то чад в подобные минуты, но то, что видится сквозь этот чад, право, дороже многого, видимого в обыкновенном расположении нашем... Странно! но ходя я думал уже не о Сальвини, я думал о Шекспире... и, между прочим, вот какой вопрос пришел мне в голову: отчего я сто раз пойду смотреть эту беспощаднейшую и мучительнейшую его драму, сто раз готов выстрадать всю эту адскую последовательность мук Отелло, последовательность, в которой ни одного шага, даже полушага не опущено, — и отчего я положительно не могу выносить французских драм с их выставлением наружу всевозможных язв. Т. е. не то чтобы только в художественном отношении они были мне противны: нет, они меня мучат невыносимо — мне просто нехорошо, неловко, болезненно, как в разных водевилях, например, мне также просто непосредственно делается *стыдно.*

Когда я сообщил мой вопрос Ивану Ивановичу, он отвечал, что сам то же испытывал и испытывает, но что причины предоставляет разыскивать мне самому, а теперь бы оставил я его в покое. Глаза у моего приятеля становились из обычно-усталых какими-то дикими, руки у него горели.

А я продолжал все-таки анализировать — такая уж проклятая привычка образовалась. Я попал на свою заветнейшую думу об *идеализме и натурализме* в искусстве.[61] Конечно уж французские драмы, не принадлежащие даже к области натурализма, а составляющие простой рыноч-

ный продукт, сменились другими, более серьезными вещами — в голове сопоставлялись «Записки сумасшедшего» Гоголя и в контраст им «Дневник г. Голядкина» [62] — «голова Медузы» Леонардо да Винчи и «голова Медузы» же Караваджио... Во всяком случае, я уже успел себя успокоить, но на моего Ивана Ивановича было почти так же страшно смотреть, как на Сальвини: губы его подергивались уже совсем судорожно, и он начал даже запускать правую руку в волосы...

Вообще это все отзывалось мочаловским представлением, — первыми порами «Гамлета» — увлечениями, которые я считал уже совершенно невозвратными, — увлечениями, может быть дорогими более настоящих, потому что они волновали нас под суровым, зимним небом, в трескучие морозы... Все человеческое уже исчезло в Отелло в IV акте: походка тигра или барса, судорожные движения; глаза, налившиеся кровью, сухие и разбитые тоны в голосе — вот что заменило прежнее благородство, прежнее величие, прежнюю страстную нежность... Но и тут соблюдена была удивительная психологическая последовательность. Не с самого начала акта явился таким великий артист... Когда он вошел — видно было только, что прежний человек в нем разрушился; на физиономии его, судорожно подергивавшейся, обозначались следы таких мук, которые поистине могут назваться *нездешними* и после которых душа, кажется, должна уничтожиться... Но когда Яго довел разговор до своего адского и цинического рассказа, тогда можно было убедиться, что есть муки еще злее, еще ядовитее виденных. Сальвини не повалился тут на пол в судорогах, как делают это другие трагики, как делал — и иногда удивительно делал Мочалов, — он только схватился руками за стол и припал к нему грудью с диким ужасным воплем, в котором слышались и физическая боль ломающегося сердца, и рев кровожадного тигра, и вой голодного шакала, и вместе с этим стон человека. Затем — человек обратился в зверя — и опять с массою зрителей сделалось то же, что было в третьем акте, т. е. до самого конца четвертого акта волшебник держал нас под своим влиянием, не давал ни на минуту анализировать себя, потому что сам не отдыхал ни на минуту. Только и можно было остановиться, вздохнуть после минуты, когда он бьет Дездемону ...

Мы опять не рассуждали и не хотели рассуждать во время антракта. Я заметил только, что напрасно выпущено лицо любовницы Кассио, Бьянки, на что Иван Иванович отвечал, что это сделано, вероятно, во имя местной нравственности...

Пятый акт был начат сценою песни об иве. Такова уж поэзия этой глубоко меланхолической сцены, что в ней преобразилась и наша Дездемона... У нее как-то смягчились резкие горловые акценты и подернулись северным туманом грусти яркие черты лица... Дездемона отпустила Эмилию и легла. Сказать, что мы *ждали* появления Отелло, было бы в высшей степени неверно. Шекспировская трагедия и Сальвини захватывали под свою власть душу как настоящая правда жизни... Ждать того или другого лица можно только тогда, когда представлению не подчиняешься, а мы, да и вся масса, подчинились тут ходу драмы.

Я и забыл сказать, что пестрая толпа, наполнявшая партер, преследовала уходящего в четвертом акте Яго энергическими, хотя шепотом произносимыми восклицаниями: Scelerato!! Bestia!!*

Теперь только, когда я описываю впечатления, приходит мне в голову вопрос: прерывалось ли у трагика во время антракта его нервное настройство и, припоминая покойного Мочалова, который во время антрактов мрачно и молча сидел или ходил один, вдали от всех, с судорожными движениями, — думаю, что нет...

Перервавши, хотя и на минуту, душевный процесс — пусть это процесс и воображаемый и представляемый, — нельзя было войти таким, каким вошел Сальвини. В театре опять настала мертвая тишина...

Видно было ясно, что яд уже окончательно совершил свою работу над душою Отелло... Искаженный, измученный, разбитый и вместе неумолимый, подошел он к постели тихой походкою тигра и остановился. Опять страсть обманутая, но безумная страсть прорвалась какими-то жалобными, дребезжащими тонами. Все тут было — и язвительные воспоминания многих блаженных ночей, и сладострастие африканца, и жажда мщения, жажда крови... Одну из этих сторон душевного настройства выразить нетрудно, но выразить их все, выразить то, что Шекспир сам хотел сказать последним поцелуем, который дает Отелло своей Дездемоне, — для этого надобно быть гением...

Странная, непостижимая вещь природа гениального артиста — странное, непостижимое слияние постоянного огненного вдохновения с *расчетливым* уменьем не пропустить ни одного полутона, полуштриха... Как это дается и давалось натурам, подобным Сальвини и Мочалову, — проникнуть мудрено. Думаю только, что это дается только постоянством вдохновения, целостным, полным душевным слиянием с жизнию представляемого лица, — вырабатывается долгою думою, но не придумывается, ибо дума поэта или артиста есть нечто вроде физиологического процесса, — и наконец захватывает всего человека!.. Слово: «расчетливое уменье» употребляю я только за недостатком другого. В такой игре расчета — в смысле составления физиономии перед зеркалом, придумывания и заучения интонаций — быть не может, но и вдохновением назвать этого нельзя, в том смысле вдохновением, на основании которого ревут, беснуются и ярятся, как буйволы, обыкновенные трагики...

Обо всем пятом акте после первого представления только и можно было сказать, что это все было — правда и что эта правда захватывала у зрителей дыхание до той самой минуты, когда Отелло рассказал о том, «как собака турок осмелился бить христианина, как он схватил его за горло и зарезал... Così!» (так!) — перехватил себе мечом горло и, захрипев смертельным стоном, потянулся, шатаясь, к постели Дездемоны...

Ни восторгаться отдельными моментами, ни анализировать — в первое представление было положительно нельзя.

---

* Злодей!! Животное!! *(итал.)*.

Можете ли вы, в первый раз слушая какой-либо квартет Бетховена или Шумана, восхищаться отдельными ходами? Нет — потому что вас покоряет целость непрерывного впечатления...

Истинно артистическая игра та же музыка! В ней постоянно ведется один ход, и он-то спаивает, сплачивает впечатления.

И потому ничего не анализировали мы с Иваном Ивановичем в эту ночь, сидя в кафе «Piccolo Helvetico» на площади собора. Иван Иванович мрачно и беспощадно пил коньяк, а я смотрел в окно кофейной на чудную весеннюю, свежодышавшую ночь да на мою любимицу, колокольню Duomo — эту разубранную инкрустациями, но не отягощенную ими, стройную, легкую и высокую ростом красавицу! И одно только я знал и чувствовал, что хорошо, по словам нашего божественного поэта, «упиться гармонией и облиться слезами над вымыслом».[63] Когда я сказал эти стихи, Иван Иванович перервал меня и с каким-то рыданием докончил:

И может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной!.. —

потом с бешенством ударил кулаком по столу.

Я хотел было сказать ему, что Александр Македонский, конечно, герой...[64] но удержался, — мне стало жаль его, последнего романтика, добросовестно и постоянно вносившего в личную жизнь поэтические впечатления и жертвовавшего им всем, что зовется в жизни положительным; я только спросил его: — Иван Иванович — отчего вы, переживший, перечувствовавший много, не напишете о «трагическом в искусстве и жизни». Вы ведь сами на этом коньке ездили — и можете сообщить много интересных наблюдений!

— Нет, уж пишите лучше вы, — отвечал он с горькою улыбкою и подымаясь с места. — Вы забываете, — добавил он, взявши фуражку, — что ведь это — тема, не дописанная тургеневским Рудиным! [65] — а мне прозвище Рудина, которое я имел честь получать не раз от двух женщин, надоело до смерти!

— Вы, мой милый, — заметил я, выходя с ним на площадь, — наполовину Рудин и наполовину Веретьев,[66] коли уж дело пошло на тургеневских героев, и в этом-то ваша оригинальность!



ДОПОЛНЕНИЯ

ПИСЬМО К ОТЦУ ОТ 23 ИЮЛЯ 1846 г.

Дражайший папинька.

Свидание с добрым Ксенофонтом Тимофеичем,[1] который привез мне вести о Вас и от Вас, убедило меня в той крайне грустной истине, что Вы не хотите понять меня, не хотите потому, что не решаетесь выслушать меня серьезно, что слишком легко смотрите на многое, что я уже несколько раз Вам высказывал. Простите меня... но это так!

Ксенофонт Тимофеич, как и Вы же, вовсе не способен к наставительной роли, но между тем из немногих его слов я мог заключить, что Вы меня любите по-прежнему — и между тем обвиняете.

Не оправдывать себя я хочу — ибо, право, я сам сознаю вполне, что виноват перед Вами, — но ради бога выслушайте же меня серьезнее:

I. Связь моя с Милановским[2] действительно слишком много повредила мне в материальном отношении, но вовсе уже не была же так чудовищна, как благовестит об этом Москва на основании слов Калайдовича и тому подобных господ. Лучшее доказательство — что *многие* и слишком даже *многие* порядочные люди состоят со мною в отношениях вполне дружественных. Москва, как это мне известно из одного письма Погодина, рассказывала, что я — *пью горькую* и что у меня — *раны на голове*, а между тем — я здоров и жив и трезв по обыкновению. Тяжело мне расплачиваться за эту связь только материально, ибо, как я писал Вам с Дмитрием Калошиным, я взял на себя (давно еще) долг этого мерзавца. Но — бог милостив, авось я стрясу с шеи печальные последствия неосторожной доверчивости. Одно, за что я обвиняю себя вполне, это то, что Вы уехали, не простясь со мною, но, во-первых, вспомните мое фанатическое тогдашнее ослепление, а во-вторых, я от души просил Вас простить меня за это. Дело-то в том, что, запутанный этим гнусным человеком, я и не мог тогда поступить иначе. Связь же моя с ним и ослепление зависели слишком много от моей болезненной расстроенности. Ксенофонт Тимофеич узнал меня вскоре после моего приезда в Петербург, и он может засвидетельствовать, что мое нравственное состояние было слишком грустно. Да и Вы сами, немного посерьезнее взглянувши на мой несчастный характер, поймете, что я чересчур способен к отчаянью, не только уж к тоске и хандре: тосковать и хандрить я начал, право, чуть ли не с 14 лет. Вы скажете, может быть, что это — *блажь*;

положим, но во всяком случае это болезнь. Я уехал... т. е., я хотел сказать, бежал из Москвы — уж конечно не от долгов, которые все-таки не превышали годового оклада моего жалованья, и не от расстройства служебных дел, которое было бы очень легко поправить: нет! здесь были другие причины, разумеется, — и вот они: 1) Мне стало несносно — простите за прямоту и наготу выражений — мне стало несносно жить *ребенком* (вспомните только утренние головочесания, посылания за мною по вечерам к Крыловым Ванек, Иванов и сцены за лишний высиженный час), мне стало *гадко* притворствовать перед разным людом и уверять, что я занимаюсь разными *правами*, когда пишу стихи, мне стало *постыдно* выносить чьи бы то ни было наставления. Все терзало меня, все — даже Вы, даже Вы, которого мне так жарко хотелось любить. Мне не забыть одной, по-видимому мелочной сцены: ко мне пришел Кавелин, человек, с которым я хотел быть по крайней мере — *равным*; мы сошли с ним в залу. Вы вышли и стали *благодарить* его за знакомство со мною. О господи! верите ли Вы, что и теперь даже, при воспоминании об этом, мне делается тяжело; спросите у дяди,[3] какое впечатление это на меня сделало. Ясно, что это происходило от любви Вашей ко мне, но зачем же Вы не щадили моей раздражительной гордости? 2) Любопытно бы мне знать тоже, как Вы смотрели и смотрите на мою страсть к А‹нтонин›е Корш, на мою первую и, может быть, единственную страсть. И я, и она, мы оба были равны летами, общественным положением, даже состоянием; столько же, как и какой-нибудь Константин Дмитриевич Кавелин, имел бы я право *надеяться*. А у меня не было *надежд*; ребенок, которому чесали головку, я, однако, был столько благороден, чтобы отречься от всяких надежд. Да и на что мне было надеяться? Кавелин, правда, не был выше меня ни положением, ни даже состоянием, но он был *почти* свободен — а я?.. Вы не виноваты в этом: виновата судьба, но тем не менее мои лучшие, мои благороднейшие впечатления были отравлены... И что же вышло из этого? Хотя бы в жертву Вашему счастью мог я принести свое счастье! но мог ли я? посудите сами. Я бледнел и худел ежеминутно, — я, как сумасшедший, метался по постели, возвращаясь оттуда, при мысли, что она будет женою другого... но я бы скорее вырвал себе язык, чем позволил бы себе сказать хоть одно слово ей, хоть одно слово Вам... Боже мой! и теперь, когда я пишу к Вам это письмо, когда я подымаю со дна души всю осевшую давно желчь, — и теперь я плачу, как ребенок. Скверно, смешно, а это так, и пусть мой ропот — горькое проклятие на так называемое Провидение, я не боюсь гнева этого Провидения, я ему не молюсь, я его проклинаю потому, что оно ровно ничего для меня не сделало. Простите меня, может быть, я оскорбляю Вас этим богохульством, но дайте мне хоть один раз говорить с Вами как с человеком. Душа моя больна, больна до сих пор... ни в безумствах разврата, ни в любви женщин, которых я напрасно пытался любить, мне не удалось найти забвения... И Вы, будете ли Вы в состоянии, как человек, как отец, винить меня за этот разврат? Человеку, у которого *отравлена* жизнь, остается только ловить минуты. Что мне в моем будущем, в моей

известности, в моей, может быть, будущей славе?.. Не знаю — любила ли меня эта женщина, говорю искренно, не знаю, ибо я слишком глубоко и свято любил ее, чтобы говорить о своей любви... но если я живу до сих пор, если из меня что-нибудь будет, виною этому мысль о ней. Для нее — я хотел быть *выше* многих и *равным* со всеми. Этой цели я достигаю. Голова ее мужа склоняется перед многими — моя голова ни перед кем не преклоняется.

Страшным безумством покажутся Вам эти строки, но они пояснят Вам, от чего я бежал из Москвы и отчего я не могу приехать в Москву. Да не будут они Вам упреком — нет: Вы меня любили, за что же я буду упрекать Вас? нет, пусть они заставят Вас только пожалеть немного о Вашем бедном сыне, лишенном даже возможности верить во что-нибудь.

Да и во что верить?.. О! если бы я мог возвратить веру в Вас, если бы Вы могли возвратить веру в меня... Но долго, долго ждать этого возврата — надо мною отяготели следствия моих неосторожных глупостей и когда-то еще я отстраню эти следствия! — в душе — жажда привязанности, жажда спасения, а кругом все так пусто и, с позволения сказать, *подло*. Да — *подло*! Я, например, имел пошлую глупость привязаться к старому дураку Варламову и еще горшую глупость отказаться от весьма здорового и дешевого *удовольствия*, и за это меня сделали извергом,[4] чуть не *каторжником*, и разные добрые люди, вроде Межевича, при явной невозможности поверить даже сплетням, от меня отступились. Фуй! как же как не подлостью прикажете называть эти вещи!

А Вы, которому я хотел бы, в замену бога, передавать все, Вы также смеялись над моим *рыцарством*.

Все это, со включением того, что вещи, достающиеся потом и кровью, нужно иногда продавать за 10 целковых, — удивительно весело и удивительно способно наполнить душу *верою*!.. Я один, совершенно один, ибо не могу же считать привязанностями привычку видеться со многими порядочными и благородными людьми: с какою бы радостью полетел бы я теперь к Вам с тем, чтобы посвятить Вам одним мою жизнь... но это невозможно. В Москве ждет меня одно: *унижение* — и лучше самоубийство, чем унижение в глазах единственной женщины, которую любил я искренно... О, поймите это — и простите меня.

Я хотел оставить Петербург, потому что был взбешен *подлостью* всего меня окружающего, но это не сбылось — и прекрасно! Я нашел круг людей, равных себе, немного холодных, может быть, но независимых и свободных, как я. Пусть нет у меня в тяжелые минуты жизни ни одного сердца, которому мне не стыдно было бы высказаться, — видно уж, суждено пить эту чашу одинокой, безрадостной жизни.

Простите же меня, папинька, и лучше пожалейте обо мне, ибо только Вашего сожаления не буду я стыдиться. Верьте, что тяжел, иногда не по плечам тяжел крест моей жизни.

Целую руки Ваши и руки маменьки — благословите меня!

1846 года.
Июля 23.

ПИСЬМО К М. П. ПОГОДИНУ ОТ 26 АВГУСТА—7 ОКТЯБРЯ 1859 г.

Авг<уста> 26 <1859 г.>. Полюстрово.[1]

Не имея покамест никаких *обязательных* статей под руками, я намерен изложить вам кратко, но с возможной полностью, все, что случилось со мной внутренне и внешне с тех пор, как я не писал к вам из-за границы. Это будет моя исповедь — без малейшей утайки.

Последнее письмо из-за границы я написал вам, кажется, по возвращении из Рима.[2] Кушелев дал мне на Рим и на проч. 1 100 пиастров, т. е. на наши деньги 1 500 р. Из них я половину отослал в Москву, обеспечив таким образом, на несколько месяцев, свою семью, да 400 пошло на уплату долгов; остальные промотаны были в весьма короткое время безобразнейшим, но благороднейшим образом, на гравюры, фотографии, книги, театры и проч. Жизнь я все еще вел самую целомудренную и трезвенную, хотя целомудрие мне было физически страшно вредно — при моем темпераменте жеребца: кончилось тем, что я равнодушно не мог уже видеть даже моей прислужницы квартирной, с<ин>ьоры Линды, хоть она была и грязна, и нехороша. *Теоретическое* православие простиралось во мне до соблюдения всяких постов и проч. Внутри меня, собственно, жило уже другое — и какими софизмами это другое согласовалось в голове с обрядовой религиозностью — понять весьма трудно простому смыслу, но очень легко — смыслу, искушенному всякими доктринами. В разговорах с замечательно восприимчивым субъектом, флорентийским попом,[3] и с одной благородной, серьезной женщиной [4] — диалектика увлекла меня в дерзкую последовательность мысли, в сомнение, к которому из 747 ½ расколов православия (у comptant* и раскол официальный) принадлежу я убеждением: оказывалось ясно как день, что под православием разумею я сам для себя просто известное, стихийно-историческое начало, которому суждено еще жить и дать новые формы жизни, искусства, в противуположность другому, уже отжившему и давшему свой мир, свой цвет началу — католицизму. Что это начало, на почве славянства,

---

* считая *(франц.)*.

и преимущественно великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата — должно обновить мир, — вот что стало для меня уже не смутным, а простым верованием — перед которым верования официальной церкви иже о Христе жандармствующих стали мне положительно скверны (тем более, что у меня вертится перед глазами такой милый экземпляр их, как Бецкий,[5] — этот пакостный экстракт холопствующей, шпионничающей и надувающей церкви), — верования же социалистов, которых живой же экземпляр судьба мне послала в лице благороднейшего, возвышенного старого ребенка изгнанника Демостена Оливье, — ребяческими и теоретически жалкими. Шеллингизм (старый и новый, он ведь все — один) проникал меня глубже и глубже — бессистемный и беспредельный, ибо он — жизнь, а не теория.

Читали вы, разумеется, брошюру нашего великого софиста: «Derniers mots d'un chrétien ortodoxe»...*[6] Она, кстати, попалась тогда мне в руки, и я *уразумел*, как он себя и других надувает, наш милейший, умнейший софист! Идея Христа и понимание Библии, раздвигающиеся, расширяющиеся с расширением сознания *общины, соборне*, в противуположность омертвению идеи Христа и остановке понимания Библии в католичестве и в противуположность раздроблению Христа на личности и произвольно-личному толкованию Библии в протестантизме — таков широкий смысл малой по объему и великой по содержанию брошюрки, если освободить этот смысл из-под спуда византийских хитросплетений.

Духовный отец мой, флорентийский священник, увлекаемый своим впечатлительным сердцем к *лжемудрию* о свободе и отталкиваемый им же от *мудрости* Бецкого, ходил все ко мне за разрешением мучительных вопросов, и я *воочью* видел, сколь нетрудно снискать ореолу православия.

Внешние дела обстояли благополучно. Старуха Трубецкая,[7] как истый тип итальянки, как только узнала, что у меня есть деньги, — стала премилая. Князек[8] любил меня, насколько может любить себялюбивая натура артиста-аристократа. Милая и истинно добрая Настасья Юрьевна,[9] купно с ее женихом,[10] были моими искренними друзьями. Готовились к отъезду в Париж. А я уже успел полюбить страстно и всей душою Италию — хоть часто мучился каинскою тоской одиночества и любви к родине. Да, были вечера и часто — такой тоски, которая истинно похожа на проклятие каинское; прибавьте к этому — печальные семейные известия и глубокую, непроходившую, неотвязную тоску по единственной путной женщине,[11] которую поздно, к сожалению, встретил я в жизни, страсть воспоминания, коли хотите, — но страсть семилетнюю, закоренившуюся, с которой слилась память о лучшей, о самой светлой и самой благородной поре жизни и деятельности... Дальше: мысль о безвыходности положения, отсутствии будущего и проч. В возрождение «Москвитянина» я не верил, кушелевский журнал я сразу же понял как прихоть знатного барчонка... Впереди — ничего, назади — едкие воспоминания, в настоящем — одно артистическое упоение, один

---

* «Последнее слово православного христианина» *(франц.)*.

дилетантизм жизни. Баста! Я закрыл глаза на прошедшее и будущее и отдался настоящему...

Между мной и моим учеником образовывалось отношение весьма тонкое. Совсем человеком я сделать его не мог — для этого нужно было бы отнять у него его девять тысяч душ, но понимание его я *развил*, вопреки мистеру Беллю, ничего в мире так не боявшемуся, как понимания, вопреки Бецкому, ненавидевшему понимание, вопреки Терезе, которая вела *свою* политику... Я знал, к чему идет дело, — знал наперед, что возврата в Россию и университета *не будет*,[12] что она свои дела обделает. Воспитанник мой меня часто завлекал своей артистической натурой: он сразу — верно и жарко понял «Одиссею», он критически относился к Шиллеру, что мне и нравилось и не нравилось — ибо тут был и верный такт художника, но вместе и подлое себялюбие аристократа, холодность маленького Печорина. Страстность развивалась в нем ужасно — и я не без оснований опасался онанизма, о чем тонко, но ясно давал знать княгине Терезе. Тут она являлась истинно умной и простой, здравой женщиной. Вообще я с ней примирился как с типом цельным, здоровым, самобытным. Она тоже видела, что я не худа желаю, и только уже шутила над моей безалаберностью.

Рука устала писать, да и уже два часа ночи. Кончаю на сегодня...

Сент‹ября› 19. Петербург.

Принимаюсь продолжать — почти через месяц, — ибо все это время истинно минуты свободной, т. е. такой, в которую можно сосредоточиться, не было.

Море было удивительное во все время нашего плавания от Ливорно до Генуи и от Генуи до Марселя... Я к морю вообще пристрастился, начиная еще с пребывания в Ливорно. В Генуе дохнуло уже воздухом свободы. Портреты Мадзини и Гарибальди в трактире немало изумили меня и порадовали... Во Флоренции — я в *одном* отношении как будто не покидал отечества. Наш генерал Лазарев-Станишников, или, как прозвал я его, — Штанишников, был совершенно прав, избравши Флоренцию местом успокоения от своих геройских подвигов: он мог дышать воздухом герцогской передней и в Светлый день [13] проходить по Duomo [14] во время обедни строем солдат в своих красных штанах и во всех регалиях...

Второй раз увидал я красавицу Genova * — но с той разницей, что в первый раз [15] я видел ее как свинья — а в этот с упоением артиста, — бегая по ней целый день, высуня язык, отыскивал сокровищ по ее галереям. В своих розысках я держался всегда одной методы: никогда не брать с собой указателей, стало быть, отдаваться собственному чутью... Ну да не об этом покамест речь.

Я вам не путешествие свое рассказываю, а историю своего нравственного процесса.

---

* Генуя *(итал.)*.

Стало быть, прямо в Париж.

Приехал я, разумеется, *налегке*, т. е. с одним червонцем, и поселился сначала в 5 этаже Hôtel du Maroc (rue de Seine), за 25 франков в месяц. И прекрасно бы там и прожить было... Не стану описывать вам, как я бегал по Парижу, как я *очаровал* доброго, но слабоумного Николая Ив‹ановича› Трубецкого [16] и его больше начитанную, чем умную половину,[17] как вообще тут меня носили на руках...

На беду, в одну из обеден встречаю я в церкви известного вам (но *достаточно* ли известного?) Максима Афанасьева...[18] Я было прекратил с ним и переписку и сношение по *многим* причинам — главное потому, что меня начало *претить* от его страшных теорий. Этот человек у меня, как народ (т. е. гораздо всех нас умнее), а беспутен больше, чем самый беспутный из нас. Я делал для него всегда все, что мог, даже больше чем мог, делал по принципу христианства и по принципу служения народу. Не знаю, поймете ли вы — но чего вы не поймете, когда захотите? — почему *вид* этого человека, один *вид* разбил во мне последние оплоты всяких форм. Ведь уж он в *православии*-то дока первой степени.

Ну-с! и пустились мы с ним с первого же дня во вся тяжкая! И шло такое кружение время немалое. Повторю опять, что все к этому кружению было во мне подготовлено язвами прошедшего, бесцельностью настоящего, отсутствием будущего — злобою на вас [19] и ко всем нашим, этой злобой любви глубокой и искренней.

Увы! Ведь и теперь скажу я то же... Ведь *те* [20] поддерживают своих — посмотрите-ка — Кетчеру, за честное и безобразное оранье, дом купили;[21] Евгению Коршу, который везде оказывался неспособным даже *до сего дне*,[22] — постоянно терявшему места — постоянно отыскивали места даже *до сего дне*. Ведь Солдатенкова съели бы живьем,[23] если бы Валентин Корш (бездарный, по их же признанию) с ним поссорился, *не входя в разбирательство причин*. А вот вам, кстати, *фактец* в виде письма,[24] которое дал мне Боткин, на случай его смерти. Простите эти выходки злобной грусти человеку, который служит и будет служить всегда одному направлению, зная, что в *своих*-то — он и не найдет поддержки.

Максим мне принес утешительные известия о том, как ругал меня матерно Островский за доброе желание пособить Дриянскому на счет его «Квартета», продажей этого «Квартета» Кушелеву,[25] — о том, как пьет, распутствует моя благоверная...[26]

Опять сказал я: баста! и, очертя голову, ринулся в омут.

Но если б вы знали всю адскую тяжесть мук, когда придешь, бывало, в свой одинокий номер после оргий и всяческих мерзостей. Да! Каинскую тоску одиночества я испытывал. — Чтобы заглушить ее, я жег коньяк и пил до утра, пил один, и не мог напиться. Страшные ночи! Веря в бога глубоко и пламенно, видевши его очевидное вмешательство в мою судьбу, его чудеса над собою, я привык обращаться с ним запанибрата, я — страшно вымолвить — ругался с ним, но ведь он знал, что эти стоны и ругательства — вера. Он один не покидал меня.

Как нарочно, в моем номере висела гравюра с картины Делароша, где Он изображен прощающим блудницу.

Сент‹ября› 29.

Дикую и безобразно хаотическую смесь представляли тогда мои верования... Мучимый своим неистовым темпераментом, я иногда в Лувре молил Венеру Милосскую, и чрезвычайно искренне (особенно после пьяной ночи), послать мне женщину, которая была бы жрицей, а не торговкой сладострастия... Я вам рассказываю все без утайки.

Венера ли Милосская, демон ли — но *такую* я нашел: это факт — факт точно так же, как факт то, что некогда, в 1844 году, я вызывал на распутии дьявола и получил его на другой же день на Невском проспекте в особе Милановского...[27]

Кстати замечу, что в Венере Милосской *впервые* запел для меня мрамор, как в Мадонне Мурильо во Флоренции[28] впервые ожили краски. В Риме я, в отношении к статуям, был еще слеп — изучал, смотрел, но не понимал, не любил; нечто похожее на любовь и, стало быть, на понимание пробудилось у меня там в отношении к Гладиатору[29] — но еще очень слабо.

Возвращаюсь опять к рассказу.

Время свадьбы сближало меня с Трубецкими все более и более. План старухи Терезы оставить Ивана Юрьича флорентийским князьком высказывался яснее. Кстати — старшая дочь Софья, и так уже идиотка, доведенная еще до последних степеней идиотства Бецким, — от зависти ли, от нимфомании ли — начала впадать в помешательство.

Князек давно уже ничего не делал, а только видимо изнывал томлением. Положение мое в отношении к нему было самое странное... Я, по-старому, употреблял на него часа по четыре, выносил снисходительно (даже *слишком* снисходительно) праздную болтовню, чтобы хоть на четверть часа сосредоточить его внимание на каком-либо человеческом вопросе и двинуть его мысль вперед. Положение — адски тяжелое! Сергей Петрович Геркен, муж Настасьи Юрьевны, — отличнейший малой, но истинный российский гвардеец (а впрочем, он тут был прав!), — без церемонии гнал его к девкам... Ужасные результаты гнета системы мистера Белля тут только вполне обнаружились. Вот она, эта бессердечная, холодная, резонерская система дисциплины без рассуждения, гнета без позволения возражений.

Я делал *свое* дело, дело расшевеливания, растревожения... Я делал его смело, но, может быть, тоже пускался в крайности. Впрочем, в крайности ли... Раз ездили мы в коляске по Bois de Fontainebleau[30] с его теткой.[31] Между прочим разговором — она, отчаянный демагог и атеист в юбке, спросила меня, *как* я рассказываю князьку о революции и проч. — В точности, подробности и всюду правду, — отвечал я. — И вы не боитесь? — спросила она. — Чего, княгиня? Сделать демагога из владельца девяти тысяч душ? — И я, и она, мы, разумеется, расхохотались. После

этой прогулки она объявила княгине Терезе, «que cet homme a infiniment d'ésprit, il ne tarit jamais».*

Вообще я с ними обжился и — cela va sans dire ** — занял у князя Николая Иваныча Трубецкого две тысячи франков, которым весьма скоро, как говорится, *наварил ухо.*[32]

И вот — учитель и ученик — вместе в Jardin ‹de› Mabille, в Chateau des Fleurs.[33]

Тереза это знала и только шутя говорила, что за учителем следовало бы так же иметь гувернера, как за учеником.

Тут-то она наконец объявила, что мы едем не в Россию, а назад, во Флоренцию, и предложила мне ехать тоже.

Я согласился. Я полюбил «cara Italia, solo beato»,*** как родину, а на родине не ждал ничего хорошего — как вообще ничего хорошего в будущем.

О, строгие судьи безобразий человеческих! Вы строги — потому что у вас есть определенное будущее, — вы не знаете страшной внутренней жизни русского пролетария, т. е. русского развитого человека, этой *постоянной* жизни накануне нищенства (да не собственного — это бы еще не беда!), накануне долгового отделения или третьего отделения, этой жизни каинского страха, каинской тоски, каинских угрызений!.. Положим, что я виноват в своем прошедшем, — да ведь от этого сознания вины не легче, — ведь прошедшее-то опутало руки и ноги, — ведь я в кандалах. Распутайте эти кандалы, уничтожьте следы этого прошедшего, дайте вздохнуть свободно, — и тогда, но только тогда, подвергайте строжайшей моральной ответственности.

Это не оправдание беспутств. Беспутства оплаканы, может быть, кровавыми слезами, заплачены адскими мучениями. Это вопль человека, который жаждет жить честно, по-божески, по-православному и не видит к тому никакой возможности!

Я кончаю эту часть моей исповеди таким воплем потому, что он у меня вечный. Особенно же теперь он кстати.

Я дошел до глубокого основания своей бесполезности в настоящую минуту. Я — честный рыцарь безуспешного, на время погибшего дела. *Все* соглашаются внутренне, что я прав, — и потому-то — упорно *молчат* обо мне. Те, кто упрекает меня в том, что я в своих статьях не говорю об интересах минуты, — не знают, что эти интересы минуты для меня дороги не меньше их, но что порешение вопросов *по моим* принципам — так смело и ново, что я не смею еще с неумытым рылом проводить последовательно свои мысли... За высказанную мысль надобно отвечать перед богом. Я всюду вижу повторение эпохи междуцарствия — вижу воровских людей, клевретов Сигизмунда,[34] мечтателей о Владиславе — вижу шайки атамана Хлопки (в лице Максима Аф‹анасьева›

---

* «что это человек бесконечного ума, он неиссякаем» *(франц.)*.

** само собою разумеется *(франц.)*.

*** «милую Италию, единственно блаженную» *(итал.)*.

et consortes *), — не вижу земских людей, людей порядка, разума, дела.

Брожения — опять отлетели, да и в брожениях-то я никогда не переставал быть православным по душе и по чувству, консерватором в лучшем смысле этого слова, в противуположность этим тушинцам,[35] которые через два года, не больше — огадят и опозорят название либерала! Ведь только *вы.....к* мог такою слюною бешеной собаки облевать родную мать, под именем обломовщины, и свалить все вины гражданской жизни на самодурство «Темного царства». Стеганул же *их* за первую выходку лондонский консерватор:[36] не знаю, раскусит ли он всю *прелесть* идеи статей «Темное царство»!..

Да, через два года все это надоест и огадится, все эти обличения, все эти узкие теории!.. Через два года!.. Но будем ли мы-то на что-нибудь способны через два года? Лично я за себя не отвечаю. Православный по душе, я по слабости могу кончить самоубийством.

Сент‹ября› 30.

Итак, я решился ехать в Италию — сумел заставить скупую Терезу накупить груду книг по истории, политической экономии, древней литературе, убежденный, что в промежутках блуда и светских развлечений — князек все-таки нахватается со мною образования.

Я совершенно уже начал привязываться к ним. Достаточно было Терезе по душе, как с членом семейства, поговорить о болезни Софьи Юрьевны и о прочем, чтобы я помирился с нею душевно — уже не как с типом, а как с личностью — хотя твердо все-таки решился жить в городе Флоренске на своей квартире.[37] А *чем* жить — об этом я не думал. Со всем моим безобразием я ведь всегда думал не о себе, а о своей семье, хоть, по безобразию же неисходному — часто оставлял семью ни с чем!.. Притом же я был тогда избалован тем, кого звал великим банкиром...[38]

Ветреный неисправимо — я в кругу Трубецких совершенно и притом *глупо* распустился.... Правда, что и поводов к этому было немало. Я в них поверил. В кружке Николая Ивановича — *известные* издания[39] привозились молодым князем О‹рловым›[40] и читались во всеуслышание — разумеется, с выпущением строк, касавшихся князя О‹рлова› *папеньки*. Князь Николай[41] пренаивно и пресерьезно проповедовал, que le catholicisme et la liberté ** — одно и то же, а я пренаивно *начинал* думать, что хорошая душевная влага не портится даже в гнилом сосуде католицизма. В молодом кружке молодых Геркенов я читал свои философские мечтания и наивно собирался читать всей молодежи лекции во Флоренции...

На беду, на одном обеде, на который притащили меня больного, в Пале-Рояле, у Fréres provençaux — я напился как сапожник — в аристократическом обществе... На беду ли, впрочем?

Я знал твердо — что *Тереза* этого не забудет... Тут она не показала даже виду — и другие все обратили в шутку — но я чувствовал, что — *упал*.

---

* и его соучастников *(франц.)*.
** что католицизм и свобода *(франц.)*.

Отчасти это, отчасти и другое было причиною перемены моего решения.

30-го августа нашего стиля я проснулся после страшной оргии с демагогами из наших, с отвратительным чувством во рту, с отвратительным соседством на постели цинически бесстыдной жрицы Венеры Милосской... Я вспомнил, что это 30 августа, именины Остр‹овского› — постоянная годовщина сходки людей, крепко связанных единством смутных верований, — годовщина попоек безобразных, но святых своим братским характером, духом любви, юмором, единством с жизнию народа, богослужением народу...

В Россию! раздалось у меня в ушах и в сердце!..

Вы поймете это — вы, звавший нас чадами кабаков и бл...й, но некогда любивший нас...

В Россию!.. А Трубецкие уж были на дороге к Турину и там должен я был найти их.

В мгновение ока я написал к ним письмо, что по домашним обстоятельствам и проч.

В Париже я, впрочем, проваландался еще недели две, пока добрый приятель [42] не дал денег.

[Денег стало только до Берлина. В Берлине я написал Кушелеву о высылке мне денег и там пробыл три недели, в продолжение которых Берлин мне положительно огадился.]

Окт‹ября› 6-го.

Я зачеркиваю не потому, чтобы что-либо хотел скрыть, а потому, что решаюсь развить более подробности.

Денег у меня было мало, так что со всевозможной экономией стало едва ли бы на то, чтобы доехать до отечества. С безобразием же едва стало и до Берлина. Моя надежда была на ящик с частию книг и гравюр, который, полагал я, в *ученом* городе Берлине можно заложить все-таки хоть за пятьдесят талеров какому-нибудь из книгопродавцев.

Вечера стояли холодные, и я, в моем коротеньком парижском пиджаке, сильно продрог, благополучно добравшись до города Берлина. *Теплым* я — как вы можете сами догадаться — ничем не запасся. Денег не оставалось буквально ни единого зильбергроша.

«Zum Rothen Adler, Kurstrasse!»* — крикнул я геройски вознице экипажа, нарицаемого droschky и столь же мало имеющего что-либо общее с нашими дрожками, как эластическая подушка с дерюгой... Это я говорю, впрочем, теперь, когда господь наказал уже меня за излишний патриотизм. А тогда, еще издали — дело другое, тогда мне еще

и дым отечества был сладок и приятен.[43]

Я помню, что раз, садясь с Боткиным [44] в покойные берлинские *droschky,* я пожалел об отсутствии в граде Берлине наших пролеток. Боткин пришел в ужас от такого патриотического сожаления; а я внутренно

* К отелю «Ротэр Адлер» ‹«Красный орел»›, на Курштрассе! *(нем).*

приписал этот ужас аффектированному западничеству, отнес к категории *сделанного*[45] в их души. Дали же знать мне себя *первые* пролетки, тащившие меня от милой таможни до Гончарной улицы,[46] и вообще давали знать себя целую зиму как Немезида — петербургские пролетки, которые, по верному замечанию Островского, самим небом устроены так, что на них вдвоем можно ездить только с блудницами, *обнямшись*, — пролетки, так сказать, *буколические*.

Zum Rothen Adler! — велел я везти себя потому, что там мы с Бахметевым[47] останавливались en grands seigneurs * — вследствие чего, т. е. вследствие нашего грансеньорства, и взыскали с нас за какой-то чайник из польского серебра, за так называемую Thee-maschine, который мы, заговорившись по русской беспечности, допустили растопиться — *двадцать пять* талеров. Там можно было, значит, без особых неприятностей велеть расплатиться с извозчиком.

Так и вышло. «Rother Adler», несмотря на мой легкий костюм, принял меня с большим почетом, узнавши сразу одну из русских ворон.

Через пять минут я сидел в чистой, теплой, уютной комнате. Передо мной была Thee-maschine (должно быть, та же, только в исправленном издании) — а через десять минут я затягивался с наслаждением, азартом, неистовством русской спиглазовской крепкой папироской. Враг всякого комфорта, я только и понимаю комфорт в чаю и в табаке (т. е., если слушать во всем глубоко чтимого мною отца Парфения, — в самом-то диавольском наваждении[48]).

Никогда не был я так похож на тургеневского Рудина (в эпилоге), как тут. Разбитый, без средств, без цели, без завтра. Одно только — что в душе у меня была глубокая вера в Промысл, в то, что есть еще много впереди. А чего?.. Этого я и сам не знал. По-настоящему, ничего не было. На родину ведь я являлся *бесполезным* человеком — с развитым чувством изящного, с оригинальным, но несколько капризно-оригинальным взглядом на искусство, — с общественными идеалами прежними, т. е. хоть и более выясненными, но рановременными и, во всяком случае, несвоевременными, — с глубоким православным чувством и с страшным скептицизмом в нравственных понятиях, с распущенностью и с неутомимою жаждою жизни!..

Окт‹ября› 7.

Писать эту исповедь сделалось для меня какою-то горькою отрадою. Продолжаю.

В *ученом* городе Берлине *либеральный* книгопродавец Шнейдер дал мне — ни дать, ни взять, как бы сделал какой-нибудь Матюшин на Щукином дворе[49] —только двадцать талеров под вещи, стоящие вчетверо более.

С двадцатью талерами недалеко уедешь, а ведь кое-как надо было прожить от вторника до субботы,[50] т. е. до дня отправления Черного[51] ‹...›

* важными господами *(франц.)*.



КРАТКИЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК НА ПАМЯТЬ МОИМ СТАРЫМ И НОВЫМ ДРУЗЬЯМ

В 1844 году я приехал в Петербург, весь под веяниями той эпохи, и начал печатать напряженнейшие стихотворения, которые, однако, очень интересовали Белинского, чем ерундистее были.

В 1845 году они изданы книжкою. Отзыв Белинского.[1]

В 1846 г. я редактировал «Пантеон» и — со всем увлечением и азартом городил в стихах и повестях ерундищу непроходимую. Но за то свою — не кружка.

В 1847 году поэтому за первый свой честный труд, за «Антигону», я был обруган Белинским[2] хуже всякого школьника.

Я уехал в Москву — и там нес азарт в «Городском листке» — но опять-таки свой азарт — и был руган.

Вышла странная книга Гоголя,[3] и рука у меня не поднялась на странную книгу, проповедовавшую, что «с словом надо обращаться честно».

Вышла моя статья в «Листке», и я был оплеван буквально [подлецом] именем *подлеца,* Герценом и его кружком.

В 1848 и 1849 году я предпочел заниматься, пока можно было, в поте лица — работой переводов в «Московских ведомостях».[4]

В 1850 году — послал, не надеясь, что она будет принята, — статью о Фете.[5] Приняли. Я стал писать туда летопись московского театра. Не надолго. Не переварилась.

Явился Островский и около него как центра — кружок, в котором *нашлись* все мои, дотоле смутные верования. С 1851 по 1854 включительно — энергия деятельности[6] — и ругань на меня неимоверная, до пены у рту. В эту же эпоху писались известные стихотворения,[7] во всяком случае, замечательные искренностью чувства.

«Москвитянин» падал от адской скупости редактора.[8] «Современник» начал заискивать [меня] Островского — и как привесок — меня, думая, что поладим. Факты. Наехали в Москву Дружинин и Панаев. Боткин (дотоле враг, оттоле приятель) свел меня с ними.

С 1853 по 1856, разумеется урывками, переводился «Сон».[9] Летом 1856 года я *запродал* его Дружинину за 450 р.

Летом же написана одна из серьезнейших статей моих — «Об искренности в искусстве», в «Беседе».[10] Молчание.

Вдруг совсем неожиданно я явился в «Современнике» с прозвищем «проницательнейшего из наших критиков».

В 1857 году выдался случай ехать за границу. Там я ничего не писал, а только думал. Результатом думы были статьи «Русского слова» в 1859.

Возврат вообще был блистательный. Сейчас же готовились выдать патент на звание обер-критика. Некрасов купил у меня разом 1) «Venezia la bella», 2) «Паризину» Байрона и 3) «Сон» в его будущее издание Шекспира.

В мое отсутствие вышли только — 1) мои стихотворения лучшей, москвитянинской эпохи жизни [11] — у Старчевского в «Сыне», 2) статьи о критике в «Библиотеке» [12] (mention honorable * с готовым патентом на обер-критика) и «Сон».

При статьях «Русского слова»[13] — вот как: цензор Гончаров сам занес мне первую,[14] с адмирациями.[15] При последующих — град насмешек Добролюбова,[16] взрыв ослиного хохота в «Искре» [17] и проч.

Немало меня удивили потом братья Достоевские, Страхов, Аверкиев мнением о них — и особенно Ильин,[18] катающий из них наизусть целые тирады.

А мысли-то мои прежние, москвитянинские — вообще все как-то получили право гражданства.

В июле 1859 в отъезд графа Кушелева — я не позволил г. Хмельницкому вымарать в моих статьях дорогие мне имена Хомякова, Киреевских, Аксаковых, Погодина, Шевырева. Я был уволен от критики. Факт.

Негде было писать — стал писать в «Русском мире».[19] Не сошлись. У Старчевского [20] не сошлись.

В 1860 году — я получил приглашение и вызов.[21] Я поехал на свидание и привез ответ на дикий вздор Дудышкина [22] «Пушкин — народный поэт». Читал Каткову — очень нравилось. Отправился в Москву через месяц в качестве критика. Статей моих не печатали,[23] а заставляли меня делать какие-то недоступные для меня выписки о воскресных школах и читать рукописи, не печатая, впрочем, ни одной из мною одобренных (между прочим, «Ярмарочных сцен» Левитова) [24] и печатая ..евины Раисы Гарднер [25] — обруганные мною по-матерну. Зачем меня приняли? Бог единый ведает... За тем должно быть, чтобы после заявлять, что я стащил у них со стола гривенник.[26] Факты.

Опять в Петербург. Начало «Времени»... Хорошее время и время *недурных* моих статей. Но с четвертой покойнику М. М. ‹Достоевскому› — стало как-то *жутко* частое употребление имен (ныне беспрестанно повторяемых у нас) Хом‹якова› и проч.

Вижу, что и тут дело плохо. В Оренбург.

Воротился. Опять статьи во «Времени»... Дурак Плещеев — писал, между прочим, Михайлу Михайловичу [27] по поводу статей о Толстом,[28]

---

* почетная награда *(франц.)*.

что «в статьях Григорьева найдешь всегда много поучительного». Еще бы — для него-то, бабьей сопли! Получше люди находили — да еще тирады, как Ильин, наизусть катали!

Недурное тоже время! Ярые статьи о театре[29] — культ Островскому и смелые упреки Гоголю за многое[30] — бесцензурно и беспошлинно.

Нецеремонно перенес три больших места из старых статей в новые, не находя нужным этих мест переделывать. Опять ‹обвинен› «в похищении гривенника» возрадовавшимися этому нашими врагами,[31] и обвинен в неизвинительной распущенности друзьями, забывшими — что целый год зеленого «Наблюдателя» — статьями целиком, как о Полежаеве, переносил в «Записки» Белинский.[32]

Запрет «Времени».[33] Горячие статьи в «Якоре».

Опять «Эпоха». Опять я с теми же культами — теми же достоинствами и недостатками. Цензура!

Ну — и что ж делать?.. Видно, и с «Эпохой», как критику, а не как другу конечно и не как писателю — приходится расставаться... Тем более... но пора кончить.

1864 года. Сентября 2.

Писано сие конечно не для возбуждения жалости к моей особе ненужного человека, а для показания, что особа сия всегда, — как в те дни, когда верные 50 рублей Краевского за лист меняла на неверные 15 рублей за лист «Москвитянина», — пребывала фанатически преданною своим самодурным убеждениям.

А. А. Фет

РАННИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

‹ОТРЫВКИ›

До самого экзамена я продолжал брать уроки истории по тетрадкам Беляева «хромбеса»,[1] который постоянно говорил мне о приготовляемом им в университет изумительном ученике Аполлоне Григорьеве. «Какая память, какое прилежание! — говорил он, — не могу нахвалиться. Если, бог даст, поступите оба в университет, сведу вас непременно». ‹...›

Познакомившись в университете, по совету Ив. Дм. Беляева, с одутловатым, сероглазым и светло-русым Григорьевым, я однажды решился поехать к нему в дом, прося его представить меня своим родителям.

Дом Григорьевых с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке находился за Москвой рекой, на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей от церкви Спаса в Наливках. Приняв меня как нельзя более радушно, отец и мать Григорьева просили бывать у них по воскресеньям. А так как я в это время ездил к ним на парном извозчике, то уже в следующее воскресенье старики буквально доверили мне свозить их Полонушку в цирк. До той поры они его ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому.[2] Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение.[3]

Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку, и их набралось уже до трех десятков. Вероятно, заметив наше взаимное влечение, Григорьевы стали поговаривать, как бы было хорошо, если бы, отойдя к Новому году от Погодина,[4] я упросил отца поместить меня в их дом вместе с Аполлоном, причем они согласились бы на самое умеренное вознаграждение.

У Григорьевых взаимное впечатление отцов наших оказалось самым благоприятным. Старик Григорьев сумел придать себе степенный и значительный тон, упоминая имена своих значительных товарищей по дворянскому пансиону. Что же касается до моего отца, то напускать на себя серьезность и сдержанность ему никакой надобности не предстояло.

Мать Григорьева, Татьяна Андреевна, скелетоподобная старушка, поневоле показалась отцу солидною и сдержанной, так как при незнакомых она воздерживалась от всякого рода суждений. Мой товарищ Аполлон не мог в то время кому бы то ни было не понравиться. Это был образец скромности и сдержанности. Конечно, родители не преминули блеснуть его действительно прекрасной игрой на рояли.[5]

Пока мы с Аполлоном ходили осматривать антресоли, где нам предстояло поместиться, родители переговорили об условиях моего помещения на полном со стороны Григорьевых содержании. Ввиду зимних и продолжительных летних вакаций, годовая плата была установлена в 300 рублей.

На другой день утром Илья Афанасьевич[6] перевез немногочисленное мое имущество из погодинского флигеля к Григорьевым, а я, проводивши отца до зимней повозки, отправился к Григорьевым на новоселье.

Дом Григорьева, с парадным крыльцом со двора, состоял из каменного подвального этажа, занимаемого кухней, служившею в то время и помещением для людей, и опиравшегося на нем деревянного этажа, представлявшего, как большинство русских домов, венок комнат, расположенных вокруг печей. С одной стороны дома, обращенной окнами к подъезду, была передняя, зала, угольная гостиная с окнами на улицу и далее по другую сторону дома столовая, затем коридор, идущий обратно по направлению к главному входу. По этому коридору были хозяйская спальня и девичья. Если к этому прибавить еще комнату налево из передней, выходящую окнами в небольшой сад, то перечислены будут все помещения, за исключением антресолей. Антресоли, куда вела узкая лестница с двумя заворотами, представляли два совершенно симметрических отделения, разделенные перегородкой. В каждом отделении было еще по поперечной перегородке, в качестве небольших спален. Впоследствии я узнал, что в правом отделении, занятом мною, долго проживал дядька француз, тогда как молодой Аполлон Александрович жил в отделении налево, которое занимал и в настоящее время. Француз кончил свою карьеру у Григорьевых, по рассказам Александра Ивановича, тем, что за год до поступления Аполлона в университет напился на Святой до того, что, не различая лестницы, слетел вниз по всем ступенькам. Рассказывая об этом, Александр Иванович прибавлял: «Снисшел еси в преисподняя земли».

Для меня следом многолетнего пребывания француза являлось превосходное знание Аполлоном французского языка, с одной стороны, и с другой — бессмысленное повторение пьяным поваром Игнатом французских слов, которых он наслышался, прислуживая гувернеру.

— Коман ву порте ву? Вуй, мосье. Пран дю те.[7]

Ал. Ив. Григорьев и родной брат его Николай Иванович родились в семье владимирского помещика; но поступя на службу, отказались от небольшого имения в пользу преклонной матери и двух, если не трех, сестер, старых девиц. Николай Иванович служил в каком-то пехотном полку, а Александра Ивановича я застал секретарем в московском магистрате. Жалованье его, конечно, по тогдашнему времени было ничтожное,

а размеров его дохода я даже и приблизительно определить не берусь. Дело в том, что жили Григорьевы если не изящно, зато в изобилии, благодаря занимаемой им должности.

Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из охотного ряда даром. Полагаю, что корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых держали Григорьевы, им тоже ничего не стоил.

По затруднительности тогдашних путей сообщения, Григорьевы могли снабжать мать и сестер только вещами, не подвергающимися порче, но зато последними к праздникам не скупились. К Святой или по просухе чрез знакомых подрядчиков высылался матери годовой запас чаю, кофею и красного товару.[8]

В шестилетнее пребывание мое в доме Григорьевых я успел лично познакомиться с гостившими у них матерью и сестрами.

Но о холостой жизни Александра Ивановича и женитьбе его на Татьяне Андреевне я мог составить только отрывочные понятия из слов дебелой жены повара, Лукерьи, приходившей в отсутствие Григорьевых, отца и сына, наверх убирать комнаты и ненавидевшей свою госпожу до крайности. От Лукерьи я слыхал, что служивший первоначально в сенате Александр Иванович увлекся дочерью кучера и, вследствие препятствия со стороны своих родителей к браку, предался сильному пьянству. Вследствие этого он потерял место в сенате и, прижив с возлюбленною сына Аполлона, был поставлен в необходимость обвенчаться с предметом своей страсти. Когда я зазнал Алекс. Ив., он не брал в рот капли горячительных напитков. Так как, верный привычке не посещать лекций, я оставался дома, то, проходя за чем-либо внизу, не раз слыхивал, как Татьяна Андреевна громким шепотом читала старинные романы, вроде «Постоялый двор»,[9] и, слыша шипящие звуки: «по-слее-воос-хоож-деее-ни-яяя солнцааа», я убедился, что грамота нашей барыне не далась и что о чтении писанного у нее не могло быть и речи. Тем не менее голос ее был в доме решающим, едва ли во многих отношениях не с большим правом, чем голос самого старика. Осуждать всегда легко, но видеть и понимать далеко не легко. А так как дом Григорьевых был истинною колыбелью моего умственного *я,* то позволю себе остановиться на некоторых подробностях в надежде, что они и мне, и читателю помогут разъяснить полное мое перерождение из бессознательного в более сознательное существо. Добродушный и шутливый по природе, Александр Иванович был человек совершенно беспечный. Это основное качество он передал и сыну. Я нередко присутствовал при незначительных наставлениях матери сыну, но никогда не слыхал, чтобы она наставляла своего мужа. Тем не менее чувствовалось в воздухе, что тот заматерелый догматизм, под которым жил весь дом, исходил от Татьяны Андреевны, а не от Александра Ивановича, который по рефлексии догматически и беззаветно подчинялся своей жене.

Утром в $7^1/_2$ часов летом и зимой, когда я еще валялся на кровати, Аполлон, или, как родители его называли, Полошенька, вскакивая с кровати, одевался и бежал в залу к рояли, чтобы звуками какой-либо сонаты

будить родителей. В 8 часов отец, до половины одетый, но в теплой фуфайке и ермолке на обнаженной голове, выходил вместе с женой, одетою в капот и неизменный чепчик с оборкою, в столовую к готовому самовару.

Там небольшая семья пила чай, присылая мне мою кружку наверх. Затем Александр Иванович, наполнив свежестертым табаком круглую табакерку, шел в спальню переменить ермолку на рыжеватый, деревянным маслом подправленный парик и, надев форменный фрак, поджидал Аполлона, который в свою очередь в студенческом сюртуке и фуражке бежал пешком за отцом через оба каменных моста и Александровский сад до Манежа, где Аполлон сворачивал в университет, а отец продолжал путь до присутственных мест. К двум часам обыкновенно кучер Василий выезжал за Аполлоном, а старик большею частию возвращался домой пешком. В три часа мы все четверо сходились внизу в столовой за сытным обедом. После обеда старики отправлялись вздремнуть, а мы наверх — предаваться своим обычным занятиям, состоявшим главным образом для Аполлона или в зубрении лекций или в чтении, а для меня отчасти тоже в чтении, прерываемом постоянно возникающим побуждением помешать Аполлону и увлечь его из автоматической жизни памяти хотя бы в самую нелепую жизнь всякого рода причуд. В 8 часов мы снова нередко сходили чай пить и затем уже возвращались в свои антресоли до следующего утра. Так, за исключением праздничных дней, в которые Аполлон шел с отцом к обедне к Спасу в Наливках, проходили дни за днями без малейших изменений.

Казалось, трудно было бы так близко свести на долгие годы две таких противоположных личности, как моя и Григорьева. Между тем нас соединяло самое живое чувство общего бытия и врожденных интересов. Я знал и чувствовал, до какой степени Григорьев, среди стеснительной догматики домашней жизни, дорожил каждой свободною минутой для занятий, а между тем я всеми силами старался мешать ему, прибегая иногда к пытке, выстраданной еще в Верро [10] и состоящей в том, чтобы, поймав с обеих сторон кисти рук своей жертвы и подсунув в них снизу под ладони большие пальцы, вдруг вывернуть обе свои кисти, не выпуская рук противника, из середины ладонями кверху; при этом не ожидавший такого мучительного и беспомощного положения рук противник лишается всякой возможности защиты. При таких отношениях надо было бы ожидать между нами враждебных чувств, но в сущности было наоборот. Я от души любил свою жертву, а Аполлон своего мучителя, и если слово воспитание не пустой звук, то наше сожительство лучше всего можно сравнить с точением одного ножа о другой, хотя со временем лезвия их получают совершенно различное значение.

Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену.

Начать с того, что Александр Иванович сам склонен был к стихотворству и написал комедию, из которой отрывки нередко декламировал с жестами; но Аполлон, видимо, стыдился грубого и безграмотного про-

изведения отцовской музы. Зато сам он с величайшим одушевлением декламировал свою драму в стихах под названием «Вадим Новгородский».[11] Помню, как, надев шлафрок на опашку, вроде простонародного кафтана, он, войдя в дверь нашего кабинета, бросался на пол, восклицая:

О земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И те три года за целый век
Показались мне, несчастному.

Конечно, в то время я еще не был в силах видеть все неуклюжее пустозвонство этих мертворожденных фраз; но что это не ладно, я тотчас почувствовал и старался внушить это и Григорьеву. Так родилась эпиграмма:

Григорьев, музами водим,
Налил чернил на сор бумажный
И вопиет с осанкой важной:
Вострепещите! — мой Вадим.

Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта.

«Я не поэт, о, боже мой!» [12] — восклицал он:

Зачем же злобно так смеялись,
Так ядовито надсмехались
Судьба и люди надо мной?

По этим стихам надо было бы ожидать в Аполлоне зависти к моим стихотворным попыткам. Но у меня никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон. Вскорости после моего помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена была тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона.

Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для постороннего, приносили нам с собою целую картину и связанное с ними знакомое ощущение.

— Помилуй, братец, — восклицал Аполлон, — чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечою, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо!

И вот появилось мое стихотворение

Не ворчи, мой кот мурлыка...

долго приводившее Григорьева в восторг. Чуток он был на это, как эолова арфа.

Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение «Кот поет, глаза прищуря...», над которым он только восклицал: — Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик!

Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при нашей встрече я застал его погруженным в «Notre Dame de Paris»* и драмы Виктора Гюго. Но главным в то время идолом Аполлона был Ламартин. Последнее обстоятельство было выше сил моих. Несмотря на увлечение, с которым я сам перевел «Озеро» Ламартина, я стал фактически, чтением вслух убеждать Григорьева в невозможной прозаичности бесконечных стихов Ламартина и довел Григорьева до того, что он стал бояться чтения Ламартина, как фрейлины Анны Иоанновны боялись чтения Тредьяковского. Зато как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова,[13] я побежал в лавку за этой книжкой?!

— Что стоит Бенедиктов? — спросил я приказчика.

— Пять рублей, — да и стóит. Этот почище Пушкина-то будет.

Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении.

Но, поддаваясь байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гете. Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное образование невозможно, и, при своей способности, прямо садился читать немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать философские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих беседах нельзя не вспомянуть, так как настоящим заглавием их должно быть *Аполлон Григорьев...* Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова, Ал. Вл. Новосильцев, всегда милый, остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящим в высокий фальцет, он утверждал, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записывавший лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф С. М. Соловьев. Он по тогдашнему времени был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал меня из беды, давая десять рублей взаймы. Являлся веселый, иронический князь Влад. Ал. Черкасский, с своим прихихикиванием через зубы, выдающиеся вперед нижней

* «Собор Парижской богоматери» *(франц.)*.

челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов.[14] Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию?

— Позвольте, господа, — восклицал добродушный Н. М. О<рло>в, — доказать вам бытие божие математическим путем. — Это неопровержимо.

Но не нашлось охотников[15] убедиться в неопровержимости этих доказательств.

— Конечно, — кричал светский и юркий Жихарев, — Полонский — несомненный талант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической личности как Кастарев.

Земная жизнь могла здесь быть случайной,
Но не случайна мысль души живой.

— Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.

— Натянутость мысли, — говорит, прихихикивая, Черкасский, — не всегда бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно противоположное качество.

— Это противоположное, — пищит своим фальцетом Новосильцев, — имеет несколько степеней: Il y a des sots simlpes, des sots graves et des sots superfins.*

Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету.

Появился чрезвычайно прилежный и сдержанный С. С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя Московского университета. С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка.

Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в особенности Байрону преданный, Студицкий. Жаль, что в настоящее время я не помню ни одного из превосходных его стихотворных переводов еврейских мелодий Байрона. Вынужденный тоже давать уроки, он всем выхвалял поэтический талант одного из своих учеников, помнится — Карелина. Из приводимых Студицким стихов юноши, в которых гово-

---

* Бывают дураки простые, дураки важные и дураки тонкие *(франц.)*.

рится о противоположности чувств, возбуждаемых в нем окружающим его буйством жизни, я помню только четыре стиха:

Как часто, внимая их песням разгульным,
Один я меж всеми молчу,
Как часто, внимая словам богохульным,
Тихонько молиться хочу.

Что Григорьев с 1-го же курса совершенно безнамеренно сделался центром мыслящего студенческого кружка, можно видеть из следующего случая. Григорьев был записан слушателем[16] и в числе других был причиной неоднократно повторяемой деканом юридического факультета Крыловым остроты, что слушатели и суть действительные слушатели. Вспоминаю об этом, желая указать на то, что какой-то слушатель Григорьев не мог представлять никакого интереса в глазах властительного и блестящего попечителя графа Строганова. Между тем Аполлон был потребован к попечителю, который спросил его по-французски, — им ли было написано французское рассуждение, поданное при полугодичном испытании? — Оно так хорошо, — прибавил граф, — что я усомнился, чтобы оно было писано студентом, — и на утвердительный ответ Григорьева прибавил: «vous faites trop parler de vous; il faut vous effacer».*

Наглядным доказательством участия, возбуждаемого Аполлоном Григорьевым в преподавателях, может служить то обстоятельство, что малообщительный декан Никита Иванович Крылов, недавно женившийся на красавице Люб. Фед. Корш, выходя с лекции, пригласил Аполлона в следующее воскресенье к себе пить чай. Конечно, Аполлон с торжеством объявил об этом родителям и вечером в воскресенье вернулся обвороженный любезностью хозяйки и ее матери, приезжавшей на вечер с двумя дочерьми.

Аполлон рассказывал мне, что вдова генеральша Корш целый вечер толковала с ним о Жорж Занд и, к великому его изумлению, говорила наизусть мои стихи, а в довершение просила привести меня и представить ей. Мы оба не раскаялись, что воспользовались любезным приглашением.

45-летняя вдова была второю женою покойного заслуженного доктора Корша и, несмотря на крайнюю ограниченность средств, умела придать своей гостиной и двум молодым дочерям, Антонине и Лидии, совершенно приличный, чтобы не сказать изящный, вид. Я не видал их никогда иначе, как в белых полубальных платьях. Иногда на вечера к матери приезжала старшая ее дочь, можно сказать, идеальная красавица, Куманина. Идеалом всех этих дам была Консвелло Жорж Занд, и все их симпатии, по крайней мере на словах, склонялись в эту сторону. В скором времени за вечерним чаем у них мы стали встречать Конст. Дм. Кавелина, который, состоя едва ли уже не на 4-м курсе,[17] видимо, ин-

---

* «вы заставляете слишком много говорить о себе, вам нужно стушеваться» *(франц.)*.

тересовался обществом молодых девушек. Надо сказать правду, что хотя меньшая далеко уступала старшей в выражении какой-то воздушной грации и к тому же, торопясь высказать мысль, нередко заикалась, но обе они, прекрасно владея новейшими языками, отчасти музыкой и, при известном свободомыслии, хорошими манерами, могли для молодых людей быть привлекательными.

Не берусь определить времени, когда нам стало известно, что старшая, Антонина, дала слово выйти за Кавелина.

Надо отдать справедливость старикам Григорьевым, что они были чрезвычайно щедры на все развлечения, которые могли, по их мнению, помогать развитию сына. В этом случае первое место занимали Большой и Малый (французский) театры. Хотя мы нередко наслаждались с Григорьевым изящною и тонкою игрой французов, но главным источником наслаждений был для нас Большой театр с Мочаловым в драме, Ферзингом, Нейрейтер и Беком в опере. ‹...›

Не один Мочалов оказался властителем наших с Григорьевым сердец: в не меньший восторг приводила нас немецкая опера. Трудно в настоящую минуту определить, кто из нас нащипывал восторг в другом; но я должен сказать, что мы мало прислушивались к общественной молве и славе и, наслаждаясь сценическим искусством, увлекались не столько несомненным блеском таланта, сколько кровью сердца, если позволено так выразиться. Так, мы с наслаждением слушали Роберта[18]-Бека и оставались совершенно равнодушными к Голланду, несколько запоздавшему со своею громадною репутацией из Петербурга; но подобно тому, как нас приводил на границу безумия Мочалов, влюбленный в Орлову, так увлекал и влюбленный в Алису-Нейрейтер Бертрам-Ферзинг. Когда он, бывало, приподняв перегнувшуюся на левой руке его, упавшую у часовни в обмороке Алису и высоко занесши правую руку, выражал восторг своей близости к этой безупречной чистоте фразой: «du zarte Blume»!,* потрясая театр самою низкою нотой своего регистра, мы с Григорьевым напропалую щипали друг друга ‹...›

С переходом на второй курс университетские занятия более специализировались. Юристы еще более подпали под влияние профессора Редкина, и имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший по временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разъезде вместо: «Коляску Григорьева!» — «коляску Гегеля!». С той поры в доме говорили о нем, как об Иване Гегеле. Не помню, кто из товарищей подарил Аполлону Григорьеву портрет Гегеля, и однажды до крайности прилежный Чистяков, заходивший иногда к нам, упирая один в другой указательные пальцы своих рук и распатывая их в этом виде, показывал воочию, как борются «субъект» с «объектом». Кажется, что в то время Белинский не поступал еще в «Отечественные записки» [19] как критик и не открывал еще своего похода против наших псевдоклассических писателей.[20] Не думая умалять значения его почина

* ты нежный цветок! *(нем.)*.

в этом деле, привожу факт, доказывающий, что поднятая им тема носилась в воздухе. Одно из величайших духовных наслаждений и представляет благодарность лицам, благотворно когда-то к нам относившимся. Не испытывая никакой напускной нежности по отношению к Московскому университету, я всегда с сердечной признательностью обращаюсь к немногим профессорам, тепло относившимся к своему предмету и к нам, своим слушателям. Вследствие положительной своей беспамятности я чувствовал природное отвращение к предметам, не имеющим логической связи. Но не прочь был послушать теорию красноречия или эстетику у И. И. Давыдова, историю литературы у Шевырева или разъяснение Крюковым красот Горация. Вероятно, желая более познакомиться с нашей умственной деятельностью, И. И. Давыдов предложил нам написать критический разбор какого-либо классического произведения отечественной литературы. Не помню, досталось ли мне или выбрал я сам оду Ломоносова на рождение порфирородного отрока, начинающуюся стихом:

Уже врата отверзло лето.[21]

Помню, с каким злорадным восторгом я набросился на все грамматические неточности, какофонии и стремление заменить жар вдохновения риторикой вроде:

И Тавр и Кавказ в Понт бегут.

Очевидно, это не было каким-либо с моей стороны изобретением. Все эти недостатки сильно поражали слух, уже избалованный точностью и поэтичностью Батюшкова, Жуковского, Баратынского и Пушкина. Удостоверясь в моей способности отличать напыщенные стихи от поэтических, почтенный Иван Иванович отнесся с похвалою о моей статье и, вероятно, счел преждевременным указать мне, что я забыл главное: эпоху, в которую написана ода. Требовать от Державина современной виртуозности, а у современных стихотворцев державинской силы — то же, что требовать от Бетховена листовской игры на рояли, а от Листа — бетховенских произведений.

Познакомился я со студентом Боклевским, прославившимся впоследствии своими иллюстрациями к произведениям Гоголя. В то время мне приводилось не только любоваться щегольскими акварелями и портретами молодого дилетанта, но и слушать у него на квартире прелестное пение студента Мано, обладавшего бархатным тенором.

Между обычными посетителями григорьевского мезонина стал появляться неистощимый рассказчик и юморист, однокурсник и товарищ Григорьева Ник‹олай› Антонович Ратынский, сын помещика Орловской губернии, Дмитровского уезда; он, кажется, не получал от отца никакого содержания и вынужден был давать уроки. Через Ратынского познакомился я с двумя орловскими земляками-студентами, жившими на одной квартире: Гриневым и поэтом Лизандром.

Об обычном возвращении в Москву на григорьевский верх говорить нечего, так как память не подсказывает в этот период ничего сколько-нибудь интересного. Во избежание нового бедствия с политическою экономией,[22] я стал усердно посещать лекции Чивилева и заниматься его предметом.

В нашей с Григорьевым духовной атмосфере произошла значительная перемена. Мало-помалу идеалы Ламартина сошли со сцены, и место их, для меня по крайней мере, заняли Шиллер и, главное, Байрон, которого «Каин» совершенно сводил меня с ума. Однажды наш профессор русской словесности С. П. Шевырев познакомил нас со стихотворениями Лермонтова, а затем и с появившимся тогда «Героем нашего времени». Напрасно старался бы я воспроизвести могучее впечатление, произведенное на нас этим чисто лермонтовским романом. Когда мы вполне насытились им, его выпросил у нас зашедший к вечернему чаю Чистяков, уверявший, что он сделает на романе обертку и возвратит его в полной сохранности.

— Ну что, Чистяков, как тебе понравился роман? — спросил Григорьев возвращавшего книжку.

— Надо ехать в Пятигорск, — отвечал последний, — там бывают замечательные приключения.

К упоению Байроном и Лермонтовым присоединилось страшное увлечение стихами Гейне.

В доме у Григорьевых появлялись по временам новые посетители, и именно родной брат Ал. Ив. Григорьева, капитан с мундиром в отставке, Николай Ив<анович>. Женат он был на весьма миловидной девице Каблуковой,[23] далеко превосходившей его образованием и воспитанием. За нею он получил порядочное приданое, на которое они купили прекрасное имение Обухово с домом и усадьбой в 50 верстах от Москвы по Верейской дороге. У самого же Николая Ивановича ни состояния, ни воспитания не было,[24] хотя он, устроившись на одну зиму с женою и двумя детьми в Москве, любил пообедать и поиграть в карты в дворянском клубе, развязно говорить о жениных родственниках и казаться человеком светским, не стесненным в средствах. Рассказывая клубные анекдоты, он пускал дым сквозь нависшие рыжеватые усы и, прихихикивая, притоптывал вперед правою ногою для большей развязности. Всходя к нам наверх, он постоянно издевался над монашеским житьем Аполлона, называл его Гегелем и говорил: «нет, я не во вкусе этого» (вместо: «это не в моем вкусе»). Наша старуха Григорьева недолюбливала сильно Николая Ивановича, во-первых, за деньги, которые во время военной его службы передавал ему Ал. Ив., а во-вторых, из-за красивой и молодой невестки. Поэтому она полагала всевозможные препятствия сближению Аполлона с дядей и теткой. Зато я нисколько не отказывался от их любезного расположения. Собираясь на неделю в свое имение, они уговорили меня проехаться с ними, обещая, что я найду там выезженную верховую лошадь, ружье и лягавую собаку. Перспектива была действительно соблазнительна, и я прожил с неделю у них в деревне, отправляясь ежедневно на ближайшее болото <...>

— Слышали ли вы новость? — сказал однажды снявший мундирный фрак и парик Александр Иванович, выходя к обеденному столу. — Конечно, вам теперь не до того, и вы ничего не слыхали, так я вам скажу: курьер привез известие, что государь будет встречать в Москве цесаревича[25] с его августейшей невестой. Процессия пойдет из Петровского дворца в Кремль, и все бросились нанимать окна по Тверской. Я тоже поручил знакомому человеку взять нам окно в строящемся доме, близ Шевалдышевой гостиницы.[26]

Слух, принесенный Александром Ивановичем, распространился по всей Москве как несомненный; и в назначенный день не только мы с Аполлоном прошли за Александром Ивановичем в недостроенный еще дом, чтобы занять нанятое окошко, но провели за собою и Татьяну Андреевну, никуда не выходившую из дома, за исключением приходской церкви в светлую заутреню. Провести нашу старушку до окна было далеко не легко, так как приходилось, во-первых, пробиваться сквозь толпившийся на тротуаре народ, а во-вторых, всходить в третий этаж не по лестнице, а по лесам, для всхода рабочих; самые стулья стояли на лесах, перед оконными отверстиями, в которых еще и рамы не были вставлены. <...>

На другой день студенческие помыслы наши были окончательно увлечены от вчерашней великолепной картины народного торжества и ото всего в мире приготовлениями к экзаменам. Когда мы с Аполлоном сошли к вечернему чаю в столовую, выходящую окнами на улицу, то сначала услыхали подъехавший к калитке экипаж, а затем и громкий звонок. Любопытный Александр Иванович первый побежал к деревянному помосту, ведшему от калитки к парадному крыльцу, и воскликнул: «Какой-то офицер, должно быть, адъютант». Через минуту мы действительно увидали вошедшего в переднюю небольшого роста адъютанта, которого лицо мне сразу показалось как будто знакомым. Но где я его видел, я не мог сказать, да и, быть может, мне это только показалось. Как ни мало мы все были знакомы с военными формами, но, несмотря на обычные адъютантские эполеты и эксельбанты, — тотчас же признали в незнакомце иностранца. Незнакомец, оказавшийся говорящим только по-немецки и, следовательно, понятно только для меня и Аполлона, сказал, что он желал бы видеть студента Фета, и, когда я подошел к нему, он со слезами бросился обнимать меня, как сына горячо любимой сестры. Оказалось, что это был родной дядя мой, Эрнст Беккер, приехавший в качестве адъютанта принца Александра Гессенского, брата высоконареченной невесты.

Наша хозяйка Татьяна Андреевна, подобно всем не говорящим на иностранных языках, вообразила, что дядя мой не понимает ее только потому, что не довольно ясно слышит слова, и пустилась отчаянно выкрикивать членораздельные звуки. Это не подвинуло нимало взаимного их понимания, и дело пришло в порядок, только когда обе стороны убедились, что никакого обмена мыслей не будет, если я не буду их переводчиком. Между прочим, вероятно из любезности ко мне и к моему

дяде, Аполлон характеризовал меня как поэта. <...> Когда на другой день я на минутку забежал к дяде, последний встретил меня со смущенным лицом[27] и сказал: «А я сейчас собирался послать за тобою; боже, боже, что на свете делается. Вообрази, — сказал он, жалобно глядя на меня, — твоя сестра Лина здесь, и мы сейчас с тобою поедем к ней».

В номере гостиницы мы застали замечательно красивую и милую девушку, которая, нежно встретившись со мною, сказала, что не понимает переполоха дяди, что она свой поступок считает весьма естественным. Ей хотелось увидать хоть раз в жизни свою мать и родных по матери, что она доехала до Москвы с знакомой ей дамой и надеется и на возвратном пути найти спутницу.

Я должен отдать полную справедливость любезности стариков Григорьевых, которые, услыхав о приезде сестры, тотчас же пригласили ее в свободную в нижнем этаже комнату и послали за нею свою коляску. Сестра говорила по-французски, старик Григорьев тоже сохранил отрывки этого языка из дворянского пансиона, и поэтому объяснения уже не представляли тех затруднений, как при свидании с дядей. <...>

Добрый Аполлон, несмотря на свои занятия, продолжал восхищаться моими чуть не ежедневными стихотворениями и тщательно переписывать их. Внимание к ним возникло не со стороны одного Аполлона. Некоторые стихотворения ходили по рукам, и в настоящую минуту я за малыми исключениями не в состоянии указать на пути, непосредственно приведшие меня в так называемые интеллигентные дома. Однажды Ратынский, пришедши к нам, заявил, что критик «Отечественных записок» Васил<ий> Петров<ич> Боткин желает со мной познакомиться, и просил его, Ратынского, привести меня. Ратынский в то время был в доме Боткиных своим человеком, так как приходил младшим девочкам[28] давать уроки. Боткин жил в отдельном флигеле и в 30 лет от роду пользовался семейным столом и получал от отца 1000 руб. в год. У Боткина я познакомился с Александром Ивановичем Герценом, которого потом встречал и в других московских домах. Слушать этого умного и остроумного человека составляло для меня величайшее наслаждение. С Вас. Петр. знакомство мое продолжалось до самой моей свадьбы[29] за исключением периода моей службы в Новороссийском крае. <...>

...Он <Шевырев> старался дать ход моим стихотворениям, и с этою целию, как соиздатель «Москвитянина», рекомендовал Погодину написанный мною ряд стихотворений, под названием «Снега». Все размещения стихотворений по отделам с отличительными прозваниями производились трудами Григорьева.[30] <...>

В числе посетителей нашего григорьевского верха появился весьма любезный правовед Калайдович, сын покойного профессора и издателя песен Кирши Данилова. Молодой Калайдович не только оказывал горячее сочувствие моим стихам, но, к немалому моему удовольствию, ввел меня в свое небольшое семейство, проживавшее в собственном доме на Плющихе. <...> Через молодого Калайдовича я познакомился с его

друзьями: Константином и Иваном Аксаковыми. Однажды, начитавшись песен Кирши Данилова, я придумал под них подделаться, и мы с Калайдовичем решили ввести в заблуждение любителей и знатоков русской старины братьев Аксаковых. Отыскав между бумагами покойного отца чистый полулист, Калайдович постарался подделаться под руку покойного, передал рукопись Конст<антину> Серг<еевичу>, сказав, что нашел ее в бумагах отца, но желал бы знать, можно ли довериться ее подлинности. В следующий мой приход я с восхищением услыхал, что Аксаков, прочитав песню, сказал: «Очень может быть, очень может быть; надо хорошенько ее разобрать». Но кажется в следующее за тем свидание Калайдович расхохотался и тем положил конец нашей затее.

Но никакие литературные успехи не могли унять душевного волнения, возраставшего по мере приближения весны, святой недели и экзаменов. Не буду говорить о корпоративном изучении разных предметов, как, например, статистики, причем мы, студенты, сойдясь у кого-либо на квартире, ложились на пол втроем или четвером вокруг разостланной громадной карты, по которой воочию следили за статистическими фигурами известных произведений страны, обозначенными в лекциях Чивилева.

Но вот начались и самые экзамены и сдавались мною один за другим весьма успешно, хотя и с возрастающим чувством томительного страха пред греческим языком. Мучительное предчувствие меня не обмануло, и в то время, когда Ап. Григорьев радостный принес из университета своим старикам известие, что кончил курс первым кандидатом, я, получив единицу у Гофмана из греческого языка, остался на третьем курсе еще на год.

Тем не менее обычная студенческая жизнь брала свое, невзирая ни на какие потрясения и внутренние перемены. К последним принадлежало окончание университетского учения Ап. Григорьевым, продолжавшим еще проживать со мною наверху полянского дома. Освободившись от сидения над тетрадками, Аполлон стал не только чаще бывать в доме Коршей, но и посещать дом профессора Н. И. Крылова и его красавицы жены, урожденной Корш. По привязанности к лучшему своему ученику, Никита Ив. сам не раз приходил к старикам Григорьевым и явно старался выхлопотать Аполлону служебное место, которое бы не отрывало дорогого сына от обожавших его родителей. Как нарочно, секретарь университетского правления Назимов вышел в отставку,[31] и, при влиянии Крылова в совете, едва окончивший курс Григорьев был выбран секретарем правления.[32] Радости стариков не было конца. Зато мне по вечерам нередко приходилось оставаться одному по причине отлучек Григорьева из дому. <. . .> Паша Булгаков <. . .> стал ежедневно появляться в театре, в котором порою и мы с Аполлоном не переставали почерпать юношеские восторги. Не удивительно, что до крайности чуткий на все изящное Аполлон приходит в восторг от грациозных танцев Андриановой. Действительно, она была пленительно грациозна при полете через сцену

на развевающемся шарфе. Помню даже стихотворение Григорьева с двустишием:

> Когда волшебницей в «Жизели»
> На легкой дымке вы летели...[33] —

если только память мне не изменила. ‹...›

Можно было предполагать, что неуклонный посетитель лекций и неутомимый труженик Ап. Григорьев будет безукоризненным чиновником. Но на деле вышло далеко не то: списки, отчеты с своею сухою формалистикой, требующей тем не менее настойчивого внимания, не возбуждали в нем никакой симпатии, и совет университета вскорости пришел к убеждению в совершенной неспособности Григорьева исполнять должность секретаря правления. Как нарочно, упразднилось место университетского библиотекаря, на которое Крылов успел поместить Ап. Григорьева. Надо сказать, что пробуждение стариков посредством музыки Аполлона продолжалось со стороны кандидата, секретаря правления и библиотекаря точно так же, как оно производилось студентом первого курса. Хотя Аполлон наверху со мною жестоко иронизировал над догматизмом патеров, как он выражался, тем не менее по субботам сходил вниз по приглашению: «Ап. Ал., пожалуйте к маменьке головку чесать», — и подставлял свою голову под ее гребень. Соответственно всему этому Аполлон в первое время поступления на службу считал своею гордостью отдавать все жалованье родителям без остатка. И можно было только удивляться наивности стариков, не догадывавшихся, что молодой чиновник мог нуждаться в карманных деньгах. Следствием такого недоразумения было тайное сотрудничество Григорьева в журналах и уроки в богатых домах. К этому Григорьев не раз говорил мне о своем поступлении в масонскую ложу[34] и возможности получить с этой стороны денежные субсидии. Помню, как однажды посетивший нас Ратынский с раздражением воскликнул: «Григорьев! подавайте мне руку, хватая меня за кисть руки[35] сколько хотите, но я ни за что не поверю, чтобы вы были масоном».

Насколько было правды в этом масонстве, судить не берусь, знаю только, что в этот период времени Григорьев от самого отчаянного атеизма одним скачком переходил в крайний аскетизм и молился пред образом,[36] налепляя и зажигая на всех пальцах по восковой свечке. Я знал, что между знакомыми он раздавал университетские книги, как свои собственные, и я далеко даже не знал всех его знакомых. Однажды, к крайнему моему изумлению, он объявил мне, что получил из масонской ложи временное вспомоществование и завтра же уезжает в три часа дня в дилижансе в Петербург, вследствие чего просит меня проводить его до Шевалдышевской гостиницы, откуда уходит дилижанс, и затем, вернувшись, с возможною мягкостью объявить старикам о случившемся. Он ссылался на нестерпимость семейного догматизма и умолял во имя дружбы исполнить его просьбу. Прожить уроками и литературным трудом казалось ему самой легкой задачей.

Сборы его были несложны, ограничиваясь едва ли не бельем и платьем, бывшим на нем в данную минуту, так как остальное было на руках Татьяны Андреевны, у которой нельзя было выпросить вещей в большом количестве, не возбудив подозрения. В минуту отъезда дилижанса мы пожали друг другу руки, и Аполлон вошел в экипаж. Когда дилижанс тронулся, я почувствовал себя как бы в опустелом городе. Это чувство сиротливой пустоты я донес с собою на григорьевские антресоли. Не буду описывать взрыва негодования со стороны Александра Ивановича и жалобного плача Татьяны Андреевны после моего объявления об отъезде сына. Только успокоившись несколько, на другой день они решились послать вслед за сыном слугу Ивана-Гегеля с платьем, туалетными вещами и несколькими сотнями рублей денег. При отъезде Аполлон сказал мне, у кого можно было искать его в Петербурге. Оказалось, что Аполлон по добродушной бесшабашности роздал множество книг из университетской библиотеки, которые мне пришлось не без хлопот возвращать на старое место.





А. А. Фет

КАКТУС

РАССКАЗ

Несмотря на ясный июльский день и сенной запах со скошенного луга, я, принимая хинин, боялся обедать в цветнике под елками, — и накрыли в столовой. Кроме трех человек небольшой семьи за столом сидел молодой мой приятель Иванов, страстный любитель цветов и растений, да очень молодая гостья.

Еще утром, проходя чрез биллиардную, я заметил, что единственный бутон белого кактуса (cactus grandiflora), цветущего раз в год, готовится к расцвету.

— Сегодня в шесть часов вечера, — сказал я домашним, — наш кактус начнет распускаться. Если мы хотим наблюдать за его расцветом, кончающимся увяданием пополуночи, то надо его снести в столовую.

При конце обеда часы стали звонко выбивать шесть, и, словно вторя дрожанию колокольчика, золотистые концы наружных лепестков бутона начали тоже вздрагивать, привлекая наше внимание.

— Как вы хорошо сделали, — умеряя свой голос, словно боясь запугать распускающийся цветок, сказал Иванов, — что послушались меня и убрали бедного индийца подальше от рук садовника. Он бы и его залил, как залил его старого отца. Он не может помириться с мыслию, чтобы растение могло жить без усердной поливки.

Пока пили кофе, золотистые лепестки настолько раздвинулись, что позволяли видеть посреди своего венца нижние края белоснежной туники, словно сотканной руками фей для своей царицы.

— Верно, он вполне распустится еще не скоро? — спросила молодая девушка, не обращаясь ни к кому особенно с вопросом.

— Да, пожалуй, не раньше как к семи часам, — ответил я.

— Значит, я успею еще побренчать на фортепьяно, — прибавила девушка и ушла в гостиную к роялю.

— Хотя и близкое к закату, солнце все-таки мешает цветку, — заметил Иванов. — Позвольте я ему помогу, — прибавил он, задвигая белую занавеску окна, у которого стоял цветок.

Скоро раздались цыганские мелодии, которых власть надо мною всесильна. Внимание всех было обращено на кактус. Его золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали принимать вид лучей, в центре которых белая туника все шире раздвигала свои складки. В комнате послышался запах ванили. Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас участвовать в своем безмолвном торжестве; а цыганские песни капризными вздохами врывались в нашу тишину.

Боже! Думалось мне, какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное: почему же именно эта тоска дышит таким счастьем? Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые идеи. И что, по правде, дают нам наши представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуловимою истиной. Разве самое твердое астрономическое понятие о неизменности лунного диаметра может заставить меня не видать, что луна разрослась на востоке? Разве философия, убеждая меня, что мир только зло, или только добро, или ни то ни другое, властна заставить меня не содрогаться от прикосновения безвредного, но гадкого насекомого или пресмыкающегося или не слыхать этих зовущих звуков и этого нежного аромата? Кто жаждет истины, ищи ее у художников. Поэт говорит:

Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.[1]

Другой высказывает то же словами:

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.[2]

Этому по крайней мере верили в сороковых годах. Эти верования были общим достоянием. Поэт тогда не мог говорить другого, и цыгане не могли идти тем путем, на который сошли теперь. И они верили в красоту и потому ее и знали. Но ведь красота-то вечна. Чувство ее — наше прирожденное качество.

Цыганские напевы смолкли, и крышка рояля тихонько стукнула.

— Софья Петровна, — позвал Иванов молодую девушку, — вы кончили как раз вовремя. Кактус в своем апофеозе. Идите, это вы нескоро увидите.

Девушка подошла и стала рядом с Ивановым, присевшим против кактуса на стул, чтобы лучше разглядеть красоту цветка.

— Посмотрите, какая роскошь тканей! Какая девственная чистота и свежесть! А эти тычинки? Это папское кропило, концы которого напоены золотым раствором. Теперь загляните туда, в глубину таинственного фиала. Глаз не различает конца этого не то светло-голубого, не то светло-зеленого грота. Ведь это волшебный водяной грот острова Капри.

Поневоле веришь средневековым феям. Эта волшебная пещера создана для них!

— Очень похоже на подсолнух, — сказала девушка и отошла к нашему столу.

— Что вы говорите, Софья Петровна! — с ужасом воскликнул Иванов; — в чем же вы находите сходство? Разве в том только, что и то и другое — растение, да что и то и другое окаймлено желтыми лепестками. Но и между последними кричащее несходство. У подсолнуха они короткие, эллиптические и мягкие, а здесь, видите ли, какая лучистая звезда, словно кованная из золота. Да сам-то цветок? Ведь это храм любви!

— А что такое, по-вашему, любовь? — спросила девушка.

— Понимаю, — ответил Иванов. — Я видел на вашем столике философские книжки или по крайней мере желающие быть такими. И вот вы меня экзаменуете. Не стесняясь никакими в мире книжками, скажу вам: любовь — это самый непроизвольный, а потому самый искренний и обширный диапазон жизненных сил индивидуума, начиная от вас и до этого прелестного кактуса, который теперь в этом диапазоне.

— Говорите определеннее, я вас не понимаю.

— Не капризничайте. Что сказал бы ваш учитель музыки, услыхав эти слова? Вы, может быть, хотите сказать, что мое определение говорит о качествах вещи, а не об ее существе. Но я не мастер на определения и знаю, что они бывают двух родов: отрицательные, которые, собственно, ничего не говорят, и положительные, но до того общие, что если и говорят что-либо, так совершенно неинтересное. Позвольте же мне на этот раз остаться при своем, хотя и одностороннем, зато высказывающем мое мнение...

— Ведь вы хотите, — прервала девушка, — объяснить мне, что такое любовь, и приводите музыкальный термин, не имеющий, по-моему, ничего общего с объясняемым предметом.

Я не выдержал.

— Позвольте мне, — сказал я, — вступиться за своего приятеля. Напрасно вы проводите такую резкую черту между чувством любви и чувством эстетическим, хоть бы музыкальным. Если искусство вообще недалеко от любви (эроса), то музыка, как самое между искусствами непосредственное, к ней всех ближе. Я бы мог привести собственный пример. Сейчас, когда вы наигрывали мои любимые цыганские напевы, я под двойным влиянием музыки и цветка, взалкавшего любви, унесся в свою юность, во дни поэзии и любви. Но чтоб еще нагляднее оправдать слова моего приятеля, я готов рассказать небольшой эпизод, если у вас хватит терпения меня выслушать.

— Хватит, хватит. Сделайте милость расскажите, — торопливо проговорила девушка, присаживаясь к столу со своим вязанием.

— Ровно 25 лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве, на Басманной. В Москве встретился я со старым товарищем и однокашником Аполлоном Григорьевым. Никто не мог знать Григорьева ближе, чем я, знавший его чуть не с отрочества. Это

была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истиной, и художественно-чуткая. Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей *знающих*[3] (des hommes qui savent) в нравственном смысле. Вечно в поисках нового во всем, он постояно менял убеждения. Это они называют развитием, забывая слово Соломона, что это уже было прежде нас.[4] По крайней мере он был настолько умен, что не сетовал на то, что ни на каком поприще не мог пустить корней, и говаривал, что ему не суждено *проспер ировать*.[5] В означенный период он был славянофилом и носил не существующий в народе кучерской костюм. Несмотря на палящий зной, он чуть не ежедневно являлся ко мне на Басманную из своего отцовского дома на Полянке. Это огромное расстояние он неизменно проходил пешком и вдобавок с гитарой в руках. Смолоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепьяно, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались два, три приятеля-энтузиаста, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностию и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пиесы.

— Спойте, Аполлон Александрович, что-нибудь!

— Спой в самом деле! — И он не заставлял себя упрашивать.

Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимою его песней была венгерка,[6] перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку, —
Она замуж вышла.

Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыган в особенности.

— Да, — сказал я, — цыганской песни никто не споет, как они.

— А почему? — подхватил Григорьев, — они прирожденные, кровные, а не вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадонн часто

споспешествует делу. Любовь для певца та же музыка. Эх, брат! — вскрикнул он вдруг, вытирая лоб пестрым платком, — надо показать тебе чудо. Ты знаешь, я часто таскаюсь в Грузины[7] в хор Ивана Васильева.[8] Он мой приятель и отличный человек. Там у них есть цыганочка Стеша. Ты ее не знаешь? Не заметил?

— Где же мне ее было заметить? Я почти нигде не бываю.

— Ну, так надо тебе ее увидать. Во-первых, она — прелесть. Какие глаза и ресницы и, я знаю твою страсть к волосам, какие волосы! Но этого мало. Надо, чтобы ты ее услыхал с глазу на глаз. Бедняжка влюблена в одного гусара. Я его видел. Действительно красавец, каналья. А ты знаешь, как хор ревниво бережет своих примадонн. Тут, брат, идиллиями не возьмешь. Выкупи! — а на это мало охотников. Уж не знаю, как они там путаются. Но, видно, дело не выгорает, а девочка-то врезалась. После обеда хор-то разойдется отдыхать, а она возьмет гитару да сядет под окошечко, — словно кого поджидает. Запоет, и слезы градом. Тут нередко Иван Васильев подойдет и вполголоса ей вторит. Жалко, что ли, ему ее станет, или уж очень забористо она поет, только, поглядишь, он тут как тут. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют. Поэзия — да и только! Да вот, чем откладывать, я завтра к тебе приду в двенадцать часов, а в час мы поедем. Ведь ваша братия, кавалеристы, плохие ходоки.

— Да как же, любезный друг, я-то вотрусь? Ведь она при мне и петь не станет.

— Ну, это я как-нибудь оборудую. Едем, что ль?

— Хорошо, приходи.

На другой день хотел было я велеть запрячь свою скромную пролетку, но подумал: Григорьев без гитары не придет. Убеждать его — дело напрасное. А куда я в мундире поеду через всю Москву с каким-то не то кучером, не то торбанистом, что подумает плац-адъютант? Я велел нанять извозчичью карету. В двенадцать часов вошел Григорьев с гитарой, в поддевке, в плисовых шароварах в сапоги, словом, по всей форме.

— Что ж это мы в карете? — спросил он.

Я сослался на зубную боль, которою, в добрый час молвить, во всю жизнь не страдал. Однако он догадался, и начались препирания.

Тем не менее мы доехали до Грузин и бросили карету невдалеке от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел вовремя, когда дверь отворили.

В передней уже слышалось бряцание гитары и два голоса.

— Это она, — шепнул Григорьев, и вошел в залу. Я за ним.

— Здравствуйте, Стеша! — сказал он, протягивая руку сидящей у окна девушке с гитарой. — Здравствуй, Иван Васильевич! Продолжайте, я вам не помеха.

Но девушка, ответив на его рукожатие, бросила недоверчивый взгляд в мою сторону и, положа гитару на стол, быстро пошла к двери, ведущей во внутренние покои. Григорьев так же быстро заступил ей дорогу и схватил ее за рукав.

— Куда вы? Что за вздор? Ну, не хотите петь, не пойте. Что ж из себя дикую птицу корчить? Для кого? Иван Васильевич, да уговори ее посидеть с нами! Я пришел ее, дорогую, проведать, а она вон. Ну, садитесь, садитесь, моя хорошая, — говорил он, подводя ее на прежнее место. Начался разговор про разные семейные отношения членов хора, в продолжение которого Григорьев, между речами, под сурдинкой наигрывал разные мотивы. В течение всей этой сцены я, чтобы скрыть свое неловкое положение, пристально рассматривал в окно упряжку стоявшего по другую сторону улицы извозчика, словно собирался ее купить.

— Присядьте, — сказал мне подошедший Иван Васильев.

Я сел.

— Ты об нем не беспокойся, — сказал Григорьев, — он, братец, не по нашей музыкальной части. Его дело — лошади. Он, пока мы поболтаем, пусть себе посидит да покурит.

Я махнул отчаянно рукой и снова обернул голову к окну изучать извозчика. Между тем Григорьев, наигрывая все громче и громче, стал подпевать. Мало-помалу сам он входил в пассию, а как дошел до своей любимой:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку —
Она замуж вышла —

очевидно, забыл и цель нашего посещения и до того загорелся пением, что невольно увлекал и других. Когда он хлестко запел:

В село красно стеганула.
Эх — стеганула,
Моя дорогая —

ему уже вторил бархатный баритон Ивана Васильева. Вскоре, сперва слабо, а затем все смелее, стал проникать в пение серебряный сопрано Стеши.

— Эх, господи! Да что же я тут вам мешаю, — воскликнул Григорьев. — Мне так не сыграть, а не то чтобы спеть. Голубушка Стеша, спойте что-нибудь, — прибавил он, подавая ей ее гитару.

Она уже без возражений запела, поддерживаемая по временам Иваном Васильевым. Слегка откинув свою оригинальную, детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом воронова крыла косу, она вся унеслась в свои песни. Уверенный, что теперь она не обратит на меня ни малейшего внимания, я придвинул свой стул настолько, что мог видеть ее почти в профиль, тогда как до сих пор мог любоваться только ее затылком. Когда она запела:

Вспомни, вспомни, мой любезный,
Нашу прежнюю любовь [9] —

чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице. Сколько неги, сколько грусти и красоты было в ее пении! Но вот она взяла несколько

аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современные петь ее не решались. Песня эта, не выносящая посредственной певицы, известная:

«Слышишь ли, разумеешь ли».

Стеша не только запела ее мастерски, но и расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна, как высокий образчик народной поэзии. Она спела так:

Ах ты злодей, ты злодей,
Добрый молодец.
Во моем ли саду
Соловей поет,
Громко свищет.
Слышишь ли,
Мой сердечный друг?
Разумеешь ли,
Жизнь, душа моя?

Песня исполнена всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением. Я жадно смотрел на ее лицо, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щеке. Я не выдержал, вскочил со стула, закричал: браво! браво! и в ту же минуту опомнился. Но уже было поздно. Стеша, как испуганная птичка, упорхнула.

— Что же вы на это скажете, скептическая девица? Разве эта Стеша не любила? Разве она могла бы так петь, не любя? Стало быть, любовь и музыка не так далеки друг от друга, как вам угодно было утверждать?

— Да, конечно, в известных случаях.

— О скептический дух противоречия! Да ведь все на свете, даже химические явления, происходят только в известных случаях. Однако вы пьете вóды и вам надо рано вставать. Не пора ли нам на покой?

Когда стали расходиться, кактус и при лампе все еще сиял во всей красе, распространяя сладостный запах ванили.

Иванов еще раз подсел к нему полюбоваться, надышаться, и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

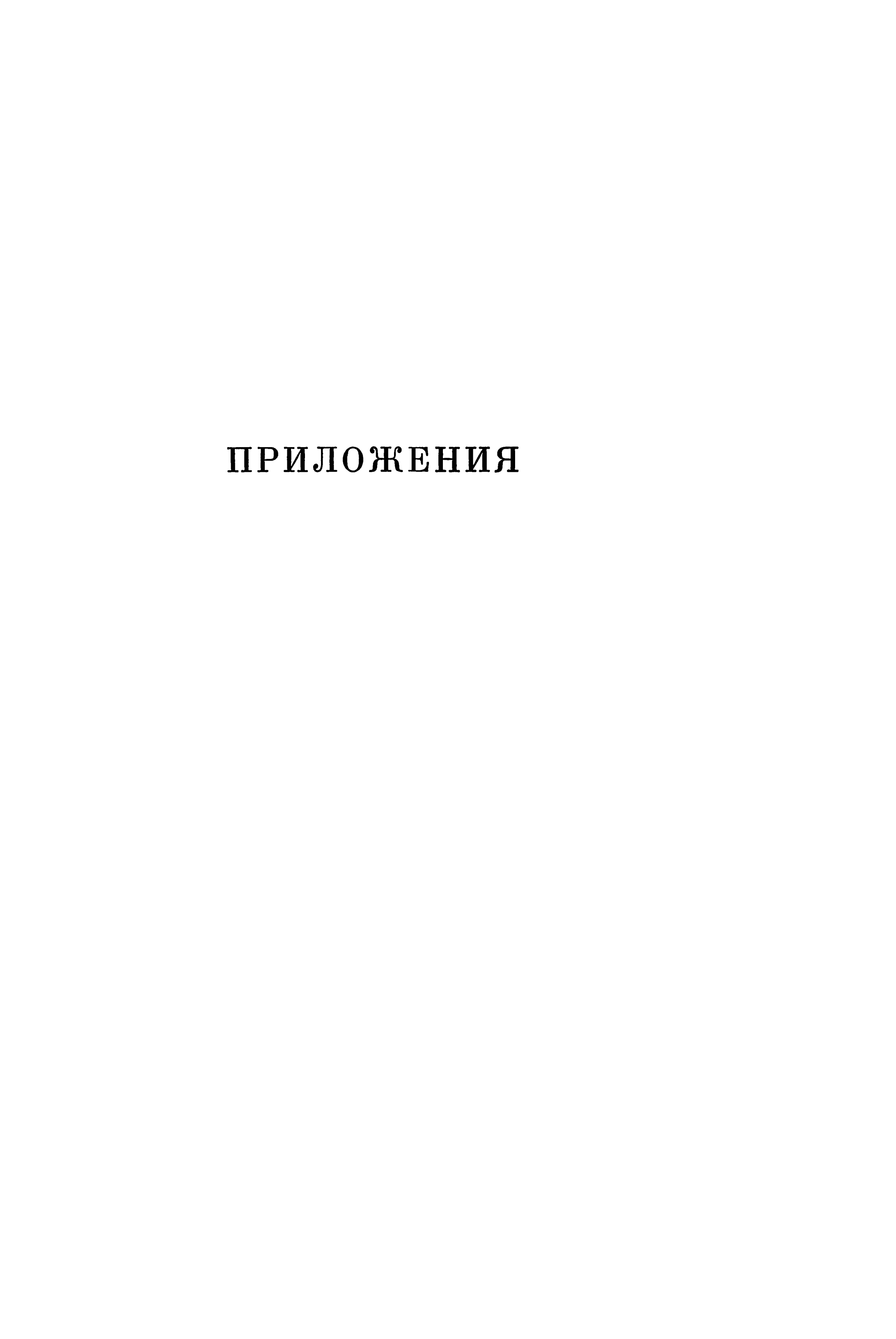
— Знаете, не срезать ли его теперь в этом виде и не поставить ли в воду? Может быть, тогда он проживет до утра?

— Не поможет, — сказал я.

— Ведь все равно ему умирать. Так ли, сяк ли.

— Действительно.

Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распрощались. Когда утром мы собрались к кофею, на краю стакана лежал бездушный труп вчерашнего красавца кактуса.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Б. Ф. Егоров

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА АП. ГРИГОРЬЕВА

1

Ап. Григорьев хорошо известен любителю русской литературы как поэт и как критик, но почти совершенно не знаком в качестве прозаика. Между тем он — автор самобытных воспоминаний, страстных исповедных дневников и писем, романтических рассказов, художественных очерков. Собранное вместе, его прозаическое наследие создает представление о талантливом художнике, включившем в свой метод и стиль достижения великих предшественников и современников на поприще литературы, но всегда остававшемся оригинальным, ни на кого не похожим.

Самым характерным свойством григорьевской прозы является ее автобиографичность. Разумеется, воспоминания, дневники, исповеди автобиографичны по жанру и по сути, но и обычные рассказы Григорьева имеют глубоко личный, автобиографический характер. Здесь наблюдается явная аналогия с его поэзией: ведь большинство стихотворений поэта — как бы маленькие дневники и исповеди, а циклы стихотворений представляют собой своеобразные сюжетные эпизоды из реальной жизни автора, вплоть до прямой имитации ежедневных записей: таков цикл «Дневник любви и молитвы» («имитация» потому, что — сразу же оговоримся — не следует *полностью* отождествлять художественные произведения даже такого субъективного писателя, как Григорьев, с реальной биографией художника).

Автобиографические мотивы вторгаются даже в критические статьи Григорьева. Не говорим уже об очень частых «лирических» отступлениях в статьях относительно личного пристрастия к тем или иным явлениям литературы или относительно духовной эволюции автора, — это бывает почти у всех критиков. Но у Григорьева в текст статьи включаются «посторонние», автобиографические отрывки. Например, в статье «Стихотворения Н. Некрасова» (1862) критик от анализа рецензируемых произведений неожиданно переключается на воспоминания о Берлинской картинной галерее и о беседах с В. П. Боткиным о судьбах русского

искусства. Создается интересная мемуарная миниатюра, которую можно бы изъять из текста статьи и поместить в рубрику «Воспоминания» (по насыщенности критической статьи мемуарностью с Григорьевым может сравниться и даже опередить его еще один великий «личностный» критик — Д. И. Писарев). Публицистические же очерки Григорьева — «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах» (1860), «Безвыходное положение» (1863), «Плачевные размышления о деспотизме и о вольном рабстве мысли» (1863) и многие другие настолько густо пересыпаны автобиографическими отступлениями, что фактически их с равными основаниями можно относить и к публицистике, и к мемуарам. В настоящем издании публикуются две театрально-критические статьи Григорьева — о постановках «Гамлета» и «Отелло», имеющие большое искусствоведческое и литературоведческое значение, но в данном случае характерные своей автобиографичностью, пронизанностью личным, «григорьевским» материалом.

Глубокая и всепроникающая автобиографичность григорьевских произведений объясняется особенностями его духовного склада, его мировоззренческих принципов.

Прежде всего, он вырос и воспитался в романтическую эпоху, в эпоху гипертрофированного субъективизма — Григорьев замечательно это показал в своих воспоминаниях. Влияние эпохи было настолько мощно, что уже совсем в другие времена, когда господствовал реализм, оказавший сильное воздействие и на Григорьева, наш литератор все-таки считал себя романтиком, причем «последним романтиком». Ясно, однако, что ссылок на эпоху мало для понимания и объяснения такого глубинного романтизма (ведь отец Григорьева, как мы видим из воспоминаний сына, воспитался в еще более интенсивную и пафосную романтическую эпоху первой четверти XIX в., эпоху, включившую в себя 1812 г. и декабристское движение, — но был весьма «прозаичным», весьма приземленным существом). Следует учитывать еще и особый душевный склад Григорьева, его артистическую, художническую натуру с неуемными страстями, с постоянными стремлениями к идеалам, с частыми сменами этих идеалов; как верно писал Я. П. Полонский: «Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту — и поющего со студентами песню, им положенную на музыку: „Долго нас помещики душили, становые били!..“. Помню его не верующим ни в бога, ни в черта — и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика».[1] Совокупность многих причин создавала благодатную почву, на которую падали семена романтической культуры, и порождала трагическое одиночество «последнего романтика» в условиях эпохи 60-х гг.

[1] Неизданные письма... Из архива А. Н. Островского. М., 1932, с. 455. Песня, созданная кем-то из шестидесятников, не похожа на революционные стихотворения Григорьева 40-х гг. — Полонский здесь ошибся. Впрочем, не исключено, что Григорьев в 60-е гг. создал музыку к чужому тексту.

Впрочем, трагический отпечаток лежит на всем творчестве Григорьева во все периоды: напряженная духовная жизнь с постоянными поисками высоких идеалов мало способствовала спокойному и тем более утверждающему, оптимистическому отношению к реальной действительности (единственными радостными находками для Григорьева были выдающиеся произведения литературы, о которых он оставил прекрасные критические статьи, особенно — драмы Островского и романы Тургенева). Личная жизнь Григорьева приносила ему тоже чрезвычайно мало радостей: он был в постоянном раздоре с семейным кругом, постоянно был в долгах, так как совершенно не умел жить «расчетливо»; ему, умному и остроумному собеседнику, красивому мужчине, удивительно не везло в любви: любимые предпочитали ему «положительных», обстоятельных, практичных... Чрезвычайно экзальтированная, страдальческая, поэтически прихотливая, обнаженно ранимая и слабая натура Григорьева лишала его «массового» успеха у женщин, обусловливала слишком узкий круг способных оценить его достоинства.

В очерке «Великий трагик» Григорьев полушутя-полусерьезно обращается к себе с упреком, что он до сих пор не написал на тему о «трагическом в искусстве и жизни» — тему, не доведенную до конца тургеневским Рудиным. Но фактически эта тема в полный голос звучит почти во всех произведениях Григорьева во всех жанрах.

Чисто художественные повести и рассказы (то есть «чистые» по жанру, с исключением очерков и воспоминаний) Григорьев писал в середине 40-х гг., еще совсем молодым, но уже достаточно испытавшим в жизни.

После относительно вялого детства и бурного духовного роста в отрочестве, о чем Григорьев так хорошо поведал в воспоминаниях, наступили яркие университетские годы. Конец 30-х и начало 40-х гг. для Московского университета стали периодом явного расцвета после долгой полосы застоя и мрака, той полосы, в которую попали сперва Полежаев, а затем Белинский, Герцен, Лермонтов... Об этой мрачной эпохе сохранились живые, хотя и краткие очерки в университетских главах «Былого и дум» Герцена и обстоятельные характеристики — в «Моих воспоминаниях» академика Ф. И. Буслаева (М., 1897). Буслаев учился в Московском университете как бы в интервале между Герценом и Григорьевым: с 1834 по 1838 г., поэтому описал и старые порядки, и новшества после 1835 г.

В 1835 г. попечителем Московского учебного округа и тем самым «хозяином» университета был назначен видный вельможа граф С. Г. Строганов. Благодаря своей независимости и гордому желанию сделать «свой» университет лучшим, Строганов мог отбирать среди талантливой научной молодежи действительно достойных преподавателей, обеспечивать их штатными местами, заграничными командировками, средствами на публикацию трудов и т. п.

Поэтому в университетские годы Григорьева (1838—1842) во главе ведущих гуманитарных кафедр стояли Т. Н. Грановский (всеобщая история), П. Г. Редкин (энциклопедия права), Д. Л. Крюков (римская сло-

весность и древняя история), которые ошеломляли юношей потоком совершенно новых идей и фактов, только что добытых европейской наукой, знакомили с новейшими методологическими учениями, прежде всего — с гегельянством (хорошее знание Гегеля Григорьев вынес из университетских занятий). Декан юридического факультета Н. И. Крылов, возглавлявший кафедру римского права, обучал студентов методам романтической школы французских историков.

Григорьев, поступивший — видимо, по настоянию отца — на чуждый ему юридический факультет, усердно слушал и лекции других профессоров, прежде всего — М. П. Погодина по русской истории и С. П. Шевырева по русской словесности. Будущие вожди консервативного «Москвитянина», глашатаи официальной «народности», привлекали Григорьева искренним интересом к старине, к древнерусским летописям, рукописным трудам, к устному народному творчеству, хотя он и в эти годы уже позволял себе иронические выпады по адресу Шевырева.

Григорьев-студент стал центром кружка талантливых литераторов и вдумчивых исследователей философских проблем. А. А. Фет рассказывал в своих воспоминаниях главным образом о стихотворных занятиях, а другой член кружка, Н. М. Орлов, сын известного декабриста М. Ф. Орлова, оставил интересную тетрадь-конспект философских споров друзей.[2] Да и единственная рукопись Григорьева, сохранившаяся от студенческой поры, созданная в 1840 г., т. е. восемнадцатилетним юношей, — «Отрывки из летописи духа» — свидетельствует о напряженных философских исканиях идеала, совершенства, истины.[3] Эта рукопись тесно перекликается мыслями с тетрадкой Н. М. Орлова.

В этих философско-нравственных исканиях можно найти связи с аналогичными поисками в более раннем кружке Н. В. Станкевича. Но основные участники того кружка, В. Г. Белинский и М. А. Бакунин, вскоре стали значительно больше интересоваться социально-политической проблематикой и даже сами философские студии подчинили этой области. Видимо, сказывались не столько индивидуальные различия, сколько разница поколений. Хотя между рождением Белинского, Герцена, Огарева, с одной стороны, и ровесников Ап. Григорьева — с другой, интервал всего около десяти лет, но разница между ними огромная: первые воспитались на 1812 г. и декабристских идеях, почти взрослыми юношами встретили николаевскую эпоху, а вторые с малолетства выросли в атмосфере этой эпохи. Герцен на примере В. А. Энгельсона, близкого к петрашевцам и почти ровесника Григорьева (родился в 1821 г.), наблюдал отличие двух исторических типов: «На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же *видовым, болезненным надломом* по всем суставам. Страшный грех лежит на николаев-

[2] Тетрадь опубликована: Русские пропилеи, т. 1. М., 1915, с. 213—217. Рукопись имеет помету: «По просьбе Григорьева».

[3] Рукопись опубликована: *Материалы*, с. 311—312. (Список сокращений см. ниже, с. 378).

ском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели <...> Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни».[4]

Герцен как бы с высоты своего кругозора и чуть-чуть со стороны видел в этом поколении социальную ущербность, страшные последствия николаевского пресса, давящего Россию, Григорьев же «изнутри» считал свою романтическую гипертрофированность чуть ли не нормой, по крайней мере достоинством. Да и в самом деле, из сосредоточенного самонаблюдения могло ведь вырасти чувство достоинства, значимости и независимости личности... Так что и крайности интроспекции, рефлексии были тоже косвенной формой протеста, по крайней мере — романтической формой неприятия нивелирующей личность действительности. Недаром поколение Григорьева (родившиеся в 1819—1822 гг.) дало так много поэтов романтического плана: А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, Н. Ф. Щербина, сам Григорьев. Любопытно также, что реалистическая «натуральная школа» (оказавшая, впрочем, воздействие на поколение Григорьева) создавалась главным образом ровесниками 1812 г. (именно в этом году родились А. И. Герцен, И. И. Панаев, Е. П. Гребенка, И. А. Гончаров) или даже более старшими современниками (В. И. Даль) — и лишь Н. А. Некрасов и Д. В. Григорович были ровесниками Григорьева. Еще один знаменитый ровесник, Ф. М. Достоевский, хотя и примкнул вначале к «натуральной школе», но сразу же занял в ней совершенно особое место.

Еще одна важная черта: поколение Григорьева, давшее столько романтических поэтов (и не меньше — серьезных ученых различных школ), совсем почти не подготовило радикальных деятелей для эпохи 60-х гг. — все ее знаменитые вожди родились на 10—20 лет позже. Очевидно, относительно спокойное, без европейских и внутренних революций, второе десятилетие царствования Николая I, с середины 30-х до середины 40-х гг., период «тихого» деспотизма, медленного обуржуазивания и опошления русской жизни — именно период юности григорьевского поколения — и способствовал романтическим волнам самого различного масштаба и пошиба — об этих волнах и «веяниях» Григорьев очень хорошо рассказал в своих «Литературных и нравственных скитальчествах».

2

Вскоре после окончания университета Григорьев создает первую дошедшую до нас прозаическую вещь, которую трудно определить в жанровом отношении; автор назвал ее «Листки из рукописи скитающегося

---

[4] *Герцен А. И.* Собр. соч. в 30-ти т., т. X. М., 1956, с. 344—345.

софиста» — по сути это нечто вроде художественно обработанного дневника,[5] в свою очередь явившегося черновым материалом для рассказа «Мое знакомство с Виталиным» (а частично — ср. с. 84 и 217 — и для повести «Один из многих»). Жизненной основой «Листков...» и рассказа явилось первое драматическое событие в биографии Григорьева, потрясшее его, больно занозившее душу, которая много лет не могла оправиться, — любовь к Антонине Федоровне Корш. В рассказах и очерках середины 40-х гг. Григорьев иногда будет иронизировать по поводу своего чувства, но это не признак освобождения и «выздоровления», а скорее стремление к освобождению, попытка вырваться из плена, посмотреть на себя со стороны; в то же время эта ирония связана с любимым занятием Григорьева — растравлением незаживающих ран; таким же растравлением, думается, была неожиданная его женитьба в 1847 г. на сестре Антонины, Лидии;[6] брак оказался очень неудачным.

История драматической любви Григорьева к Антонине Корш вкратце такова. Незадолго до их знакомства умер отец семейства, видный московский врач Федор Адамович Корш, оставив вдову Софью Григорьевну с многочисленным потомством (согласно родословной, составленной недавно праправнуком Ф. А. Корша А. И. Богдановым, доктор был отцом 22 детей). Мальчики — Евгений и Валентин — станут впоследствии известными журналистами и литераторами, а девушки в тогдашних условиях могли надеяться лишь на замужество. В год окончания Григорьевым университета, в 1842 г., профессор Н. И. Крылов женился на одной из дочерей — Любови, а так как Григорьев был одним из немногих блестящих студентов, принимаемых в доме декана, то он вскоре познакомился с двумя младшими сестрами хозяйки — с Антониной и Лидией — и страстно влюбился в старшую из них, в Антонину. Возможно, она сперва и отзывалась на влечение юного романтика, но вскоре у него появился опасный соперник — К. Д. Кавелин, известный впоследствии историк и юрист, деятель либерального лагеря. Кавелин был четким и твердым,[7] он уже подготовил магистерскую диссертацию — очевидно, что

---

[5] Ср. тягу юного Л. Толстого к дневнику и к художественному расширению дневниковых записей до художественного очерка («История вчерашнего дня», 1851); см.: *Эйхенбаум Б.* Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы. Л., 1928, с. 33—60.

[6] Товарищ Григорьева дает очень не лестную характеристику его будущей жене: «...эта третья была хуже всех сестер, глупа, с претензиями и заика» (*Соловьев С. М.* Записки. М., [б. г.], с. 99).

[7] Кавелин оказался весьма рационалистичным и в сфере интимных отношений. Спровоцированный однажды на откровенность Л. И. Стасюлевич, женой М. М. Стасюлевича, издателя «Вестника Европы», Кавелин ответил своей знакомой интересным признанием: «Я никогда в жизни, с молодости, не знал любви и страсти, как ее описывают. Ко многим женщинам я питал и питаю глубокую дружбу и способен увлекаться. Но увлечениям я даю волю только тогда, когда совершенно уверен, что не сделаю этим никому вреда, не расстрою семейного положения, не принесу женщине несчастия и горя. Своим увлечениям я ни разу не приносил женщин в жертву, никогда не клялся в страсти, в вечной любви и т. п. Я позволял себе увлекаться, только когда видел, что это не стоило женщине тяжелой борьбы, упре-

тут было значительно более ясное и спокойное будущее, и Антонина отдала свое сердце сопернику. 24 февраля 1844 г. Кавелин защитил диссертацию, а 25-го Григорьев подал прошение ректору об отпуске: он за полгода до этого получил, несмотря на большой конкурс и обилие соперников, хорошее место секретаря Совета Московского университета, которым он совсем не дорожил и с легкостью бросил его, явно намереваясь бежать в Сибирь, чтобы утишить страдания и службой в какой-либо отдаленной гимназии заработать на выплату многочисленных долгов. А пока он, оставив запущенные дела Совета и кредиторов, втайне от родителей, умчался в Петербург.

Здесь-то он и создает свои произведения, в которых постоянно просвечивала его безответная любовь к Антонине Корш, а первое из них, «Листки из рукописи скитающегося софиста», целиком посвящено истории взаимоотношений автора и Антонины. Это романтический дневник молодого человека, сосредоточенного на анализе своих чувств, своих идеальных порывов, но уже с достаточной долей самоиронии, со стремлением посмотреть на себя со стороны, критически оценить свои слова и поступки. Последнее станет характерной чертой и всех последующих автобиографических произведений Григорьева в стихах и прозе. В «Листках...» проступают и другие свойства зрелого Григорьева-писателя: тяга к абрисному, пунктирному изображению лишь самых важных эпизодов, пренебрежение к частностям, мелочам; живой разговорный язык, контрастно смешивающий стили (например: «...мне было все гадко и ненавистно, кроме этой женщины, которую люблю я страстью бешеной собаки»).

В последующих прозаических художественных произведениях наряду с московскими впечатлениями отражена петербургская жизнь Ап. Григорьева. Одно из сильных его увлечений этой поры, середины 40-х гг., — масонство. Фет, как видно из его воспоминаний, относит знакомство Григорьева с масонами (и не просто знакомство, но и вступление в организацию) еще к московскому периоду, на масонские же средства, пишет Фет, Григорьев уехал в Петербург. Сведения Фета очень важны и подтверждают справедливое предположение В. Н. Княжнина, что масон из повести Григорьева «Другой из многих» Василий Павлович Имеретинов является художественным воплощением реального прототипа — К. С. Милановского,[8] который, как мы теперь знаем, был сокурсником Фета и Гри-

---

ков совести, когда она, уступая мне, не мучилась сознанием, что нарушила свой долг, свои обязанности. Жертв я бы мог просить, если б был в состоянии заменить женщине всех и все; но на это я не способен и знаю это. Из моих сближений никогда не выходило драм и трагедий, которых я тщательно избегал, потому что не могу выносить чужого горя и прихожу в ужас при одной мысли, что кому-нибудь может быть худо по моей вине» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. II. СПб., 1912, с. 119, письмо от 16 марта 1868 г.; указано В. Г. Зиминой).

[8] См.: *Материалы*, с. 396. Впрочем, В. Н. Княжнин не знал имени того Милановского и готов был спутать его с братом, Алексеем Соломоновичем.

горьева по Московскому университету[9] (подробнее о Милановском см. с. 412—413).

Во всяком случае петербургские масонские связи Григорьева несомненны: это нашло отражение и в его повестях, и в цикле стихотворений «Гимны», которые оказались переводами немецких масонских песен,[10] и в критических рецензиях. Но документальных данных совершенно не сохранилось, так как масонские организации были запрещены еще при Александре I, а репрессии николаевского правительства против всяких нелегальных кружков тем более должны были насторожить сохранивших свои традиции масонов, которые, видимо, ушли в это время в глубокое подполье. Григорьева, как и толстовского Пьера Безухова, привлекли в масонстве грандиозные утопические идеи коренного переустройства мира на началах братства, любви, высоких духовных и моральных качеств человека — да еще в сочетании с тайной (конспирация) и романтической мистикой.

В середине 40-х гг. Григорьев создает не только масонские, но и революционные и антиклерикальные произведения — стихотворения «Город» (два), «Нет, не рожден я биться лбом...», «Прощание с Петербургом», «Когда колокола торжественно звучат...». Советские исследователи (Б. Я. Бухштаб, П. П. Громов, Б. О. Костелянец) убедительно показали тесную связь между масонскими и социалистическими идеями Григорьева: недаром он так увлекался в те годы романами Жорж Санд «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт», отразившими идеологию христианского социализма, на скрещении масонской мистики и социалистической утопии. Герой двух романов, граф Альберт Рудольштадт, масон и мистик, организует орден «Невидимые», целью которого является переустройство мира на лозунгах Великой французской революции (свобода, равенство, братство), на началах правды и любви. Персонажи романов неоднократно упоминаются и цитируются Григорьевым, а многие свои произведения он подписывал «А. Трисмегистов» (Трисмегист — псевдоним графа Альберта).

Увлекся Григорьев и весьма популярными тогда в России идеями утопического социализма Фурье, главным образом в их негативной части, в критике современной буржуазной цивилизации, больших городов; позитивная же сторона, особенно «казарменные» принципы, а также космогонические фантазии о перемещениях солнца и планет вызвали у Григорьева протест и насмешку в статьях, в письмах, в драме «Два эгоизма» (1845).

Своеобразно было и отношение Григорьева к масонству. Оно заключается в том, что масонство в его произведениях почти всегда сопрягается с крайними формами эгоцентризма: в повестях «Один из многих» и «Другой из многих» это особенно заметно. Б. О. Костелянец в приме-

---

[9] См.: *Блок Г.* Рождение поэта. Повесть о молодости Фета. Л., 1924, с. 104.

[10] См. главу «„Гимны" Аполлона Григорьева» в кн.: *Бухштаб Б. Я.* Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966, с. 27—49.

чаниях к «Гимнам» хорошо показал, что оба «эгоиста» григорьевских повестей — Званинцев и Имеретинов — являются воспитанниками масонов и что два наставника Званинцева развивали в нем соответственно масонство и эгоистический «наполеонизм», не вызывавшие в душе воспитанника противоречий, а как бы сливавшиеся воедино.[11] То ли некоторые стороны учения масонов и тенденции их бытового поведения (разделение людей на посвященных и профанов, «наполеоновские» мечты о преобразовании мира) оказывались для Григорьева потенциально «эгоистическими» (ср. позднее у Достоевского аналогии между радикальными идеями и наполеонизмом), то ли он генетически выводил печоринствующих эгоистов XIX в. из масонской мистики предшествующего столетия, то ли на его концепцию влияли конкретные деятели типа Милановского, которые под масонским обличьем таили душу «себялюбивую и сухую», но именно в таком аспекте предстают воспитанники масонов в повестях Григорьева.

Как же относится автор к своим эгоистичным героям? Он влагает им в уста «наполеоновские» декларации (например, заявление Званинцева: «...на все и на всех смотрю я, как на шашки, которые можно переставлять и, пожалуй, уничтожать по произволу... для меня нет границ» — с. 201), а потом решается на авторское пояснение (в принципе Григорьев в повестях стремится к объективированному рассказу, и лишь изредка авторский голос вторгается с каким-либо разъяснением): «Истина и ложь, страсть и притворство так были тесно соединены в натуре Званинцева, что сам автор этого рассказа не решит вопроса о том, правду ли говорил он. Есть грань, на которой высочайшее притворство есть вместе и высочайшая искренность» (с. 202).

Пожалуй, это и есть истинное отношение автора к подобным персонажам. В 1844—1846 гг., когда Григорьев писал и печатал свои романтические повести, у него самого было очень противоречивое отношение к людям типа Милановского, Званинцева, Имеретинова: они житейски и эстетически неудержимо влекли к себе, к своим «таинственным», властным, сильным натурам чистого, робкого, слабого юношу, тянувшегося к «трансцендентному», романтически возвышающемуся над пошлым миром обыденности, а с другой стороны, и отталкивали холодным себялюбием, отсутствием нравственного фундамента и идеала. Прежде всего, видимо, Григорьев раскусил пройдоху Милановского: в письме к отцу от 23 июля 1846 г. он называет его «мерзавцем» (см. с. 297), следовательно, «наполеоновский» пьедестал должен был сильно пошатнуться, а преклонение перед «гением» — исчезнуть. В статьях стали появляться резкие тирады против романтического индивидуализма: «...не смешон ли, не жалок ли человек, который среди общего стона слышит только свою песню, среди страшных общественных явлений обделывает с величайшим старанием свою маленькую статуйку и любу-

---

[11] *Григорьев Ап.* Избр. произв. Л., 1959 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 570.

ется ею, когда кругом него страшные, бледные, изнуренные голодом лица?».[12]

Интересно, что третья часть трилогии о Виталине, «Офелия», «отставшая» от первой в печатном воплощении (да, наверное, и в рукописном) всего на семь месяцев, а от второй — на пять, содержит значительно больше яда и иронии по отношению к эгоцентризму и циничности героев, чем первые две повести. «Теория женщины» повествователя «Офелии» под стать аналогичным разоблачениям утрированного романтического эгоизма в философско-художественном труде С. Киркегора «Или—или» (1843), труде, который Григорьев конечно не знал, но тем закономернее (в смысле воздействия духа времени) совпадение. В «Офелии»: «Женщина — те же мы сами, наше *я*, но отделившееся для того, чтобы наше *я* могло любить себя, могло смотреть в себя, могло видеть себя и могло страдать до часа слияния бытия и тени. . .» (с. 147); в «Или—или»: «Моя Корделия! Ты знаешь, что я люблю говорить с самим собой. В себе я нашел личность самую интересную из всех знакомых мне. Иногда я боялся, что у меня может иссякнуть материал для этих разговоров, теперь я не боюсь, теперь у меня есть Ты. Теперь и всю вечность я буду говорить с самим собой о Тебе, о самом интересном предмете с самым интересным человеком, ведь я — самый интересный человек, а ты — самый интересный предмет».[13]

Разница лишь в том, что Григорьев привносит в текст серьезный аспект: мотив страдания.

В последней повести из «масонской» серии, писавшейся после возвращения Григорьева из Петербурга в Москву, в 1847 г., и печатавшейся тогда же в газете «Московский городской листок», — «Другой из многих» — чувствуется уже расставание Григорьева со своим прошлым. Чабрин, благородный и романтический юноша, духовно «соблазненный» масоном Имеретиновым (в юном герое, разумеется, улавливаются черты автора), затем раскаивается, прозревает и в конце повести, как бы отталкиваясь от прошлых идеалов, убивает на дуэли Васю Имеретинова, племянника и воспитанника масона.

Однако, расставаясь, Григорьев тем болезненнее переживает все то грандиозное, яркое, глубокое, что было связано с пафосом всемирного «великого братства людей» и «божественной радости», т. е. те черты и свойства, которые были присущи, по его представлению, деятелям масонства. Он еще сильнее подчеркивает в своих персонажах именно эти свойства и идеалы, но тут же утрирует и их черты эгоизма и даже бытовой распущенности. «Другой из многих» — самая «неистовая» повесть Григорьева, наполненная совращениями, вакханалиями, смертями, демоническими мужчинами и женщинами; поэтому она менее всего автобиографична.

---

[12] *Григорьев А*. Русская драма и русская сцена. 1. Вступление. — Репертуар и пантеон, 1846, № 9, с. 429.

[13] Цит. по кн.: *Гайденко П. П.* Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора. М., 1970, с. 79.

Вообще в повестях Григорьева 40-х гг. заметна парадоксальная тенденция наряду с усваиванием реалистических принципов (что отразилось и в критических статьях, и в весьма колоритных эпизодах повестей) постепенно все больше и больше нагнетать романтические «неистовства»: в первых повестях, в трилогии о Виталине («Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным», «Офелия») романтические ситуации — довольно умеренные; в повести «Один из многих» нам уже преподносится целый набор романтических штампов как в типажах (демон, чистый наивный юноша, страстная женщина, похотливый старик, сребролюбец, готовый продать дочь), так и в коллизиях (дуэль, козни игроков, совращение невинности, западня, устроенная насильником, и неожиданное спасение жертвы и т. д.). «Другой из многих» завершает этот ряд.

Чувствуется, что Григорьев находится в глубоком духовном кризисе, на переломе от одного этапа к другому; и в самом деле, мучительно расставаясь с увлечениями петербургского периода, он медленно, но верно переходил в совершенно другое идейно-психологическое состояние, в другую «веру»: в условиях русской жизни начала «мрачного семилетия» (1848—1855) и в специфически московских «славянофильских» условиях Григорьев приближался к идеалам «молодой редакции» «Москвитянина».

Кризисность мировоззрения Григорьева еще больше усиливала исконную лихорадочную страстность его повествования. Повести становились все более клочковатыми, разорванными на отдельные эпизоды, слабо связанные между собою. Да и писались они, видимо, не на одном дыхании и не по заранее разработанному плану, а с перерывами, с надеждой на помету «продолжение следует». Поэтому Григорьев мог путать имена (например, в «Одном из многих» Севский и в начале и в конце повести назван Дмитрием Николаевичем, а в начале «Эпизода второго» — «Николашей»; впрочем, и в «Эпизоде первом» он однажды именуется Дмитрием Александровичем).

В принципе романтическая экзальтация не противостоит автобиографизму. Григорьев как реальная личность, духовная и бытовая, был настолько пропитан «неистовостью», что художественные крайности романтического метода не слишком отдаляли образ героя от прототипа. Но все-таки постепенно обретаемая раскованность, художественная свобода уводили автора от относительно точного следования за реальными, прототипическими сюжетами и эпизодами, наблюдавшегося в трилогии о Виталине. «Относительно» добавлено потому, что и в трилогии Григорьев уже достаточно свободно создает характер и события: следование наблюдается лишь в описании безответной любви Виталина (двойника автора) к Антонии (т. е. к реальной Антонине Корш) и к Лизе (см. примечания к «Офелии»); возможно, реально прототипичны и другие персонажи и события в трилогии, но у нас нет достоверных сведений об этом.

Что, однако, заведомо «сочинено» Григорьевым — это психологический облик большинства его героинь. Уже галерея женских типов первой повести из трилогии о Виталине, «Человек будущего», снабжена повторяющимися чертами экзальтированности и болезненности: Наталья Склонская — «бедное больное дитя» (с. 109); щеки другой героини, Ольги, «горели болезненным румянцем» (с. 115), третья женщина, без имени, «с долгим болезненным взглядом, с нервическою, но вечною улыбкою на тонких и бледных устах, с странным смехом, как будто ее щекотал кто-нибудь» (с. 118). А в третьей повести, в «Офелии», Виталин уже обобщенно-теоретически резюмирует: можно влюбиться лишь в такую женщину, которая отличается «болезнью и страданием» (с. 146).

Через несколько месяцев после опубликования григорьевской трилогии о Виталине В. Н. Майков писал свою статью об А. В. Кольцове (напечатана в ноябре 1846 г.), где иронизировал по поводу романтического идеала женщины, как будто прямо имея в виду повесть Григорьева: «Отчего, например, романтики — люди по большей части весьма полные и здоровые — так гнушаются в поэзии того, что можно назвать здоровьем? <...>

Лицо белое —
Заря алая,
Щеки полные,
Глаза темные...

Один этот портрет красавицы может уже привести в негодование романтика, не признающего других женщин, кроме чахоточных, бледных, изнуренных больными грезами...».[14]

Однако Майков, ратуя, в свете своего утопического идеала, за гармоничного, здорового, волевого, оптимистическго человека, оказывался романтиком «навыворот», ибо его идеал конструировался теоретически, имея опору лишь в народных идеалах красоты, но не в исторических условиях 40-х гг. В этом отношении болезненные, нервические героини Григорьева были, пожалуй, ближе к жизни, конечно же не крестьянской, а столичной, дворянской, по крайней мере — интеллигентской. В самом деле, если застойная приземленность русской (да и европейской) жизни середины 40-х гг. влекла мужчин запоздало романтической ориентации к печоринству, к масонским утопиям, к бродяжничеству, к загулам, то ведь и женщины могли поддаваться любым влияниям, противостоящим пошлому бездуховному быту, — например, жоржсандизму с его романтической экзальтацией, доходящей до болезненности. Диапазон здесь был очень велик: от умеренного романтизма А. Я. Панаевой до трагической экзальтации Н. А. Герцен, приведшей ее к смерти. Григорьев несомненно опирался и на реальные жизненные черты, но так как страстный, страдающий, болезненный характер женщины являлся его эстетическим и этическим идеалом, то он чуть ли не все женские образы своих пове-

[14] *Майков В. Н.* Соч. в 2-х т., т. 1. Киев, 1901, с. 13, 15.

стей (да и стихотворений и поэм того времени) наделил подобными чертами.

Но при всей своей экзальтированности героини Григорьева все-таки оказываются более цельными и органичными натурами, чем персонажи мужчины: они не выдерживают жизни «втроем», жизни во лжи, вообще не выдерживают любой двойственности, в то время как герои, как правило, ведут именно двойственную жизнь в самых различных сферах: в социальной, профессиональной, любовной, дружеской... («...жизнь Виталина была двойственна, как жизнь каждого из нас» — с. 112). Несомненно, такая утрированная двойственность, ведущая в перспективе к двойничеству,[15] связана с глубокой романтической традицией (Гофман, Гейне, Гоголь и т. д.); с влиянием культурной (т. е. антикультурной!) обстановки николаевской России, которая не только масонов уводила в духовное подполье; вообще со все более усложнявшейся жизнью, разрывавшей натуру человека на «слои» и «сферы», слабо связанные между собою, а иногда и прямо противостоящие (недаром в русской культуре именно в 40-х гг. XIX в. началась интенсивная борьба за цельного, гармонического человека: в ней приняли участие В. Ф. Одоевский, славянофилы, В. Г. Белинский, В. Н. Майков).

У Григорьева — человека и художника двойственность и двойничество переплетались и множились: несомненно, двойственной была его реальная жизнь, двойственны персонажи его повестей, а из-за их автобиографической основы диалектически двойственными были связи автора со своими героями-двойниками. Получается чуть ли не троекратное двойничество! Недаром Григорьев метался в те годы между самыми различными учениями социально-политического и философского характера, ища целостность и гармонию. После масонства, христианского социализма, фурьеризма он еще на некоторое время очаруется гоголевскими утопиями, а затем в течение первой половины 50-х гг. в кругу «молодой редакции» «Москвитянина» будет уповать на глубинную цельность простого народа; лишь на заре новой эпохи 60-х гг. он окончательно откажется от утопических идеалов и тем трагичнее будет его мироощущение: страшно одиноким почувствует он себя среди молодого племени, идущего новыми дорогами к новым идеалам.

Двойственность и двойничество вели не только к нравственно-психологическим, но и к физическим, «пространственным» метаниям. В. В. Ку-

[15] От двойственности до двойничества — один шаг! Двойственность — это наличие в жизни человека двух или более сфер (деятельности или сознания), которые очень не похожи друг на друга, чаще всего даже противоположны по сути. Перенося из одной сферы в контрастную ей, человек существенно меняет воззрения, привычки, весь стиль мышления и поведения. Крайняя степень такого расщепления и переключения и оказывается двойничеством: человек начинает ощущать в себе двух разных лиц, чуть ли не физически даже разделенных! Таков хорошо изображенный в литературе путь двойников у Гофмана, Гоголя, Достоевского. Григорьев как личность в какой-то степени «освобождался» от своей двойственности на грани двойничества, воплощая в художественных романтических образах некоторые двойнические черты (или стремления) своей натуры: страстная экзальтация, демонизм и т. п.

дасова, автор краткой, но весьма содержательной статьи,[16] справедливо отметила двойничество и скитальчество как две существенные черты ранней прозы Григорьева и усмотрела уже в самих «скитальческих» заглавиях григорьевских воспоминаний романтическую традицию, опершись на мнение специалиста: «Если путешественник, скиталец является закономерным типом романтического искусства, то *путевые заметки,* фиксирующие впечатления и размышления странствующего героя, становятся его характерным жанром. „Путевые очерки“ Р. Шатобриана, „Письма путешественника“ Жорж Санд, „Путевые картины“ Г. Гейне могут быть примером. Не случайно и Гофман дает своим „Фантастическим отрывкам в манере Калло“ подзаголовок: „Листки из дневника странствующего энтузиаста“».[17] Несомненно, у Гофмана заимствовал Григорьев заглавие своего первого очерка — «Листки из рукописи скитающегося софиста».

Следует добавить, что как в случае двойничества, так и странничества, громадную роль играла, наряду с традицией, и скитальческая натура самого Григорьева. Как только у него возникали мировоззренческий или душевный кризисы или житейские неурядицы, он стремился их преодолеть перемещением себя в другие края. Расстояний, границ, «здравого смысла» для Григорьева как бы не существовало, и он был готов немедленно ехать в Сибирь, в Заволжье, в Италию, в Париж, из столицы в столицу — лишь бы не застыть, не утонуть в житейской мути...

Как говорил позднее сам Григорьев в поэме «Вверх по Волге»:

Меня оседлость не прельщает,
Меня минута увлекает...
Ну, хоть минута, да моя!

Герои Григорьева, лишенные бытовых корней и привязанностей, так же легки на подъем, как и их автор, — и в этом отношении противостоят статичности героев и сюжетов в повестях и рассказах ранней «натуральной школы», отражавшей более массово-типичное состояние личностной неподвижности, закрепленности в николаевскую эпоху. Зато григорьевские скитальцы предвещают тургеневских героев, а в более отдаленной перспективе ведут к сложной проблеме «перемены мест», возникшей в конце XIX в.[18]

Вообще в григорьевской прозе оказалось неожиданно много зародышей, «черновиков», абрисов будущих значительных идейно-художественных разработок. Например, очень многое здесь предвещает известные

[16] *Кудасова В. В.* Проза Ап. Григорьева 40-х годов XIX века. — XXIX Герценовские чтения. Литературоведение. Научные доклады. Л., 1977, с. 29—33 (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

[17] *Ванслов В. В.* Эстетика романтизма. М., 1966, с. 102.

[18] См.: *Егоров Б. Ф.* Труд и отдых в русском быту и литературе XIX в. — В кн.: Культурное наследие древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976, с. 322—326.

тургеневские открытия. Ведь герои Григорьева не только эгоисты, они в бесплодных попытках бороться с жизнью или, чаще, даже не с жизнью, а с фантомами, с романтическими призраками, становятся усталыми, разочарованными, *лишними* (любопытный персонаж, переходящий из повести в повесть, Александр Иванович Брага, прямо о себе заявляет: «...я не литератор, не служащий, я человек вовсе лишний на свете» — с. 211); а 4 года спустя этот эпитет благодаря тургеневской повести «Дневник лишнего человека» станет всероссийски известным и значимым.

В словах Званинцева «любовь делает свободного человека рабом, который повсюду волочит за собою цепь» (с. 245—246) содержится зародыш тургеневской теории любви.

Спартанское воспитание полковником Скарлатовым Ванюши Званинцева (см. с. 204) — как бы прообраз будущей сходной истории тургеневского Лаврецкого (ряд других фактов биографии Лаврецкого Тургенев, надо полагать, заимствовал из рассказов Григорьева о его реальной жизни: известно их сближение в период создания «Дворянского гнезда» и слишком уж сходны эпизоды).

Темы двойничества и «наполеонизма», естественно, ведут к Достоевскому.

Есть еще одна тема, не очень подробно развитая Григорьевым, но важная для него, так как имеются доказательства ее автобиографичности,[19] — и она тоже ведет к Достоевскому и далее, к европейской литературе XX в. Это тема амбициозной гордости «униженного». В повести «Один из многих» во второй ее части («Антоша») излагается судьба Антоши Позвонцева, вытащенного Званинцевым с петербургского «дна», спасенного и приголубленного. Однако Антоша глубоко страдает от благодеяния: «...он спас его — и они неравны» (с. 236), глубоко страдает от духовно-нравственного неравенства людей вообще: «...почему я осужден встречать в жизни только высших или низших, а никогда равных?» (с. 237). Он не видит смысла в такой жизни: «Ибо что такое теперь, в самом деле, вся жизнь его? Неконченная драма, остановившаяся на четвертом акте... Все развитие совершено, оставалось пережить только катастрофу, а ее-то и не было» (с. 236). Антоша решает сам создать развязку своей драмы, пишет прощальное письмо Званинцеву («...не имея силы быть в любви властелином, я не хочу быть рабом» — с. 241) и кончает жизнь самоубийством.[20]

---

[19] См. в письме Григорьева к отцу от 23 июля 1846 г. воспоминания о нравственных страданиях, которые причинил отец сыну, благодаря К. Д. Кавелина за честь знакомства с Аполлоном: сын этим был глубоко унижен, ибо считал себя равным Кавелину (см. с. 298).

[20] Ср. в труде современного нам исследователя предромантического и романтического мировоззрения: «Смерть, гибель делались предметом постоянных размышлений и венцом жизни. Это, естественно, активизировало героические и трагические модели поведения. Отождествление себя с героем трагедии задавало не только тип поведения, но и тип смерти. Забота о „пятом" акте становится отличительной чертой „героического" поведения конца XVIII—начала XIX столетий» (*Лот-*

В «Эпизоде третьем» есть еще один своеобразный поворот этой темы, также, видимо, имеющий автобиографическую подкладку, так как здесь описываются страдания юноши Севского из-за деспотической и страстной любви к нему его матери (о подобных ситуациях в жизни Григорьева писал и он сам, и А. А. Фет). Автор так обобщает душевное состояние Севского: «Есть что-то глубоко унизительное для человека в принужденном участии, есть что-то страшно тяжелое в вынужденном великодушии людей близких к ним, есть, наконец, что-то отравляющее всякую радость в жертве, которую делают для человека люди слабее, ниже его» (с. 243—244). Отсюда всего один шаг остается до известного экзистенциалистского афоризма Ролана Барта: «Неблагодарность — это вынужденное проявление свободы».[21] Да фактически Григорьев и сделал уже этот шаг, заявив устами Севского другому непрошенному благодетелю, Званинцеву: «Да, я знаю, что унизился до того, чтобы быть вам обязанным» (с. 245).

Три месяца спустя после появления в печати процитированных строк Григорьева была опубликована обзорная статья Вал. Майкова «Нечто о русской литературе в 1846 году», где критик, анализируя «Бедных людей» Достоевского, истолковал объективно жестокие посылки Варенькой Макара Девушкина в магазины со «вздорными поручениями» (жестокие потому, что Макар должен покупать разные мелочи для свадьбы Вареньки с господином Быковым) именно как своеобразную месть, как «неблагодарность» освобожденного от унизительной опеки: «. . . едва ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое нерасположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который — сохрани боже! — еще нас любит! Кто потрудится пошевелить свои воспоминания, тот наверное вспомнит, что величайшую антипатию чувствовал он никак не к врагам, а к тем лицам, которые были ему преданы до самоотвержения, но которым он не мог платить тем же в глубине души».[22]

Не исключено, что на эту мысль Майкова натолкнули не только «Бедные люди», но и главы повести Григорьева «Один из многих». По крайней мере, эти черты как бы уже сгущались в идейном воздухе эпохи.[23]

ман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века. — Труды по знаковым системам. VIII. Тарту, 1977, с. 82). Как видно, поздний романтизм продлевал это мироощущение за пределы начала XIX в.

[21] *Barthes R.* Sur Racine. Paris, 1964, p. 38.

[22] *Майков В. Н.* Соч. в 2-х т., т. 1, с. 208.

[23] Ср. еще в повести А. И. Герцена «Долг прежде всего» (1851): «Быть близким только из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мой брат, что этот другой меня вытащил из воды, а этот третий упадет сам без меня в воду, — один из тягчайших крестов, которые могут пасть на плечи» (*Герцен А. И.* Собр. соч. в 30-ти т., т. VI, с. 299). Интересно, что если у писателей предыдущих поколений и возникали сходные ситуации, то главное внимание уделялось смягчению конфликта. Так, В. К. Кюхельбекер в романе «Последний Колонна» (1830-е гг.) подобную коллизию переводит в великодушный план: «Он спас мне жизнь, и с той поры он меня не чуждается: он понимает, как тягостна одолженному благодарность, когда тот, кому хочешь принесть ее, от нее отказывается» (*Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 524). Но, с другой стороны,

3

Ранняя автобиографическая проза Григорьева обрывается повестями «Один из многих» и «Другой из многих». А потом для автора начались бурные годы журналистской деятельности в Москве, затем он отправился за границу, и лишь оказавшись в тихой заводи в конце 1858 г. (вернувшись из-за границы, но еще не начиная активного сотрудничества в новом журнале «Русское слово»), Григорьев пишет автобиографический очерк «Великий трагик». Он, однако, оказался случайным, автор слишком был погружен в литературно-критическую полемику (впрочем, понимая большое значение заграничного периода для своей духовной биографии, Григорьев осенью 1859 г. пишет М. П. Погодину громадное письмо-исповедь с относительно подробным рассказом об итальянской и парижской жизни). Но к настоящим воспоминаниям, к очерку всего своего жизненного пути он приступил лишь в 1862 г., испытав еще немало надежд и разочарований, сменив до десятка различных журналов, прожив учебный год учителем в Оренбурге. . .

Воспоминания Григорьев начал писать за два года до смерти — будучи еще относительно молодым, сорокалетним. Правда, по меркам XIX в. сорокалетние считались чуть ли не стариками: вспомним, например, «старческий» облик сорокалетнего Николая Петровича Кирсанова, отца Аркадия, в тургеневских «Отцах и детях». Но все-таки сорок лет — еще не возраст мемуариста, даже по нормам XIX в. (если не считать исключительных обстоятельств, общественных и личных, которые могли, например, заставить Герцена в таком именно возрасте обратиться к воспоминаниям). Три товарища Григорьева студенческих лет, оставившие потомству свои воспоминания, — С. М. Соловьев,[24] А. А. Фет, Я. П. Полонский, писали их в значительно более «старческом» возрасте — с середины 70-х до конца 90-х гг. прошлого века. Что заставило Григорьева, помимо внешних толчков, вроде просьбы М. М. Достоевского, засесть за воспоминания таким еще молодым? Биологи обратили внимание на интересную

юный Станкевич в письме к Я. М. Неверову от 2 декабря 1835 г. уже жалуется, что ему «так обидно, так унизительно» после «великодушного упрека» девушки (Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914, с. 342). Здесь еще только-только зарождается тот «поворот» чувства, который проявится десять лет спустя в русской литературе и критике. Поразительно, что П. В. Анненков, комментировавший письмо Станкевича в середине 50-х гг. (в книге «Николай Владимирович Станкевич». М., 1857), явно невольно модернизирует состояние Станкевича, подтягивая его к новым трактовкам: «Он начинает понимать все, что есть оскорбительного в непрошенных жертвах, неделикатность их и посягательство на самостоятельность человека» (*Анненков П. В.* Воспоминания и критические очерки, т. III. СПб., 1881, с. 341).

[24] Следует оговориться, что С. М. Соловьев начал свои «Записки» еще раньше Григорьева — в 1854 г.; два года он писал о детстве и юности, видимо под воздействием эпохи, автобиографических повестей, первых глав «Былого и дум»; затем наступил многолетний перерыв — свыше 15 лет; тогда были созданы разделы об освобождении крестьян, о железнодорожном буме; конец «Записок» не найден, возможно, он и не был написан; умер С. М. Соловьев в 1879 г.

закономерность: организмы многих видов живых существ перед началом полового созревания оказываются максимально подвержены разным заболеваниям, т. е. возникновение способности продолжать свой род можно истолковать как реакцию особи и всего вида на опасность смерти. Было бы заманчиво предположить, что желание оставить после себя духовное «потомство», воспоминания, связано с предчувствиями конца...[25] Но биологически мы здесь ничего не выведем при современном состоянии науки, не впадая в мистику, социально же объяснить ситуацию можно значительно обоснованнее.

Начало 60-х гг. — самый трудный в духовной биографии Григорьева период. Он все более и более ощущает себя последним из могикан, последним романтиком, лишним человеком, ненужным, чужим для эпохи, поэтому-то он так решительно на нее нападает.

Причем его протест, возмущение, отталкивание были вызваны самыми различными явлениями: и невежественным мракобесием оголтелых консерваторов вроде В. И. Аскоченского, и социально-политическим террором правительства и бюрократии против прогрессивных сил, и, с другой стороны, идеями революционных демократов о «насильственном» переустройстве жизни. Григорьев всегда оставался противником любого вмешательства в «естественный» ход бытия, ему хотелось, так же как Ф. М. Достоевскому, соединить патриархальную жизнь простого народа с высокой европейской культурой под эгидой христианских начал, но без насилия, без поторапливания, а так, само собой... А жизнь шла совсем другим путем, и Григорьев не мог не видеть колоссальных пропастей между своими идеалами и реальностью, и в своих статьях и фельетонах 1863—1864 гг. он будет писать об этом со все большим отчаянием. И с такой же отчаянной страстью, с явным пониманием безвыходности своего положения он будет нападать на самых разных противников. А в частных письмах 60-х гг. у него все чаще и чаще проскальзывают трагические реплики о своей отсталости и отрешенности: «...струя моего веяния отшедшая, отзвучавшая и проклятие лежит на всем, что я ни делал».[26]

Из общественных групп Григорьева еще в конце 50-х гг. больше, чем все другие, привлекал круг Герцена—Огарева: «Веры, веры нет в торжество своей мысли, да и черт ее знает теперь, эту *мысль*. По крайней мере, я сам не знаю ее пределов. Знаю себя только отрицательно. Знаю, например, что мысль моя мало мирится хоть с мыслью Максима (т. е. Стеньки Разина или Емельки Пугачева), так же мало с слепым и отвергающим все артистическое социализмом Ч<ернышевского>, с таким же

---

[25] Ср. в «Зарницах памяти» дочери Л. Н. Толстого: «Одна из парижских газет задала читателям вопрос: по каким признакам можно узнать приближение старости? Кто-то ответил: „Старость приходит тогда, когда оживают воспоминания“. С некоторых пор я очень живо ощущаю этот феномен» (*Сухотина-Толстая Т. Л.* Воспоминания. М., 1976, с. 429).

[26] Письмо к Н. Н. Страхову от 23 сентября 1861 г. — *Материалы*, с. 280.

тупым и *безносьым*, да вдобавок еще начиненным всякой поповщиной социализмом славянофилов. Всего больше с мыслию Г‹ерцена›».[27]

Позднее, в начале 60-х гг., Григорьев сблизился с кругом Ф. М. Достоевского, вместе с ним создавал идеи «почвенничества», идеи синтеза патриархальности и европейской культуры, но Григорьев был настолько своеобразным и «строптивым», что и в близких ему кругах всюду находил чуждое, отталкивающее. В Герцене Григорьеву «претил» атеизм, в Достоевском — черты «западничества», и т. д. Что же делать? В статье о «Горе от ума» (1862) Григорьев именно так и поставил вопрос: что же делать благородному человеку в условиях чужого мира, тем более — в условиях «темного царства»? И дал очень унылый ответ: «...герой или гибнет трагически, или попадает в комическое положение».[28] Поэтому и личные прогнозы Григорьева были достаточно драматичны: вначале — «Афонская гора или виселица»,[29] затем — «либо в петлю, либо в Лондон, либо *что-нибудь* делать».[30] Живая, энергическая натура не позволила Григорьеву превратиться в монаха Афонского монастыря; многие обстоятельства, внутренние и внешние, мешали переезду к Герцену в Лондон; петлю на себе он затягивал медленно, но верно бурными излишествами жизни, а «что-нибудь делать» ему было не так-то легко в России. Вот эта социально-мировоззренческая безысходность, ощущение черты, края жизни и могли стимулировать, подталкивать писателя на создание мемуаров.

Показательно, что время было не очень-то «мемуарное»: как правило, всеобщий интерес к созданию и чтению воспоминаний, документов, собраний писем возникает по завершении какой-то эпохи, в относительно стабильной обстановке. В России такой период был чуть раньше, на закате николаевского режима и в первые годы после смерти Николая I, т. е. в середине 50-х гг.: литература дала тогда читателям основные части «Былого и дум» Герцена и «Семейную хронику» С. Т. Аксакова, а также обилие автобиографических повестей о детстве и юности. Но 1862—1864 гг., когда создавались мемуары Григорьева, были совсем неподходящими для подведения итогов и спокойного анализа: это годы ломки крепостничества, репрессивного подавления революционной ситуации в стране, польского восстания и его разгрома, интенсивнейшей журнальной борьбы в социально-политической сфере, экономической, философской, литературной... Было явно не до воспоминаний, когда каждый день сулил потрясающие неожиданности.

Но для социально-психологического склада Григорьева именно теперь наступило время... Он часто оказывался в положении фольклорного героя, который плачет на свадьбе и пляшет на похоронах, часто бесстрашно

[27] Письмо к Е. С. Протопоповой от 26 января 1859 г. — *Материалы*, с. 239. Максим — Афанасьев, знакомый Григорьева, проповедовавший революционные принципы.

[28] Время, 1862, № 8, с. 50.

[29] Письмо к Е. С. Протопоповой от 19 марта 1858 г. — *Материалы*, с. 230.

[30] Письмо к М. П. Погодину от 28 сентября 1860 г. — *Егоров*, с. 345.

плыл «против течения», так и здесь он не колеблясь принялся за задуманное.

Замысел написать книгу очерков-воспоминаний впервые возник у Григорьева, очевидно, в Оренбурге, куда он попал после бурных перипетий за границей, после петербургских трехлетних мытарств и путешествия через всю европейскую Россию. В письме к Н. Н. Страхову от 19 января 1862 г. он поделился своим замыслом: «Провинциальная жизнь, которую наконец я стал понимать, внушит мне, кажется, книгу вроде „Reisebilder“, под названием „Глушь“. Подожду только до весны, чтобы пережить годовой цикл этой жизни. Сюда войдут и заграничные мои странствия, и первое мое странствие по России, и жажда старых городов, и Волга, как она мне рисовалась, и Петербург издали, и любовь-ненависть к Москве, подавившей собою вольное развитие местностей, семихолмной, на крови выстроившейся Москве, — вся моя нравственная жизнь, может быть... В самом деле — хоть бы одну путную книгу написать, а то все начатые и неоконченные курсы!».[31]

Просьбы-«вызывания» М. М. Достоевского, о которых Григорьев пишет в своих воспоминаниях, наверное, относятся уже к возвращению Григорьева в Петербург летом 1862 г.: как видно, замысел расширился, и писатель решил начать с самого раннего детства.

«Reisebilder», упоминаемые Григорьевым в письме к Страхову, — это известные «Путевые картины» Г. Гейне. Воздействие метода и стиля гейневских очерков и мемуаров на европейскую литературу бесспорно, но меньше всего, пожалуй, они повлияли на автобиографическую прозу Григорьева: последнему была весьма чужда злая, разящая, разрушающая ирония Гейне, которую русский критик истолковывал как необычайно талантливую, имевшую законный успех благодаря «болезненной» эпохе романтизма, но иронию без основы, корней, без веры, так как автор — космополит и «вечный скиталец».[32]

Можно говорить лишь о преломленном влиянии Гейне на григорьевскую прозу: Гейне, несомненно, оказал воздействие своими очерками и мемуарами на «Былое и думы» Герцена, а это произведение было явно в поле зрения Григорьева, когда он трудился над книгой «Мои литературные и нравственные скитальчества». П. П. Громов остроумно предположил, что «сам замысел книги во многом обусловлен полемическим заданием противопоставить изображению процесса идейного формирования под воздействием русской действительности борца-революционера в „Бы-

[31] *Воспоминания*, с. 491. Ср. с записью Григорьева студенческой поры: «Мне кажется, что до сих пор мало обращали внимания на путешествия. Рассказывая о том, что видел, передавая свои впечатления о виденном, человек дает догадываться о своих воззрениях: может быть, изуча внимательнее *паломника Даниила*, мы найдем в нем характер русских XIII столетия (*Лекция Погодина, 1840 г. Окт. 10*)» (*Материалы*, с. 312).

[32] См.: *Григорьев Ап.* Генрих Гейне. — Рус. слово, 1859, № 5, отд. III, с. 15—28. Лишь в ранней прозе Григорьева можно обнаружить прямые следы влияния Гейне. См.: например, почти гейневский стиль при описании детства Званинцева и Мари (повесть «Один из многих», с. 206—207).

лом и думах" совершенно иное освещение (в особой художественной форме, во многом близкой — хотя и в порядке отталкивания — к стилистике гениальной книги Герцена) того же или очень близкого отрезка русской действительности. Если вспомнить, что Григорьев в своих работах часто полемизировал с Герценом, то такая трактовка его художественных мемуаров может оказаться вполне правдоподобной».[33]

В общих чертах эта трактовка имеет основание, в самом деле, «отталкивание» от «Былого и дум» у Григорьева было — и в содержании, и в форме. Но было и серьезное следование Герцену. Нельзя ведь забывать, что именно к концу 50-х—началу 60-х гг. отношение Григорьева к Герцену сильно меняется, становится почти апологетическим (полемика, упомянутая Громовым, велась раньше). Это видно не только по измененным оценкам известного романа «Кто виноват?» в печатных критических статьях (прежде именно «Кто виноват?» был главным объектом критики), но и по бесцензурным характеристикам. Григорьев писал к И. С. Тургеневу 11 мая 1858 г.: «Скажите Александру Ивановичу (Герцену, — *Б. Е.*), что сколько ни противны моей душе его цинические отношения к вере и бессмертию души, но что я перед ним как перед гражданином благоговею, что у меня образовалась к нему какая-то страстная привязанность. Какая благородная, *святая* книга „14 декабря"!.. Как тут все право, *честно,* достойно, взято в меру».[34] А в упоминавшемся уже письме к Е. С. Протопоповой от 26 января 1859 г. он называет идеи Герцена «смело и последовательно высказанным исповеданием того, чем некогда жили как смутным чувством мы все».[35] Подобные отзывы о Герцене содержатся и в тексте воспоминаний Григорьева: «...гениально остроумный автор писем о дилетантизме в науке», в том числе и отзывы именно о «Былом и думах»: «Один великий писатель в своих воспоминаниях сказал уже доброе слово в пользу так называемой дворни и отношений к ней, описывая свой детский возраст» (с. 69, 15—16).

Есть сведения, что Григорьев приобретал продукцию лондонской типографии Герцена, не только пребывая за рубежом, но и в России: агент III отделения доносил начальству 30 января 1861 г., что критик «иногда дает читать знакомым запрещенные книги, печатаемые за границею».[36] Курьезно, что царская охранка получила анонимный донос на Григорьева — якобы он организует политический заговор! Поэтому за ним и была установлена тайная слежка. Лишь после того, как несколько агентов в течение месяца следили за каждым шагом и словом Григорьева и убедились в абсурдности доноса (самая большая вина подозреваемого выражалась в чтении нелегальных книг — но тогда все их читали!), надзор был снят.

---

[33] *Громов П. П.* Аполлон Григорьев. — В кн.: *Григорьев Ап.* Избр. произв. Л., 1959 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 62—63.

[34] *Материалы*, с. 236 а.

[35] *Материалы*, с. 239.

[36] Центральный гос. исторический архив в Москве, ф. 109 (III отделение), секретный архив, оп. 1, № 1971, л. 9.

Нужно, конечно, учитывать что Григорьеву был чужд атеизм Герцена, его социально-политический радикализм, но зато были исключительно близки и страстные протесты Герцена против любого мракобесия, и его восторженное отношение к мужественным деятелям декабризма и страшного последекабрьского периода, и преклонение перед русским народом, и его художественный талант, и конечно же — благородная, стойкая, трагическая фигура самого автора. Знаменитая книга «Былое и думы» оказала глубокое воздействие на воспоминания Григорьева, прежде всего своим изумительным сплавом лиризма и историзма.

Лиричен, «субъективен» Григорьев был и сам достаточно, здесь для него не было необходимости в заимствовании, но историзма его литературным трудам в 50-х гг. явно не хватало. И углубление его исторического мышления в начале 60-х гг. происходило, наряду с другими «веяниями» эпохи, и под воздействием «Былого и дум». Бóльшая, по сравнению с предшествующим десятилетием, историчность оценок заметна, например, в его критических статьях, и особенно — в статьях ретроспективных, историко-литературных, посвященных 30—40-м гг. XIX в.: Григорьев в журнале Достоевских «Время», незадолго до своих воспоминаний, публикует целую серию статей, которая впоследствии Н. Н. Страховым была озаглавлена «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина», — «Народность и литература», «Западничество в русской литературе. Причины происхождения его и силы. 1836—1851», «Белинский и отрицательный взгляд в литературе», «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия»; в этом цикле Григорьев явно проникается «гегелевским» принципом исторической закономерности и исторической обусловленности литературных явлений.

Элементы историзма, разумеется, проникли и в воспоминания. Они позволили Григорьеву дать превосходные характеристики общественно-литературным течениям и событиям: такова, например, его оценка двойственности европейского романтизма, т. е. реакционных и радикальных тенденций в рамках этого направления; Григорьев ясно увидел связь идей Руссо и деятелей Великой французской революции, художественного творчества Вальтера Скотта и европейской реставрации (примеры взяты из VII и VIII глав «Детства») и т. п. Как бы вслед за Чернышевским Григорьев очень высоко отзывается о деятельности предшественников Белинского — Полевого и Надеждина (см. гл. V «Детства»).

Правда, многое в сложной истории XVIII—XIX вв. ему оставалось неясным или чужим. Он, например, искренне удивлялся, почему это «демократ» Погодин так враждебно относился к «другому демократу» — Полевому? К революционным действиям и идеологии XVIII в. как к «насильственным» Григорьев по-прежнему относится настороженно, отчужденно. И тем не менее страстная, яркая книга его воспоминаний, несомненно, находится в сфере влияния 60-х гг., влияния духа раскованности, свободных исканий истины, полемического задора. Мы ясно ощущаем при чтении воспоминаний, как мучительно бьется противоречивая мысль ав-

тора, стремящегося понять закономерности истории. А несколько, может быть, архаичный романтизм мышления оказывается, с другой стороны, своеобразным способом отталкивания Григорьева от всего консервативного, застойного, рутинного; романтизм ведет автора к сочувствию «тевтонско-революционному движению», как назвал критик период, начавшийся «бурей и натиском», Клопштоком и драмами Шиллера и приведший к «кинжалу», т. е. к кинжалу Карла Занда, убийцы Коцебу, к террористическим революционным актам начала XIX в., и, конечно же, — особенно важно подчеркнуть преклонение Григорьева перед декабристами, выраженное и в его воспоминаниях, и в критических статьях начала 60-х гг.

Объективные или относительно объективные воспоминания Григорьева в разных пропорциях и в разных ракурсах сливаются с лично-интимными (у Герцена, собственно говоря, тоже эти связи проявляются по-разному, но изменяются они лишь единожды: много раз уже писалось, что самое тесное слияние личного и общественного наблюдается в первых пяти частях «Былого и дум», последующие же части менее личностны, посвящены главным образом событиям и персонажам вне интимной жизни автора).

Начинает Григорьев с тесного сплава личных впечатлений и объективного духа исторических событий: «...я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый литературный интерес» (с. 7). Чуть дальше историческое даже как бы приподымается над личным: «Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху» (с. 10).

И затем в самом деле относительно объективно, хотя и с отдельными краткими разливами субъективного чувства, Григорьев описывает свое детство в Москве, в Замоскворечье 20—30-х гг. Так повествование довольно спокойно движется, пока не происходит взрыв; очевидно, сказалось и умственно-моральное перенапряжение из-за мировоззренческих кризисов и житейских неурядиц, и некоторое неудобство от добровольно надетых на себя объективно-исторических «пут». Григорьев пишет главу «Нечто весьма скандальное о веяниях вообще», резко личностную, субъективную, полемически заостренную против «прозаического» духа 60-х гг.; автор даже считал эту главу «скандальной и неприличной эксцентрической», хотя ничего подобного в ней нет, если не считать умеренно бранных выражений... Но, вылив на страницы воспоминаний свои романтические страсти, Григорьев как бы успокоился, и следующие до конца главы наиболее объективны, они почти лишены описания событий личной жизни, а повествуют главным образом о литературных произведениях 30-х гг., которые оказали наиболее сильное идеологическое и эстетическое воздействие на подрастающее поколение. В этой

объективированности, при всех романтических ореолах, тоже чувствуется влияние и эпохи вообще и «Былого и дум» в частности.

Что еще сближает воспоминания Григорьева с произведениями Герцена — это их глубокий демократизм. Григорьев всегда был, при всей социальной нечеткости его позиции, демократом, ненавистником барства, феодализма, аристократических привилегий, защитником народных прав — да он и сам себя не без оснований считал выходцем из народа и человеком, близким к народной жизни (под «народом» Григорьев разумел не только крестьянство, но и городские низы и средние классы: купечество, разночинцев). В рецензии на роман графа А. К. Толстого «Князь Серебряный» Григорьев обрушился на автора за то, что тот переносил ответственность за зверства эпохи Иоанна Грозного на равнодушие народа. Какого народа? — спрашивает критик, — «народ умел постоять за себя, когда дело касалось его интересов. Если он молчал, если Грозный становился все грознее и грознее, то потому, что народ не сочувствовал оппозиции земских бояр по той простой причине, что солоны ему самому были эти земские бояре, которых хочет наш романист выставить защитниками его прав против опричнины». Когда же опричнина, продолжает критик, затрагивала народ, «он умел постоять за себя, что гениально угадано Лермонтовым» (имеется в виду, конечно, «Песня про... купца Калашникова»). Этого народа не видел или не хотел видеть А. Толстой, заканчивает мысль Григорьев.[37]

Подобных демократических деклараций немало и в воспоминаниях: и в общей характеристике жизни в Замоскворечье и в семье Григорьевых, и в оценке деятельности Полевого и Надеждина, и в яростно ненавистном отношении к реакционному писателю М. А. Дмитриеву, сдерживаемом оглядкой на цензуру: «...это Фамусов, явно и по рефлексии презирающий народ и в купечестве и в сельском свободном сословии, Фамусов-идеалист, которому совершенно бесстыдно жаль, что для изображения зефиров и амуров не свозят

на многих фурах
от матерей, отцов отторженных детей,

и который в Москве старой видит идеал барского города...» (с. 56). В очерке «Великий трагик» мы также находим любовное описание демократической массы зрителей в театре и неоднократные презрительные, резкие характеристики аристократов. В бесцензурных письмах Григорьев выражался еще крепче. Вот как он характеризовал консервативного И. Е. Бецкого в письме к М. П. Погодину от 18 сентября 1857 г.: «...какая это гнусная гнида с неприличных мест грыжи Закревского!.. Вот, если когда-нибудь душа моя способна к ненависти, так это в отношении к подобным мерзавцам. Хамство, ханжество, нравственный и, кажется, даже физический онанизм, подлое своекорыстие, тупоумие и вместе пронырливость — вот элементы подобных натур. Православие (т. е. лучше

[37] Время, 1862, № 12, с. 51.

католицизм) Андрея Муравьева в соединении с фамусовским взглядом на просвещение».[38]

А с другой стороны, Григорьев ворчит — хотя более умеренно — на радикальный сатирический журнал «Искру», иронизирует по поводу естественнонаучных увлечений молодежи 60-х гг.: ему, романтику и гуманитарию, весьма чужды такие интересы, он даже задевает своего ученика и товарища, матерого идеалиста Н. Н. Страхова, намекая на его диссертацию «О костях запястья млекопитающих»: «...тебе, писавшему магистерскую диссертацию о каких-то никому, кроме микроскопа, неведомых костях инфузорий...». Ирония истории: Григорьев издевается над старичками «карамзинского» воспитания, которые совершенно не понимали идеалов и вкусов молодежи 30-х гг., но тут же он незаметно сам превращается в романтического старичка, издевающегося над увлечениями новых поколений...

В романтизме, получившем сложное наследие XVIII в., были две ипостаси: открытость всему миру, всем векам и народам, бездомность, доходящая иногда до всеядности и до космополитических деклараций, а с другой стороны — тяга к родной старине, народным преданиям, патриотический пафос. У Григорьева формировались некоторые (только некоторые!) свойства и от первой ипостаси: это, во-первых, его европейская образованность, внимание и уважение к «чужим» культурам, а во-вторых, бродяжническая натура, «охота к перемене мест» при малейших кризисных ситуациях. Но при этом главное место в мировоззрении и в чувствах писателя занимала все-таки вторая ипостась, любовь и интерес к своей национально-народной культуре, к ее духовным и материальным памятникам. С какой живой заинтересованностью и со знанием описывает Григорьев Москву, особенно родное Замоскворечье![39] В его стихотворениях, в письмах мы найдем не столь обширные, но тоже любовные описания Ярославля, Нижнего Новгорода и, наоборот, сетование на Оренбург как на «искусственный» город, без старинных соборов, древних икон, без традиций, город без истории (романтик забывал, что когда-нибудь и здания XVIII—XIX вв. станут историей!).

---

[38] *Егоров*, с. 336. Граф А. А. Закревский — генерал-губернатор Москвы, А. Н. Муравьев — религиозный писатель.

[39] В частных письмах Григорьев был еще более откровенным в выражении своей любви к Москве. См., например, его письмо из Флоренции к Е. С. Протопоповой от 26 января 1858 г.: «Мне представлялись летние монастырские праздники моей великой, поэтической и вместе простодушной Москвы, ее крестные ходы и проч. — все, чем так немногие умеют у нас дорожить и что на самом деле полно истинной, свежей поэзии, чему, как Вы знаете, я отдавался всегда со всем увлечением моего *мужицкого* сердца... Все это вереницей пронеслось в моей памяти: явственно вырисовывались то Новинское, то трактир, именуемый „Волчья долина", у бедного, старого, ни за что ни про что разрушенного Каменного моста, где я, Островский, Кидошников — все трое мертвецки пьяные, но чистые сердцем, целовались и пили с фабричными, то Симоновская гора, усеянная народом в ясное безоблачное утро, и опять братство внутреннее, душевное с этим святым, благодушным, поэтическим народом» (*Материалы*, с. 218—219; искажения и пропуски в тексте исправлены по подлиннику, хранящемуся в ИРЛИ).

Григорьева очень интересовали и узкосемейные традиции, как он выражался, — «дело физиологическое, родовое, семейное»; ему была присуща пушкинская «любовь к родному пепелищу»: трогательно он описывает свои неоднократные походы к дому Козина на Тверской, где он родился и провел раннее детство (однако впоследствии, в трудную денежную пору, Григорьев не задумываясь продал свой дом на Малой Полянке: «бродяга» взял верх над традиционалистом...).

При этом писателю совершенно чужда «семейственность», несправедливое пристрастие к «своим» и т. п. Наоборот, он стремится как можно объективнее и справедливее обрисовать своих родителей, с противоречиями, с «про» и «контра»: не скрывает, а даже скорее подчеркивает пошловатую приземленность отца, бранчливость и деспотизм матери, — но не забывает отметить, характеризуя отца, и ум его, и доброту, и образованность. Эта умеренность, объективность особенно выигрывают при сравнении с тем очень и очень негативно пристрастным отношением сына к отцу в годы, когда писались воспоминания; вот, например, отрывок из письма Григорьева к М. П. Погодину от 16—17 сентября 1861 г.: «Отца моего я не мог никогда (с тех пор, как только пробудилось во мне сознание, а оно пробудилось очень рано) уважать, ибо, к собственному ужасу, видел в нем постоянный грубый эгоизм и полнейшее отсутствие сердца — под внешнею *добротою*, т. е. слабостью, и *миролюбием*, т. е. гнусною ложью для соблюдения худого мира. Сначала (еще не очень давно — лет 18 назад) — деспот до зверства; потом игрушка своих людей, раб первого встречного, он был бы постоянно моим рабом, если бы мне постоянно везло счастье».[40]

Относительная полнота и объективность изображения событий и людей в воспоминаниях по сравнению с частными письмами объясняется прежде всего стремлением Григорьева к исторической справедливости: ведь в воспоминаниях он описывал отца таким, каков он был не 18, а 30—35 лет назад, да еще в какой-то степени приноравливаясь к своим собственным впечатлениям детства, лишь корректируя их взрослым взглядом.

Но не было ли здесь еще и печатного публичного приукрашивания, нежелания выносить сор из избы? Ответ на этот вопрос дать непросто. Значительно проще, скажем, было бы ответить на подобный вопрос по поводу мемуаров А. А. Фета: там столько замалчиваний и переакцентировок при описании родителей, что нет сомнений в специальном замысле Фета утаить от читателя ряд фактов, а некоторые и прямо подать иначе, чем это было в действительности. Думается, что сознательного искажения у Григорьева не было; Фет, которому при характеристике родителей своего друга не было никаких резонов отходить от реальных наблюдений, описывает его отца приблизительно теми же красками, что и собственный сын; впрочем, еще менее привлекательной, чем в сыновних воспоминаниях, выглядит у Фета мать Григорьева, но здесь могло сказаться

[40] *Материалы,* с. 276; текст исправлен по списку ошибок: *Егоров,* с. 351.

неосознанное, корректирующее негативные эмоции чувство сына, а не сознательное обеление, приукрашивание.

Единственное, в чем можно бы упрекнуть Григорьева, — это в умолчании о всех трудностях, которые стояли перед его родителями при женитьбе, и о многолетних неприятностях их «незаконного» сына (ведь потомственный дворянин Александр Иванович Григорьев к ужасу родителей полюбил дочь крепостного кучера; обвенчаться с нею ему удалось уже после рождения сына Аполлона, который из-за этого чуть не стал крепостным; с помощью хитрых уловок удалось его зачислить московским мещанином, приписав тем самым хотя и не к крепостным душам, но тоже к податному сословию, со всеми будущими ограничениями в правах, с опасностью николаевской солдатчины и т. д.). Вкратце и не без сочувствия, видя в этой ситуации очень близкую к своей, описал происхождение Григорьева Фет, но сам Григорьев не сказал о ней ни слова. В его жизни, правда, не было тех невыносимых нравственных страданий, которыми был обуреваем Фет: похоже, что Григорьев довольно спокойно относился к своему «незаконному» рождению и к мещанскому званию (скорее даже гордился им: оно, видимо, давало ему право неоднократно заявлять о своей кровной связи с народом), хотя, естественно, и не отказался от личного дворянства, которое он получил, дослужившись в 1850 г. до чина титулярного советника.

О своих податно-мещанских неудобствах Григорьев скорее всего умолчал по равнодушию к ним, а о неравном и позднем браке родителей — вероятно, по деликатности, не желая бросать на них (а не на себя!) тень.

В целом же Григорьев бесстрашен и откровенен при изображении своего детства: он не стесняется показывать не только пошловатость отца и деспотизм матери, но и свои «грехи»: как его, подобно Ильюше Обломову, до тринадцати лет одевали — обували, как отрицательно влияла на него распущенная дворня, как он ленился в учебе... Свою леность и якобы туговатость ума Григорьев даже преувеличивал: все мемуаристы говорят об удивительной памяти его, Фет подчеркивал еще усидчивость, старательность Григорьева-студента, быструю усваиваемость им материала (да мы это можем документально подтвердить: в его университетском аттестате стоят одни пятерки). Правда, Григорьев говорит не о студенчестве, а о раннем детстве, но все равно чувствуется преувеличение своих недостатков.

Вообще в воспоминаниях Григорьева, скорее в духе современной ему реалистической литературы, чем в духе романтической традиции, очень много будничного, бытового, случайного, хотя и овеянного духовными стремлениями, наполненного широкими обобщениями. Герцен создавал «Былое и думы», замышляя показать связь с историей человека, *случайно* оказавшегося на ее дороге; но фактически в книге не так много случайного: Герцен сознательно типизировал, отбрасывал ненужные детали, некоторые неприятные черты и события; автор как бы шел от случайного к типическому. Григорьев, наоборот, в начале своей книги

декларирует объективность и исторически-эпохальную типизацию, но затем довольно часто уклоняется в сторону личного, случайного, нетипического. И если Герцен сознательно создавал «Былое и думы» как произведение о становлении положительного героя современности, то Григорьев так же сознательно дегероизировал свое «я» — в этом существенное различие двух мемуарных книг.

Фет и С. Соловьев никогда не собирались писать воспоминания героического плана, но в их мемуарах заметна тенденция избегать ситуаций, где главный персонаж попадал бы в унизительные положения; если же он оказывался в разных переделках, приводивших к неприятным для него последствиям, то тут же назывались и виновники, сам же автор нисколько не был ответственным за случившееся. Зато еще один однокашник Григорьева — Я. П. Полонский может занять в кругу друзей первое место по удивительно откровенному, совершенно безамбициозному изложению не только радостных событий, но и весьма обидных для автора. Вот, например, отрывок из его воспоминаний: «Раз в университете встретился со мною Аполлон Григорьев и спросил меня: — „Ты сомневаешься?" — „Да" — отвечал я. — „И ты страдаешь?" — „Нет". — „Ну так ты глуп", — промолвил он и отошел в сторону. Это нисколько меня не обидело. Я был искренен и сказал правду; мои сомнения были еще не настолько глубоки и сознательны, чтоб доводить меня до отчаяния».[41]

Что, однако, сближает воспоминания Григорьева с «Былым и думами» — это своеобразная «вершинность», изображение лишь наиболее ярких эпизодов и черт, запомнившихся авторам. Оба выступают как *художники*, рисующие картины крупными мазками, а не как ученые, стремящиеся протокольно зафиксировать как можно больше фактов. Нужно учесть, что такого рода «протокольность» — вовсе не привилегия реальных ученых, хотя для них это и характерно: наиболее показательны здесь воспоминания старшего, по сравнению с Григорьевым, выпускника Московского университета Ф. И. Буслаева и младшего — Б. Н. Чичерина, с чуть ли не дневниковым изложением событий, с подробными характеристиками школьных и университетских учителей, товарищей, знакомых, со включением реальных писем и т. п. Но и Фет, весьма далекий от науки, в своих обширных мемуарах тоже выступает как скрупулезный ученый, стремясь не забыть даже незначительных встреч, разговоров, поездок, не говоря уже об обильной россыпи писем, впервые публиковавшихся, в том числе писем Л. Толстого и Тургенева. Даже Полонский, при явно ослабевшей в старости памяти, старается включить в воспоминания *все*, что он помнит из студенческих лет. Видимо, при всем разнообразии мемуаров их можно делить на две группы: близкие к дневникам, к историческим документам — и художественно обобщенные, с нарочитой выборочностью, с хронологической и сюжетной свободой. К последним принадлежит большинство воспоминаний крупных писателей, и русских и зарубежных.

---

[41] *Полонский Я. П.* Мои студенческие воспоминания. — «Ежемесячные литературные приложения» к «Ниве», 1898, № 12, стб. 661—662.

Своеобразие художественой «краткости», «вершинности» воспоминаний Григорьева заключается в том, что, погруженный в мир литературных ассоциаций, автор часто мыслит уже созданными известными образами-характерами и положениями, поэтому, когда речь заходит о каком-либо персонаже, напоминающем разработанный в литературе тип, Григорьев ограничивается краткой отсылкой. Так, вместо подробной характеристики своего деда он отмечает его сходство со старшим Багровым из «Семейной хроники» С. Т. Аксакова; описание дворни сводится к отождествлению с подобными описаниями в «Сне Обломова» и в «Былом и думах»; чтобы объяснить читателям сущность своего отца, «благоразумного» образованного обывателя декабристской эпохи, автор ссылается на «Дневник студента» С. П. Жихарева. Григорьев ориентируется на литературно грамотного читателя: «. . . общего знания хода истории литератур и значения литературных периодов я имею основания требовать от того, кому благоугодно будет разрезать эти страницы» (с. 70), — поэтому и при создании образов, и при чисто историко-литературных характеристиках ограничивается намеками и отсылками.

4

Теоретики-лингвисты изучают живую непринужденную речь как своеобразную лабораторию, где неосознанно формируются оригинальные грамматические обороты, многие из которых в будущем приобретут статут нормы, закона. Подобные наблюдения проводятся и литературоведами: письма, дневники, воспоминания писателей тоже часто оказываются лабораторией для будущих художественных открытий, иногда даже для будущих поколений, а не для себя. Выше в связи с повестями 40-х гг. мы уже касались некоторых художественных и идеологических черт, как бы предугаданных Григорьевым, но развитых другими писателями. А вся автобиографическая проза Григорьева, от юношеских «Листков из рукописи. . .» до предсмертных воспоминаний, может быть рассмотрена как черновая лаборатория русской литературы XIX в. в плане психологизма.

«Обостренный интерес к душевным противоречиям и к подробностям психического процесса — два существеннейших признака психологизма XIX века», — справедливо указывает современный исследователь.[42] Далее Л. Я. Гинзбург отмечает, что Герцен в «Былом и думах» далек и от первого и от второго аспектов при характеристике персонажей: «Герцен остается при суммарном изображении душевных состояний не потому, чтобы он не знал, не понимал возможности их детализации и усложнения, но потому, что не это было ему нужно».[43]

С таким заключением можно бы и поспорить; чрезвычайно ведь трудно утверждать применительно к какому-либо деятелю, почему именно он чего-то не создал: потому, что ему это *не нужно*, или потому,

[42] *Гинзбург Л. Я.* О психологической прозе. Л., 1977, с. 254.
[43] Там же.

что *не мог*? Но по крайней мере сам факт *отсутствия* «детализации и усложнения» налицо. Очевидно, что для углубленного психологического анализа нужно очень много благоприятных предпосылок: и культурная традиция, и внимание к личности, и атмосфера сосредоточенного наблюдения за внутренним миром личности, и многое другое. При наличии отдельных предпосылок могли совершаться удивительно яркие прорывы, которые, однако, не становились всеобщим достоянием (такими прорывами в литературе XVIII в., например, были психологические художественные открытия Руссо и Дидро). Приведем сходный пример из естественной истории: до появления человека было в животном мире немало попыток прорваться к разумной жизни, но они всегда затухали из-за ограниченности благоприятных обстоятельств (муравьи и пчелы не смогли из-за размеров мозга у насекомых, дельфины — из-за недостатков водной среды по сравнению с земной, и т. д.).

В истории русской литературы мы знаем гениальный рывок к психологизму, на гребне «личностной» волны позднего романтизма, — в «Герое нашего времени» Лермонтова, рывок, который потом десять лет не был поддержан ведущими писателями, так как 40-е гг. оказались обстоятельственно нужными прежде всего для становления в литературе обобщенно-социальных типов, для развития навыков изображать человека как продукт среды. И лишь подспудно, зная уже то, что будет потом, — у Толстого и Достоевского, мы извлекаем черты глубинного психологического анализа у Гоголя, Достоевского, Тургенева и других писателей 40-х гг.

Художественные произведения Григорьева, созданные на мощной «лермонтовской» волне, хотя и на ее спаде, тоже не могли не поддаться новшеству — психологизму. «Шеллингианской» натуре Григорьева было чуждо чувство *процесса*, становления, хронологического развития, поэтому данная ипостась психологизма XIX в. прошла совершенно мимо него, зато изображение душевной напряженности, конфликтности, противоречивости всегда его привлекало, и в стихах его и в прозе нашло заметное отражение. В том числе и в автобиографической прозе.

Начиная с первых строк «Листков из рукописи...», где герой говорит заведомую неправду и тут же анализирует причину обмана, и кончая многими яркими страницами основной книги воспоминаний, Григорьев постоянно стремится показать сплетение в душе противоречивых чувств и помышлений, их нерасторжимую запутанность. Ср. в его цикле стихотворений «Элегии» (1846), где это стремление особенно сгущено:

Только тому я рад, над чем безгранично владею,
Только с тобою могу я себе самому предаваться,
Предаваясь тебе... Подними же чело молодое,
Руку дай мне и встань, чтобы мог я упасть пред тобою.

Недаром он так любил оксюмороны и вообще контрастные сочетания противоположных понятий: «Руки ваши горячи — а сердце холодно», «диковинно-типическое Замоскворечье», «О! эти муки и боли души — как они были отравительно сладки!». Немало подобных оксюморонов и противопоставлений в поэзии Григорьева.

Стиль воспоминаний напряжен, запутан (некоторые «задыхающиеся» периоды растягиваются у Григорьева до большого абзаца, почти на целую страницу) и тоже очень контрастен; Григорьев любил, как и раньше, сочетать высокие философские или литературные размышления с самыми «низменными» житейскими выражениями: «передовой (Н. А. Полевой, — *Б. Е.*) скоро „сбрендил“ до непонимания высшей сферы пушкинского развития» (с. 49); «Из юношей, веривших в упомянутую песню, образовались или подьячие-пивогрызы, или лекаря-взяточники, или просто нюни и пьянюги» (с. 59).

Очень много перенесено в воспоминания любимых фраз и терминов из критических работ: «...точнее и цветнее сказать...» (с. 27); «Вальтер Скотт некоторым образом *сделался,* Анна Радклиф *родилась*» (с. 69; здесь звучит дорогая Григорьеву мысль о разделении произведений на естественно рожденные и искусственно сделанные). Григорьев до смерти не мог забыть, как его бывший друг Я. П. Полонский не пропустил в печать фразу из рецензии «Русский народ переживает двойную формулу» — из-за ее невразумительности,[44] — и все-таки хоть в воспоминания ее вставил (в другом истолковании): «Аркадия единственно возможна под двумя формулами...» (с. 56). Интересны также переклички некоторых особенностей мемуарного стиля с аналогичными оборотами в григорьевской поэзии. В поэме «Вверх по Волге» мы находим сходные конструкции (например, ср. в поэме: «И он частенько пантеист, И пантеист весьма во многом» — и в «Скитальчествах»: «...был по натуре юморист, и юморист, как всякий русский человек, беспощадный», с. 29), общие выражения («Я не был в городе твоем... Его черт три года искал» — и «...одного из тех городов, которых черт „три года искал“», с. 31), подобно тому, как многие фразы «Листков из рукописи...» (например, «Я и она осуждены равно») были поэтически развернуты в стихотворениях начала 40-х гг.[45]

Вообще автобиографическая проза, критические статьи и поэзия составляют у Григорьева три краеугольных камня его творчества, находясь в своеобразных взаимосвязях между собою. Таким образом, его проза занимает особое место и в общем наследии русской культуры, и, в частности, в литературном наследии самого писателя, сыгравшего в русской культуре и литературе немаловажную роль, — потому григорьевская проза и представляет интерес для нашего современного читателя.[46]

---

[44] См. письмо Я. П. Полонского к А. А. Фету от ноября 1889 г. — *Материалы,* с. 340.

[45] В уже упоминавшейся статье В. В. Кудасовой подчеркнут еще один аспект взаимосвязи прозы и поэзии Григорьева: проза может быть рассмотрена как «переходный мост между стихами и поэмами» (*Кудасова В. В.* Проза Ап. Григорьева 40-х годов XIX века, с. 31).

[46] Широкий культурологический аспект писательского автобиографизма становится в последние годы предметом специального изучения. Например, в Польше в 1973 г. была проведена «биографическая» конференция, материалы которой опубликованы в интересном сборнике: Biografia — geografia — kultura literacka. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1975.

Г. А. Федоров

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РАННИХ ГОДАХ ЖИЗНИ АП. ГРИГОРЬЕВА

Нами недавно обнаружены в архивах Москвы новые материалы об Ап. Григорьеве, его семье и о близких ему людях.

Окончательно устанавливаются происхождение и основные вехи жизненного пути деда Григорьева:

«СВИДЕТЕЛЬСТВО

По Указу Его Императорского Величества дано сие из московской Управы благочиния надворному советнику Ивану Григорьеву сыну Григорьеву по поданному от него доношению и по учиненному в управе определению для представления к получению на дворянское достоинство грамоты в том, что он Григорьев как по послужному списку значит: в службу вступил из обер-офицерских детей в Волоколамскую воеводскую канцелярию копеистом ‹1›770-го июля 25-го, по Указу Московской губернской канцелярии взят в оную 777-го октября 10-го. Подканцеляристом 778-го марта 30-го. Канцеляристом 780-го декабря 15-го. Регистратором 782-го октября 4-го. По уничтожении оной (Волоколамской канцелярии, — *Г. Ф.*) в оставшем‹ся› для решения дел в губернском департаменте правил протоколистскую и секретарскую должность, из регистраторов по Указу Правительствующего Сената награжден чином коллегского секретаря 784-го октября 4-го, по предложению его сиятельства бывшего московского губернатора, что ныне сенатора, графа Федора Андреевича Остермана посылан был в город Серпухов для производства дел в комиссию о неуказной вина продаже в 1779-м, в 789-м сентября 10-го командирован был в учрежденную по именному Ее императорского Величества Указу к клеймению иностранных товаров комиссию и был по 790-й год, которая о награждении ево за рачительность представила бывшему тогда главнокомандующему Петру Дмитриевичу Еропкину, а 15-го февраля 790-го года городской магистрат доносил правлению, что он комиссиею усмотрен рачительным и знающим в делах, а тем более в исправлении возложенной на него должности похваляет, за что в том же году по именному Указу имел щастие с протчими чиновниками чрез Московское губернское правление получить благоволение, переведен в Стат полиции (Управу благочиния, — *Г. Ф.*) 791-го августа 5-го, где произведен коллегским асессором 796-го декабря 31-го. 1801-го года удостоился получить от Его Императорского Величества табакерку и медаль третьего сорта, а ныне находится при сей Управе препорученной денежной казне за казначея при немалой тысячной сумме, надворным советником 1802-го декабря 31-го, в штрафах и под судом не бывал и аттестовался к продолжению службы способен и к повышению чина достоин, женат, детей имеет: сына Александра 15-ти ‹лет›, обучается в Императорском университете,

дочерей Катерину и Александру; от роду ему Григорьеву 41-н год, за собой имеет дворовых людей 12-ть душ. Декабря 15 дня 1803-го года» (*ЦГИА г. Москвы, ф. 4, оп. 10, д. 544, л. 2—3*).

Явившийся в 1777 г. в «нагольном тулупе», как замечает внук, «составлять себе фортуну», И. Г. Григорьев, вероятно, жил некоторое время в одном из домов причта церкви Великомученика Никиты, что в Старой Басманной. Дома церковнослужителей стояли на углу Старой Басманной по проезду к Денисовским баням, как тогда назывался Гороховский переулок. В угловом доме по переулку (ныне № 2) жил дьякон, в следующем (№ 4) — священник.

В 1770—80-х гг. протоиереем недавно выстроенной и славящейся своею величественной красотой церкви знатного прихода был «Иоанн Иоаннов»; как выясняется из архивных документов[1] — дядя И. Г. Григорьева. Таким образом подтверждаются слова А. Григорьева о «родстве из духовенства по мужской линии»...

В приходе церкви Великомученика Никиты, в доме дяди (Гороховский пер., д. 4) зарождалась семья И. Г. Григорьева. В этом приходе он венчался, причем жена его была не из рода дворян Скобельцыных (см.: *Материалы*, с. 315), а «уволенная вечно на волю <...> дворовая девица Марина Николаевна».[2] Здесь же в доме двоюродного деда родились будущий отец Ап. Григорьева (1787) и сестра отца Екатерина (1788); сведения родословной книги дворянства (где указаны соответственно 1788 и 1789 гг. — см.: *Материалы*, с. 315) ошибочны.

К самому началу 1790-х гг. относится приобретение И. Г. Григорьевым владения на Малой Дмитровке (ул. Чехова). В списке о семействе и состоянии И. Григорьев писал: «Недвижимого имения имею благоприобретенный в Москве дом, состоящий Стретенской части 1-го квартала № 72, к нему причисленных дворовых людей мужска пола 12, женска 10 душ».[3]

«Геометрический план дому состоящему Стретенской части 1-го квартала под № 72 надворного советника Ивана Григорьевича Григорьева <...> измерен июня 11-го дня 1803-го года», раскрывает нам дедовскую Аркадию. Всего во владении «застроенной и незастроенной» было 881¼ кв. сажени земли, из них под двором, садом и незастроенной землей — 639½ кв. саженей. Два дома — двухэтажный каменный и одноэтажный деревянный стояли по красной линии левой (по-современному — нечетной) стороны Малой Дмитровки.[4] Детство и отрочество отца А. Григорьева, его теток Екатерины и Александры и дяди Николая (последние двое крещены в приходской церкви Пимена Великого, что в Старых Воротниках), прошли в родительском доме на Малой Дмит-

---

[1] ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 747, ед. хр. 540, (1785), л. 261.

[2] Там же, оп. 745, ед. хр. 53 (1787), л. 87 об.

[3] Сведения относятся к 1807 г.; ЦГИА г. Москвы, ф. 4, оп. 10, д. 544, л. 4.

[4] Историко-архитектурный архив г. Москвы (далее: ИАА г. Москвы), Арбатская часть, № 79—80, 80.

ровке. Не все погибло в пожаре 1812 г. За год до смерти — в 1863 г. — А. Григорьев с горькой иронией писал: «Мне, судя по всем данным моего рождения, следовало <...> восстановить бывалый блеск не весьма, впрочем, древнего рода Волоколамских,[5] перекупивши у нового владельца[6] дома покойного дедушки Ивана Григорьевича на Малой Дмитровке, проданные в развалинах после французского нашествия».[7] Владение деда А. Григорьева приходится на участки современных домов 25 и 27 (с дворами) по ул. Чехова. Каменный дом (№ 27), претерпевший ряд изменений после восстановления в 1812 г., прожил немногим меньше двухсот лет.

Формулярный список А. И. Григорьева (отца) опубликован Влад. Княжниным,[8] некоторые подробности его жизни сообщены в воспоминаниях сына.

Лишь недавно нам удалось наконец установить дату и место рождения Аполлона Григорьева и обнаружить документ о событии, повлиявшем на дальнейшую судьбу ребенка.

Приведем две метрические выписки:

ВЕДОМОСТЬ ИМЯННАЯ, УЧИНЕННАЯ НИКИТСКОГО СОРОКА ЦЕРКВИ ИОАННА БОГОСЛОВА, ЧТО В БРОННОЙ <...> В 1822 году ГЕНВАРЯ С 1-го ДНЯ <...>

№	Число	Когда кто родился, кем крещен и кто при этом были восприемники
		Июля
13	16	В доме Щеколдиной у живущей в нем мещанской девицы Татианы Андреевой, родился сын Апполоний, крещен 22-го дня. Восприемник был квартальный надзиратель Гавриил Михайлов Ильинский. Восприемница была мещанка вдова Анна Степановна Щеколдина, оное крещение справляли все.[9]

Это та самая церковь, частично сохранившаяся до наших дней, где за 10 лет до крещения Ап. Григорьева крестили А. И. Герцена.

Считается, что обручению дворянского сына А. И. Григорьева с мещанкой девицей Татьяной Андреевой препятствовали его родители. На самом же деле лишь одна мать — отец умер до 1818 г.

Через два дня после крещения — 24 июля — незаконнорожденного младенца «Апполона Александрова» отдали в императорский Московский воспитательный дом.

---

[5] Надо думать, ироническое «возвышение» имени обер-офицерского сына Ивана Григорьева (ср., например, — Вяземские).

[6] К этому времени, однако, единое владение, некогда принадлежавшее деду, распалось на два самостоятельных владения, принадлежавших разным владельцам.

[7] *Воспоминания*, с. 332.

[8] *Материалы*, с. 316—317.

[9] ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 747, ед. хр. 238, л. 201.

В Ведомости той же церкви следующего 1823 г. записано:

Кто именно венчаны	Числа венчания	Кто были поручители или поезжане
Месяц генварь 1. Женился титулярный советник Александр Иванов Григорьев, а понял за себя московскую мещанскую девицу Татиану Андрееву. Жених и невеста первым браком, о коих надлежащий обыск с поручителями чинен был. Оный брак венчан священником Иваном Антоновым с причтом.	26	По жениху: губернский секретарь Гаврила Михайлов Ильинской, коллежский секретарь Петр Алексеев Дубенский, коллежский регистратор Егор Афанасьев Леонов. По невесте: московский мещанин Андрей Васильев Ткачев, поручик Иван Иванов сын Гурнин, коллежский регистратор Никита Александров Прозоров.[10]

Спустя несколько месяцев после венчания родителей по прошению, поданному титулярным советником Александром Григорьевым, «младенец Аполлон был отдан упомянутому родителю, который, признав его за своего родного сына и обещав взять совсем на свое содержание и попечение, вступает во всем в родительское право, а посему реченный воспитанник и не считается уже в числе питомцев воспитательного дома».[11]

Дом А. Щеколдиной (крестной матери А. Григорьева), в котором родился Аполлон Григорьев и где некоторое время жил он после воспитательного дома в родительской семье, не сохранился. Он стоял на углу Южинского переулка (на месте д. 2) и ул. Остужева (тот же дом под № 12).[12] 25 ноября 1823 г. у Григорьевых родился сын Николай, проживший меньше месяца.

Вероятно, после смерти второго сына Григорьевы переселились из флигеля дома Щеколдиной в дом купца-раскольника (в этом приходе раскольников жило немало) Игнатия Ивановича Казина (писалось и «Козина»), стоявший в соседнем приходе церкви Рождества Христова, что в Палашах. Большой казиновский дом (в два этажа, с двадцатью окнами по фасаду) был многолюдным. Кроме четырех чиновных особ, не считая Григорьевых, у Казина жили «московские мещане» (6 человек), «девицы» (5 человек), «вольноотпущенные» (10 человек), «свободный хлебопашец» (1 человек). Владение Казина находилось на расстоянии одного дома от Тверской улицы, почти у самых Тверских ворот

[10] Там же, оп. 745, ед. хр. 242, л. 309.
[11] Из «Свидетельства», выданного 30 мая 1823 г. (*Материалы*, с. 317).
[12] ИАА г. Москвы, Арбатская часть, № 571.

со Страстным монастырем; часть же казиновского двора выходила непосредственно на Тверскую (ныне — Малый Палашевский пер., д. 6).[13]

В январе 1827 г. у Григорьевых родилась дочь Мария, прожившая тринадцать недель. После смерти дочери Григорьевы переезжают в другой район города — Замоскворечье («уединенный и странный уголок мира», по признанию А. Григорьева), «вскормившее» и «взлелеевшее» его. Поселились они в приходе Спаса, на Болвановке.

«Мрачный и ветхий дом с мезонином», как и соседний, «с явными претензиями, <...>, с дворянской амбицией», действительно некогда оба «принадлежали одному дворянскому семейству, не из сильно, впрочем, родовитых, а так себе» (наст. изд., с. 21). Владельцами их были супруги С. Д. и А. А. Брыкины.[14] Домом А. А. Брыкиной некоторое время владела младшая сестра ее мужа — М. Д. Брыкина, а в год поселения в нем Григорьевых хозяйкой дома стала ее старшая сестра — штабс-капитанша вдова О. Д. Ешевская[15] («вдова-барыня с двумя дочерьми-девицами»).[16] «Хозяин другого (т. е. ранее принадлежавшего С. Д. Брыкину, — *Г. Ф.*), — пишет А. Григорьев, — племянник вдовы, жил где-то в деревне, и дом долго стоял опустелый, только на мезонине его в таинственном заключении жила какая-то его воспитанница. И об этом мезонине, и об этой заключеннице, и о самом хозяине пустого дома, развратнике по сказаниям и фармазоне, ходили самые странные слухи» (наст. изд., с. 21). Дом этот на самом деле принадлежал «покойного надворного советника и кавалера Степана Дмитриева Брыкина воспитаннице девице Елене Степановой», а сам «развратник» и «фармазон» коллежский асессор и кавалер М. Бороздин был «попечителем ее».[17]

Передним фасадом дом Ешевской смотрел на ограду церкви Спаса Преображения на Болвановке, а боковым выходил в М. Болвановский переулок, переходивший в Словущенский (нынешний 6-й Монетчиковский), выводивший к «проезду по Земляному валу», т. е. к Зацепе. «Забор, — пишет А. Григорьев, — выходил уже на Зацепу, и в щели по вечерам смотрел я, как собирались и разыгрывались кулачные бои» (с. 22).

Между 1831 и 1832 гг. А. И. Григорьев приобретает дом на Малой Полянке в приходе Спаса Преображения в Наливках. В последний раз семья Григорьевых исповедовается в церкви Спаса Преображения на Болвановке в 1831 г.

Исповедные ведомости 1828 г. называют нам (с указанием возраста) дворовых семьи Григорьевых — людей, оставивших неизгладимый след в памяти Аполлона Григорьева:

Василий Яковлев — 37 (кучер),
жена его Прасковья Степановна — 36 (старшая нянька и некоторое время кухарка),

---

[13] Там же, № 526.
[14] ИАА г. Москвы, Пятницкая часть, № 590, 589.
[15] ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 747, ед. хр. 1106 (1828 г.), л. 415 об.
[16] Старшую — Софью Ивановну Григорьев упоминает, рассказывая об «амурных» делах своего учителя Сергея Ивановича.
[17] ЦГИА г. Москвы, д. 203, оп. 747, ед. хр. 1106 (1828 г.), л. 415.

Иван Михайлов — 16,
Лукерья Григорьева — 18 (младшая нянька),
Марина Михайлова — 12[18] («деревенская девочка <...>, взятая из деревни для забавы» Аполлону).

И наконец, «семинарист тридцатых годов» — первый учитель Аполлона Григорьева. Дважды — в 1830 и в 1831 гг. — вместе с семьей Григорьевых исповедовается «университетский студент медицины» — Сергей Иоаннов Лебедев. В 1830 г. ему 19 лет.[19]

---

[18] Там же, л. 416.

[19] Студенческое дело С. И. Лебедева в фонде университета, хранящегося в ЦГИА г. Москвы, нами не найдено. В книге Л. Ф. Змеева «Русские врачи-писатели» (СПб., 1886. Вып. 1. До 1863 г.) на с. 172 находим Лебедева Сергея (1807—1854). Совпадение указанных ниже дат пребывания в университете со сведениями из воспоминаний Григорьева дает право предполагать, что Змеев указал неверный год рождения: учитель Григорьева был на четыре года моложе. А обнаруженные нами списки студентов убеждают в том,что речь может идти только об одном человеке: другого Лебедева на медицинском отделении в эти годы не было. Выписываем основные сведения из книги Л. Ф. Змеева. С 1829 г. Лебедев — своекоштный студент университета, оконченного в 1833 г. со званием лекаря 1-го отделения. С 1834 г. — уездный врач (Лихвинский уезд Калужской губ.). В 1839 г. (в этот год его бывший ученик уже был студентом университета) за составление «Медико-топографического описания г. Лихвина и его уезда» («Описание» найдено нами в фонде университета ЦГИА г. Москвы) он удостаивается Московским университетом звания штаб-лекаря. Затем до своей ранней смерти С. И. Лебедев служит врачом в Тамбовском приказе общественного призрения.

КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ АП. ГРИГОРЬЕВА[1]

16 июля 1822 г.[2] Родился в Москве, близ Тверских ворот.

Середина 1820-х гг. Семья переехала в Замоскворечье, на Болвановку.

1831—1832 гг. Отец купил дом в Замоскворечье, на Малой Полянке.

Август 1838 г. После успешно сданного вступительного экзамена принят слушателем на юридический факультет Московского университета.

Начало 1839 г. А. А. Фет поселился квартирантом у Григорьевых.

Июнь 1842 г. Григорьев окончил университет первым кандидатом, на круглые пятерки. По окончании заведует библиотекой университета.

Август 1843 г. В «Москвитянине» опубликованы первые стихотворения Григорьева.

6 сентября 1843 г. Большинством голосов избран по конкурсу секретарем Совета Московского университета.

Конец февраля 1844 г. Отъезд в Петербург.

Июнь 1844 г. Начинает печататься в журнале «Репертуар и пантеон».

26 июня 1844 г. Поступает чиновником в Управу благочиния (в декабре переводится в Сенат).

25 апреля 1845 г. Подал в Санкт-Петербургский университет просьбу о дозволении держать экзамен на степень магистра уголовного права.

7 июля 1845 г. Увольнение от службы в Сенате.

1845 г. Дружба с композитором А. Е. Варламовым.

Сентябрь 1845 г. Поселился на квартире у редактора «Репертуара и пантеона» В. С. Межевича и редактирует журнал.

Февраль 1846 г. Выход в свет книги «Стихотворения Ап. Григорьева».

Февраль—март 1846 г. Краткая поездка в Москву.

Март—май 1846 г. Участие в прогрессивном петербургском журнале «Финский вестник».

Январь 1847 г. Возвращение в Москву. Весь год — участие в газете «Московский городской листок». Знакомство с А. Н. Островским.

Середина 1847 г. Женитьба на Лидии Федоровне Корш.

1 августа 1848 г. Поступил учителем законоведения в Александрин-

---

[1] Даты указываются по старому стилю.

[2] Точная дата рождения впервые установлена Г. А. Федоровым в 1978 г.

ский сиротский институт, где знакомится с А. Д. Галаховым, одним из членов редакционного кружка «Отечественных записок».

1849 г. Участие в качестве литературного и театрального критика в «Отечественных записках».

24 мая 1850 г. Переведен учителем в Московский воспитательный дом, где знакомится с семьей учителя Я. И. Визарда (1852—1856 — страстная любовь к Л. Я. Визард).

Конец 1850 г. Сближение с М. П. Погодиным и создание вместе с А. Н. Островским, Е. Н. Эдельсоном, Т. И. Филипповым, Б. Н. Алмазовым «молодой редакции» «Москвитянина».

15 марта 1851 г. Определен старшим учителем законоведения 1-й гимназии.

1851—1855 гг. Активная деятельность в «Москвитянине» в качестве критика, поэта, переводчика. Неоднократные ссоры с М. П. Погодиным идеологического и житейского характера.

Март 1856 г. Переговоры об участии в славянофильском журнале «Русская беседа», окончившиеся неудачно.

Лето 1856 г. Сближение на даче под Москвой с петербургскими литераторами, близкими к некрасовскому «Современнику», — В. П. Боткиным и А. В. Дружининым, а также с Л. Н. Толстым.

7 июня 1857 г. После долгих и сложных переговоров Погодин передает «Москвитянин» Григорьеву.

4 июля 1857 г. По рекомендации Погодина Григорьев соглашается ехать за границу в качестве воспитателя 15-летнего князя И. Ю. Трубецкого, берет в гимназии отпуск (в январе 1858 г. увольняется).

6 июля 1857 г. Отъезд из Москвы в Петербург.

13 июля 1857 г. Отъезд из Петербурга в Италию по маршруту: Кронштадт—Любек—Берлин—Дрезден—Прага—Вена—Венеция—Генуя—Ливорно.

Август 1857—январь 1858 г. Эпизодическое участие в журнале А. В. Дружинина «Библиотека для чтения».

Начало августа 1857 г. Прибытие в Ливорно и начало занятий с И. Ю. Трубецким.

Август—сентябрь 1857 г. Жизнь у Трубецких на вилле Сан-Панкрацио близ Лукки и поездки в Ливорно и Флоренцию.

Октябрь 1857 г. Переезд с Трубецкими во Флоренцию.

Февраль—апрель 1858 г. Конфликты с матерью И. Ю. Трубецкого, переезд на частную квартиру; прекращение занятий с молодым князем.

Начало марта 1858 г. Приезд во Флоренцию И. С. Тургенева, непрерывные, в течение нескольких дней, беседы с ним.

Конец марта 1858 г. Знакомство через Я. П. Полонского с графом Г. А. Кушелевым-Безбородко, желающим организовать журнал «Русское слово», приглашение Григорьева соредактором.

Апрель 1858 г. Поездка на две недели в Рим.

Май 1858 г. Отъезд из Флоренции в Париж через Ливорно—Геную—Марсель.

Середина сентября 1858 г. Отъезд из Парижа на родину через Берлин.

Около 20 сентября—начало октября 1858 г. Пребывание в Берлине; встречи с В. П. Боткиным.

Октябрь 1858 г. Возвращение в Петербург через Штеттин.

Середина октября 1858 г.—август 1859 г. Интенсивная работа редактора и автора в «Русском слове», затем разрыв с редакцией.

Начало 1859 г. — сближение с М. Ф. Дубровской, ставшей гражданской женой Григорьева.

Конец 1859 г. Знакомство с Н. Н. Страховым и К. К. Случевским.

Первая половина 1860 г. Случайное участие в журналах «Русский мир», «Сын отечества», «Отечественные записки».

Март—апрель 1860 г. Временное пребывание в Москве по приглашению М. Н. Каткова к сотрудничеству в журнале «Русский вестник».

26 мая 1860 г. Утверждение Григорьева редактором журнала «Драматический сборник»; Григорьев издавал его до отъезда в Оренбург, а номинально числился редактором до конца 1861 г.

Начало июня 1860 г. Краткая поездка в Москву; согласие быть уполномоченным редакции «Русского вестника» в Петербурге.

До 17 сентября—ноябрь 1860 г. Пребывание в Москве. Работа в «Русском вестнике». Разрыв с М. Н. Катковым.

1861—1863 гг. — участие в журнале братьев Достоевских «Время».

11 января 1861 г. Посажен в долговую тюрьму в Петербурге.

Февраль 1861 г. Выход из тюрьмы; эпизодическое участие в журнале А. П. Милюкова «Светоч».

29 марта 1861 г. Назначен по его просьбе учителем в Оренбургский кадетский корпус.

20 мая 1861 г. Отъезд из Петербурга с М. Ф. Дубровской по маршруту: Тверь—Ярославль—Казань—Самара—Бузулук—Оренбург.

9 июня 1861 г. Приезд в Оренбург.

Май 1862 г. Неожиданный отъезд из Оренбурга в столицу по тому же маршруту, в обратном порядке.

Начало 1863 г. Издатель Ф. Т. Стелловский пригласил Григорьева редактором нового журнала «Якорь». Григорьев редактирует его с марта 1863 г. (начало выхода) по январь 1864 г., хотя номинально числится редактором до своей смерти.

Март, конец 1863 г. Поездки в Москву.

1864 г. Участие в журнале братьев Достоевских «Эпоха».

Начало 1864 г. Дружба с А. Н. Серовым; знакомство с П. Д. Боборыкиным.

Конец июня—конец июля 1864 г. Отсидка в долговой тюрьме.

До 3 сентября 1864 г. Снова посажен в долговую тюрьму.

Около 21 сентября 1864 г. Выкуплен из тюрьмы А. И. Бибиковой.

25 сентября 1864 г. Григорьев умер от апоплексического удара.

28 сентября 1864 г. Похоронен на Митрофаньевском кладбище в Петербурге (в 1930-х гг. прах перенесен на Волково кладбище).

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Григорьева его автобиографическая проза печаталась в журналах; большинство произведений опубликовано с опечатками и искажениями. Новые издания его прозы появились лишь в XX в., по истечении 50-летнего срока со смерти автора (до этого наследники были, по дореволюционным законам, владельцами сочинений покойного, и издавать можно было только с их согласия и с учетом их требований). Но большинство этих изданий, особенно книжечки в серии «Универсальная библиотека» 1915—1916 гг., носило не научный, а коммерческий характер и только добавило число искажений текста.

Лишь *Материалы* (здесь и далее при сокращенных ссылках см. «Список условных сокращений») — первое научное издание, где помимо основного мемуарного произведения «Мои литературные и нравственные скитальчества» были впервые напечатаны по сохранившимся автографам «Листки из рукописи скитающегося софиста», «Краткий послужной список...» (ранее воспроизводился в сокращении), письма Григорьева. Архив Григорьева не сохранился, до нас дошли лишь единичные рукописи; некоторые адресаты сберегли письма Григорьева к ним. В. Н. Княжнин, подготовивший *Материалы*, к сожалению, небрежно отнесся к публикации рукописей, воспроизвел их с ошибками; комментарии к тексту были очень неполными.

Наиболее авторитетное научное издание — *Псс*; единственный вышедший том (из предполагавшихся двенадцати) содержит из интересующей нас области лишь основное мемуарное произведение Григорьева и обстоятельные примечания к нему. Р. В. Иванов-Разумник, составитель *Воспоминаний*, расширил круг текстов, включил почти все автобиографические произведения писателя, но тоже проявил небрежность: допустил ошибки и пропуски в текстах, комментировал их весьма выборочно.

Тексты настоящего издания печатаются или по прижизненным журнальным публикациям, или по рукописям-автографам (совпадений нет: все сохранившиеся автографы публиковались посмертно), с исправлением явных опечаток и описок (например, «Вадим Нижегородский» исправляется на «Вадим Новгородский»). Исправления спорных и сомнительных случаев комментируются в «Примечаниях». Конъектуры публикатора заключаются в угловые скобки; зачеркнутое самим автором воспроизводится в квадратных скобках.

Орфография и пунктуация текстов несколько приближена к современным; например, не сохраняется архаическое написание слова, если оно не сказывается существенно на произношении (ройяль — рояль, охабка — охапка и т. п.).

Редакционные переводы иностранных слов и выражений даются в тексте под строкой, с указанием в скобках языка, с которого осуществляется перевод. Все остальные подстрочные примечания принадлежат Ап. Григорьеву.

Даты писем и событий в России приводятся по старому стилю, даты за рубежом — по новому.

За помощь в комментировании музыкальных произведений выражается глубокая благодарность А. А. Гозенпуду, в переводах французских текстов — Ю. И. Ороховатскому, немецких — Л. Э. Найдич.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. I—XIII. М., изд-во АН СССР, 1953—1959.

Воспоминания — *Григорьев Аполлон.* Воспоминания. Ред. и коммент. Иванова-Разумника. М.—Л., «Academia», 1930.

Егоров — Письма Ап. Григорьева к М. П. Погодину 1857—1863 гг. Публикация и комментарии Б. Ф. Егорова. — Учен. зап. Тартуского ун-та, 1975, вып. 358, с. 336—354.

ИРЛИ — рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Ленинград).

ЛБ — рукописный отдел Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

Лит. критика — *Григорьев Аполлон.* Литературная критика. М., «Худ. лит.», 1967.

Материалы — Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917.

Полонский (следующая затем цифра означает столбец-колонку) — *Полонский Я. П.* Мои студенческие воспоминания. — «Ежемесячные литературные приложения» к «Ниве», 1898, декабрь, стб. 641—688.

Псс — *Григорьев Аполлон.* Полн. собр. соч. и писем. Под ред. Василия Спиридонова. Т. 1. Пг., 1918.

ц. р. — цензурное разрешение.

ЧБ — *Григорьев Ап.* Человек будущего. М., «Универсальная библиотека», 1916.

МОИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ СКИТАЛЬЧЕСТВА

Впервые: Время, 1862, № 11, с. 5—11 (ц. р. — 12 ноября) — первые пять глав; № 12, с. 378—391 (ц. р. — 7 декабря) — «Детство», гл. I—II; Эпоха, 1864, № 3, с. 120—159 (ц. р. — 23 апреля) — главы III—VI; № 5, с. 144—168 (ц. р. — 7 июля) последние две главы, без нумерации.

Неоднократно перепечатывались в XX в.: *Григорьев Ап.* Собр. соч., под ред. В. Ф. Саводника. Вып. 1. Автобиография. Мои литературные и нравственные скитальчества. М., 1915. 104 с.; *Григорьев Ап.* Мои литературные и нравственные скитальчества. М., изд. К. Ф. Некрасова, 1915. 256 с.; *Материалы*, с. 1—97; *Псс*, с. 1—95; *Воспоминания*, с. 3—164. Все эти издания сопровождались комментариями (некоторые из них заимствованы в наст. изд.), особенно подробны примечания В. С. Спиридонова (*Псс*, с. 269—299), занимающие треть объема комментируемого текста.

Впервые о замысле создать книгу очерков-воспоминаний Г. сообщает в письме к Н. Н. Страхову от 19 января 1862 г. (см. с. 356). Смерть помешала Г. осуществить этот замысел в полном объеме.

В периодике того времени обстоятельные отклики на печатающиеся воспоминания Г. неизвестны. Н. А. Потехин в карикатурных сценах «Наши в Париже», опубликованных в «Искре» (1863, № 22, 23, 39), а затем вошедших в книгу Потехина «Наши безобразники» (СПб., 1864), вывел славянофила и пьянчугу Аполлона Сергеевича Вагабундова, явно намекая на Григорьева (Vagabund нем. — бродяга, скиталец); Потехин мстил Григорьеву за пренебрежительные отзывы критика о его таланте (см.: *Воспоминания*, с. 649—651).

«Искра» вообще постоянно насмехалась над Г. В новогоднем номере (№ 1) журнала за 1863 г. был опубликован юмористический прогноз по поводу состава январских книжек популярных журналов; «Время» должно было начинаться так: «1) „Мои литературные и нравственные скитальчества“. Часть вторая. I. Московские просвирни. II. Два часа размышлений на колокольне Ивана Великого. III. „Москвитянин“ и ужин у Погодина. IV. Я открываю в себе решительное призвание критика. V. Ночь в цыганском таборе. *Аполлона Григорьева*» (с. 15).

Полемическая статья «Рус. слова» «Хлебная критика „Времени“» (1863, № 2, с. 1—8 отд. пагинации; подпись — Старый Свистун) содержит подзаголовок «Посвя-

щается М. М. Достоевскому», явно метящий в аналогичное посвящение у Г.; статья, кстати, немало места уделяет литературно-критическим трудам Г. (издевка над перепечаткой текстов старых статей).

Лишь в статье М. А. Антоновича «Краткий обзор журналов за истекшие восемь месяцев» (Современник, 1863, № 1—2) имеется не ироническое, просто без оценки, упоминание мемуаров Г. (с. 252). Вообще время 1862—1864 гг., чрезвычайно бурное, драматическое, лишало возможности критиков и публицистов всерьез заняться воспоминаниями Г.

[1] *Вы вызвали меня, добрый друг...* — Г. здесь несколько старомодно, в духе русских записок о жизни XVII—XVIII вв., «мотивирует» толчок к написанию мемуаров внешними причинами, а не внутренним, *личным* побуждением; см.: *Билинкис М. Я.* К вопросу о проблемах мемуарного жанра в русской литературе первой трети XVIII века. — В кн.: Проблемы эстетики и поэтики. Межвуз. сб. науч. трудов. Ярославль, 1976, с. 3—10.

[2] *Меня... упрекали... за употребление различных странных терминов...* — Об этом говорил чуть ли не каждый критик статей Г., начиная с самых первых его выступлений в «Москвитянине» 1851—1852 гг. См., например, отзыв П. Н. Кудрявцева, обозревателя критических статей Г.: «Такие выражения, например, как „периферия личности“, „узкость миросозерцания“, „разумно любовное слово жизни“, „ходульная идеализация“, ему как-то удаются даже без особенного напряжения <...> говорить или писать так можно разве только в каком-нибудь чрезвычайном состоянии» (Отеч. записки, 1853, № 1, отд. IV, с. 45—46). Из отзыва Ф. В. Булгарина о статье Г. «Русская изящная литература в 1852 году»: «Русскому человеку нельзя читать этой статьи без лексиконов еврейского, халдейского, греческого. латинского, французского, немецкого языков и без объяснителя слов, употреблявшихся в трансцендентальной немецкой философии» (Сев. пчела, 1853, № 39, 18 февраля, с. 155). Неоднократно высмеивался и термин «веяние» — см., например, в анонимном обзоре «Литературные вести»: «Известный критик наш г. Аполлон Григорьев, прочитав литературные впечатления г. Гымалэ (псевдоним критика Ю. А. Волкова, — *Б. Е.*) о Лермонтове, подрывавшие составленную им, г. Аполлоном Григорьевым, теорию о *веяниях* вообще и мысль о *веянии* Байрона на Лермонтова в особенности, сочел, говорят, нужным объясниться с новым критиком...» и т. д. (Искра, 1860, № 35, 9 сентября, с. 375). См. также преамбулу к примеч. о «Великом трагике».

[3] *...справедливее объяснять их пантеистически.* — Мировоззрение Г. довольно близко к пантеистическому (шеллингианская идея тождества человека и природы, культ естественного природного начала), но, с другой стороны, пантеистическое «растворение» человека в бесконечной во времени и пространстве природе пугало Г., казалось ему сходным с гегельянским «аморализмом» (т. е. снятием самоответственности с личности), поэтому Г. мог, например, упрекать раннего Л. Толстого в «пантеистическом отчаянии» («Граф Л. Толстой и его сочинения», 1862).

[4] *Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten.* — Первая строка «Фауста» Гете.

[5] *...диковинно-типического Замоскворечья...* — Под «типическим» Г. понимал главным образом исторически укоренившуюся характерность; например, типическими для него были образы «кряжевых» поместных дворян вроде Троекурова («Дубровский» Пушкина) или купцов в драмах А. Н. Островского.

[6] *«Аммалат-бек»* — повесть А. А. Бестужева-Марлинского (1832).

[7] *Эпоха, над которой нависла тяжелой тучей другая, ей предшествовавшая...* — Под «другой» подразумевается эпоха второй половины 1820-х гг., тяжелое время последекабрьского (1825) террора, казней и ссылок декабристов, сдачи в солдаты А. И. Полежаева, вообще эпоха духовной подавленности русской интеллигенции.

[8] *...колоссальный роман Гюго...* — «Собор Парижской богоматери» (1831). Когда писались и печатались эти строки, в журнале «Время» публиковался перевод романа Гюго (1862, № 9—12).

[9] *...Московский университет после преобразования 1836 года...* — Юридически — 1835 г., когда был утвержден общий устав императорских российских уни-

верситетов и попечителем Московского учебного округа был назначен граф С. Г. Строганов, но фактически преобразования начались именно с 1836 г. Подробнее об университете 30—40-х гг. см.: *Буслаев Ф. И.* Мои воспоминания. М., 1897; *Соловьев С. М.* Записки. Пг., [б. г.]; *Чичерин Б. Н.* Воспоминания. Москва сороковых годов. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1929.

[10] *...университет таинственного гегелизма...* — См. наст. изд., с. 339—340.

[11] *A change came over the spirit of my Dream...* — Неточно (в подлиннике для соблюдения ритма: came o'er) воспроизведена строка из стихотворения Байрона «Сон» (1816).

[12] *...петербуржская литература...* — Иронический намек на попытки издателя «Отеч. записок» А. А. Краевского ввести написание «петербуржский» вместо «петербургский». Известный остряк С. А. Соболевский называл его: «петербуржский литератор Краежский». В кругу «Отеч. записок» слово «петербуржский», очевидно, вошло в обиход; оно встречается у В. Ф. Одоевского.

[13] *...пронеслось странное, мистическое веяние...* — Речь идет об одном из малоизвестных эпизодов первого петербургского периода жизни Г. (1844—1847): о сближении его с масонами (см. наст. изд., с. 343—345).

[14] *...мир панаевской «Тли»...* — Имеется в виду повесть И. И. Панаева «Тля» (1843), позднее, при включении в собрание сочинений, названная автором «Литературная тля», — сатирическое изображение литературно-журналистского «дна», бездарных писателей, критиков, опустившихся талантов, продажных журналистов и литераторов. Однажды Г. назвал «героем литературной „тли“» В. С. Межевича (см. след. примеч.): *Григорьев Ап.* Русский театр в Петербурге. Длинные, но печальные рассуждения о нашей драматургии. — Эпоха, 1864, № 3, с. 223. Подробный комментарий к персонажам «Тли» (с раскрытием прототипов) см.: *Ямпольский И. Г.* Из истории литературной борьбы начала 1840-х годов («Петербургский фельетонист» и «Литературная тля» И. И. Панаева). — Учен. зап. Лен. гос. ун-та, 1954, № 173. Сер. филол. наук, вып. 20, с. 143—159.

[15] *...мир «Песцов», «Межаков»...* — Прозвища второстепенных журналистов И. П. Песоцкого и В. С. Межевича; последний, нуждаясь в деньгах (мучительно умирала жена, были большие расходы на лечение), дошел до махинаций, до растраты казенных сумм, оказался под судом; неожиданная смерть его — здорового, 35-летнего была воспринята как самоубийство (см.: *Зотов В. Р.* Петербург в сороковых годах. — Историч. вестник, 1890, № 2, с. 335—338).

[16] *...мир «Александрии»...* — Александринский театр в Петербурге.

[17] *...скитавшегося Некрасова-Перепельского...* — Перепельский — псевдоним Н. А. Некрасова-водевилиста. Под словом «скитавшегося» подразумевается житейская неустроенность молодого Некрасова и его переходы из одного журнала в другой (ср. название воспоминаний самого Г.).

[18] *...высокой артисткой...* — В. В. Самойловой, известной актрисой Александринского театра.

[19] *...«продерживают»...* — От жаргонного слова журналистов «продергивать», т. е. высмеивать, разоблачать.

[20] *Пять лет новой жизненной школы.* — Г. имеет в виду 1851—1855 гг. — годы наиболее интенсивного его участия в журнале «Москвитянин».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Первые общие впечатления

[1] *Трастевере* — район Рима, относительно плебейский, расположенный, подобно Замоскворечью, за рекой Тибр, если смотреть от центра города.

[2] *...белый, торговый город...* — Центральная часть Москвы, ограниченная Москва-рекой и современным Бульварным кольцом.

[3] *...земляной город...* — Часть Москвы между белым городом и Садовым кольцом (Земляным валом).

[4] *...от большого каменного моста...* — До 1938 г. Большой Каменный мост находился приблизительно в 200 м юго-западнее нынешнего; в 1857 г. старый мост XVII в. был сломан и вместо него поставлен железный мост на каменных быках, сохранивший прежнее название.

[5] *...Болото с казенным зданием винного двора...* — Район нынешней пл. Репина; винный двор стоял на месте современного многоэтажного комплекса домов с кинотеатром «Ударник» (ул. Серафимовича, 2).

[6] *Берсеневка* — район Берсеневской набережной и Берсеневского (быв. Парфеновского) переулка.

[7] *Солодовка* — местность в противоположной от Берсеневки стороне Болота, между Фалеевским (быв. Хлебным) пер. и Балчугом. «Особенность» Берсеневки и Солодовки, на которую намекает Г., — обилие кабаков и «веселых» заведений вокруг большого хлебного рынка на Болоте.

[8] *...до маленького каменного моста...* — Мост через Водоотводный канал между Болотом и Большой Полянкой.

[9] *...три жилы Замоскворечья...* — Большая Полянка и Большая Якиманка (ныне ул. Димитрова) с находящейся между ними Малой Якиманкой, переходящей после Полянской площади в Малую Полянку.

[10] *...к так называемым воротам... Калужским... к Серпуховским.* — Ворота находились на современных Октябрьской и Добрынинской площадях (снесены в конце XVIII—начале XIX в.).

[11] *...утро 19 августа...* — С 1660 г. в Москве ежегодно 19 августа совершался крестный ход к Донскому монастырю, основанному в 1593 г. в память избавления города от нашествия в 1591 г. крымского хана Казы-Гирея, бежавшего после сражения близ того места, где позднее и был поставлен монастырь (см.: *Забелин И.* Историческое описание Московского ставропигиального Донского монастыря. М., 1865).

[12] *...большой дом итальянской... архитектуры.* — Имеется в виду дом Прозоровских постройки В. И. Баженова (1773), переделанный в конце XVIII в. М. Ф. Казаковым; разобран в 1936 г. (находился на месте современного дома по ул. Б. Полянка, № 1).

[13] *...церковью Григория Неокесарийского.* — Один из лучших памятников древнерусской архитектуры; построена в 1660-х годах (Б. Полянка, № 29 а).

[14] *Полянский рынок* находился на площади, сохранившей это название.

[15] *Церковь Успенья в Казачьем* помещается по ул. Б. Полянка, № 37 (построена в конце XVII в., но колокольня и трапезная — XVIII в.).

[16] *Ордынская и Татарская слободы* — районы Б. Ордынки и Татарской улицы (последняя расположена напротив Павелецкого вокзала).

[17] *Болвановка* — район вокруг Новокузнецких улиц и переулков.

[18] *...у Тверских ворот, в доме Козина.* — Дом И. И. Козина (фамилия писалась иногда «Казин») находился в Палашевском пер. (см.: Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы..., М., 1818), т. е. чуть далее Тверских ворот, считая от центра города. Как установлено Г. А. Федоровым, сохранилась часть дома в сильно перестроенном виде (ныне — Малый Палашевский пер., № 6).

[19] *...на Дмитровке...* — В статье «Безвыходное положение» (1863) Г. уточнил: «...на Малой Дмитровке» (*Воспоминания*, с. 332), т. е. на современной ул. Чехова. Благодаря разысканиям Г. А. Федорова, установлено, что дома деда Г. располагались на участках современных № 25 и 27 по ул. Чехова. Из них сохранился дом № 27: остов его уцелел после пожара 1812 г., хотя затем дом неоднократно перестраивался.

[20] *...одна из моих теток...* — У Г. было две тетки: Екатерина Ивановна (род. 1788) и Александра Ивановна (род. 1800). Судя по дальнейшему тексту, речь идет о старшей.

[21] *...катастрофа, с некоторыми из жертв которой мой отец был знаком по университетскому благородному пансиону...* — Катастрофа — разгром декабристского движения. Вместе с отцом Г. в пансионе учились будущие декабристы Н. И. Тургенев, А. И. Якубович, М. А. Фонвизин и др.

[22] *...помню, как везли тело... Александра и какой странный страх господствовал тогда в воздухе...* — Траурное шествие проходило по Тверской ул., так что оно было хорошо видно из дома Козина, где жили тогда Григорьевы. «Страх» — видимо, ожидание бунта, волнений после смерти царя.

[23] *Напомню вам это удивительное место...* — При жизни Г. «Исповедь сына века» А. де Мюссе не переводилась на русский язык. Г. предлагает свой собственный перевод отрывка, впервые опубликованный им в статье «Повести А. де Мюссе» (Москвитянин, 1852, № 14, с. 26—27), а затем повторенный в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859).

II. Мир суеверий

[1] *...умер за год до моего рождения...* — Внук писателя В. А. Григорьев в статье «Потревоженные тени» предполагает, что на самом деле дед Г. умер уже после рождения мальчика, не перенесши «позорного» увлечения сына крепостной девушкой (*Псс*, с. XVII); достоверных сведений о времени смерти деда, однако, нет.

[2] *...талайченки...* — Точнее — «танайченки». — Имеется в виду персонаж «Семейной хроники» С. Т. Аксакова, крепостной мальчик Никанорка Танайченок.

[3] *«Юрий Милославский»* — роман М. Н. Загоскина (1829).

[4] *«Давид Игоревич»* — исторический роман Рудневского «Давид Игоревич, князь Владимирский, или 1097 г.». 4 части, М., 1834.

[5] *«Новик»* — роман И. И. Лажечникова «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (1831).

[6] *«Леонид»* — роман Р. М. Зотова «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» (1840).

[7] *«Добротолюбие»* — «Добротолюбие, или Словеса и главизны священного трезвения, собранные от писаний святых и богодуховных отец». 4 части. М., 1793—1794.

[8] *...назидательных сочинений Эмина...* — Труды Ф. А. Эмина «Путь ко спасению» (1760-е гг.) и «Нравоучительные басни» (1764).

[9] *...творений Бюниана и Иоанна Арндта...* — Наиболее известны нравоучительные труды Дж. Бюниана (Баньена) — «Путешествие пилигрима» (1678) и И. Арндта — «Об истинном христианстве» (1605). Полный перечень русских переводов этих авторов см.: *Псс*, с. 274.

[10] *...«Постоялыми дворами», «Дмитриями Самозванцами»...* — «Постоялый двор» — роман А. П. Степанова (1835); «Димитрий Самозванец» — роман Ф. В. Булгарина (1830).

[11] *...Рослад и других од...* — Возможно, здесь опечатка и должно быть «Россиад» (поэма М. М. Хераскова «Россияда», 1779).

[12] *...взяли Новикова...* — По велению Екатерины II Н. И. Новиков в 1792 г. был арестован и заключен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость за свою просветительскую и масонскую деятельность (был досрочно освобожден в 1796 г. после смерти Екатерины II).

[13] *...пережег...* — В первопечатном тексте было «перенес»; исправлено по смыслу: *Материалы*, с. 11; *Псс*, с. 11.

[14] *Лицо, принадлежавшее к этому ордену...* — Возможно, К. С. Милановский (см. с. 412—413).

[15] *...дойдя до церкви Никиты-мученика в Басманной, останавливался перед старым домом на углу переулка...* — Церковь (построена Д. Ухтомским в 1751 г.) расположена на углу Старой Басманной (ныне ул. Карла Маркса) и Гороховского пер. «Старый дом», по разысканиям Г. А. Федорова, — Гороховский пер., № 4 (второй дом от угла). Здесь жил протоиерей церкви Иван Иванов, дядя И. Г. Григорьева, приютивший у себя племянника.

III. Дворня

[1] *Один великий писатель в своих воспоминаниях...* — А. И. Герцен в «Былом и думах» (глава II).

[2] *...наслушался сказок о батраках и их известных хозяевах...* — Имеются в виду народные сказки о попах; по цензурным соображениям Г. не мог об этом сказать прямо.

[3] *...дед... звал его отчасти любовно, а отчасти насмешливо Израилем...* — По библейскому преданию, умный, хитрый и предприимчивый Иаков целую ночь боролся с богом, требуя благословения, за что получил прозвище Израиль — «боровшийся с богом» (Бытие, 32, 24—28).

IV. Сторона

[1] *...храм Спасителя...* — При жизни Ап. Григорьева этот громадный храм еще не был достроен: строительство завершено в 1880 г. (снесен в 1932 г.); он находился на месте нынешнего плавательного бассейна «Москва» на Кропоткинской набережной.

[2] *...упраздненным Новинским, Никитским, Петровским, Рождественским, Андрониевским...* — Григорьев перечисляет монастыри, располагавшиеся вдоль стены белого города, т. е. вдоль современного Бульварного кольца, за исключением крайних — Новинского и Андрониевского (Андроникова), выходящих за пределы даже Садового кольца.

[3] *...на обруче Китай-города есть тоже свои бляхи: Знаменский, Богоявленский монастыри...* — Китай-город (т. е. Средний город) — ограниченная Кремлем, Китайгородской стеной и Москвой-рекой часть древней Москвы между теперешними Красной, Дзержинского, Новой и Старой площадями. Собор Богоявленского монастыря сохранился близ юго-восточного выхода из станции метро «Площадь Революции» (Куйбышевский проезд, № 4). Постройки Знаменского монастыря сохранились в Зарядье, между гостиницей «Россия» и ул. Ст. Разина (ул. Ст. Разина, № 8, 8 а).

[4] *...церкви... Пятницы-Прасковеи.* — Эта церковь стояла на месте станции метро «Новокузнецкая».

[5] *...великолепная церковь Климента папы римского.* — Построена в 1762—1774 гг. учеником Растрелли Евлашевым; действительно является ценным памятником московского барокко.

[6] *...между Зацепой и комиссариатом...* — Т. е. по всему Замоскворечью, между Зацепой (на Земляном валу) и Москвой-рекой (здание военного комиссариата XVIII в. на Комиссариатской наб., ныне — наб. Максима Горького, № 24—26).

[7] *Оба дома смотрели на церковную ограду Спасо-Болвановской церкви...* — Церковь расположена в бывшем Малом Спасоболвановском переулке (ныне 2-й Новокузнецкий пер., № 10). Дома, описываемые Григорьевым, не сохранились. По разысканиям Г. А. Федорова, дом, в котором проживала семья Г., находился на месте административного корпуса фабрики «Рот-Фронт» (тот же пер., № 13/15). Семья последний раз исповедовалась в Спасо-Болвановской церкви в 1831 г., а в 1832 г. она уже исповедовалась в Спасо-Наливкинской церкви на М. Полянке; следовательно, семья переехала с Болвановки на М. Полянку, где отец Г. купил дом, в 1831—1832 гг.

[8] *...от Тверских ворот до нынешних Триумфальных...* — На отрезке Тверской ул. между Бульварным и Садовым кольцами (т. е. по нынешней ул. Горького между площадями Пушкинской и Маяковского).

[9] *...о широкой площади с воротами Страстного монастыря...* — Имеется в виду Страстная пл. (ныне Пушкинская). Страстной монастырь (снесен в 1930-х гг.) находился на месте современного сквера и кинотеатра «Россия».

[10] *...латинская грамматика Лебедева...* — Популярный учебник Василия Лебедева «Краткая грамматика латинская» (1-е изд. — СПб., 1762; 11-е — 1817).

[11] *...арифметика... Меморского..., Аллеза, Билли, Пюисана, Будро... — Меморский М. Ф.* Арифметика в вопросах и ответах... М., 1823 (затем в течение XIX в. была много раз переиздана); Курс чистой математики, составленный по поручению Беллявена профессорами математики Аллезом, Билли, Пюиссаном и Будро. ‹Арифметика›. М., 1832; книгу перевел с франц. и дополнил Платон Погорельский; учебник многократно переиздавался в течение XIX в.

[12] *...держали в хлопках...* — т. е. воспитывали, усиленно опекая и оберегая (*устар.*).

V. Последнее впечатление младенчества

[1] *...день Козьмы и Дамиана бессребреников...* — 1 ноября ст. ст.; если события в самом деле происходили в 1828 г., то 1 ноября был четверг, а не вторник; вторник же приходился на 1 ноября 1827 г.

[2] *Дмитрий Ильич* — Кумов, титулярный советник, секретарь 2-го департамента Московского магистрата.

[3] *...отец Иван* — Лебедев. См. след. примеч.

[4] *...с сыном, молоденьким семинаристом...* — Лебедев Сергей Иванович; см. о нем в статье Г. А. Федорова.

ДЕТСТВО

I. Семинарист тридцатых годов

[1] *В настоящее время, когда...* — Г. имеет в виду знаменитую ироническую формулу Н. А. Добролюбова, которой он пародировал либеральное славословие правительственных мероприятий перед крестьянской реформой 1861 г.

[2] *...в очерках г. Помяловского...* — Первые рассказы из цикла «Очерки бурсы» («Время», 1862).

[3] *Хрия инверса* — chreia inversa (*греч.* и *лат.*), заданная правилами риторическая фигура (иносказательный прием).

[4] *...фаланстера, как у многих из наших литературных знаменитостей...* — Г. считал Н. Г. Чернышевского пропагандистом утопических фурьеристских идей коллективной жизни в «фаланстере», поэтому здесь под «литературными знаменитостями» скорее всего подразумевался именно он.

[5] *Максютка Беневоленский* — персонаж драмы А. Н. Островского «Бедная невеста» (1852).

[6] *Есть... люди сильные и... люди великие...* — Г. не совсем точен: Жорж Санд в конце письма VIII из цикла «Письма путешественника» (1836) сопоставляет людей силы, активности и людей добра и считает, что не столько первых, сколько вторых следует называть великими; ср. в рец. Белинского на «Русскую историю...» Н. А. Полевого (1836): «Есть два рода людей с добрыми наклонностями: люди обыкновенные и люди великие. Первые, сбившись с прямого пути, делаются мелкими негодяями ‹...›; вторые — злодеями» (*Белинский*, II, 108).

[7] *«Только узкие мысли управляют миром»...* — Г. очень любил это выражение, неоднократно цитировал его в своих статьях (см., например, «Стихотворения Н. Некрасова» — *Лит. критика*, с. 464), но в сочинениях Э. Ренана именно такая цитата не обнаружена. Очевидно, Г. имел в виду следующее место из предисловия Ренана к его сб. «Труды по истории религии» («Études d'histoire religieuse». Paris, 1857): «Les hommes se réunissent par leurs pensées étroites bien plus que par leurs pensées larges» («Люди объединяются своими узкими мыслями лучше, чем широкими»).

[8] *...эта сторона типа явилась... в могущественной и даровитой личности... Введенского...* — И. И. Введенский был сокурсником Г. и Фета по Московскому университету; разночинец, бедняк, энергичный труженик, переводчик, идеологиче-

ский предшественник радикальной интеллигенции 60-х гг., он удивлял Г. и Фета «нигилизмом» и предприимчивостью.

[9] *Аким Акимыч Юсов* — персонаж драмы А. Н. Островского «Доходное место» (1856).

[10] *...одна злая, хотя дружеская эпиграмма...* — Имеется в виду сатирическое стихотворение И. С. Тургенева о П. Н. Кудрявцеве (1852 г.?), из которого особой известностью пользовалось эпиграмматическое окончание:

Он хлыщ! но как он тих и скромен,
Он сладок, мил и вместе томен,
Как старой девы билье-ду.
Но, возвышаясь постоянно,
Давно стал скучен несказанно
Педант, вареный на меду.

Билье-ду — любовная записка (франц. billet doux).

[11] *...в числе эминентов* — т. е. в числе лучших (от лат. eminens).

[12] *Веред* (обл.) — чирей, нарыв.

[13] *...«в мрачных пропастях земли»...* — Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября 1827». Пушкин намекает на судьбу своих лицейских товарищей, осужденных за участие в декабристском движении на каторжные работы в Сибири.

[14] *«Дневник студента»* — воспоминания С. П. Жихарева о начале XIX в. (СПб., 1859).

[15] *«Асандан»* — влияние (*франц.* l'ascendant).

[16] *...«Таинства Удольфского замка»... и проч. и проч.* — «Таинства Удольфского замка» — переводный роман Анны Радклиф «Таинства Удольфские» (М., 1802); *«Итальянец»* — ее же роман «Итальянец, или Исповедная черных кающихся» (М., 1802—1804). *«Дети Донретского аббатства»* — роман Де ла Рош (6 частей. М., 1804—1806).

[17] *...захолустье одного из тех городов, которых черт «три года искал»...* — Автоцитата из поэмы «Вверх по Волге» (гл. 2):

Я не был в городе твоем...
Его черт три года искал...

II. Обычный день

[1] *...дядя, о котором будет речь впереди).* — Николай Иванович Григорьев, о котором Г. не успел написать воспоминаний; вкратце о нем отзывается А. А. Фет (см. с. 322); см. также: *Розанова Л. А.* К биографии Аполлона Григорьева (из материалов Гос. архива Ивановской области). — Учен. зап. Ивановского гос. пед. ин-та, 1973, т. 115, с. 132—170; *Егоров Б. Ф.* Новые материалы об Ап. Григорьеве. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, 1975, вып. 369, с. 157—161.

[2] *Алалай* (*обл.*) — ненормальный, помешанный.

[3] *«De officiis»* — главный труд Цицерона о морали (44 г. до н. э.); Григорьеву, вероятно, претила догматизация и регламентация моральных правил в этой книге.

[4] *Розанова лексикон...* — *Розанов Ф. Ф.* Латинский лексикон с российским переводом (...). М., 1797 (изд. 6-е — М., 1825).

[5] *...чтение разных романов Анны Радклиф или г-жи Коттен.* — Названия известных романов А. Радклиф — см. примеч. 16 к предыдущей главе; наиболее популярные романы М. Коттен — «Матильда» (1805), «Элизабет, или Сибирские изгнанники» (1806). Полные перечни романов этих писательниц, переведенных на русский язык, см.: *Пcc*, с. 278. Их произведения отличались запутанной романтической интригой.

III. Товарищи моего учителя

[1] *...час «между волка и собаки»...* — Правильнее — «между собакой и волком», французское выражение «entre chien et loup», означающее «сумерки».

[2] *Магистрат* — в XVIII—XIX вв. в России административный орган городской власти. Отец Г. служил в Московском магистрате секретарем 2-го департамента.

[3] *...терялось в неизвестности, как источники Нила...* — Именно в 1860—1863 гг., т. е. в годы, когда писались эти строки, усилиями нескольких экспедиций были открыты истоки Нила в Центральной Африке.

[4] *...сказывалось родством из духовенства по мужской линии да вольноотпущенничества по женской.* — Единственное указание на происхождение деда Г. из духовенства (или на то, что кто-то из его близких принял духовный сан); Г. несомненно знал и о дяде деда, священнике И. Иванове. В семье, очевидно, было известно и крестьянское происхождение жены деда Марины Николаевны; разыскания Г. А. Федорова подтверждают, что она — «вольноотпущенная», а совсем не из «дворян», как записал ее в родословную книгу дворянства И. Г. Григорьев (явно пользуясь своей службой в Управе благочиния), поэтому сведения родословной книги (см. *Материалы*, с. 315) неверны.

[5] *«Исповедь Наливайки»* — отрывок из неоконченной поэмы К. Ф. Рылеева «Наливайко» (1825).

[6] *...университет погибавшего Полежаева и других.* — Имеется в виду и общее состояние радикального студенчества после разгрома декабристов, и конкретно — судьба А. И. Полежаева; Г. намекает также на стихотворение А. И. Полежаева «Провидение» (1828), начинавшееся строкой «Я погибал...».

[6а] *Танцовальщик танцовал, А сундук в углу стоял.* — Очевидно, стихотворение было популярно в XIX в.: по воспоминаниям старших детей Л. Н. Толстого, отец напевал его как песенку из четырех строк; следующие две: «Танцовальщик не видал, Споткнулся и упал» (*Сергеенко А. П.* Рассказы о Л. Н. Толстом. М., 1978, с. 167).

[7] *Ученость — вот чума, ученость — вот причина!* — Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (в подлиннике: «Ученье — вот чума, ученость — вот причина»).

[8] *Под вечер... дева шла местах...* — Начало популярной песни на слова А. С. Пушкина (1814).

[9] *Прощаюсь, ангел мой, с тобою...* — Начало народного романса XVIII в.

[10] *Не дивитесь, друзья... Призадумывался...* — Строфа-рефрен из песни на слова С. Е. Раича «Друзьям» (1827).

[11] *Кончен, кончен дальний путь...* — Начало романса на слова А. Х. Дуропа «Казак на родине» (1818).

[12] *...глубоко честная, глубоко смиренная личность...* — Очевидно, Иван Дмитриевич Беляев, будущий профессор истории русского права Московского университета, подготавливавший Г. к поступлению в университет после первого учителя С. И. Лебедева.

[13] *...несколько других, еще более отверженных имен...* — Очевидно, литераторов-декабристов, в первую очередь — К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева-Марлинского.

[14] *...значенье... Внимать невозможно...* — Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

[15] *«Аутос эфе»* («сам сказал») — аргумент в спорах между учениками Пифагора, когда они хотели опереться на авторитет учителя.

[16] *...фантастическим, но много сулившим миронастроением Павлова...* — Профессор М. Г. Павлов проповедовал в своих лекциях шеллингианские идеи.

[17] *...будущего труженика истории...* — Очевидно, И. Д. Беляева.

[18] *...увлекались пением своей сирены...* — И. Е. Дядьковский, по отзывам современников, играл на медицинском факультете роль, аналогичную Т. Н. Грановскому у гуманитариев: он был энциклопедически образованный ученый, сочетавший хорошее знание практики с философскими обобщениями; прекрасный лектор, увлеченный темой, он мог «растянуть» лекцию до 3—4 часов (см. о нем: Биографиче-

ский словарь профессоров и преподавателей имп. Московского ун-та (...), ч. I. М., 1855, с. 315—325).

[19] *...новой науки...* — В первопечатном тексте было «эловой науки». В. С. Спиридонов предложил чтение «эоловой» (*Псс*, с. 43), что, на наш взгляд, лишает фразу позитивного смысла: ведь Г. противопоставляет эту науку «старой рутине», почему же живая наука должна быть легкой, как Эол?! Исправление В. Н. Княжнина на «новой» (*Материалы*, с. 44) представляется единственно правильным и по смыслу, и по предполагаемому графическому начертанию: специфическое григорьевское написание «н» вполне могло быть принято наборщиком за «эл».

[20] *...слово, наследованное от великого берлинского учителя...* — Речь идет о Т. Н. Грановском, использовавшем в своих лекциях метод и идеи Гегеля. В свете своего позднейшего сдержанно-отрицательного отношения к «западникам» и гегельянству Г. употребляет применительно к Грановскому не слишком лестные эпитеты.

IV. Нечто весьма скандальное о веяниях вообще

[1] *...о мой милый Горацио Косица...* — «Косица» — псевдоним Н. Н. Страхова в журналах Ф. М. Достоевского «Время» и «Эпоха». Страхов был почтительным, внимательным учеником Г., поэтому тот мог обратиться к нему, как Гамлет к своему товарищу Горацио.

[2] *...2-ю симфонию старого мастера...* — Бетховена.

[3] *...в твоем последнем письме...* — Имеется в виду «Письмо в редакцию» Н. Н. Страхова (Эпоха, 1864, № 1—2, с. 576—586), посвященное критике вульгарного материализма с позиций правого гегельянства.

[4] *...послать их к «тем особам», с которыми познакомил Фауста ключ Мефистофеля...* — Речь идет о Матерях в преисподней, куда Мефистофель посылает Фауста, снабдив его волшебным ключом («Фауст», ч. II, сцена «Темная галерея»).

[5] *Авгуры* — древнеримские жрецы-предсказатели. Это прозвище стало употребляться как синоним знающих «тайный» язык и по особой улыбке отличающих среди профанов подобных себе, посвященных в тайны.

[6] *...«зарубки Любима Торцова»...* — Герой комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853) Любим Торцов рассказывает приказчику Мите о трудности порвать с беспутной жизнью: «...попадешь на эту зарубку, не скоро соскочишь» (д. 1, явл. 12).

[7] *Есть у меня приятель...* — Е. Н. Эдельсон, сторонник и пропагандист «опытной» психологии Бенеке, немецкого философа, противника рационализма и гегельянства, ставившего психологию во главу философии: якобы лишь психические явления познаваемы благодаря внутреннему опыту, самонаблюдению.

[8] *Кунштик* — ловкая проделка, фокус (от нем. Kunststück).

[9] *...стена, на которую жалуется... последний герой... Достоевского.* — Герой только что опубликованных «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского говорит о каменной стене (аллегорическое обозначение препятствий, законов и т. д.), возникающей на пути человека (см. гл. 3 первой части повести).

[10] *...«психологические скиццы»...* — Одно из наиболее известных ранних сочинений Бенеке «Psychologische Skizzen» (1827).

[11] *...«дьяк, в приказе поседелый»...* — Неточная цитата из драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов» (нужно: «в приказах»); слова Григория (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).

[12] *«Феноменология духа»* — один из главных трудов Гегеля (1807).

[13] *...о каких-то... костях инфузорий...* — Намек на магистерскую диссертацию Н. Н. Страхова «О костях запястья млекопитающих» (1857).

[14] *...ключам, которые были...* — В. С. Спиридонов (*Псс*, с. 282) предполагает здесь ошибку: ключи «бьют», а не «бывают», но так как по смыслу возможно и «были», и «били», то мы оставляем журнальный вариант.

[15] *...из-под спуда...* — В журнальном тексте было «из-под сосуда» — явная ошибка.

[16] *Сеидство* — крайняя степень приверженности (сеиды — фанатики мусульманской веры).

[17] *Per me si va... ch'entrate!* — Строки 2 и 9 из песни третьей дантовского «Ада».

[18] *...представителей кружка петербургские критики стали скоро упрекать в «заложениях»...* — Речь идет о «молодой редакции» «Москвитянина» (Г., А. Н. Островский, Е. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов и др.), которую демократические и либеральные критики обвиняли в консервативности, в защите патриархальных начал, в славянофильстве.

[19] *...жизни, хоть и гальванической...* — В лексиконе Г. «гальванический» значит «искусственно возбужденный» (намек на известный опыт с сокращением мускулов ноги лягушки под воздействием электрического тока).

[20] *...в перл создания...* — Выражение Гоголя: «...озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания» («Мертвые души», т. I, гл. VII).

[21] *Лербух* — учебник (*нем.* Lehrbuch).

[22] *Ярыжно* — любимое слово Г., означающее: беспутно, разгульно.

[23] *...хера профессора...* — господина профессора (от *нем.* Herr Professor).

[24] *Две гитары... заныли...* — Начало известного романса на слова Г. «Цыганская венгерка».

[25] *...Дон Базилио Педро...* — Василий Петрович Боткин; шутливый намек на его книгу «Письма об Испании» (1857).

[26] *...вступительный том в «Философию мифологии» Шеллинга.* — *Schelling F.* Sämmtliche Werke. 2-te Abth. Bd 1. Stuttgart und Ausburg, 1856.

[27] *Tomba tusca* (Этрусская гробница). — В Италии сохранилось несколько этрусских гробниц. Так как упоминается Белль, гувернер кн. Трубецкого, то, очевидно, имеется в виду вилла Сан-Панкрацио в окрестностях Флоренции, где Г. жил в семействе Трубецких в августе-сентябре 1857 г.

V. Литературные стремления начала тридцатых годов

[1] *...таинственные совпадения создания Дон-Кихота и Гамлета...* — Об этом совпадении уже писал И. С. Тургенев в статье «Гамлет и Дон-Кихот» (1860).

[2] *...революционных стремлений и творчества Бетховена...* — Имеется в виду отражение в творчестве Бетховена идейного духа Великой французской революции 1789—1793 гг. и революционных потрясений начала XIX в. (Испания, Италия, Греция).

[3] *О чем не смеет грезить ваша мудрость* — «Гамлет», акт I, сц. 5. Г. неточно цитирует по памяти известный перевод Н. Полевого (*Шекспир.* Гамлет, принц датский. М., 1837, с. 53). У Полевого: «Горацио! есть многое и на земле и в небе, О чем мечтать не смеет наша мудрость».

[4] *Об этом, впрочем, рассуждал и писал я так много...* — О связи романтизма и философского идеализма (трансцендентализма) Г. писал и в ранних своих статьях (например, в рец. на альманах «Комета» — Москвитянин, 1851, № 9—10, с. 169—178), и в поздних (например, в цикле «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», статья II — Русское слово, 1859, № 3, отд. II, с. 1—39; в статье «Гейнрих Гейне» — там же, № 5, отд. III, с. 15—28).

[5] *...села Горохина»...* — В течение всего XIX в. в изданиях «Истории села Горюхина» (1830; впервые напечатано: Современник, 1837, т. VII) название села приводилось в искаженном виде: «Горохино».

[6] *...старцы в котурнах...* — Атрибут античной драмы (котурны — башмаки трагических актеров на высокой подошве) использован для характеристики приверженцев классицизма. *...старцы «в бланжевых чулочках»...* (т. е. в чулках телесного цвета — поколение, выросшее на сентименталисткой литературе.

[7] *...как председатель палаты в «Мертвых душах»... ударением на слове: чу!* — См.: «Мертвые души», т. I, гл. VIII.

[8] *...автора книги «О старом и новом слоге», кумира для бланжевых чулков...* — Г. стилистически нечетко построил фразу, так что понятие «кумир» может быть отнесено к «автору книги»; на самом деле кумир — названный выше Карамзин, а автор книги «Рассуждение о старом и новом слоге» (1803) — адмирал А. С. Шишков, решительный враг Карамзина.

[9] *...доходящих в лице Иванчина-Писарева до идолопоклонства самого омерзительного.* — Н. Д. Иванчин-Писарев опубликовал «Речь в память историографу Российской империи» (1827), прославляющую Карамзина.

[10] *...аристократы литературные...* — Так в журнальной полемике начала 30-х гг. именовали круг пушкинских друзей, прежде всего А. А. Дельвига и П. А. Вяземского, но сюда иногда присоединяли и Пушкина.

[11] *...блистательною статьею И. В. Киреевского...* — «Обозрение русской словесности 1829 года» («Денница, альманах на 1830 год», с. IX—LXXXIV). Одним из первых Киреевский оценил в творчестве Пушкина пафос «действительности» и шекспиризм.

[12] *Аристократы литературные и сам Пушкин держатся в стороне от этой борьбы.* — Г. не совсем точен; в «Литературной газете» Дельвига в 1830 г. появились отрицательная рецензия Пушкина на 1-й том «Истории русского народа» Полевого и целый ряд статей П. А. Вяземского, направленных против Полевого (однако, упрекая Полевого за мелочную и легковесную полемику с Карамзиным, Пушкин был недоволен также мелочными и грубыми рецензиями на его труд, написанными М. П. Погодиным и Н. И. Надеждиным).

[13] *Нельзя... ничего неприличнее... вообразить... статьи, которой разразился против «Истории русского народа» редактор «Московского вестника»...* — Речь идет о двух статьях-рецензиях М. П. Погодина с критикой 1-го и 2-го тома книги Н. А. Полевого (Московский вестник, 1830, № 2, с. 165—190; 1831, № 21—24, с. 165—200). Погодин, помимо мелких придирок, обвинял Полевого в забвении «государственности», в нарочитом противопоставлении народа государству.

[14] *...еще неприличнее... статьи против нее в старческом «Вестнике Европы».* — В этом журнале против книги Н. А. Полевого с двумя статьями выступил Н. И. Надеждин: *Н. Н.* «История русского народа», соч. Н. Полевого. Том 1. М. ‹...›, 1829 ‹...› (Вестник Европы, 1830, № 1, с. 37—72); Письмо П. С. Правдивина к Н. А. Надоумку (О втором томе «Истории русского народа») (там же, № 15—16, с. 276—302). Статьи Надеждина содержали еще более грубые нападки (чем рецензии Погодина) на Полевого за антикарамзинский дух его книги и за эклектизм, за «нахватанность» у других авторов идей и фактов.

[15] *...Погодин был всегда демократ... что было делить ему с другим демократом, Полевым?* — Г. не учитывает существенного различия между этими литераторами: Погодин всегда был весьма консервативен в социально-политическом отношении, демократические черты его мировоззрения сочетались с монархизмом и даже с «лакейской» покорностью властям. Полевой же до 1834 г., до запрещения «Московского телеграфа», был значительно более радикальным демократом, чем Погодин.

[16] *...легко и смеяться над посвящением «Истории русского народа» Нибуру...* — Н. А. Полевой посвятил книгу «Нибуру, первому историку нашего века», всемирно известному немецкому специалисту по истории древнего Рима; за это самонадеянное посвящение Полевого упрекали все рецензенты его книги.

[17] *...Полевой, несмотря на свою последующую, несчастную и обстоятельствами вынужденную драматическую деятельность...* — По распоряжению Николая I журнал Полевого «Московский телеграф» был запрещен в 1834 г. за относительно отрицательную резенцию редактора на псевдопатриотическую пьесу Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». Полевой, обремененный долгами и семьей, вынужден был сам теперь писать официально патриотические драмы из русской истории.

[18] *...передовой скоро «сбрендил» до непонимания высшей сферы пушкинского развития...* — Романтик Полевой не понял новаторства и реалистической основы пушкинских произведений после 1824 г., в том числе «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина».

[19] *...именно в томе 35-ом... натолкнетесь... на большую... статью — о... «Скупом»...* — *В. У‹шаков›.* Скупой, комедия в 5-ти действиях. Соч. Мольера, перев. С. Т. Аксаковым. — Московский телеграф, 1830, ч. 31, № 3, с. 396—424. Г. все-таки ошибся: статья опубликована не в 35, а в 31 томе (части) журнала.

[20] *...до цинизма... «абличительных» изданий...* — Г. именовал так современные (начала 60-х гг.) сатирические журналы, ориентировавшиеся, как ему казалось, на мещанскую публику.

[21] *...«Собрание разных театральных и литературных воспоминаний» Аксакова.* — Г. неточен: книга С. Т. Аксакова называется «Разные сочинения» (М., 1858), а частью ее являются «Литературные и театральные воспоминания».

[22] *...замечательную... повестушку «Киргиз-Кайсак»...* — Действительно, повесть В. А. Ушакова «Киргиз-Кайсак» (1830) была сочувственно встречена критикой. Белинский в «Литературном альманахе» назвал ее «явлением удивительным и неожиданным» (I, 95).

[23] *...милого учебника г. Георгиевского...* — *Георгиевский П. Е.* Руководство к изучению русской словесности... СПб., 1842.

[24] *...застарелые основы эстетических учений «симандры»...* — Т. е. основы эстетики «семинаристов», учебники и курсы лекций И. И. Мартынова, А. Ф. Мерзлякова, А. И. Галича и др.

[25] *...свист Сенковского-Брамбеуса...* — Талантливый ученый-ориенталист О. И. Сенковский писал под псевдонимом «Барон Брамбеус» в своем журнале «Библиотека для чтения» легковесные, на потребу низменным вкусам, сочинения разных жанров, как правило, — с сатирическим или юмористическим оттенком. Его можно считать предшественником бульварной обличительной и фельетонной публицистики второй половины XIX в., но Г. несправедливо сближает его с сотрудниками «Свистка», сатирического приложения к журналу «Современник» (от его названия в 60-х гг. получили широкое распространение термины «свист» и «свистать»).

[26] *...Надеждин в «Телескопе» и Шевырев в «Наблюдателе» разбили... Брамбеуса...* — Имеются в виду резко отрицательные статьи Н. И. Надеждина (*Издатель Телескопа и Молвы.* Здравый смысл и Барон Брамбеус. — Телескоп, 1834, № 19, с. 131—175; № 20, с. 246—276; № 21, с. 317—335) и С. П. Шевырева («Словесность и торговля». — Московский наблюдатель, 1835, март, кн. 1, с. 5—29).

[27] *...написал вещь весьма гнусную под названием «Висяша»...* — Повесть В. А. Ушакова называлась «Пиюша» (1835), а карикатурным персонажем там выступал Висяша (Виссарион) Кривошеин, именем прозрачно намекавший на В. Г. Белинского; последний превосходно высмеял низкопробный характер этой «сатиры» — *Белинский,* II, 26—30.

[28] *...гимн освобождения от векового крепостного рабства...* — Стихотворение С. Т. Аксакова «При вести о грядущем освобождении крестьян» (1858; опубликовано в газете И. С. Аксакова «День», 1861, № 1; не вошедшая в этот текст строфа была напечатана: Русский архив, 1885, кн. 5, с. 74).

[29] *...автор «Комедии...»,... «Ермака»...* — Имеются в виду драматические произведения Н. А. Полевого: «Комедия о войне Федосьи Сидоровны с китайцами» (1842), «Параша-Сибирячка» (1840), «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» (1845).

[30] *...в его «очерках» литературы)...* — *Полевой Н. А.* Очерки русской литературы. СПб., 1839; впервые же статья о «Двумужнице» опубликована в «Московском телеграфе» (1833, № 3, с. 472—492).

[31] *...дюкре-дюменилевскую народность...* — Дюкре-Дюмениль в своих романах в сентиментальном духе показывал жизнь поселян.

[32] *...восстает на «Руку всевышнего»* — См. примеч. 17.

[33] *...в одном из фельетонов своего журнала показывает, например, Москву...* — В фельетоне «Мелкая промышленность, шарлатанство и диковинки московские» (Московский телеграф, 1832, № 13, с. 263—281; № 14, с. 293—310; № 15, с. 311—330; № 16, с. 331—348).

[34] *Популярный вождь... написал... довольно ерундистую статью...* — Речь идет о предисловии Н. А. Полевого «Державин и его творения» к «Сочинениям Г. Р. Державина» (СПб., изд. Д. П. Щукина, 1845). Статья, впрочем, печаталась раньше в «Московском телеграфе» (1832) и в «Очерках русской литературы» (1839).

[35] ...*над Херасковым тешился уже Мерзляков...* — А. Ф. Мерзляков во многих своих статьях характеризовал творчество Хераскова, наиболее обстоятельно в особом цикле из семи статей «Россияда, поэма эпическая г-на Хераскова (Письмо к другу)» (журнал «Амфион», 1815, кн. 1—3, 5, 6, 8, 9). Слово «тешился», однако, не подходит к духу этих статей: они весьма умеренно антиклассицистские, Мерзляков с большим уважением относился к Хераскову и его поэме, с похвалами отзывался о нем.

[36] ...*Марлинского, окруженного... ореолою... трагической участи.* — Марлинский был сослан на Кавказ, в действующую армию, и погиб в 1837 г. в битве с горцами у мыса Адлер.

[37] ...*до «стонов сизого голубка»...* — Подразумевается популярная песня И. И. Дмитриева «Стонет сизый голубочек» (1792).

[38] ...*его высокопревосходительством И. И. Дмитриевым...* — Намек на высокие государственные посты поэта: он был обер-прокурором Сената и министром юстиции.

[39] ...*«Веника граций»...* — «Венок граций, альманах на 1829 год». М., ‹1828›. Альманаху предпослан «Разговор издателя с одной из московских красавиц», где Московская красавица допускает, что название послужит поводом для шуток: «...иные остряки назовут, пожалуй, Веником граций» (с. 10). Ниже Г. перечисляет переводы из западноевропейских писателей, действительно имеющиеся в альманахе (кроме Гюго: Г., очевидно, спутал его с А. Шенье).

[40] ...*кружок... был в связи с сателлитами блестящей планеты...* — Речь идет о связи круга М. П. Погодина с литературными соратниками и друзьями Пушкина: Е. А. Баратынским, С. А. Соболевским, В. П. Титовым.

[41] ...*видишь, что... втесались в соседство имена графини Ростопчиной, г-жи Каролины Павловой, г. М. Дмитриева, г. Федорова... и — о ужас! Авдотьи Глинки!* — Явно речь идет о следующих заключительных строках статьи Г. «Русская изящная литература в 1852 году» (Москвитянин, 1853, № 1), где лишь вместо Б. М. Федорова назван П. А. Вяземский: «О других поэтах-дамах, которых таланты уже окончательно уяснились и оценены по достоинству, мы считаем излишним говорить как, например, о гр. Ростопчиной, о г-же Павловой, хотя о том и о другом из этих замечательных и совершенно различных женских дарований сочли бы истинным удовольствием побеседовать с читателями. По той же причине мы не говорили о стихотворениях князя Вяземского, Дмитриева, Глинки» (*Лит. критика*, с. 111). Эти строки, видимо, были без согласования с Г. вписаны издателем «Москвитянина» М. П. Погодиным, симпатизировавшим консервативным и бездарным поэтам. У Г. были еще личные основания враждебно относиться к М. А. Дмитриеву, автору злой и грубой эпиграммы на стихотворение Г. «Искусство и правда», опубликованной Погодиным в том же журнале, где и стихотворение Г.:

Вы говорите, мой любезный,
Что будто стих у вас железный!
Железо разное: цена
Ему не всякая одна!
Иное на рессоры годно,
Другое в ружьях превосходно,
Иное годно для подков:
То для коней, то для ослов,
Чтоб и они не спотыкались!
Так вы которым подковались?

(Москвитянин, 1854, № 5,
отд. VIII, с. 20).

[42] ...*инквизиторская статья г. Стурдзы...* — Имеются в виду статьи А. С. Стурдзы, полные официозного и ортодоксально-религиозного пафоса, скорее всего: «Дань памяти Жуковского и Гоголя» (Москвитянин, 1852, № 20, отд. I, с. 213—228).

[43] *...прошлогодняя повесть г. Кулжинского...* — «Семен Середа, куренной атаман запорожского войска» (Москвитянин, 1852, № 13, с. 17—24; № 14, с. 25—48). В первопечатном тексте было «г. Кулагинского»; впервые ошибка исправлена: *Материалы*, с. 404.

[44] *...два-три стихотворения Хомякова...* — Романтические стихотворения раннего периода: «Молодость» (1827), «Иностранка» (1832), «Орел» (1832), «Ключ» (1835) и др.

[45] *...две-три... неопрятных, повестей Погодина...* — «Нищий» (1825), «Невеста на ярмарке» (1827), «Русая коса» (1827), «Черная немочь» (1829) — повести о разночинцах и крестьянах, о социальном неравенстве. «Неопрятными» Г. их называет из-за несовершенства обработки, одновременно намекая на грубо-неопрятный человеческий облик автора.

[46] *...солидарный притом всю жизнь с мракобесами, с петербургским славянофильством...* — О связях М. Н. Загоскина с издателями реакционного журнала «Маяк» (П. А. Корсаковым и С. А. Бурачком), именовавшимися Г. «петербургскими славянофилами», см. статью Г. «Оппозиция застоя. Некоторые черты из истории мракобесия» (Время, 1861, № 5, отд. II, с. 1—34).

[47] *Полевой отдал справедливость... попытке исторического романа...* — Рец.: *Н. П‹олевой›*. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Соч. М. Н. Загоскина. — Московский телеграф, 1829, ч. 30, № 24, с. 462—467.

[48] *...его литературную исповедь...* — «Несколько слов от сочинителя», опубликовано как предисловие к «Очеркам русской литературы» Н. А. Полевого (ч. 1, СПб., 1839, с. V—XLIII).

[49] *...знаменитая пародия на Жуковского «Светлану...»* — «Новая Светлана» М. А. Дмитриева (конец 1830-х гг.) ходила по рукам в списках; напечатана: Русский архив, 1885, № 1, с. 649—659; но в этом варианте отсутствуют строки «У газетчика живет он на содержаньи». Г. неудачно назвал эту сатиру «пародией на Жуковского»: Дмитриев лишь использовал ритм баллады «Светлана», совершенно не намереваясь ее пародировать.

[50] *...(без трибуналов старцам не живется)...* — Г. ненавидел жестокость мракобесов; он писал эти строки вскоре после разгрома польского восстания 1863 г., после смертных приговоров военно-полевых судов в Польше и репрессий по отношению к русской интеллигенции. Еще до польского восстания, но уже при разгуле черносотенной реакции, стремившейся подавить революционное движение в стране, проехав через Россию летом 1862 г., Г. писал в статье «Ветер переменился», что он пришел в «неописуемый ужас от многообразных проявлений „белого“ (т. е. монархического, контрреволюционного, — *Б. Е.*) террора, обнаруживавшегося преимущественно в бюрократических и мещанских слоях» (Якорь, 1863, № 2, с. 21).

[51] *...старцев, которые... подъедали чистоту задач «Московского вестника» и «Москвитянина»...* — Прежде всего имеется в виду М. А. Дмитриев; кроме него — кн. П. А. Ширинский-Шихматов, гр. Д. И. Хвостов («Московский вестник»), А. С. Стурдза («Москвитянин»).

[52] *...«Московские элегии» г. М. Дмитриева...* — Книга была издана в Москве в 1858 г. и получила за свою реакционность единодушно отрицательные отзывы (см., например, рец. Н. А. Добролюбова — Современник, 1858, № 9).

[53] *«Абличительная головешка»* — так Г. называл журнал «Искра», будучи недовольным ее критикой «почвенничества».

[54] *«Назидательная головешка»* — реакционный журнал «Домашняя беседа»; в своем журнале «Якорь» Г. неоднократно резко отзывался об этом органе.

[55] *...наших бюхнерчиков и молешотиков...* — т. е. проповедников вульгарного материализма.

[56] *Инфамия* — гнусность, подлость, позор (от *франц.* infamie).

[57] *Назойство* — назойливость.

[58] *Отродие купечества, Изломанный аршин...* — Начало анонимной эпиграммы на Полевого; ее окончание: «Какой ты Сын отечества — Ты просто Сукин сын!» (Эпиграмма и сатира... Т. 1. 1800—1840. М.—Л., 1931, с. 252).

[59] *...ругательства двух «Вестников»...* — «Вестника Европы» и «Московского вестника».

[60] *...эпиграммы г. М. Дмитриева...* — Возможно, имеется в виду поэма «Новая Светлана» (см. примеч. 49); но известны и отдельные эпиграммы Дмитриева на Полевого, см.: Эпиграмма и сатира... Т. 1. 1800—1840. М.—Л., 1931, с. 255—256.

[61] *...водевильные куплеты Писарева.* — В водевиль А. И. Писарева «Три десятки, или Новое двухдневное сражение» (1825) были введены куплеты, высмеивающие Полевого (см. их текст: Стихотворная комедия конца XVIII—начала XIX в. М.—Л., 1964, с. 916—917).

[62] *...находят теперь более вкуса в анатомических, чем в исторических, диссертациях)...* — Освободительный, расковывающий характер 60-х гг. вызвал в жизни и в печати оживленные дискуссии о предоставлении женщинам права на получение высшего образования. Многие русские женщины жаждали поступить в медицинские учебные заведения, но по тогдашним законам им было запрещено поступать в русские университеты и академии, поэтому женщины часто уезжали учиться в зарубежные высшие учебные заведения. Г., с позиций романтика-гуманитария вообще высокомерно относившийся к естественнонаучному образованию, иронизировал и по поводу соответствующих стремлений женщин.

[63] *...хохлацким жартом над русскою историею, сведением Московского государства на одну доску с разными отпадшими ханствами...* — Имеются в виду труды Н. И. Костомарова начала 1864 г. Г. ранее сочувственно относился к антицентрализаторским идеалам историка, к защите областных свобод: см. его рец. на кн. Костомарова «Северно-русские народоправства во времена удельно-вечевого уклада», 2 тома, СПб., 1863 (Время, 1863, № 1, отд. II, с. 92—140). Но когда в связи с появлением статьи Костомарова «Куликовская битва» («Приложение к Месяцеслову на 1864 год», с. 3—24) возникла резкая полемика между автором и М. П. Погодиным (в газетах «День» и «Голос» начала 1864 г.; подробное ее изложение см.: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 21. СПб., 1907, с. 385—405), то Г. занял сторону своего учителя Погодина: Костомаров рассматривал Московское княжество XIV в. лишь как одну из многих других русских областей, а Погодин упрекал его в антипатриотическом принижении Москвы.

[64] *...не то поморскими, не то просто поморными галлюцинациями русских историков «Искры».* — Каламбур, основанный на звуковом сходстве весьма различных понятий: под «поморскими» Г., вероятно, подразумевает издевки «Искры» над норманской теорией происхождения первых русских князей, проповедовавшейся М. П. Погодиным (см., например: Искра, 1860, № 13, с. 137), а слово «поморный» (означающее и «умору» — смех и «помору» — болезнь, отраву) вначале было брошено искровцам как уничижительный эпитет их врагами: Русский вестник, 1859, сент., кн. I, «Современная летопись», с. 93; *Гымалэ ‹Волков Ю.›.* Литературные впечатления. — Санктпетербургские ведомости, 1860, № 190, 211 (см. примеч. И. Г. Ямпольского в кн.: Поэты «Искры». Том 1. В. С. Курочкин. Л., 1955, с. 747), но искровцы подхватили этот эпитет и перенесли его на противника, очень часто употребляя его в заметках, стихах и даже введя специальный раздел «Поморные наброски» (см.: Искра, 1863, № 47, с. 705—706).

[65] *...стоит только начать...* — По смыслу вместо «только» должно стоять слово «теперь».

[66] *...говорить «против волка»* — т. е. мужественно говорить не очень приятную правду (по аналогии с выражением «против шерсти»).

[67] *...принцев-пиявок, Серпентин...* — Принц — персонаж «Житейских воззрений кота Мурра» (1822), Серпентина — рассказа «Золотой горшок» (1813) Э. Т. А. Гофмана.

[68] *Ауэрбаховский погребок* — кабачок в Берлине.

[69] *Великий Гегель, по сказанию известного ерника Гейне, выразился как-то в беседе неуважительно насчет планет небесных, да и сел потом преспокойно за вист.* — В очерке «Признания» (1854) Г. Гейне вспоминал, как он, будучи молодым человеком, в беседе с Гегелем назвал звезды «обителями блаженных», а Гегель ответил, явно эпатируя романтического юношу: «Звезды только светящаяся сыпь

на небе!» — и тут же Гегеля пригласили на партию виста (см.: *Гейне Г.* Собр. соч. в 10-ти т., т. 9. М., 1959, с. 113—114).

[70] *Tigre-singe* — широко известное выражение Вольтера (см., например: *Voltaire.* Correspondence, vol. 67. Genève, 1962, p. 293), которое цитировалось в России уже в XVIII в. (см.: *Заборов П. Р.* Вольтер в России конца XVIII—начала XIX века. — В кн.: От классицизма к романтизму. Л., 1970, с. 77). А. С. Пушкин в Лицее имел прозвище «француз, смесь обезьяны с тигром».

[71] *...по весьма правдивым сказаниям Федора Достоевского.* — Имеются в виду главы V—VIII очерков Ф. М. Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» (Время, 1863, № 3, с. 323—362), где весьма иронически описаны быт и нравы французских буржуа.

[72] *...луна, мечта, дева, — тряпки, тряпки! — по позднейшему остроумному выражению Сенковского-Брамбеуса...* — Это выражение не найдено в произведениях Сенковского, но оно, видимо, было известным; ср. в статье А. Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева», посвященной «А. А. Григорьеву», рассуждение об эпигонской поэзии: «Луна, мечта, дева! тряпки, тряпки! Да, действительно они превращались в тряпки, которыми один ленивый не помыкал» (Русское слово, 1859, № 2, с. 66).

[73] *...к знаменитому приторно мещанскому эпилогу «Аббадонны»...* — Роман Н. А. Полевого «Аббадонна» (М., 1834) появился еще до разгрома журнала «Московский телеграф», а «Эпилог Аббадонны» (Сын отечества, 1838, июль, с. 17—82; октябрь, с. 101—156) создавался нравственно надломленным и напуганным репрессиями писателем. Но Г., вероятно, прочитал лишь первую часть эпилога, где герой, поэт Вильгельм Рейхенбах, получает крупную сумму по завещанию умершего должника его отца, разрушает козни злодеев и обручается с Генриеттой; вторая же часть эпилога насыщена похищениями, убийствами, отравлением, так что весьма далека от приторности.

[74] *Для любви... на свет произвела...* — Источник цитаты не найден.

[75] *...Кукушкины... «когда препятствия исчезают и два любящиеся сердца соединяются».* — Неточная цитата из тирады Кукушкиной — драма А. Н. Островского «Доходное место», д. II, явл. 5.

[76] *...быть в толпе бесчувственных людей...* — Источник цитаты не найден.

[77] *...дослужились до чинов известных и до пряжек за двадцатипятилетие.* — Намек не расшифрован, возможно, имеется в виду кн. П. А. Вяземский, превратившийся из фрондирующего поэта в видного чиновника, товарища (заместителя) министра народного просвещения. Возможно также, что объектом иронии является В. Г. Бенедиктов, дослужившийся до должности директора банка и до чина действительного статского советника. В фразе чувствуется аллюзия на известную реплику чиновника в романе А. И. Герцена «Кто виноват?» по поводу отставки Бельтова: «Ровно четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки». Пряжка — знак отличия беспорочной службы, дававшийся (до 1858 г.) за 15, 20, 25 и т. д. лет.

[78] *...поэму г. Жандра «Свет»?* — Точное название: Свет. Роман минувшей эпохи в стихах. СПб., 1857.

[79] *«Наташа Подгорич»* — роман М. И. Воскресенского (М., 1858); кроме того, он автор романов «Черкес» (М., 1830), «Проклятое место» (М., 1838) и др.

[80] *...в конце тридцатых годов...* — Ошибка; нужно или «в конце двадцатых», или «в начале тридцатых».

[81] *...снисходительно отнесшись к «Димитрию Самозванцу»...* — В журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф» появилась весьма сочувственная рец. В. А. Ушакова на роман Ф. В. Булгарина «Димитрий Самозванец» (1830, № 6, с. 193—237); правда, сам Полевой публично отмежевался от этой рец. (1830, № 23, с. 368); мнение его о романах Булгарина было сдержанным, но в целом — положительным (отмечалась надуманность характеров и сюжета, но признавался большой успех у «публики»).

[82] *...сцены из «Бориса»...* — Первоначально, до отдельного издания 1831 г., из драмы «Борис Годунов» были напечатаны отрывки в «Московском вестнике» (1827, № 1), в альманахах «Северные цветы» на 1828 год и «Денница» на 1830 год.

[83] *Лужницкий старец* — редактор «Вестника Европы» М. Г. Каченовский (хотя в действительности он выступал под этим псевдонимом с соавторами).

[84] *Времен очаковских и покоренья Крыма...* — Строка из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (монолог Чацкого, д. II, явл. 5).

[85] *...наши нигилисты знают пять книжек...* — Г. иронизирует над радикальной молодежью 60-х гг., увлекавшейся вульгарно-материалистическими трудами К. Фогта, Бюхнера, Молешотта.

VI. Отзывы прошлого

[1] *Пою... гордость угнетенну.* — Первые строки поэмы М. М. Хераскова «Россияда»; в конце второй строки вместо «угнетенну» в подлиннике — «низложенну».

[2] *Российские князья... отыскивать свободы.* — Начальные строки из трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской» (1807); цитата неточна; нужно не «за Дон», а «чрез Дон».

[3] *«Митюха Валдайский»* — пародия на трагедию В. А. Озерова «Димитрий Донской», принадлежащая П. Н. Семенову (1810). Впервые неисправный текст пародии был опубликован в журнале «Библиогр. записки» (1861, № 5, стб. 145—160; № 6, стб. 175—190) и приписан актеру С. Н. Сандунову; затем появилась статья: *Грот Я.* Об авторе «Митюхи Валдайского» (там же, № 15, стб. 447—457), раскрывающая истинного автора (со ссылкой на некролог П. Н. Семенова — Северная пчела, 1832, № 146) и вносящая много исправлений в текст.

[4] *Ах... любовь родит беды.* — Стихотворение И. И. Дмитриева (1792).

[5] *...пародировал цинически конец этого нежного стихотворения.* — Речь идет о следующих заключительных строках:

> Возрыдала б, возопила:
> Добры люди! Как мне быть?
> Я неверного любила...
> Научите не любить.

Пародировалась, по устному преданию, последняя строка: «Научите не родить» (см.: *Воспоминания*, с. 123).

[6] *...нашел в нем смех...* — В. С. Спиридонов видит здесь ошибку и предлагает вместо «смех» читать «смысл» (*Псс*, с. 292). Возможно, однако, и первопечатное прочтение.

[7] *...от самых ранних лет...* — В первопечатном тексте было: «до самых ранних лет»; исправлено по смыслу.

[8] *...обстановке...* — В первопечатном тексте: «постановке»; исправлено по смыслу.

[9] *...как субъект исследования...* — Мы бы теперь сказали: «субъект, подлежащий исследованию» или «объект исследования».

[10] *...непристойных пародий, к сочинению которых имел он большую страсть (наследованную, впрочем, и мною)...* — Подобные пародии Г. и его отца совершенно неизвестны.

[11] *...автора «Дум» и «Войнаровского»...* — К. Ф. Рылеева.

‹VII›. Запоздалые струи

[1] *...повествования Матвея Шрекка о царях вавилонских и ассирийских...* — Имеется в виду переведенная с нем. «Шрекова Всемирная история для обучения юношества» (СПб., 1787, неоднократно потом переиздавалась).

[2] *...«по делу виден художник...» и проч...* — Неточная цитата из «Пространного христианского катехизиса» митрополита Филарета (Дроздова). В подлиннике: «...и всегда художник бывает совершеннее своего дела» (М., 1829, с. 2).

[3] *Довелось мне быть наставником одного крайне ленивого и крайне же даровитого отрока...* — Семейство князей Трубецких по рекомендации М. П. Погодина

пригласило Г. быть воспитателем сына, Ивана Юрьевича, на время заграничной поездки (1857—1858). Подробно историю своей жизни в семье Трубецких Г. излагал в письмах к М. П. Погодину (*Материалы*, с. 165—255; обильные цензурные купюры этого издания восстановлены и ошибки исправлены в публикациях: *Егоров Б. Ф.* Письма Ап. Григорьева М. П. Погодину 1855—1857 гг. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, 1973, вып. 306, с. 386—388; *Егоров*, с. 336—344).

[4] ...*гувернером-англичанином*... — В тех же письмах Г. часто упоминает этого гувернера, м-ра Белля.

[5] *Фиористка* — продавщица цветов (от *итал.* fiore — цветок).

[6] *Пьяцетта* — площадь небольшого размера (*итал.* piazzetta).

[7] *Сальянтные* — выдающиеся (от *франц.* saillantes).

[8] *Пергола* — знаменитый театр во Флоренции.

[9] *Family-Shakespeare* — сокращенное издание классика (с изъятием «неприличных» сцен) для семейного чтения.

[10] *«Антеноровы путешествия»* — многочисленные русские переводы франц. сочинения; наиболее ранний: Антеноровы путешествия по Греции и Азии. Соч. г. Лантье. Пер. с франц. Петра Макарова и Григория Яценкова. 3 ч. М., 1801—1802.

[11] *«Кум Матвей»* — русский перевод французского романа: Кум Матвей, или Превратности человеческого ума. Роман Дюлорана. Пер. с франц. П. Пельского. 4 ч. М., 1802. За фривольность был запрещен в России.

[12] *«Фоблаз»* — «Приключения кавалера Фоблаза» (1787—1790), известный фривольный роман Ж.-Б. Луве де Кувре (1760—1797), французского писателя и политического деятеля; первый перевод на русский язык: Приключения шевалье де Фобласа. Роман Лувета де Кувре. Пер. А. Леванды. СПб., 1792—1796.

[13] ...*дореволюционным*... — Подразумевается Великая французская революция 1789—1793 гг.

[14] ...*культа разума гебертистов*... — Имеются в виду сторонники Ж.-Р. Гебера (точнее — Эбера), левые якобинцы, активные защитники террора и противники церкви, насаждавшие «Культ Разума»; казнены в 1794 г.

[15] ...*учеником Жан-Жака*... — Робеспьер использовал демократические идеи Ж.-Ж. Руссо, вообще оказавшие громадное воздействие на деятелей Великой французской революции; Г. подробнее говорит об этом ниже (см. с. 75).

[16] ...*мистериями вдовицы Катерины Тео* — К. Тео была пророчицей, визионершей, именовавшей себя богородицей, а Робеспьера — сыном божиим.

[17] ...*А. В. Дружинин... написал несколько блестящих... страниц*... — Г. ошибается: в «Письмах иногороднего подписчика» (1849) имеются лишь беглые, в несколько строк, упоминания Анны Радклиф; вероятно, он имел в виду большую статью — рец. Дружинина на роман Радклиф «Лес, или Сен-Клерское аббатство» (Современник, 1850, № 4, отд. IV, с. 35—60; № 5, отд. IV, с. 1—30), где дана подробная характеристика жизни и творчества писательницы.

[18] ...*кажется, Клаурен — автор «Могильщика», «Урны в уединенной долине»*... Эти романы принадлежат не Клаурену, а барону Л.-Ф. Бильдербеку (русский перевод первого — Смоленск, 1804 и 1806, второго — Смоленск, 1804; 2-е изд. — М., 1811).

[19] ...*сочиненный искусственный католицизм Герреса и братьев Шлегелей*... — Г. неправ: переход в католицизм немецких литераторов Л. Герреса и Ф. Шлегеля вряд ли «искусственный», он был связан с реакционными общественными тенденциями начала XIX в., с разочарованием в идеалах романтической молодости (впрочем, идеалы и время перехода в католицизм у них были разными); другой Шлегель, Август, никогда не был католиком и даже осуждал своего младшего брата за его переход.

[20] ...*«доктора любви» Захарии Вернера, этого «сумасшедшего, который вообразил себя поэтом», как метко выразился... автор писем о дилетантизме в науке.* — Г. по цензурным условиям не мог сказать прямо, что цитата принадлежит Герцену; Г. неточен, в подлиннике («Дилетантизм в науке», 1843): «...безумный, прикинувшийся поэтом» (*Герцен А. И.* Собр. соч. в 30-ти т., т. III. М., 1954, с. 40). Вернер — поэт мистически-масонских настроений.

[21] *...перед Ирминовым столпом...* — Священный дуб саксов, в честь бога Ирмина, мифического родоначальника германцев; в эпоху бури и натиска (конец XVIII в.) стал символом национального самосознания, часто употреблялся в поэзии.

[22] *...кинжал, который без подписи горел над безвестною могилой безрассудного убийцы филистера Коцебу...* — Немецкий студент-революционер Карл Занд кинжалом убил реакционного немецкого писателя А. Коцебу (1819), воспринимавшегося молодежью как агент русского правительства; Занд был казнен. Г. имеет в виду заключительные строки стихотворения Пушкина «Кинжал» (1821), посвященные Занду:

И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

[23] *...«Рыцарей Льва», «Рыцарей Семигор», «Улло, горного старца», «Старика везде и нигде»...* — Перечислены русские переводы зарубежных романов; первый и четвертый принадлежат Х. Г. Шписсу (первые русские издания соответственно — М., 1819; М., 1806); два других неизвестного автора, их полные названия: «Рыцари Семи гор, происшествие тринадцатого столетия». Пер. с франц. М., 1808; «Улло, горный бард, или Страшилища в скалах Хиллы». Пер. с англ. П. Т. 6 ч. М., 1809.

[24] *...вечная чаша св. Грааля...* — Точнее: чаша «святой Грааль», легендарно-апокрифический сосуд, сказания о котором были широко распространены в средневековой Европе; существование его приурочивали и к началу нашей эры (якобы в чашу собирали кровь распятого Христа), и к последующим векам, к деяниям рыцарей при дворе короля Артура.

[25] *Месмеризм* — учение Ф. А. Месмера о «животном магнетизме», способном врачевать людей; получило широкое распространение в романтическую эпоху в конце XVIII—начале XIX в. из-за своей загадочности, таинственности.

[26] *...иллюминатство Вейсгаупта...* — А. Вейсгаупт, профессор права в Ингольштадтском университете (Бавария), основал в 1776 г. орден иллюминатов, просветительское общество масонского типа (за что был лишен кафедры).

[27] *...розенкрейцерство...* — Под этим названием начиная с XVII в. существовало несколько различных обществ; Г. имеет в виду тайную масонскую организацию XVIII в.

[28] *...г-жу Монтолье, автора... «Амалии, или Хижины среди гор»...* — Г. ошибся: роман принадлежит Н. Зряхову (4 ч. М., 1827—1828); у Монтолье есть роман со сходным названием: «Le châlet des Hautes-Alpes» (Paris, 1813; в переводе на русский язык: Хижина на высотах альпийских. М., 1817), но их содержание не имеет ничего общего.

[29] *...знаменитая книга г-жи Сталь о Германии...* — В книге публицистических очерков «О Германии» (1810) де Сталь впервые поставила вопрос о национальном характере и своеобразии культуры, искусства, о праве каждой нации на самостоятельность.

[30] *...исповеди Рене и Эвдора.* — Рене — герой одноименной повести Шатобриана, вошедшей в книгу «Гений христианства» (1802); Эвдор — герой эпопеи «Мученики» (1809).

[31] *...после чувственных сатурналий, начатых философом Дидро и законченных маркизом де Садом.* — Под «сатурналиями» (древнеримский праздник в честь бога земледелия и плодородия Сатурна) здесь подразумевается плотская распущенность с нарушением этических норм и запретов. Г., очевидно, намекал на ранний роман Дидро «Нескромные сокровища» (1748), содержавший фривольные и пикантные описания (и в целом мало характерный для творческого пути писателя). Возможно, впрочем, что Г. имел в виду и общий дух мировоззрения французских энциклопедистов: борьбу с феодально-религиозными предрассудками, защиту естественных чувств и т. д. Растленное и извращенное мышление де Сада, выразившееся в его романах, хронологически более поздних, чем произведения Дидро, имеет совсем другие истоки: распущенность нравов аристократической верхушки, которая, впрочем, могла демагогически «опираться» на «свободу чувств», проповедовавшуюся энциклопедистами.

[32] *«Паж»* — имеется в виду русский перевод романа Пиго-Лебрена: Прекрасный паж, или Арестант крепости Шпандау. М., 1811—1812.

[33] *«Природа и любовь», «Вальтер, дитя ратного поля»* — полные названия русских переводов этих романов А. Лафонтена: «Природа и любовь, или Картины человеческого сердца». 2 ч. М., 1805; «Вальтер, дитя ратного поля, или И вторая любовь надежна». 6 ч. М., 1819.

[34] *Роман во вкусе Лафонтена* — строка из романа Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 4, строфа L).

[35] *...осыпаемый клеветами и бранью Дефонтеней...* — Г. явно ошибся: второстепенный драматург 2-й пол. XVIII в. Дефонтень (Desfontaines) принадлежал, наоборот, к кругу поклонников Руссо; он в соавторстве с Пии (Piis) и Раде (Radet) написал панегирическую пьесу «Долина Монморанси, или Жан-Жак Руссо в своем Эрмитаже» (1797). Вероятно, Г. спутал Дефонтеня с приятельницей Вольтера маркизой Дю Дефан (Du Deffand), которая в самом деле осыпала Руссо бранью и клеветой (см.: *Розанов М. Н.* Ж.-Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX в., т. 1. М., 1910, с. 212—213).

[36] *...нещадными сарказмами Вольтера...* — Между Вольтером и Руссо начиная с 1750-х гг. велась многолетняя полемика: Вольтер, не терпевший противодействия, издевался над идеями Руссо, над его критикой цивилизации, культуры, театра, над его плебейством, над социальными идеями равенства и умеренности; наиболее известное произведение Вольтера, направленное против Руссо: «Письма о „Новой Элоизе“...», за подписью подставного маркиза де Хименес (1761).

[37] *...англичанин... спрашивает задумавшегося Карамзина...* — Имеются в виду «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, ч. III, раздел «Женева»; но англичанин не спрашивает, а, увидев задумавшегося автора, утвердительно заявляет: «Вы об нем думаете» (о Руссо).

[38] *...истории о первом мореплавателе...* — В русском переводе: *Геснер С.* Первобытный мореплаватель. Пер. Дм. Болтина. М., 1784.

VIII. Вальтер Скотт и новые струи

[1] *«Танька-разбойница Ростокинская»* — авантюрно-бульварная повесть Сергея ...кого (М., 1834).

[2] *...первые романы Загоскина и Булгарина...* — Имеются в виду исторические романы М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) и Ф. В. Булгарина «Димитрий Самозванец» (1830).

[3] *...послания к себе поэтов, как например нашего Козлова...* — «К Валтеру Скотту» (1832).

[4] *...вроде книги какого-то невероятно ограниченного шотландца, кажется, Олена Кунингам...* — Речь идет о книге: *Cunningham Allan.* Some account of the life and work of Sir Walter Scott. Boston, 1832; на русском языке: *Каннингам Аллан.* О жизни и произведениях сира Вальтера Скотта. Соч. девицы Д... СПб., 1835. Белинский отозвался об этой книге как о «посредственной», а об авторе: «Его критические взгляды на сочинения Скотта довольно мелки и поверхностны» (*Белинский*, I, 345).

[5] *...с Дефоконпретовских переводов...* — Имеется в виду 60-томное собр. соч. Вальтера Скотта на франц. языке: Oeuvres de Walter Scott. Trad. de l'anglais par Defauconpret. Paris, 1822—1830.

[6] *...в половине сороковых годов затеяно было в Петербурге дешевое и довольно приличное издание переводов Вальтер Скотта...* — Издание М. Д. Ольхина и К. И. Жернакова под редакцией А. А. Краевского (1845—1846); были выпущены четыре романа: «Айвенго», «Квентин Дорвард», «Антикварий», «Гей-Меннеринг, или Астролог».

[7] *...переводец «Легенды о Монтрозе».* — Легенда о Монтрозе. Исторический роман Вальтера Скотта. Пер. с англ. 2 ч. М., 1851. Г. написал сочувственную рец. об этом издании: Москвитянин, 1851, № 14, с. 166—174.

[8] *«Выслужившийся офицер, или Война Монтроза»* — перевод с французского, т. 1—4. М., 1824.

[9] *Habent sua fata libelli* — стих латинского поэта Теренция Мавра, ставший пословицей.

[10] *Сказать это после... Карлейля...* — Карлейль посвятил этой теме (успеху и значению творчества В. Скотта) обширную рецензию на мемуары о В. Скотте («London and Westminster Review», 1838, № 12), вылившуюся фактически в большой очерк о писателе; именно как общая статья о творчестве В. Скотта эта рецензия была опубликована (под названием «Sir Walter Scott») в собрании литературных и исторических трудов Карлейля: *Carlyle T.* Critical and miscellaneous essays, vol. IV. London, 1847, p. 99—164.

[11] *...великой драмы Гюго...* — «Кромвель» (1827).

[12] *...как «Лючию»...* — Имеется в виду опера Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (1835). Г. перевел либретто на русский язык (СПб., 1863).

[13] *..на одной из чудных картин фра Беато в монастыре Сан-Марко.* — Во Флоренции; об этой картине (точнее — фреске), изображающей св. Доминика у креста распятого Иисуса, Г. говорит также в очерке «Великий трагик».

[14] *«Мизерабли»* — роман В. Гюго «Отверженные» (1862) (от франц. «Les Misérables»).

[15] *...медитациях или гармониях Ламартина...* — Имеются в виду стихотворные сборники Ламартина «Поэтические медитации» (1820), «Новые поэтические медитации» (1823), «Поэтические и религиозные гармонии» (1835).

[16] *...сплинического англичанина, к которому восторженное послание написал Ламартин...* — Это послание Ламартина к Байрону (стихотворение «Человек» из сб. «Поэтические медитации») Г. процитировал в статье «О правде и искренности в искусстве» (1856).

[17] *...Пушкин называл, уподобляя его морю, «властителем наших дум»...* — Намек на стих. Пушкина «К морю» (1824).

[18] *«Агобары»* — у д'Арленкура нет такого романа; Агобар — герой его романа «Отступник» (русский перевод — 2 ч., М., 1828).

[19] *...нелепую, но искреннюю историю французской революции и Наполеона...* — Имеется в виду наспех, в коммерческих целях написанная «Жизнь Наполеона Бонапарта» (1827); на русском языке: *Скотт В.* Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов. Пер. с англ. С. де Шаплета. СПб., 1831—1832 (изд. 2-е — 1836—1837).

[20] *...братцев Чарльсов...* — Очевидно, имеются в виду братья Чирибл из романа Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби» (1838—1839).

[21] *...по переводу Воскресенского...* — «Морской разбойник». Роман Вальтера Скотта. Пер. с франц. М. Воскресенского. М., 1829.

ЛИСТКИ ИЗ РУКОПИСИ СКИТАЮЩЕГОСЯ СОФИСТА

Впервые: *Материалы,* с. 01—016 с ошибками и пропусками, впервые научно воспроизведено: *Воспоминания,* с. 165—198. Автограф хранится в *ИРЛИ*, 3899. XVI, б. 57; это беловая рукопись почти без поправок, на 11 листах большого формата (с заполнением оборотов листов). Сразу же после заголовка следует цифра «XX», т. е. первые 19 глав сознательно не переписаны в беловик. Единство и беловая ровность почерка исключают возможность предположения, что перед нами дневник; если таковой и велся, то в каком-то черновом варианте. Утраченные 19 глав могут быть приблизительно восстановлены по рассказу «Мое знакомство с Виталиным», содержание которого соответствует тем же событиям и, видимо, тому же времени (1843—1844 гг.).

Г. дважды ошибочно повторил число 40 (XL) и, начиная с главы 41, до конца нумеровал главы неверно. Мы восстанавливаем истинную нумерацию.

На полях л. 3 имеется любопытная запись рукой Г.: «[Его] Ваше Императорское Величество Всемилостивейший Государь Всеавгустейший монарх». Проба пера для какого-то прошения на имя царя?

[1] *Знаменский переулок* — московские Малый Знаменский пер. (ныне ул. Маркса и Энгельса) или Большой Знаменский пер. (ныне ул. Грицевец); Г., очевидно, поехал в одно из «злачных» заведений в переулке.

[2] *Нина* — Антонина Федоровна Корш.

[3] *Лидия* — Лидия Федоровна Корш.

[4] *Щепин* — возможно, Николай Михайлович Щепкин (1820—1886), сын известного артиста.

[5] *Климперкастен* — дешевый, плохой рояль (от *нем.* Klimperkasten — бренчащий ящик).

[6] *Матушка* — мать Антонины и Лидии, Софья Григорьевна Корш.

[7] *Никита* — Никита Иванович Крылов, муж Любови Федоровны, урожденной Корш, сестры Антонины и Лидии.

[8] *Дядя* — брат отца, Николай Иванович Григорьев.

[9] *...состоянию трагической иронии.* — Учение об иронии было развито немецкими романтиками (бр. Шлегели, Гофман), творчество которых Г. хорошо знал. Но трагический акцент и «стремление бесцельное» (т. е. не способное дать какого-либо практического результата) «во имя человеческого благородства и величия» сближает эти мысли Г. с идеями датского философа С. Киркегора, его современника, творчество которого тогда за пределами Дании совсем не было известно.

[10] *...религия Одина...* — Г. истолковывает языческую мифологию древних германцев в романтическом духе, явно модернизируя ее содержание и идеалы.

[11] *Образчик цеховой деликатности.* — Г. иронизирует над «цеховой» (как бы средневековой) замкнутостью круга университетских профессоров.

[12] *Н. И.* — Н. И. Крылов.

[13] *...круг цеховых.* — Круг университетских преподавателей.

[14] *...Koat-ven — Сю...* — Имеется в виду 4-томный роман Э. Сю «La vigie de Koat-Ven» (1833); по-русски в статьях его называли «Коатвенская башня»; переведен не был.

[15] *На вас ведь три цвета.* — Намек на знамя Великой французской революции (трехцветное: белая, красная, синяя полосы).

[16] *«...или заговорит, что Россия — государство пространное»...* — «Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве» («Мертвые души», т. I, гл. V).

[17] *Щ**** — возможно, кто-то из детей М. С. Щепкина.

[18] *...в аэрьене...* — В открытой коляске (от франц. aérien — воздушный).

[19] *...Нина Лермонтова...* — Судя по дальнейшему тексту (см. гл. XXXVII), речь идет о героине поэмы «Сказка для детей» (1839—1840). Далее упомянута некая строфа из поэмы, — очевидно, следующая (21):

Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много — только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы. Им в жизни нет уроков;
Их чувствам повторяться не дано,
Такие души я любил давно
Отыскивать по свету на свободе;
Я сам ведь был немножко в этом роде!

[20] *...во время пребывания в Москве Листа.* — Весной 1843 г.

[21] *Дела мои по службе идут плохо...* — Г., погруженный в личные переживания, совершенно пренебрегал своими служебными обязанностями: будучи секретарем Совета университета, он не вел никаких протоколов, не делал отчетов и т. д.

[22] *...«Индиану» и «La dernière Aldini».* — Романы Жорж Санд.

[23] *...к Л-у...* — Возможно, к профессору В. Н. Лешкову.

[24] *Примировать* — первенствовать.

[25] *...прислать «Роберта».* — Очевидно, ноты и либретто оперы Дж. Мейербера «Роберт-дьявол» (1831). В 1842—1844 г. в Москве гостролировала петербургская немецкая оперная группа, с Ферзингом в главной роли в этой опере. Спектакли произвели на Г. большое впечатление — см. его рассказ-очерк «Роберт-дьявол».

[26] *«Они любили друг друга так долго и нежно...»* — Стихотворение М. Ю. Лермонтова (1841).

[27] *Синдик* — председатель правления университета; в 1844 г. — И. И. Захаров.

[28] *З**** — вероятно, Захаров.

[29] *«Histoire de Napoléon»...* — К 1840-м гг. во Франции вышло уже немало исторических сочинений о Наполеоне, но именно с таким названием наиболее известна книга графа Тибодо: *Thibaudeau A.-C. de.* Histoire générale de Napoléon Bonaparte. Paris, 1827—1828. Возможно, впрочем, что речь идет об известной книге В. Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» (1827) во французском переводе.

[30] *Валентин* — брат А. Ф. Корш.

[31] *...о явлении иконы Толгской божией матери...* — Ср. в письме Г. к Н.Н. Страхову от 18 июня 1861 г.: «Ярославль — красоты неописанной. Всюду Волга и всюду история <...>. Тут, кстати, чудотворная икона Толгской божией матери, которой образом благословила меня покойница мать» (*Воспоминания*, с. 447).

[32] *Юлия* — старшая сестра Антонины и Лидии Корш.

[33] *Я и она осуждены равно...* — Это тема будет варьироваться в стихах Г.: см., например, «Две судьбы» (1844).

[34] *Бласфемия* — богохульство, кощунство (от *франц.* blasphème).

[35] *«Consuèlo... di mi alma...»* — Слова графа Альберта из романа Жорж Санд «Консуэло» (1843). Фраза калумбурна, так как Consuèlo — и имя героини, и значащее слово «утешение».

[36] *An<nett>e* — А. П. Меркулова, дочь сенатора.

[37] *Ч-у* — возможно, князю В. А. Черкасскому, университетскому однокашнику Г.

[38] *...к сенатору...* — К П. К. Меркулову.

[39] *...к ректору.* — К А. А. Альфонскому.

[40] *...к Петру Кириловичу...* — См. примеч. 38.

[41] *Анна Петровна* — См. примеч. 36.

[42] *«Оберманн»* — роман Э. де Сенанкура (1804), одно из первых произведений XIX в. на тему о страданиях «лишнего человека»; Г. всегда высоко ценил этот роман.

ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО

Впервые: Репертуар и пантеон, 1845, кн. 6, с. 550—590. Перепечатывалось: *ЧБ*, с. 37—103.

«Человек будущего» — первая часть своеобразной трилогии о Виталине. Общего заглавия трилогия не имеет, но подзаголовки повестей «Мое знакомство с Виталиным» и «Офелия» подчеркивают продолжение темы; в журнальном тексте второй и третьей повести были еще подстрочные примечания к подзаголовкам; во второй: «См. Репертуар и Пантеон. Кн. 6-я. 1845», в третьей: «См. Репертуар и Пантеон, 1845 г., кн. 6 и 9».

[1] *Кондитерская Излера* помещалась в доме, принадлежавшем Армянской церкви (Невский проспект, № 40).

[2] *Полицейский мост* — мост на Невском пр. через реку Мойку (ныне Народный).

[3] *...все вышивки, погончики, петлички...* — Намек на фразу Скалозуба из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. III, явл. 12): «В мундирах выпушки, погончики, петлички».

[4] *Пиеса была одна из тех, которые... приводили в ужас... нравственность наших критиков даже одним своим названием...* — Г. сильно преувеличивает «без-

нравственность» названий комедий и водевилей 1820—1840-х гг.; вот наиболее «фривольные» заглавия пьес из репертуара петербургских и московских театров конца 1820—1830-х гг.: «Моя жена выходит замуж» (А. Писарева), «Супруги прежде свадьбы» (П. Каратыгина), «Заемные жены» (его же), «Муж и любовник» (Р. Зотова). Театральные критики русских журналов и газет постоянно ополчались на пошлость или безнравственность содержания комедий и водевилей, но их претензии к заглавиям ограничивались весьма умеренными замечаниями. Например, анонимный рецензент из надеждинской «Молвы» так оценил вычурное название одной комедии («Карл XII на возратном пути в Швецию, историко-военно-анекдотическая драма в 4 д., служащая продолжением драмы: Карл XII при Бендерах, соч. доктора Тепфера, перев. с немец. И. Г. Эрлинга»): «Справедливо негодуя на закоренелую привычку — пускать пыль в глаза и заманивать на бенефисы пышными объявлениями, длинными афишами и чудными названиями пьес, <...> в гостях у г. Щепкина хотелось бы видеть что-нибудь подостойнее» (Молва, 1833, № 13, с. 49).

[5] *...от дверей Палкина...* — Ресторан Палкина помещался в доме № 47 по Невскому проспекту (ныне кинотеатр «Титан»).

[6] *«Густав»* — опера Д. Ф. Э. Обера по либретто Э. Скриба «Густав III, или Бал-маскарад» (1833).

[7] *«Дебаты»* — парижская газета «Journal des Débats».

[8] *...представил уже и кормовые деньги.* — Кредитор мог отправить не вернувшего долг в тюрьму («долговую яму»), но обязан был содержать его там, платить «кормовые».

[9] *Вознесенский проспект* — ныне пр. Майорова.

[10] *Коломна* — тогдашняя окраина Петербурга (ср. «Домик в Коломне» Пушкина), район вокруг нынешней пл. Тургенева.

[11] *Но когда этот человек спокойно перешел в грязную филистрическую жизнь...* — Возможно, речь идет о Н. И. Крылове, который, будучи деканом, очень внимательно относился к Г.-студенту. В 1842 г. Крылов женился на Любови Корш; в семейной жизни он, впрочем, оказался деспотичным и грубым, в 1846 г. жена ушла от него.

[12] *...кто жил и мыслил, когда я презирал самого себя...* — Сознательное переиначивание известных пушкинских строк («Евгений Онегин», гл. 1, строфа XLVI):

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.

[13] *...«над миром мы пройдем без шума и следа»...* — Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

[14] *«Фрегат Надежда»* — повесть А. А. Бестужева-Марлинского (1833).

[15] *Редактор* — по некоторым намекам (молодость, военные привычки, «финские очертания его лица», «барон») можно предположить, что речь идет о Федоре Карловиче Дершау, редакторе журнала «Финский вестник», в котором в 1846 г. принял участие Г.

[16] *«Женитесь на мне, я буду сидеть вот как...»* — Иронические слова приятельницы незнакомки, прельстившей художника Пискарева.

[17] *Lasst fahren... in schöner That.* — Из стихотворного цикла Гете «К празднику <масонской> ложи 3 сентября 1825 г.»; цитата неточная: вместо Sie нужно Ihr, вместо liegt — lebt и т. д.

[18] *«Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой».* — Слова Фамусова из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. II, явл. 5).

[19] *«Вальпургиева ночь»* — глава из 1-го тома «Фауста» Гете.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ВИТАЛИНЫМ

Впервые: Репертуар и пантеон, 1845, № 8, с. 493—515. Перепечатано: *ЧБ*, с. 104—139. Рассказ особенно ценен «Записками Виталина»; они представляют вариант автобиографических записей Г. «Листки из рукописи скитающегося со-

фиста», из которых до нас не дошли главы I—XIX. В рассказе довольно прозрачно зашифрованы основные герои любовной драмы Г. 1843—1844 гг. Даты дневника Виталина, очевидно, близки к реальным датам: ведь именно в феврале 1844 г. Г. покинул Москву.

[1] *...в кондитерской Вольфа...* — Она помещалась в доме № 18 по Невскому пр.

[2] *...учение Фурье...* — Г. в 1845 г. начинал уже разочаровываться в утопических теориях Фурье, поэтому в данной тираде чувствуется ирония.

[3] *Не верил... некогда всему.* — Источник не обнаружен; возможно, что это вариация на тему поэмы Г. «Олимпий Радин» (1845):

...в молодости был
Готов глубоко верить он
...и потому
Теперь лишь верит одному,
Что верить вообще смешно...

[4] *Фонтанели* — гнойные раны.

[5] *Антония* — реальным прототипом является Антонина Корш.

[6] *Никита Степаныч* — так зашифрован Н. И. Крылов.

[7] *Аэрьена* — коляска без крыши.

[8] *Старские* — так Г. называет Крыловых.

[9] *«...или заговорит, что Россия — государство пространное...»* — См. примеч. 16 к автобиографич. записям Г. «Листки из рукописи скитающегося софиста».

[10] *Лелия* — героиня одноименного романа Жорж Санд (1833).

[11] *Л. и К.* — возможно, профессора Московского университета В. Н. Лешков и Д. Л. Крюков; но могут быть и А. Б. Лакиер и Н. К. Калайдович.

[12] *...о «Роберте»* — об опере «Роберт-дьявол» (см. с. 401, примеч. 25).

[13] *«Страньера»* — опера В. Беллини «Straniera» — «Чужестранка» (1828).

[14] *«One shade the more, one rey the lesse»...* — Неточная цитата из цикла стихотворений Байрона «Еврейские мелодии» (1814); слова lesse и more нужно поменять местами.

[15] *Ее душа... все понятно...* — Искаженная цитата из «Сказки для детей» Лермонтова (1840); в подлиннике:

...душа ее была
Из тех, которым рано все понятно.

[16] *Валдайский* — прототипом является реальный соперник Г., К. Д. Кавелин.

[17] *Горные вершины Спят во тьме ночной...* — Романс А. Е. Варламова на слова М. Ю. Лермонтова.

[18] *...к Крестовскому перевозу, в одну из Колтовских...* — В конце Петроградской стороны, у Малой Невки (Колтовская наб. — ныне наб. адмирала Лазарева; Бол. Колтовская — ныне Пионерская ул.).

[19] *...слова существуют вовсе не для того, чтобы высказывать мысли, а разве для того, чтобы их скрывать.* — Афоризм, встречающийся еще у древних авторов, затем был высказан Вольтером («Диалог 14»); приписывается обычно Талейрану.

[20] *Жуков* — сорт табака.

ОФЕЛИЯ

Одно из воспоминаний Виталина

Впервые: Репертуар и пантеон, 1846, № 1, с. 5—35. Перепечатывалась в *ЧБ*, с. 140—188.

В рассказе описывается реальное событие из студенческой жизни Г. и А. А. Фета: их влюбленность в «крестовую» сестру Г. Лизу (кто-то из родителей Г. был крестным Лизы). Г. посвятил этой теме два ранних своих стихотворения: «Е. С. Р.» и «Нет, за тебя молиться я не мог...», а также небольшой эпизод в по-

вести «Другой из многих» (1847); Фет довольно подробно описал всю историю в поэме «Студент» (1884). Если учесть инициалы Е. С. Р., намеки в «Офелии» и «Студенте» на относительную близость жилья Григорьевых и Лизы, на совместную службу отцов, то среди возможных десятка служащих Москвы, имя которых начинается с «С», а фамилия с «Р» (см.: *Нистрем К. М.* Московский адрес-календарь..., т. 2. М., 1842), больше всего по проживанию и по чину подходит Семен Кузьмич Радостин, коллежский регистратор, писец Московского губернского правления, живший в 6 квартале Якиманской части (Григорьевы — в 5 квартале). Но промелькнувшее в «Офелии» отчество отца «Елисеевич» вносит новую возможность расшифровки: среди сослуживцев Григорьева-отца по 2-му департаменту Московского магистрата был Тихон Елисеевич Стрекалов, секретарь, титулярный советник, проживавший в собственном доме в 5-м квартале Якиманской части (*Метелеркамп В. Д., Нистрем К. М.* Книга адресов столицы Москвы. М., 1839, ч. 1, с. 155). Тогда Е. С. Р. может быть понято как «Елизавете Стрекаловой»; Р., возможно, означает какое-либо заветное слово.

[1] ...*Forty thousand brothers... Make up my sum...* — Слова Гамлета у гроба Офелии («Гамлет», акт V, сцена 1).

[2] ...*с недосозданною душою...* — Эта тема развивается Г. в его стихотворении «Комета» (1843):

Комета полетит неправильной чертой,
Недосозда́нная, вся полная раздора...

[3] ...*есть какая-нибудь теория...* — Г. всю жизнь яростно боролся с «теоретиками» любых лагерей и направлений, считая всякую теорию прокрустовым ложем для живой жизни.

[4] — *Инесу черноглазую?..* — Здесь и ниже очень неточно цитируются строки из драмы Пушкина «Каменный гость» (сцена 1).

[5] ...*Лаэрт в описаниях Осрика.* — См.: «Гамлет», акт V, сцена 2.

[6] ...*«чем-нибудь высоким заняться»...* — Цитата из письма Хлестакова («Ревизор», д. 5, явл. VII).

[7] ...*о Вольдемаре* — подразумевается А. А. Фет.

[8] *Я помню старый, простой, бедный храм...* — Далее Г. излагает событие и впечатления от него, послужившие основой стихотворного цикла «Дневник любви и молитвы» (конец 1840-х—нач. 1850-х гг.).

[9] ...*как олень жаждет... боже!* — Неточная цитата из Псалтыри (41, 2).

[10] ...*хризалида вспархивает бабочкою...* — Ср. стихотворение Г. «Песня духа над хризалидой» (1845); хризалида — куколка насекомых.

[11] *Поговорим, мой милый... о любви!* — Намек на пушкинские строки из стихотворения «19 октября» (1825):

Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

[12] ...*как Дионисий, тиран Сиракузский...* — Намек на сюжет баллады Шиллера «Порука» (1798): тиран, изумленный мужественной верностью двух друзей, предлагает себя третьим.

«ГАМЛЕТ» НА ОДНОМ ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Впервые: Репертуар и пантеон, 1846, № 1, с. 37—48, за подписью «А. Трисмегистов» (в тексте журнала опечатка: «А. Трисмечистов»); псевдоним намекает на связь с масонством: Гермес Трисмегист (по-гречески «Трижды великий») — мифический автор III в. н. э., создатель «герметических» книг философского содержания, оказавших большое влияние на средневековых мыслителей, а позднее — на масонов. Герой романа Жорж Санд «Графиня Рудольштадт» (1845) граф Альберт

организует, по масонскому образцу, братство «Невидимых». выступая под именем «Трисмегист». Текст «Гамлета...» перепечатан: *ЧБ*, с. 189—207.

Так как неизвестны никакие отлучки Г. из столицы в 1844—1845 гг. и так как многие признаки позволяют отнести описание постановки к Петербургу, т. е. к игре в роли Гамлета знаменитого В. А. Каратыгина («геркулесовские» черты актера, подчеркивание внешних эффектов и т. п.), то в целом очерк воспринимается как ироническая рецензия на спектакль (см.: *Левин Ю. Д.* Русский романтизм. — В кн.: Шекспир и русская культура. М.—Л., 1965, с. 299—300).

Следует учесть, что дата в конце очерка — 4 декабря 1845 г. — поставлена Г. не без умысла: в конце ноября 1845 г. из-за границы вернулся В. А. Каратыгин, и тут же, 29 ноября, он с успехом сыграл Гамлета (см.: *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 по начало 1855 года, ч. I. СПб., 1877, с. 113—114; *Р. З‹отов›*. Александринский театр. — Северная пчела, 1845, № 276, 7 декабря, с. 1101). В этом спектакле роли исполняли: Офелия — Н. В. Самойлова, Гертруда — М. И. Валберхова, Полоний — И. И. Сосницкий, Лаэрт — А. П. Славин, Горацио — П. А. Каратыгин, Клавдий — П. И. Григорьев (1-й), Могильщик — А. Е. Мартынов, Розенкранц — А. М. Максимов, Гильденштерн — В. М. Самойлов.

В целом весьма положительно относясь к В. А. Каратыгину-актеру, ценя его пафосность, романтическую приподнятость (см.: *‹Забозлаева Т. Б.›* А. А. Григорьев. — В кн.: Очерки истории русской театральной критики. Вторая половина XIX века. Л., 1976, с. 58—60), Г. никогда не мог сочувственно оценить его игру в «Гамлете»: «Есть одна только роль, которую он не пересоздал, — это Гамлет. Да простит нам артист, если мы упорно держимся своих старых мнений. Гамлет вне его средств, в Гамлете равно дурны и он и Мочалов» (*Григорьев А.* Александринский театр. — Репертуар и пантеон, 1846, № 12, Театральная летопись, с. 100).

В цитированной статье и в настоящем очерке Г. дал свою трактовку трагедии Шекспира, близкую к интерпретации Гете, но с подчеркиванием конфликта Гамлета со средой (см.: *Левин Ю. Д.* Русский романтизм, с. 442).

Следует учесть, что отрицательное мнение об игре императорского любимца В. А. Каратыгина в роли Гамлета уже неоднократно высказывалось в печати, начиная с рецензий и статей В. Г. Белинского 1838—1839 г., да и в «Репертуаре и пантеоне» всего за несколько месяцев до рецензии Г. в анонимном (В. Р. Зотова?) обзоре «Материалы для истории русского театра. 1844-й театральный год» весьма ядовито говорилось о Каратыгине-Гамлете: «Мы не сказали ни слова о „Гамлете“, потому что в этом случае мнение наше, противоречащее большинству голосов, может быть ошибочно. Признаемся, однако, что мы никак не можем согласить неистовых криков, хохота, хлопанья в ладоши, оглушительного рева и ползанья по сцене с задумчивым характером шекспирова Гамлета» (Репертуар и пантеон, 1845, № 4, с. 255).

Но ни одна предшествующая статья не вызвала такого гнева властей предержащих, как рецензия Г. Директор императорских театров А. М. Гедеонов доносил управляющему III отделением Л. В. Дубельту: «Подобные действия редакторов „Репертуара“ не могут не быть крайне оскорбительными для Каратыгина I, составляющего главную цель неприличных враждебных выходок журнала. Талант Каратыгина, признанный всеми и удостоенный особенным высочайшим вниманием государя императора, конечно, не может пострадать от злонамеренных нападок журналистов, но я полагаю, что он заслуживает в рецензиях о нем больше уважения». Дубельт в свою очередь донес о том шефу жандармов графу А. Ф. Орлову, а шеф поручил Дубельту «сделать редактору журнала» В. С. Межевичу «замечание за неприличные его выходки в театральных рецензиях и вместе с тем подтвердить ему, чтобы на будущее время в критических статьях о театре он не позволял себе выходить из границ строгого приличия» (цит. по кн.: *Альтшуллер А. Я.* Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968, с. 63).

[1] *Регалия* — сорт сигар.

[2] *...древности составляют один из предметов моего отвращения...* — В действительности Г. всегда живо интересовался «древностями».

3 *«Морской разбойник»* — балет П. Тальони (1840).

4 *Я помню картину, кажется Делароша...* — Ср. в более поздней статье Г.: «...я вспомнил виденный мною эстамп с картины Поля Делароша: вечереющее северное небо, пустынное кладбище, и Гамлета, сидящего на могиле с неподвижным, бесцельно устремленным куда-то взором, с болезненною улыбкою» (Отеч. записки, 1850, № 4, отд. VIII, с. 283).

5 *Стентор* — персонаж гомеровской «Илиады» с необычайно зычным голосом.

6 *Композитор* — А. Е. Варламов.

«РОБЕРТ-ДЬЯВОЛ»

Впервые: «Репертуар и пантеон», 1846, № 2, с. 244—256 за подписью «А. Трисмегистов». Перепечатано: *ЧБ*, с. 208—230.

Опера Дж. Мейербера (либретто — Э. Скриба и К. Делавиня) «Роберт-дьявол» (1831) имела большой успех у русских романтиков: ей увлекались молодые В. П. Боткин и В. Г. Белинский, неоднократно упоминал о ней в своих статьях и Г. Данная статья — рец. на спектакль приехавшей в Москву петербургской немецкой оперной группы (см. в воспоминаниях А. А. Фета — с. 320). Позднее Г. перевел либретто оперы на русский язык (СПб., 1863).

Ср. у Полонского: «Григорьев <...> так же, как и все мы, восхищался Мейербером. Адский вальс из „Роберта-дьявола“ в полном смысле слова потрясал Григорьева» (*Полонский*, 660); ср. также в воспоминаниях журналиста И. В. Павлова о Г. в 1843 г.: «Как теперь помню, сел он за рояль и, наигрывая что-то из „Роберта-дьявола“, читал нам „лекцию“ о мейерберовской музыке: „Здесь умоляющий голос Алисы, а тут — немолчный голос Демона“» (Учен. зап. Тартуского ун-та, 1963, вып. 139, с. 343).

Содержание оперы заключается в попытках Бертрама, дьявола, овладеть душой рыцаря Роберта, его сына от земной женщины; крестьянка Алиса, молочная сестра Роберта, своей чистотой и религиозностью мешает Бертраму; в финале замысел дьявола рушится и он в одиночестве исчезает в преисподней.

1 *...со времени признаний Руссо...* — Имеется в виду «Исповедь» (1770).

2 *Зензухт* — тоска (от *нем.* Sehnsucht).

3 *...хандрой, от которой русский человек ищет спасения только в цыганском таборе...* — Ср. в поэме Г. «Встреча» (1846):

...хандра
За мною по пятам бежала,
Гнала, бывало, со двора
В цыганский табор, в степь родную...

4 *«Лев Гурыч»* — водевиль Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Синичкин» (1840).

5 *Петербургская Елена* — певица немецкой оперы М. Нейрейтер.

6 *...как же ее с С** сравнивать.* — Речь идет о Е. А. Семеновой, известной оперной певице; в сезон 1841/42 г. она дебютировала именно в роли Алисы в «Роберте-дьяволе» «и сразу сделалась любимицею публики» (*Вольф А.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года, ч. 1. СПб., 1877, с. 98).

7 *«Фенелла»* — опера Д. Ф. Э. Обера, французского композитора (1828).

8 *Мескинный* — пошлый, жалкий (от *франц.* mesquin).

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Впервые: Репертуар и пантеон, 1846, № 6, с. 497—547; № 7, с. 84—101; № 10, с. 18—42. Перепечатано в виде отдельного издания: *Григорьев Ап.* Один из многих. Рассказ в трех эпизодах. С предисловием Н. Н. Русова. М., «Универсальная библиотека», 1915, 168 с.

Эпизод первый. Любовь женщины

[1] *В саду Кушелева-Безбородко...* — на Выборгской стороне Петербурга (Полюстрово, Спасская мыза; ныне остатки сада сохранились вокруг дома № 40 по Свердловской наб.; в середине XIX в. это был известный загородный дворец графа Г. А. Кушелева-Безбородко). Сад арендовал владелец ресторанов и завода искусственных минеральных вод И. И. Излер, устроивший здесь увеселительное заведение «Тиволи», пользовавшееся большой популярностью у петербуржцев. Восемь раз в сутки от Невского проспекта до Полюстрова ходил омнибус, «Спасский дилижанс» (указано С. А. Рейсером).

[2] *Герман* — как и упомянутый ниже Гунгль, дирижер оркестра. Подробнее о выступлениях Германа и Гунгля см.: *Розанов А. С.* Музыкальный Павловск. Л., 1978.

[3] *Флеровый* — прозрачный, редкий.

[4] *...голоса, как-то странно, как-то ребячески резкого...* — Ср. в «Листках из рукописи скитающегося софиста»: «...ее резки-ребяческим голосом» (о Нине).

[5] *Большая Мещанская* — ныне ул. Плеханова.

[6] *...в кондитерских народу мало, и только в одной из них каждый вечер толкуют об Англии и Франции...* — Речь идет о кондитерской Вольфа, помещавшейся на Невском пр., в доме № 18.

[7] *...манеру Званинцева пожимать указательным пальцем чужой пульс.* — См. примеч. 35 к мемуарам А. Фета «Ранние годы моей жизни».

[8] *«О, Роберт, люблю тебя сердечно. Любви души моей ты не постигнешь вечно!»* — Источник цитаты не обнаружен в операх, где имеются персонажи по имени Роберт. Лишь отдаленное сходство имеется с этим текстом в арии Изабеллы в IV действии «Роберта-дьявола» Дж. Мейербера.

[9] *...о шотландских степенях.* — Имеется в виду введенная в XVIII в. система масонских степеней (созданная вначале в Шотландии), усложнившая доступ к «высшим» масонским группам (число степеней возросло до 9 и даже до 99).

[10] *...сбор талек льну.* — Сбор льняной пряжи (талька — моток ниток определенной меры).

[11] *Регалия* — сорт сигар.

[12] *Шильничать* — плутовать, обманывать.

[13] *Пески* — местность в Петербурге (район нынешних Суворовского проспекта и Советских улиц).

[14] *Чухонка* — уничижительное прозвание финок в дореволюционной России.

[15] *Ведка* — очевидно, произведено от названия угро-финских племен «водь» или «весь».

[16] *Спензер* — короткая куртка.

[17] *Гитана* — цыганка (от исп. gitana).

[18] *Депозитки* — бумажные деньги.

Эпизод второй. Антоша

[1] *Мораль Адама Вейсгаупта.* — В 1776 г. немецкий юрист А. Вейсгаупт основал орден иллюминатов, просветительское общество масонского типа. В наиболее полном изложении А. Вейсгауптом учения иллюминатов («Das verbesserte System der Illuminaten...». Frankfurt—Leipzig, 1787) не удалось обнаружить именно такой фразы; возможно, Г. пользовался какими-либо вторичными трудами или устной масонской традицией. Вейсгаупт проповедовал идеи космополитического братства людей и необходимость самоусовершенствования человека и самоответственности в выборе жизненного пути.

[2] *...хоть чему-нибудь удивляться...* — Намек на античную (древнегреческую и римскую) пословицу «Ничему не удивляйся».

[3] *...беззаконная комета в кругу расчисленном светил.* — Строка из стихотворения Пушкина «Портрет» (1828).

[4] ...*идея вяжется за идею, великолепное здание является пред очами духа... нет основы у этого здания...* — Г. имеет в виду философию Гегеля, которая его страшила своей «безосновностью»: идея бесконечного развития казалась Г. «бездонной», лишенной прочного философско-нравственного фундамента.

[5] ...*бесстрастное выражение лица, которое напоминало спокойствие египетских сфинксов.* — Тема, дорогая для художественного сознания Г., он ее развивал в стихотворении «Героям нашего времени» (1845):

Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижных и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.
Вы не видали их, — в недвижных их чертах
Вы жизни страшных тайн бесстрашного сознанья
С надеждой не прочли...

ВЕЛИКИЙ ТРАГИК

Впервые: Рус. слово, 1859, № 1, отд. III, с. 1—42. Последующие публикации: *Григорьев Ап.* Великий трагик. Со вступительной статьей Н. Н. Русова. М., «Универсальная библиотека», 1915, 77 с.; *Воспоминания*, с. 218—287.

Рассказ-очерк действительно мыслился Г. как часть большой книги «Одиссея о последнем романтике». Публикуя поэму «Вверх по Волге» с подзаголовком «Из „Одиссеи о последнем романтике“», Г. снабдил его следующим примечанием: «Одна из частей этой — едва ли, впрочем, имеющей быть конченной „Одиссеи“ напечатана в „Сыне отечества“, 1857 г. («Борьба»); другая — рассказ в прозе „Великий трагик“ в „Русском слове“, 1859, № 1; третья — поэма „Venezia la bella“ в „Современнике“ 1858 г., № 11. Дело идет, одним словом, о том же самом Иване Ивановиче, за безобразия и эксцентричность которого не раз уж приходилось отвечать невинному повествователю благодаря *особенным* понятиям о благопристойности, развившимся в нашей литературной критике в течение последнего пятилетия» (Рус. мир, 1862, № 41, с. 750).

Иван Иванович — поэтический двойник Г. Этот образ будет и впоследствии использован Г. в его очерках, особенно в начавшемся было (и прервавшемся из-за ухода из журнала) цикла очерков-фельетонов «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах» (Сын отечества, 1860, № 6, 7).

В очерке «Великий трагик» описывается впечатление от игры выдающегося итальянского артиста Сальвини, который в середине XIX в. был еще мало известным.

Отзывы в печати об очерке были отрицательные. Например, Р. Н. в рубрике «Пчелка» (Сев. пчела, 1859, № 69) вначале свысока оценивает творчество Г. в целом («Это просто наш журнальный партизан... Он невольно представляется нашему воображению: на борзом коне (любимый его конек немецкая туманная философия), в славянском полукафтане, с молодецкой бородкой, с шапкою набекрень и с нагайкою в руке!..» — с. 274); далее рецензент издевается над «Великим трагиком»: над терминами «веяние» и «бурное дыхание» (отныне эти два выражения станут общим местом в антигригорьевской критике, особенно в «Искре»), над возвеличиванием Мочалова (дескать, актера знала только Москва), над Любимом Торцовым, «этим жалким промотавшимся пьянчугой» (с. 275), над тем, как Иван Иванович заходил в буфет *вонзить* в себя рюмку коньяку и т. д. (кстати, здесь Р. Н. совсем не понял иронии Г., очевидно, имевшего в виду строку из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Сознание»: «Вонзи смертельный поцелуй!»).

[1] ...*городе Флоренске, как зовет его Лихачев...* — Г. неоднократно ссылался в своих статьях на «Статейный список посольства... Василья Лихачева во Фло-

ренцию в 7167 (1659) годе», где содержится характерное для мышления человека допетровской Руси отношение к Западной Европе (см. например: *Лит. критика*, с. 170—171). «Статейный список...» издан: «Древняя российская вивлиофика», ч. IV, 1788.

[2] *Кьяссо* — маленькая улочка (итал. chiasso).

[3] *Si il nome christiano portate...* — Начало стандартного объявления о запрещении использовать укромные уголки.

[4] *...«с чужим ребенком на руках».* — Последняя строка из стихотворения Е. А. Баратынского «Подражателям» (1830).

[5] *...в отребиях...* — Г. неверно употребил это слово, на самом деле означающее не ветхую одежду (отрепье), а сор, мякину после теребления.

[6] *Ольтр-Арно* — часть Флоренции за рекой Арно; там находится картинная галерея Питти.

[7] *...поэты, особенно трое из них.* — Судя по следующим ниже цитатам, Г. имеет в виду Н. П. Огарева, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета.

[8] *Еще лежит... и постепенно тает...* — Начало стихотворения Огарева «Весна» (1842).

[9] *Весна идет! Весна идет!..* — Строка из стихотворения Тютчева «Весенние воды» (1830).

[10] *Какой-то странной жаждою... Проносится весна...* — Неточная цитата из стихотворения Фета «Уж верба вся пушистая...» (1844): Г. соединяет несколько редакций.

[11] *...«май вылетает к нам» из «царства вьюг и снега».* — Неточная цитата из стихотворения Фета «Еще майская ночь» (1857); в подлиннике:

...из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!

[12] *Трюфли* — вид грибов.

[13] *Траттория* — трактир.

[14] *...прелестной... женщине...* — Вероятно, имеется в виду Варвара Александровна Ольхина, жена адвоката А. А. Ольхина. И. С. Тургенев в письме к В. П. Боткину от 15—25 марта 1858 г. из Флоренции советует адресату познакомиться через Григорьева «с г-жею Ольхиной; прекрасная женщина» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 3. М.—Л., 1961, с. 203—204).

[15] *Лишь в лучшие мгновенья Бытия слетает к нам...* — Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Лалла Рук» (1821): в подлиннике вместо «лучшие» — «чистые», вместо «слетает» — «бывает».

[16] *Литания* — молитва у католиков.

[17] *В дуэте Арнольдо и Матильды...* — Из оперы Дж. Россини «Вильгельм Телль» (1829).

[18] *Пергола* — театр во Флоренции. Ниже будет назван еще театр Пальяно.

[19] *«Сицилийские вечерни»* («Сицилийская вечерня») — опера Дж. Верди (1855).

[20] *«Троватор»* («Трубадур») — опера Дж. Верди (1853).

[21] *«Гугеноты»* — опера Дж. Мейербера (1835).

[22] *Один из злых приятелей...* — Имеется в виду Е. Н. Эдельсон, товарищ Г. по кружку «молодой редакции» «Москвитянина», с годами все более отходивший от Г., раздражавший его своим рационализмом и нравоучениями.

[23] *Спекулятивный* — умозрительный.

[24] *...не отвечая по многим причинам на его вопрос.* — Речь идет о стихотворении Г. «Искусство и правда» (1854), в рукописном варианте называвшемся «Рашель и правда», — этот вариант, видимо, больше запомнился Г. Стихотворение имело подзаголовок «Элегия — ода — сатира» и было посвящено отрицательному описанию французской классицистской манеры игры знаменитой Рашели, гастролировавшей тогда в Москве, и прославлению труппы московских актеров, правдиво и задушевно сыгравших любимую Г. драму Островского «Бедность не порок». Контрастно резкие хула и хвала вызвали насмешки современников, статьи и эпиграммы, болезненно действовавшие на Г.; кроме того, впоследствии Г., очевидно,

понял чрезмерные крайности обеих оценок и мог стыдиться своих пристрастий.

25 *«Скопин-Шуйский»* — драма Н. В. Кукольника (1834). Мочалов играл роль Ляпунова.

26 *«Уголино»* — трагедия Н. А. Полевого (1838). Мочалов играл роль Нино.

27 *...молодой дебютант.* — Очевидно, имеется в виду Корнелий Николаевич Полтавцев (1823—1865), подражавший Мочалову в роли Гамлета; см. отзыв о нем в этой роли: *Григорьев А.* Летопись московского театра. — Москвитянин, 1851, № 15, с. 235—248.

28 *«Смерть или честь»* — драма Н. А. Полевого (1839). Мочалов играл роль Бидермана.

29 *Випера* — змея.

30 *...то, что вы называете веянием...* — См. с. 379, примеч. 2.

31 *Пошлый Мейнау...* — Герой драмы А. Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» (1789).

32 *...с гетевским представлением о Гамлете* — т. е. с представлением о силе ума и слабости воли Гамлета.

33 *...до сопоставления Гамлета с Подколесиным...* — Г. вспоминает свою статью «Гоголь и его последняя книга»: «в „Женитьбе“ даже колоссальный лик Гамлета сводится в сферы обыкновенной, повседневной жизни, ибо, говоря вовсе не парадоксально, безволие Подколесина родственно безволию Гамлета и прыжок его в окно — такой же акт отчаяния бессилия, как убийство короля мечтательным датским принцем» (Моск. городской листок, 1847, № 62, 17 марта, с. 249).

34 *...раз играли у нас Шекспира по комментариям и Гамлета по гетевскому представлению...* — Вероятно, речь идет об увлечении Г. немецким ученым Г. Гервинусом, автором 4-томного труда о Шекспире (1849—1850), вообще популярного тогда в России (его переводил на русский яз. В. П. Боткин). Г. пропагандировал книгу Гервинуса в сопоставлении с идеями Гете в «Заметках о Московском театре» (Отеч. записки, 1850, № 4, отд. VIII, с. 270—283). В этой же статье Г. отмечает игру в роли Гамлета молодого актера Леонида Львовича Леонидова (1821—1889), который долго готовился и много думал над спектаклем; не исключено, что Г. оказал артисту помощь в философском истолковании шекспировской трагедии.

35 *...несколько мальчишек, громко рассуждавших в фойе...* — Вероятно, намек на новых — в Москве начала 1850-х гг. — друзей Г.: А. Н. Островского, Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова и др., составивших «молодую редакцию» «Москвитянина».

36 *...бывалой Офелии...* — Вероятно, имеется в виду московская актриса, партнерша Мочалова, Н. В. Репина: см. в статье А. Григорьева «Александринский театр»: «...о г-же Орловой не скажем мы ни слова, потому что, признаем откровенно, никогда не принадлежали к числу ее поклонников, особенно же в ту эпоху, когда на московской сцене еще сияла звезда первой величины — несравненная, гениальная Н. В. Репина... Репина и Мочалов!» (Репертуар и пантеон, 1846, № 11. Театральная летопись, с. 77).

37 *Любим Торцов* — персонаж драмы А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853), один из самых ценимых Г. литературных героев; воспет Г. в стихотворении «Искусство и правда».

38 *Купидоша Брусков* — персонаж драмы А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1855).

39 *...благоговением к волосам Лукреции Борджиа...* — Имеются в виду распространенные в Италии легенды об изумительной красоте волос Лукреции Борджиа и об их роковом влиянии на судьбу влюбленных в нее.

40 *Томбола* — лото.

41 *Корсо* — центральная улица Рима.

42 *Сциэнтифический* — научный; термин употреблен с ироническим оттенком (от *лат.* scientia — наука).

43 *...lasciar ogni speranza...* — Намек на «Ад» Данте (песнь III, строка 9) надпись на вратах ада: «lasciate ogni speranza» («оставьте всякую надежду»).

44 *Интрата* — входной билет.

[45] *...«один в четырех каретах поедет».* — Имеются в виду слова Гордея Торцова из комедии «Бедность не порок» Островского: «...один в четырех каретах поеду» (д. III, явл. 13).

[46] *Стентерелло* — персонаж народного театра, в образе которого подчеркивались местные, флорентийские особенности, поэтому он был любимцем публики в этом городе.

[47] *...хором Ивана Васильева...* — О цыганских хорах XIX в. см.: *Пыляев М. И.* Старый Петербург. Изд. 3-е. СПб., изд. А. С. Суворина, 1903, с. 408—417. О хоре Васильева там говорится: «В пятидесятых годах явился Иван Васильев, ученик Ильи Соколова; это был большой знаток своего дела, хороший музыкант и прекрасный человек, пользовавшийся дружбой многих московских литераторов, как, например, А. Н. Островского, Ап. А. Григорьева и др. У него за беседой последний написал свое стихотворение, положенное впоследствии на музыку Ив. Васильевым. Вот слова этого не напечатанного романса:

Две гитары за стеной зазвенели, заныли,
О мотив любимый мой, старый друг мой, ты ли?
Это ты: я узнаю ход твой в ре-миноре
И мелодию твою в частом переборе.
Чимбиряк, чимбиряк, чимбиряшечки,
С голубыми вы глазами, мои душечки!..

Сам Иван Васильев был хороший баритон, его романсы в то время имели большой успех и распевались всеми <...> У Ивана Васильева особенно процветали квартетное пение и трио; первое soprano пела жена его Аграфена, второе Маша, по прозвищу Козлик; последняя исполняла особенно хорошо вместе с Грушей песенку „Ох болит...“ на перекличку и русскую песню „Не будите меня молоду...“. Такой улыбки и мимики, говорят старые цыгане, как у Груши, теперь и не встретишь» (с. 414—415).

Видимо, М. И. Пыляев черпал сведения у цыган-музыкантов следующих поколений; чрезвычайно интересно здесь указание на Васильева как на автора мелодии к знаменитой «Цыганской венгерке» Григорьева: ведь в музыкальной литературе имя автора не было раскрыто. Интересны также варианты текста, ранее не известные (Пыляев однако не знал, что «Цыганская венгерка» была опубликована в 1857 г.).

[48] *Стеша* — ср. описание Стеши в рассказе Фета «Кактус».

[49] *...писал о том, что у Яго нет личного мщения к Отелло...* — В статьях Г. не обнаружены подобные высказывания.

[50] *...Giraldi Cintio в своей новелле del capitano Moro... et caet.* — Новелла Дж. Чинтио (1566) послужила Шекспиру сюжетной основой для «Отелло».

[51] *Голос У ней был нежный, тихий и приятный — Вещь в женщине прелестная.* — Слова Лира о Корделии («Король Лир» Шекспира, акт V, сцена 3). Г. неточно цитирует перевод В. Якимова (СПб., 1833), по которому играли «Короля Лира» в русских театрах 1830—1840-х гг. (последняя строка у Якимова: «прекрасная вещь в женщине»).

[52] *...«лиана, обвившаяся около мощного дуба»...* — Слова Титании в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (акт IV, сцена 1); околдованная Титания влюбляется в человека с ослиной головой.

[53] *...кошачьи приставанья...* — Г. называл «кошачьими» женские характеры, страстные, но «ускользающие», не поддающиеся чужой воле.

[54] *Паоло* — итальянская медная монета.

[55] *— Один актер, мой приятель...* — Очевидно, известный рассказчик И. Ф. Горбунов.

[56] *...великий трагик, которого я знал лично...* — П. С. Мочалов.

[57] *...верит ли и в какой степени верит трагик в представляемые им душевные движения?..* — Вопрос о возможностях перевоплощения художников в их создания постоянно волновал Г.; на эту тему написана большая его статья «О правде и искренности в искусстве» (1856).

[58] ...*М**... когда он играл с покойным К***... — Имеется в виду Алексей Михайлович Максимов, актер Александринского театра в Петербурге, при В. А. Каратыгине игравший вторые роли, а с 1853 г. ставший премьером и успешно выступавший в роли Гамлета.

[59] *Здравствуй, здравствуй, о царица... красная!..* — Речь идет об опере Дж. Россини «Семирамида» (1823). Паста гастролировала в Петербурге в сезоне 1841/42 гг.

[60] ...*прильпнуть язык к гортани.* — Перифраз выражения из «Псалтыри»: «...язык прильпе к гортани» (псалом 136, стих 6).

[61] ...*думу об идеализме и натурализме в искусстве.* — Г. будет подробно развивать свои представления о художественном методе в статьях «Реализм и идеализм в нашей литературе» (Светоч, 1861, № 4, с. 1—26), «О реализме в искусстве и литературе» (Якорь, 1863, № 13, с. 241—244), «О Писемском и его значении в нашей литературе» (Якорь, 1863, № 18, с. 341—345). После сложной эволюции Г. пришел к отрицанию и идеализма, и натурализма, к защите «истинного реализма», сочетающего правдивое отображение жизни с возвышенными идеалами.

[62] *«Дневник г. Голядкина».* — Так Г. назвал «Двойника» Ф. М. Достоевского (1846). Отношение Г. к творчеству писателя претерпело существенную эволюцию: от негативной оценки в 40—50-х гг., когда произведения Достоевского отождествлялись с натурализмом (в котором Г. больше всего огорчало даже не выставление напоказ «язв» жизни, а изображение характера человека как результата воздействия среды; критик возмущался отсутствием всеобщей борьбы за человека, за его нравственную цельность и самоответственность), и до положительных в целом характеристик творчества Достоевского в 60-х гг. В «Великом трагике» Г. еще не изменил своей первоначальной оценки.

[63] ...*упиться гармонией и облиться слезами над вымыслом».* — Рассказчик и Иван Иванович пересказывают и цитируют стихотворение Пушкина «Элегия» (1830).

[64] ...*Александр Македонский, конечно, герой...* — Намек на известные слова Городничего: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» («Ревизор» Гоголя, д. I, явл. 1).

[65] ...*тема, не дописанная... Рудиным...* — Рудин намеревался окончить «большую статью» «о трагическом в жизни и в искусстве» (роман Тургенева «Рудин», гл. VI).

[66] *Веретьев* — герой повести Тургенева «Затишье» (1854).

ДОПОЛНЕНИЯ

ПИСЬМО К ОТЦУ ОТ 23 ИЮЛЯ 1846 г.

Впервые: *Материалы*, с. 365—367. Автограф: *ИРЛИ*, 3883. XIII, с. 1, на четырех листах тетрадного формата; старательно написанный беловик.

[1] ...*с... Ксенофонтом Тимофеичем...* — Лицо неустановленное, очевидно, кто-то из близких к Александру Ивановичу Григорьеву.

[2] *Милановский* Константин Соломонович — знакомый Г. по совместной учебе в Московском университете. Как установил Г. П. Блок, Милановский учился вместе с Фетом в 1838—1840 гг. на первом и втором курсах философского факультета, но в конце второго курса сдал лишь экзамен по русской словесности; в последующие годы данных о Милановском в архиве университета нет; видимо, на этом закончилась его студенческая жизнь (*Блок Г.* Рождение поэта. Повесть о молодости Фета. Л., 1924, с. 104). Я. П. Полонский вспоминал, что профессор словесности И. И. Давыдов неожиданно прочитал на своей лекции его (Полонского) стихотворение «Душа», а после лекции в толпе студентов «некто Малиновский (так, — *Б. Е.*), недоучившийся проповедник новых философских идей Гегеля, а потому и влиятельный, стал стыдить и уличать меня в подражании Кольцову»

(*Полонский*, 644). Фет рассказал в своих воспоминаниях о сокурснике Мариновском (некоторые фамилии Фет сознательно изменил), «весьма начитанном и слывшем не только за весьма умного человека, но даже за масона», которому, однако, Фет не мог простить грубый обман: однажды тот нагло пообедал на деньги Фета (*Фет А. А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 177—178). Затем Милановский оказывается в Петербурге, входит в круг В. Г. Белинского, но быстро там разоблачается; Белинский писал В. П. Боткину 9 декабря 1842 г.: «Г-н М. дал мне хороший урок — он гаже и плюгавее, чем о нем думает К» (*Белинский*, XII, 126). К. — очевидно, Кавелин, оставивший в воспоминаниях колоритный очерк о Милановском, который «подкупил Белинского либеральными фразами, но оказался проходимцем и эксплуататором чужих карманов <...>. Белинский приходил в ужас от того, что пускался в либеральные откровенности с таким господином, трусил, что он на него и на весь кружок донесет. Это не помешало ему выгнать Милановского из своей квартиры с скандалом» (*Кавелин К. Д.* Собр. соч., т. 3. СПб., 1899, стб. 1085). Приехавший в Петербург Г. в очень кризисную для себя пору встретил Милановского, как он писал Погодину в 1859 г.: «... некогда, в 1844 году я вызывал на распутии дьявола и получил его на другой же день на Невском проспекте в особе Милановского» (наст. изд., с. 304); Г., видимо, быстро оказался в руках хитрого и умного «масона», чем тот беззастенчиво воспользовался; об этом писал журналист И. В. Павлов: «А года через два (речь выше шла о 1843 г., — *Б. Е.*) бедняга попал в умственную кабалу к известному тогда проходимцу Милановскому, выдававшему себя чуть не за Калиостро. К нему относится экспромт Некрасова, напечатанный в альманахе „1 апреля“:

Ходит он меланхолически,
Одевается цинически
И ворует артистически...

И вот на этого-то вора, архижулика, Аполлон Григорьев чуть не молился и рабски повиновался ему во всем» (Учен. зап. Тартуского ун-та, 1963, вып. 139, с. 344; исправлено по автографу). Осуждающе о подчинении Г. «масону» писал Полонскому Фет 30 июля 1848 г.: «Вот что значит ложное направление и слабая воля. Милановского надобно бы как редкость посадить в клетку и сохранить для беспристрастного потомства. Впрочем, он только и мог оседлать такого сумасброда, как Григорьев» (*Материалы*, с. 338). Но Г. и сам раскусил характер Милановского и, как видно из письма к отцу, уже к середине 1846 г. порвал с проходимцем.

[3] *Дядя* — Николай Иванович Григорьев.

[4] *...за это меня сделали извергом...* — Смысл этой фразы непонятен.

ПИСЬМО К М. П. ПОГОДИНУ ОТ 26 АВГУСТА—7 ОКТЯБРЯ 1859 г.

Впервые с сокращениями и с несметным количеством искажений, с ошибочной датировкой 1858 годом: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 16. СПб., 1902, с. 378—389. Перепечатано: *Материалы*, с. 246—255 (с исправлением даты, но с добавлением ошибок); *Воспоминания*, с. 199—217 (здесь ошибки перепечатки исправлены по первой публикации; однако некоторые слова, показавшиеся издателю сомнительными, произвольно заменены придуманными). Обоим последним публикаторам остался неизвестным автограф письма, хранящийся в *ЛБ* (шифр: Пог/П.9.35). Впервые пропущенные части письма и список всех искажений опубликованы: *Егоров*, с. 342—344. Печатается по автографу. Конец письма не сохранился.

[1] *Полюстрово.* — Григорьев, поссорившись в августе 1859 г. с редакцией журнала «Русское слово», во главе которой стоял меценат граф Г. А. Кушелев-Безбородко, жил в этой дачной местности под Петербургом (ныне — в черте города), не имея пока никаких других журнальных связей и обязательств и поэтому обладая достаточно свободным временем.

[2] *...по возвращении из Рима.* — Во всех предыдущих публикациях ошибочно писалось «из Эмса», хотя и по смыслу видно, что речь идет о поездке Г. из Фло-

ренции в Рим и обратно (апрель 1858 г.); последнее письмо Г. из-за границы, сохранившееся в архиве Погодина, — от 11 мая 1858 г. из Флоренции.

[3] *...флорентийским попом...* — Травлинский П. П., протоиерей, в 1856—1863 гг. — священник домашней церкви А. Демидова, князя Сан-Донато.

[4] *...благородной, серьезной женщиной...* — Вероятно, В. А. Ольхиной (см. примеч. 14 к статье «Великий трагик»).

[5] *Бецкий И. Е.* — личность более сложная, чем себе представлял Г. См., например, его характеристику в воспоминаниях Ф. И. Буслаева, его сокурсника: «Бецкий, Иван Егорович. По окончании университетского курса несколько лет служил где-то в провинции, потом уж очень давно переселился во Флоренцию, где и живет безвыездно больше тридцати лет престарелым холостяком во дворце Спинелли-Трубецкой, в улице Гибеллини, т. е. во дворце, принадлежавшем некогда старинной итальянской фамилии Спинелли, а теперь — князьям Трубецким. Весною 1875 г. провел я целый месяц во Флоренции и чуть не каждый день видался с Бецким, возобновляя и освежая в памяти наше далекое, старинное студенческое товарищество, и тем легче было мне молодеть и студенчествовать вместе с ним, что он, проведя почти полстолетия вдали от родины, как бы застыл и окаменел в тех наивных, юношеских взглядах и понятиях о русской литературе и науке, какие были у нас в ходу, когда в аудитории мы слушали лекции Давыдова, Шевырева и Погодина. Этот милый монументально-окаменелый студент у себя дома в громадном кабинете забавляется откармливанием певчих пташек, которых развел многое множество в глубокой амбразуре всего окна, завесивши его сеткою. А когда он прогуливается по улицам Флоренции, постоянно держит в памяти свою дорогую Москву, отыскивая и приобретая для нее у букинистов и антиквариев разные подарки и гостинцы, в виде старинных гравюр и курьезных для истории быта рисунков, и время от времени пересылает их в московский Публичный и Румянцевский музей» (*Буслаев Ф. И.* Мои воспоминания. М., 1897, с. 105—106). Кроме того, Бецкий посылал подобные коллекции в петербургскую Публичную библиотеку и в Харьковский университет. В 1840-х гг. Бецкий издавал в Харькове альманах «Молодик» (4 т.).

[6] *«Derniers mots... ortodoxe»...* — Брошюра А. С. Хомякова, имеющая несколько иное заглавие: Encore quelques mots d'un chrétien orthodoxe sur les confessions occidentales, à l'occasion de plusieurs publications religieuses, latinet et protestantes Leipzig, 1858. В сочинениях Хомякова на русском языке это заглавие переводилось так: «Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях, по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры». Оттенок полемичности в отзыве Г. связан с тем, что он был недоволен недостаточным разрывом Хомякова с официальной церковью, хотя последняя и не принимала за «свои» религиозные трактаты славянофилов: Хомяков вынужден был свои труды печатать на французском языке в Париже и Лейпциге, так как церковная цензура России запрещала их.

[7] *Старуха Трубецкая* — княгиня Трубецкая Леопольдина Юлия Терезия («Тереза»), мать ученика Г., князя Ивана Юрьевича. Г. считал ее итальянкой, но она — дочь французского капитана Морена.

[8] *Князек* — Трубецкой Иван Юрьевич.

[9] *Настасья Юрьевна* — княжна Трубецкая, старшая сестра Ивана.

[10] *...с... женихом...* — Сергей Петрович Геркен, в конце письма уже именуемый мужем Настасьи Юрьевны.

[11] *...единственной путной женщине...* — Речь идет о Леониде Яковлевне Визард, безответную любовь к которой Г. пронес сквозь всю свою жизнь (знакомство Г. с семейством Визард относится к началу 1850-х гг.). См.: *Княжнин Вл.* А. А. Григорьев и Л. Я. Визард. — *Материалы*, с. XI—XXIX.

[12] *...возврата в Россию... не будет...* — Мать Ивана Юрьевича добивалась, с помощью юридических ухищрений, восстановления прав ее сына на наследственные участки во Флоренции; для этого необходимо было пребывание семьи в Италии, что очень огорчало Г., желавшего обучения его воспитанника в русском университете.

[13] *Светлый день* — Пасха.

[14] *Duomo* — соборная площадь в центре Флоренции.

[15] *...в первый раз...* — Впервые в Генуе Г. был в конце июля 1857 г. по пути из Германии во Флоренцию.

[16] *...Николая Ив‹ановича› Трубецкого...* — Н. И. Трубецкой — брат отца И. Ю. Трубецкого, ученика Г. Интересную характеристику этого либерала, католика (и одновременно славянофила!) см. в кн.: *Феоктистов Е. М.* За кулисами политики и литературы 1848—1896. Л., 1929, с. 47—49. Здесь же — характеристика его жены, Анны Андреевны.

[17] *...умную половину...* — Княгиня Анна Андреевна, рожденная графиня Гудович. См. примеч. 16.

[18] *...Максима Афанасьева...* — Это самое загадочное лицо из всех знакомых Г.: из писем Г. явствует, что Афанасьев — московский приятель из круга А. Н. Островского, служащий винной конторы, проповедник идей Разина и Пугачева (см.: *Материалы*, с. 193, 239).

[19] *...злобою на вас...* — Г. был глубоко обижен скупостью и общественной ретроградностью Погодина, приведшими к краху «Москвитянина» и его «молодой редакции», которую возглавлял Г.

[20] *...те...* — Имеются в виду западники, круг Грановского, Кавелина, Коршей; Г. явно несправедлив в оценке Кетчера и Е. Корша.

[21] *...Кетчеру... дом купили...* — Друзья собрали около 3000 руб. и купили Кетчеру дом в Москве, на 3-й Мещанской ул. (ныне ул. Щепкина). См. об этом: *Гершензон М.* Образы прошлого. М., 1912, с. 320—325; *Станкевич А. В.* Николай Христофорович Кетчер. Воспоминания. М., 1887.

[22] *...до сего дне...* — Цитата из Псалтыри (118, 91).

[23] *...Солдатенкова съели бы живьем...* — В конце 1850-х—начале 1860-х гг. К. Т. Солдатенков издавал собрание сочинений В. Г. Белинского; главным редактором был Н. Х. Кетчер, ему помогали Е. и В. Корши и др. «западники».

[24] *...фактец в виде письма...* — О чем идет речь, неясно; возможно, мнительный и в то же время трусливый В. П. Боткин дал в руки Г. какой-либо реальный факт своей обиды на западнический кружок, но не желал его скорого разглашения.

[25] *...продажей этого «Квартета» Кушелеву...* — Г., видимо, забыл, что он содействовал опубликованию повести Е. Э. Дриянского «Квартет», но не в «Русском слове» Кушелева-Безбородко, а в «Библиотеке для чтения» А. В. Дружинина (1858, № 9, 10). См.: *Материалы*, с. 157; Письма к А. В. Дружинину. М., 1948, с. 124—125. Островский, очевидно, был недоволен тем, что интересовавшая его повесть «уплыла» в чужой журнал.

[26] *...пьет, распутствует моя благоверная...* — Жена Г. Лидия Федоровна в самом деле не отличалась благонравным поведением; см. еще письмо Г. к М. П. Погодину от 16—17 сентября 1861 г. (*Егоров*, с. 351—352).

[27] *...в особе Милановского...* — См. примеч. 2 к письму к отцу.

[28] *...в Мадонне Мурильо во Флоренции...* — Г. очень высоко ценил эту картину (находится в галерее Питти); он часто говорил о ней в статьях и письмах (см., напр., *Материалы*, с. 174—176), посвятил ей стихотворение «Глубокий мрак, но из него возник...» (1860).

[29] *Гладиатор* — известная античная скульптура «Умирающий гладиатор» (автор неизвестен), хранящаяся в Капитолийском музее в Риме.

[30] *Bois de Fontainebleau* — лес в местечке Фонтенебло, близ Парижа; недалеко находилось поместье Н. И. Трубецкого, дяди ученика Г.

[31] *...его теткой...* — Александра Ивановна, жена князя Н. И. Мещерского.

[32] *...наварил ухо...* — растратил, промотал.

[33] *Jardin ‹de› Mabille... Chateau des Fleurs* — увеселительные заведения Парижа.

[34] *...вижу воровских людей, клеветов Сигизмунда...* — Г. так обобщенно называл деятелей радикальной журналистики, усматривая в них «западничество», отсутствие национальных корней.

[35] *Тушинцы* — т. е. сторонники «тушинского вора», Лжедмитрия II; так Г. тоже именовал радикалов, особенно — сотрудников «Современника».

[36] *...лондонский консерватор...* — Герцен; имеется в виду его известная статья «Very dangerous!!!» (Колокол, 1859, 1 июня), где Герцен оспаривал некоторые положения статей Н. А. Добролюбова (прежде всего — насмешку над «лишними людьми», которых Герцен оправдывал в качестве жертв николаевского режима; затем — издевку над «обличительной» литературой, в которой Добролюбов усматривал либеральную беззубость, робость, а Герцен — ростки настоящей критики). Г., однако, приписывая Добролюбову «обличения», плохо знал статьи своего оппонента: как раз именно Добролюбов и боролся с «обличениями»! Очень плохо разбирался Г. и в положительной программе «Современника»: как можно судить по его последующим статьям, он явно не знал, не читал статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве».

[37] *...на своей квартире.* — В начале 1858 г. Г. рассорился с княгиней Трубецкой, требовавшей от учителя соблюдения домашнего режима (возвращаться домой не позже 10 часов вечера), и переехал на частную квартиру, как он подробно писал Погодину 9 февраля (*Материалы*, с. 223; *Егоров*, с. 339). И. С. Тургенев в письме к В. П. Боткину от 3—13 (15—25) марта 1858 г. сообщал этот флорентийский адрес Г.: «Borgo SS. Apostoli, primo piano № 1169 — appartements meublés chez Santi Falossi» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма, т. III. М.—Л., 1961, с. 203).

[38] *...великим банкиром...* — Так Г. называл бога, беспечно надеясь выпутаться с его помощью из любого затруднительного положения.

[39] *...известные издания...* — Лондонские издания Герцена.

[40] *...молодым князем О‹рловым›...* — Имеется в виду Николай Алексеевич Орлов, сын известного николаевского вельможи, только что женившийся на дочери Н. И. Трубецкого княжне Екатерине Николаевне. См. о нем и о его женитьбе: *Феоктистов Е. М.* За кулисами политики и литературы 1848—1896. Л., 1929, с. 48—59.

[41] *Князь Николай...* — Имеется в виду не Орлов, а его тесть Трубецкой, католик.

[42] *...добрый приятель* — Я. П. Полонский (см.: *Материалы*, с. 340).

[43] *...и дым отечества был сладок и приятен.* — Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 1, явл. 7).

[44] *...с Боткиным...* — Судя по известным нам маршрутам В. П. Боткина (см.: *Егоров Б. Ф.* В. П. Боткин — литератор и критик. Статья 1. — Учен. зап. Тартуского ун-та, 1963, вып. 139, с. 23), встреча могла состояться именно на возвратном пути Г. из Парижа в Россию: Боткин находился в Берлине по крайней мере с 19 по 22 сентября 1858 г. (нового стиля), а затем через Штеттин, морем, прибыл в Петербург; возможно, что Боткин и Г. вместе вернулись на родину.

[45] *Сделанное* — так Г. называл все искусственное, воспринятое по моде или по принуждению, в противоположность *рожденному*.

[46] *...до Гончарной улицы...* — В Петербурге.

[47] *...с Бахметевым...* — Ни один из предшествующих публикаторов не раскрыл имени этого берлинского знакомого Г. Между тем, благодаря новейшим исследованиям, можно с уверенностью сказать, что речь идет о Павле Александровиче, известном радикале, прототипе образа Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?». См. о нем: *Рейсер С. А.* «Особенный человек» П. А. Бахметев. — Русская литература, 1963, № 1, с. 173—177; *Эйдельман Н. Я.* Павел Александрович Бахметев. (Одна из загадок русского революционного движения). — В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1965, с. 387—398. Встреча Г. с Бахметевым в Берлине могла состояться в третьей декаде июля 1857 г.: Г. выехал 13 июля из Петербурга в Италию по маршруту Кронштадт—Штеттин—Берлин—Прага—Венеция—Ливорно; поездка продолжалась две недели, как сообщал Г. в письме к М. П. Погодину от 10 августа 1857 г. (*Материалы*, с. 165). Бахметев же ехал в Лондон к Герцену.

[48] *...диавольском наваждении.* — Речь идет о книге: *Парфений.* Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле, ч. 1—4. М., 1856, где содержится нравоучение отца Серафима Саровского: «...винное питие и табак употреблять отнюдь никому не позволяй; даже, сколько воз-

можно, удерживай и от чаю» (ч. 1, с. 193). Книга была очень популярна в кругу Г. Ср.: *Белов С. В.* Об одной книге из библиотеки Ф. М. Достоевского. — «Альманах библиофила», вып. 2. М., 1975, с. 183—187.

[49] *Щукин двор* — дешевый рынок в Петербурге, находился недалеко от Сенного рынка.

[50] *...прожить от вторника до субботы...* — О некоторых подробностях берлинской жизни Г. в 1858 г. см. его печатные статьи: «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах» (*Воспоминания*, с. 308—312) и «Стихотворения Н. Некрасова» (*Лит. критика*, с. 475—477).

[51] *...до дня отправления Черного...* — По сведениям «СПб. ведомостей», 7 октября 1858 г. (вторник) в Кронштадт из Штеттина прибыл почтовый пароход «Прусский орел», шедший 4 суток; среди приехавших — коллежский асессор Григорьев (№ 221, 10 окт., с. 1288; № 223, 12 окт., с. 1301); вероятно, это и есть А. А.; тогда «суббота», день отправления из Штеттина, — 4 октября ст. стиля.

КРАТКИЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК НА ПАМЯТЬ МОИМ СТАРЫМ И НОВЫМ ДРУЗЬЯМ

Впервые в сокращении: Эпоха, 1864, № 9, с. 45—47, в статье: *Страхов Н. Н.* Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве. Впервые относительно полно: *Материалы*, с. 305—308, но с искажениями и пропусками. Первая научная публикация: *Воспоминания*, с. 375—383.

Г. писал этот текст в тюрьме (долговом отделении), в отчаянном моральном и материальном состоянии, чем и объясняется резкость и грубость тона.

[1] *Отзыв Белинского.* — Критик опубликовал в 1846 г. рецензию на «Стихотворения» Г., вместе со «Стихотворениями 1845 года» Я. П. Полонского (*Белинский*, IX, 590—600). В целом отзыв критика был суровым (осуждались мистические ноты масонских «Гимнов» и романтическая подражательность), но Белинский положительно оценил стихотворения с социально-политическими мотивами.

[2] *...я был обруган Белинским...* — В обзоре «Взгляд на русскую литературу 1846 года» критик отрицательно отозвался о переводе Г. «Антигоны» Софокла, осудил спешку, «рубленую, неправильную прозу» вместо стихов (*Белинский*, X, 37—38).

[3] *...странная книга Гоголя...* — Г. был одним из немногих критиков, положительно оценивших «Выбранные места из переписки с друзьями» — в цикле статей «Гоголь и его последняя книга» (Моск. городской листок, 1847, № 56, с. 225—226; № 62, с. 249—250; № 63, с. 254; № 64, с. 255). Г. импонировало сосредоточенное внимание Гоголя к нравственной сущности человека, борьба писателя за целостную, волевую, благородную личность; впоследствии, через 5—6 лет, Г. увидит в Гоголе-моралисте и другие стороны, очень ему антипатичные, и тогда и общее отношение его к писателю сильно изменится.

[4] *В 1848 и 1849 году... в «Московских ведомостях».* — Если только Г. не спутал, то эта деятельность остается загадочной: нет ни одного документа, подтверждающего какое-либо участие Г. в газете «Моск. ведомости».

[5] *В 1850 году... статью о Фете.* — Г. пропустил название журнала — «Отечественные записки».

[6] *...энергия деятельности...* — В «Москвитянине» 1850—1855 гг. Г. опубликовал около ста критических статей и рецензий, стихотворения, переводы.

[7] *...писались известные стихотворения...* — Прежде всего, программное стихотворение Г. «Искусство и правда» (1854), а также некоторые стихотворения из цикла «Борьба».

[8] *...от адской скупости редактора.* — Речь идет о М. П. Погодине.

[9] *«Сон»* — комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь»; перевод опубликован А. В. Дружининым в журнале «Библиотека для чтения» (1857, № 8).

[10] *«Беседа»* — журнал «Русская беседа».

[11] *...мои стихотворения лучшей, москвитянинской эпохи жизни...* — Цикл «Борьба» (Сын отечества, 1857, № 44—49).

[12] *...статьи о критике в «Библиотеке»...* — «Письмо к А. В. Дружинину по поводу комедии Шекспира „Сон в летнюю ночь" и ее перевода» (Библиотека для чтения, 1857, № 8) и «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» (там же, 1858, № 1).

[13] *При статьях «Русского слова»...* — Наиболее известны «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (Рус. слово, 1859, № 2, 3) и «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо"» (там же, 1859, № 4, 5, 6, 8).

[14] *...Гончаров сам занес мне первую...* — Самая первая статья Г. в «Рус. слове» — «Взгляд на историю России, соч. С. Соловьева» (1859, № 1).

[15] *Адмирация* — восхищение (от франц. admiration).

[16] *...град насмешек Добролюбова...* — Г. явно преувеличивает: Добролюбов напечатал в «Свистке» небольшую заметку по поводу метафорического употребления Г. слова «допотопный»: «О допотопном значении Лажечникова (Исследования г. Ап. Григорьева)» (1859); другие упоминания Добролюбовым имени Г. и его произведений весьма кратки и мимолетны.

[17] *...взрыв ослиного хохота в «Искре»...* — В этом журнале в течение 1859—1864 гг. Г. непрерывно подвергался насмешкам, чуть ли не в каждом месяце (за элементы славянофильского мировоззрения, за «почвенничество», за сложный стиль).

[18] *Ильин* — Р. В. Иванов-Разумник так комментировал это имя: «Согласно примечанию Н. Страхова в 1864 г. (к первой публикации, — *Б. Е.*) — „один из наших общих друзей, еще совершенно неизвестный ни на каком поприще". Не мог ли, однако, это быть Н. Д. Маслов, один из сотрудников „Времени", писавший сатирические произведения под псевдонимом *Ильин*?» (*Воспоминания*, с. 379). Но сотрудник «Времени» (случайный, опубликовавший всего одну статью) — *Дмитрий* Маслов, в то время как под псевдонимом «Ильин» совсем в других журналах и в 1880-х гг. выступал Николай Дмитриевич Маслов. Так что, вероятно, был прав Страхов.

[19] *...в «Русском мире».* — Здесь была опубликована статья Г. «После „Грозы" Островского» (1860, № 5, 6, 9, 11).

[20] *У Старчевского...* — Повторное (после 1857 г.) участие в «Сыне отечества»: статья «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности...» (1860, № 6, 7).

[21] *...получил приглашение и вызов* — в «Рус. вестник» М. Н. Каткова, издававшийся в Москве.

[22] *...дикий вздор Дудышкина...* — В автографе у Г. описка: «Дружинина»; речь идет о статье Дудышкина из «Отеч. записок» (1860, № 4), где Пушкин трактовался как чуждый народу и народности поэт.

[23] *Статей моих не печатали...* — Лишь недавно была обнаружена и опубликована единственная дошедшая до нашего времени рукопись статьи Г. для «Рус. вестника» (см.: *Егоров Б. Ф.* Новые материалы об Ап. Григорьеве. — Учен. зап. Тартуского ун-та, 1975, вып. 369, с. 146—157).

[24] *...мною одобренных... «Ярмарочных сцен» Левитова...* — Отвергнутые Катковым очерки Левитова были по рекомендации Г. напечатаны во «Времени» (1861, № 6).

[25] *...печатая... Гарднер...* — В «Рус. вестнике» была опубликована слабая ее повесть «Пустушково» (1860, июнь, кн. 2; подписана еще девичьей фамилией — Р. Коренева). Р. Коренева-Гарднер — драматическая юношеская любовь Д. И. Писарева.

[26] *...стащил у них со стола гривенник.* — Г. действительно растратил без возврата деньги, данные ему Катковым для оплаты трудов петербургских сотрудников

журнала. Катков проявил странное легковерие, выдав Г. авансовые деньги, но зато потом он представил Г. чуть ли не аферистом.

[27] *Михайлу Михайловичу* — Достоевскому.

[28] *...по поводу статей о Толстом.* — Статья Г. в двух частях «Граф Л. Толстой и его сочинения» (Время, 1862, № 1, 9).

[29] *Ярые статьи о театре...* — Г. во «Времени» 1861—1863 гг. постоянно помещал театральные рецензии, однако наиболее подробно о пьесах Островского и их театральных постановках Г. будет писать в своем журнале «Якорь» (1863).

[30] *...смелые упреки Гоголю за многое...* — Г. преувеличивает свои упреки; изменение отношения к Гоголю произошло у критика еще в 1853—1856 гг., когда он стал видеть в творчестве писателя тягу к максималистскому, аскетическому христианскому идеалу, оторванному от действительности, от народа; но в период «Времени» сила упреков уже ослабела, Г. был больше занят современными литературными проблемами.

[31] *...возрадовавшимися этому нашими врагами...* — Упреки Г. по поводу частых переносов текста (их значительно больше трех!) из старых статей в новые раздавались в 1862—1864 гг. чуть ли не во всех русских журналах, но особенно часто издевалась по этому поводу «Искра» (см., например, в обзоре И. Р‹оссинского?› «Искорки»: «Когда Ап. Григорьев переписывает свои статьи *допотопной формации*, он похож на продавца затхлой *дичи*; когда же он печатает новое произведение, то угощает читателей свежей *дичью*» — Искра, 1863, № 38, с. 537).

[32] *...целый год зеленого «Наблюдателя»... переносил в «Записки» Белинский.* — Г. неправ; он не учитывает, что его романтический принцип «вечной правды», позволявший ему свободно переносить многостраничные разделы из одной статьи в другую, отстоящую от первой на десяток лет, совершенно не применим к Белинскому, стремительное изменение мировоззрения которого решительно не допускало делать подобные переносы из «примирительного» периода «Московского наблюдателя» (1838—1839) в последующие статьи «Отечественных записок», за исключением отдельных примеров. Самостоятельны, не похожи одна на другую и обе рецензии Белинского на стихотворения Полежаева, из «Московского наблюдателя» (1839) и из «Отечественных записок» (1842), ср.: *Белинский*, III, 24—33 и VI, 119—160. Не спутал ли Г. эти тексты с реальным переносом, совершенным уже после смерти критика, с перепечаткой второй рецензии Белинского в качестве вступительной статьи к стихотворениям Полежаева 1857 г.?

[33] *Запрет «Времени».* — О цензурных гонениях на журналы Достоевских, о запрещении «Времени» см.: *Нечаева В. С.* 1) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972; 2) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975.

А. Фет

РАННИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

Впервые части воспоминаний, содержащие почти все разделы о Г., публиковались: 1) под заглавием «Из моих школьных воспоминаний. Пребывание в пансионе М. П. Погодина» — Рус. школа, 1891, № 3, с. 30—52; 2) под заглавием «Ранние годы моей жизни» — Рус. обозрение, 1893, № 1, с. 5—25; № 2, с. 461—482; № 3, с. 5—24; № 4, с. 533—552. Полностью мемуары о детстве и юности опубликованы: *Фет А. А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893. Отрывки, касающиеся Г., были затем напечатаны с ошибками и искажениями: *Воспоминания*, с. 387—414. Другой сокращенный вариант воспоминаний Фета опубликован в качестве приложения к книге: *Фет А. А.* Стихотворения. Проза. Воронеж, 1978 (с. 398—433 — разделы о Г.). В наст. изд. отрывки публикуются в более расширенном виде по тексту отд. изд. 1893 г., с. 131—132, 140, 146—157, 160, 170—172, 192—193, 195, 196—198, 204—205, 209—210, 215—216, 218—219, 223, 225—227.

Отдельные заметки о Г. встречаются также в кн.: *Фет А.* Мои воспоминания, ч. I—II. М., 1890.

«Ранние годы моей жизни» являются единственным художественно-документальным произведением о студенческих годах Г., тем более ценным, что Фет прожил в доме Г. почти весь студенческий период, с начала 1839 г. до 1842 г., и все последующие московские годы жизни Г., вплоть до побега последнего в Петербург в конце февраля 1844 г. (Фет в это время все еще был студентом; он повторно оставался на втором и третьем курсах, поэтому окончил университет не вместе с Г., а двумя годами позже, летом 1844 г.).

[1] *«Хромбес»* — прозвище И. Д. Беляева (он был хром).

[2] *...не отпускали из дому.* — Ср. в воспоминаниях Я. П. Полонского: «Родители его охотно отпускали его в театр, куда он ездил в сопровождении Фета, но не к товарищам. Старушка мать его держала его как бы на привязи; он никуда не выезжал без ее соизволения. У меня бывал он редко и оставался у меня обыкновенно только до 9 часов вечера; на дворе или за воротами постоянно ожидали его кошевни, и никогда я не мог уговорить его остаться у меня дольше. „Нельзя“, — говорил он, спешил проститься и уезжал» (*Полонский*, 660—661).

[3] *...передавали друг другу вновь написанное стихотворение.* — Ср. у Полонского: «Григорьев глубоко верил в поэтический талант своего приятеля, завидовал ему и приходил в восторг от лирических его стихотворений» (*Полонский*, 661). Фет, которому в этом вопросе следует больше верить, ниже будет отрицать зависть Г.

[4] *...отойдя к Новому году от Погодина...* — Фет с 1837 г. жил в пансионе М. П. Погодина, сперва готовясь к поступлению в университет, а затем поступив в 1838 г. на философский факультет, на словесное отделение (тогда еще не было особого филологического факультета); в начале 1839 г. в Москву приехал отец Фета, помещик Орловской губ. Афанасий Неофитович Шеншин, который и перевез сына к Григорьевым.

[5] *...прекрасной игрой на рояли.* — Ср. у Полонского: «Он любил музыку, но дурно играл на рояле» (*Полонский*, 660).

[6] *Илья Афанасьевич* — камердинер А. Н. Шеншина.

[7] *Коман ву порте ву? Вуй, мосье. Пран дю те.* — Искаженные французские фразы: «Как вы себя чувствуете? Да, месье. Пей чай».

[8] *Красный товар* — мануфактура.

[9] *«Постоялый двор»* — «старинный роман» с таким заглавием не удалось обнаружить; повесть же А. П. Степанова (1835) вряд ли была бы названа Фетом старинной.

[10] *Верро* — ныне г. Выру, Эстонской ССР. Фет учился там в немецком пансионе Крюммера в 1834—1837 гг.

[11] *«Вадим Новгородский».* — Эта драма Г. не сохранилась. В связи с тем, что Полонский в воспоминаниях говорит о своей стихотворной драме «Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы» (*Полонский*, 643), то Р. Иванов-Разумник предположил, что Фет, по всей вероятности, ошибся (*Воспоминания*, с. 593); но, учитывая исключительную память на стихи у Фета и, наоборот, очень плохую у Полонского, следует отдать предпочтение воспоминаниям Фета; возможно, впрочем, что Полонский писал аналогичную драму.

[12] *«Я не поэт, о, боже мой!..»* — Стихотворение Г. не сохранилось.

[13] *...Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова...* — Первая книга Бенедиктова вышла в 1835 г., вторая — в 1838 г.; очевидно, речь идет о второй, так как событие относится к первому студенческому году Г. и Фета.

[14] *...ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов.* — Фет или запамятовал, или сознательно умолчал об общественно-политических интересах григорьевского кружка. Такой интерес проявляли не только Я. П. Полонский, С. М. Соловьев, но даже иногда сам Фет! Полонский писал Фету 14 августа 1889 г.: «...каким тогда был ты либералом, когда писал:

Православья где примеры,
Не у Спасских ли ворот?

Где во славу русской веры
Мужики крестят народ...».

(*Материалы*, с. 339; вместо «Мужики» нужно «Казаки»).
См. об этом стихотворении: *Евгеньев-Максимов В. Е.* Новонайденное стихотворение А. А. Фета. — «Ленинград», 1940, № 21—22, с. 34; автор обнаружил его в записи П. П. Пекарского, которому К. Д. Кавелин сообщил, что стихотворение сочинили два студента, из коих один — Фет.

15 *Но не нашлось охотников...* — Равнодушный к отвлеченным философским спорам Фет односторонне представляет интересы кружка; на самом деле охотников до споров было много. Сохранилась тетрадь-конспект Н. М. Орлова, озаглавленная «По просьбе Григорьева» и начинающаяся таким предисловием: «Ты, верно, помнишь любезный друг, что в прошлое воскресенье, когда мы все собрались у тебя, вследствие философского разговора, завязавшегося между нами, вы все просили меня систематически изложить мои взгляды на бумаге» (Русские пропилеи, т. I. М., 1915, с. 213).

16 *Григорьев был записан слушателем...* — Очень хорошо существование трех групп студентов разъяснил Ф. И. Буслаев: «Первая рубрика: казеннокоштные студенты, вторая — своекоштные студенты и третья — слушатели. Обратите внимание: в последней рубрике уже не „студенты", а только „слушатели", но это не то, что теперь называется „вольными слушателями": лица этой рубрики имеют право носить студенческий мундир и ходить на лекции, но студентами быть не могут, потому что с этим званием соединен известный чин, а они по закону не могли иметь на него права, потому что принадлежали к податному сословию и числились в нем до тех пор, пока не выдержат окончательного экзамена. Таким образом, мещанин или купец (за исключением почетного гражданина) только с приобретением звания действительного студента или кандидата (звания по выходе из университета, — *Б. Е.*) получал увольнение из податного сословия и уравнивался в правах со всеми своими товарищами по университету» (*Буслаев Ф. И.* Мои воспоминания. М., 1897, с. 99—100). Именно такой путь и предстояло пройти «мещанину» Г.

17 *...Кавелина... на 4-м курсе...* — Фет ошибается: Кавелин окончил университет в 1839 г., а семейные вечера у Н. И. Крылова начались в 1842 г., в это же время Г. познакомился с семьей С. Г. Корш. Кавелин в 1842—1843 гг. был в Петербурге и лишь в конце 1843 г. вернулся в Москву; именно с этого времени, давно уже кончив университет, он стал посещать семейный дом Н. И. Крылова, а затем и дом Коршей (см. в наст. томе «Листки из рукописи скитающегося софиста»).

18 *...слушали Роберта...* — Имеется в виду герой оперы Дж. Мейербера «Роберт-дьявол» (1831); упоминаемые ниже Алиса и Бертрам — также персонажи этой оперы.

19 *...Белинский не поступал еще в «Отечественные записки»...* — Именно с осени 1839 г. Белинский и перешел в этот журнал.

20 *...не открывал еще своего похода против наших псевдоклассических писателей.* — Белинский на самом деле с первых своих крупных статей, с «Литературных мечтаний» (1834), уже выступал против псевдоклассиков, но конечно же не причислял к ним Ломоносова и Державина, к кому можно приложить термин Фета «псевдоклассический», судя по дальнейшему изложению.

21 *«Уже врата отверзло лето»* — первая строка ломоносовской «Оды на день тезоименитства его императорского высочества государя великого князя Петра Феодоровича 1743 года»; *«И Тавр и Ка́вказ в Понт бегут»* — 94-я строка той же оды.

22 *Во избежание нового бедствия с политическою экономией...* — Фет получил единицу на выпуском экзамене второго курса по политической экономии, поэтому остался на второй год. Фет объяснял провал придиркой проф. А. И. Чивилева на экзамене, местью за непосещение лекций.

23 *...девице Каблуковой...* — На самом деле жена дяди Г. — Варвара Сергеевна, урожденная Нефедьева.

[24] *У самого же Николая Ивановича... состояния... не было...* — Фет неточен: дядя Г. владел наследственным имением Иринки (Аринки), Владимирской губ.

[25] *...государь будет встречать в Москве цесаревича...* — На самом деле цесаревич (будущий Александр II) приехал со своей невестой прямо из Варшавы в Петербург, где и состоялось 16 апреля 1841 г. бракосочетание; в Москву же вся царская семья во главе с Николаем I приехала уже из Петербурга 14 мая (см.: *Татищев С. С.* Император Александр II, т. I. Изд. 2-е. СПб., 1911, с. 102—103). В Петербурге жене наследника была назначена царем русская свита, поэтому дядя Фета никак не мог приехать из Германии свитским офицером; видимо, многое в этом эпизоде выдумано Фетом с целью повышения своего социального престижа.

[26] *...в строящемся доме, близ Шевалдышевой гостиницы.* — Гостиница Шевалдышева помещалась на месте нынешнего дома № 12 по ул. Горького; здание не сохранилось.

[27] *...встретил меня со смущенным лицом...* — Мать Фета еще до его рождения по непонятным причинам бежала из Германии с русским офицером А. Н. Шеншиным, бросив мужа и малолетнюю дочь Лину; вероятно, дядя Фета, брат матери, опасался, что неожиданный смелый приезд Лины в Россию и свидание с новой семьей матери может вызвать напряженные отношения.

[28] *...младшим девочкам...* — У В. П. Боткина было пять младших сестер, из них самая старшая, Мария (1828—1894), станет женой Фета.

[29] *С Вас‹илием› Петр‹овичем› знакомство мое продолжалось до самой моей свадьбы...* — Фет, не очень удачно выразившись, хотел сказать, что до его женитьбы на сестре В. П. Боткина они были знакомыми, затем же стали родственниками.

[30] *Все размещения стихотворений по отделам с отличительными прозваниями производились трудами Григорьева.* — Это ценное в своей единственности признание, проливающее свет на творческую историю ранних стихотворений Фета.

[31] *...Назимов вышел в отставку...* — Неточно: он был переведен правителем канцелярии попечителя графа С. Г. Строганова (*Материалы*, с. 323).

[32] *...Григорьев был выбран секретарем правления.* — Судя по дальнейшему изложению, Фет спутал последовательность служб Г.; на самом деле вскоре после окончания университета Г. стал библиотекарем (с 22 декабря 1842 г.), а затем уже секретарем правления (с 6 сентября 1843 г.).

[33] *Когда волшебницей... вы летели...* — Такое стихотворение Г. неизвестно.

[34] *...о своем поступлении в масонскую ложу...* — См. с. 343—346.

[35] *...хватая меня за кисть руки...* — Ср. в повести «Один из многих»: Званинцев, воспитанник масона, имеет «неприятную манеру» (для Севского) «пожимать указательным пальцем чужой пульс» (с. 195).

[36] *...Григорьев... молился пред образом...* — Ср.: «Перед праздниками ходил он в церковь к всенощной, и раз, когда он, вставши на колена, до самого пола преклонил свою голову, он услыхал над самым ухом шепот Фета, который, пробравшись в церковь незаметно, встал рядом с ним на колена, также опустил свою голову и стал издеваться над ним, как Мефистофель» (*Полонский*, 661).

А. Фет

КАКТУС

Впервые: Рус. вестник, 1881, № 11, с. 233—238. Перепечатано: *Воспоминания*, с. 415—429. Рассказ Фета посвящен эпизоду, относящемуся к 1856 г., когда он, служа в гвардии, отпросился в годовой отпуск; в это время Г. тяжело переживал безответную любовь к Л. Я. Визард и создавал свой цикл стихотворений «Борьба», куда входит его знаменитая «Цыганская венгерка».

[1] *Благоговея богомольно Перед святыней красоты.* — Заключительные строки из стихотворения Пушкина» «Красавица» (1832).

[2] *Не кончив молитвы... навстречу.* — Строфа из стихотворения Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

[3] *...по выражению Дюма-сына, из числа людей знающих...* — Источник выражения не обнаружен.

[4] *...слово Соломона, что это уже было прежде нас.* — Имеется в виду библейский текст: «Что было, то и есть и будет» (Екклезиаст, гл. 1, ст. 9). Ср. в стихотворении Н. М. Карамзина «Опытная Соломонова мудрость, или Выбранные места из Екклезиаста» (1797): «Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек».

[5] *Проспернровать* — процветать (от франц. prospérer).

[6] *...любимою его песней была венгерка...* — Речь идет не о стихотворении Г. «Цыганская венгерка», а о каком-то ее реальном цыганском прототексте, из которого Г. взял двустишье «Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка...».

[7] *Грузины* — район Б. Грузинской улицы в Москве.

[8] *...хор Ивана Васильева.* — См. примеч. 47 к очерку «Великий трагик».

[9] *Вспомни... Нашу прежнюю любовь...* — В первопечатном тексте было: «Прежнюю нашу любовь»; исправлено по ритму.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]

[1] Указатель включает исторические и мифологические имена, содержащиеся в основных разделах книги (кроме «Приложений»).

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ И АЛЬМАНАХОВ

[1] Отсутствие ссылки на город означает, что издание выходило в Петербурге; нет также указаний о Москве, если это ясно из заглавия.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

напечатан: *Материалы,* между с. 156—157), оба отделения мезонина, каждое с тремя окнами, расположены в противоположных сторонах крыши, на севере и на юге (Мал. Полянка идет с севера на юг; фотограф стоял севернее дома, снимая его с улицы; уличный фасад дома смотрит на восток). Если учесть, что лестница вела в мезонин с запада (как видно на снимке дома со двора), то отделение «справа» окажется южным, а именно это отделение и сфотографировано: за окнами видны ветви деревьев, а на северной стороне дома нет никакой растительности. *(С. 80—81).*

Панорама Замоскворечья 1856 г. Фото из Гос. исторического музея, Москва. Негативы этой уникальной фотографии, состоящей из трех снимков, обнаружил в отделе графики музея краевед Е. В. Николаев и опубликовал в журнале «Наука и жизнь» (1968, № 10, с. 6—7 вкладки). Именно с этого места Кремля описывает вид Замоскворечья Григорьев в 1 части своих воспоминаний. *(С. 80—81).*

Загородный дом графа А. Г. Кушелева-Безбородко в Полюстрове (ныне Ленинград, Свердловская наб., 40). Гравюра А. Беме из книги: *Пыляев М. И.* Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1889, с. 59. *(С. 80—81).*

СОДЕРЖАНИЕ

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Аполлон Григорьев

ВОСПОМИНАНИЯ

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники
АН СССР

Редактор издательства *Е. А. Гольдич*
Художник *М. И. Разулевич*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Г. А. Александрова, Н. П. Кизим* и
А. Х. Салтанаева

ИБ № 8699

Сдано в набор 14.09.79. Подписано к печати 07.02.80. М-36510. Формат $70 \times 90^{1}/_{16}$. Бумага № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. $27^{1}/_{2}+7$ вкл. ($^{7}/_{8}$ печ. л.) = 33.19 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 34.19. Тираж 100000 (1—25000). Изд. № 7217. Тип. зак. 719. Цена 4 р. 40 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

ИСПРАВЛЕНИЕ

На стр. 427 строки 13—14 сверху следует читать:

Дюма Александр (1802—1870), франц. писатель 6, 78